

Лев АННИНСКИЙ

РУССКИЕ



Лев Аннинский

Русские плюс...

ПРОЛОГ

ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС

*Впереди у нас — возникновение новых
народов на данной территории СССР.
Какой из них станет называться русским —
это, скажу я вам, открытый вопрос.
Русскими будут те, кто захочет себя так
называть и отстоит среди других это имя...*

Глеб Павловский

Признаться, я оторопел, прежде чем заставил себя согласиться с этим прогнозом. Я думаю, любой трезвомыслящий человек, русский или нерусский, вынужден будет с ним согласиться. Но, кроме трезвомыслия (при всем его дефиците), есть у нас и еще «что-то» — под ним, над ним, за ним, вне его: ощущение продолжающейся судьбы, которое заставит всякого человека (и нерусского тоже, ибо не только русских коснется общий жребий), русского же в особенности, — внутренне сжаться сердцем, принимая диагноз, процитированный мною. Я комментирую не геополитическую ситуацию, которая в третьем тысячелетии Христовой эры, наверное, будет мало напоминать наши разваливающиеся общественные «дворцы», — я комментирую наше сегодняшнее отчаяние от накренившейся культуры. Слава богу, есть люди, имеющие мужество говорить с нами об этом прямо.

Глеб Павловский — один из таких людей. Не буду отсылать читателей к его блестящим статьям в журнале «Век XX и мир» — их, я думаю, читало и без моих рекомендаций огромное число людей по всей стране. Но газета «Московский комсомолец», напечатавшая вышеприведенное интервью Гл. Павловского, — при всей популярности этого издания среди москвичей, вряд ли так уж лежит открытым доступом в библиотеках «всей страны». А сказано там про нас всех:

«Пока вы предполагаете, что рано или поздно, не в первом, так в одиннадцатом универсаме вы найдете черствый хлеб и плохое молоко, — работать необязательно. Когда эта надежда исчезнет и жестокость жизни будет осознана, — появится другой народ».

Опять-таки умом вижу: да, так. Вечных народов нет. Нет «пралитовцев», «праказахов», «праангличан». Народы рождаются, старятся, исчезают. Имена переходят по наследству или теряются. В истории на этот свет — бездна обнадеживающих и обескураживающих свидетельств. В «независимой печати» обыгрывается сейчас старинная пара названий: «Русское Литовское Княжество» — против «Московско-Казанского Ханства». Слишком понятно, кого и как поддевают этой ономастикой. Я бы сказал, что ею поддевают разом и русских, и литовцев... и татар тоже. Не смог Сарай объединить гигантские пространства — досталась эта роль Москве. Но и Литва в свой час претендовала на подобную роль. А если бы преуспела? Кто от кого сегодня отделялся бы?

Москва — порождение отнюдь не только славянского корня, или «дичка», как сказал поэт, «подвоя», удержавшего слово «Русь», что всплыло из славянских глубин (и то — не из варяжских ли?), — тут еще многое привилось. «Классическую розу» в нашем букете мы созерцаем благоговейно, но и татарскую традицию государственности признать придется: ордынский костяк посреди евразийской безграничности. Не говоря уже о греческом, византийском хитроумии, через которое оказалось пропущено (нами, нами!) доставшееся нам христианство и которым мы теперь освящаем нашу спасительную хитрозадость. Язык? Да, это важно, жизненно важно. Первоэлемент культуры! Так если отсчитывать от славянской архаики, русский язык наиболее модернизирован, даже слишком модернизирован, на взгляд ревнителей; если же отсчитывать от мировой прагматики (где побеждает гибкий и быстрый на перемены английский), то наш язык как раз недостаточно модернизирован, слишком архаичен, малоподвижен...

Чем же нам удержаться?

И еще более страшный вопрос: надо ли удерживаться в этом скольжении? Были до нас люди, будут и после нас...

Так вот: нет такого вопроса для меня. Надо держаться — не «потому, что», а без «потому, что». Надо держаться независимо от всяких к тому оснований. Мы сами и есть «основание». Надо уметь держать имя перед Господом.

Рок русских — податливость. Мягкость наша присновспоминаемая, всеотзывчивость. Рыхлость, компенсируемая безумием насилий. Готовность со всеми «слиться». Потому и империю склеили (немцам не удалось — слишком железные). А мы, как Лесков сказал, — «тесто». И каждый раз — мы не те, что раньше. «Мы не те русские, что были до 1917 года», — истинно так. Когда-то за Ждановым повторяли это с гордостью. Теперь повторяем — с отчаянием.

Так вот: те! И никакой кампанией «исправления ошибок» не вытравить из истории ни одного этапа. Нет у истории ошибочных глав, а есть сплошной крестный путь, где все шаги смертельно опасны и потенциально иллюзорны. Не говорите мне ничего про «иллюзион коммунизма» — я сам из него вышел. Это был действительно иллюзион, наркоз, анестезия; никто этого «коммунизма» в глаза не видел осуществившимся — нигде. Разве что Вера Павловна в прекрасном сне. А была — страшная реальность двух мировых войн, в которых народу требовалось стать огромной армией и положить во спасение имени десятки миллионов. И до этого семь веков — сплошная «война», сплошная «оборона». Двести лет передышки после Петра — и какой взлет культуры, к мировому признанию! А так — тысячелетняя жизнь «лагерем».

И дальше так будет?

Научатся ли люди третьего тысячелетия жить на этой равнине, не тесня и не сшибая друг друга? Или опять всем против всех обороняться? «Открытый вопрос», — сказал бы Глеб Павловский. Еще неизвестно, каким мутантам посчастливится выжить в этой свалке, может, и нашим внукам. Деды выжили дорогой ценой — ценой «коммунизма». Естественно,

военного, потому что невоенного коммунизма не было в природе. Так еще бы меж мировыми войнами и не принять «коммунизм» в противовес тевтонскому «кулаку», и «нацизму», и «фашизму» — растопыренной рукой не дерутся.

Кончится тысячелетняя драка — все переменится. И люди. И песни. Боюсь, правда, что спросят тогда люди будущего: а были ли мировые войны неизбежны, и, значит, нужен ли был лагерный коммунизм пяти поколениям русских? Слава богу, не нам придется отвечать на этот вопрос.

А нам?

А нам — работать.

А мы работать не привыкли, не настроены. Захватывать, удерживать, оборонять, отстаивать, делить, распределять — это да. Стоять насмерть. Культура у нас соответствующая: героическая, трагическая, мистическая, воинственно-религиозная, воинственно-атеистическая.

Гибнет такая культура? Гибнет. Не от «ударов» — от соблазнов. От мировых дискотек.

Как ее спасти?

Никак. Никакими усилиями «писателей» и «музыкантов» вообще не спасешь культуру, если народ не вернется к делу. Если русские не возродятся — и не дай бог как народ воюющий, а как народ работающий. Если не будут при первой возможности высаживаться шеренги «нищих», а пойдут эти люди что-нибудь делать; если не будут шататься по улицам толпы молодых людей в клубах мата, а будут искать себе работы; если стоики, сутками проводящие в очередях, захотят не стоять насмерть, а что-то производить. Я понимаю, что в каждом случае найдется причина стояния: не завезли, не выбросили, не дали, не отпустили... Но когда стояние в затылок приобретает такие масштабы, поневоле закрадывается мысль об «образе жизни».

Культура рождается из образа жизни — «писатели» и «музыканты» ее только фиксируют.

Родилась русская культура из двенадцати составных; все шло сюда, и никто не спрашивал ни «чей ты родом», ни «откуда ты», а только: хочешь ли жизнь положить за эту страну?

Теперь что спрашивать? Хочешь работать? Хочешь строить эту страну? Хочешь ее разворовывать?

Шок бездействия поставил все на грань распада. Пустая земля. Переполненные очередями города. «Рабсила», нанимаемая из-за границы (восточной), потому что тут «некому работать», а работники рвутся через другую границу (западную), потому что там «больше дадут».

Чего нас жалеть, если мы сами не хотим спасения?

Имени жалко, Господи. Пушкина жалко. Толстого. Общего дела жалко, в которое вколотили себя люди, ставшие русскими.

Можно и исчезнуть. Мало ли прошло народов... Где филистимляне? Одно утешение, что в нынешних «палестинцах» отзвук имени можно разобрать.

Кто сейчас русские? Сто миллионов «человеков», ищущих места? Мировая задача, на которую не хватило сил? Кто подберет наше имя, если мы его уроним? Смотрите правде в глаза: это будет другой народ.

Кому «все равно», тому и жалеть не о чем. Мне — не «все равно». Я не хочу, чтобы имя было поднято «кем-то». Я хочу продолжения судьбы, а не «конца».

Или, как в финале своего интервью, говоря о работающем и соображающем народе, который будет жить на этой земле после нас, добавил, дрогнув, железный Павловский: «Я хочу, чтобы эти люди еще и говорили по-русски».

Как минимум!

Так с кем же мы говорим?

...АМЕРИКАНЦЫ

ГЛЯДЯ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

У России есть основания ревниво всматриваться в Америку: когда из двух мировых сверхдержав остается одна, другая задумывается: как та устояла?

В этом смысле выход знаменитого двухтомника Макса Лернера по-русски весьма своевременен (хотя по-русски же — на две эпохи — опоздал).

Несколько слов о книге. Название ее: «Развитие цивилизации в Америке». Подзаголовок: «Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня».

«Сегодня» — это и 1945 год, когда молодой «странствующий философ», «перешагнув свою робость», приступил к грандиозному трактату; это и 1957 год, когда он завершил его в первой редакции; и 1974-й, когда он почувствовал, что Америка «рождается заново» и надо заново все продумывать; и 1987-й, когда написано предисловие к юбилейному — тридцатому! — изданию.

Книга эта — настольная у американцев. «От студента до президента» ее читали все. У нас подобной нет. Разве что «Судьба России» Вердяева? Но у Лернера — не просто философский очерк, у него — огромный свод сведений: энциклопедия, уложенная в жанр «психологического портрета».

Темы — наследие; идея американской цивилизации; народ и земля; культура науки и машины; капиталистическая экономика; политическая система; класс и статус в Америке; жизненный цикл американца; характер и общество; верования и убеждения; искусство и массовая культура; Америка как мировая держава.

А чтобы читатель почувствовал плотность и наполнение, вот — на выбор — глава об искусстве и культуре, которая расшифровывается так: массовая культура как феномен; писатели и читатели; герои, легенды и речь; зрители и спорт; мечта и миф в кинематографе; радио и ТВ: мир в доме; джаз как идиома сознания американцев; архитектура и дизайн; художник и аудитория в демократической культуре.

И чтобы читатель уловил нашу переключку, вот только одна цитата:

«Америка, как на нее ни посмотри, — это оплот техники и культуры, это такой экономический, военный и политический гигант, с которым по мощи может сравниться лишь Россия. Подобная концентрация жизненной силы в ограниченном человеческом сообществе всегда свидетельствует об исключительном скрещении исторических путей, природных условий, биологических свойств и психологических черт нации, организационных структур, общественной воли и устремлений. И если вся эта гремучая смесь воспламенится, возбуждая в людских душах энергию любви или ненависти, в таком случае можно говорить о величественной цивилизации».

Если же в сознании нашего читателя шевельнется сомнение: можно ли такое скопление фактов, такое скрещенье путей, такое столпотворение воли и устремлений охватить, исходя из общей идеи (то есть «телеологически»), то вот мой встречный вопрос: а много ли можем сегодня мы, только что потерявшие «общую идею»? Разве что поучиться у американцев вере в «общую идею», в великую цель — даже тогда, когда она не просматривается сквозь хаотическое смешение.

Мудрец сказал: «Если вы строите замки в воздухе, там им и место, но не забудьте подвести под них фундамент».

У нас плохо с фундаментом, а грешим — на «общую идею». Языки смешались, и ищем архитектора: побить камнями.

Первое мое аховое впечатление, когда семь лет назад неожиданно-негаданно попал в Америку и задрал голову от Пен-стэйшн на нью-йоркские небоскребы:

— Вот Вавилонская башня, которую удалось достроить!

Мне пришлось принять потом много поправок к этому первому впечатлению. Я не мог разделить веселой беспочвенности американцев, а они ласково посмеивались над моей склонностью ко всяческой ностальгии: в составе американской души нет «привязок», а мы «повязаны» по рукам и ногам мыслями и чувствами.

Вообще — другой молекулярный состав. С европейцем русский несхож до несоизмеримости — по формам жизни. Но русский и европеец сделаны все-таки из одного материала (в том числе и из ностальгии, из исторической памяти, из невозможности «все сменить»). С Америкой у России поразительная схожесть по «формам жизни». В том числе и по страсти к обновлению, по бесконечным порывам: «все сменить». Но мы сделаны из разного материала.

Поэтому непредсказуемы тесные контакты. Антивещество...

Но как славно переглядываться через океан!

Американец судит о себе по тому, чего он достиг. Русский судит о себе по тому, «ЧТО он есть» — независимо от того, чего достиг.

Американец «отобран» по предприимчивости: до Америки добирался тот, кто готов был «встать и идти». Русский «отобран» по осмотрительности: здесь оставался тот, кто оставался.

Американец работает, засучив рукава, чтобы и его внук мог работать, засучив рукава. Русский работает, засучив рукава (или спустя рукава, или делая вид, что спустя рукава), чтобы его внук мог, наконец, избавиться от проклятой работы.

Но и русский (изначально русский, рождающийся в XIV веке из славянина, финна и татарина), — это тот, кто «встает и идет». Общее у первопроходцев Старого и Нового Света: чувство пути. «Дорога на океан». Фронтиры, рубежи, горизонты. Мечты. Непосильные глобальные задачи.

Американец (я имею в виду Лернера), готовясь к испытаниям, напоминает себе суховатое замечание Фрейда о том, что счастье «не является составной частью жизненного устройства». Русский (я имею в виду

русского поэта Осипа Мандельштама), готовясь к ссылке, спрашивает жену: «Кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?!»

Пошли, Господи, счастье людям и народам, положившим жизнь в основание тех путей, по которым идет в неизвестность человечество.

РОССИЯ ПОДМИГИВАЮЩАЯ

«На сегодняшний день существуют две наиболее сильные цивилизационные системы — ислам и американский образ жизни (как бы его покороче назвать американизм?). Недаром между исламскими режимами и США (а цивилизационно между исламом и американизмом) идет борьба не на жизнь, а на смерть.

Обе эти цивилизации выносят на всемирное торжище собственные жизненные стили. Оба стиля молодые, агрессивные, понятные, состоящие из простых и ясных жизненных указаний для людей обоего пола, любого возраста и социальной группы. Отвечающие на такой трудный в нынешних обстоятельствах вопрос — как себя вести. В каждый отдельно взятый момент и в жизни в целом, по отношению к отдельному человеку, нации и всему человечеству. Отвечающие быстро, ненатужно, с примерами. Предлагающие все в готовом виде. Американизм — Голливуд, джаз, CNN, Ниагара популярной печатной продукции для простого народа. Ислам — пример исламских государств, законы шариата, отвечающие глубинным народным представлениям о добре, зле и справедливости. Поэтому эти стили так легко приживаются в иноцивилизационных средах...»

И в инациональных, надо думать?

Конечно:

«Американизм... выше этноса, религии и государства. Разумеется, в американизме есть масса расовых, культурных, религиозных течений, безуспешно испытывающих его на разрыв. Точно так же в исламе есть и собственно религиозные толки, и политические противоречия, и этнические нестыковки — но ислам, несмотря на это, целостен, полон жизненных сил и бодро смотрит в будущее...»

Денис Драгунский в статье «Красное вино геополитики» («Дружба народов», 1997/2) обрисовывает эту ситуацию как бы попутно; главная его задача — высмеять современных наших геополитиков, занимающихся пустым делом — поисками путей русской цивилизационной модели.

Почему пустым?

Потому что России в этом смысле ничего не светит.

«Русская цивилизация» слабовата именно в геополитическом смысле. В ней отсутствует то, что у генетиков называется «пенетрантность» — проникаемость в чуждые среды и самовоспроизводство в этих средах. Нет легко усваиваемых и легко воспроизводимых шаблонов поведения.

Какой-то журналист «Московского комсомольца» точно заметил: русские общаются «сущностно», то есть без правил, по своему сиюминутному пониманию, в свободном потоке симпатий и антипатий. Об

этом писал и Розанов — о русском подмигивании и понимании без слов, которое с иностранцем невозможно. И очень жаль, что невозможно.

Что жаль, я с Драгунским согласен. Я не согласен в другом — в том, что о политике лучше не думать и что нам остается только подмигивать. Ужасно тянет думать о геополитике, хотя Драгунский от этого и предостерегает. Конечно, словами ничего не поправишь. Но, может, удастся подмигнуть.

Значит, в двадцать первый век человечество вошло, как и повелось, на двух ногах. То есть по биполярной схеме, или, скажем так: по двухколейному пути. Раньше было: Запад — Восток, капитализм — коммунизм, США — СССР...

Теперь: американизм — ислам.

Увы, Россия из этого осевого противостояния выпадает. Мы становимся лишь полем столкновения сил, вне нас и помимо нас существующих.

Если эта модель правильна, кое-что становится понятнее в абракадабре нынешних событий. Например, в развале Советского Союза. Казалось, что если ему суждено развалиться... Это «если» барьером стояло в умах вплоть до самого конца 1991 года, когда развал грянул, как гром с ясного неба. Но уж казалось, что вслед за Прибалтикой (она, разумеется, первая) отвалятся Средняя Азия и Казахстан. Однако отвалилась Украина; возжеленное славянское единство оказалось главным блефом. (Вожделенное — потому, что в умах жила идея этнической солидарности, общей истории, языковой близости и т. д.)

Но ни американизм, ни ислам никакой этнической солидарности не предлагают. Напротив, и тот и другой — выше наций (как выше наций были коммунизм, Советская власть, Российская империя, императорский Рим; как выше наций любая имперская идея, ориентированная на мировой масштаб). Так что дело вовсе не в национальной незалежности; незалежность — только билет в американизм, как и еврейство при отбытии на историческую родину: историческая родина — тоже ведь форпост американизма, прямо противостоящий исламу на Ближнем Востоке. Украинцы почуяли ветер третьего тысячелетия и из спорного пространства, с поля подступающей битвы кинулись в то укрытие, которое надежнее.

Чеченцы тоже кинулись, но под противоположную крышу. И у них сработал инстинкт самосохранения. И этот инстинкт позволил им два года продержаться против гигантской России.

Против гигантской, рыхлой, ослабевшей, разрываемой разнонаправленными силами, что-то невнятное бормочущей, кому-то все время подмигивающей России.

То Западу она подмигивает, то Востоку. И разнонаправленные силы рвут ее: одни тянут на Запад, другие — на Восток (это идеологически; геополитически же надо говорить — на Юг).

Евразийская идея, которая номинально должна бы удержать Россию от распада, расщепляется и расплзается на глазах по тем же этническим швам. Так что не мы будем решать исход дела, решать будут — через наши

головы (или на наших спинах) — две мировые, сверхнациональные, универсальные, духовно уверенные в себе силы: американизм (под флагом мондиализма, атлантизма и «общечеловеческого пути») и ислам (под флагом религиозности, верности традициям и праведного порядка жизни).

Интересно в этом контексте выглядит пресловутое «расширение НАТО на восток». Что, Запад хочет окончательно развалить Россию? Вряд ли (хотя по геополитической инерции XX века, по инерции наработанных схем и генеральской тупости «расширение» оформляется по-военному напористо и нагло, и отсюда же — наше импульсивное ему яростное сопротивление). Если Запад Россию развалит, он окажется лицом к лицу с исламом в евразийском поле, где позиции ислама загодя предпочтительнее (как бы новый Батый не дошел до Вены или новый Жуков до Эльбы). Западу нужна Россия целостная, сковывающая исламские силы и прикованная к исламскому фронту. В крайней ситуации НАТО вряд ли поможет нас добывать; скорее оно подопрет (как подпер нас когда-то Рузвельт против Гитлера).

Решаться же будет, — наверное, все-таки между главными противниками, каждый из которых будет смотреть на другого «сквозь нас», в лучшем случае пытаясь привлечь нас на свою сторону. И решаться будет — не в наших «тайгах» и тем более не в наших «болотах». А где-то по периметрам Индийского и Тихого океанов (Тихий, возможно, придется переименовать во что-то громкое) и Средиземного моря (а тут к геополитическим разборкам не привыкать).

Какая роль уготована нам в этой надвигающейся драме? Нам — России, русским? С чем мы в нее вступим? Думает ли над этим наша интеллигенция?

Или вслед за великим японцем нам придется утешаться так: я умираю, но то, что создало меня, создаст второго меня?

ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗ ОДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ДРУГУЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ.

*Прошу перевести меня из внутренней
эмиграции в наружную.*

Юрий Дружников

Давно меня подмывает его перевести, но в обратном направлении. То есть из того несколько подвешенного состояния, о котором сам Дружников сказал стихами: «Как хотел бы я быть в России всей душой! Но телом ни-ни», — вернуть его в наш российский литературный процесс, то есть туда, где хотела бы быть его душа.

Если взвесить сделанное Дружниковым за последние десять лет, то мое желание не покажется странным. «Вознесение Павлика Морозова» (низвержение мифа о Павлике Морозове) — сенсация; можно по-разному оценивать эту работу; технология демистификации, которой автор, кажется, дорожит более всего, меня трогает куда меньше, чем раскопанная Дружниковым история кровавой склоки в тавдинской деревне времен

коллективизации — докопался до правды Дружников виртуозно, и повесть его не случайно стала бестселлером.

Следом — серия его исследований о русских и советских классиках, составившая особую книгу; и там все то же: «технология лжи», сращение литературы и идеологии, сращение идеологии и тайной полиции на протяжении двух веков великой русской словесности и полувека советской. Опять-таки мне и там далеко не все близко; одно дело отследить настроения Пушкина как потенциального отказника и невозвращенца — в полуторавековой пушкиниане такого еще не было; и другое дело пенять Юрию Трифонову, что смел печататься в официальной советской печати. Ну и смел! И правильно делал! И читаем его! А что он написал бы, если бы играл в молчанку или печатался «там», пусть бабка гадает.

Дружникову бабка нагадала самоосуществление «там» — и отлично. Вот и его читаем. Прелестны его американские «парадоксы», и особенно «Техасские заскоки»; не удержусь, вернусь еще к этим очеркам, они составляют заметную часть последней публицистической книги Ю. Дружникова (книга издана в США, содержит «избранные эссе, статьи, очерки, фельетоны, воспоминания, записные книжки» и называется «Я родился в очереди»). А все-таки самое интересное для меня в этой книге не та очередь, где автор родился, и не то отсутствие очередей, ради которого он метнулся в Техас, но сам перемет-перелет перестрой души. «Процесс перемещения из одной реальности в другую» — из цивилизации в цивилизацию, или, огрубляя, из отсутствия цивилизации в ее, так сказать, присутствие. А также та загадка, что душа при этом остается почему-то «здесь», то есть при тотальных мифах и бесконечных очередях.

Пожалуй, с очереди я и начну. Именно статья о бесконечных очередях, пересланная в 1979 году в США, а потом перепечатанная по всему миру, положила начало десятилетнему отказному сидению Дружникова в СССР, и именно эта статья — визитная карточка писателя — дала название итоговой книге его публицистики.

«...Я родился в очереди... И с тех пор очередь стала неотъемлемой частью моего существования... Ежедневно стоял в очередях за хлебом, за стаканом воды, купить рубашку или ботинки, за учебниками или тетрадями, за паспортом и военным билетом, чтобы подать документы в институт, чтобы взять книгу в библиотеке, залечить зуб, жениться, развестись».

Что в роддом мать не приняли без паспорта — действительно случайность: «к несчастью, мать забыла паспорт» (ну, так не забывай). Все остальное — закономерно. Что нужно, чтобы не было очередей за хлебом? Нужно, чтобы люди жили на земле и хлеб растили. Много желающих? Все в город катят на гарантированные хлеба. За стаканом воды стояли? А много было желающих встать у бочки и этой водой торговать? Охота новую рубашку и ботинки? А шить эту рубашку и тачать эти ботинки — охота? Или приятнее «подать в институт», «взять книгу» или даже «жениться и развестись» — так ведь чистых мест на всех желающих никогда не хватит, ибо, как верно заметил Дружников в своей записной книжке, «трудность жизни читателя в том, что очень много пишу».

Конечно, когда власть выстраивает массу желающих в очередь, то выглядит это так, как будто власть эту очередь придумала специально,

чтобы сделать жизнь человека невыносимой, чтобы он прямо-таки в этой очереди родился и более ни на что не претендовал, — но ведь корень зла не столь юмористичен (хотя Дружников прав: в нашей буче, боевой, кипучей, чувство юмора лучше не терять). А в основе все то же: надо пахать, надо вкалывать, надо делать тетради на бумажной фабрике, а бумагу — на целлюлозном комбинате, надо сидеть в милицейском паспортном столе, сидеть в военкомате, в загсе, работа тяжела, скучна, рутинна, а человек рвется к чему-то возвышенному и чистому, а если он чувствует, что наделян талантом, то и вовсе ему невтерпёж, и невыносимо, и «какого черта», но талант — понятие трудноизмеримое, и желающих писать и плясать всегда больше, чем желающих читать и аплодировать, как желающих выпить всегда больше, чем желающих налить; это, так сказать, статистика, соотношение качеств человеческой природы, природа вещей; с этим трудно смиряться, но приходится, потому что иначе вцепишься в какого-нибудь крайнего: это он — подлец-редактор, это он меня не печатает!

Не скрою, эти достаточно ходовые эмоции «зацепили» меня у Дружникова в связи с эпизодом отчасти и личным: дело в том, что его полемика с С. Баруздиным в 1988 году, когда тот напечатал «Ответ Ю. И. К.» и получил от Дружникова отповедь, случилась на моих глазах, и если «Новое русское слово», напечатавшее дружниковскую «Щель в приоткрытом обществе», обреталось в «другой цивилизации», то к «Дружбе народов», напечатавшей баруздинское письмо, я имел самое прямое отношение. Больше скажу: проработав под началом Баруздина в «Дружбе народов» без малого двадцать лет, я могу до некоторой степени судить о справедливости характеристик, ему даваемых.

«Секретарь Союза писателей, посаженный в кресло личным наместником Сталина Дмитрием Поликарповым...» — характеристика совершенно пустая. Потому что ВСЕ секретари и редакторы садились тогда в кресла с санкции «наместника», это был общий порядок, и Дружников это знает. А вот что журнал из малотиражной «братской могилы» превратился в один из самых читаемых, с миллионным тиражом, — это «наместниками» не предусматривалось, и это уже заслуга самого Баруздина. То, что в годы журнального безвременья (то есть перестройки), уже после смерти Баруздина, «Дружба народов» не погибла, удержалась, сохранила лицо — тоже во многом следствие того, что журнал лицо ИМЕЛ. И это Дружников тоже знает: то, что он сегодня охотно печатается в «ДН», а не в каком-нибудь новоиспеченном радикальном «детище гласности» — следствие того же, и все это результат не диктата наместников, а того, что в условиях диктата С. Баруздин сумел сделать достойный журнал.

Захотел бы Ю. Дружников сыграть такую же роль, — наверное, смог бы: у него в его главном романе, в «Ангелах на кончике иглы», все варианты подобной технологии описаны и прочувствованы детально: начиная с правды полунамеками и кончая доведением официальной лжи до абсурда. Не захотел не надо. Другие сделали. И в результате имеются-таки необанкротившиеся органы печати, в которые есть смысл предлагать тексты, и имеются неразбежавшиеся читатели, которые тексты читают. Так что милости просим... печататься (ненавижу это слово).

По-человечески Дружникова можно понять: чего не скажешь в пылу полемики! Но ведь это переиздано сегодня, сейчас, без позднейших комментариев:

«Не будем играть в прятки. В том, что российская литература достигла внутри страны великого оскудения, большая личная заслуга Сергея Баруздина».

Бога не боитесь, Юрий Ильич!

Кстати, об игре в прятки. Оно, конечно, пока гласности нет и концы спрятаны, тогда, может, и не сообразишь, где кончается и где начинается сакраментальная «очередь», но когда прятки отменены, многое становится настолько ясно, что хоть снова прячься.

Ну вот, цензура. Как-то полфразы финальной выкусила у Дружникова, а запятую убрать забыла, с этим выкусом и вышла книжка, завершающаяся запятой. Один американский критик, написавший о Дружникове исследование, предлагает книжку эту сдать в музей тоталитаризма. Можно — там таких экспонатов навалом. У меня при тоталитаризме был такой случай. Я писал в журнале «Литературное обозрение» о весьма значительном писателе и с ним полемизировал, а со мной, защищая писателя, в том же номере полемизировал В. Оскоцкий. У меня эту полемику цензура сняла, а у Оскоцкого цитаты из меня снять забыла. Так и вышел журнал. Мне говорили, что надо возмутиться и протестовать, а я смеялся: пусть хоть из Оскоцкого умница-читатель узнает, что я на самом деле думаю.

Разумеется, каждый реагирует соответственно своему характеру. Один продолжает придуриваться и играть в прятки, дудя в свою дуду (это я), другой (Ю. Дружников) клеймит цензуру, систему, структуру, пирамиду власти, «технологию» мифоохмурения, выводя на чистую воду наместников и целясь в самую вершину, а потом вдруг обнаруживает:

«Как ни смешно, и Михаил Горбачев (в бытность президентом. — Л. А.) подлежит цензуре. Устно он еще может высказать что-то субъективное. А в печати это бывает вычеркнуто или поправлено. Может, цензура сильнее партии?»

Так что же все это? Нахлобученная на нас система? Ложь, оседлавшая истину? Или «что-то», пронизавшее всю нашу жизнь сверху донизу... а лучше сказать: снизу доверху и только ПОТОМ — сверху донизу? И это «что-то» всеохватное и всепроникающее, неуловимое и неистребимое — сильнее и партии, и главы партии? Так что же, что это? Опять «очередь»?

Оглянемся. Нету партии. Нету цензуры. Нету очереди «напечататься»: иди и издавай, если охота.

И что же? Что имеем? Взлет литературы? Открытие истины? Откровение гения?

«Наоборот, выплеснулась пена графомании».

Может, пора опять спрятаться?

Ну, еще об игре в прятки.

Всех упрятали, никого не выпускают, плодят отказников. ОВИР, колючая проволока. Это безобразие — чуть не с тех времен, когда Грозный Курбского не пускал, а Курбский от Грозного сбежал.

И тут замечательная догадка:

«Да и сам Грозный готовился в случае опасности драпануть за кордон».

Ну и ну: карусельная очередь! Где же она начинается и где кончается очередь на отъезд? И кто кого не пускает: то ли Грозный держит всех, кто от него бежит, то ли все готовы сбежать друг от друга и друг друга держат (и Грозного в том числе)? И если это круговое безумие идет от времен Грозного, то почему за него должен отвечать ОВИР? Тут уж дело не в Советской власти, а в чем-то куда более давнем и глубоком.

Век спустя после Грозного «хорват Крыжанич» выдвигает «пять принципов русской власти», которые Дружников цитирует с законным чувством юмора. Вот они: 1) полное самовладство, то есть тирания; 2) закрытие рубежей, то есть железный занавес; 3) запрет жить в безделье, принудительный труд; 4) монополия внешней торговли; 5) запрет на ереси, то есть борьба с диссидентством.

Дружников комментирует это с улыбкой — как сейчас написано! И я его понимаю: приятно знать, что Троцкий и Черчилль заимствовали литературные находки нашего «хорвата». Но мне хочется откомментировать совсем другое. Значит, и в семнадцатом столетии стояли те же проблемы? И власть первых Романовых была бессильна их разрешить? Так что надо было ей делать? Позволить бездельникам не работать? Отдать страну диссидентам? Убрать железный занавес?

Его и убирают время от времени. Вот сейчас тоже убрали. И что же констатирует бывший диссидент?

«Миллионный наплыв эмигрантов».

Запад в ужасе перед покотившимися туда от нас «волнами» (и не только от нас — из третьего мира вообще). Впору новые барьеры ставить. И ставят. Не мы — они. Сам Запад. Но разве там работники не нужны? Нужны. С тем же уточнением: «Дипломатов, журналистов, политологов, психологов в Америке перебор».

Так откуда железный занавес? От тоталитарной идеологии? А может, от призрака «великого переселения народов», который бродит по Европе со времен Аттилы? Кому по силам спасти с помощью этого занавеса Европу и Америку от наших родимых гуннов? Дипломатам? Психологам? Журналистам? Что они могут? Гуннов в совков переименовать, а совков — в «инакомыслящих»?

А еще — улицу Вривибас в улицу Ленина:

«Главная магистраль Риги называлась Александровской — в честь Александра Первого. В двадцатых годах, когда Латвия стала независимой, Александровская сделалась улицей Свободы. Позже в Латвию вошли советские войска, сделали улицу Ленина. Во время войны она стала Адольф Гитлер-штрассе. После войны — опять улица Ленина. А теперь снова улица Свободы, но уже только по-латышски: Вривибас».

Сочувствую рижанам. Но если сначала наследили подручные Александра, потом подручные Сталина, а потом подручные Гитлера, и, стало быть, мордуют все, кто кого может, — что же вы так прикипели именно к «советской топонимике»? Почему вы так старательно издеваетесь над «Союзом Советских Социалистических Республик»: это-де бессодержательный набор слов, ни к глобусу не привязанных, ни к Москве, ни к Евразии?

Насчет глобуса возвращаю Дружникову его же блистательную остроту: «А грузинский глобус у вас есть?» Насчет же того, что «Советский Союз семантическая пустышка», спрошу: а «Русь» — что такое? Не семантическая пустышка? Вы знаете, откуда эта самая «Русь» взялась? От шведов? От греков? От арабов? Ключевский не знал. Преображенский не знал. Дружников насчет «Руси» резонно замечает:

«Дело не в первоначальном смысле. Для миллионов людей это слово веками было (и остается) названием родной земли».

Так! Однако почему вы не допускаете, что и «Советский Союз» для миллионов людей был (и остается) названием родной земли — безотносительно к «первоначальному смыслу»? Вы и этим миллионам посоветуете «процесс перемещения из одной реальности в другую»?

Все дело в том, что считать «реальностью». Пляшут на похоронах, думают, что хоронят социалистический реализм, секретарскую прозу и прочие тоталитарности, а потом соображают, что закопали литературу, и удивляются, зачем она снова прорастает. Или: жалят систему, структуру, пирамиду, а оказывается, что искусили страну, народ. Или: идут с ножом срезать большевистский слой истории, а за ножом почему-то кровят тысячелетия.

«Почему поселок Сокол, а не Буревестник?!»

Потому, уважаемые, что Сокол — фамилия инженера, который когда-то жил в поселке; приправлять это блюдо Горьким необязательно.

«Мандельштам... убит в лагерной очереди за куском хлеба».

Конечно, меня там не было, но, судя по мемуарам, Мандельштам умер в бане или в раздевалке перед баней, а «очередь» — это ваша, извините за выражение, парадигма.

А вот и другая:

«Я уехал на два месяца в Дом творчества, работал от темна до темна...»

Как? Ведь не пускали, исключали! В бесконечных очередях держали! Какие дома творчества, откуда? Да еще чтоб диссиденты там «месяцами обитали»?

Я, разумеется, ловлю блох. Если бы в текстах Юрия Дружникова была только «поверхность» и зияли «недосмотры», не было бы и драмы. Но он смотрит глубоко и видит далеко — не только дурака-цензора, который вымарал ему «тучку», напозавшую на «рыжее солнце». Он чувствует, что дело не в тех, которые «наверху», дело в почве, дело в «Маше», в миллионах «Маш», в состоянии народа, в его тысячелетней психологии. Или,

как сказано в одной американской книжке про Дружникова, тут «безысходность — в генах».

Как от этого избавиться? Систему можно «сменить», от народа «сбежать», но как сбежать от собственной наследственности? «Сменить» душу?

А до души, как правило, и не доходит, скажете вы. Тело жалуется так громко, что душу не слышно.

Слышно, уважаемые, слышно. Доходит и до души, хотя, конечно, это непросто, когда идут похороны социалистического реализма и общий по этому поводу перепляс.

И вот в связи с этим — главный поразивший меня эпизод.

Николай Климонтович напечатал в «Новом русском слове» статью «Излечение от литературы», где объявил с сокрушением, но и с облегчением: «Загаженные вишневые сады российской словесности... выкорчеваны». То есть вслед за автором «Сокола» и «Вуревестника» отправлен на свалку истории автор «Каштанки», а значит... как сказал бы Дружников, «список можно продолжать долго».

Но в данном случае Дружников не стал продолжать список долго. Он сделал нечто неожиданное — взорвался яростью. И, сознавая даже, что «сам через эти взгляды прошел и даже им симпатизирует», от всей души врезал новоиспеченным нигилистам. Потому что «нигилизм для них просто стартовая площадка, переходный этап из ничего во все. Отрицание для них — расчистка места, чтобы окопаться, занять рубежи, а затем заявить о себе и создавать то, что они хотят. Если они знают, чего именно хотят».

Знают, надо думать. Если не «душой», то уж «телом» — точно. Топчут интеллигенцию — огулом. За то, что «боролась». За то, что «не боролась». За все. Расчистка места.

«Но надо ли перечислять множество таких интеллигентов разных времен... которые умело и умно сотрудничали с правительством...»

Перечислять, разумеется, не надо. Надо оценить перемену фронта, переход Ю. Дружникова из одной реальности в другую:

«Литература как народ: она разная, она не может быть вся плохой или вся хорошей, она не может вся умереть, не может быть вся виновата».

Знаете, я снимаю шляпу перед Климонтовичем и другими нигилистами: «достали-таки» Дружникова, вытащили душу из диссидентского «тела». Мне такое было бы не под силу.

Мне остается — вслушиваться через океан, как по ту сторону поет душа.

Выполняю обещание: вот блестящий пассаж из «Техасских заскоков»:

«Техасцы очень гордятся своей независимостью. По сравнению с остальными американцами, она у них в квадрате. Хотя они стали частью США еще в первой половине прошлого столетия, по сей день есть граждане, которые в душе и поступках независимы от Соединенных Штатов и вывешивают над своим домом только техасский флаг. По-английски они говорят на таком своем диалекте, что приезжему из другого штата ничего не

понять, и первое время где-нибудь в глубинке с необразованными местными людьми я нуждался в переводчике с техасского на английский.

Техасский патриотизм иногда анекдотичен. Мы ехали на машине в Нью-Йорк, и парень в техасском отеле спросил: „Вы куда, в Штаты?“ Патриотизм имеет и пищевой облик: в магазине лежит сыр в виде карты Техаса как независимого государства. Некоторые техасцы заявляют о необходимости отделиться от Америки, и — в отличие от лиц в некоторых других странах, где власти за это преследуют, — техасцы могут делать это открыто».

Добавить нечего. Комментировать не хочется. По въедливости критика прокомментирую все-таки... но не приведенный отрывок, а то место на следующей странице, где Дружников говорит: техасские зеленые поля и заросшие лесом холмы — «вроде лучших мест Кавказа или Крыма». Не надо! Лишнее! Во-первых, это вроде удара по уже вбитому гвоздю. Во-вторых, перемещает нас из реальности художественной в реальность газетную. То есть из внутренней — в наружную.

А мне так нравится перемещать Дружникова обратно.

Душу, естественно. Тело — ни-ни.

ПОЧЕМУ Я НЕ АМЕРИКАНЕЦ?

(Ответы на вопросы американского журналиста Вл. Нузова)

— *Позвольте начать с личного вопроса. У вас трое детей. Вы испытываете беспокойство за их будущее?*

— Да. Как конкретный отец конкретных детей. Но если брать ситуацию в принципе, — нет. Потому что будущее детей не в наших, а в их руках. Они выстроят ту жизнь, в которой осуществляются, и выстроят именно такую, в какой осуществляются: соответственно собственной природе, а не по нашим прекраснодушным заветам и сомнительным проектам.

Мой отец был убит в 41-м тридцати семи лет от роду. Я сейчас почти вдвое старше.

Мой дед был раскулачен в 29-м и еще десять лет протянул изгоем — я сейчас перешагиваю его предельный возраст.

Наверное, и отец, и дед по инерции, погибая и загибаясь, думали обо мне: что станет с мальчиком, как обезопасить его, как помочь?

И я думал по той же инерции, что дело старших — помогать мне. Пока однажды меня не потрясла догадка: да не они мне, я — им мог бы помочь! Помочь им понять ту реальность, которая их скрутила и убила, а меня оставила жить. Ни дед, ни отец ничего не объяснили мне про их жизнь. А я им — мог бы. И про их, и про мою жизнь.

До поры до времени, конечно.

И вот моя пора тоже проходит, мое время минует, мое государство в руинах, мои идолы попорчены, мой народ оскорблен и стервенеет, и сам я себе все более кажусь реликтом.

Мои дети ориентируются в этом «хаосе» лучше меня; для них это не «хаос», а новый космос, и они вооружены по его новым законам лучше меня.

В принципе я беспокоюсь не за их будущее, а за будущее того, ЧТО их породило (и меня, и моего отца, и деда), — за Россию, за русскую культуру, за русское место в мире.

Пропадет — и говорить будет не о чем.

— *Не кажется ли вам, что мы от фальшивого «обтянизма» перешли к жестокому пессимизму и что истинное наше положение где-то посередине?*

Я и так всю жизнь «посередине». Не в том смысле, надеюсь, что ни холоден, ни горяч («изблюю тебя из уст моих» — сказано о таких, и правильно), а в том смысле, что ни пессимизм, ни оптимизм не отражают бытийную ситуацию, а только настроение индивида, попавшего в ситуацию. А настроение изменчиво: перевернись ситуация — и оптимист впадет в пессимизм, перевернись еще раз — и пессимист взвоется в оптимизм. Надолго ли?

Смысл таких перепадов только в том, чтобы выявилась относительность подобных состояний. То есть самому безнадежному пессимисту надо бы посоветовать время от времени оборачиваться на оптимиста, а самому разудалому «обтянисту» надо бы шепнуть на ушко прогностическую гадость, чтобы малость осадить его ликование.

Это все психология. Что же до онтологии, то есть до основ бытия, то мы этими основами все равно не владеем. Нас несет поток, поток истории, мы можем выплывать, выгребать, вырливать, выбиваться из сил, выскакивать на стрежень, вылетать из водоворотов. Но сам поток нам не одолеть; источник его мы можем называть по-всякому: Природа, Бог, Логос, Рок, — но мы им не управляем. Мы только принимаем то, что нам выпадает. В этом наша безнадега. Но и надежда тоже. Ибо мы сами созданы этим потоком.

Я умру, но то, что меня создало, создаст другого меня, — вечная признательность великому японцу Акутагаве за эти слова.

Так пессимист я или оптимист?

Фаталист. Этого достаточно.

— *Недавно я беседовал с Иосифом Кобзоном. Песня занимает важное место в духовной жизни общества, правда? Но нет ли такой закономерности: чем высокоорганизованнее общество, тем меньше в нем поют?*

— Чем «высокоорганизованнее» общество, тем больше в нем автономных отсеков, где каждый имеет возможность петь свою песенку и дудеть в свою дуду. Само пение заложено в природу человека, как стон боли или визг радости. Так что поют сегодня, я думаю, столько же, сколько всегда. Хотя слушают не так, как вчера: не тех, не там и не потому.

Возьмем XIX век, предреволюционный. В дворянском имении поют романсы, в деревне — тягучие страдания либо бешеные частушки, в заводе или на фабрике — песни разбойные, в полку — строевые, воинские. Самое интересное когда эти отсеки начинают сообщаться, а певцы — перекликаться, то есть когда разбойные песни начинают петь в салонах, а

салонные романы — с издевкой — в трактире при фабрике. Значит, старая песенка спета. Жди бунта и революции.

Возьмем век победоносного социализма. В динамиках гремит «советская песня» (рожденная, между прочим, от местечкового мажорного распева, что Иосиф Кобзон, конечно, хорошо знает). Русский минорный зауныв загнан на этнографические задворки, сослан на подмостки художественности. Между тем студент, вооружившийся гитарой, уходит в лес на маевку (которая называется «турпоход») и «рождает» обворожительный феномен «авторской песни». На переломе от 60-х к 70-м эта песня выходит из леса и взлетает на подмостки; в 80-е она с подмостков прыгает в радиостудии и голосом Высоцкого хрипит в динамики на всю страну; страна же, затыкая (или развешивая) уши, уже ищет противовесов. Ревут от радости бытия крутые парни в подворотнях и на дискотеках, а в салонах ностальгически, под ту же гитару, стонут от боли пережившие ломку интеллигенты — голосами Окуджавы, Визбора, Кима, Якушевой, обеих Матвеевых...

Так что при любой «организации общества» мы по-прежнему стонем, как некрасовские бурлаки, и визжим, как толстовская Наташа Ростова.

— *Теперь о литературе — до нее ли сейчас обществу? И если не до нее, то так ли уж это плохо?*

— Что такое хорошо и что такое плохо? Хорошо ли быть лучшим и талантливейшим поэтом эпохи, которую потом объявляют людоедской? Плохо ли, когда огромный народ читает тексты, спускаемые ему в виде обязательной пайки, а главное, всему верит? А убедившись, что книги врут, уже и ничему в них не верит?

Общество русское три столетия обожествляло книгу, а до того семь столетий поклонялось Слову. Я имею в виду Священное писание, которое русские признавали только как «древнее», то есть огражденное от новаций. При первой же попытке обновить — раскол поразил нацию. Но и обновившаяся часть, оказавшаяся сверху, сохранила идольское поклонение — если не Богу, так Пушкину, о котором, как о Боге, было сказано: это «наше все».

Теперь «обществу» не до литературы. Все кинулись зарабатывать (сегодня это означает торговать), и читать стало, с одной стороны, некогда, с другой — неинтересно, потому что русская литература звала человека отнюдь не торговать. И советская тоже.

На освободившееся место рвутся ТВ, кино, рок-музыка и прочие жесто-пластические формы самовыражения. Бог, сдвинутый Пушкиным в литературу, возвращается на свое место, и народ привычно идет в церковь. Огромное количество искренних и лукавых борзописцев прошлой эпохи, поставлявших народу идейное чтиво, отваливает из литературы; на их место приваливает такое же количество искренних и лукавых борзописцев новой эпохи, поставляющих народу чтиво безыдейное, в рассуждении того, чтобы народу легче было «крутиться».

Я не знаю, хорошо это или плохо для общества и народа. Мне от всего этого скорее плохо. Моя литература еле дышит. Мне на литературном

потребительском рынке не пристроиться. Я еще в 1992 году приготовился к худшему...

— *Вы тогда сказали, что оказались трудоголиком, поэтому живете неплохо. А как живет основная масса писателей — нетрудоголиков, коих в Москве было, кажется, около трех тысяч?*

— Я не знаю, сколько их было, и тем более не могу сказать, куда они делись. Наверное, рассосались, перестроились, выкрутились. Иные, может, и спились — они ведь и при социалистическом реализме возгоняли в книгах спиритус, то есть убеждали себя и читателей, что мы все живем душой на облаке, а скоро и телом вознесемся в рай, то есть в коммунизм. Я делал то же самое, а разница меж нами та, что я ничего другого, кроме «писания слов» и «возгонки духа», делать не могу и не хочу, а «основная масса писателей», как вы ее называете, наверное, смогла без листа бумаги обойтись.

Трудоголик ли я? Не думаю. Я бы сказал «графоман» — это точнее. Для меня писать нетрудно, это вообще не труд, а естественное состояние. Трудно, когда тебе не дают писать, мешают, препятствуют; труд для меня — это все то, чем приходится ограждать себя перед листом бумаги.

Стал ли я жить лучше?

Материально — нет. Хотя и не хуже — приблизительно так же. Морально да. Хотя и противнее — от усилившейся нравственной вони. Платить «за строчки» стали впятеро меньше, но печатать стали впятеро больше. А чтобы прокормиться, то печатать впятеро вроде бы и «нужно», но это самообман. Я ведь и раньше старался не писать для прокорма (для прокорма я редактировал других). И теперь пишу ровно столько, сколько хочется, сколько есть сил и сколько душа может. Кормят не «строчки», кормит образ жизни.

Что будет? Не знаю. Умрут толстые литературные журналы, захиреют книгоиздательства, иссохнут библиотеки? Не исключено. Воцарятся дискета и экран? Допускаю. Материально-технические носители слова сменяются? Да, скорее всего. Но само слово как концентрат духовной энергии исчезнет только с самим человечеством.

Тем более не исчезнет слово в моем народе, привыкшем слову поклоняться. Верить слову. Драться словом. Блудить словом. И искренне каяться — на словах же.

— *Вы недавно (и, кажется, не в первый раз) были в Америке. Каковы ваши впечатления об эмигрантах из России?*

— Я был в Америке трижды, но никогда не забуду потрясение от первой поездки в Штаты десять лет назад, когда я вдруг понял, что американцы — под другими названиями — построили то общество, о котором мы мечтали (надо ли было именно о таком обществе мечтать — другой вопрос; я думаю — надо, но сейчас речь не об этом).

Шел 1987 год, и третья волна (обильно представленная на славистском форуме в Йеле, куда я был приглашен с двумя докладами), можно сказать, у самолетного трапа обдала меня готовым подозрением: я — из СССР, официально я в их глазах — конформист, тоталитарист и совок.

Странно, но это меня никак не задело. Я это даже не очень почувствовал (мне потом они же и рассказали о своих подозрениях). Отношения очень быстро наладились. Нормальные оказались ребята, только травмированные переездом.

А вот «со стороны» один незнакомый эмигрант, по разговору признавший во мне гостя из Союза, через зал (дело было в кафе) неожиданно больно ужалил фразой:

— Если вы, советские, взорвете атомную бомбу над Вашингтоном, вся Америка бросится в Вашингтон и сплотится вокруг него; а если взлетит на воздух Москва, весь ваш СССР кинется врассыпную.

Я на него так обозлился, что не стал разговаривать. Но теперь много и тяжело думаю над его фразой.

Мы, русские, с европейцами из одного теста, хотя пироги это разные. Настолько разные, что подавиться можно. С американцами же у нас поразительное сходство психологических форм, иногда это просто неразличимые пироги. Но мы с американцами из разного теста. Антитела.

Разница? Я весь состою из памяти. А американец — из сегодняшнего момента. Я в будущее гляжу из прошлого. Он — из настоящего. Я во власти ностальгии. У него ностальгии нет. По этому признаку и отбор шел: чтобы никакой ностальгии. Ты можешь приписаться к Чайнатауну, к Литтл-Итали или теперь — к Брайтону с одесским отливом; ты можешь нанять все это наедине с собой; но поднимая глаза к статуе Свободы, ты должен полюбить ту судьбу, которая начертана при входе в американский мир: придите сюда, изгнанники, лишенные родины, — я вам ее замену.

Переступая эту черту, о прошлом лучше забыть.

Я бы не мог.

Поэтому я не американец.

— *Вот и плавно перешли к последнему вопросу — пожеланию нашим соотечественникам в Америке.*

— Полюбите судьбу.

ПОБЕДОНОСНЫЙ РЕКВИЕМ

*Хотя Соединенные Штаты расположены
далеко...*

***Збигнев Бжезинский. Великая
шахматная доска***

Подзаголовок книги знаменитого американского советолога (раньше говорили «антисоветчика») объясняет читателю, что именно должны делать Соединенные Штаты в разных концах Земли, от которых они «расположены далеко». «Господство Америки и ее геостратегические императивы». Перед нами однополюсный мир. Наконец-то звездно-полосатый флаг, водруженный на полюсе, осеняет Землю (судя по рисунку на обложке, имеется в виду полюс северный; южный изобразительно и виртуально отсутствует). Наконец-то великий игрок, сидя перед «великой шахматной доской», может свободно переставлять фигуры: куда Китай, куда Россию, что сделать с

Европой, что с Японией и т. д. Не очень понятно, правда, в этой метафоре, с кем гроссмейстер играет — видимых противников у него нет. Однако сам факт появления такой книги очень понятен, ибо развал Советского Союза позволил Соединенным Штатам почувствовать себя единственной глобальной сверхдержавой. Это же впервые в мировой истории! Есть от чего прийти в волнение. И есть что обсуждать.

Обсуждать книгу Бжезинского, только что выпущенную издательством «Международные отношения», несомненно, должны политологи и геостратеги, в которых и у нас нет недостатка. Я же, по неистребимой привычке литературного критика, рискну подойти к этому трактату как к человеческому документу. Мне интересны психологические нюансы. В разрозненных публикациях они не были так видны (хотя Бжезинский — любимое «ужасное дитя» нашей печати, и воззрения его достаточно широко известны), в книге же эти краски проступают (и имеют, я думаю, отношение к сути дела).

Суть дела в следующем. Америка должна возвестить миру и навести в мире новый порядок. Главное при этом — не допустить появления глобальных конкурентов. Не дать им подняться. Но нельзя допустить и мировой анархии. А поскольку до всего руки не дойдут, надо опираться на сателлитов, достаточно сильных для регионального упорядочения, но недостаточно сильных для угрозы мировому устройству, арбитру и гаранту, то есть Америке. Через них управлять. Франция уравнивает Германию, Украина — Россию, Япония огромный Китай, и таким образом мир постоянно «нуждается» в Америке как в верховном суде.

При этом сателлитов (наместников? приказчиков? — в русском языке на этот счет богатая парадигма) не следует называть сателлитами, а только партнерами. На самом-то деле это будет никакое не партнерство, а гегемония. Но — аккуратная, осматрительная, осторожная. «Косвенная и на вид консенсуальная», — переводит О. Уральская. Перевожу на более понятный язык: имитирующая обоюдное согласие. Консенсус этот — чисто «формальный». Так и сказано.

Первое читательское недоумение: да зачем же выдавать-то себя? Ну, хитрите, комбинируйте, маневрируйте, но не колите «партнерам» глаза. Грешным делом, я даже подумал, что Бжезинский оговаривается. Или проговаривается. Но потом понял, откуда такая обезоруживающая прямота с «партнерами». Она от убеждения, что тем все равно некуда деться.

Положим, России предписано уйти из Азии и войти в состав расширенной Европы (а расширенная Европа — базовый плацдарм Америки в Евразии; с другого бока Япония — тоже плацдарм, и Евразия, таким образом, — в американских объятьях). Вот Россия и должна войти в Европу в числе десятков других «партнеров». Слишком большая? Так пусть разделится на три «домена»: собственно Россию, Сибирь и Дальний Восток. С автономным «партнерством» всех трех. Хочет ли этого Россия или не хочет — неважно. Она вынуждена. Ей, России, деваться некуда.

Оставим в стороне «русский вопрос», он слишком важен для нас, чтобы отвечать наскоро. Поднимемся на один «уровень».

Возможен ли однополюсный мир? Да, на какое-то историческое мгновение. На момент переходности, невесомости. Но противодействие все равно будет копиться. Иначе — системный кризис, коллапс. Сейчас «американский образ жизни», может, и вызывает «необузданное восхищение» (идеализм плюс богатство плюс кайф «народных развлечений и массовой культуры»). Но Земля слишком многообразна, чтобы подчиниться опыту одного типа, и история недаром выработала множество культур. Не влезет вся Земля в американский опыт. Будут копиться антиязиды. Неважно где, но будут.

Да и состояние гегемонов в однополюсном мире вряд ли останется благополучным. Мы это по поздним римлянам знаем. «Историческая усталость и социальное сибаритство» — вот что грозит победителям. Это — японский прогноз. Бжезинскому не хочется с ним соглашаться. Но и он предвидит гедонистическое вырождение и социальный эскапизм народа-гегемона. Его охватывает тревога. Трезвый человек, он отдает себе отчет почему. Потому что такова природа человека. И природа человечества.

Возникает интересный психологический парадокс. С одной стороны явное «чувство глубокого удовлетворения» по поводу уникальной в истории ситуации: один хозяин на весь мир. С другой стороны — тайное смятение от сознания уникальности этой ситуации. Реквием. Леденящее душу предчувствие: это ненадолго. Это рухнет. Это не удержать. Лет тридцать дает Америке срока Бжезинский. Одно поколение... ну, два. А там что? Мировая катастрофа? Хаос?

Да вряд ли. Как один японец сказал: «то, что создало меня, создаст второго меня...» Сконцентрируются противоположные заряды на невидимом сейчас «другом полюсе», на другой стороне великой шахматной доски. Где именно — пока не видно. Бжезинский и видеть не хочет, и мысли не допускает о потенциальном конкуренте. Не допустить его! Любыми средствами! Не дать подняться!

Но и мировая анархия — кошмар. Расколется мир на национальные лагеря, и станет какая-нибудь нация навязываться миру в качестве гегемона, и погибнет американская система, гибкая, прозрачная, справедливая.

Вот ключевая фраза, замечательная по емкости: «Любой может стать американцем; китайцем же может быть только китаец».

Насчет «желтой опасности» тоже оставим вопрос без ответа. Дело же не в китайцах: немцы при Гитлере сделали именно эту ошибку: «новый порядок» они мыслили как «немецкий».

Но разве не правда, что в контексте русской культуры и российского государства «любой мог стать русским»? От Огинского до Шостаковича и от Дзержинского до Рокоссовского. Если хотел, конечно. Россия мыслила мир вселенским, и СССР пытался стать отечеством пролетариев всего мира. Я не думаю, чтобы что-то аналогичное возродилось именно у нас, но вопрос, так сказать, о стилистической нюансировке: почему то, что у нас беспроблемно, у вас прозрачно, уважаемый пан Збигнев?

КОЭН ЗРИТ В КОРЕНЬ

Россия — это загадка, упрятанная в секрет, который погружен во мрак.

Уинстон Черчилль

Россия — это страна, о которой что ни скажи, все будет правдой.

Уилл Роджерс

Я провел столько лет моей жизни в России, что она стала моей второй родиной.

Стивен Козн

Из мрака своей второй родины, из глубины ее загадочности, из страны, где самое немыслимое оказывается на ощупь реальным, Стивен Козн обращается к своей первой родине и говорит о беспрецедентном провале ее глобальной политики. Книга Козна, выпущенная «Ассоциацией исследователей российского общества XX века», называется «Провал крестового похода», а чтобы нас не слишком сбивали средневековые аналогии, подзаголовок уточняет, о каком именно походе речь: «США и трагедия посткоммунистической России».

Трагедия состоит в том, что за десять лет демократизации Россия доведена до отчаянного положения. Из XX века она опущена обратно в XIX. Глянешь снизу — «массы людей вынуждены вести натуральное хозяйство, выращивая на крошечных огородиках то, что им нужно для выживания, и не имея возможности все это купить». Глянешь сверху — «предполагавшийся переход России к процветанию в годы правления Ельцина завершился беспрецедентным экономическим спадом, гуманитарной катастрофой, гражданской войной, ядерной нестабильностью и, наконец, приходом в Кремль офицера КГБ...»

Последний штрих побуждает меня все же задать автору маленький провокационный вопрос: а что если приход офицера КГБ поможет стране преодолеть экономический спад, ликвидировать ядерную нестабильность и выйти из непрерывного самоощущения гуманитарной катастрофы? Козн — знаток российской истории (его книга о Бухарине в свое время снискала безоговорочное уважение нашей интеллигенции); Козн признает, что в России любые попытки модернизировать страну всегда шли сверху, независимо от того, кто был наверху: «цари или комиссары». Почему на сей раз «офицер КГБ» вызывает у него такой трепет? Может, из чувства противоречия? Из протеста против поддержки, которую оказала новому российскому президенту американская власть?

В сущности книга Козна есть обвинительный акт, предъявленный Америке американцем. Именно Америка, влезшая со своими советами, объявлена у Козна главной виновницей российской «катастрофы», именно американская либеральная доктрина, навязанная русским в 90-е годы, по Козну, привела Россию на грань развала. И это — беспрецедентная неудача американской глобальной политики на рубеже тысячелетий: вместо

признательности русских получена ответная ненависть, вместо разрядки — мировая ядерная непредсказуемость. Опростоволоосились миссионеры...

Эту ситуацию не очень-то ловко комментировать с нашего берега: получается, что как бы вмешиваешься в чужие дела. Хотя бунт американца против Америки, неожиданный со стороны, на мой-то взгляд, дело вполне житейское: мы, русские, только и делаем, что поносим родную власть, неважно, кто там: «цари или комиссары».

И все-таки решусь откомментировать Козна с чисто русской точки зрения.

Итак, есть мнение, что это американцы устроили у нас хаос, соблазнив наших простаков рыночным изобилием. Что именно американские стандарты спровоцировали нас на укрепление «среднего класса». И даже «крушение» СССР в 1991 году кажется способом ликвидации сверхдержавы, стоявшей поперек пути Америки к мировому господству.

Все вроде бы так. Америка участвовала во всех актах драмы. Но вряд ли в роли режиссера или автора. Скорее в роли потрясенного зрителя. Дело все-таки в авторах и актерах. То есть в нас с вами. Козн понимает, что гибель СССР — никакое не «крушение», это интрига трех оказавшихся у власти функционеров, спрятавшихся в пуще (то есть в чаще) и втихаря раздувавших общее достояние. Но разве прошел бы у них этот номер, если бы не одержимость русских и нерусских обладателей общего достояния, оравших друг другу: «Это мы вас кормим!» Да, наш российский «средний класс» не столько вкалывает в бизнесе, как велено ему по Адаму Смиту и Фридману, сколько разбойничает и выдрючивается, подражая американским яппи. Но хоть образчик ваш, но дурь-то — наша, и реализоваться она может на любом образчике. И приватизация, проведенная в начале 90-х годов по-русски, это борьба экс-коммунистов за переделку государственного пирога, «демократия и рынок», по верному замечанию Козна, «тут ни при чем».

Американцы давали нам советы и учили жить. Но «никто и ничто не заставляло» наших реформаторов «навязывать своему народу глупые и догматические предписания американского руководства, несмотря на предостережения лучших русских экономистов». Козн зрит в корень.

А корень в том, что не бывает телефонной связи, если крадут кабель. Позволю себе немного откомментировать эту сообщаемую Козном фантастическую деталь нашего быта, оказывающуюся правдой. Когда деревенский парень срывает провод линии электропередачи, он не может не знать, что люди будут сидеть без света, да и сам он тоже. «Ну и что, мрак перетерпим, а мне выпить надо». Номинально — тупость в чистом виде. Но вдруг — и чей-то острый расчет? Кто-то ведь санкционировал скупку металла? Может, российская демократия и тут следует стандартам Международного Валютного Фонда, который учит нас «сжимать денежную массу»?

Даже если все так, дурь наша все равно при нас. Использовать ее всегда найдутся охотники. Может, и там и прохвосты, но все-таки виноваты мы сами. Словами современного классика: «это наша боль, не ваша». Крестоносцы пусть провалятся, а нам свой крест нести.

«Любой кризис не бесконечен», — утешает нас Коэн. Еще круче: «великие державы не исчезают». И еще круче: «величие России предопределено».

Если так, то какими жертвами будет оплачено это предопределенное нам величие? И какое оно будет? Явно не Pax Americana, понимает Коэн, но, может быть, Европейский Дом? А вдруг — Центрально-Азиатский блок, где техническая мощь России соединится с гигантскими демографическими ресурсами ее соседей: Индии и Китая? Неслабую перспективу сулит нам Стивен Коэн. Постараемся же дать замечательному американцу возможность и дальше любить свою вторую родину.

КРАСНАЯ ЧЕРТА

11 сентября 2001 года я, как и миллионы людей, сидел перед телевизором и смотрел, как в десятый раз авиалайнер, захваченный террористами, врзается в южную башню Близнецов Матхэттена и как десятый же раз проваливается северная башня, протараненная другим лайнером. Я никак не мог вместить в сознание, что это не очередной супер-триллер-бастер, отштампованный в Голливуде, и не творческая провокация какого-нибудь нового Орсона Уэллса, а прямой, как удар топора, эфир, сопровождаемый неподдельным заиканием наших телекомментаторов, накладывающимся на панические крики их заокеанских коллег.

Раздался телефонный звонок:

— Это экспертная служба Интернета. Вы можете прокомментировать то, что происходит?

— Могу, — произнес я неожиданно для себя. — Происходит то, что человечество вступает в новую эру. Мы переходим красную черту. Красная черта — это кон. На кону — всё. Вы понимаете? Три головореза убегают из Бутырской тюрьмы, и вся Россия... вся Россия...

Что делает вся Россия? — замолчал я, вдруг забыв слова. Ах, да, вся Россия приседает от страха, ожидая, что сделают с нею три зека, юркнувших в подпол. Господи, что такое я несу! Они же спрашивают про Америку...

— Спасибо, — озадаченно произнесли на том конце провода и отключились.

Я вернулся под падающие башни Близнецов и, наконец, связал.

Есть что-то общее, фатально схожее в двух этих несоизмеримых эпизодах первых мгновений Третьего тысячелетия: между побегом из тюрьмы троих душегубов, казнить которых нашему правосудию запретили гуманные принципы европеизированного человечества, — и ударом четырех захваченных террористами самолетов по американской твердыне.

Это общее — картонная уязвимость, картонная хрупкость твердынь. И принципов. Любых. Вроде бы и несоизмеримы тюремные ложки, которыми «наши» преступники процарапались сквозь кирпичную кладку, и рычаги лайнера, который «их» преступники развернули на таран небоскреба.

Соизмеримыми их делает психологический шок, в который отдельная особь способна обрушить миллионную массу.

Тут срабатывает, конечно, и жуткий телеэффект, когда в десятый, сотый раз прокручивается видеозапись, и ты созерцаешь, как самолет, сделанный руками и интеллектом тысяч людей, сокрушает башню, в которую вложены труды и упования миллионов... одну башню... вторую... а супер-держава, все это построившая и способная своей мощью уравновесить весь остальной мир, — не только не может защититься, но не может даже понять, кто ее жалит, откуда нанесен удар и где враг.

Злодейство растворяется в микромасштабах.

Преступники, вооруженные ложками, исчезают, как призраки, и великая страна, еще десятилетие назад в качестве второй сверхдержавы уравнивавшаяся полимира, приседает от страха перед тремя тенями, нырнувшими в схрон. Там, может, и стоит кто-то за ними — продажные надзиратели, братки с воли. И наверняка много чего стоит за тремя десятками террористов, которые ножами «для разрезания бумаги» закололи летчиков и сели в их кресла. Однако если бы за ними стояла гигантская организация, управляемая фигурой масштаба Бен Ладена, — американские спецслужбы наверное перехватили бы удар, потому что фигуры масштаба Бен Ладена у них под колпаком. Но если сговорились три десятка обучившихся в Штатах мусульман, ставших смертниками просто потому, что они ненавидят Америку, — то такую группу, вооруженную ножами и организованную, как заметил один лондонский шейх, на уровне студенческой коммуны, — такую бандгруппу не уловить никакому фэбээровскому ситу — просочатся и ударят. Как просочился и ударил тот стопроцентно белый американец, у которого не было никакого намека на ислам, а только ненависть к «федеральной тирании». Взорвал правительственное здание в Оклахоме, угробил сотни случайных людей и с гордым видом пошел на казнь.

Освальда, которому хватило винтовки с оптическим прицелом, чтобы пустить в расход державно охраняемого президента, — почти не вспоминают на нынешнем черном фоне, а стоило бы. У него, как известно, так и не нашли сообщников. А если их и не было?

Во все времена безумцы мечтали взорвать мир. Средств не находили. Кажется, третье тысячелетие нащупывает средства. Раскольников, убивший старуху, тоже не имел сообщников, если не считать Наполеона, который виртуально придавал его предпринятию мировой масштаб. Топора хватило на старуху. За полтора века топорный террор сменился «ювелирным». Мир развился до состояния, когда нужен не топор, а кнопка, набор компьютерных цифр... шевеление мышиного хвостика, чтобы пустить под откос миры. Помните простенькую русскую сказочку: мышка бежала, хвостиком махнула... Мышка та ни золотого яичка сделать не может, ни даже стола, с которого свалится яичко; но когда это уже изготовлено другими, — можно бежать со своим хвостиком. Постиндустриальная цивилизация, громоздящая небоскребы на небоскребах и расчертившая небо лайнерами, способными обогнуть шарик, — дает шанс любому энтузиасту, который вооружится ложкой или пластмассовым «ножом для разрезания бумаги». Техногенная мощь перехватывается неуловимыми одиночками,

атомная энергия оказывается бессильна перед подвижностью атома-индивида, мировые инфраструктуры приседают перед хакером-взломщиком.

Две тысячи лет все это еще поддавалось арифметике. Пара стражников, вооруженных алебардами, предотвращала удар шпионского кинжала. Чтобы Кудеяр-разбойник дорос до масштаба государственной опасности, он должен был накопить соизмеримую силу: разинское войско, пугачевское войско. Теперь Кудеяр, сговорившись с двенадцатью разбойниками, может бросить вызов любой империи. Техника позволяет. Сто лет назад динамитчик, делавший бомбу, рисковал взорваться в собственной подпольной лаборатории. Сегодня семилетний чеченец, получивший смертоносную «игрушку» из рук чабана-отца, может замкнуть цепь и поднять на воздух военный штаб, проезжающий мимо его деревни на бронемашинах. Кусочек пластита, пронесенный в дамской сумочке, сносит полвокзала, повергает в столбняк целый город. Компактность боеприпасов, изумительно отлаженная в Двадцатом веке великими народами для вооруженного противостояния великих государств, — в Двадцать первом становится доступна любому «одинокому волку».

Так индивид, который на протяжении веков был традиционно задавлен государством, получает возможность реванша. На протяжении веков его душило, вязало по рукам и ногам тиранское, «беспредельское» государство. А он стонал.

Это давление державы, тирания коллектива, пресс соборности — первое, что ощутило и против чего взбунтовалось мое мирное поколение — дети Второй мировой войны, сироты Двадцатого съезда. Мы не задумывались над тем, что тотальная диктатура была больше порождением двух мировых войн и ожидания третьей, чем чертой чаемого коммунизма, мы, выросшие в мире (беспокойной, обманчивом, тревожном, но — мире) требовали одного:

— Развяжите руки индивиду!

Развязали.

И прежде, чем высокоумные интеллигенты дотянулись свободными руками до неподкупных перьев, — до припрятанных обрезов дотянулись угонщики самолетов, до автоматов с глушителями — платные киллеры, до мин-ловушек вооруженные учебниками неофиты индивидуального террора.

Индивидуальный террор бородатых эсеров прошло-позапрошлого века померк перед индивидуальным террором бородатых боевиков века наступившего.

«Свобода добра предполагает также и свободу зла» — вспомнились теперь отчаянные предупреждения русских философов, пытавшихся когда-то придать «человеческое лицо» марксизму, большевизму, социализму... теперь настала пора придавать человеческое лицо рыночной демократии. Никуда не деться: свободный индивид беря в заложники другого свободного индивида, знает свое право. Он это обещанное философами право просто берет. Реально. И кроваво.

Одно природное обстоятельство сдерживает в современной истории этот кровавый разгул: страх индивида за свою жизнь. Киллер, не жалеющий

чужих жизней, все-таки рассчитывает сохранить и улучшить свою. Переговоры с самолетным угонщиком возможны, если для него имеет смысл собственная жизнь. Если он ее ставит на кон.

Самое страшное — когда ценность жизни вообще аннулируется. Когда в лагерях боевиков растут дети, изначально готовые к смерти, потому что смерти «нет», а есть блаженный переход в «шахиды».

Как объяснить все это, исходя из системы ценностей иудео-христианской эры? Что ведет современного камикадзе? Откуда эта массовая готовность умереть? Или это — инстинкт леммингов в разрастающихся популяциях Юга, где шатаются армии юнцов, не знающих, к чему приложить руки? Или фатальная неустрашимость фанатической веры в «нечто» высшее — будь то исламский «порядок», который «выше наций» (и который все-таки понятен людям, в головах которых тоже ведь когда-то укладывался и «новый порядок в Европе», и «американская мечта» для всего человечества), и «светлое коммунистическое будущее» для того же человечества)? Или — ни во что не укладывающиеся сатанинские упования какой-нибудь невменяемой секты, травящей пассажиров в токийском метро...

Если камикадзе свою жизнь продает (ради семьи и т. д.), тогда миллиарды Бен-Ладена имеют измеримую стоимость, и миллиарды Всемирного Торгового Центра тоже. Если же камикадзе свою жизнь отдает, то это чистая вера, и ничто сосчитываемое этому противостоять не может.

Когда эта иррациональность оказывается помножена на современную техногению и дорывается до «кнопки», — ей будет противостоять только такая же иррациональность. Никакая вменяемость индивида шансов более не имеет.

Вот почему так страшно переступать красную черту, отделяющую открыто безумный Двадцатый век от скрыто-безумного Двадцать первого.

На кону — всё.

P.S.

«Эхом Москвы» — живущая теперь в Штатах Евгения Альбац, публицистка перестроечной волны, много сделавшая в свое время для разложения «империи зла»:

— Десять лет назад, когда развалился Советский Союз, мы поняли, что мир изменился. Но КАК он изменился, мы поняли только теперь.

Только теперь?

Дорого стоит понимание.

...АНГЛИЧАНЕ

КОЕ-ЧТО О ЛОНДОНЕ

Я еще не обезумел — судить об англичанах по восьми дням пребывания в Лондоне, да еще в первый раз в жизни. Может, и в последний.

А с другой стороны, о чем еще и судить? Ведь не о силуэтах же лондонских башен, и прежде всего — башни университета, под сенью которого мы провели эти восемь дней. Характер англичан — вот что интересно. И не восемь дней тут в запасе, а тысяча лет, которые человечество вглядывается в туманный остров, половине мира давший стиль жизни. В характер небольшого народа, сумевшего построить «на воде» мировую империю, а затем сумевшего от нее отказаться, не уронив своего достоинства. В язык его, полный чудачеств и несообразностей и, однако, ставший практически главным языком мира.

Думать об этом можно было и на заседаниях, ради которых мы были приглашены в Лондонскую школу славистики: к ее 75-летию профессора Бранч и Хоскинг собрали со всей Европы (со всех концов «континента», как это определяют от своего берега «островитяне»-британцы) экспертов, чтобы обсудить черты «посттоталитарного общества в СССР и бывших странах социалистического лагеря». От нас Елена Немировская собрала весьма внушительную команду. Достаточно сказать, что должны были ехать Александр Мень и Мераб Мамардашвили — гибель помешала. Поехали Галина Старовойтова и Андрей Фадин, Владимир Лукин и Юрий Сенокосов, Георгий Нодиа и Евгений Барабанов, Андрей Смирнов и Петр Щедровицкий... Мы с Владимиром Корниловым были командированы от Союза писателей СССР.

Дискуссия вышла интересная; драматургия ее определилась, с одной стороны, нетерпеливой эйфорией людей с Запада, жаждавших поскорее принять нас в объятия цивилизованного человечества, и, с другой стороны, горькой трезвостью людей с Востока, предостерегавших от чрезмерного оптимизма. Такую дискуссию тоже было бы интересно прокомментировать, но я хочу поделиться мыслями об англичанах, с чего и начал.

Поскольку заседания были спланированы и велись с секундной точностью (каждый из нас выступал трижды: как докладчик, как оппонент и как председатель очередного обсуждения), то посмотреть что-либо, кроме лондонской университетской башни, можно было только стариннейшим способом «прогуливания уроков». Что я и делал: глядя на секундную стрелку, сбегал с заседания, которое решался пропустить, и возвращался на заседание, которое пропустить не решался, добегая в эти секунды до тех или иных предельно достижимых объектов: до Трафальгарской площади... до Букингемского дворца... до парламента... до Тауэра...

Бег по улицам доставлял впечатления не менее важные, нежели взгляд на тот или иной архитектурный силуэт. Ну, хотя бы: в английской толпе ни с кем не сталкиваешься. Словно круг очерчен около человека, аура

неприкосновенная... только шелестит вокруг: «sorry... sorry...» «виноват... простите...» Ну, впрочем, такое ощущение (потрясающее именно по контрасту с тем, как «прут» танками один в другого в нашей московской толпе), ощущение «ауры», — общее для западных городов вообще. Однако улавливаешь и что-то специфически лондонское.

Нет, никакой пресловутой чопорности: такие же люди, как все — живые, эмоциональные, даже болтливые.

Но чувство меры поразительное. Мгновенно улавливают, если что-то не по тебе, — отступают.

Вообще тончайшее чувство партнера, чувство дистанции, чувство границы и позиции. Другой имеет право! Право на мнение, право на оппозицию, право на глупость. Иногда кажется: англичанину просто безразлично, что о нем думают другие, — он уважает право другого думать что угодно, но свой внутренний закон он знает сам.

В сущности, эта философия — философия личности — лежит в фундаменте всей западной культуры. У американцев, скажем, она окрашивается в задорные, юношеские, подчас мальчишеские тона. Здесь, у англичан, она ощущается в каком-то другом, архаичном, серьезном варианте. Автономия личности, ответственность индивида, мораль джентльмена. Это не «завоевание» — это основа. Это похоже на инстинкт. Это не обсуждается.

А если обсуждается, то приезжими. Русскими.

Александр Пятигорский говорил нам в своей профессорской комнатухе голосом прирожденного лектора:

— Будьте уверены, что, говоря с вами, англичанин всегда видит, кто вы такой и чего стоите. Хотя и не показывает этого. Если вы иностранец, то вы можете вести себя как угодно: с вас другой спрос. Но если вы англичанин... Англичанин уверен, что он «лучше всех». И именно потому он считает, что он должен вести себя ХО-РО-ШО.

И опять на раскаленную плиту моей души падали слова Пятигорского. Интересно: а есть ли народы, которые не пitalи бы надежд, что они лучше всех? А — «хуже всех», но лишь бы — на виду у всех? А вести себя... да хоть бы и плохо, но непременно — «на весь мир»...

Англичанину все равно, что о нем подумает «весь мир». Он сам — «весь мир». Он ведет себя хо-ро-шо, и точка.

Безумство болельщиков на стадионе Уэмбли — коррелят этой базисной черты «островитян»: там, на континенте, — как угодно, а тут, на «острове», как хотим Мы.

Последний штрих. Башня Лондонского университета (Сенат-хаус), огромная, тупая, давящая, из-под пяты которой я выбегал «смотреть Лондон», оказалась достопримечательностью почище Гайд-парка.

— Она вам ничего не напоминает? — улыбались хозяева. — А вы присмотритесь. Здесь в войну размещалась служба радио, и здесь работал Оруэлл. Эта башня — прообраз антиутопии «1984».

С этого момента я уже не мог отвести от нее глаз: в центре Лондона, в центре «острова» — Столп Тоталитаризма, овеваемый облаками английского юмора.

ФИЗИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

На этот раз счастливая судьба вновь позволяет мне начать издалека. Не в фигуральном, а в буквальном смысле. Судьба распорядилась так, что на один год меня избрали в жюри русской премии Букера; одно из заседаний по традиции собирается в Лондоне — на одни сутки я попал в столицу владычицы морей. Как были взяты визы, билеты и прочие препятствия, я даже и не почувствовал, — такой был сервис. Позднее, уже в отеле «Гайд-парк» (позволю себе перевести так Hyde-Park Hotel), пересчитав в номере столики, кресла и унитазы, я оценил комфорт, полагающийся «очень важным персонам» (VIP — very important person, как именовались гости отеля в разложенных кругом рекламках).

И, однако, на этом «ВИП»-уровне я должен отметить деталь, для меня неожиданную: нас никто не встречал. Ни в аэропорте, ни в отеле. И даже в специальном письме, направленном перед нашей поездкой из одной высокой британской инстанции в другую (из лондонской в московскую), где подтверждалось финансирование визита и бронь в гостинице высочайшего класса, мне удалось прочесть вежливейшую фразу: «не считите за труд сообщить этим господам, что они сами должны добраться из аэропорта в отель».

Вообще говоря, в мой советский менталитет это не ложилось. Мы как-то привыкли, что «из аэропорта в отель» приглашенных везут. Там и машина может по дороге сломаться, и в отеле воды не будет, но такую «физиологию», как путь от трапа до койки, наша личность привыкла включать в круг того, что тебе со стороны «обеспечивается».

Мне стоило некоторого усилия (небольшого) понять и оценить логику англичан. В стране, где достоинство и право личности изначальны, базисно охраняются, этот уровень как бы неловко со стороны обеспечивать. Как-то само собой разумеется, что личность (весьма импозантная персона — VIP) имеет возможность сама решить такую физиологическую проблему, как путь из Хитроу в «Гайд-парк». Личность эту как-то даже неудобно везти на «чужих колесах».

Таков высокий смысл ритуала.

Конечно, на уровне элементарном нам «помогли». То есть нашлись друзья, которые прикатали-таки в Хитроу и докатали-таки трех москвичей до «Гайд-парка». Но — неофициально. Достоинство личности не было задето. Высокие персоны (я имею в виду судей букеровского жюри) не были вынуждены воспользоваться казенными колесами пригласившей их стороны. Их статус не был поставлен под сомнение.

Не собираюсь описывать ни Лондон, ни Британский совет, принявший нас, ни музей, в который я кинулся после заседания. Могу только подтвердить, что достоинство личности — действительно базис английской жизни. В том числе и потому, что никто не выясняет при этом, в чем оно, это

достоинство, заключается. Оно — само собой. Оно в основе английской простоты и естественности. Надо оказаться «внутри» категории достоинства. Если это не удастся, никто тебя не «изгоняет». Тебя просто перестают замечать. Это неуловимо и неопределимо. Это в воздухе.

Впрочем, отчего ж неуловимо? Захочешь — и уловишь. Вот, например, Национальная портретная галерея рядом с Национальной галереей живописи. То есть, помимо всей высочайшей истории искусств от иконы до модерна, еще и специально — портрет. Сотни исторических деятелей: от классики, с положением кулака на рукоять меча, до современной фотографии, которая портретирует людей сегодня. От Елизаветы до Елизаветы... От Черчилля до Хокинга — о Стивене Хокинге говорю особо, потому что его портрет меня поразил. Но об этом можно много писать.

Вернувшись в Москву, я раскрыл газету «Сегодня» и в колонке одного из обозревателей обнаружил неожиданный повод для дальнейших размышлений на эту тему. Там сказано, что я не имею представления «ни о личности, ни о социальности, ни о человеке, ни об обществе».

Конечно, с такими вещами не спорят. Тем более что попал я в один список с такими людьми, как Синявский, Гефтер и Померанц (отобраны по принципу «любят пописывать или еще как-то самовыражаться»; Впрочем, речь в той колонке идет обо всей «нынешней русской интеллигенции», так что это даже лестно). Но один интересный момент автор газеты «Сегодня» подметил: он сказал, что мы стремимся «подменить бытование своих текстов в культуре своим физиологическим существованием».

Со стороны виднее. Может, и стремимся. Поскольку в нашей молодости физиология была вообще изгнана за пределы концепции человека (мы, шестидесятники, росли в презрении к ней), то отвоевание личности вполне может быть и «физиологично». Надо знать всему место и иметь такт. Когда мой оппонент в одной фразе сбивает два «своих», в другой путает падежи, а в третьей пишет об актере, что «его лицо играло главную роль», — это тоже физиология, в грамматическом выражении. Ничего не имею против. Только тянет обратно в Лондон. В портретную галерею. Перед Хокингом постоять.

Я сказал, что меня потряс его портрет. Я не берусь излагать здесь мироконцепцию великого физика. Я о силе духа человека, которому судьба оставила только кончики пальцев и глаза — все остальное забрала болезнь. И все-таки он стал великим ученым, этот британец, родившийся в 1942 году под бомбами.

На полотне работы Иоланды Зоннабенд все это есть. Пальцы, вцепившиеся в рычаги инвалидного устройства. И синие-синие глаза, впившиеся в то, что видит он один. Без «физиологии» я бы ничего не понял, я просто ничему не поверил бы в этом портрете. Личность возникает из «ничего» — и из «всего», вопреки «всему», благодаря «всему».

Как добираться от Хитроу до «Гайд-парка», личность решает сама. И где делать остановки. И как понимать мироздание на этом пути, в этой пустыне, среди этого базара, который называется нашим «сегодня».

...ВЕНГРЫ

ВЕСТНИКИ

Из ответов на вопросы Вл. Коркина («ЛГ-Досье»)

— *XX съезд КПСС в жизни страны и вашей лично жизни? Представляете, чтобы его не было?*

— Нет, не представляю. Хотя, конечно, тут была масса случайностей, приводящих обстоятельств и прочих художеств истории. И номер съезда мог не совпадать с номером века, и вообще могло быть поменьше сюрреализма, когда человек, у которого «руки по локоть в крови», обвиняет других в том же самом, и нет сил от него отшатнуться, и это действительно реальность освобождения, и бросаешься вместе со всеми к вдруг открывшейся отдушине, потому что другой нет и не предвидится. Это я про «партию». Какое дело, казалось бы, до того, что они там решают между собой на закрытых заседаниях? Однако знаешь же все — шкурой знаешь, — что решается наша общая судьба. Ибо никакая это не «партия», то есть не «часть», а некий стержневой орден, гарантия единства, запрет шатаниям — искусственная железная система, распоряжающаяся всем и не отвечающая ни за что «по мелочи», но глобально за все.

Не было бы этого съезда — все равно было бы что-то в том же направлении. Момент-то подступал неотвратимо: Отечественная война позади и отходит, как заморозка; оттаивает душа у народа, неуверенно, опасливо. Либеральное послабление неизбежно; одолей Берия Хрущева — он сделал бы, в принципе, то же самое (и пытался делать, пока не убили), хотя, конечно, психологические краски были бы другие и степень человеческой мерзости иная. Но так или иначе, тогда это можно было сделать только через партию. И сделали.

Партия, между прочим, действительно была квинтэссенцией народных качеств, как плохих, так и хороших, Я в партии никогда не состоял (звали удержался), но именно поэтому мне особенно противно, когда вчерашние парашутики вешают на партию всех собак. Партия делала то, на что был способен и чего так или иначе хотел народ. Народ писал доносы — она сажала. Народ был в озверении — она казнила. Народ стал оттаивать — она заговорила о «законности», о «коллективном разуме», о «разрядке». Голос у партии был по-прежнему хриплый и лукавый, язык — суконный, мысли — не длиннее «резолуции». Но это был луч света, проникший в наш барак.

— *Если бы не было Хрущева, нужно ли было бы его выдумать?*

— Я уже сказал: если бы не было Хрущева, был бы Берия с такими же либеральными потугами. Выдумывать ничего не нужно.

— *Как XX съезд повлиял, по-вашему, на ход истории человечества? В частности, на отношения между странами?*

— Насчет истории человечества не знаю, потому что эта история закладывает сейчас такой зигзаг, после которого все предыдущие выражи надо будет осмыслять заново. Но по тогдашней ситуации — Двадцатый съезд, конечно, повернул нас к «Западу». К «Европе». К нашим противникам — и по горячей войне (немцы), и по холодной (американцы). Геополитически это абсолютно ясно, хотя при проекции в серьезную идеологию похоже на дурдом. Все то, что мы крестим сегодня «тоталитарностью», то есть коммунизм, социализм, большевизм, партийность и прочее, так или иначе пришло к нам вовсе не с Востока, а с Запада («Восток» — это то, чем мы наполнили западные проекты, адаптировав либо подменив их содержание). Сюрреализм заключается в том, что западные интеллектуалы, к которым мы теперь кинулись за оправданием «рынка», «мондиализма», «общего цивилизованного пути человечества» и т. д., по существу-то как были «левыми», так и остались, они по-прежнему ближе к марксизму, чем мы, проделавшие вокруг него свой папуасский танец. Вот этот сюрреализм и был заложен в картине Двадцатого съезда. Но это сейчас видно, а тогда — просто поплыло, оттепелело, протаяло. И Америка стала ближе. И Германия.

Я вообще считаю, что ось драмы новейшей истории — славяно-германское соперничество, драка за Евразию. Две мировые войны меж нами залили кровью полстолетия и ретроспективно — ожиданием и оправданием крови — еще два столетия предыдущих. Это и есть наш фатум; весь наш тоталитаризм отсюда, а вовсе не из идейных ошибок и утопических доктрин.

Наверное, и в третьем тысячелетии решаться будет — между нами и немцами. Тут — один из фатальных узлов мирового развития. Если опять вражда, то — «конец света», то есть конец этого света и, не дай бог, «конец России». Если сотрудничество, то сохраняется цитадель евразийской цивилизации, но... Двадцатый съезд тут уже ни при чем — другая опера.

— Не является ли знаком возрождения духа то, что народ ВДРУГ осознает, что свобода дороже жизни? Например, венгерский?

— А что такое свобода — пусть мне хоть кто-нибудь растолкует без мальчиков кровавых в глазах. Когда коммунистов вешают вниз головой на фонарных столбах, — это свобода? Или это «путь» к свободе? Свобода может быть «дороже жизни» только в экстатическое мгновение. Это может быть только «вдруг». И так же вдруг кончится (вывернется во что-нибудь — в террор, в подлость).

Вообще мне подозрительны любые символы, относительно которых говорят, что они дороже жизни. Вне жизни нет НИЧЕГО. А жизнь — это, извините, не только хомут, из которого выпрыгиваешь в «свободу», в том числе и в свободу выпускать кишки тому, кто вне твоей свободы. Я всю жизнь никакой другой свободы, кроме «тайной», не знал. И не знаю. И вряд ли променяю эту тайную на любую другую, включая и базарную.

— Что значит, по-вашему, — покаяние государств (не частного лица), например, России перед Венгрией? А может, уже поздно, да и новых «грехов» много — во всех не покаешься?

— А что, Венгрия уже покаялась перед Россией за то, что ее солдаты делали на оккупированной территории в 1942–1944 годах? А за то, что они тут делали в гражданскую войну? Были, правда, фильмы, потрясающие именно тем, что венгры сказали, наконец: «Это ИХ война...» То есть русская: красные против белых.

Скажите: так и мадьяры были тогда либо красные, либо белые! Красные мадьяры в Ипатьевском подвале расстреливали Николая Романова... Ну, так они покалялись?

А раз все были расписаны не по национальным, а по классовым отрядам, какого лешего теперь подставлять «кающихся интеллигентов» под рабоче-крестьянскую ненависть 1919 года? Государственная необходимость нашим вздохам не подчиняется; есть ход событий, где решает соотношение сил, где льется кровь с обеих сторон, где на ключевых ролях всегда оказываются насильники, — и есть совесть личности, отдельного человека, который волен оплакивать страдальцев — с той и с этой стороны.

То есть «образ Венгрии» — это дело моей совести и памяти, и никакие «государственные покаяния» тут ни при чем.

— *Есть ли у вас свой образ Венгрии, венгров?*

— Образ Венгрии? Вряд ли. Я немного занимался венгерским кино (Янчо, Ковач, Келети) и однажды был с полным радушием принят коллегами в Будапеште, но не решусь сказать, что у меня есть «свой образ Венгрии». Может, от далекости языков, а может, от каких-то иных причин — во мне какой-то смутный внутренний запрет судить о них.

Однако живет в памяти «образ события», ставший когда-то сигналом сокрушительных перемен, и связан образ все с той же эпохой Двадцатого съезда, а окрашен — как ни странно — в венгерский цвет.

Весна 1956 года — или исход зимы? Московский университет, филфак. Я на пятом курсе. Лекций уже почти нет, но почему-то мы сидим в общей аудитории (знаменитая Коммунистическая, бывшая Богословская, ныне опять Богословская). Лектор то ли говорит что-то с кафедры, то ли сошел с нее не помню; может, это перерыв, но никто не встает с места; а может, это консультация... Вырубилось из памяти все, кроме одного: я вижу, как по рядам из рук в руки идет газета, и, кажется, слышу ее шорох — другие звуки тоже вырублены.

Я жду, когда газета дойдет до меня, — жду, как удара тока, хотя из шепотов вокруг уже знаю, ЧТО там.

Там — четыре огромных портрета в черных рамках на первой полосе. Слов не понять — газета венгерская. (Как попала на Моховую? Со Стормынки? С Ленгор? Из венгерского землячества?) Но перевода и не надо, потому что и так ясно, ЧТО это значит. Четверо казненных несколько лет назад «антипартийных заговорщиков» — четыре имени, вбитых тогда в небытие, заклеенных, проклятых, вычеркнутых из партии, из истории, из памяти, из реальности. Ласло Райк, Дьердь Палфи, Пал Малетер... Имя четвертого не вспомню.

Что же должно было произойти, чтобы эти четверо не просто воскресли, но заняли всю первую страницу главной венгерской газеты, —

чтобы теперь, спустя годы после уничтожения, их снова хоронили уже как героев! Люди, не дышавшие сталинским воздухом, не поймут, что это такое: когда главная партийная газета разворачивается на сто восемьдесят градусов... Конец света, крушение миров, слом основы. Я не знаю, с чем сравнить охватившее меня в тот момент смятение, смешанное со смертным восторгом... С тем, как стремительный ручей сворачивает первый камень в плотине, увлекая соседние камни, и, наконец, сметает всю плотину? С тем, как падает знамя, едва видимое из гущи сечи? С тем, как лопается веревка, на которой качается альпинист?

Это все потом додумывалось.

Тогда — никаких мыслей, просто звериное чувство рухнувшего загона и сквозящей открытости горизонта. Мускульное ощущение: дотронуться — и поверить.

Я вижу, как плывет ко мне шуршащий газетный лист — «Сабад неп» — с четырьмя траурными рамками. Благовест новой неведомой эпохи, грохот рушащегося мироздания, крест на всем, что было, точка...

...И знобящий простор.

Венгры были — вестники.

...ШВЕДЫ

ПОД ПОЛТАВОЙ И В ОМСКЕ

Не так давно мне в руки попал специальный выпуск журнала «Родина», целиком посвященный истории шведско-российских отношений. Откликаюсь — не как специалист, естественно, а как нормальный читатель, находящийся во власти нормальных мифов и пытающийся их привести в соответствие с нормами современного мироощущения.

Для нас Карл XII — разбойник, невесть чего искавший под Полтавой. Впрочем, позором своего поражения он послужил славе нашего Петра, чем невольно помог тому перевести Россию из разряда царств в разряд империй.

Современный швед Петер Энглунд рисует несколько другой образ. Король-воин, король-полководец, король-солдат, не страшщийся ни штыка, ни пули. Ну, это, положим, не редкость в ту пору: все дерутся. Карл XII, гоняющийся по всей Европе за Августом Сильным (королем Польским и таким же, по сути, воином и разбойником, каков он сам), при всей своей молодости еще и успевает научить нашего Петра воинскому умению, да и мужеству тоже... но дело не в этом. Слава в потомках — лишь приближение к истине истории.

«Да, сыновья будут меня ненавидеть, внуки презирать, правнуки забудут меня, а праправнуки станут почитать. По крайней мере если мне удастся умереть теперь».

Так мыслит он в воображении «праправнука», современного шведа, который пишет о величии пращура, зная, что пращуру действительно предстоит умереть под Полтавой как историческому деятелю (физическую смерть удастся оттянуть с помощью нескольких «мешков» турецких денег). Но дело и не в этом.

Дело в том, как две державы, равно претендующие на статус великих, Россия и Швеция — замирают в точке равновесия (а в третьем углу треугольника замирает Турция, да и Польша еще отнюдь не смирилась с потерей последнего шанса).

Так вот что думает Карл XII в воображении современного шведа, то есть эта мысль возникает через несколько столетий после того, как он это «думает» (может думать, должен думать — по мнению современного шведа):

«Да, конечно, мой народ беден, равно как и моя страна; но, во всяком случае, она могущественна и сильна... Это заслуга оружия... Что лучше быть сытым или быть грозным? Если мы сегодня проиграем (а Полтавская битва вот-вот начнется. — Л. А.), тогда рухнет наша держава, а народ, который лишается своей империи, обречен на гибель... Оружие делает нас могущественными, а бой — сильными, и если мы проиграем, наш народ не будет ни сильным, ни могущественным, а только слабым, погрязшим в

бесконечной нищете и брошенным на произвол жестоких соседей, — через несколько сотен лет нас не будет».

Шведский автор, сочинивший этот монолог от имени шведского короля, предчувствующего катастрофу, через несколько сотен лет после того, как катастрофа действительно произошла, отлично знает, чем на самом деле обернулась эта катастрофа для его страны и народа.

Погибли? Да наоборот! Освободились от имперских амбиций, вышли из борьбы за всеевропейскую гегемонию, променяли варяжские мечи на «шведские спички», а латы воинов — на щитки хоккеистов, и стали в конце концов всеевропейским эталоном богатства и благополучия, объектом жгучей зависти тех же россиян, по сей день грезящих «шведской моделью социализма». Заслонились нейтралитетом — ускользнули от гибели во всех европейских и мировых побоищах, начиная с наполеоновского, когда уберег шведов бывший наполеоновский маршал Бернадот, до гитлеровского, когда бежали люди в Швецию спастись с обеих сторон.

А теперь? Кто помнит, что швед изобрел динамит? А что он изобрел премию, знают во всем мире и ежегодно с замершим сердцем ожидают, кому дадут.

Поневоле задумаешься: а может, пофартило шведам, что в 1709 году обломали под Полтавой их Карлу рога и вместо нищей имперской славы выпала его стране обильная богатством, мирная доля? Могло, наверное, выйти и иначе. Крутые были ребята, достойные победить. От викингов кипел в крови инстинкт власти. Собственно, викинги и были — после римлян и кельтов единственными полноценными претендентами на объединение тогдашнего мира в государственное единство, и если на Западе их за такие амбиции (и за бандитские попытки) возненавидели, то на Востоке... на Восток их даже и позвали — порядок наводить. Империя брезжила! До сей поры есть в Швеции историки, считающие Древнюю Русь частью древней Великой Швеции.

Так что были у Карла XII основания соперничать с польским королем, и вообще у шведов — ревновать к польской славе, ибо именно поляки, а не шведы за сто лет до Полтавы достигли Москвы и едва не стали объединителями Евразии. Три мальчика равно претендовали тогда на московский трон: пятнадцатилетний Владислав, семнадцатилетний Михаил и двенадцатилетний Карл-Филипп; любой МОГ БЫ, да вот Карла-Филиппа мама-голштинка из Швеции не пустила в далекую варварскую Московию (и Мишу Романова мама не пускала, да бояре, обплакавши подол, вымолили).

Ну а что, если бы — как и требовал освободитель Москвы от поляков князь Дмитрий Пожарский — посадили на Москве Карла-Филиппа?

Да ничего. Скинули бы через месяц. Или обрусел бы, принял православие, выучил бы язык (как через полтора года немка Екатерина выучила) и — окруженный любовью — стал бы родоначальником очередной российской династии, а при условии ума и удачи послужил бы много славе России. Во всяком случае, Карлу XII не пришлось бы под Полтавой рефлексировать на походной кровати. Потому что Россия, нищая Россия, с ее серыми избами и ветровыми песнями, с ее могуществом и простором, с ее горем и безумием, висела бы на его, Карла, ответственности и жила бы

по-своему под очередным варяжским... да не так уж важно, под чьим, да хоть бы и под голштинским (как в конце концов и вышло) формальным скипетром. Эта все равно была бы — Россия.

Та самая Россия, которую плененные под Полтавой шведы стали измерять шагами, когда погнали их на поселение в глубинку и стали они там погибать. Не от зверств конвоя, заметьте, а от холода, недоедания и общего нестроения, причем конвой от тех же причин погибался вместе с пленными.

А те, что выдюжили и натурализовались в лоне матушки России, стали работать и многим ремеслам научили сибиряков, и от мятежных калмыков обороняли Иртыш, и Омскую крепость строили, и даже собирались участвовать в отколе Сибири от Москвы (да не выгорело).

Ну, выиграл бы Карл XII Полтавскую битву, ну, отпраздновал бы, разбойник, победу — а потом? Что делали бы шведы, свались им на руки «шестая часть суши»?

Да то же и делали бы. Омск бы строили, ремесла развивали бы и из развала сепартистского эту неподъемную страну вытягивали бы.

Как мы сейчас.

ДИАГНОЗЫ ДОКТОРА ЭЙНХОРНА

Ержи Эйнхорн для шведов примерно то же, что Альберт Швейцер для немцев.

Сергей Штерн

1

Он был спасен 17 января 1945 года, когда несколько советских танков прорвались к ченстоховскому гетто и спугнули немцев, снаряжавших последний эшелон смерти: скотные вагоны, которые должны были увезти остатки еврейского населения к печам Равенсбрюка, понадобились самим экзекуторам, чтобы удрать.

Тогда он поверил, что спасен. То есть что не будет сожжен, удушен газом, затравлен собаками, расстрелян у рва.

Будущий великий врач, глава шведского Онкологического центра, председатель Нобелевского комитета по медицине, депутат риксдага, смотрел на советские танки, оцетинившиеся пушками, и привыкал к мысли о жизни. К тому, что спасли его не славные американцы и не старые добрые англичане, а вот эти, посланные Сталиным, русские мальчики.

Смертник, уже почти превратившийся в собственную тень, вдруг ожил настолько, что стал высматривать, нет ли в этих танковых экипажах русских девушек.

Хотелось подойти к ним и сказать спасибо. Но не решился: танкисты никого к себе не подпускали.

Возможно, укрывшись от чужих глаз, в одиночестве, он заплакал от благодарности.

Этими слезами он мог бы закончить исповедь, написанную полвека спустя.

Но это были не последние его слезы, и не они увенчали драму.

Следующий акт разразился год спустя в Кельце. Сорок два еврея, убитых в погроме, — много или мало? Сорок два из двухсот (двести евреев уцелело к концу войны). Если сравнить польскую статистику с немецкой (при немцах уцелело двести из двадцати тысяч, живших в Кельце перед войной), — терпимо, да? А если учесть, что в 1946 году никакой войны уже нет? И нет в Польше никакой натравливающей на евреев власти... И никакого гестапо (впрочем, немцам для «окончательного решения вопроса» не надо было никого натравливать на евреев — они управлялись без погромов). И «народная власть» вовсе не провоцировала погрома (наоборот, пыталась предотвратить).

Значит, дело не во власти. Дело — в людях. Выговорю то, что трудно выговорить: дело в поляках. И это действительно страшно.

Вот тогда-то сотни польских евреев, зацепившихся на Западе, отказались вернуться. Польское правительство звало их обратно, предлагало паспорта — не вернулись.

Так Ержи Эйххорн стал беженцем.

Следующий акт: Дания беженцев не принимает. Тут никакого антисемитизма, в Дании его вообще нет (когда гитлеровцы приказали датским евреям надеть желтые звезды, их демонстративно надела вся Дания, начиная с короля). Но в 1946 году датчане не хотят, чтобы под видом беженцев к ним бежали спасаться от возмездия нашкодившие немцы. Так что польским евреям датчане дружески советуют бежать дальше — в Швецию.

Те бегут. Ночью, на рыбацком баркасе.

Далее драма продолжена комическим интермеццо: Швеция не может принять беженцев, потому что они прибежали из Дании, где их никто не преследовал. Поэтому их отправляют обратно в Данию, где они оказываются уже как бы гостями из Швеции, а потом возвращают в Швецию уже как гостей из Дании. Это дает временный вид на жительство.

Что-то не хочется улыбаться этим кувыркам демократической процедуры: за все надо платить. Не кровью, так слезами. И трудовым потом, потом, потом. Поступить в университет с временной визой нельзя... бывшего еврейского смертника спасает бешеное упрямство, и в конце концов он вырывает у судьбы медицинское образование (шведский язык выучивает — само собой). Кажется, ему легче было стать для шведов вторым Альбертом Швейцером (а с выходом его книги именно это стали писать о нем), чем получить простой диплом врача.

За что ж тебе, Агасфер, вечная ноша сия?

Я возвращаюсь в его исповеди к точке, когда еще ни один гитлеровский танк не пересек польской границы.

«Всю свою юность я мечтал быть поляком, но мне этого не позволили... Поляк есть поляк, а еврей есть еврей, и никто не принял бы

всерьез, если бы я стал утверждать, что я поляк... Я осознал — сначала с недоумением, потом с отчаянием, — что меня никто не считает поляком...»

Вдумаемся в эту поворотную точку: она не так проста, как кажется. Поляки, которые «не пускают» евреев в польскую нацию, имеют ведь для этого некоторое основание. Не законническое, конечно, но чисто «душевное»: они не верят, что евреи, пусть даже прожившие в Польше полтысячи лет, забудут и предадут свое еврейство.

Да, это правда. Не забудут. Не предадут.

В России, между прочим, никакого непреодолимого барьера не знали: достаточно тебе (в царские времена) перекреститься из иудаизма в православие — и можешь идти в русскую культуру.

«Надо было только отказаться от еврейства.

Но мало кто на это пошел».

Тут — солнечное сплетение, роковой вопрос, трагическая неразрешимость. Мучила она и обитателей черты оседлости во времена Рубинштейна и Левитана. Или кагал, или крест. Чтобы войти в русскую культуру, следует забыть (забить) «зов предков»; это душе невозможно, но без этого невозможно той же душе преодолеть местечковую провинциальность.

Так невозможно?

Великий швед, который осуществился из несостоявшегося поляка и остался при этом в душе вечно гонимым евреем, задевает в своей книге потаенный нерв современного сознания, и именно это, я думаю, — причина того, что книга Эйнхорна стала в Швеции интеллектуальным бестселлером и мгновенно пересекла границы.

Это не еврейская проблема: любой современный народ, входящий в любое современное федеральное государство, вступает в драму рассечения духа; любой человек, живущий в современном мире, обречен пройти эту пытку, став «американцем», но — негритянского, индейского, ирландского или мексиканского происхождения, русским — славянского, тюркского, еврейского, угорского или горского корня... назвал бы югославов сербского или албанского происхождения, да слова застревают в горле.

Полицейский из шведского иммиграционного управления, выдавая временный вид на жительство, спросил:

— Ты поляк?

— Нет, я еврей! — ответил Эйнхорн.

— Нет, ты поляк! — сказал ему швед.

Вот так: в Польше не дали стать поляком, когда хотел, а в Швеции заставили стать поляком, когда не хотел.

Хоть плачь, хоть смейся.

Смеялся он еще с десяток лет, перебиваясь с визы на визу, и лишь когда в 1955 году королевским указом ему, уже знаменитому медику, спасшему сотни людей, было даровано шведское гражданство, — заплакал.

И эти слезы, наконец, обозначили финал исповеди.

Полвека Ержи Эйнхорн не находил в душе сил прикоснуться ко всему этому. Когда же нашел силы, то восстановил лагерную реальность с точностью ученого, наблюдающего опыт, поставленный на нем самом. Он не просто передал ужас Холокоста — это до него описывали и другие, — он смоделировал машину, раскрыл систему, воспроизвел технологию уничтожения. Когда архитекторы проектируют печи, химики и медики создают яды, психологи продумывают правила и лозунги, позволяющие довести людей до рва так, чтобы они не успели взбунтоваться. И это то, чего еще, наверное, не было в литературе о Холокосте. И, кажется, не было в истории в таком бестрепетно индустриальном варианте.

Я попытаюсь вынести из картины то, что лежит на дне, в грунте, в базисе, а именно — характеры изобретателей этой системы. И характеры исполнителей предусмотренных в ней ролей. Может, это еще и пострашнее огненного апокалипсиса: пламень погас (некоторые истопники даже покалялись), но мы так и не знаем, что оставалось на дне. И что горело.

Немцы. Они, «как всегда, подумали обо всем». О том, в какой последовательности убивать, куда девать трупы и, конечно, как лгать намеченным жертвам, чтобы предотвратить взрыв отчаяния. Немец ни к кому не испытывает чувств, нарушающих процедуру. Он вывешивает приказ, запрещающий евреям пересекать границу гетто, — приказ кончает словом «расстрел». Что немец имеет в виду именно расстрел, а не что-то другое, становится ясно, когда пожилая пара, гуляющая с собачкой, случайно пересекает черту: немец молча достает пистолет, делает два точных выстрела, потом гладит собачку и уходит, не оборачиваясь на убитых.

«Немецкие полицейские убивают методично и эффективно, они не истязают жертву без нужды и не показывают своих чувств...»

Я, пожалуй, остановлюсь — перевести дух. Вернее, набраться духу для дальнейшего.

Задам пока что «цензурный» вопрос: можно ли представить себе книгу Эйнхорна изданной у нас до 1986 года?

Впрочем, в ту пору она еще не была написана.

Тогда так: я не могу представить себе, чтобы такую книгу издали у нас вообще в советские времена. Не только потому, что это исповедь еврея, а в советские времена еврейскую тему обходили и негодяи, и праведники (последние, чтобы не провоцировать негодяев). Где-то на переломе к 90-м запрет был снят, но даже и в либеральные времена, доведись какому-нибудь цензору пропускать в свет такую исповедь, он поставил бы под вопрос некоторые ее мотивы. И я бы сделал то же самое, окажись я на его месте. Не по соображениям секретности, естественно, а потому что некоторые мотивы невозможно вынести. О них лучше не знать. На них просто не хватает духу. Знаете, праведников тоже лучше не провоцировать.

А теперь, собравшись с духом, процитирую Эйнхорна дальше — тот эпизод, где он сравнивает полицейских «зеленых» (то есть немцев, которые убивают эффективно и не мучают жертву) и «черных» (вспомогательные зондеркоманды):

«...Черные, которых в гетто называют „украинцы“, хотя среди них не меньше прибалтов, стараются пнуть тяжело раненного человека сапогом, дают ему подняться и сделать несколько шагов и только потом убивают — ненужная жестокость, игра в кошки-мышки с теми, кто все равно обречен на смерть».

Так... Удержимся от выводов. Тем более что нам-то легко рассуждать издалека, на дистанции в полвека. Но сам рассказчик (не только семидесятилетний прославленный ученый-гуманист, но и тот семнадцатилетний обитатель гетто, которому после выстрела «дадут подняться», а впрочем, может, и прикончат сразу, «не выказывая чувств») все-таки находит силы сказать: не бывает плохих народов, и не может народ — как народ — быть обвинен.

Это и есть главный нерв исповеди Эйнхорна: человека убивают, а он пытается увидеть в убийцах людей, понять их.

Откуда впитал он эту удивительную... ненависть к ненависти? От отца — как тысячелетнюю иудейскую мудрость («Юрек, все люди в основе своей хороши...»)? Или это естественный для Польши католический дух выпрямил его душу с детства? Или это интеллигентная среда невоинственной Швеции, давшей ему пристанище, а потом и гражданство, помогла ему обрести веру в людей, когда, мучаясь от отчаяния, он писал свою книгу?

Так или иначе, ни один человеческий импульс не прошел мимо его внимания, когда он описывал с точностью естествоиспытателя, как системно убивали его соплеменников. Да, система убийства была отлажена так, что ни жертва, ни палач не могли уклониться. И все-таки.....

И все-таки у человека всегда есть возможность сделать меньше зла, чем его заставляют обстоятельства. На волосок — но меньше. Пусть это не переменит общего фатального хода событий, но это поможет душе удержаться...

Были в Польше линии спасения евреев, цепочки, по которым поляки передавали в нейтральные страны тех, кого могли. Были на Украине в деревнях семьи, прятавшие недобитых еврейских детей.

Но немцы, немцы?

Даже капитан полиции Дегенхардт, лично отправивший на тот свет сотни евреев, сказал своей наложнице (красавице-еврейке): все, что он хотел, «было просто исполнением приказа свыше», а он... как бы и не хотел... Он не ушел от своей судьбы, этот исполнитель приказов... но знал же, что нужно говорить на всякий случай!

А доктор Лют, нацистский бонза, перед которым вытягивались эсэсовцы и гестаповцы? Спас же еврейских мальчиков от лагеря смерти, сказав, что на его фабрике только эти дети могут выполнить тонкие технологические операции... Не было на его фабрике никаких таких тонких операций! Что же шевельнулось в душе этого немца, верой и правдой служившего Гитлеру? И чего больше на нем: зла от безупречной двадцатилетней службы Молоху нацизма или добра от этого последнего движения души?

Сказано: одному раскаявшемуся грешнику больше обрадуются на Страшном суде, чем сотне праведников.

Кстати. Один из бывших гимназических учителей Эйхорна, спасшийся благодаря полякам, укрывавшим евреев от немцев, и немцам вроде доктора Люта, рассказал о своей судьбе австралийскому журналисту Томасу Кенелли, и тот написал книгу «Список Шиндлера», по которой Стивен Спилберг снял фильм, пронзивший мир.

Перекликаются человеческие голоса из бездны.

Нет такой души, которая не корчилась бы от ужаса, к которому она принуждена. Нет виноватых народов, наций, классов, конфессий. Есть только несчастные люди. «Люди в основе своей хороши», — говорил отец, а сын добавил: «Только они очень слабы». Поэтому их нельзя ненавидеть. Только жалеть. И потому нет такой ужасной ситуации, из которой не могла бы обреченная душа хотя бы подать сигнал боли... больной совести.

Но откуда сама ситуация? Откуда эти «приказы свыше»? Ведь никого, кроме людей, нет! Значит, люди сами творят тот ужас, от которого страдают и мучаются?

На этот вопрос нет ответа. И эта безответность составляет потаенную боль Эйхорна, в душе которого фаталист и гуманист спорят за душу человеческую.

Идеологи борющихся сторон переступали через эту безответность с помощью кособокого уравнивания. На гитлеровской стороне идеологи говорили, что немецкий народ борется против большевизма. На сталинской стороне говорили, что советский народ борется против нацизма.

Это еще можно вытерпеть. «Народ» против «системы» — это вполне героично. Но как вынести, когда народ против народа?

Это и в Библии леденит душу: «Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями» (2 Пар.15, 6).

3

А в современной истории?

«Гитлер ничего не скрывал, он открыто писал о целях, к которым стремился. Он сказал немецкому народу как раз то, что тот, нищий и униженный, хотел услышать...» — вот лейтмотив книги Эйхорна.

Добавлю: и Сталин ничего не скрывал, когда говорил о смертельной борьбе и о «ликвидации двурушников». Диктаторы побеждают только тогда, когда народы хотят их или согласны их терпеть.

Но конкретно, конкретно! Это же надо столько предусмотреть, спланировать, организовать. Решение было принято 20 января 1942 года в роскошной вилле на озере Ванзее, под Берлином: на конференции обсуждались наиболее рациональные методы уничтожения шести миллионов особей.

«Все избранные демократическим путем лидеры высказались единогласно...»

Допустим, вы выделите несколько тысяч Дегенхардтов, командовавших расстрелами. Найдете критерии, кого и как выделять. Для этого, собственно, и работал Нюрнбергский и другие процессы. Доктор Лют, как ответственный деятель нацистской партии и гитлеровского государства, должен был бы получить в Нюрнберге свое... если бы двадцать спасенных им еврейских детей не встали, чтобы заслонить его... как он заслонил их.

Но — вниз, вниз от этой «системы», «структуры», «доктрины», словесной жижи — туда, в бездну, где действуют только люди, обыкновенные люди!

Первый немец, которого осенью 1939 года увидел тринадцатилетний Ержи, был простым солдатом, без всяких лычек — не эссовец и не член партии, простой такой немолодой дяденька. Он остановил грузовик, спросил: «Евреи в кузове есть?» И прибавил, добродушно и доверчиво глядя на Ержи, который инстинктивно прикусил язык: «Мы пришли в Польшу, чтобы раз и навсегда решить еврейский вопрос».

Через два года — строго по плану и по приказу свыше — границы гетто в Ченстохове замкнули.

То есть любой еврей, появившийся за его пределами, расстреливался немедленно «без издевательств и мук».

Далее я приведу из книги Эйнхорна отрывок, который не решаюсь пересказывать своими словами.

«За пределами гетто полно профессиональных доносчиков — поляков, специализирующихся на распознавании евреев. Они стоят у выхода из гетто, наблюдают за принудработами или просто ходят по улицам. Если они заподозрят в каком-нибудь прохожем еврея, они незаметно следуют за ним и обнаруживают место, где он прячется. Они вымогают у бедняги все, что у него есть, и затем сообщают немцам. Каждый szmalcownik — доносчик — получает за обнаруженный тайник два килограмма сахара. О том, что перед тем, как донести, они уже забрали все, что было у их жертвы, полиции они не сообщают. Те, кто работает за пределами гетто, рассказывают, что охотой на евреев занимаются и мальчишки. Они бегут за одиноким евреем и кричат по-польски: „(yd, (yd!“ или по-немецки: „Jude, Jude!“, чтобы и немцы поняли. Человека задерживают и увозят — или отпускают, если мальчишки ошиблись и он оказался не евреем. Но чаще всего они правы».

Чужа, что ответ на вопрос «почему это происходит?» еще страшнее самого вопроса, и лучше, наверное, некоторые вещи не выяснять, Эйнхорн все-таки силится понять: почему?

Ну, взрослый шмальцовник, оголодавший, доведенный до края, продает еврея за два килограмма сахара — это еще понятно, но почему это делают мальчишки? Они же не получают никакого вознаграждения! Почему, почему, почему?

Да потому же, почему «бьют окна с песнями» во время погрома. Природа явления не меняется: «В основном бесчинствует молодежь, но и люди в возрасте — как мужчины, так и женщины — бегают с криками по

улице, кидают камни и ищут очередную жертву». Перевернись ситуация — станут евреев прятать.

Потому же, почему осенью 1914 года в Петербурге и Москве посадский люд и примкнувший к нему уличный люмпен крушили и растаскивали немецкие магазины. Перевернулась ситуация — и пошли с криками: «Лорду — в морду!»

Разумеется, политики любого толка (подчеркиваю — любого: левого, правого, красного, белого, зеленого, черного, полосатого) могут использовать эту дикую силу в своих интересах, но самой этой силе бессмысленно читать моральные проповеди и задавать вопросы «почему?», «ради чего?», «зачем?».

«Наверное, это лежит в человеческой природе», — в интонации доктора Эйнхорна бесстрашие натуралиста-естествоиспытателя, констатирующего норму, борется с сокрушенностью медика, ставящего диагноз неизлечимой болезни.

Природная агрессивность об руку с ситуационной безнаказанностью — вот что это. Опынение ненавистью, помогающее справиться с комплексом неполноценности и тайным ужасом безнадёги.

Что с этим делать?

Ничего. Конкретно — бороться, а вообще — терпеть. Лучше всего уходить с того места, куда бьет молния. Там, где вырываются на волю inferнальные силы, дремлющие на дне души природного человека, — там нечего делать с логикой или моралью, а лучше уйти. Я не знаю, каково поляку быть в Катини, но я думаю, что еврею лучше не быть в Кельце. Просто не ступать более в это место. Ни в Кишинев, ни в Житомир... Лучше уж в России... и то — за Уралом, где антисемитизм как-то не приживается. А еще лучше — в Израиле.

Понимает же Эйнхорн, что если бы в 1942 году государство Израиль уже существовало, гитлеровцам куда сложнее было бы организовать Холокост. Одно дело, когда жертвам есть куда уйти, и другое дело, когда весь мир отворачивается от них, не принимает их иначе, как несчастеньких беженцев, а раз несчастеньким деваться некуда, значит, приходится мириться с тем, что их добивают, — при полном «неведении» на этот счет демократических стран (уже объявивших войну Гитлеру).

Нет, никто до Ержи Эйнхорна не поворачивал тему Холокоста этой стороной и с такой силой. Сколь многое могло помешать Гитлеру осуществить запланированное «решение еврейского вопроса»! Да хоть разбомбили бы ту железнодорожную ветку, по которой возили обреченных в скотских вагонах из гетто к печам... Нет. Не разбомбили. Не помешали. Осуществилось. Шесть миллионов удалось смахнуть в ничто. И без сбоев!

Но ведь и палачей при таком размахе должны быть миллионы!

Вот он, наконец, самый страшный, роковой вопрос, от которого не отвертеться и который в конце концов ставит Эйнхорн: как могло получиться, что все это сделал народ, внесший самый большой вклад в мировую культуру?

В данном случае я процитирую уже не книгу Эйнхорна, а его выступление в московском Доме медиков на презентации книги. В книге он формулировку сбалансировал, напрямую же сказал так:

— Я не читаю по-русски, но от отца унаследовал библиотеку, заполненную переводами русских классиков... Это трудная, угрюмая литература, порожденная угрюмым народом. Она побуждает меня думать, что в будущем судьба России может определить судьбу мира. Вклад русских в культуру мира грандиозен, как и вклад англичан, французов, испанцев, итальянцев. Но все-таки, не обижая других, признаюсь, что, по моей оценке, самый мощный вклад в современную мировую культуру сделали немцы. И... именно они..... именно они.....

«Кого Бог любит, того и испытывает», — подумал я, глядя, как подбирает слова великий гуманист.

— Гитлер пришел к власти вполне демократическим путем, — выговорил он наконец.

Этой горчайшей мыслью венчается «Послесловие», в котором Ержи Эйнхорн делает последнюю попытку — понять.

4

Гитлер — персонально — неудачник, он мог пробиться или не пробиться в художники, музыканты или архитекторы. Он мог мучиться, ночуя на скамейках в парках или блаженствовать, бодрствуя в солдатских казармах. Никого это не тронуло бы, его комплексы остались бы при нем.

Дело в том, что его личные комплексы помогли найти выход ярости великого народа, загнанного историей в угол.

Так что же произошло с народом Гёте и Бетховена, Канта и Ницше?

Унижение 1918 года и Веймарское позорище — это только предпоследний акт драмы, он еще у всех на памяти (последний акт — то, чему свидетель сам Эйнхорн).

Что же привело великий народ к ситуации, из которой не было иного выхода, кроме победы или позорища?

Эйнхорн идет к истокам: прослеживает тысячелетнюю драму... нет, не немцев, а всей Европы, на острие которой оказались немцы... и даже не немцы, а тот средневропейский стержневой народ, который впоследствии был назван немцами, но формировался именно как центральный, стержневой народ континента.

Империя Оттона Великого, созданная в 962 году, была не германской, она была римско-германской: еще один «третий Рим», так сказать... вернее, это мы «еще один», а германцы за полтысячелетия до «нас» просто ходом вещей, трудолюбием, витальной мощью стали выдвигаться на место римлян, заполняя зияющий вакуум, входя осью в варварское племенное чересполосье.

Противодействие этому центростремительному движению с краев континента было соответствующим, и к XVII веку силы «краев» и «центра» Европы сравнились: тридцать лет подряд немцев били и утюжили, дробили

и растирали по земле. Это продолжалось и после Тридцатилетней войны, вплоть до наполеоновской эпохи, когда по немцам проехали французы.

Да просто ходом вещей народу, наделенному такой силой, было суждено остервенение реванша — уже хотя бы потому, что силой его питала вся «срединная» Европа.

Бисмарк-то был еще осторожен... Вильгельм — уже безумен, но народ, чья сила прет от земли, из земли, из своей земли, — он не спрашивает очередного горлана-главаря, хорош тот или плох, народ просто валит за ним, когда слышит:

— Немцы! Вы не хуже других — вы лучше других!

«Лучше»...

На этом-то они и надорвались — юберменши, nibelунги, оскорбленные избранники.

И смололи их — ценой десятикратных жертв — те, что «хуже». Мы с вами. Славяне, евреи, татары, кавказцы...

Сегодня доктор Эйнхорн извлекает истину из тысячелетий, сегодня он врачеватель душ, диагност истории, гуманист и интеллектуал. А тот замерзший зек, что в январе 1945 года смотрит на тринадцать советских танков (один уже подбит и сожжен), тот девятнадцатилетний еврей с польским именем Ержи, что еще не может поверить в спасение?... Ему странно, что спасли его не американцы и англичане, которых он ждал, а вот эти русские, его ровесники, смертельно усталые мальчики. Он хочет подойти к ним и поблагодарить, но не решается: они никого не подпускают.

Потом кто-то сказал, что советский командир уже подходил к людям гетто, пожал им руки и спросил, есть ли в Ченстохове немецкие солдаты.

Кто-то возразил, что это был не командир, а простой танкист, настоящий же командир русских сгорел вон в том танке.

Кто-то ответил, что выяснить это невозможно: очень уж плохо русский танкист говорил по-немецки.

Ержи подумал: если я действительно спасся, я расскажу всему миру...

Пятьдесят лет мир не хотел этого слушать...

...НОРВЕЖЦЫ

В НАДЕЖДЕ НА ТЕРРОРИСТА

*Я надеюсь только на величайшего
террориста... высшего человека,
прирожденного властелина, деспота,
которого не выбирают, а он сам
провозглашает себя вождем кочующих
орд этой земли.*

Ивар Карено, литератор, 1895

*А кем становится тот, кто не становится
никем?*

**Абель Бродерсен, судовладелец,
1936**

*Между этими высказываниями — Первая
мировая война. Роднит их автор,
придумавший обоих героев.*

Кнут Гамсун.

Это имя гремело когда-то. Особенно на рубеже веков, когда Ивар Карено разглагольствовал «у врат царства» (имелось в виду царство демократии), и русские интеллигенты заворуженно ему внимали. Тогда вообще было северное поветрие. Читали Ибсена, Стриндберга, слушали Грига. Горький полагал, что скандинавы интереснее и серьезнее всех. Первейшим среди скандинавов был Гамсун. На его книги откликались Чехов, Куприн, Плеханов, а Горький прямо называл его величайшим художником Европы, равного которому нет. Нобелевская премия 1920 года, кажется, подтвердила это.

Вторая цитата — из романа «Круг замкнулся», который вышел в московском издательстве «Текст». Роман переведен на русский язык впервые и вброшен в поток нашей массовой беллетристики — туда, где царят Маринина, Тополь и другие вожди кочующих читательских орд. Это даже интересно: пустить такой текст в нерегулируемое чтение, попробовать, насколько нужен окажется он пожирателю карманных книжек в мягком переплете. Ради чистоты опыта текст не сопровождается никакими комментариями. Если не считать зазывной рекламы: «Впервые публикуется на русском языке последний роман великого мастера».

Диалектика «первого» и «последнего» должна сработать тут на уровне подсознания. Учítывая, что великий мастер прожил на этом свете почти сто лет (1859–1952, издатели все-таки выдают на обложке кое-что биографическое), современный читатель может вообразить, что книга, в которой круг замкнулся, есть завещание, написанное под занавес. Как будто не было «Потаенных троп», проторенных Гамсуном уже после тех страшных событий, которые намертво отсеки от нас кумира наших дедов, и он, обвиненный в предательстве родины, ждал суда...

Теперь-то, когда и фильм о его позоре прокручен на нашем ТВ, новым поколениям эта история известна, а я застал время, когда само имя Гамсуна было у нас заперто чуть ли не в спецхран. Разве что у Геннадия Фиша в отчетах о скандинавских путешествиях можно было разыскать отсветы драмы, совершившейся в начале войны с восьмидесятилетним стариком, и сообразить, что после пяти лет войны он прожил еще семь, и небо не обрушилось на его голову.

Обрушились тома его сочинений, которые соотечественники отсылали ему почтой или просто швыряли через забор его дома, не желая иметь их в своих библиотеках.

Этот всемирный позор был соизмерим только со всемирной же славой Гамсуна, и, грешным делом, тогда я был душой с теми, кто готов был швырнуть в него камень.

Нет, это надо себе представить. 1940 год: гитлеровцы в Норвегии. Ничего похожего на шведский нейтралитет — вооруженный захват и оккупация. Норвежцы залегли в окопах и ждут немцев, чтобы встретить их огнем. По радио звучит ультиматум гитлеровского генерала... и следом за ним — знакомый каждому норвежцу голос Гамсуна: дети мои, сложите оружие, не множьте слезы норвежских матерей, не проливайте кровь за проигранное дело, поверьте Гитлеру — не сопротивляйтесь!

И потом — его сакраментальное свидание с Гитлером в 1943 году: поехал-таки к фюреру, беседовал с глазу на глаз, наводил мосты....

Я был в достаточно наивном возрасте, когда впервые узнал об этом диалоге. Я понимал, что великий старик спасал свой народ: выгораживал, выводил из-под удара... и все-таки молодой душой я был с теми, кто швырял связки его томов через забор его дома. И не пришло же мне в голову швырнуть хоть один том сочинений Сталина через кремлевскую стену, хотя Сталин в ту самую пору не только вступил в диалог с Гитлером, но пакт с ним заключил, и именно потому, что спасал, выгораживал свой народ — меня, фигурально говоря, выводил из-под удара.

Потом-то прояснилось, что же это был за диалог у Гамсуна с Гитлером на вилле Бергхоф, куда фюрер пригласил самого знаменитого из норвежцев. Уж настолько-то знал литературу «Наполеон XX столетия», чтобы польстило ему такое знакомство — не меньше, чем Наполеону свидание с Гёте. И, конечно же, Гитлер принял Гамсуна с распростертыми объятиями, пока... пока не начался сам диалог.

Да, старик выгораживал соотечественников. Он делал это по проверенной лукавой формуле: вам, уважаемый фюрер, неправильно докладывают. То есть вам лично мы, норвежцы, доверяем безусловно, но ваш рейхскомиссар ведет себя у нас невыносимо, его пруссачество нас унижает, мы не можем этого терпеть... Что именно не можем терпеть? Ну, например, он запрещает норвежским судовладельцам выходить за пределы Балтики и прибрежных вод...

— Гамсун защищал судовладельцев! — откомментируют в свой час эту позицию коммунисты.

Фюрер комментирует ее иначе: идет война; всем трудно; норвежцы должны быть довольны уже тем, что Квислингу разрешено сформировать национальное правительство...

Разговор начинает выходить за рамки протокольной вежливости. Собеседники все чаще не дослушивают друг друга. Переводчики растерянно переглядываются.

Переводчиков — двое. Одного привез Гамсун, другого пригласил Гитлер. Почувствовав обострение ситуации, Гитлер делает благородный жест — он отсылает своего переводчика за дверь... вернее, за тяжелый занавес, который отделяет комнату от соседнего помещения. И этот переводчик (доктор Эрих Бургер, крупнейший в Германии знаток норвежского языка) слышит из-за занавеса, как тот переводчик (привезенный Гамсуном) смягчает реплики высоких преппирающихся сторон. Поняв, что ему надо делать (ученый все-таки, филолог и, кроме того, аккуратный честный немец!) Бургер выхватывает блокнот и записывает диалог в точности!

Слава богу, записал. Слава богу, не пропало — опубликовали потом. Слава богу, стараниями Геннадия Фиша треть века спустя и к нам просочилось.

Диалог про то, что норвежцы не смогут терпеть гитлеровское правление, прерван Гитлером на полуслове. Фюрер встает, показывая, что аудиенция окончена.

— Мы верим в вас, но вашу волю искажают, — повторяет Гамсун, прощаясь.

— Идиот!! — орет он в машине на своего переводчика. — Зачем вы смягчали мои реплики! Он невежда! Ему надо все объяснять! Вы что, на его стороне?!

И сыну — дома, по возвращении:

— Не выношу Гитлера. Он только себя слышит: я...я...я...

Ну, так как же нам читать теперь страстный монолог Ивара Карено из пьесы «У врат Царства»? Он же говорил, что верит только в прирожденного деспота, в такого, которого не выбирают демократически, а он сам становится во главе кочующих орд! Ну вот он, величайший террорист, «квинтэссенция Цезаря», юберменш, сверхчеловек, диктующий Европе... Вот он, перед тобой.

В этом-то контексте и интересно читать «последний роман» великого норвежца, изданный у нас сегодня без всяких комментариев. Может, по строго обозначенному жанру это действительно «последний роман», но написан он задолго до последних дней автора.

Точнее, роман этот написан непосредственно перед тем моментом, когда гитлеровские орды, кочующие по всей Европе и предводительствуемые прирожденным властелином, вторглись в Норвегию.

Ну вот, а теперь — к тексту.

«Абель не ответил на письмо, впрочем, и обратно письмо не вернулось. Значит, он не умер...»

А чувствуется рука классика. Перо крепкое, легкое. Ощущение такое, что речь не о событиях, а о чем-то более важном, что управляет событиями, и это позволяет говорить о событиях как бы полушутя.

«Когда в испанских водах кок свалился за борт, он, Абель, варил и пек для всей команды. Никаких проблем».

Никаких проблем? А что стало с несчастным коком? Этого вы не узнаете. Это неважно. А важно то, как об этом рассказано. Это у рассказчика никаких проблем. Иначе говоря, все то, что для нас с вами проблемы, для него — пустое место.

«Ни один из них не обращал внимания на рану, но когда оказалось, что у Абеля сильно течет кровь, Лили сбегала в дом и принесла что-то вроде бинта. У нее плохо получалось сделать повязку, потому что она не выносила вида крови...

Лили в отчаянии кликнула мужа:

— Неужели ты не можешь затянуть?

Абель:

— Я плохо управляюсь левой рукой, не то я сам наложил бы повязку...»

Я готов отдать должное переводчице Софье Фридлянд, не дожидаясь, пока какой-нибудь наш отечественный Бургер сличит русский текст с норвежским оригиналом, ибо в переводе видно, как прочная словесная сеть ловит в свои ячейки что-то вроде внешней реальности (в вышеописанной сцене муж застает жену с любовником и, как полагается, стреляет в него), а между словами другая реальность, непонятная и незыблемая (муж не собирается убивать любовника, они приятели, просто он поступает, как принято).

Впоследствии эта манера письма, когда работают не столько слова, сколько просветы между словами, а слова как бы не чувствуют своей сверхзначимости, закрепилась в мировой литературе под личным клеймом Хемингуэя, но Гамсун оперирует теми же кодами. Он легко и даже весело сплетает «верх» повествования, а «внизу», в глубине, спрятана неразгаданная реальность, а лучше сказать — тайна. Тайна Гамсуна, которую с первой сенсационной книги его, с «Голода», разгадывают критики. Что там, «внизу»? Здоровый инстинкт примитива? Неврастения? Возвышенная любовь? Отчаяние безлюбья?

«Сверху» — все, как принято. Карабкаются люди по социальной лестнице, лезут со ступеньки на ступеньку, срываются, падают, снова лезут. Нижние лезут, чтобы попасть в средние, средние — чтобы выбиться в верхние. Попадает кухарка в хороший дом — это ее шанс. Но канарейку завести она боится, потому что канарейка — это удовольствие для низшего класса, в котором она боится застрять. И вот она копит деньги, чтобы купить туфли с пряжками: если их надеть, то в банке дадут кредит. И мужу, глядишь, предложат место в судовой команде. Там убит капитан, лестница сдвигается, внизу открывается вакансия. И тотчас — судорожное движение: штурман рвется на капитанский мостик, матрос лезет в штурманскую рубку, другой матрос рубится за лучшее место на палубе. И все за всеми следят,

все вынохивают, откуда у кого что взялось, и вся команда смотрит, не слишком ли заломил фуражку только что назначенный капитан. А только что назначенный капитан, выходя из дирекции пароходства, нарочно делает на старой шляпе вмятину, чтобы она приобрела более залихватский вид...

Марксистски ориентированные критики могут со злорадным торжеством отметить, что в последнем своем романе Кнут Гамсун защищает-таки класс судовладельцев.

Правда, Абель Бродерсон, унаследовавший от отца свою посудину, не слишком похож на угнетателя-собственника. Да и посудина его мало похожа на корабль. Так, прибрежный молоковоз. Развозит по поселкам полные бидоны, забирает пустые. Или наоборот. Всей-то радости — воробы, прыгающие по палубе. И сама посудина зовется соответственно — «Воробей». Когда люди спрашивают: «Пароход прошел?» — все понимают, что имеется в виду. «Это „Воробей“ прошел, а парохода не было». «Воробей» — не пароход.

Но и из-за этой жалкой скорлупы — такие страсти! Как принаряжают Абеля-наследника, когда надо ему идти в дирекцию пароходства получать сертификат капитана! А быть капитаном — значит носить куртку с золотыми пуговицами и золотым шнуром!

Вот так и карабкаются. Уважающая себя дама должна иметь деньги на булавки. Уважающий себя капитан должен носить фуражку.

«Простой, здоровый ход мыслей, ясные ответы».

Чем проще и яснее действуют участники этого воробыного марафона, тем загадочнее и темнее то, ради чего он Гамсуном описан.

Ибо описан он с такой веселой и легкой точностью именно затем, чтобы поставить все это под глобальный вопрос.

Вернее, тут даже нет вопроса, а есть загадочный отказ отвечать. Человек, носящий в романе имя первого, по Библии, невинно-убиенного (Авель, если помните), наследник воробыного имущества... нет, он не пускает это имущество по ветру, как следовало бы сделать герою дешевой беллетристики. Он просто выпускает его из равнодушных пальцев и исчезает. Бежит куда-то. В Америку. Или в Австралию. Или в испанские воды. Неважно. На письма не отвечает, но вроде бы жив. Появляется дома неожиданно. Опять сбегает. Ему просто плевать. На все плевать. На наследство, на деньги, на то, где ему жить. Живет в сарае, ест что попало, подворовывает, почти не стесняясь. Взойдет солнышко — он греется: тепло — это уже половина еды. Заткнет тряпьем дыру в окне — и не так холодно. Бомж!

Это мы теперь говорим о таких: бомж. В 1938 году такого слова не было. Тем более в Норвегии. Тем более в словаре Гамсуна, воспитанного как-никак в Европе ницшеанских времен.

Объясняя, почему его герою плевать на капитанскую фуражку и вообще на все то, чему другие посвящают жизнь, Гамсун формулирует с оттенком теософской загадочности (не присоединяясь, впрочем, к этой формуле полностью, а как бы только в полушутку):

«Мы, все остальные, стали тем малым, чем стали, лишь потому, что мы такие обыкновенные. Он же пришел из приграничной страны, о которой мы ничего не знаем...»

Из приграничной страны?

Хотелось бы все-таки узнать о ней хоть что-нибудь.

Отчасти — это все та же самая Америка, куда он, Гамсун, в юные годы рванул от безысходности норвежской поденщины и где прошел жизненную школу от рыбака до кучера...

Что вынес?

В смысле: что вынес герой его последнего романа из своего вечного странствия-бездомья, в котором сконцентрировался опыт самого писателя?

«Я в тропиках наблюдал, как там люди живут одним днем — что добудут, то и съедят, живут, можно сказать, солнечным светом...»

Ну да: ни одежды не надо, ни запасов. В крайнем случае посадить ведро картошки — сама вырастет. Кругом цветы, кактусы. Так всю жизнь и тянет Абеля обратно в Кентукки — поглядеть на кактусы...

По ходу дела выясняется, что американская первобытная идиллия далеко не весь опыт скитальца, вернувшегося из «приграничной страны». Выясняется, что первым делом он, плывя в Америку, попал в кораблекрушение, сломал ребро, участвовал в драках в портовых городах. «Все как положено».

Все, как положено — эта гамсуновская усмешка относится, к нам, таким обыкновенным. Это нам положено царапаться за место под солнцем. Для человека, выпадающего из нашего воробьиного царства, существенно другое. Недаром же именно Лили (почти Лилит!) пыталась перевязать Абеля рану. И недаром именно ребро сломали ему в первой же драке (из ребра — Ева).

В общем, «по ту сторону» обыденщины брезжит у Гамсуна некая Женщина. Там — любовь. Гамсун как автор лирической «Виктории» не менее символичен для европейского сознания начала века, чем Гамсун как автор пантеистического «Пана».

К середине века все эти версии собираются в последнем романе словно для очной ставки.

Выясняется, что любовь там, в первозданных куцах Америки, была, но плохо кончилась. Для самой Женщины... для Евы, Лили, Лоллы, Ольги — вокруг Абеля много женщин, и все несчастны. Ту, что была у него в Америке, убили. То ли соперник убил, то ли сам Абель убил.

Соперник-то, наверное, супермен?

Скорее, «никто». «Вчера выпустили, ночью взял кассу, вечером гуляет, а утром сядет по новой...»

И сам Абель — вчера вернулся, ночью приискал себе место в старом сарае, утром раздал все деньги и поехал-побежал по миру: получится — в Америку, не получится — в ближайшее «садоводство»: что-нибудь вскопать, починить, переставить, пересадить, стащить, выклянчить.

У него, Абея, золотые руки. Только вот работа ему быстро надоедает.

Если где-нибудь и зарыта собака, то тут.

Прошли миражи: первобытная идиллия, любовь под сенью кущ, крутое суперменство самца-зверя.

Обнажилось — «ничто». Пустота.

«Работа надоедает».

«Обломок человека из юдоли скорби».

«Я осточертел себе самому».

Это последнее признание и есть дно той дыры, которая казалась бездной.

Ивар Карено может успокоиться: Террорист у врат. Роман дописан в 1938 году. Адольф Гитлер возглавляет кочующие орды.

«Круг замыкается».

...НЕМЦЫ

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ СЧЕТ

Два человека почти одновременно высказались на эту тему. Один сказал: не люблю немцев; другой: люблю немцев. Первый сказанного устыдился, преодолел себя, покаялся. Второй объяснил: мне не с чего было их любить, но я пожил в Германии — и полюбил.

Оба они там пожил. Один — дитя антифашистов-изгнанников — пожил в ГДР в юности по пути из США в СССР. Другой попал в Германию в зрелости, когда был выдворен из СССР в изгнание.

Один — известнейший телекомментатор, другой — известнейший писатель.

Оба — Владимир Познер и Фридрих Горенштейн — вызывают мое искреннее уважение и неизменную симпатию. Я хочу сопоставить их позиции. Не с тем, чтобы решить, кто более прав, а чтобы понять, что с ними (с нами) происходит. С нами — то есть и в моей собственной душе. И вообще, и после прочтения вышепоименованных авторов.

Познер свою нелюбовь к немцам никогда раньше не анализировал, он воспринимал ее как данность и жил в этой нелюбви не задумываясь. Бог проучил его — послал зятя-немца, прекрасного человека. Однажды зять сказал: «Знаешь, мне иногда стыдно, что я немец». Познер был потрясен. Он подумал: вот ведь, немцам хватает мужества осудить себя за гитлеризм. А нам покаяться в сталинизме мужества не хватает. А раз так, то...

«Без настоящего покаяния будем ходить горбатыми».

Мысленно примеряю все это к себе. Я тоже — дитя войны, и тоже потерял родных: отца — «на советско-германском фронте», родственников — в душегубке. Немцы в мою жизнь вошли как знак смерти. Я был обречен на всю жизнь мучительно освобождаться от этого ужаса. Мучительно — из-за бессилия ума и души: я не мог объяснить себе, как народ, давший миру Бетховена, породил эсэсовцев. Я это связать не мог — не укладывалось. Были Карлы Иванычи, учившие музыке наших дворянских недорослей. Были Кант, Шеллинг, Гегель... Был народ, научивший философию человечество, — как на этом месте мог произрасти Гитлер? Такое невозможно было понять, а не поняв невозможно жить.

У каждого из нас это общее понятие «немцы» разбивалось о личные привязанности, так что само это слово «немцы» лучше было бы не употреблять вовсе. Однажды я вляпался: сморозил, брякнул — и мое интервью выпорхнуло в печать со следующим пассажем: я, мол, немцев не люблю, но не могу не уважать, нас же, русских, невозможно не любить, а вот уважать трудно...

Моя старинная, с университетских лет еще, приятельница, вышедшая замуж за немца, прочтя это, спросила с непередаваемо участливой интонацией: «Не любишь немцев?» Муж ее (замечательный человек, пылкий

гедезеровец, влюбленный в Россию) не сказал ни слова, он только посмотрел, но этого взгляда хватило мне, чтобы сгореть от стыда.

Это вообще чудовищный риск: оперировать такими понятиями, как «немцы», «русские», «евреи», «негры» и т. п. Это такая же ловушка, как коллективное «покаяние».

«Без настоящего покаяния будем ходить горбатыми»?

А что это такое — «настоящее покаяние»?

«Мы не осудили своих палачей...»

Не понимаю. У меня нет «своих палачей», и я не уверен, что в это познеровское «мы» не втрутся очередные кандидаты в будущие палачи. Покаяние может быть только личное, оно — акт глубоко интимный, духовно интимный. Когда германский канцлер является к Стене плача, чтобы «попросить прощения» у «еврейского народа», я воспринимаю это так, что у данного немца болит его, лично его, совесть, а канцлер он там или слесарь — это уже, простите, «пропаганда». Пропаганда тоже имеет свой смысл, и лучше, когда президент кается, чем когда похваливает фюрера. Но официальное покаяние мало говорит о том, что происходит в таинственной глубине душ. Скорее оно прикрывает эту тайну.

Да, «немцы» покались. Гласно, официально, дружно. Фридрих Горенштейн, живущий в Берлине и полюбивший немцев (потому что он их «понял» — понял «их беду») описывает это покаяние, что называется, как очевидец. Дело в том, что покаяние там — именно общественное, официальное, гласное, однако «в своем кругу» оно как-то не принято...

Впрочем, я лучше поподробнее процитирую самого Горенштейна, еще и по причинам «техническим». Дело в том, что пронзительный этюд Познера наш читатель легко разыщет и сам (в журнале «Дружба народов», в октябрьском номере за 1997 год), Горенштейн же напечатал свою работу далеко — в приложении («литературном приложении») к журналу «Зеркало загадок» (издается в Берлине с разъяснением на титуле, что это «независимый культурно-политический журнал на русском языке»).

Горенштейн пишет:

«...Нынешние немцы — это народ, который сам себе не доверяет, который сам у себя на подозрении, который сам о себе думает с тревогой: не натворим ли еще чего ужасного? Попробуй, заговори с самыми дружественными из них о гитлеризме — и видно, что этот разговор им неприятен, что они беспомощны перед таким разговором. Но, с другой стороны, говорят много, правда, не столько в тесном дружественном кругу, а публично — в прессе, на телевидении, потому что на миру и смерть красна. Публичность смягчает неприятные истины, особенно тягостные наедине. Во всяком случае, гитлеризм, как правило, — не тема семейных разговоров...»

Это и есть то самое «общественное покаяние» — от имени «мы», — до которого мы «не дошли» и к которому призывает нас Познер.

Попробуем вздуматься. Итак, грешны «они» (нацисты) и грешны «мы» (большевики). Что же, совершенно нет разницы? А если есть, то где она? Не в лозунгах же военных лет! А может, она, эта разница, лежит в самом основании этих чумных поветрий?

Для В. Познера это два варианта одного и того же помрачения. «Правда, мы извели поменьше чужого народа, — уточняет он, — зато своего вдесятеро...».

Не спору с Познером: в известном смысле — «одно и то же». Гитлер и Сталин — близнецы... для такого сближения еще лет десять назад требовалось изрядное мужество; я не только о том, что это трудно было высказать вслух (могли всыпать по идеологической линии), — это трудно было вместить, тут требовалось мужество мысли. Но когда Познер говорит, что мы извели меньше «чужого» народа и больше «своего», он приоткрывает ту самую таинственную глубину трагедии, которая за теорией близнецов не всегда видна. Речь идет о том, что такое свой и чужой в том и в этом варианте чумы.

Для большевизма свой — тот, кто убежден в правоте дела и сознательно становится на этот путь. Да, Сталин извел вдесятеро больше народа, он чистил ряды, он уничтожал колеблющихся, он выжигал потенциальных предателей, но этот ужас был, так сказать, в пределах человеческого выбора (и расплаты за выбор). Если свой «оказывался» чужим — его стирали в пыль. Но интересно, что даже в конце тридцатых годов, когда в пыль стирали миллионами, не было формулы «расстрелян враг народа», а употреблялась формула «расстрелян как враг народа». Анатолий Стреляный, заметивший эту особенность тогдашнего языка, истолковывает ее очень точно; это значит: расстрелян в качестве врага народа, по списку врагов народа, в роли врага народа. То есть это «свои», которые повернулись к «чужим».

Гитлер изводил чужих, которые являлись чужими изначально и бесповоротно. Выбора не было, выбор был вынесен за пределы сознания — в сферу крови, рода, наследственности, которой человек не выбирает. Чужого травили газом не потому, что он «оказывался» чужим, а потому, что «был» им. От природы. Меченый.

Это и есть иррациональный ужас, и он вошел в мое детское сознание именно как иррациональный ужас. Последний сигнал долетел уже из «бункера», в мае 1945 года, когда адмирал Дениц послал Сталину сообщение о смерти Гитлера: «Первому из немцев сообщаю Вам...»

«Из немцев...» Вот это и есть то самое... Немцы — и немцы. Мы все были — немцы. Неважно, кто мы, какие мы, в чем убеждены и какой путь выбрали. Мы — НЕМЦЫ.

О, сколько впоследствии такого же яда, но с другими этикетками влили в мои уши! И «нерусские», и «нееврей», и «не...», «не...», «не...» Но первыми эти самые «немцы» 1945 года были вколочены в душу намертво.

Разумеется, они строили новый порядок не только для себя, но для всей Европы, и, конечно, «немцам» в этом порядке тоже были расписаны роли (кому в шахту, кому в ров, кому в лакейскую), но базис был вот такой, химически чистый. И, разумеется, ни черта бы у них не выгорело, даже если бы они дошли до Урала, — все равно добрейшие Карлы Ивановичи, полюбившие Россию, опять принялись бы учить нас музыке, а Шеллинг с Кантом — звездному небу над нами и нравственному закону внутри нас (правда, я бы уже не услышал — вылетел бы к небу в газовую трубу). И,

разумеется, человечество как таковое сильнее любой прицепившейся к нему хвори, но.....

Но Германия — единственная в Европе страна, где гражданство определяется прежде всего по «наследуемой крови» (в Европе, а не в мире, потому что вне Европы найдется нечто близкое — в том же Израиле). Этот немецкий закон не отменен до сих пор. А принят он в 1913 году. И отнюдь не Гитлером. И еще до Первой мировой войны, которая во многом оттого и разразилась, что человечество было поражено национализмом. Немцы, со свойственной им последовательностью, просто довели это до логического конца.

Но почему, почему? Почему талантливейший, одареннейший народ оказался скручен этой хворью?

Познер говорит: помрачение. Помрачение, а потом — покаяние и выздоровление.

Горенштейн говорит иное. Помрачение — это то, что было с нами.

«Сталинизм — наружная болезнь. Рабство — болезнь угнетенных, несвободных. А гитлеризм — болезнь свободных людей. Можно спорить только об одном: 99 процентов или 98 процентов немцев поддерживали Гитлера. И немцы это о себе знают, и немцы этого не опровергают».

Девяносто восемь или девяносто девять? Жутковатая статистика. У нас малость «полегче». Большевики в 1918 году набирали процентов двенадцать-тринадцать. Чем взяли? Напором, нахрапом... Всех скрутили, головы задурили, в лагеря загнали. Потому нам и покаяние кажется спасительным: это все-таки не «мы» — это «они», «палачи».

А когда 98 процентов?

Горенштейн, правда, имеет про запас еще одну «парадигму»: если российская катастрофа 1917 года — следствие слепого народопоклонства, то германская, 1932 года, — наоборот, от слепого чинопочитания. Пролез наверх австрийский псих — и немцы подчинились. Потому что начальство!

Различие мнимое, хотя и эффектное, впрочем, вполне традиционное. Только вот... народопоклонство-то русское развилось во многом под влиянием немецких романтиков, которые к народу относились с большим пиететом; в политике же панславизм был как бы ответом на пангерманизм. Далее любой специалист по германской истории вернет мне аргумент и скажет, что пангерманизм в свою очередь был немецким ответом на австрийско-славянскую чересполосье и свистопляску: сквозило с Балкан, с Карпат — заслонились. Тут, взаимно отражаясь в зеркалах, так друг друга подначивали славяне и немцы (кто скорее), что где там чинопочитание, а где народопоклонство, делить не будем (тем более что наш скромный народный вождь в конце концов взял себе чин генералиссимуса, до которого «австрийский псих» не додумался).

А вот психологическая плоть «там» и «тут» действительно разная. И отсюда — разная возможность дать задний ход, очиститься, то есть считать бывшее небывшим или, во всяком случае, поклясться себе и миру, что больше такое не повторится.

Мы, русские, в 1947 году были «не те», что до 1917-го. Теперь мы «не те», что были в 1947-м. Завтра опять будем «не те». Мы вечно — «не те».

У немцев вроде бы то же самое. Горенштейн пишет:

«Никогда немцы после Гитлера не будут тем народом, каким они были до Гитлера».

Однако нацизм, принятый свободно девяносто восемью (или девятью?) процентами народа, — это не совсем то, что масонский коклюш, занесенный «призраком» из Европы и заразивший здоровый организм вольных россиян, не так ли?

Не так, дорогие сограждане. «Призраки» бродят одни и те же. Организмы разные.

Вдумываясь в особенности «немецкого» духовного организма, Ф. Горенштейн четко отделяет его от организма «австрийского» (кавычу то и другое, потому что это не нации, а типы).

Тип «австрийский». Рядом — Балканы, чересполосье вер, конфессий, этносов, не смешивающихся, стиснутых самостийностей. Пороховой погреб. Хаос. Непредсказуемость. «Невменяемость».

Как «немцу» приспособиться к «невменяемости»? «Немец» поневоле превращается в «австрийца».

«Австрийская немецкость сочетается с балканским сознанием и даже балканским образом бытия...»

«То, чем для России была нижняя Волга, впадающая в Азию и Кавказ, для Австрии были Балканы, Далмация, Словения, Хорватия, Сербия с их постоянным политическим сутяжничеством, национальным разбоем, взаимной ненавистью, пожарами, имеющими свойство распространяться широко...».

«В пределах империи Габсбургов на границе Румынии и Сербии, в красивой до жути, зеленой и влажной местности — родина вурдалаков, вервольфов, мертвецов-кровопийц, так поэтически описанных Пушкиным в „Песнях западных славян“. А в верхней Австрии — гористой местности, орошаемой Дунаем, богатой озерами, поросшей богемским лесом, в городе Браунау, близ Линца, — родина Гитлера». (О Сталине говорили: «горный орел», но «горным орлом», оказывается, был и Гитлер...)

В последнем образном сближении чувствуется уже не Горенштейн-исследователь, а Горенштейн-писатель, саркастический и желчный. Но это не отменяет той дотошности, с какой он исследует соотношение двух немецких типов: «прусского» (риску употребить это привычное определение) и «австрийского». Вплоть до статистики.

Статистика-то и поражает.

«Население Австрии составляет 8 процентов от населения Германии, а в SS австрийцев было 50 процентов. То же соотношение — среди комендантов и охраны концлагерей. Но при том австрийцы ухитрились выдать себя не за палачей, а за жертв. Государство — да, но не население».

Интересно все-таки сопрычь эти две цифры. Нацизм поддерживает девяносто восемь из ста (или девяносто девять?) немцев (в данном случае я

имею в виду «немецких немцев», «прусских», так сказать). А в эсэсовцы, охранники, в «автоматчики Бабьего Яра и кочегары Треблинки» идут «австрийцы». Идут иной раз поневоле, иной раз по низости, трусости, мерзости, а иной раз и по той самой «балканской» слепой ярости «против всех», о которой было сказано выше. Однако «настоящий» немец туда, к газовой печке, не идет. Хотя приказы фюрера (который готов сам встать к печке!) выполняет пунктуально. И поддерживает фюрера безоговорочно.

Тут есть какая-то загадка, какая-то глубинная тайна немецкого духа. Какая-то смутная связь между «землей» и «небом» — в чисто немецком очарованно-сумеречном варианте. Немец — «человек земли», именно человек и именно земли; отсюда — несторианские корни классической философии, как бы примеряющей человека на место Бога, отсюда — и немецкое жизнеустройство, последовательное и логичное. Но немец одновременно — и «человек неба», прямо соединяющий звезды с нравственным законом.

«Прямо»! Ступеней, люфтов, допусков — нет. Невменяемая грязь бытия (автоматы Бабьего Яра и печи Треблинки) ставит немца в духовный тупик. Лучше, когда этим займутся другие. Немец не выносит непредсказуемости, он на этом сламывается.

«Никогда немцы после Гитлера не будут тем народом, каким они были до Гитлера».

Потому что они свободно выбрали гитлеризм и хотели бы за этот выбор ответить. После краха — ответить нечем.

Казенное покаяние — пожалуйста. Но в глубине души (в бездне духа) немец остается в горестном отчаянии от того, что произошло, то есть от того, что мир не подчинился «правильной системе». Он, немец, готов был пожертвовать собой ради того, чтобы мир улучшился. Он нибелунг, рыцарь... Но — мир оказался слаб, коварен, пестр, грязен, пег. «Австрийский немец» еще как-то попробовал с этим справиться («славянский немец», Йозеф Швейк, справился виртуозно). «Немецкий немец» должен был перестать быть собой.

Горенштейн находит формулу:

«Немцы такого рода, активные или пассивные, никогда не смогут простить евреям тех преступлений, которые они (немцы. — Л. А.) против них совершили».

Формула страшная — для евреев. В смысле чудовищной по отношению к ним несправедливости, продолжающей царить «в мире». Горенштейн пишет об этом подробно; в сущности, его работа и посвящена судьбе еврейства; называется она соответственно: «Товарищу Маца — литературоведу и человеку, а также его потомкам». Маца — литературовед сталинских времен, его фамилия позволила Горенштейну скаламбурить на кошерную тему. Прием грубоватый, мне не нравится, но речь о той боли, которая побуждает к подобным обострениям.

Другая боль Горенштейна — Россия. Точнее, не боль, а ярость по адресу критиков, которые заподозрили Горенштейна в неуважении или неблагодарности по отношению к России. Он этих критиков топчет с бешенством, на мой взгляд, неоправданным, но дело опять-таки в боли,

которая не только лишает человека чувства меры, но и диктует окраску обвинений: поскольку все эти критики (во всяком случае, в представлении Горенштейна) — евреи-либералы, то еврейская и русская темы смешиваются у него в один гневный поток.

Я из этого потока выделяю одну струю — германскую.

Так вот, если прочесть горенштейновскую эпитафию «немецкому немцу» не с еврейской или русской точек зрения, а с точки зрения самого этого немца, она приобретает следующий глобальный смысл:

— Немец никогда не простит миру тех преступлений, которые он против этого мира совершил.

Совершил, как он уверен, ради блага этого же мира. Совершил — с сознанием своей обреченности в борьбе с этим миром. Совершил жертвенно-безнадежно. Как нибелунг, который должен погибнуть.

Эта потаенная трагедия немецкой души с болью открылась мне, когда судьба занесла меня в Мальборк. Грандиозный рыцарский замок несколько столетий высится среди польских полей. То, что там полно мечей, знамен и крестов, меня не удивило. Меня потрясло то, чему я раньше как-то не придавал значения, — центральное место в замке занимает Госпиталь. Место, где покалеченные и изнемогшие рыцари лечатся и доживают дни. Это, стало быть, запрограммировано: самопожертвование рыцаря, его гибель в борьбе с неподдающимся миром.

Идет концентрация Духа и Материи: Рыцарь строит Замок. Он не идет «в поля», не смешивается с «земной грязью»; он возводит стены, огораживается и отгораживается; он кладет камень на камень, тянет башню к небу, возвышаясь над «хаосом».

А «хаос» захлестывает...

Почему две мировые войны, располосовавшие общечеловеческую историю, с такой силой втянули именно русских с немцами? Что нам с ними было делить, нам с ними — психологически созданным для взаимодополнения? Идеология? Но в фатальное противостояние «коммунизма» и «фашизма» верится плохо — это все наркоз; никакой идеологической несовместимости не было и в 1914-м (а 1941-й — продолжение 1914-го). А 1914-й, что — продолжение 1913-го? Откуда такой взрыв? Никакой «династической» несовместимости тоже не было: на питерском троне уже двести лет сидели те же самые немцы, которые усердно «цивилизовали» Россию — начиная от «губернской» структуры, которую императорской волей налаживала Екатерина, до «заводской», которую «железной волей» налаживал лесковский инженер Пекторалис, укормленный нами до смерти, — усердно они ее обустроивали и... обреченно.

Так что немецкая запредельная жестокость — не с отчаяния ли, что на российской почве все у них «ползет и кренится», и железные волевые цивилизаторы русеют, то есть пьют и мрут, обжираясь блинами?

У Гоголя немец, безвинно упеченный в тюрьму по русской подлости, спрашивает наших негодяев: «Зачем вы это со мной сделали?» Наши отвечают: «Полюби нас чернинькими, а белинькими нас всякий полюбит».

Фраза эта недаром вошла в русский менталитет — долго мы про себя ничего равного не услышали, вплоть до гениального «хотели как лучше, а получилось как всегда». В сущности, на ту же тему.

Так чем должна была казаться сталинская держава тому немцу, который в начале 30-х годов на 98 или 99 процентов поддержал Гитлера? Чем-то невеняемым, неумолимым, неуловимым для логики и смертельно опасным. Наверное, мы этому немцу казались Ордой, наподобие Чингисовой. Ему, немцу, из его «башни» не различить было «нюансов»: ни того, что русские исторически — сами жертвы Орды, ни того, где там «татары», где «монголы»; для немца «русские», остервеневшие в большевизме, были как для Руси когда-то «татары» — синоним хаоса, сметающего космос, «лавы», заливающей «Город».

Поэтому его, немца, вторжение в наши пространства — упреждающий удар. Которому нет оправдания. Но есть объяснение.

Я понимаю: для моего сознания, созревающего под похоронки 41-го года, «немец» — такой же неизбывный «кошмар навсегда», как для немца — кошмар ожидаемого сталинского нашествия, сначала брезживший в чингисхановском мареве, а потом и ворвавшийся из теории в реальность. Поэтому я не хочу меряться бедами, не могу ни обвинять, ни каяться: странно мне полвека спустя обвинять тех, кто давно в могиле, и каяться, кощунственно прощая палачей от имени жертв, которые тоже лежат в могиле, причем вместо меня.

По замечательному выражению Горенштейна, это называется «демонстрировать всепрощение, подставляя чужую щеку».

Не каяться нужно. Нужно понять немцев. Понять их боль, их трагедию.

Когда-то меня потрясло в финале романа Ирвина Шоу «Молодые львы» то место, где американец говорит немцу, уже убитому:

— Когда ты звал меня через Ла-Манш и кричал мне о своей боли, я не услышал...

А уж когда Дрезден в руинах, и Сталинград в руинах, и от Ковентри ничего, и от Варшавы ничего — чем тут считать?

Горбатый кается — чужого горба ищет.

БЫЛА ЛИ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ?

Виктор Суворов в авторском предисловии к книге «Ледокол» пишет:

«К МОЕМУ РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ.

Простите меня...

Проклинайте меня...

Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа, я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, —

на память о Войне, о так называемой „великой отечественной войне“. Это понятие я беру в кавычки и пишу с малой буквы.

Простите меня...

Мой отец прошел войну с первого до самого последнего дня... Я прошу прощения у своего отца. Перед всей Россией. На коленях... Таких не прощают, но я все равно прошу:

ПРОСТИТЕ МЕНЯ».

То же самое Виктор Суворов повторяет и в своем видеоинтервью, которое он дал нашим журналистам в каком-то секретном лондонском убежище: имея на загравке два смертных приговора, еще Советской властью вынесенных, Суворов скрывается, подобно Салману Рушди. Видеокассету с его монологом я просмотрел на пресс-конференции в «Новом времени». Уяснил, что только одно волнует Суворова: как примут его книгу в России. Простят ли ему русские люди, что он отменил Отечественную войну.

Некоторое превышение тона над задачей, честно говоря, смущает меня сразу. И поза — «на коленях»... Мелодрама всегда вредит драме. К тому же гладкая, уверенная, ироничная, победоносная физиономия лондонского изгнанника не выказывает никаких следов нравственных терзаний.

По существу же, я думаю, Виктору Суворову и не о чем терзаться. Отечественной войны он не отменил. И не отменит.

В чем смысл его книги? В том, что Сталин пытался ударить первым, но не успел. На сколько Гитлер опередил его: на считанные ли дни, как считает Суворов, или на недели, как полагают некоторые его оппоненты, или на месяцы, как думают те, кто на месте Сталина дожидались бы 1942 года (насытить армию новыми танками и т. д.), — этот вопрос вряд ли теперь разрешим.

И другой вопрос: как пошла бы война, если бы Сталин успел ударить первым? Как это высчитать? Разве что компьютерную военную игру устроить? Я-то, грешным делом, когда читал «Ледокол», — о своем отце думал: может, не погиб бы? И дошли бы мы до Лиссабона, и напоили бы стальных коней из реки Тахо, и не положили бы двадцать миллионов жизней...

Однако когда сталкиваются две изготовившиеся для наступления армии это именно две профессиональные армии, это не народная война. А в профессиональности мы немцам заметно уступали тогда. Так что клинья наши, нацеленные отсечь немецкую танковую мощь от румынской нефти, вполне могли быть и сами подрублены там же, на исходных. И угробили бы мы свою кадровую армию не в Белоруссии, а в Румынии. Или в Польше. А дальше все пошло бы по фатальному сценарию: вторжение немцев в Россию — народная война — Победа.

То, что Гитлер все равно проиграл бы, — неизбежно: это было предreshено соотношением сил народов. Он и полез-то — от отчаяния. Сколько-то выиграл на внезапности. Все это действовало, пока война не была отечественной.

Но она стала Отечественной. Причем с большой буквы.

Суворов пишет, что войну подготовил и фактически начал Сталин, и поэтому она захватническая.

Но отечественные войны и не начинаются как отечественные. Они ими делаются.

Отечественная война 1812 года тоже не была таковой по замыслу. А шла довольно коварная европейская политическая игра, в которую, по мнению некоторых российских государственных мужей, нам вообще нечего было вступать. Но в тот момент, когда под наполеоновскими стягами европейское воинство стало утюжить Россию, ситуация принципиально переменялась. Война оказалась Отечественной. Население почувствовало себя народом.

В 1612 году игра политическая была еще хитрее и, наверное, еще запутаннее. И у Владислава Польского, Рюриковича по крови, природных прав на московский престол было, наверное, не меньше, чем у Годунова, Шуйского или Романова. Однако все это стало неважно, когда Минин ударил в набат и Пожарский повел русских: они дрались не за Романовых, они дрались за свои дома, за свою Родину.

Сталин быстро почувствовал, что с момента, когда немецкие армии вторглись на нашу землю (и немецкие пролетарии, вместо того чтобы грудью встать на защиту первого в мире социалистического государства, встали в ряды гитлеровских войск), все переменялось! Не за «коммунизм» поднялись русские люди, а за Отечество. Сталин сразу шкалу ценностей перевернул: «Пусть осеняют вас в этой борьбе...»

А о том, что превентивный удар готовится, знали перед войной все. Сроки и пути переброски войск, разумеется, были смертной тайной. Но что «завтра в поход» — это же лозунг времени. Об этом песни пели, на митингах кричали. Потом-то уж, после 22 июня 1941 года, идея «вероломного нападения» вытеснила идею «освободительного похода». Тогда реальность революционных войн была вытеснена реальностью Отечественной войны. И та, предвоенная, реальность тоже была зафиксирована в тысячах свидетельств. Историки рано или поздно восстановили бы картину. Суворов сделал это талантливо, красиво и профессионально, как разведчик, освоивший британскую технику мозаичного накопления фактуры.

Но речь не о фактуре — речь о сверхзадаче. О том, отменяет ли все это Отечественную войну. И еще речь об оценках, в которых у Суворова сквозит тон «разоблачения».

Не только у Суворова, кстати. Владимир Буковский в послесловии к отдельному изданию «Ледокола» доказывает злоумысел Сталина тем, что песню «Вставай, страна огромная» он «лично заказал автору... еще в феврале 1941-го». Какому автору? Александру Адольфовичу Боду? Так он эту песню написал еще в 1914-м. А главное, кого тут разоблачать-то? Разве что Лебедева-Кумача, который украл у Боду слова и выдал за свои. Так его уже Андрей Мальгин разоблачил.

Разумеется, у Сталина был злой умысел. Как и у Гитлера. Но смешно говорить, что «два бандита» столкнули между собой народы. Конечно, и тот

и другой стояли во главе военных систем, и даже систем бандитских, но вряд ли такие системы могли бы укрепиться и действовать, если бы не опирались на то, что называлось «яростью масс». И вряд ли секретные приказы Сталина о переброске второго стратегического эшелона были бы выполнены так эффективно, если бы сотни тысяч и миллионы людей не хотели бы их выполнить.

В. Суворов приводит совершенно справедливые слова маршала Б. М. Шапошникова о том, что если не начать боевые действия, то пушки начинают стрелять сами.

В. Суворов мог бы привести здесь точно такие же слова Гитлера из письма к Муссолини, написанного накануне вторжения: дуче, пушки начнут стрелять сами, лучше разорвать петлю, пока она не затянулась. И еще: я не могу упаковать порыв немецкого народа в бутылки и сохранять до лучших времен.

«Ярость масс»... С обеих сторон. Вот что подпирало вождей. И это самое страшное, что мы извлекаем из истории XX века. Вожди искали выход вулканической народной энергии и выгадывали момент. Один выгадал, другой прогадал — это сюжет увлекательный, захватывающий. Но то, ради чего они подстерегали друг друга, — сюжет убийственный, страшный. И чисто геополитический. Вечная тяга азиатской растянутой мощи в концентрированную Европу: приобщиться, подтянуться, присвоить. Вечная тяга европейской концентрированной силы на азиатский простор: приобщить, подтянуть, освоить. От Батыевых времен до немецкого крика 1914 года: так мы научим этих русских лентяев пахать как следует степные черноземы! Танками явились пахать.

И мы не лучше. Тоже танками пахали.

Тоска наша при утрате Прибалтики — не от этого ли самого чувства: Европа от нас уходит, уплывает! А мы-то думали, что с ней навечно породнились...

На тысячелетнем фоне прорезается логика глобальных противостояний. Можно только молить судьбу, чтобы она не столкнула еще раз Азию с Европой, ибо разрыв пойдет по нашему телу. Можно только надеяться.

Геополитическая тектоника — таинство Истории. Какие узоры она выложит — не угадаешь. Какие хитросплетения будут распутывать грядущие историки, и какие комбинации предложат своим народам вожди, порожденные «яростью масс»?

Но когда зарубежное воинство вторгается в твой дом, тут начинается совсем другая драма. И «ярость масс» переходит в другой регистр. Это уже народная война. Отечественная. С чего она начинается, кто там кого подловил, упредил, объегорил — все это уже неважно. Отечественная война становится фактом, и от нее отсчитывается все.

Наполеон в Испании — воин, стратег, тактик и т. д.

Испанцы против Наполеона — Отечественная война.

Мы в Афганистане — союзники Бабрака, Наджибуллы и т. д.

Афганцы против нас — Отечественная война.

Как и мы против Гитлера.

Так что зря «становится на колени» Виктор Суворов перед русскими людьми. Великой Отечественной войны он своей книгой не отменил.

Зря подогревают ситуацию немецкие рецензенты из газеты «Ди вельт»: советские-де товарищи будут от этой книги «в дикой ярости». Не будут.

Никуда не уйдут из нашей истории ни московская осень сорок первого, ни ленинградские блокадные зимы, ни весна сорок пятого. Ни отчаянность Сталинграда, ни партизанская эпопея Беларуси, ни миллионы калек, умерших в госпиталях Урала и Сибири, ни миллионы бойцов, чьи кости безымянно разбросаны по брянским лесам и украинским степям.

ПУТЬ РОССИИ В ЕВРОПУ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ?

Русские и немцы заново приглядываются друг к другу. За кровавым изнеможением двух мировых войн, в которых обе страны понесли самые страшные потери, за удушающим полустолетием войны «холодной», из которой раздробленная на части Германия сумела выйти великой и цельной, а великая и цельная Россия вышла раздробленной, — за безумным двадцатым столетием, самое безумие которого, словно клеймом, мечено русско-германским разломом, встает что-то... то ли ностальгическое будущее, где мы и немцы, «распри позабыв», составляем в мечтах некий общий обруч, который не дает распасться евразийской цивилизации, то ли ностальгическое прошлое, где мы и они, еще не ввязавшись в братоубийство, составляем в воспоминаниях некое ядро, вокруг которого эта евразийская цивилизация «закрутилась».

Они «дают» нам династию. Мы им — геополитическое пространство. Они нам — строгую философию. Мы им — преображение строгой философии в пламенную духовную практику. Они нам — Гегеля и Ницше. Мы им — Толстого и Достоевского. Они нам — Шнитке. Мы им — Кандинского...

В 1923 году Мариэтта Шагинян — на самом острие «передышки», через десять лет после начала первого обвала в бездну и за десять лет до начала второго обвала — публикует очерк «Мы и немцы» — запись бесед с человеком по фамилии H.-Z. Gaugewidmet (боюсь, что в моей передаче по-русски его фамилия приобретет неудобочитаемость). Это — попытка психологически воссоединить «двоюродных братьев»: славян и германцев — понять схожесть «кристаллических» душ — в противовес «ковким» латинянам (и, надо думать, кипящим в своем «котле» американцам). Теперь эту работу мало кто поминает. А можно бы — в свете новейшей русско-германской публицистической переклички, зазвучавшей разом с обеих сторон.

Не втягиваясь в «обзор», назову создаваемую Львом Копелевым в Кёльне русско-германскую серию; назову отпечатанную в Вашингтоне (по-русски) книгу Уолтера Лакера «Россия и Германия»; и под таким же названием («Россия и Германия») — «опыт философского диалога»,

вышедший под двойным титулом Немецкого культурного центра имени Гёте и издательства «Медиум» в Москве.

Есть еще замечательная книга Александра Эткинда (не путать с Ефимом!). Названа она, в отличие от вышеперечисленных книг, расплывчато-поэтично, в духе ницшеанских и символистских видений: «Эрос невозможного», но — с четким и здравым подзаголовком: «История психоанализа в России». Это все та же общая проблематика, и та же ось, на сей раз в варианте Петербург — Вена, ось, концы которой: «немецкий» и «русский» смотрят в несходимо разные стороны, но из одного центра.

В «Опыте философского диалога» я выделил бы статью Бориса Гройса. Она выделяется и по блеску исполнения, но, конечно, не она одна достойна такой оценки; речь однако в данном случае идет о повороте проблемы. Гройс поворачивает «несходящиеся концы» друг к другу. То, что мы называем «западным менталитетом» (и что получили в свое время большею частью из рук немецких философов): рациональность, универсальность законов бытия, «чистота разума», неприкосновенность и отдельность суверенного индивида все это срабатывает лишь при том допущении, что универсально чистый разум действительно существует, и существует действительно как универсальный — в декартовском, кантовском или каком-то ином варианте. Если это так, то вечно выпадающая из универсальной схемы (или вечно отстающая на «общем пути» от «всего человечества») Россия оказывается за пределами общеобязательной истины. Но если сам этот рациональный мир, этот «логоцентристский» образ мироздания переживается как специфически «западный», — то тем самым обозначается смутная необходимость чего-то другого, можно сказать, «восточного», но также и какого угодно другого: «южного», «северного», «западно-восточного», «евразийского»... Смысл этого предположения — вовсе не в том, чтобы оправдать Россию как особый случай многообразия (эдакий камешек в мозаике); смысл в том, что сама «западная» модель человечества скрыто предполагает некую антитезу «мондиализму», то есть противопоставляет исчерпывающе-законченному взгляду на мир что-то принципиально иное: неисчерпаемое и незаконченное. Жажда «другого». Это и Шопенгауэр, введший в картину мира «бессознательную космическую волю» как начало, внеположное «исторической саморефлексии». Это и Кьеркегор, пришедший к идее существования, которое не редуцируется до сущности. Это, наконец, и Маркс, открывший целый «класс», не вписавшийся в гегелевскую систему.

Эту Марксову «точку опоры» русские использовали, чтобы перевернуть землю. Но искали-то точку — люди западные. Не с тем, может быть, чтобы все «перевернуть». Но с тем, чтобы вырваться за пределы рациональной самодостаточности, в которую человек до конца все равно вписаться не может.

На изломе от XVIII к XIX веку он не вписался в классицизм и просвещение, причем выброс романтической энергии произошел именно в германском сознании, подхвачен же был — русскими.

На изломе от XIX к XX веку человек «не вписался» в романтизм. Его вывернуло в сатанинство. Есть нечто общее между философскими видениями Ницше, поэтическими видениями русских символистов, а также

между практикой Фрейда и практикой большевиков. Это общее — ощущение того, что человеком движет «что-то», что сильнее его. Что-то «другое», чем он, но — в нем самом. Человек должен выработать в себе «сверхчеловека», он должен реализовать в себе некую «иную реальность», несоизмеримую с наличными формами бытия. Он должен вытащить из подсознания то, что оттуда, из подсознания, определяет всю его «сознательность». Он должен выковать из себя «нового человека» и в роли «нового человека» выстроить «новый мир».

Тут я уже не Бориса Гройса пересказываю, а Александра Эткинда. В чем их перекличка? В ощущении «общего сюжета», в котором взаимонеобходимыми действующими лицами являемся «мы и немцы», и — шире — все втянутые в этот исторический процесс народы. «Сверхчеловек» Ницше и «черт» Достоевского родственники. Да, большевистская Россия — «кулак», обрушившийся на «культурную Европу», но и из Европы обрушиваются сюда кулаки не меньшие. Как сказал Максимилиан Волошин: «кулак — где у того дыра». Европейский рационализм интуитивно ищет выхода за пределы своей универсальной самодостаточности, он чреват чем-то «другим».

Является же это другое, как правило, в диком и несообразном виде.

Является к добропорядочному доктору Фрейду некий «большевик», агитирующий доктора за коммунизм. Кто этот посетитель, доктор не расшифровывает. И, видно, не удивляется (не случайно же именно в Советской России объявились самые неистовые последователи Фрейда... да тот же Троцкий)... Но имени своего гостя Фрейд, как я уже сказал, не раскрывает. «Один большевик», — рассказывает доктор в своей непередаваемой манере, наполовину обратил его, Фрейда, в коммунизм. Как же? «Коммунисты верят, что после их победы будет несколько лет страданий и хаоса, которые потом сменятся всеобщим процветанием». Доктор заявляет, что верит в первую половину.

Страдания и хаос настигают-таки Зигмунда Фрейда. Но претерпевает он не от русских большевиков, а от немецких фашистов. Теперь это, кажется, уже никого не озадачивает: Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Следствия сходятся, но схожи и истоки: един тот общий порыв, из которого рождаются те и другие. Вера, что человек есть только «мост» к чему-то. И то, что экспериментаторы первых советских лет готовятся пересоздать человека с помощью техники психоанализа, так же знаменательно, как и то, что за сто лет до них русские славянофилы ездят за образом России — в Германию. Мы не можем без немцев, как и немцы без нас. Европа XXI века брезжит?..

Конечно, Фрейд за Троцкого не отвечает. С помощью техники психоанализа можно не то что ветхого Адама перелицевать в нового, — можно на одном «признании обвиняемого» выстроить целую юриспруденцию, и все это, опираясь на подсознание, которое при умелом ведении дела выводится на уровень сознания, осознания и признания.

Доктор Фрейд, «осознававший подсознательное», не имел в виду ту «сознательность», которую потом русские большевики вписали в моральный кодекс строителя коммунизма.

Но ведь и Ницше не имел в виду того гитлеровского «юберменша», который полвека спустя огнем и мечом прошел пол-России.

Это, кстати, еще один потрясающий сюжет, не слишком известный у нас. А. Эткинд ярко излагает его в своей книге. У философа была сестра, именем Элизабет, — та самая, о которой он написал следующее: «между мной и мстительной антисемитской гусыней не может быть примирения». «Гусыня» ограждала брата от евреев. В конце концов, она вышла замуж за немецкого националиста, который повез ее в Парагвай строить новую Германию (о, жажда «другого»!). Задача оказалась непосильна; муж застрелился; Элизабет вернулась в фатерланд и занялась наследством брата, как раз тогда умершего в психиатрической лечебнице. Она-то, Элизабет Ницше, и пустила в оборот первые компиляции из его незаконченных произведений. Она-то и дала в руки нацистов примитивную расистскую модель сверхчеловека, приправленную цитатами из Ницше. «Вершиной ее деятельности было посещение архива Ницше в Веймаре Гитлером в ноябре 1935 года. Самому Ницше расизм и, тем более, антисемитизм были совершенно чужды, — пишет А. Эткинд. — Его сверхчеловек был чистой гипотезой, не столько мифом, сколько проектом мифа, призывом, не включавшим никаких рецептов. Себя же Ницше вообще не считал немцем, возводя свой род и необычную фамилию к польским шляхтичам».

Так реализуются на грешной земле дуновения духа. Ницше выдвигает гипотезу, проект, призыв без рецептов — немцы под этот «призыв» подводят миллионы солдат и идут вводить «новый порядок». Маркс выдвигает гипотезу, проект без рецептов, русские берут этот проект как булыжник...

Выходит, не одни мы такие оглашенные? Вот и учтем: будем умнеть вместе. Заодно и выведем за пределы нашей булыжной дури Маркса, Ницше, Фрейда, Гегеля, Канта, Фейербаха и многих других мыслителей, в нашей дури неповинных.

Русские и немцы переглядываются в обновляющемся мире. За плечами века противостояния: философского и психологического, взрывающегося военными катастрофами. Обыкновенный русский ненавидит немца за то, что немец аккуратен, чист, опрятен, носит деньги в шаркассе, узок, мелочен, обращает внимание на внешность, педантичен, тяжел, — за то, что он филистер. Обыкновенный немец скажет о русском: ненавижу русского за то, что он разгильдяй, мот, беспринципен, неряшлив, болтлив до заваривания, ненадежен в мелочах, ленив, безалаберен — за то, что он нигилист.

Я излагаю все те же давнишние беседы Мариэтты Шагиной mit H.-Z. Gaugewidmet. Конечно, эти веками сложившиеся стереотипы просто так не переступишь.

Их и не надо переступать. Их надо использовать.

«Сто лет назад, — пишет Мариэтта Шагина в 1923 г., — у германца в Европе была как раз такая репутация, какую славянофилы любят приписывать нам. Немцев считали наивными, неуклюжими простосердечными, мечтателями, мистиками, смиренниками, заступниками

за все человечество, идеалистами, врагами всякого телесного благополучия...»

Так что мы по природе схожи. Немец ломок. Его периферия — всегда пошлость, он слишком грубо и серьезно чувствует, чтоб уметь быть периферичным; там, где романец игрив, забавен, немец только пошел; но зато где романец только риторичен, немец достигает вершин лирики. Но, будучи по природе неспособен усваивать чужую форму, германец по природе крайне устойчив и верен своим собственным формам — до косности; кристалл нельзя переплавить, его можно только разбить, но и разбившись, кристалл делится на тысячи мелких кристалликов...

А русский? Русский — способен «усваивать чужую форму»? О, кажется, более, чем кто-либо!

Однако вот что говорит о русских проницательнейший доктор Фрейд:

«Эти русские — как вода, которая наполняет любой сосуд, но не сохраняет форму ни одного из них».

Вторая половина этой характеристики «наполовину обращает меня» во фрейдиста.

Мы, конечно, изо всех сил впишемся теперь в европейские «формы». Но не сохраним. Мы, конечно, постараемся вместить мондиалистские ценности. Но не вместим. Точнее, не вместимся. Потому что эти ценности сами в себе не держатся. Мир все равно будет искать «другое», «иное». И мы в роли этого «другого» естественны.

Только бы не вывалиться опять в какое-нибудь безумие. Не клонуть на приманку какой-нибудь очередной «антисемитской гусыни», которая будет уверена, что спасает Рим... то есть мир — от еврейского заговора или от русского варварства.

Гюнтер Рормозер в финале своей статьи, открывающей сборник «Россия и Германия», пишет:

«Не только Россия нуждается в Европе, но и Европа нуждается в России. Обновленная Россия должна принести в будущее Европы самое себя, и богатство своей истории, и высокую одаренность, и интеллектуальный потенциал своего народа. Путь к этому лежит через Германию...»

Через Германию так через Германию. Я-то думаю, все пути годятся. В истории тупиков нет, как нет и гладких путей, а есть только переправы да перевалы. И перекуры.

АХ, МОЙ МИЛЫЙ АВГУСТИН!

Мне-то, по давней к Лескову привязанности, в любом случае интересно, что происходит с пресловутым немцем Пекторалисом на сцене Театра имени Ермоловой, и все-таки возрождение «Железной воли» сейчас — сам этот факт требует комментариев. Как-никак полвека пролежал рассказ в «запасниках культуры» с той поры, как в 1945-м наши доблестные карикатуристы добились лесковского немца на фоне сталинградских руин. Да

и до того две трети века был текст в забвении — только в Отечественную войну и понадобился. И вот теперь. Почему? Зачем? С чего?

Театральный замах, правда, невелик. Малая сцена. Несколько десятков зрителей. Три актера, один из них — автор инсценировки, он же режиссер. Так что перевоплощаться приходится «и в царя и в пономаря». Герман Энтин, постановщик, читает «от автора», но также представляет нам приказного Жигу, а еще — кобылу Окрысу, которую подлый заводчик Ерофеич всучивает глупому немцу. Юрий Голышев играет этого подлеца, а также и всех других русских удалцов, околпачивающих гостя, однако когда из-за соблазнительной Клары Павловны наш немец бьет морду другому немцу, актер Голышев подставляет морду и в роли последнего. То, что соблазнительная Клара Павловна выведена на сцену в виде куклы (лучше сказать, вынесена), не нарушает общего замысла, потому что так и задумано: чтобы «три мужика» разыграли весь лесковский сюжет, — тут без инженерии кукол не обойтись. Третий же актер Владимир Павлов — в облике пресловутого немца, пропадающего в России, хоть и не меняет роли, но меняет столько состояний, что не соскучишься: от жалкого мерзляка, укутанного в тряпье и скорчившегося под зонтиком в ямской избе, где течет крыша, — до уверенного предпринимателя в халате с золотыми кистями.

Печален конец этого железного немца: русские умельцы укатали-таки его на наших горках — да как! Заставили насмерть обожраться блинами! Этот конец не показан, но рассказан, так что весь лесковский юмор в сохранности.

Публика сначала и смеется. Еще бы: немец, как известно, без инструмента и с кровати не свалится, а мы его, с его железной волей, без всякого инструмента свалим... то есть заставим на нас работать, а сами будем гулять, петь песни и любить друг друга, а может, и того немца полюбим. А может, и нет.

Однако по ходу дела смех все чаще застревает в горле. Что-то невесело мне смотреть, как очередной Ерофеич или Сафронич, оставляет простодушного Гуго Карловича в дураках. Дело в том, что он вовсе не дурак. И отлично видит, как мы его обманиваем. И лесковская метафора о «железной воле», из которой немец будто бы сделан, — лукава, как, впрочем, все у Лескова. И Энтин это знает — и как «автор», и как «приказный Жига», и даже как Окрыса. Театр-то ведь волен воспроизвести лесковскую мелодию в том регистре, в каком он, театр, ее слышит.

Так вот, лейтмотив сценического действия: тут не дурак среди умных, тут другое. Немец отлично видит, что ему хотят всучить выбракованную лошадь. Но он, немец, держится «буквы договора» и поддается обману нарочно. У него, немца, своя программа: проверить, не заговорит ли у русского прохвоста совесть. И когда русский прохвост, замученный совестью, пытается перед обманутым немцем покаяться, немец эти покаяния отвергает! И больную лошадь обратно не отдает. Это ли не обидно, это ли не горько: мы к нему с нашим всепониманием, а он нас — в нашу же дурь — аккуратненько так, обратно по закону, сталкивает.

Так кто же кого тут умыл? Мы ли немца с его страдающей логикой? Или немец — нас, с нашей страдающей душой и лукавым отсутствием логики? И про что тут вообще речь: про его «железную волю»? А может, про

нашу железную, то есть непоколебимую вольницу, за которой спрятано тихое и лукавое безволие?

А что, если нам, с нашей широкой душой, еще и волю дать?

«— Не дай бог эдакой воли человеку, и особенно нашему брату, русскому, — задавит».

Это в финале сказано. Не про немца, заметьте. Про нашего брата. Так что немец тут — не столько немец, сколько зеркало, под нос подставленное. Не кривое — слишком прямое зеркало, знаете. Не стерпеть.

Гоголь когда-то сделал такой опыт. Русские удалцы вот так же обманули честного немца, подвели под срок, и тот, отсидев, не нашел лучшего, как явиться к ним и спросить: «Зачем вы это сделали?» (Во дурак-то!) А они ему — классическое: «Полюби нас чернинькими, а белинькими нас всякий полюбит!»

Сто лет спустя, правда, стало не до любви: в блокадном Ленинграде, «белиньком» от сугробов и «черниньком» от разрывов, «Железную волю» вспомнили и напечатали...

А теперь что?

А теперь — в ушах моих голос Фридриха Горенштейна, русского прозаика, живущего в Берлине. Был какой-то литературный юбилей (кажется, именины журнала «Октябрь»), и Горенштейн в числе других знаменитостей был приглашен сказать здравицу. Вышел он на трибуну, зажмурился от света и вдруг прокричал в темный зал кашляющим голосом:

— Вы немецкую печать не читаете! А там пишут: Германия поднимается Россия падает! Все остальное — вздор! — И пошел на место.

Только этот возглас и остался в моей душе от всех тех здравниц.

Да, Германия поднимается. Поднимается силой вещей, ходом развития, логикой трудолюбия. Она, Германия, становится гегемоном Европы на двадцать первый век, и другим европейцам, англичанам, французам, испанцам, итальянцам — всем вместе — предстоит ее уравнивать. А скорее всего главной осью напряжения будет — германо-американская. Немцы уже теперь начинают противостоять американцам: на Дальнем и Ближнем Востоке, в Африке... не говоря уже о Европе.

В этой ситуации нам предстоит вести дальше наш вековой диалог с Германией. Диалог, в котором две мировые войны окрасили кровью последнее столетие.

Да, но ведь было же и другое! В конце концов, самой патриотичной из русских цариц была немка! И разве не немцы обучили нашего Ломоносова? О, если бы два эти народа, словно созданные дополнять друг друга, научились бы жить в согласии! Господи, ведь стоял же Распутин на коленях перед Николаем Вторым: «Папочка! Не вой с немцем! Дружи с немцем! Немец — молодец!»

...Очнулся я от тишины. От тишины на сцене. Рассказав залу о том, как Гуго Карлович Пекторалис, обожравшись в России блинами, отдал Богу душу, три русских актера, устроившись в углу сцены, допивали чаек.

Вдруг что-то капнуло в тишине. Капля... другая... О, моей душе не надо было других знаков, она, душа, через голодную эвакуацию протасченная в раннем детстве, эти звуки, эти знаки навсегда запомнила: протекающая крыша, чай с сахарином, голос Левитана в черной тарелке, бессильные слезы.

Подумалось: а вдруг Пекторалис опять придет? Как? Инженером при машине? Гаулейтером в танке?

Хорошо, если инженером при машине. Тогда от нас только одно потребуется: не смеяться над ним. А ну как в танке? Ведь это сколько же теста потребуется — укормить его.

«РУС, СДАВАЙСЯ!»

Невыносимо писать об этом. Страшно задеть нынешних немцев теми чувствами, что вспыхивают и теперь, полвека спустя, при чтении тогдашних листовок. Хотя чем нынешние-то немцы виноваты? Тот же Клаус Кирхнер, с истинно немецкой добросовестностью издавший в четырнадцать томах листовочную «кригс-пропаганду»? Для них — это архив, история.

Для меня — это то, что вместе с бомбами сыпалось на голову. Мне было семь лет тогда. Кое-что врезалось. «Девочки-беляночки! Не копайте ямочки...» Разглядели же. Я-то не различал: девчата и девчата. А тут с самолетов высмотрели: «беляночки»... А если бы не на Беларусь, не на Брянщину, а на Кубань или на Грузию бросали листовки, кем бы заменили «беляночек»?

Знатоки национальных душ, во французские окопы в 1940 году бросали исключительно про то, как победоносный тевтон осчастлививляет в постели доставшуюся ему парижанку. Специалисты по «французскому характеру» явно рекомендовали жать на сексуальную педаль. Мопассана они тогда впервые, что ли, прочли? За кого же они французов-то держали?

Ладно, оставим французов. Я — о том, что про НАС думали, за кого НАС держали, на какие педали рассчитывали нажать, когда печатали листовки для Восточного фронта в 1941 году.

А вот главная педаль: «Бей жида-политрука! Рожа просит кирпича!»

И это все. Это — крупным шрифтом — через всю «флюг-блатерию». Главный довод.

Юрий Трифонов в одном из романов откликнулся: и на ТАКОМ уровне они надеялись уловить наши души?

Уровень, между прочим, не сразу спустился до «кирпича». Сначала эксперты рассуждали. Например, так: «Неправда, что немцы хотят восстановить реакцию и царский режим. Немецкий солдат борется за настоящий социализм!»

А может, им — в свете будущих событий — надо было именно царский режим нам обещать? Нет, сообразили: «социализм». Розенберговские разработки и открытия фюрера на совещаниях в «Волчьем логове» насчет того, кого из «освобожденных» угробить сразу же во рвах и газовых камерах, а кому дать самому подохнуть от голода и эпидемий, — это в

листовках не освещалось. В листовках значилось: «Мощь германской армии исходит из подлинного социализма, независимого от еврейства и давшего каждому немцу одинаковые права».

А полунемцу? Но кто ж в это вдумывается при чтении листовки! Листовка — не учебник. Тут главное — «жида» найти.

Мне не дает покоя мысль: неужели же в нас все-таки что-то такое было, что позволяло им надеяться уловить нас на этом уровне?

Сначала — не без изощренности: «Бери хворостину — гони жида в Палестину!»

Не пошло. Слишком мудрено. Кирпич понятнее.

Изготовили «кирпич», зовут: бери листовку с этим самым «кирпичом» иди сдаваться! Что, не идут?

Пишут: ладно, иди без листовки, только скажи немецкому посту как пароль стишок про «жида-политрука».

Ну, хоть прошепчи это на ухо своему товарищу!

Не идут? Не шепчут?

Это, конечно, целый сюжет — смена тона. От подробных инструктивных листовок июня 1941 года, где объяснено, как бросить кусок сахара в бензобак и тем самым остановить сталинскую автоколонну, — до скрыто-панических листовок декабря: «Спасайся, пока не поздно!» Летом еще полно надежд: «Берите с собою ваше оружие: винтовки, пистолеты, пулеметы, самолеты...»

Как, и самолеты «с собою»?

«Мы щедро вам за них заплатим».

Это «заплатим» особенно хорошо рядом с проклятиями «жидовскому золоту». Щедрость такая: 10 рублей каждому, кто принесет с собой «этот листок».

Ну и как, приносили? И 10 рублей, сдавшись, требовали? И получали?

Что они получали, про то известно из истории Освенцима и Дахау. А что им обещали, видно из листовок: жратву, уважение немецкого солдата к недавнему противнику и даже: «курить разрешается». Только сдайтесь.

Так сдавались или не сдавались?

В самих листовках об этом вроде бы прямо не говорится. Хотя сообщена цифра: миллион пленных. Потом: два миллиона. Потом три... Взятых в плен или сдавшихся? Так они тебе и скажут! Они не скажут — они проговорятся:

«Граждане Ленинграда, женщины, матери! Повлияйте на бойцов и командиров, чтобы они отказались от дальнейшего сопротивления!»

Значит, не отказались?

«Командиры и бойцы! Только героизм и жертвенность недостаточны, чтобы вести войну!»

Имеющий уши да слышит. Понимаете разницу между «героической жертвенностью» и «рожей», которая «просит кирпича»? То-то «кирпичей» к октябрю в листовках поубавилось.

К ноябрю, «после окончательного подсчета пленных, взятых около Вязьмы и Брянска», аккуратисты приплюсовывают к пятистам шестидесяти тысячам еще девяносто семь тысяч девятьсот сорок восемь человек, а потом выдают следующий победоносный рапорт:

«Число убитых и раненых в Красной Армии далеко превышает число пленных».

Вы понимаете, что это значит? Когда начинается Отечественная война, она идет по своим законам, и никакие личные качества Сталина и даже число «кагановичей и мехлисов» в его окружении не изменят ни закона, по которому люди убивают явившихся к ним «цивилизованных освободителей», ни исхода борьбы.

САМОЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ...

Или, как сформулировал тот немец, «эс ист гераде цайт цу заген...»

Когда думаешь о наших с «тем немцем» отношениях, об их многовековой тайне, которую приходится разгадывать именно как «вечную», «всегдашнюю» и даже «роковую», поневоле ищешь какую-нибудь печку, от которой можно танцевать.

Такая печка у меня есть: в раннем детстве меня некоторое время нянчил немец.

Настоящая нянька, конечно, имела, по советским правилам она звалась домработницей и большую часть стояла в магазинных очередях, что в предвоенные годы не было странно. Дома она вела нехитрое хозяйство, ибо родители мои, как и положено строителям социализма, пропадали на работе. Вечером, когда семейство собиралось вместе, нянька выкладывала новости, касавшиеся, в первую голову, наших соседей, а среди них — немецкой семьи, глава которой тоже пропал на работе, в то время как фрау, кинд унд кот обретались дома.

Потрясающее обстоятельство, которое нянька, добрейшая деревенская женщина, каждый раз выкладывала с полнейшим изумлением и даже пронизательным недоверием, было такое:

— Ну, что Герт у нее по-немецкому понимает, это нормально. Но как это у нее кот — кот! — немецкому выучился?!

Герт был мальчик лет пятнадцати; ему-то и препоручала меня моя нянька, когда уходила стоять в очередях.

Смутно его помню: светлые волосы, светлые глаза, сверкающая улыбка. Он сделал (или приспособил) мне санки, и мы катались. В памяти осталось что-то снежное, серебристое, праздничное. Недолгое, как всякий праздник.

Куда делась эта немецкая семья, я не знаю. Отец Герта был инженер, приглашенный оборудовать только что построенный тогда «Мосфильм»; комнату в коммуналке он получил на время контракта. Кончился срок — исчез.

Помню из разговоров (смутных, намеками), что наши соседи «бежали». То ли «сюда» — от Гитлера, то ли «туда» (от Сталина). Я этого ничего не понимал тогда. Только что-то серебрилось там, в зимней тьме: Герт.

Что с ним стало? Смолол ли его наш лагерь? Или, вернувшись в Германию, угодил он в вермахт и стрелял в моего отца? Унесла всех в небытие — война.

Война черным накрыла все. С того момента, как запели во дворе и мы подхватили за старшими ребятами:

Внимание, внимание!

Идет на нас Германия

С вилами, с лопатами,

с бабами горбатыми!

Рабочий — нипочем:

дерется кирпичом...

Все, что было «до войны», стало нереальным, почти небывшим. Все было отчеркнуто.

Психологическая загадка: все немецкое, что суждено мне было потом усвоить в отрочестве, в юности и в молодости, вошло в сознание помимо «войны». Здесь действовали какие-то «другие» немцы: Гриммельсгаузен, Кранах, Гёте, Бах... Гегель, которого я тайно недолюбливал. Шеллинг, в которого был тайно, застенчиво влюблен. Томас Манн, который в свой час меня перевернул. Кант, который незаметно, тихо и опять, кажется, «тайно» определил в хаосе моих чувств все то, чему суждено было стать похожим на «систему».

Я смутно сознавал фатальную близость двух народов, которых угроздило насмерть воевать дважды за столетие. В старых дневниках молодой Мариэтты Шагинян я вычитал рассуждения одного «герра профессора», который и подтвердил, выпрямил, довел до формул эти мои догадки, то есть вправил мне мозги, ясно и точно сказав: немцы и русские — фантастически противоположные натуры, потому что они с невероятной точностью взаимодополняют друг друга.

Так все немецкое окрасилось в моем (красном) сознании в магнетический синий цвет, и этот цвет — цвет мечты и дали — постепенно вытеснил в моем сознании черноту войны.

Я читал лекции в Высшей комсомольской школе и в пестроте огромного зала искал глазами привычное плотно сбитое синее пятно: там сидели «гедеэровцы» — «наши» немцы.

Господи, как потом горько и тревожно думалось о них, когда через поваленную стену они кинулись на запад: как бы они там, наши «осси», не пропали.

И первая моя поездка в ФРГ в 1990-м году более всего поразила — нет, не Кёльнским собором, не чистотой мостовых и не правильностью нарезки полей (хотя и этим тоже, но к этому я был готов), — я был потрясен отношением. Ничего похожего на выверенную, «стеклянную» приветливость французов, или на хорошо защищенную непринужденность англичан, или на настороженную, как бы «вспугнутую» контактность итальянцев, — но какое-то сокрушительное, смывающее тебя, безбрежное радушие. И не на протокольных приемах, а на улицах! Я был разъят на части, ошеломлен тем, каковы они оказались там, у себя дома, эти немцы. Они мне показались больше русскими, чем сами русские! В том обвале душевности, открытости и доверчивости я только одного боялся: как бы не вылезло из подполья моей памяти, из черных углов ее загнанное туда с детства проклятье войны.

Помню момент, когда, кажется, впервые переступил через войну в своей душе. Да еще и со смехом.

Была такая история с пленными. Сам я пленных видел мало, я их боялся, что для восьмилетнего шкета было извинительно.

Но потом — уже много после войны — пошла у нас «из уст в уста» такая история.

Пленные немцы что-то строили под охраной нашего старшины. Когда наступал конец работы, старшина вынимал часы и, громко матерясь, объявлял, чтобы строились. Однажды старшина куда-то отлучился. Немцы продолжали спокойно работать. Потом один из них вынул часы, посмотрел и сформулировал:

— Es ist gerade Zeit «iopptvojumat» zu sagen!

С этой репликой «война с немцами» в моей памяти закончилась.

ДОШЛИ ДО БЕРЛИНА

По въевшейся в сознание инерции — тянет на «запретный плод». Мимо Шехтеля, мимо Врубеля. Мимо берлинских гастролей театра Станиславского, мимо «Межрабпома», осевшего на «Руси», — дальше, дальше! К тем дважды проклятым временам, когда монументальный социалистический реализм и монументальный национал-социалистический натурализм, отшвырнув с пути декадентов, авангардистов, модернистов, формалистов и прочих дегенератов, встали друг перед другом как два здоровых, готовых к состязанию бойца.

И столкнулись, утопив мир в крови.

Были годы, когда и помыслить нельзя было о таком сопоставлении. Когда Игорь Голомшток писал свое исследование как заведомо диссидентское. Хотя идея «близнецов» носилась в воздухе — с 60-х годов. В 30-е она не носилась — она висела.

Имперский германский орел, вознесенный Альбертом Шпеером на здание-пьедестал, и мухинские рабочий и колхозница, вознесенные на такое же здание-пьедестал Борисом Иофаном, недолго созерцали друг друга на Парижской выставке 1937 года — война рассекла это согласное бытие, и на

полвека всякая мысль о подобии двух тоталитарных режимов, гитлеровского фашизма и сталинского социализма, стала смертельно опасной.

Теперь фотографии этих давно снесенных павильонов-пьедесталов красуются в финальном зале знаменитой международной выставки «Берлин Москва». Тянет меня в этот зал — как в воронку, как в пропасть, как в бездну.

Вот они — запретные полотна нацистских живописцев, взятые когда-то в качестве трофея американцами из поверженного рейха и хранимые теперь в вашингтонском Музее военной истории, — откуда и привезены на временную экспозицию в московский цветаевский музей. Отто Хойер. Эмиль Шайбе. Пауль Матиас Падуа. «Гитлер на фронте». «Вначале было слово». «Отпускник».

Солдат фюрера, сидящий «у камелька» в окружении влюбленных в него детей и внуков, имеет на выставке ответную реплику в виде знаменитого лактионовского «Письма с фронта». А вот «Слову...», которое будущий фюрер произносит на собрании жадно внимающих ему будущих нацистов, прямого аналога нет в зале. Но в советском искусстве есть полотно Владимира Серова: Ленин выступает на съезде Советов; и тоже — вождь в правой части полотна, и тоже — жест громовержца...

«Сталин на фронте» тоже есть в запасниках нашего искусства, и должен был бы висеть напротив полотна Шайбе. Хотя бы для того, чтобы оттенить разницу трактовок. Сталин всегда — как бы на свободном пространстве, он заметно отделен от окружения, Гитлер же — словно «влип» в солдатскую массу.

Различия могут стать предметом анализа для психологов, а на меня по-прежнему действует сходство. Иногда почти зеркальное. Есть у немцев такое полотно: фюрер на фоне грозового неба. А у нас — приснопамятное «Утро нашей Родины». Композиции — один к одному. Этих полотен нет на выставке, но и те, что есть, заставляют душу сжиматься от вечного, неотвратимого, рокового вопроса... нет, не о тоталитарных режимах. Режимы — это следствие военной изготровки; порожденные одной и той же нуждой, они не могут не сходиться в строе и приемах. Вопрос — о корне. Почему два народа, мыслящие так сходно, — а если не сходно, то взаимодополняюще, — дважды за столетие сшиблись в борьбе на уничтожение? Это что, рок?

Ведь тяга, вековая, тысячелетняя взаимотяга — тоже факт! И это стремление — и у немцев, и у русских — вырваться за пределы наличной жалкой реальности! Безудержная мечтательность — глаза к звездам! Монументальность — в противовес мелкому сиюминутному устройению! «Большой Берлин» с осью Север-Юг, как в зеркало, смотрится в «Большую Москву» с улицей Горького, прорубленной сквозь старую Тверскую в 30-е годы. А в 20-е — именно в России и Германии согласно, тесно, об руку работают безумные авангардисты над проектами нового человечества, сверхчеловечества...

Да, немцы последовательнее, четче, они во всем доходят до конца, в том числе и до конца пессимистического — в экспрессионизме.

Мы прихотливее, пестрее, непредсказуемее: от ларионовского «лучизма» до родченковских пьянящих вертикалей, — но какое согласное биение душ двух самых мечтательных народов Европы: преодолеть земное притяжение проломиться к Единственной Истине!

И выламываются — то в любовь, то в ненависть. Геббельс в восторге от эйзенштейновского «Броненосца...» Маяковский издевается над немцами... Я думал, раешный шаржист начался с окон РОСТА, но он в этом качестве начинается в 1914-м. «Глядь-поглядь, уж близко Вислы, немцев пучит, значит, кисло». Так писал лучший и талантливейший поэт нашей советской эпохи на дальних подступах к нашей советской эпохе.

Но ведь именно тогда Павел Филонов написал великое полотно «Германская война», где реальность «потекла» смесью крови, слез, конечностей, глаз, дробящихся тел-душ. И — поразительная ответная реплика Эрнста Кестнера в 1916 году — «Солдатская баня»: молодые тела новобранцев под водяными струями «текут», смываются, сливаются в единую грязно-желтую массу...

Какой же бес все-таки нас стравливает? И когда все это начинается? Если солдат уже повели в баню, забрали, забили — все, поздно! Поздно кричать «опомнитесь!» — это все равно, что останавливать падающего на торчащие рельсы немецкого аса на полотне Дейнеки: ничего не остановишь. Чертово колесо: сталинский террор — ответ на гитлеровскую фашизацию, а фашизм, как заметил тот же Сталин, есть ответ германского милитаризма на победу Октябрьской революции. А Октябрьская революция — продолжим счет ответ «русского милитаризма» на поражение царской России... 1941 год рождается из 1914-го. Я ухожу за пределы этой кровавой карусели и вглядываюсь в лица русских и немцев начала века.

Немцы читают Толстого, Чехова. Русские читают Гауптмана. Работает Шехтель. Кандинский в Германии, Клейн в России... Эрнст Барлах на Волге лепит фигуры мужиков. Мужик ест арбуз. Баба просит милостыню... Господи, да на этой бабе пахать можно. Конь-баба, бой-баба! Солдат-баба...

Ловис Коринт пишет «Руджеро с оруженосцем».

Святослав Рерих пишет «Гонца»...

Господи, почему, почему, почему, почему?

ЩЕПКИ ЛЕТАТ...

Как это и принято в свободном мире, тираж не указан, но я думаю, что Игорь Ефимов (американский издатель, наш человек), выпустивший книгу Г. Вербицкого «Почта остарбайтеров Второй мировой войны», вряд ли напечатал больше тысячи экземпляров. Это все, что осталось от листочков, накарябанных когда-то нашими угнанными в Германию соотечественниками. Потому что сами листочки вряд ли сохранились в большом количестве. Их выбрасывало лагерное начальство, изымала берлинская цензура, теряли оккупационная и внутригерманская почта. Потому что для них это был хлам.

А если открытки доходили, то их уничтожали сами адресаты. Потому что сразу после освобождения стало ясно, что человек, побывавший в рейхе (пусть даже в роли рабочего скота) по возвращении в Союз схватит срок. А

если не схватит и вернется в родные места, то услышит «На фашистов работали!», «Немецкие подстилки!» — от своих же односельчан. Может, это еще и пострашнее конвоя на Колыму, если говорить о душе. Открытка становилась уликой.

Так что эти листочки, извлеченные следопытами и коллекционерами из архивных отвалов и воспроизведенные в мемориальном издании, — единственное эхо тех стонов, что вырвались когда-то «на волю» из-под роб и ватников с нагрудным знаком «ОСТ».

Виталий Семин когда-то написал о них роман.

А здесь — документы.

«Здравствуйте, дорогая мама и братья Филя, Володя, и сестра Оля, и маленькая Любочка. В первых строках своего письма хочу вам сообщить, что я жив и здоров...»

Зачин обязателен. «Во первых строках». Что жив. Чего и вам желает. Кажется, что это ритуальный оборот, не несущий никакой информации, а может быть, даже хитрый ход, чтобы усыпить немецкую цензуру, ослабить ее внимание. Но на самом деле это реальность. Та самая реальность, которая дышит дулом в затылок. Тут действительно нужно немедленно, до всего прочего, во первых же строках письма — если оно дойдет — сообщить родным главное: что жив. Потому что должен быть — мертв.

Но ведь их не давили танками в окопах, не расстреливали в гестаповских застенках, не травили собаками!

Им всего-то посылали почтовое уведомление: явиться на сборный пункт. Потом повторное уведомление — с нарочным, он же конвоир. На уведомлении надпись: «неявка ведет к тяжелым последствиям». К каким именно тяжелым последствиям, легко догадаться.

Кто не имел адреса, тех брали в облавах на базарах, гнали на станции и заталкивали в товарные вагоны.

«Любимый наш папочка!!! Спешим к тебе с горячими поцелуями и сердечным приветом твоя любимая и верная жена Оля и твоя дочурка Катюша. Сообщаю, что вчера после работы для нас была необыкновенная радость, получили 2 открытки... Большое спасибо за фотокарточку, очень рады, что ты пополнел и здоров. Мы тебе тоже послали 2 фотокарточки в июле-месяце. Живем в новом бараке — хорошо — свободно. На работу и с работы ходим без строя, одни. Здоровье наше хорошее. Катюша пополнела, я тоже ничего. У нас имеется гармошка. Мы пока сыты и здоровы...»

Пока. Да еще и гармошка. Да еще и барак новый. И на работу — без конвоя — без того, чтобы шаг вправо, шаг влево... Ну, идиллия! И Катюша пополнела. И про здоровье — несколько раз. Как заклинание. Как самогипноз, когда человек не уверен, то ли его разносит от изобилия половы, то ли он пухнет от того, что половы нет.

В германском меню в роли половы — брюква.

Первые «восточные рабочие» прибыли в Германию осенью 1941 года. Вполне добровольно: они спасались от большевистского ига и колхозного рая, ехали в культурную Европу к цивилизованным освободителям. Вскоре

брюква сделала свое дело: поток добровольцев иссяк. Пошел поток пригоняемых.

Статистики нет, но «считается», что к 1944 году в Германии вкалывало 7 миллионов рабов. Из них почти 3 миллиона — «насильственно перемещенные» из СССР.

Документов эти люди, естественно, не имели — имели нагрудный знак OST. Национальности тоже не имели: в соответствующей графе стоял тот же OST. Впрочем, под занавес драмы до немцев что-то стало доходить: было учреждено три знака: русским, украинцам и белорусам — разные. Эдакое выборочное понимание. Даже фотоснимки коллективные появились: справа немцы, слева — остовцы, различить можно по наличию знаков. Да еще по головным уборам — шляпу может носить только «дойч», остовцам дозволяются кепки: низшая раса.

Почтовые открытки выдаются два раза в месяц. На Украину, в Белоруссию и восточнее их нужно посылать через Берлин, внутри Германии можно переписываться «напрямую», то есть без цензуры.

Как без цензуры?! А законы военного времени?

А рациональные немцы уверены, что остовцы, батрачащие у немецких бауэров, между собой переписываться не будут. Хватит им и гармошки.

Фюрер на почтовой открытке вмонтирован в верхний правый угол и смотрит вправо. Отвернулся фюрер...

«Идочка! Пиши мне: почему Галя Бастианова не вместе с тобой? Пиши, кто с тобой вместе! Где ты? У кого работаешь. Я твой адрес не пойму. Кто пишет тебе письма? От Вали получаешь?..»

Куда исчезла Идочка, где Валя, что стало с Галей Бастиановой? Выжили они или во рву сгнули, пеплом вылетели в трубу крематория? А может, спаслись у «цивилизованных освободителей»? Или были ими выданы сталинской фильтрационной службе? Из всех стран Запада только Лихтенштейн не выдавал остовцев, за что один из наших бывших соотечественников воздал ему «честь и славу».

До Франции соотечественник добежал, а в Париже не удержался. Пришлось завербоваться в Иностранный легион. Последняя по времени открытка из собранных Вербицким датирована октябрём 1950 года. Послана в русскую колонию Марокко из Северного Вьетнама.

«Нас разбили, как дерево на щепки».

Прощай, брат. Честь и слава княжеству Лихтенштейн, которое тебя не выдало.

...ФИННЫ

НА ЗИМНЕЙ ВОЙНЕ

На той войне незначимой...

Александр Твардовский

«...На той войне ко мне пришли стихи как спасение от одичания и страха», — признался Михаил Дудин через много лет после событий. В разгар событий мало кто решился бы на такое признание: в ходу были другие чувства.

При начале войны их выразил Евгений Долматовский в поразительном по бездарности стихотворении «Финский нож»: видно, как наскоро склепаны газетные штампы и раскавычены официальные формулировки; тут же — фигуры из революционной мифологии: стоящий на броневике Ленин, работающий в Ленинграде «товарищ Киров», изваянный из гранита «народ»; ясность — как в учебнике политграмоты; отсутствие внутренней лирической мотивировки возмещено энергией лозунгов.

К чести Долматовского — он никогда не перепечатывал эти стихи в своих книгах. Типичный заказной отклик. Даже, пожалуй, нетипичный. Дело в том, что финская кампания не вызвала в советской поэзии обычного энтузиазма, что заметно хотя бы на фоне того воодушевления, какими в ту же пору встретили поэты воссоединение с западными областями Украины и Белоруссии. Здесь — не вышло пламенного подъема. Некоторые, как Борис Слуцкий, даже молчаливо уклонились. Некоторые не уклонились, но оказались в центре событий. Их свидетельства сложны.

Первое, что оглушает в «финских» стихах, — безмолвие. Замершая, мертвенная, снежная лунная ночь — вот основной пейзаж. Даже в громком «Наступлении» Твардовского звукопись атаки словно бы пропущена сквозь беззвучие, пронзительная тишина предшествует удару.

Сознание, словно бы оглохшее или оглушенное, не фиксирует ни причин, ни целей войны — только приметы. И еще: никто не вглядывается в фигуру противника, даже если тот и назван. И «белофинн»-то редок, разве что у Луконина появляется в мыслях пару раз, да и то «вне боя». В бою — некий оперативно-постигаемый «враг».

Но и такой, условно-оперативный, «враг» присутствует в основном у поэтов более опытных, попавших на Финский фронт уже в роли военных корреспондентов: у Тихонова, Твардовского. Молодые новобранцы, угодившие на передний край рядовыми, сдвигают поэтический прицел куда-то вбок, словно избегают прямого взгляда. Алексей Недогонов описывает воробушка, подобранного бойцами; нежность, с которой они выхаживают птичку, подкладывая вату под крылышки, — психологическая компенсация жестокости боя, к которой еще не привыкли. Михаил Дудин поет гимн своему котелку, принявшему удар финской пули. Михаил Луконин, «притаясь в снегу», грезит Волгой, Москвой. Пишут письма, читают письма... Война — как сквозь вату...

Только Тихонов, тайный гумилевский наследник, осенив себя Оссианом, имеет решимость взглянуть в лицо врага. И видит при мертвенном свете луны молодого красивого парня. И думает о его невесте, которая жениха не дождет. Ни ненависти, ни мысли о том, за что гибнут люди. Противоборство витязей, поединок «нибелунгов»...

Словно бы еще не Война. Только предчувствие Войны. Предчувствие огромной, смертельной, страшной, всенародной Войны, которая едва брезжит в этой зимней «экспедиции». В этой лунной декорации. И когда Война грянет не луна, а яростное, всежигающее солнце встанет в стихах, солнце позора, солнце победы. И не холод будет, а жар, огонь, пал, пепел. И не поединок «оссиановских» героев, не состязание армий на поле боя, а война, ставшая народной жизнью. Привычный, окопный, двужильный быт войны. И — ненависть, сделавшаяся нормой.

Когда это знаешь, черты Великой Отечественной проступают в Финской. В знаменательно случайной оговорке Дудина: «мы доты немецкой работы пускали ко всем чертям». В том, как согревает душу шутками только что рожденный здесь, под финскими соснами, Вася Теркин. В том, как крепнет «простуженный», «шатающийся», валкий стих Луконина, столь непохожий на «шаг революционных колонн».

Два направления открываются с этой снежной точки. Одно — к тихой задушевной «беседе»: к «Землянке» Суркова, к симоновскому «Жди меня», к фатьяновским «Соловьям». Другое — к сорванному комиссарскому крику Слуцкого. К ленинградским детям, вмерзшим в «Ладожский лед» Межирова. К гудзенковскому «и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую...» Между этими краями ляжет великая поэзия Великой Отечественной.

Предчувствуется — здесь. А может, уже и начинается. С бешеных строк студента Сергея Наровчатова о воющих санитарях. С тихих строк новобранца Владимира Жукова, сваленного пулей за день до перемирия. Один сквозь «смердящую вонь» реальности пытается разглядеть «сказанья и были». Другой сквозь сказанья и были пытается почувствовать реальность. И антонов огонь жжет сквозь спирт. И лыжные палки, воткнутые в снег над спящими солдатами, кажутся крестами.

Поэзия может не говорить о причинах и целях войны, особенно если война «не знаменита». Поэзия может даже «не знать» о них. Поэзия говорит: «по всей России вымерзли сады» — и ты чувствуешь озноб, прошедший по душам в ту зиму.

...ПОЛЯКИ

НЕ СГИНЕЛА

Заметки на полях двухтомника «Польские поэты XX века»

*После разгрома восстания 1863 года
поэзия у поляков — единственное, что у
них есть.*

**Наталья Астафьева, Владимир
Британишский.**

Предисловие к двухтомнику

У них есть Мицкевич. Есть — Словацкий. Есть — Красиньский. Есть прах родины, ссыпавшийся с подошв наполеоновских солдат, которые давно сгнули на полях империй. Разорванная меж трех империй страна вытягивается во второе столетие своего небытия, меж тем как сами империи приближаются к взаимному уничтожению. Невроз, необъяснимо охвативший народы Европы в конце относительно благополучного (но не для поляков!) девятнадцатого века, отдается в Кракове и Львове отчаянным бессилием.

И вот в этот момент, в первый год двадцатого столетия, какой-то безвестный львовский студент кричит на всю Польшу, что ему приснилось могущество! Что человек — кузнец своего счастья! Что надо выковать себе из стали непобедимое сердце! Что лучше сгнуться, чем влачить жизнь в позорной немощи.

Его зовут Леопольд Стафф.

Стафф и Лесьмян

Если бы Леопольд Стафф умер молодым, его имя откликлось бы в памяти поляков эхом этого первого набата. Но судьба заставила его прожить восемь десятков лет. Она протащила его через две мировые войны. Она подарила ему возможность увидеть, как рассеивается дымом могущество владык, полвека насилующих Польшу. В прощальном стихотворении Тувиму Стафф увековечил этот пейзаж:

За крыши городской заставы,
В дымах вечерних небосклона,
Заходит солнца лик кровавый,
Как злое сердце фараона...

Если бы Стафф умер молодым, в памяти русских он мог бы остаться аналогом Шкулева с его «Кузнецами», а впрочем, и Брюсова с его «Каменщиком», а впрочем, и Блока с «Железным веком».

Блок, чья сгоревшая усадьба стала символом всеочищающего пламени революции, срифмовался со Стаффом еще и в этом: львовский дом Стаффа в Первую мировую войну сгорел вместе с библиотекой и архивом. И этого судьбе оказалось мало — тридцать лет спустя архив сгорел еще раз, в Варшаве, при разгроме антигитлеровского восстания.

И все-таки сочинения Стаффа, изданные посмертно, потянули на две тысячи страниц. Между дебютом в 1901 году и смертью в 1957 — путь.

Куда грядем?.. Куда ведет дорога?..
Закат — в крови... Мрак стелется устало...
Отчаяние отреклось от Бога,
На ангелов печать проклятья пала...

Слова исчезают в немоте, только эхо слышно. Не разглядеть глаз любимой — лишь отраженье их в бездне. Нереальна жизнь — реален лишь сон о жизни.

И небеса, и землю
Мгла так угрюмо гложет,
Что ни себя, ни мира
Душа узнать не может.

Только душа и противостоит бездне, готовая из одного упрямства заново пройти слезный путь.

Что в финале?
Ничего.

Русская аналогия помогает Стаффу очертить это: Толстой бежал от печали. Все имел он — стало быть, ничего.

Счастливый, бреду под палящим солнцем,
Владелец собственной тени.

На этом пути кажется блаженным младший брат Людвик, тихо умерший от болезни, прежде чем молох Первой мировой войны начал пожирать миллионы:

Ты умер юным. В царство теней тенью
Ушел, и предала тебя забвенью
Земля. Не прозвучит во тьме ни эха.
Ты только памяти моей утеха.

Мы были будущим тогда. Где время
То, с городами и горами теми.
Над гробом, где былое погребло их,
Нет нас обоих...

Беззвучное исчезновение в противовес громохочущему псевдобытию становится лейтмотивом польской лирики железного века. Спасти можно только бесплотное: душу.

Душа, бесчеловечным бредням не сдайся,
Лучше уж лазурью взлети в отчаянье
Последнем к звезд высочайшему безумью!

Эти звезды — апофеоз Высшего Смысла, который, несмотря ни на что, венчает мирозданье Стаффа. В памяти поляков он — их первый в двадцатом веке «всеевропеец», преодолевший польскую замкнутость. С его именем Польша теперь входит в Европейский Дом. Сквозь чумную тьму столетия брезжит всечеловеческое оправдание. Сколько душевной силы надо иметь, чтобы удержаться в этом аду на светлом полюсе!

Ни меч, ни светлый огонь чуму не истребят.
Но если человек, губимый смертной мукой,
В последний день земли пребудет чист и свят,
Спасенья всей земли он будет мне порукой.

Светлое, вселенское, «эллинское», аполлиническое начало польской души — Леопольд Стафф.

Болеслав Лесьмян — ответ ему из глубины загадочной, нерасчленимой природы.

Год рождения неизвестен. 1877? 1878? 1879? Ровесник Стаффа, Лесьмян неотчетлив в истоке; отчетлив только год финала: 1937. Корни, между прочим, украинские. И значимы именно корни. Крестьянская, фольклорная толща, неизреченная земная тяга, шепоты трав. Пчелка, цветочек, воробышек, а из-под них — зовы, гулы. Что-то от Франциска Ассизского. Только благодущия нет. Колченогий, изуродованный солдат, выгнанный из дома здоровой зазубой и из деревни — здоровыми односельчанами, прислоняется у дороги к распятию:

— Иисус мой сосновый, мы оба убоги!

Это удивительное определение Христа становится естественным, когда вдумываешься в обращение к ветряку, скрипящему посреди пустого поля:

Во что веруешь? Кого видишь ты в лазури?
Как бы выглядеть ты мог, вдруг очеловечась?
Что за существо таишь в сучковатой шкуре?
Кем ты видишься с луны духам издалече?

Духи небесные смешиваются с духами подземными. Противостоянье верха и низа снято: все время чувствуется что-то, чем порождено само противостоянье. И оно непознаваемо. Идет изуродованный солдатик об руку с искалеченным Сыном Божиим, смысл этого полонеза неизречим, но факт непреложен.

Бог хромал с человеком, шли много ли, мало, и никто не узнает, что в них так хромало...

Ощущение неохватного Промысла в каждой безуминке предстоящего мира, остающегося магически притягательным именно в природной неуловимости, заставляет русского читателя сопоставлять Лесьмяна то с Ключевым, то с Хлебниковым.

В польском поэтическом поле его собеседник, несомненно, Стафф. На ранний звон молота отвечено глухой усмешкой:

Звенят вперед! Звенят назад!
Ведь тени тоже что-то могут!
И не могла слепая ночь понять:
Кто тень здесь, а кто молот?

Где осознание, а где неосознанность? Где стоическая душа, а где распластанная по миру плоть? Где тот свет, где этот?

Открылась бездна пустоты,
И в бездне тишь была до жути!
Зачем над бездной шутишь ты,
Коль бездна над тобой не шутит?

Болеслав Лесьмян остался в памяти поляков как одинокий гений. Книги о нем идут теперь потоком. Вислава Шимборская, узнав, что ей дали Нобелевскую премию, сказала: лучше бы ее вовремя дали Лесьмяну. Многие именно его считают величайшим польским лириком двадцатого столетия.

Павликовская и Иллакович

Судьба сдвоила пары, то ли повторив, то ли предварив Ахматову и Цветаеву в польской лирике. Наверное все-таки предварив, ибо, как я неоднократно слышал от поляков, — все, что история творит в России, она сначала творит в Польше.

Неважно, что прежде, а что после: ахматовская ли героиня надела перчатку не на ту руку или героиня Марии Павликовской объявила, что полюбит только того, кто станет носить ее на руках и забудет, где добро, а где зло; Цветаева ли первая уравнила красное воинство с белым или Казимира Иллакович сказала тому, кто вешал ее деда:

Лежат под стеной костела все вместе — они и наши.

То была война классовая. Потом запылала и Первая мировая. Казимира пошла сестрой милосердия в русскую армию, получила Георгия за храбрость, вернулась в Польшу, поразила критиков мужским поставом пера в стихе.

Нельзя сказать, что Мария все это время проблаженствовала на руках любимого, забыв с ним о добре и зле. Где зло, где добро — она знала очень хорошо: опубликовала в 1939 году такой антигитлеровский «гротеск», что последовала нота Польше от германского посольства. Осенью того же года ноты мировой игры сменились: заиграли пушки. Мария уехала во Францию, потом в Англию. С ней был муж, военный летчик Ясножевский, что важно не только потому, что во все поэтические хрестоматии она вошла под двойной фамилией: Павликовская-Ясножевская, — но и потому, что главный импульс ее стиха взлет, полет, воздух...

В 1945 году, немного не дожив до Хиросимы, она умерла в английской онкологической клинике.

Меж тем Казимире Иллакович, поэтессе цветаевского «постав пера», как раз даровала судьба ахматовское многолетие. И даже долгожительство: девяносто с лишним лет прожила, успела послужить на высоких военных и дипломатических постах и, кажется, ставила это выше литературных премий: от членства в Академии литературы отказалась. Характер сохранила «мужской». Вот уж в чьих стихах «уют» так и не свил гнезда!

Когда осел согревал Христа в Вифлееме,
прибежала туда ослица в гневе и в пене:
«Ах, вот ты где, бездельник, нашла тебя еле-еле!

Будто нет у тебя конюшни, своего уютного дома,
только отпустят с работы, бросят охапку соломы,
уже ты нашел себе дело, готов услужить любому.

Что ты нашел в этих нищих и в этом воловьем стойле?
Ступай сейчас же домой, где ждет тебя вкусное пойло,
не то поймают бродяги и в путах потащат на бойню».

А осел — непонятно: слышит или не слышит
только длинным ухом поводит и шкурой колышет,

да на младенца в яслях дышит, заботливо дышит.

Притча смягчена юмором. Основная же мелодия — открытое отчаяние. И тех, и этих надо бы пожалеть, но ни с теми, ни с этими идти невозможно. Нет мне места на земле в наше время, всюду зло людское сеет семя... От отчаяния душа готова зарыться в землю, уйти вниз, в яму, куда падает убитый птенец: в милосердной земле возрождается он сначала бурьяном, потом зерном... На краю запавшей могилы оплакивает убитых братьев современная Антигона...

У Павликовской другой античный ориентир — Сафо. Радужно-престольная жрица любви. В пересчете на Двадцатый век — поющая пичуга, летящая к солнцу и радующаяся, что ночью ее никто не съел. Ленты, перья, вуали, шляпки. Для контраста — тетки: затрапезные, пресные, честные. А эта:

...Лишь одна тетя Йола являлась как фея,
как парижская кукла и пахла фиалкой.
В птичьих перышках, легкими тюлями вея,
целовала, таясь под звездистой вуалькой.

И куда-то исчезла за вихрями следом,
в пору молний весенних, и ливня, и града...
Тетки горько рыдали — но был им неведом
вкус любви роковой и... крысиного яда.

Опять притча? Крысиный яд — эликсир сцены? Однако из-под косметики сочатся настоящие слезы.

Вертикальная польская душа у Казимиры Иллакович закапывается в «подземье» — у Марии Павликовской взмывается вверх. Как бабочка или стрекоза. Летчик — любимый... Крылатый, одумайся, слишком ты сильный!.. Ты мой святой, небом заживо взятый...

Переклик двух жриц польской поэзии с небес и из преисподней предполагает встречу.

Где?

Мария среди постриженных английских лужаек грезит:

*Боярышник бесприютный, небо в лужице жестяной, ветер жалобный
и ненастный, этот тракт бесконечный, грустный на равнине плоской... он мой.*

Ей вторит Казимира:

*И снова, снова любовь, бессмысленнейшая на свете, к размокшим
плоским полям, к березовым листьям этим, к несчастным ветхим плетням, к
распятиям придорожным и к этим серым глазам, бесслезным и
безнадежным.*

Последний взгляд на их сестер в русской поэзии Серебряного века.

Анна:

Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву...

Марина:

Но если по дороге куст встает,
Особенно рябина...

Ивашкевич и Тувим

Ровесники, родившиеся в год смерти императора Александра III на западном краю его державы-империи — один на Киевщине, другой в Лодзи, — в первый же год благословенной польской независимости рвут из провинции в Варшаву, «внезапно ставшую столицей большого государства», прозревают в ней неубитую легендарную Трою и осеняют себя именем ненавистного Ахиллу Скамандра...

Отец Ярослава Ивашкевича, шляхтич, изгнанный из университета за участие в революции 1863 года, скоротал свой век бухгалтером, так что в поэзии сына словно берет реванш все ушедшее в подполье, удушенное при разделах потенциальное богатство польской культуры. Поэт, прозаик, переводчик, драматург, театровед, композитор, музыковед, путешественник, дипломат, хозяин дома, где в годы войны находят кров и спасение обездоленные и преследуемые польские литераторы, наконец, глава польского Союза писателей, Ярослав Ивашкевич и на девятом десятке считал себя счастливым человеком.

Патрицианский дух — с киевских гимназических опытов. Задумчивое тихое предместье, томный менуэт в зале, белый сад, прогулка верхом, золото солнца в синеве неба, эхо вечности. Звездное небо, нравственный закон, Кант. Таинственный хаос, шевелящийся то ли на дне Веленной, то ли на дне души, Тютчев. Мечта — не умереть совсем, слиться с природой.

Не кладите меня в яму...

Неужели Смеляков?!

Ухожу я, товарищи, сказочным Млечным Путем...

О нет: у польского Ярослава все острее, пикантнее:

Пусть ежи глаза мне выпьют,
Лисы обгрызут мне ноги,
Муравьи отбелят кости,

И весною голый череп
Глянет на цветы калужниц
И на незабудки...

Смерть приходит празднично, декоративно: рыцарь в черной маске с косой в руках; украшенный цветами гроб в воротах кладбища. Смена поколений, смена эпох — гармония. Как черепицы, поколение заходит за поколение, но как же прекрасны красные крыши на солнце...

Роднее всех стихий — воздух. Не земля, которой можно присягнуть кратко в благодарность за плодоношение. Не огонь, в который нечего вглядываться, потому что из него — война. И даже не вода, ласково омывающая дом и отражающая небо. А — само небо, воздух, о котором говорится заворуженно: из воздуха воздух.

Как богат, как многоцветен мир! Оттенки розового. Розовый Ренуара, розовый Берты Моризо, розовый Мари Лорансен — и все это по-французски, словно перед полотнами в Лувре. Антиквариат:

Цветы, плоды, картины, книжные громады,
Руина клавикордов, черные футляры,
Вазоны, этажерки, рваных нот каскады,
Пюпитр для Библии, прелатский посох старый...

Упоительная плоть мира:

Лица, цветы, стихи,
Музыкальные инструменты, влюбленности,
Ленты, струны...

Интеллектуальный пир:

Что говорят Пиаже, Рикер, Адорно, Старобинский?
Почему Леви-Строссу не нравится Маяковский?

Обратная сторона этого великолепия:

Корабль без паруса, и я над разореньем
Большим, беспомощным, замороженным зверем...

Черты разора:

Глупость, подлость, удары, убийства,
Недоразумения, дома с облупленной штукатуркой,

Скользкие серые тротуары,
Шаги, шаги, шаги...

Особенно любопытны здесь, конечно, недоразумения. И особенно впечатляют шокирующие грязные тротуары.

Откуда все-таки тревога?

Об этом лучше знает Казимира Иллакович, и Ярослав посвящает ей стихотворение.

Спрашивала мгла у мглы: это я или ты?

Из воздуха воздух, из мглы мгла... Магия всесвязанности. Звезды и закон. Тьма необъяснима и незаконна. Хотя и реальна. Впрочем, Ковчег перенесет всех через море мрака. Если же судьба тонуть — птицы спасутся в небе...

А если все-таки умирать?

Мир такой прекрасный, присядем на мгновение на цветущей ветви перед дальним отлетом...

И все-таки грустно:

Жаль юности, жаль старости.

Наконец, несколько вопросов Богу. Насчет недоразумений в мироздании. Мир так прекрасен, и так хорошо все начиналось. Почему же зло? Ну, пусть Каин убил Авеля, Ной пьянствовал, Нерон сжег Рим, но это же не влияло, это ничего не значило. И что же? Во что все это превратилось?

Всевышний молчит.

— Как исправишь Ты все это?

Молчит.

— Зачем они так носятся бессмысленными толпами с места на место? Зачем одни преследуют других, по джунглям, пляжам, улицам столиц стреляют? Зачем пасутся в парках, во дворцах? Зачем упрямо гадят в воду?

Нет ответа.

— Пану Адаму Ты тоже не хотел ответить, но он был наивен: он думал что сила на Твоей стороне. А что на твоей стороне? Ответ хоть однажды: что на Твоей стороне?

Безмолвие.

И все-таки жизнь прекрасна. Жаль умирать... Ивашкевич — радостный зенит польской лирики.

Тувим словно призван оттенить эту гармонию своим исступлением. Выходец из семьи банковского служащего, он бросается в ту самую реальность, которая мглой клубится за границами благоустройства. Он спешит на скользкий серый тротуар, по которому люди бегут, запыхавшись,

к врачу или из города едут домой с бьющимся сердцем. Он стремится туда, где толпятся задетые, ошвыстанные, оскорбленные. Слабые, битые, дразнимые, скучные, боящиеся смерти, ждущие лекарства в аптеке, опаздывающие на поезд...

Стих — как таран, как удар лома: по витринам, театрам, банкам, парламентам, дирекциям, редакциям.

Я ваш Вавилон, о слепые, с лица Земли сметаю!

Маяковский? О да, его решимость отдается в неистовой душе.

Пусть в модном пальто я,
Неважно, неважно, что гетры и галстук,
Хожу судьей и пророком
По городскому асфальту...

Мандельштам? Его попытка — вписаться в эпоху «Москвошвея»?

Предчувствие гибели настигает Тувима на самом взлете польской горячей независимости. Кинематограф, митинг, армия, форум сейма, народ, семья, община, читальня ли, молельня — все ужасом зияет и пустотой смертельной...

Интересно: у Тувима, как и у Ивашкевича, — перечни, перечни. Только перевернутые. Ощущение неповторимого исторического мгновения. Только не счастливого. Казимире Иллакович, все той же сивилле беды, — исповедь: ужален Тувим этим счастьем. Пусть это не обман, не фальшь, не мираж. Пусть это самое счастье оплачено, отработано, пусть неотъемлемо, как пульс: державное, милостивое. Все равно: невыносимо!

Абсурд существования емлю телом жадным...

Из этой сюрреалистической формулы извлекаются все оттенки социального устройства, вымоленного у истории, но и невыразимость того, что не вымолишь. Повеситься бы от этого счастья...

Юлиан Тувим, как и Ярослав Ивашкевич, — поэт воздуха. Только в этом воздухе он — над бездной.

Звезды? Так в них он бродит, как в сугробах снега. Покой? Так будет время ночного ночлега. Что ж? Молитва? О чем же? Не знаю. Молитва.

Ивашкевич свое «не знаю» вкладывал в уста Бога. То был в известном смысле диалог равных. Тувим — богоборец — замолкает сам. На все годы, что отпускает ему судьба после войны, по возвращении из Америки.

Почувствовав смерть, он пробует договорить Богу. Это не диалог равных...

Покажись хоть мельком,

Хоть бы издалече
(Шагов хоть бы за сто...)
Дотащусь до встречи
Призраком, калекой,
Лишь бы показался!

Сквозь стены: парламента — молельни — читальни — общины
кинематографа — парламента — проступает война:

...Умер — но дополз бы!
Так солдат с мольбою,
Хоть и кровью залит,
До святой фигуры
В поле доползает...

Это предсмертные стихи. Август 1953-го. Смена эпох.

Вот уже недолго,
Вот конец уж муче:
Вот уже Мадонна
Протянула руки.

За грань — не ступил. Умер на пороге.

Лец и Свирщиньская

Лец среди наших шестидесятников был популярен до такой степени, каковая досталась в сороковые годы — от тех же будущих шестидесятников разве что Ильфу и Петрову. Лец — это пароль, опознавательный знак остроумцев, лелеявших тайную свободу. От мокрых дел остаются только сухие даты. Короткая сухая фамилия, как тронутая влагой почка, выстреливала двойным цветком: «Станислав Ежи». В цветке зрели сухие иглы. Сам он отсушил до одного слога свое фамильное австро-венгерское «Де Туш-Лец». Барон. Родился и вырос в родовом поместье, в университет являлся с тростью и моноклем. Потом пропустил себя через футуристическое чистилище и к 1941 году созрел для борьбы. Угодил в немецкий концлагерь. Бежал. Партизанил. Воевал. Вошел в историю лирики как крупнейший мастер афоризма. Его «Непричесанными мыслями» мы упивались в самиздате.

Анна Свирщиньская — ровесница Леца. Родилась и выросла в семье варшавского художника, можно сказать, в его мастерской. Среди потолка торчал крюк, на котором другой художник, снимавший эту мастерскую до отца, повесился от голода.

Филологический диплом и латинские вокабулы не спасли дочь живописца от кровавой грязи: война началась и завершилась для нее в госпитале. Вкалывала медсестрой. На седьмом десятке оглянулась и, наконец, выкричалась в стихах: «Я баба!» Первые русские переводы тогда же, в начале 70-х, вызвали шквальное сочувствие русских читателей. Через десять лет после смерти Свирциньской, в середине 90-х, Милош написал о ней книгу: «Какого гостя мы имели». Имели — и не знали...

Мы знали — Леца. Его строчечки, в которых вмещалась вся жизнь.

Одно только правдиво в снах
Страх.

Лец сжимает мироздание в точку.

Свирциньская из точки — размыкает в нескончаемость.

В моей палате
двадцать солдатских животов.
Рваные, окровавленные,
они отчаянно бьются
за жизнь.
Я знаю их все наизусть,
днем я приношу им судно, отмываю от кала.
Ночью мне снится,
что я приношу им судно,
отмываю от кала...

Там сон и тут сон. Там — надежда: остановить безумие отчаянной судорогой разума. Тут — нет надежды: безумие множится, как в дурных зеркалах.

Лец, созерцающий руины, с негодованием отвергает бессильную культуру:

Только не надо Шопена!
Не бередите раны.
Ведь вся эта ночь мгновенна
в антракте кровавой драмы.

Свирциньская, созерцающая руины Вечного города, пытается хотя бы на мгновенье облегчить душу красотой культуры — и чувствует, как душа обессиливает, растворяясь в общем несчастье:

Я ходила по великолепному Риму,
я пасла свое маленькое страданье
на огромном пастбище страданий мира.

Лец горько философствует:

Душа имеет тело,
чтобы душа болела.

Свирщинская не философствует. Она стирает рубашку умершего отца и думает: в последний раз я слышу запах его пота, знакомый с детства, теперь останутся только картины, пахнущие краской.

Краски — та самая красота, которая бессильна спасти мир.

Лец иронизирует, видя черные зубы солдат, вышедших из рукопашной и отъедающихся в лесу черникой: Пиши, о чем мечтаешь, чернилами черных ягод. Мир препоясывается словом — смыслом; ад можно измерить — хотя бы Дантом, соотнеся его с опытом XX века: по части ада был он дилетантом.

У Свирщинской — ни измерить, ни соотнести. Только одно: выдохнуть жизнь: дорасти до смерти. Кто не убит — обречен на еще больший ужас. Сквозь оставшуюся жизнь бредут одинокие бабы, сумасшедшие старухи, лучше их не видеть. А взглянешь... Молодые парни взглянули мельком на старую женщину. И в мгновение ока растоптали, как червяка, равнодушным взглядом. Нет, лучше тенью раствориться во тьме.

Лец усмехается:

— Больше света! — воскликнул Гёте. О, к нам это не относилось. Это был первый указ министра в Царстве Вечной Тьмы.

У Свирщинской котенок, которому выжгло огнем глаза, ощупью добирается до края лужи и лакает прохладную воду, в которой отражается луна, подымающаяся над сожженным городом. Счастье — не заметить смерти своего тела. Ибо тело твоё понимает больше, чем ты. Но и тело мало что понимает в кошмаре бытия, слившегося с небытием.

Лец крепится, мобилизуя в себе стоика:

Рану, чтобы не чувствовать боли,
посыпь щепоткой аттической соли.

Свирщинская боли не чувствует. Или, лучше сказать, ничего, кроме боли, не чувствует. Ни слов, ни звуков — как после налета.

Из груды рухнувших стен торчит в небо серая, как стена, рука с пятью пальцами.

Знаете ли вы задачу философии? — интересуется Лец. — Придать плоти чуть-чуть сути...

Милош и Ожуг

Виленский университет в юности и парижская стажировка в молодости помогли Чеславу Милошу увидеть разразившуюся в 1939 году войну сквозь магический кристалл культуры. И ожидать ее гибели с горькой скептической усмешкой:

И хрустнет музыка, как под ногой стекло.

Когда захрустели кости и затрещали залпы, он заметил, что этот треск заглушает музыка танца. Справиться с этим помогли итальянские аналогии: Джордано Бруно молча смотрит на толпу, заглушающую гомоном базара треск костра... Конец света, а рыбаки как ни в чем не бывало тянут сети, женщины прогуливаются под зонтиками, рождаются розовые дети.

Писать о польской реальности нет сил. Разорвет душу. Милош уговаривает себя, что его перо — легче перышка колибри. Это попытка спасения. Первая попытка великой польской поэзии преодолеть шок.

Я убегал по планете, вращавшейся все быстрее...

Разумеется, «эмпирическая биография» дипломата-невозвращенца, оставшегося во Франции, а затем освоившего кафедру славистики в американском университете, помогла Милошу-поэту осознать такой вариант спасения души. Но глубже — мучается сама душа, отчаявшаяся вынести бесконечный плач по убитым. Разумеется, тихоокеанское побережье, где справа — сказочная Калифорния, слева — Сан-Франциско с красивейшими в мире небоскребами и мостом, впереди океан до самой Японии, а вокруг Беркли и споры интеллектуалов — это для врачевания души благословенное место. Но глубже — сама душа, мучительно выбирающаяся из бездны.

Я подолгу сплю и читаю Фому Аквинского.

Разум, предоставленный самому себе, наталкивается на проблемы, для него непомерные. Например: что истинное неотлично от неистинного. Или: что встречая самого себя, ты встречаешь «ничто». Или: что в словах можно воссоздать лишь красоту, не более.

В самом существе поэзии есть что-то неприличное: в нас возникает вещь, а мы и не знали, что она там есть, и вот моргаем глазами, как если бы выскочил из нас тигр и стоял на свету, обмахиваясь хвостом.

Пластическая мощь образности выдает мастера; в нем есть что-то от Сальвадора Дали; страшный сон скрывает смысл «нестрашной» яви; существование висит на ниточке. Поэт жестами создает невидимый шнур и взбирается по нему вверх...

Я приближаюсь к универсальному.

Универсальное возвращает польскую душу в ситуацию, когда под ногами пустота. Универсум спасает от конкретности. Изогранный разум знает, чего он не вынесет, и укрепляет себя тем, что рано или поздно гекатомбы мировой войны превратятся в холодные надгробья, и нынешние страсти застынут в пыльных книгохранилищах.

После многих воплощений возвращаемся мы на землю,
Но не уверены, сможем ли ее узнать...

Милош находит этой мысли поворот, пригвождающий вас к строчкам:

...Как если бы охотник с копьем
Явился вдруг искать чего-то, что здесь было.

Это дикарское копье и ставит клеймо на «универсуме». Минуя улицу Декарта, спускается к Сене молодой путешественник-варвар. Минуя столетия, профессор, как паучок, выпускает нить и на ней путешествует. Шнур утончается до паутинки. Только бы не оступиться в подробности! Оступись конец.

Что же он такое: человек, рождаемый женщиной?
В клубок свивается и голову заслоняет,
Когда его бьют сапогами. Бежит, охвачен
Огнем. Бульдозер сгребает его — и в яму.
Ее ребенок. С мишкой в ручонках. В любви зачатый...
Нет, не вынести... Назад, в «универсум»!
Все еще не научусь говорить, как надо, спокойно.
А гнев и жалость вредят равновесью стиля.

Равновесье, обретенное на планетарных весах, планетарно и вознаграждено: Чеслав Милош первым из польских поэтов получает Нобелевскую премию. Польская поэзия, как во времена Стаффа, возвращается к мировым измерениям. И, как во времена Стаффа, должен найтись новый Лесьмян, который напомним ей, что такое ожог реальности.

Ожуг, ровесник Милоша, делает это. Ян Болеслав Ожуг. Сын крестьянина, отказавшегося переселяться в Америку и задавленный деревом, которое он свалил в родной деревне.

О, смерть, не бери меня в рай,
оставь с топором на земле
на долгую зиму зим,
оставь лежать, как отца,
приваленного к кресту
ольхой, подрубленной им.

Полет разума осажен на почву.

Во сне, как в Лесьмяне, в моих садах
Трава — зеленый, благовонный омут...

И, «как в Лесьмяне», рай немислим. Изувеченная земля — и ад наш,
и рай. И универсум, и клочок поля. И Европа, и Польша.

Глажу горбатую спину
убитой Европы,
сам я такой же калека,
кривоногий и плоскостопый.

Учился на ксендза. Бросил. Предпочел стезю гимназического учителя.
Может, чуял бессилие христианства в содрогающемся от языческих страстей
мире? Чуял почву, природу, землю, народную жизнь. Увидел, как
тектоническая магма ломает и взрывает почву. И как народ сжигает
деревню и бежит из нее в город.

Жадные воруют и грабят, ленивые водку хлещут и насилуют сестер
своих собутыльников — судья же, их земляк, зовет их на картишки. Некому
поднимать молот... Постепенно слепну. Может быть, слепой увижу лучше
черную тьму из тьмы.

Не дают ослепнуть — дети, которые упрямо рождаются на этом
пепелище. Не «розовые», отрицающие воображаемый Апокалипсис. А
черные, как сама реальность, подтверждающие, что она — реальность.

Нет уже тех,
кто спину гнул с серпом,
и кровь их почерневших легких
пьет почва, твердая, как вечность...
Все больше новых, кто рождается в пожарах
вместо умерших и убитых,
живые, как трава, растут в пустых песках.

Эта трава не дает поэзии ни умереть от воспоминаний, ни спастись в
невесомости.

Шимборская и Ворошильский

Когда Гитлер и Сталин разорвали Польшу, Виславе Шимборской было
шестнадцать. Кажется, это первый случай, когда в биографии поэта не
оказалось слова «война». Самое раннее из значимых событий: в 1945–1947
изучала полонистику и социологию в Ягеллонском университете.

Польская душа начинает очередной раз выбираться из-под руин.
Гимназическое образование помогает отвлечься от злобы дня: две обезьяны

подсказывают ученице ответ на экзамене по всемирной истории. А что, если эту историю отсчитывать не только от обезьяны, но и от снежного человека? Да и от инфузории! От луковичи какой-нибудь, внутри которой нет внутренностей. В нас — мышцы, нервы, жилы, а в луковиче — ничего такого: только нимбы золотые, которыми она сама себя окружает. Если бы человечество удержалось на стадии луковичи...

То что?

...то ему не надо было бы проходить через идиотизм совершенства.

К идиотизму героическая польская душа поворачивается иронической стороной. Иоанна Хмелевская с ее тонкой веселостью брезжит в усмешках Виславы Шимборской: все, как в реальной жизни — стреляют, убивают, и только смех сигнализирует нам: а вдруг это игра?

Ласковая интонация смягчает ощущение абсурда. Ну, как если бы кот остался в пустой квартире и проклинал бы хозяев. Это, надо думать, модель богооставленности. Но — никакого явного бунта и никаких проклятий богу, то есть хозяину, если тот вернется. В этом случае надо пойти в его сторону, будто совсем не хочется, потихонечку, на очень обиженных лапах. И никаких там прыжков, мяуканий поначалу...

Смысл жизни постичь невозможно. Но можно посмеяться над прыжками мяукающего разума: как он сам себя раскручивает... как галдят интеллектуалы, разогреваясь даже одним только чаем и красуясь друг перед другом. Ум оплодотворяет ум!

Ну, да мгла окликает мглу, тьма тьму.

Кровавая история рождает эту гамму. Как и Милошу, писать ее напрямую Шимборской не хватает отчаяния... Но если приблизиться к ней потихонечку, на мягких лапах... Вот фотоснимок младенца, его зовут Ади...

А кто этот бутуз, такой прелестный?

Это ж малыш Адольф, чадо супругов Гитлер!

Может быть, вырастет доктором юриспруденции?

Или же в венской опере будет тенором?

Чья это ручка, шейка, глазки, ушко, носик?

Чей это будет животик, еще неизвестно:

будущий врач, коммерсант, печатник, священник?

Куда эти милые ножки, куда они доберутся?

В садик, в школу, в контору, на свадьбу,

может быть, даже с дочерью бургомистра?

Лапушка, ангелочек, солнышко, крошка,

когда на свет родился год назад,

на небе и земле не обошлось без знаков:

весеннее солнце и герани в окнах

и музыка шарманки во дворе.

Счастливая планета в розовой бумажке...

Счастливая планета, конечно, побуждает к вопросам глобального характера, но задавать серьезные вопросы бессмысленно. Есть смысл задавать вопросы «детские». Например, такой: Может быть, мы поколения пробные? Пересыпаемые из колбы в колбу, встряхиваемые в ретортах?

Какое отчаяние надо было упрятать в «розовую бумажку» подобного «наива»? Сколько должно было перегореть в душе, чтобы вышла она на такое randevu с историей! Сколько сил найти в себе, чтобы так с ней шутить...

История, спущенная с ясельного крыльца, однако возвращается. Ворочается где-то рядом. Земля становится меньше, все, что происходит, происходит будто за стеной. Зарастают окопы, и в траве, которой они зарастают, вот-вот кто-то возляжет беспечно, с колоском в зубах, глаза на облака. Где Хиросима — там вновь Хиросима и производство предметов ширпотреба.

Морали нет. Добро и зло по-прежнему разведены на полюса. История меняет манеры, церемонии, танцы. Что остается неизменным? Жест рук, заслоняющих голову. Тело извивается, дергается, вырывается, сбито с ног, падает, подгибает колени, синее, пухнет, истекает слюной и кровью...

Этот натуралистический штрих в «наивной» картине всей картине придает другое измерение. Это переключка с Милошем, который точно так же оставял в глобально меняющейся истории неизменный признак: фигурку человека, который сжался в комочек и заслоняет от удара голову.

Как сигнал — этот образ послан Ворошильскому.

Если бы Виктор Ворошильский родился в том же, что и Шимборская, 1923 году, — не миновать бы ему солдатской доли. Но он — моложе на четыре года психологически связался с поколением, которое впоследствии назвали послевоенным. Мирные рельсы легли на восток: в 1952 году, когда Шимборская опубликовала свою первую книгу, Ворошильский поехал в Москву писать диссертацию о Маяковском. Кроме лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи, Ворошильского ждали в столице социализма другие, не менее захватывающие темы и дела.

Группка молодых (это называлось коллектив), яростная и слепая, как само то время, хотела быть его горлом охриплым, правойто беспощадной, топчущей, втаптывающей в землю беспомощных седовласых недобитков прошлого...

Это и у нас называлось «поколение 56 года». «Дети Двадцатого съезда». Пробуждающиеся будущие «шестидесятники». Последние идеалисты, выращенные Советской властью. Я был тогда молодым, был яростным и слепым, как само то время, и тоже до хрипоты спорил, как все мы, с седовласыми недобитками. Мы знали, что где-то рядом на нашей стороне — поляк, Ворошильский, иностранец, «нардем», настоящий коммунист, неуязвимый для наших седовласых ортодоксов, и мы на них перли всем миром... то есть, по-тогдашнему, — всем коллективом.

Из Москвы осенью 1956 года Ворошильский отправился в Будапешт — на передний край борьбы.

С кем боролся? И за что?

Фашизм из реального военного зла превращался в недобитка истории. Из-под гитлеровских касок становились видны обыкновенные немцы, которые в принципе ничего дурного не хотели. Поправить протекающую крышу, отдать ботинки сапожнику, выпить кружку пива.

И все сначала?

Рабочие идут драться. Говорят интеллигентам: не увязывайтесь за нами. У вас еще не все забрали. Вам больно, но еще не так, как нам. Вас топчут, но еще не так, как нас. Пока вам хватит пива и покорства — не присоединяйтесь к нам...

А интеллигенты, покорно пия пиво, ищут объяснений происходящему. Но, кроме идей доктора Маркса, кажется, ничего не могут предложить рабочим Польши яростных 70-х годов. И Маяковский ничему научить не может, кроме лозунгов атакующего класса.

Значит, все по кругу. Все! История, природа, сама земля, крутящаяся вокруг себя.

Под грозным небом
приставившим нам к затылку
острие Всепогибели
под окном неба набухшего
Всемирным Взблеском
Всезатопляющей Слезой
на Земле убаюкиваемой
наркотичной музыкой конца
к Всемирому Сну
на ее клочке заслоненном от ока неба
заикающимся трепыханьем деревьев
люди бьют человека
деревянными палками
бьют спешат убивают
обычными деревянными палками

Вот и вернулось роковое, мистическое видение польской лирики Двадцатого века: бьют палками. Человечество неисправимо и невеняемо. В Неаполе негодяй на мотоцикле вырывает у дамы сумочку. Толстый штатский в полиции показывает гору сумочек. Сущий Освенцим.

Сущий Освенцим — не тот Аушвиц, где фашисты угробили 4 миллиона человек, а этот праздник мелкого жулья под неаполитанским солнцем.

Вспомнили? «Хиросима — производство товаров ширпотреба»... Все еще смешно? Нет, уже не смешно. Никто не подопрет рушащийся мир: палачи в тяжелых сапогах и френчах уходят в черную бездну века, а на выцветших страницах лагерного дела остается Мандельштам, как мотылек, приколотый булавкой. Правда, есть утешение, что все вообще имеет конец, раз уж было начало в обезьянах и инфузориях, но, честно говоря, так не соберешь воедино прожитую жизнь: все сплошь — неуклюжие попытки подражать себе настоящему. И что в остатке? Великое Никогда продирается сквозь Великое Ничто. О, если бы уйти в бесконечность «универсума», в универсальность луковицы... Если бы можно было хотя бы не знать, что все это — в последний раз...

Ворошильский отрезает: в последний.

Он умирает в 1996 году.

В том же году Шимборская получает Нобелевскую премию. «За поэзию, которая с иронической точностью раскрывает законы биологии и действие истории в человеческом бытии».

Поколение-56

Что ж они такие хрупкие, ровесники мои из поколения 1956 года! Гроховяк едва перетянул за сорок, Домбровский — за сорок пять, Новак за шестьдесят. До семидесяти не дожили: ни Сливяк, ни Чеч, ни Харасимович. Барбару Садовскую схоронили в сорок шесть, это была манифестация: поколение будто несло в себе гибель.

Ежи Харасимович вцеплялся в землю западно-украинскими крестьянскими корнями, крепил душу преданиями о племени карпатских лемков; но из преданий показался прадед: Я — ничей!

Уршуля Козел пробовала докричаться до гусей: по ком они плачут, когда Рим разрушен, и спасти его поздно? Никаких преображений и перевоплощений... Продолженья не будет.

Ярослав Рымкевич вслушивался в музыку и услышал, как умирающий Шуберт превращается в желто-серую слизь, как цыплячи косточки Моцарта швыряют в крапиву, как Мандельштам в прогнившей телогреечке прогуливается под ручку с Богом... Вы тогда меня прочтете, когда мне прикроют веки.

Станислав Сроковский констатировал: современный человек частично живет, частично умирает, он думает, что сама смерть частична. Осыплюсь горкой пепла.

Иоанна Поляк тихо прощается: Уходя навсегда, дверь тихонько прикрою.

Барбара Садовская ищет самый темный угол на свете, ждет шальную пулю, которая избавит от вопросов.

Богуслава Литавец мечтает убежать в то время, которого нет: ни в воздухе, ни на земле, ни в море. Наконец-то свободна!

Этот возглас, словно подхваченный у Мартина Лютера Кинга, подводит под некрофилию политическую идею. Жили в тисках — получили свободу. Анджей Шмидт спрашивает: неужто только мусор и остается от

этой свободы, за которую отдавали жизнь и душу? Только пыль и остается? Эрнест Брыль подводит итог: мы, как прежде, за дверьми Европы, в прихожей, на пустыре, на свалке, где черепа лежат, разбитые настолько, что принцу датскому не над чем вздыхать. Бард Ян Петшак, любимец Польши, взывает: что будем делать со свободой?

Свобода — замечательный стержень, на который можно нанизать все. Но есть ли что-то, на что нанизывается сама свобода? Не ближе ли к истине Кшиштоф Карасик, поэт поколения-56, почувствовавший наплыв поколения-68? Под дом мой подложены пустые бочки с криком?

Фундамент, фундамент? Драма «последних идеалистов» — это драма реальности, которая исходит из великих идей, возвращена на великих идеях, пытается удержать бытие, составленное из великих идей.

Чем это кончается?

Автопортрет:

Халина Посвятовская — судя по всему человек
и судя по всему должна умереть как люди умершие ранее
Халина Посвятовская как раз и трудится в данный
момент
над собственным умиранием...

Ее смерть предначертана историей, вписана в нее наивной детской рукой: сырой подвал в Ченстохове, зима 1945 года; десятилетняя девочка переживает уход немцев; она получает приговор: ревмокардит. Исполнение откладывается. Тринадцать лет спустя филадельфийские доктора вытаскивают ее с того света, и она...

...она уже догадывается и по вечерам ежедневно
в сон погружая левую руку в правой при этом
крепко сжимает звезду — обрывок живого неба
и всю ночь будто кровью истекает собственным светом...

Еще через девять лет варшавские доктора пытаются еще раз вернуть ее к жизни и — упускают. Поколение-56 идет за ее гробом, ловя «высокую вуаль ее тепла»; Гроховяк говорит: мы беспомощны, как мальчики, у которых детство никогда не пахло матерью; поколение сирот войны прощается с нею...

...и гаснет — лишь слабый розовый след продолжает
стлаться
теряясь потом на ветру в ночи морозной и вьюжной
Халина Посвятовская — это несколько стареньких
платьев

это руки — и губы которым уже ничего не нужно.

Посвятовская — самая крупная фигура в поколении-56; это стало ясно после ее смерти; когда она уже сгорела.

Мы не верим в адское их пекло, в пляшущее пламя,
мы сами искры.....

Искры высекаются из света высоких идей, из тьмы низких истин, из «правды», из «обмана», из «свободы», из «зажима», из ускользающей «вселенной», из ускользающей «почвы», но все это лишь отсветы того, что уходит, невыразимое словами:

...Сноп искр гораздо больше означает свет, чем слово
«свет».

Искрящее поколение-56 сменяется поколением-68, которое берет себе имя из противоположной стихии: Новая Волна.

Поколение-68

Сначала подумалось: случайность. Распахнула я настежь окна...
Дождь.

Ева Лепская. Она же: Водопад шагов... Штормовая волна звука...

Острова, вцепившиеся в океан... — Это уже Марина Юзефацкая.

Водопои мира... — Марианна Боцян. И она же: Живем по милости
дождя.

Я думал, что это случайные брызги, не сливающиеся в мелодию.
Потом в чисто политической зарисовке Вита Яворского о том, как власти
глушили гласность, меня окатило:

К губам приставляли нам водяные пушки.

И у него же — формула протеста против лжи официоза:

Я заметил текущий ручей и потерял людской след.

Может, все-таки эта приверженность воде — неосознанная реакция
на огонь, испепеливший души предшественников? Нет, осознанная!

Море шумит, бессильное перекричать
гвалт всемирной истории.

Лешек Шаруга.

Твой матрос верный, по морям бурным
я проплыл в скорлупке четверть века.

Адам Земянин.

Слеза — концентрированная история жизни;
пепел — единственный плод политических спасителей
мира.

Формула Марианны Боцян — прямая отповедь предыдущим
поколениям, горевшим на кострах истории.

Пепел смыт. Место очищено. Говорите!
У Лешка Шаруги вырывается:
Многие из нас не знают, что говорить,
когда говорить можно все...

Хочется подхватить это словами нашего Писарева: все — значит
ничего. Ни там, ни тут не разглядишь человека.

Мария Юзефацкая пытается именно разглядеть — за хаосом хитрых и
ложных признаков, разглядеть — в пьянице, мерзавце, жертве истории...
Увидеть человека в нас самих, во всех нас, хоть иные живут здесь как бы на
острове, где нет живой души.

Хочется подхватить: на острове — в океане — все смыто?...

Станислав Баранчак возвращает поколение к чистой доске, предлагая
с нуля заполнить анкету. Родившийся (да, нет, ненужное зачеркнуть);
почему «да»? (Обосновать)...

Оказывается, изнутри обосновать труднее, чем извне и задним
числом, когда роль отыграна. Это легче сделать младшим, которые придут
на смену поколению-68 и объяснят, почему отвергают его опыт:

Бывают разные трагедии, и поколения, по-разному трагичные...
Больше всего волнуют те, что погибли в огне и дыме. (Это — о солдатах
1939-го)... И плачут девочки над ними, а мальчики сжимают кулаки. (Это —
об идеалистах 1956-го). Есть поколения, иначе, но до того трагичные, что
даже не слышно, как они дышат отравленным воздухом. Это уже —
бунтарям 1968-го от Томаша Яструна, родившегося на рубеже 50-х.

Оглядывается и Бронислав Май, родившийся в 1953:

*Пустая эпоха... Гвалт, крик, плач, смех и скулеж, банальная песня, без
слов, без единого слова, которое можно б когда-нибудь замолвить за нас.*

И наконец, символический жест Марцина Светлицкого, родившегося
на рубеже 60-х:

Я просыпаюсь, держа свою руку на гениталиях, без всякой грешной цели.

Начинается эпоха «индивидуалистов», и на этой черте я со своими комментариями, пожалуй, почту за лучшее умолкнуть, потому что сам нахожусь всецело во власти грешных целей... но не эротических, как надо бы по кодексу соответствующей свободы, а тех самых, во имя которых в 1968 в Париже сожгли университет, а в Праге сжег себя Ян Палах, а в Варшаве...

Цели поколения-68 попробую нащупать от противного.

Рышард Крыницкий:

— Вы свободны! — говорит стражник, и железные ворота закрываются. Теперь уже с этой стороны.

Опять «стороны» — та и эта.

Адам Загаевский:

А ведь свобода должна была бы быть также свободой от слов, которые нас вяжут, и от друзей, неразумно требующих верности...

Опять «те» и «эти».

Юлиан Корнхаузер:

Но хуже всего будет, когда придут освободители, обещающие нам свободу. И с одной, и с другой стороны.

С одной... с другой.

В пересчете на геополитику: дрались за то, чтобы вернуться в Европу, получили Европу, которая кишит мелкими сволочами и чванится добродетелями, выставляемыми на продажу.

Такую характеристику Европе дает Мария Юзефацкая, выпускница Католического университета в Любляне, готовящая на филологическом факультете диссертацию. В 1971 она ее успешно защитит, но за год за того издаст книгу «Всесожжение» (не расстрел ли рабочих обрушил поколение-68 в окончательное сожжение всего того, во что они могли бы поверить: в ценности «европейского дома»?).

Раз так — они выбирают Азию! Молчанье о небытии, жажда смерти, спасенье себя без последних решений демонов, рожденных отвращением и страхом. О человеке говорить не будем...

О человеке отказывается говорить Мария Юзефацкая, та самая, что надеялась «увидеть человека в нас самих».

Хорошо, не будем о человеке. Но что значит демонстративный поворот в Азию? Вряд ли стоит его переоценивать (хотя японцы перевели-таки эти стихи); азиатский крен — всего лишь жест сопротивления крену европейскому. Отбиться от той и от этой «стороны». В пересчете на водную стихию: выправить корабль, плывущий между Сциллой и Харибдой.

А что на корабле?

Отказом «говорить о человеке» Мария Юзефацкая возвращается к паролю поколения-68: к необходимости увидеть человека как бы «заново». С нуля. А там — загадочное «ничто». Словами Адама Загаевского о

беженцах: волоча ноги, идут они медленно, очень медленно в страну нигде, в город никто над рекой никогда.

Вечный ужас поляков — родина на подошвах сапог...

Но два берега, две стороны, два неперемненных фронта — очерчивают же все-таки это «нечто», это «ничто», это «никогда». И то единственное имя, которое живо, «пока мы живем». Стихами Адама Загаевского «О Польше» я закончу эти заметки.

Читаю стихи чужеземных поэтов
о Польше. Ведь есть у немцев и русских
кроме винтовок также чернила,
перья, немного сердца и много воображенья.

В их стихах Польша
похожа на дерзкого единорога,
кормящегося шерстью гобеленов,
она прекрасна, слаба, безрассудна.
Не знаю, каков механизм иллюзий,
но и меня, читателя трезвого, восхищает
сказочная беззащитная страна, которую
растерзывают черные орлы,
голодные монархи, Третий Рейх и Третий Рим.

Как человек Третьего Рима я признаю, что в представлении многих русских Польша действительно такова. Она слаба, потому что веками была сдавлена с двух сторон. Она безрассудна, потому что не смирялась с этим даже в самые безнадежные мгновения своей истории. Она прекрасна, потому что выдержала свою судьбу.

И поэтому голос ее в хоре мировой культуры — уникален.

Астафьева и Британишский

Русские поэты.

Фактическое вступление в поэзию — конец пятидесятых. Формальное вступление в СССР — 1961.

До этого: она — спецпоселенка в Казахстане, студентка московского педагогического института, аспирантка... Он — ленинградец, выпускник знаменитого Горного института, питомец не менее знаменитого литературного кружка Глеба Семенова, инженер-геофизик...

Поэтические самохарактеристики в названиях сборников.

Наталья Астафьева: «Девчата» (1959), «Гордость» (1961), «Заветы» (1962), «Кумачовый платок» (1965), «В ритме природы» (1977), «Любовь» (1982)...

Владимир Британишский: «Поиски» (1958), «Наташа» (1961), «Пути сообщения» (1966), «Открытое пространство» (1980), «Движение времени» (1985), «Старые фотографии» (1993)...

Сборник Астафьевой «Заветы» вышел через двадцать семь лет после того, как был составлен: держала цензура. Отец Астафьевой — Ежи Чешейко-Сохацкий — представитель польской компартии в Коминтерне; арестован в начале 30-х годов; покончил с собой в заключении.

У Британишского тоже обнаружили польские корни: мать — Франциска Осинская.

Генная память ожила: в 1968 начинают переводить с польского. Соответствующие премии и награды не перечисляю. Важнее двухтомник «Польские поэты XX века», переведенный и откомментированный Натальей Астафьевой и Владимиром Британишским и вышедший недавно. Это событие в польской и русской культурах.

Повторю услышанные мной в Варшаве слова: «Все, что происходит с вами в России, сначала происходит с нами в Польше».

Хочется ответить словами польского гимна, применив их к сегодняшней России: «Еще Польша не сгинела, пока мы живем».

НЕРВ

Что-то роковое чудится в русско-польском противостоянии: самый романтический из славянских народов — вечный наш оппонент и соперник. С детства в ушах песня: «Помнят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские наши клинки». Ничего себе: с псами-атаманами вровень! Хорошо еще, не слышны были нам ИХ песни того же, двадцатого года: «В руку — пика, сабля — в ладонь: боль-ше-ви-ка гонь, гонь, гонь!» Для нас белая Польша была — последний фронт гражданской войны, последняя линия обороны старого мира: вот прорвем — и освободительная красная лава разольется по всей земле. А для них?

А для них, наверное, — спасительный санкордон: задержать прущую с востока Красную орду, как когда-то Бабенберги и Арпады спасли Европу, задержав першую с востока орду Золотую.

Из исторической дали смотрят герои бесконечных тяжб: Стефан Баторий, укротивший неукротимого царя Ивана, Лжедимитрий, прахом вылетевший из пушки, польские разбойники, подстерегавшие в костромских лесах молоденького Мишу Романова. Застряла Польша в горле Империи. И Герцен на этом прокололся, и Пушкин с Мицкевичем ничего друг другу не доказали, ведя какой-то смутный, темный, молчаливый спор. «Спор славян между собою»... Живительный и опасный яд западничества вливается в наши жилы через польское жало — задолго до того, как заводятся среди наших составных частей и источников труды немецких философов, английских «экономов» и французских социалистов.

Остро входит в русский космос польская составная: «героицизна» и безрассудность, бешеная гордыня и воспаленное чувство личного достоинства, мало ведомое в наших текучих лавах. Опасно это чувство, но неотвратим и соблазн. «За нашу и вашу свободу!» — кричат польские повстанцы русским солдатам, заражая тех духом свободы и вольномыслия.

И точно так же метится польским клеймом первое либеральное вольномыслие нынешней уже эпохи, и Виктор Ворошильский методом «делай, как я» обучает ранних московских антисталинистов 1956 года, и Борис Слуцкий посвящает Владиславу Броневскому стихи, которым суждено несколько десятилетий прятаться в списках:

Покуда над стихами плачут,
Пока в газетах их порочат,
Пока их в дальний ящик прячут,
Покуда в лагеря их прочат,

До той поры не оскудело,
Не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не сгинело,
Хоть выдержало три раздела...

Разделов было не три, а четыре, но о четвертом мы не смели знать, мы и заикнуться бы не могли — так назвать драму 1939 года. Для нас там было все то же: столкновение двух лав, двух сил: красной и белой... то есть уже коричневой, фашистской, нацистской. Польский эпизод как-то сгинул в общей военной лавине, разве что смутным враньем потянуло от многословных оправданий по поводу катынских могил — но тысячи убитых потонули среди убитых миллионов.

А все-таки всплыли. Через десятилетия встали тенями из-под земли. Из-под лжи, из-под молчания — встала польская трагедия, жалом вошла в сознание молодых русских шестидесятников. Фильмами Вайды, Мунка, Кавалеровича. Это от них мы узнали, как бесстрашно — сабля в ладонь! бросалась польская кавалерия на танковые колонны вермахта. Для нас польская школа кино стала школой духа. Черные очки Збигнева Цибульского, прикрывшие боль, были для нас таким же символом, знаком опознания «своих» среди «чужих», как смешанные с краской, черные слезы Джульетты Мазины, как борода Хемингуэя. Не было бы русских шестидесятников без итальянского неореализма и всего того, что он значил, не было бы и без «польской школы», без польского дерзкого юмора, столь незаменимого в пору первых робких интеллигентских бунтов, без польской традиции вызова и непокорства, заставлявшей нас с наглым хохотом «пить за успех нашего безнадёжного дела».

Слуцкий писал Броневскому в том подпольном стихотворении:

Для тех, кто на сравненья лаком,
Я точности не знаю большей,
Чем русский стих сравнить с поляком,
Поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала
Заламывая руки в страхе,
Еще вчера она лежала
Почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
И наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
То, что будет,
Про это знать она не хочет.

Хочет. Хочет знать и знает многое, что и не снилось нашим мудрецам, надеявшимся придать человеческое лицо эпохе, доставшейся от отцов и дедов. Пути истории неисповедимы: вчерашний диссидент-электрик правит в Бельведере; вчерашние бунтари-романтики скрупулезно считают злотые. Иные же рэкетою добывают злотые в московских поездах.

Вчерашние московские инакомыслящие сидят в Кремле и изучают биржевые сводки, мучительно соображая, что им делать с огромной страной.

Новые люди решают новые проблемы. Но бьется в русском сознании беспокойная жилка: польское жало, польский нарыв, польский нерв.

«СКОЛЬКО ЖЕ, РОССИЯ, У ТЕБЯ МОГЛО БЫТЬ ДРУЗЕЙ...»

Пока в Гданьске громко отмечалось тысячелетие города, в Гдыне тихо прошло событие, не включенное ни в какие календари, но обозначенное с академической солидностью: Первые польско-российские Гроссмановские чтения. Сюжет — для «Хроники» литературоведческих «Вестников»; я не стал бы рассказывать о нем, если бы не одно обстоятельство: «Чтения» были устроены исключительно на деньги участников, преимущественно польской стороны. Когда подобные научные сессии финансировало социалистическое государство, это казалось само собой разумеющимся (впрочем, попробовали бы вы заставить социалистическое государство включить в свои планы изучение романов Гроссмана), но когда польские

русисты, что называется, «скидываются», чтобы обсудить с русскими эти романы, тут что-то новое. И не только в гроссмановедении.

Я-то думал, что Польша, получившая вольную в числе других бывших стран соцлагеря, рвется в объятия Запада и зашвыривает куда подальше все «советское» и «русское», тем более, что к тому есть причины, уходящие куда глубже и 1981, и 1944, и 1920 годов. Оказывается, все не так просто. Может, какие-то «властные структуры» и рвутся, тем более что и Запад натовскими структурами «рвется» на Восток. Но интерес к русской культуре, который в нынешней ситуации не только сохранился в польской интеллигенции, но и усиливается, — честно сказать, меня потряс.

Положим, тут и корпоративное. За годы народной власти в Польше возникла мощная школа русистики; даже и после смерти Анджея Дравича эта школа остается одной из сильнейших в зарубежье. Так легко эти люди не сдадутся на милость побеждающего рынка.

Но дело не только в этом. Есть причины поглубже и посуровее забот литературоведческой русистики. Есть геополитическое поле, с которого сходят гигантские «имперские» структуры; в этом поле народы начинают искать новых путей и связей друг с другом. Там, где раньше шло «перетягивание каната» между двумя «системами», — летают «паутинные», внешне хаотические связи «всех со всеми». Хаотичность этих круговых контактов — мнимая. Будущие «фронты» брезжат в тумане наступающего века. Объединенная Европа не потерпит культурного диктата ни Америки, ни какой-либо другой внешней силы. Но, сплачиваясь, она в конце концов обнаружит себя под германской культурной крышей; эта перспектива куда более реальна, чем атлантические радуги. То, что поляки вновь поворачивают сердца к России, говорит об их исторической интуиции, потому что любой ближний расчет тут бессмыслен.

Участники гдынских «Чтений» получили свеженький номер таллинского журнала «Вышгород», который, (тут подхвачена эстафета у журнала «Родина») весь посвящен Польше. Содержанием его фактически стал русско-польский культурный диалог.

Здесь — Анджей Дравич, успевший написать статью об образе русского в польской словесности XX столетия («Пропасть, которая во мне болит и жжет»). И Виктор Хорев, отвечающий ему статьей о польской теме в русской литературе XX века («Если бы мы все были такими...»). Души тянутся друг к другу, пытаюсь снять боль.

Хорев опирается на созвучный польскому опыту «левый край» русской (советской) поэзии оттепельной поры. Польша — свет в окошке! «Да здравствуют поляки, рабочий и юрист, когда дойдет до драки, — пойди у них учись!» (Интересно, автор этих стихов повторил бы такое сейчас, когда у нас «драка» висит в воздухе?). Конечно, не только так воспринимали Польшу наши шестидесятники; к стихам Слуцкого, Галича и Корнилова надо прибавить и ароновское: «Когда горело гетто...» Так что статья Хорева — только первый шаг в осмыслении польско-русского взаимовглядыванья послесталинской поры. Но это шаг важный и своевременный.

И — конечно — творческое завещание Анджея Дравича, великого русиста и филолога, ученого мирового масштаба, значение которого (и для

нас, русских) мы вполне осознаем, когда выйдет у нас его книга «Поцелуй на морозе». И когда завершится затеянный и начатый Дравичем коллективный труд «История русской литературы».

А пока — стихотворение в прозе, оставшееся в его бумагах и переведенное Веславой Ольбрых:

Сколько же в тебе, Россия, наряду с уродством и низостью, подлинной красоты, если ты у своих жертв вызываешь более сложные чувства, чем ненависть, и более богатые, чем стремление к мести?

Сколько же, Россия, у тебя могло быть друзей, если бы ты их так часто не истребляла?

Какие же добрые у тебя могут быть соседи, если ты не будешь их ошастливливать!

Может, ты когда-нибудь этому научишься и перестанешь быть грозой народов?

Написано в 1982 году в камере для «интернированных», куда Дравича упрятали на время «военного положения». Он просидел тогда почти год. Впрочем, у него была возможность читать, писать и даже преподавать в устроенном «зеками» Университете культуры. Может, особенность польской тюрьмы, а может, черта времени...

Он хорошо понимал, какую Россию любит.

Хватило бы нам сил быть такой Россией.

КТО ПОДСУНУЛ РОССИИ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ»?

Краковский ученый Иозеф Смага прислал мне письмо:

«Дорогой Лев Александрович!

Поскольку знакомство с очередным номером „Дружбы народов“ всегда начинаю с Вашей рубрики „Эхо“, сюрпризом оказалась фраза: „Это — к вопросу об уважении“. В данном случае речь пойдет об уважении к фактам.

Во-первых, слово „интеллигент“ („интеллигенция“) — польского изобретения (хотя первоисточником здесь, как обычно, является латынь), и от нас оно перекочевало в Россию в середине прошлого столетия. От нас именно позаимствовали его русские псевдоизобретатели (долго в этой роли выступал П. Боборыкин, потом его сменил Жуковский...).

Отсюда, во-вторых: понятие интеллигенции в Польше одно из самых распространенных, хотя польский интеллигент, по смыслу этого слова, мало похож на русского. Странно, что вы этого не знаете...»

Спасибо, пан Иозеф, теперь буду знать.

Скажу в свое оправдание, что В. Черных в фундаментальном и новейшем Этимологическом словаре (которым я, естественно, пользовался) хотя и перечисляет все западнославянские аналоги слова «интеллигенция», в том числе и польский, но не выделяет последний в качестве источника соответствующего русского понятия. По традиции считается, что в русский

язык из латыни слово пришло по немецкому мостику. Об этом свидетельствует первый из двух соучастников этого дела, которых мой уважаемый оппонент именует «псевдоизобретателями». Расскажу об этом чуть подробнее.

Петр Боборыкин, в начале XX века объявивший обществу, что это именно он за сорок лет до того пустил слово «интеллигенция» в русскую журналистику, уточнил, что он придал ему «то значение, какое оно приобрело... у немцев».

Тут существенны два акцента. Во-первых, речь, заметьте, сразу идет не о том, откуда пришло в Россию слово, а о том, какое ему в России придали значение. И во-вторых, откуда оно пришло... то есть, не слово, а значение.

В Германии (и только в Германии, как уточнил Боборыкин) им стали обозначать слой общества, то есть придали термину, как сказали бы теперь, социокультурный смысл.

В России оно в дальнейшем приобрело смысл совсем особенный, но об этом чуть ниже, а пока — о приключениях слова в России. П. Боборыкин счел себя его «крестным отцом» совершенно искренне и не без оснований, потому что именно он первым употребил его как журналист в общедоступной прессе. Боборыкин не знал (потому что иначе он, наверное, рассказал бы об этом), что в частных разговорах «русских европейцев» прежних поколений это слово вполне могло иметь хождение — в качестве иностранного, но понятного в своем кругу. В узком кругу естественно было сказать «он настоящий бонвиван», или «это такой денди», или «что за филистер»... Наверное, можно было сказать «тут собрана вся интеллигенция Петербурга», что и сделал Лев Толстой, описывая в «Войне и мире» времена, отстоящие от Боборыкина еще лет на шестьдесят. Правда, Толстой вставил это слово в текст романа лишь при переиздании, и как раз тогда, когда с подачи Боборыкина оно вошло в литературный оборот.

Ни Боборыкин, ни Толстой, разумеется, не знали (и не могли знать), что за тридцать лет до того, а именно в 1836 году, слово «интеллигенция» употребил в своем дневнике Жуковский. Он описывал очередной питерский пожар: сгорело несколько сот человек, а через три часа в доме рядом с пепелищем устроили бал, и танцевали, и смеялись, и бесились до трех часов ночи, как будто ничего не случилось. Так вот, эту бесящуюся публику Василий Андреевич описал так: «кареты, наполненные лучшим петербургским дворянством, тем, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию».

Запись Жуковского была обнаружена лишь недавно, в 1994 году, томским ученым А. Янушкевичем.

Историк Сигурд Шмидт комментирует текст Жуковского так: скорее всего поэт услышал слово «интеллигенция» от Александра Тургенева, а тот привез его из Парижа, а в Париже как раз в то время Бальзак «возымел идею организовать партию интеллектуалов с печатными органами», где он мог бы публиковаться. Эту партию Бальзак предполагал, как пишет С. Шмидт, назвать «партией интеллигентов», что засвидетельствовано в письме классика к Эвелине Ганской от 23 августа 1835 года.

Об этом письме Александр Тургенев знал, я думаю, не больше, чем Боборыкин о дневнике Жуковского. Однако примем во внимание, что в частных текстах фиксируется обычно то, что уже имеет хождение в частной жизни. И Сигурд Шмидт с полным основанием делает вывод, что в 1830-е годы (до есть за 30 лет до Боборыкина) слово «интеллигенция» могло залететь к нам не только из немецких философских словарей, но и из новейшей французской публицистики. В самой Франции оно, правда, не прижилось, там предпочли слово «интеллектуалы». У нас же именно «интеллигенцию» подхватили и, возможно, до Жуковского, не говоря уже о Боборыкине. Толстой-то ведь не потому вставил это слово в «допожарные» сцены «Войны и мира», что его Боборыкин вразумил; Боборыкин, возможно, слово напомнил, но наверное, оно пало у Толстого не на пустое место: что-то отозвалось в памяти.

На этом выявленный путь «интеллигенции» в Россию обрывается, и ниточка связей уходит в туман.

Иозеф Смага считает, что слово это — польское и в Россию пришло из Польши. Может быть, документы подтвердят и это. Вещь вполне правдоподобная: известно, что прежде, чем царь Петр прорубил окно в Европу, нечто подобное проделал, правда, без такого треска, его тишайший родитель, и если при Петре Алексеевиче продувало нас преимущественно из Голландии, то при Алексее Михайловиче западные веяния шли через Польшу.

Возможно, я недостаточно внятно выразил свою мысль в том тексте, который так внимательно прочел Иозеф Смага: у меня шла речь не о происхождении слова (которое и в Польше вряд ли было «изобретено», а скорее транспонировано из латыни), а именно о том жизненном наполнении, которое в России придало этому слову совершенно новый смысл, и потому во французский язык оно вернулось уже в качестве русского.

Дело в том, что именно в России в XIX веке слой интеллектуалов превратился, по замечательной мысли Георгия Федотова, в «религиозный орден с отрицательным Богом». И появилось это мучительное чувствилище, этот тип безопорного одухотворения, это братство скитальцев, ищущих и не находящихся себе места, эти бунтари, которые фатально борются против государственной власти и уповают на народ, а народ смотрит на них с болезненным сочувствием или добродушным удивлением, иногда завидуя интеллигенции за то, что она такая умная, а иногда ненавидя ее за это.

Если мой уважаемый краковский собеседник полагает, что в Польше может быть нечто подобное, я готов выразить ему полную солидарность.

...ЭСТОНЦЫ

ПОСЛАНИЕ К ЭСТОНЦАМ

в ответ на анкету журнала «Таллинн» (1990)

— *Как вы относитесь к процессам, происходящим в Эстонии?*

— Я привык смиряться с неизбежным.

— *Самые свежие соприкосновения с эстонской культурой (новинки литературы и т. д.)? Они вас порадовали или огорчили?*

— К сожалению, сейчас не до литературы: все вытеснила политика, газеты. Включая и эстонские. Хочется «понять обе стороны». Радости мало.

— *Что вам представляется наиболее важным в сегодняшней политической жизни республики? Самые острые болевые точки?*

— Неэстонцы в Эстонии. В этом — узел проблемы, в этом вообще — узел всех подобных проблем. Ситуация для русских, живущих за пределами России, драматична, и не по внешне-юридическим параметрам, которые можно и отрегулировать, а по внутренней двойственности положения, которое не убрать: такие люди, находясь «на отшибе», в «анклаве», в «диаспоре», не могут ощущать себя вполне органичными и активными строителями русской культуры, но не могут стать и «вполне эстонцами». Их внутренняя задача была бы полноценна, если бы жизнь строилась на общегражданских, общегуманистических ценностях, но как только в основу жизни ложатся ценности национальные, такие люди («маргиналы») оказываются заложниками двусмысленности. Мне тревожно за них, мне больно за них, и очень хорошо понимаю их состояние. Я думаю, что проблема анклава (кольцо в кольце: карабахские армяне в кольце азербайджанцев, но и шушанские азербайджанцы в еще более тесном кольце карабахских армян) — главный камень преткновения на пути национального самоопределения. Можем ли мы надеяться, что в условиях идущей мировой интеграции это чересполосье наций не будет нарастать? Вряд ли. Боюсь, что оно все равно будет нарастать. В свете этой перспективы легко представить себе настроение таких людей, как я, — выросших на идее интернациональной культуры.

— *Какие вы видите перспективы в решении конкретных проблем? Каким вам видится будущее республики?*

— Проблемы решаются на местах. Будущее республики — дело людей республики. Я — о прошлом скажу два слова. Эстония в моей духовной судьбе фактор неотменимый. «Единственная Европа», свет в окошке моего зажатого поколения. Моя перовая крупная журнальная статья — об эстонских романистах: о Сирге, Крустене, Семпере, Хинте. Мое духовное самоопределение неотделимо от контакта (иногда спора) с опытом Ветемаа, Траата, Пезгеля. Яан Кросс веха в моей духовной судьбе. Промет — частица моей жизни. Мне тревожно от того, что этот диалог может стать анахронизмом. Я знаю, что ответят мне мои эстонские товарищи: мы не от

тебя защищаемся, ты — как был нашим собеседником, так и останешься. Верно, я — останусь. Но ведь и я — не в вакууме, и я — отпрыск времени, и я — не могу просто выбросить из души накопленный за десятилетия опыт общения, исходящий из «советской общности». Будет что-то другое? Не хуже? Может быть. Но — другое. Я в высшей степени понимаю эстонцев. Они не могут и не обязаны выдерживать ту ношу, ту непомерную, «русскую» душевную тяжесть (от громадности государства, от безграничности претензий и разочарований, от типичного для русских игнорирования граней и границ), которую и мы-то, россияне, волочим на пределе сил. Но нам это — от бога, а эстонцам — за что?

Все понимаю. И все-таки, как при любом прощании — грустно.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ УЗОР

Вот самый обидный для эстонцев эпизод из повести Вийви Луйк «Красота истории».

Приезжает к ним гость. Обращается на «вы». Извлекает из глубин памяти слово «Эстония». Никак не может ничего припомнить, кроме поблекшей иллюстрации из Брокгауза и Ефрона.

На иллюстрации мужчины в шапках-ушанках и женщины с корзинами. Женщины в больших платках и полосатых юбках, из-под юбок видны толстые, в раскорячку, ноги, а глаза у женщин голубые, как летние цветы. «Крестьяне (в том числе мызная обслуга и различные ремесленники) в Эстонской и Лифляндской губерниях. Духовная жизнь небогата».

На основании этих воспоминаний гость полагает, что эстонцы все еще освещают свои жилища лучиной и шьют одежду из овечьей шкуры. Оглядевшись, он облегченно вздыхает, не увидев ни корзин, ни шапок-ушанок, ни платков, ни лучины.

Неплохо? Но погодите вскакивать, не спешите протестовать, не листайте Брокгауза и Ефрона в поисках аналогичного этнографического очерка о русских, где их деревенский быт был бы описан с такою же дикой непосредственностью.

Во-первых, гость в Эстонию пожаловал не из России. Он из Швейцарии. Так что мы в этих мыслях на сей раз, слава богу, не повинны.

Во-вторых, никакой враждебности в намерениях гостя нет, и автор это знает. Его сын, еврей, живущий в СССР (так это тогда еще называлось) и рвущийся на Святую Землю сквозь тенета ОВИРа (так это тогда еще происходило), — имеет пылкий роман с эстонкой («еврею вдруг понадобилась эстонка!» — как бы пожимает плечами рассказчица, но не сомневайтесь: там таки любовь). Будущий свекор, приехавший знакомиться с будущей снохой, и в мыслях не держит обидеть жителей ее родного Вильянди.

И, в-третьих, дело тут совершенно не в сюжете. Чтобы рассказать, как бедный еврей спасается от военкомата и как предусмотрительные друзья устраивают, чтобы в Москве его учетную карточку переложили из одного ящика в другой, — вообще для всей этой истории с отъездом не нужно столько попутных мерцающих описаний, столько дымчатых пейзажей,

столько эстонского воздуха вокруг. Вийви Луйк, собственно, и не пишет историю любви и отъезда. Она пишет — эстонский воздух.

О, мы узнаем эту северную прозу, эти скупые штрихи, это гуденье пчел, мельканье ласточек, эти тонкие узоры на холодном стекле. Мы помним эту острую графику — неповторимое эстонское присутствие в том, что еще недавно называлось «многонациональной советской литературой». Маленький роман, за которым угадывается бездна. Три десятилетия русская проза училась лаконизму у эстонской. Теперь все это кончилось. Только штрихи растворяются в сумраке, да звуки доносятся издали, да запахи тают. «Запах незнакомых медоносных растений и запах крови сквозь кожу».

Одно сквозь другое. Все зыблется и перетекает: можно обменяться именами, телами, душами. Реальности нет — есть знаки, тени. Ты смотришь на куст черемухи, но это призрачность, а реальность где-то далеко, в Москве, в военкомате, в Кремле, в неведомом чужом мире, где какой-то Генсек решает двинуть танки на Прагу. Или еще куда-нибудь. Синдром 1968 года — «сладкий ужас», сквозь который видит мир эстонка, родившаяся в 1946-м.

Та самая девочка, которая в 1956 году идет по тропинке; на лице узор из листьев; в руках — «Русский лес», который велено прочесть (а не хочется).

Та самая девушка, первые воздушные стихи которой в 1964 году воспарили в свет из кассеты «Молодых авторов».

Та самая женщина-писательница, чей прелестный «Леопольд» в русском переводе бывал читан в 80-е годы вслух матерями детям в Москве и Ленинграде.

Что осталось — так это воздушность стиля. А смысл другой. «Что за люди живут в этих призрачных селениях, остается загадкой». Потому что жизнь выморочена, и смысл жизни подменен. Смысл определяется военкоматами за тридцать земель. Нет ни вещей, ни предметов — есть знаки, символы. Коды. Или команды. По телефону нельзя употреблять такие слова, как «книга», «бумаги», «документ», «чемодан», «письмо». Париж надо называть Киевом, а Нью-Йорк Москвой. Предмет — это не предмет, это весть о чем-то. Или антивесть: шутка. «Но как обратить в шутку значение слова „эстонцы“ в энциклопедии? А парад на Красной площади — тоже шутка? Или русский танк на Вацлавской площади?»

Исчезающий узор реальности фиксируется ледяной иронией: «Неужели эти деревянные дома, пыль и босьяки, собирающиеся за будкой с квасом, и есть Эстония?»

Однако когда отпущенный на Святую Землю Лион спрашивает: «Ну, так как? Поедешь со мной?» — и у героини нет сил ответить, она, собрав все свое северное упрямство и мстя ему за свою едва не исчезнувшую родину, только и находит силы отрицательно качнуть головой. И на этом история кончается.

Эстония говорит: «нет». Не надо вашей любви, союза, общего пространства. Ничего не надо. Оставьте нас с нашими призрачными домами. Зачем еврей эстонка?

Что с того, что Лионов папаша не из Москвы приехал, а из Швейцарии! Все равно чужой.

Так ведь для него и его сына лес в Вильянди — такая же призрачность («весть», «шутка»); он в Эстонии — «как оказавшийся в лесу книжный шкаф», и тут вроде ни при чем брежневские танки и автоматы Калашникова. Из Иерусалима Эстония так же малореальна, как из швейцарского кантона Шургау. А из Стокгольма?

«Стокгольм так же далеко, как Москва. Но про Москву известно, чего оттуда ждать, время же Стокгольма еще не пришло».

А что, придет?

Как тогда будет насчет «мызной прислуги», «полосатых юбок» и «шапок-ушанок»?

Я, конечно, не собираюсь ни на чем «ловить» Вийви Луйк. Потому что она сама абсолютно все знает.

Я просто с грустью вчитываюсь в ее пленительную прозу. И эта грусть прощальная.

А насчет шапок — вот вам и объяснение, тонкое, как «праздник облаков», и неостановимое, как «ветер поднебесья»:

«Народу полно. Темные толпы людей... При поверхностном взгляде кажется, будто люди одеты в темное и теплое, словно все они в драповых пальто, меховых шапках и сапогах. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что меховых шапок никто не надевал и что вместо драповых пальто на людях светлые, довольно тонкие костюмы или пестрые платья. Сапоги же оказываются обычными уличными туфлями. Так что упрекнуть народ не в чем».

Как славно. И нам, конечно же, не в чем упрекнуть писательницу. Она выговорила свою боль, свою обиду, копившуюся... нет, не пять десятилетий советской жизни, больше: все «семьсот лет рабства», выпавшие на долю Эстонии. Она выговорила свое «нет» — преодолев любовь и память. Бог знает, сколько сил понадобилось ей для того, чтобы произнести это тихое «нет». Так что для устойчивости пришлось на какое-то мгновение опереться на Брокгауза и Ефрона.

«У СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ»

«Так кем же я был, спросил он у себя в зеркале, и кто я есть?»

(Мати Унт. Текст и труп // Новая эстонская новелла. 1990-е годы. Библиотека журнала «Таллинн», 1999).

Мати Унт венчает антологию. В этом есть красота «параболичности». Когда-то — enfant terrible новой эстонской прозы, сенсационный школяр-дебютант, смельчак из младших «шестидесятников», освоивший «модернистское психологическое направление» в пору, когда литература еще только начинала «понемножку тайком высвобождаться из цепких пут

соцреализма», он же к концу столетия — патриарх свободной словесности, зубр постмодернизма, ветеран той «могучей кучки», что ознаменовала когда-то своим появлением возрождение новой эстонской прозы.

Беру характеристики — из статьи Каяра Прууля, заключающей антологию. Там же — определение «золотого» десятилетия, когда «скрытое сопротивление» эстонской литературы «режиму» мобилизовало в ней мощные творческие силы. Подхватывая эту словесную игру, готов поговорить о том, как назвать следующий за «золотым» период, то есть 90-е годы, когда «режима» не стало и творческие силы получили полную свободу.

Это, собственно, и интересно в антологии 90-х, где новеллы эстонских авторов разных поколений расположены в хронологическом порядке, начиная с «Дамы рококо» Майму Берг (1991) и кончая «Текстом и трупом» Мати Унта (1998). Логично было бы так и проследить ход развития: от дамы до трупа. Однако я склонен начать с «конца». С финальной коды. С того, чем увенчалось свободное десятилетие. Результат в данном случае позволяет лучше понять вектор движения. Ибо движение не прямо, и векторов много... то есть, как минимум, два.

И героев у Мати Унта — двое. В соответствии с новейшими постмодернистскими заморочками, они запрограммированы условиями литературной игры и названы в начале текста: журнал «Лооминг» в ознаменование своего 75-летия объявил-де суперпроект, то есть конкурс на детективную повесть, где сыщик должен весить не менее ста килограммов и быть лицом «некоренной национальности», а преступник — напротив — должен быть лицом «коренной» национальности и... как бы самим читателем (то есть лирическим героем, он же alter ego автора).

То, что Мати Унт лихо справился с этим формальным заданием, неудивительно: черты веселого выдумщика были заметны у него еще с тинейджерских времен. Удивительно другое: что преступник и сыщик перекочевали в законсервированном виде из тех времен в эти.

Преступник... то есть сам писатель, злоумысел которого «получает психологическую подпитку» из «грамматики и фонетики» (формулировка тяжеловатая, у нас в России это называлось короче: подтекст), — писатель в рассказе Унта устремлен воображением на Запад. Вообще — «вовне». В райские кущи зарубежья, туда, где в Македонии зреет анисовка, в Пловдиве благоухает шопский салат, а лучше всего — туда, где сияет что-нибудь германское. Что именно герой будет делать за границей, он не знает. Но верит, что благодаря западным свободам как-нибудь там «выкрутится». Знаменитая эстонская самоирония сильно смягчает наивность этого стремления, но вектор зафиксирован точно: «Ach, Eurora». Это главный ориентир, ориентир номер один.

Зафиксирован и ориентир номер два, вернее, «минус один». Это — тот самый стокилограммовый «неэстонец», который нашего героя выслеживает и его западноевропейские интенции (вполне, как мы видим, виртуальные, то есть воображаемые) готовится пресечь... Гэбэшное чудовище. Советский мутант. Имперский цербер...

Я форсирую определения, чтобы порезче обозначить вектор. Мати Унт работает тоньше: у него это просто «Сашок»... На всякий случай сказано: «Хотя на родине Эрго никто не притеснял, но он был уверен, что когда он повзрослеет, его запросто могут начать притеснять». Ergo: опасность тут тоже как бы воображаемая, виртуальная и отчасти, как видим, выдуманная, но...

...Но в итоге десятилетнего независимого развития — она все еще продолжает тиранить текст! Это уже предмет для раздумий: за десять лет так и не освободиться от кошмара... Мати Унт когда-то блестяще сформулировал кодекс поведения эстонцев в условиях советского режима: смотрите сквозь «них»! Так, словно «их» здесь вообще нет!

Хорошо. Теперь их действительно нет. В реальности. В эмпирическом повседневно.

Но почему «они» так неистребимы в тексте, в сознании, в воображении? Почему «они» застряли там стокилограммовой массой?

И еще: почему «они» только и заняты тем, что ждут, когда Эрго вздохнет: ах, Европа! — и угробят если не самого Эрго, то его «текст»!

А может, тут не только текст существен и даже не подтекст? А есть еще и контекст? Притесняли или не притесняли кагэбэшники писателей (притесняли, конечно!), тиранили или не тиранили творцов держиморды от соцреализма (тиранили, вестимо!), но был ведь и другой масштаб у происходившего: так или иначе эстонская советская литература вписывалась в контекст всей советской литературы, а советская литература так или иначе входила в контекст мировой литературы.

Кончилось все это.

Стратегическое направление Эстонии времен независимости — смена контекста.

Каяр Прууль формулирует так: после полувекового отсутствия Эстония нащупывает свое место в западном культурном пространстве, а пространство за это время «до неузнаваемости изменилось».

Я сформулирую по-своему: в советском культурном контексте эстонцы были востребованы именно как эстонцы, я это по собственным ощущениям знаю, я сорок лет занимался эстонской литературой в пределах советского многонационального древа; никакой официальной имперской сверхзадачи я знать не хотел, я знал другое: Прибалтика — свет в окошке, Петром прорубленным, единственная доступная нам Европа, западный ориентир в евразийском поле.

Разумеется, это я так чувствовал. Разумеется, Мати Унту в Таллине было труднее, чем мне в Москве. И, разумеется, этот контекст (советский, «имперский») теперь утрачен. И ладно.

Но почему десять лет спустя после исчезновения хомута, когда выросло целое поколение, которое вольно культивировать любые произрастающие «где-то в Европе» ценности: «от гомосексуализма до христианства» (вновь цитирую Каяра Прууля), — почему опять тут как тут — «Сашок» и старый советский контекст (хорошо: пусть антисоветский), который, оказывается, так и не выветрился, не вытеснен европейским? Или

что-то не то с этим новым поветрием, с новым вектором, и поэтому от старого никак не отвязаться?

Витруозный Мати Унт нигде, между прочим, не говорит, что многопудовый истязатель его души — русский. И это не хитрость, это, я уверен, врожденная тактичность, или, лучше сказать, культурный такт, свойственный, кстати, всем авторам эстонской антологии: они нигде ни словечком не задевают русских национальных чувств. Тем интереснее понять, что же их ранит и гнетет в этих «пришельцах».

Да именно то и гнетет, что — пришельцы.

«Эти соседи поселились в нашем доме после войны, для них... было придумано специальное слово: печора», — пишет Майму Берг в рассказе «Дама рококо», — и я могу оценить не только фонетическую (и географическую) точность «попадания в образ», но и такт новеллистики: она не уточняет национальность новых соседей, хотя у читателя не может быть сомнений в том, кто эти люди: отец семейства, угрюмый армейский капитан, напившись, выходит в сад и начинает палить из табельного оружия... Но опять-таки, оценим и другую сторону конфликта: мать семейства, тетя Маруся, с воплями выскакивает в сад и прикрывает от бузотера детей, в том числе и эстонских. После чего пьяный дурак, в полном соответствии с «национальным имиджем», багровея от ярости, прицеливается из револьвера в собственную жену... но уже не стреляет, надо отдать ему должное. И автору, конечно.

Рассказ Майму Берг написан в самом начале 90-х, когда только-только ушла «печора» из эстонского «сада» и чувства детей едва освободившейся республики колебались между тайным презрением и еще не преодоленной опаской.

«Люсю звали Людмилой, — наивно комментирует малолетняя повествовательница и с еще более наивным видом уточняет: — Людмила Попкина».

Образ капитана Попкина, фирменная русская дурь которого окончательно удостоверяется скоморошьею фамилией, артистично завершен. Правда, эта фигура стилистически сильно расходится в рассказе с другой представительницей «печоры» — расфуфыренной дамочкой в стиле рококо (я думаю, тут по широте натуры подошло бы и «русское барокко»), так что налицо некоторое раздвоение контекста. Финал же рассказа вовсе выламывается в мелодраму: дамочка валяется в луже крови, убитая каким-то забредшим к ней знакомым сумасшедшим, видимо, тоже «печорским». Такой финал выдает у рассказчицы непреодоленный страх перед пришельцами, который в данном случае оказывается сильнее знаменитого эстонского самообладания (и самоиронии).

Два года спустя, в 1993, Март Кивастик проявляет несколько большую определенность чувств: его юные героини перелезают через забор, за которым находится военная радиостанция, и идут в гости к солдатам. Солдаты все «на одно лицо, и у всех волосатая грудь». Такая волосатая — «похожая на мочалку». В общем, обезьянник.

Этот «зверский» страх перед пришельцами доведен до гомерических пределов (и тем самым психологически «снят») у Эне Михельсон в рассказе

«Содомит». Выпускница педагогического института готовится ехать в деревенскую школу. Рассказ написан в 1996 году, а действие происходит в августе 1968-го: «предгрозовый воздух пустеет от победного грохота танковых гусениц... ничего более страшного (чем ввод войск в Чехословакию — Л. А.) не могло и случиться».

Однако более страшное, или, пусть так, более страхолюдное, случается, и немедленно: на мызе рождается теленок... с человеческими руками. «Огромные ладони плохо держат его, и он жалобно мычит». Выведя повествование к этой сюрреалистической кульминации, рассказчица предлагает нам определить, кто отец теленка, и добавляет, что сама не может это сделать. Видимо, я, читатель, должен ей помочь. Поскольку главным (виртуальным) героем новеллы является «красивый мужик с пышной шевелюрой», который, в отличие от своего предшественника, не пытался стучать в ООН «снятым с ноги ботинком», то по законам художественной логики я начинаю подозревать, что «отцом теленка» является этот самый красивый мужик, а не исключено, что и его дуравый предшественник, ибо, как убеждена выпускница педагогического института, «вожди этого громадного государства становятся как бы родственниками».

— На помощь, насилуют! — вопит, бегая вокруг пруда, представительница малого народа, изнасилованного громадным государством. А рассказчица невозмутимым тоном поясняет: ее насилует комиссия по распределению: ужасно нехота ехать работать учительницей в деревню...

На этом неожиданном повороте от содомизма к реализму мы завершим историю преодоления контекста советско-российского и перейдем теперь всецело к контексту демократически-европейскому.

Тут наиболее красноречивый свидетель — Эмиль Тоде, самый переводимый на Западе эстонец послесоветского поколения, соперничающий сегодня в этом отношении с самим Яном Кроссом.

Только в этом отношении. Остальное несоединимо. В то время, как Кросс погружается памятью в советскую лагерную Азию, Тоде душой пребывает «где-то в Европе». Рассказ «Кости холода», написанный в 1996 году, через три года после сенсационного романа «Пограничье» (пограничье — не только между Западом и Востоком, но и между другими малосовместимыми, однако совмещаемыми вещами, например, между гомосексуализмом и христианством, что критики оценили как достижение духа), — рассказ представляет собою монолог женщины, разрывающейся между «уехать» и «остаться».

С восточным направлением героиня разделяется просто: «Это ложь, будто я туда не ездила. На самом деле я ездила и в Ленинград, и в Москву, и даже в Баку... Ходила в Эрмитаж... Там целые залы старых парадных портретов, на них краснощекие мужчины, и все будто бросаются куда-то, и краснощекие женщины, которые за всю жизнь будто и с места не сдвинулись. В залах бродило множество советских людей».

Последнее наблюдение (абсолютно верное) кладет предел восточному любопытству героини и разворачивает ее на Запад, ибо именно туда «бросаются» из Эстонии все ее друзья.

«Вероника побывала в Париже, а потом говорит:

— Ты даже не представляешь, там все есть, о чем так много говорят, все эти знаменитые места, которые мы видели на картинках...»

Замечательное место — по точности интонации и по безошибочности того ракурса, в котором существует для героев Тоды мечтаемый Запад: они должны «убедиться, что все это существует на самом деле». То есть: Запад — это некая виртуальная картинка, в которую надо реально вписаться. И в тот момент, когда герои наконец убеждаются, что «все это» существует «на самом деле», они понимают, что — не для них. Это горьковатое прозрение определяет итог раздумий героини Тоды. Вокруг нее все «бросаются куда-то», а она решает, что «не сдвинется с места». Она останется здесь. В этом ледяном холоде. У этой остывшей печки. У этого заиндевшего окна, из которого видна замерзающая промоина около канализационной трубы...

Кстати. У новой эстонской прозы, насколько я могу судить, две сквозные краски, два излюбленных лейтмотива. Холод и нечистоты. Замерзающие члены и болевающий живот. Второе мы хорошо почувствуем чуть позже, говоря о Пеэтере Саутере. У Эмиля Тоды — первое: апофеоз озноба.

За ночь утки вмерзают в лед, утром их, полуживых, рвут собаки.

«Разве меня это касается?» — спрашивает героиня. И сознается: да, касается. Потому что она сама — «вроде такой же утки, попавшей на зимовку в эту квартиру, в этот город, в эту страну».

Ледяное ощущение охватывает душу. «Оставьте меня одну! — кричит. — Мне надо подумать...» И — «ни одной мысли». Какой-то самообман — «побыть наедине с собой». Ни на кого ничего не свалишь: ни на «красивого мужика», ни на его дуравого предшественника. «Мы сами выбираем свою судьбу, как и эти утки, — вмерзание в лед и собачью пасть», — говорит героиня Тоды. В мужестве мысли ей не откажешь. Однако помочь ей хочется. Хотя бы советом.

Беги же отсюда!

Куда?

В Нью-Йорк!

Да что-то не получается.

«...Если б я туда попала, то и себя не узнала бы, встретила бы с собой, как с чужим человеком, и тогда поглядела бы, какая я есть...»

Интересно, может ли человек понять, какой он есть, если ему не к кому «броситься»?

«Вуаль... сорвана...» — при слове «вуаль» я вспоминаю, что героиня Тоды — миловидная женщина, которой впору было бы надеть шляпку и съездить к кому-нибудь в гости.

«Вуаль... сорвана... под нею сверкающий лед и холодная бездна».

Это сказано о ветре, сорвавшем с деревьев листья.

Вглядывание в бездну — мотив, порожденный когда-то духовной драмой русской интеллигенции, — становится в эпоху постмодерна одним из

ходовых при перебросе воображения из щели в щель. Эмиль Тоде на уровне: виртуальность и виртуозность.

А реальность?

Угадывается.

В антологии новой эстонской новеллы есть однако два «матерых реалиста»: Яан Кросс и Матс Траат. Тем интереснее прочесть их в предложенном контексте.

Яан Кросс с большой новеллой «Князь» (из лагерных воспоминаний) естественней читался бы не в пределах эстонского постмодернизма, а в ряду с Шаламовым, Солженицыным, Домбровским, — прежде всего по мощи и глубине исторического дыхания, ощущаемого в тексте. Но и в новейшей эстонской новелле он помогает понять кое-что. Хотя бы от противного.

Действие рассказа начинается «во время дневной раздачи на 13-м лагпункте в Инте... под дождем, переходящим в снег», и продолжается «в глубокой Сибири», на кирпичной фабрике, по колено в «глиняно-песочном растворе» («глаза все время залиты потом»). Так что налицо оба лейтмотива: холод и грязь, которые, по законам художественной «абсорбции», должны конденсироваться. Однако происходит обратное: номинально холод и грязь обозначены, но конденсируются не они; напротив, в рассказе все пышет жаром, потому что центр тяжести не здесь, не на лагерной раздаче, не около смесительных чанов и вообще не в зоне. Центр тяжести и подлинный контекст для этих зеков, мыкающих у хлебрезки и надрывающихся у кирпичного лотка, далеко отсюда. И если до ареста эзк считался в Польше «князем», был женат на немецкой барышне из Курляндии, потом жил в Нью-Йорке, держал фирму деликатесов на 4-й авеню, и угощались у него король Египта Фарук, болгарский престолонаследник и сын посла США в Москве Кеннеди, — то при всей фантастичности этого контекста (Кеннеди был послом не в Москве, а в Лондоне, про Фарука и престолонаследника не скажу, но легенду уважаю) — так вот: герои Кросса живут именно «там». На 4-й авеню. Или в Варшаве. Или в Курляндии. И если бригадир эзков до посадки был профессором Харьковского университета, так он и остается и там — профессором. И если в той же бригаде вкалывает бывшая грузинская пианистка, так она таки грузинская пианистка и ничто другое! И если ссыльный учитель рисования в местной начальной школе раньше заведовал отделом в газете «Правда», — так душой он там, в Москве, а не здесь, в Коми.

«Знаете, полная луна здесь, в Коми, поразительно та же самая и вместе с тем поразительно другая, чем та, которую я привык наблюдать с террасы моей виллы в Браиле...»

Ни Запада, ни Востока не извлечешь у Кросса из этой системы координат; он по ним и не ориентируется. У него другой масштаб. Есть мир, единый мир, целостный мир. Но в этом мире все спутано и сдвинуто. Роли подменены. Координаты сбиты, вывернуты.

И этот «выворот» контекстов — та реальная боль, которая роднит Яана Кросса с молодыми эстонскими новеллистами, пытающимися найти свое место в ледяной пустыне постмодерна.

Своей дорогой выходит к этому перекрестку и Матс Траат, когда-то знаменитый «шестидесятник», чье имя неотделимо от оставшегося где-то за горизонтом «золотого времени». В новом времени Матс Траат выступает с большим рассказом «Крест власти», тем более знаменательном, что рассказ этот всецело посвящен российской (а не эстонской) тематике: гражданской войне в Сибири. Повествование ведется от лица адмирала Колчака и обрывается в финале выстрелом...

Конечно, есть тут и национальный аспект. Генерал Каппель, командовавший одной из колчаковских армий, эстонец (хотя и носит немецкую фамилию). Так что вопрос о грядущем (впрочем, уже фактически состоявшемся в 1918 году) отделении эстляндских провинций от России в повести обсуждается весьма живо. Для Колчака такое отделение — полный абсурд (что не мешает Матсу Траату относиться к обреченному адмиралу с глубоким человеческим сочувствием). А сочувствие это опять-таки связано с драмой, имя которой подмена контекста. Перед нами — несчастный правитель, «странствующий адмирал». То, что его угораздило стать «правителем» России, — какой-то бред, запредельное безумие. На самом деле он, Александр Васильевич Колчак, совсем другой. Сын инженера Обуховского завода, родившийся в 1873 году в Петербурге, окончивший Морской корпус, получивший премию Рикорда, ученый, полярник, исследователь, вызванный Толлем в экспедицию, потому что лучшего гидролога в русской науке не было. Он, Колчак, делал свое дело: сидел в лаборатории, исследовал льды, читал лекции в Академии, любил Скрябина, размышлял над Тертуллианом... Это был его контекст.

И вот вместо этого — какая-то кровавая каша, липкий клейстер, разъяренная масса, самосуд матросов над офицерами Черноморского флота и смута, смута, смута — красные против белых, красные против красных, белые против белых, террор, предательство, страна, затертая между произволом и анархией, комплекс неполноценности. Усталое равнодушие. Офицеры, которые боятся хулиганствующих новобранцев больше, чем большевиков. Штабисты, которые лгут и развораывают снаряжение. Нищета и ярость масс, готовых поверить в красный рай на земле. Лукавство мужиков, готовых обмануть и красных, и белых, потому что им без разницы...

В этом хаосе адмирал твердо знает одно: ему не жить. Контекст потерян, смысл утрачен. Колчак смотрит в лицо Самуилу Чудновскому, командующему расстрелом, и отказывается от повязки на глаза.

Душа его живет там, в полярных льдах. Здесь, в реальном огне, — душа сгорает.

Теперь из этой кровавой горячки вернемся в ледяную реальность новейшей эстонской прозы.

Прочувствуем сверхзадачу странного рассказа Арво Валтона «Верблюд», где эстонец, попадающий в пустыню Гоби и ночующий в юрте, сближается с монголкой... Объясняя этот странный альянс из рассказа 1997 года, эстонская критика связывает его с давними восточными пристрастиями Валтона, в 1978 году написавшего роман о Чингисхане... но я думаю, что восток здесь контекст не более чем виртуальный (при всем том, что Арво Валтон наверняка сам ездил на верблюде и ночевал в юртах...). А суть —

художественная — в том, что семя героя извергается в пустоту. И сына своего этот герой никогда не узнает. И сын, не знающий отца, когда-нибудь убьет его. И в этой пустоте, в этом вакууме, в этом ирреальном антимире эстонец спрашивает сам себя: «Уж не кентавр ли я?» — словно не очень ясно чувствует, «кто он есть».

Можно обсудить эту проблему вместе с Юри Эльвестом и в чисто умственном плане. «Свободен, свободен!» — радуется герой рассказа «Изъявление любви», уходя от жены к любовнице, и пространно рассуждает о том, почему «лучшая часть нашего народа происходит с островов», то есть вне контактов с другими народами. Объяснение — вполне интеллектуальное и, я бы сказал, провокационное, если учесть, на фоне каких страстей и страхов по «клонированию» продолжались в 1997 году постмодернистские игры: при скрещении с близкими родственниками, — говорит герой Эльвеста, — отпрыски не доживают до половой зрелости и не успевают передать потомству рецессивные гены; выживают только абсолютно здоровые особи, и что особенно показательно — выживают при отсутствии врачебной помощи....

Оценим игровой блеск этого пассажа: тревога в нем спрятана реальная. Все то же: стон о контексте, вопль о контексте, бред о контексте....

Квинтэссенция и кульминация этой боли — новелла «Живот разболелся», которая в 1995 году сделала Пеэтера Саутера героем звонкого литературного скандала. Была буря негодования в прессе, был поток разгневанных писем от читателей, и была ответная реакция автора, принявшего позу американского битника: а по мне, полупустая пачка сигарет вполне сосуществует с Господом Богом...

Если бы только пачка сигарет...

А «прокладка в трусах»? А «подстилка» под обгадившейся роженицей! А трихомоноз! И рвота. И моча. И дерьмо, фиксируемое с меланхоличной пунктуальностью, которой должен позавидовать Сорокин, наш чемпион по описанию виртуальных экскрементов. Если ощущение бытийной «грязи» наряду с экзистенциальным «холодом» составляет двойной лейтмотив постмодернистской эстонской прозы, то Саутер с его «Больным животом» может считаться в этой сфере рекордсменом. Так что возмущенные читатели имели все основания... Надо только учесть, что санитарно-гигиенические подробности не протаскиваются в текст как запретный плод ради эпатажа, а фиксируются Саутером открыто и даже как-то подчеркнуто безучастно — от лица рассказчика, который подтирает эти лужи и убирает нечистоты добровольно и счастливо. Потому что ухаживает за любимой женщиной, рожающей ему сына.

То есть по существу-то здесь — гимн торжествующей любви.

Но почему любовь реализуется в таких и только таких отхожих обстоятельствах?

Этот вопрос — главный, коренной, базисный.

Потому что между душой и реальным миром связи разрушены. Слова не слышны (случайно ли героиня рассказа — глухая?). Действия не сливаются в осмысленно-целостные движения, а распадаются на фазы:

герой «намазывает паштет на булку и внимательно следит за тем, как движется рука». Словно это не его рука. Он курит, но вкуса сигареты не чувствует. Словно это не он курит. Вся фактура пронизана ощущением распада вещей и действий, что-то «киношное»: видно, но не слышно; слышно, но не видно; кадры мелькают, стыкуясь механически.

Пространства как целого — нет.

«Времени не существует, его нет...»

Жизни как мерила всего — тоже нет.

«А если вдруг ребенок умрет? Что тогда? Не знаю... Рано или поздно он умрет, так и эдак. Как и я — родился, живу, умру...»

Безразличие, с которым это фиксируется, — тоже род художественной провокации. На самом деле тут — край отчаяния, и то самообладание, которое необходимо — «бездны мрачной на краю».

Финальная фраза новеллы Саутера: только что родившийся ребенок «спокойно глядит в никуда».

Можно ли яснее обозначить суть драмы, прозреваемой в этом леденящем содоме, где потоки нечистот низвергаются в бездну, и невозможное «ничто» созерцает человека то ли из бездны, то ли из зеркала?

Провал реальности? Распад связей? Утрата контекстов? Или — на языке современных геополитиков: момент невесомости между Востоком и Западом, между Россией и Европой? Или — на языке философов: экзистенциальное одиночество человека, заброшенного в бесконечно-хаотическую реальность и ощущающего обреченность независимо от того, в какие координаты он не хочет или не может вписаться? В одну не хочет, в другую не может? Один контекст уже утерян, другой еще не обретен?

Впрочем, лучше и не определять это состояние в общих понятиях, ибо морок общих понятий — это то, от чего прежде всего постаралась освободиться новая эстонская проза.

Достаточно почувствовать, о чем на самом деле ведется речь и что на самом деле болит. Даже если разболелся «живот».

Вот теперь, пройдя по ступеням свободного десятилетия от 1991 до 1998, — я вернусь к тому, с чего начал: к «Тексту и труп» Мати Унта, написанному в финале десятилетия и венчающему антологию.

«Запахи, смрад, ароматы...»

Правильно. Пароль принят.

«Дохлая крыса» в «черной воде»...

Естественно. Дальше, дальше!

Шестипудовый «Сашок», следящий за пугливым «Эрго»...

Призрак КГБ за каждой строкой? Понятно.

«Так кем же я был... и кто я есть?»

Это спрашивает Эрго.

«Дыра, лишенная содержания, формализм, бессмысленная пустота, духовный вакуум...»

А это кто говорит? Эрго, перечитывающий то, что вылилось из-под его пера, или Сашок, тайно перлюстрирующий то, что написал Эрго?

«Сашок слился с Эрго в одно целое...»

Ну, вот. Истина проступает. Уже десять лет, как никакой «Сашок» не притесняет никакого «Эрго». Реальный герой, уткнувшись в зеркало, пытается понять, кто он, то есть я, есть... В этом знобщем вакууме «Сашок» появляется как галлюцинация, как единственный интересующийся тобой, то есть им, то есть мной, собеседник, как тень навсегда исчезнувшего контакта, как подтверждение наступившего одиночества, которое надо вынести.

Наконец, вот финальная фраза новеллы Унта, венчающая и всю антологию:

«В комнате остались текст и труп, и тот, и другой еще теплые, но уже необратимые».

То есть: не ловите исчезающее тепло и не надейтесь вернуть жизнь ни тексту, ни трупу. Свершившееся необратимо.

О, да. В реку не войти дважды. Только идти дальше. Черная силы «у себя в зеркале».

ТРЕТЬЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Почему это государство оставляет ей два стула, если она одновременно может сидеть только на одном?

Яан Кросс. Полет на месте

Третий десяток лет читаю Кросса, пишу о Кроссе, пытаюсь разгадать секрет его прозы, полной мощи и обаяния. Мощь — художественная, интеллектуальная — налегает, напирает, почти нависает. А вот — не подавляет, не обрушивается на тебя, не «давит», а как-то неуловимо облегает душу и даже врачует ее. Непонятно, как это сочетается. Читаешь про времена Смуты — на новую Смуту должны навернуться аллюзии — а ничего подобного нет. Читаешь про времена Александра Благословенного — вроде бы сплошное безумие, но нет ужаса: что-то прочно держит душу изнутри.

И еще: это мемуарное мерцание. Последние свои вещи Кросс строит явно и открыто — как мемуары (разве что имя меняет на Яака и фамилию на Сиркеля — это так прозрачно), однако мемуары читаются как эпос, в котором типы и страны, империи и народы взывают к Богу... хотя при этом и говорится, что «бога нет», или ничего «вообще» вроде бы на общие темы не говорится, или почти не говорится, а речь идет все время о конкретностях и даже о мелочах, припоминаемых дотошным мемуаристом.

Фактурная точность письма — уже край разгадки, нить в Лабиринт. Это всегда у Кросса: и в «Трех поветриях», и в «Императорском безумце», и в любом рассказе. Артистичное просеивание фактов — пересыпание свидетельств переключками источников. И теперь, в «Полете на месте», — то

же самое. Для того, чтобы Яак Сиркель мог ответить учителю Шварцу, что именно написал «этот тип с французским именем Адальберт Шамиссо», вроде бы не обязательно читать Яаку подробную лекцию о «всех пятерых братьях Коцебу», с одним из которых вышеозначенный тип ходил в кругосветку, другой был русским послом в Швейцарии, жил в Эстонии, написал 216 пьес и был зарезан немецким студентом. Однако Улло Паэрэнд все это детально излагает Яаку Сиркелю, а Яак Сиркель — нам.

Точно так же вышеозначенный Улло Паэрэнд, чтобы произвести впечатление на папского нунция (следствием чего было приглашение в Ватикан), мог бы припомнить одного-двух итальянцев, побывавших в Эстонии во времена оны, но стараниями Кросса Улло выдает полную энциклопедическую справку об итальяно-эстонских контактах за несколько веков. Есть шарм в этой избыточности. Страницы словно закапаны воском ночных свечей от бдения над фолиантами. И над старинными хрониками. И над подшивками «Лооминга» и «Олиона» 30-х годов («метрами» — списки иностранных авторов). Не говоря уже о спортивных летописях (в 1912 стометровка — 10,4, она же в десятиборье 12,3), без какового знания Улло Паэрэнда не держали бы в редакции «Спортивного обозрения», а проза Кросса не была бы прозой Кросса.

Обаяние его — от бесконечной веры в факт, в аргумент, в довод. С избытком, который свидетельствует об удивительной жажде добрать доказательств. Потому что аргументов бездна, а ничего так и не доказано...

Секрет художественной игры в следующем. Чем плотнее фронт фактов, тем сильнее сомнения в том, что за этим фронтом стоит реальность, которую можно исчерпать. И в другую сторону: чем больше сомнений, тем острее интерес к фактам. Кросс пишет точную фактуру жизни. И все время как бы перепроверяет ее. И убеждает себя и читателя, что все это — реальность. И все-таки колеблется. «А может, все было наоборот...», «Скорее всего это так, но...», «К сожалению, я в свое время не выяснил, и теперь это останется тайной...» Тайна мерцает меж фактами, факты на нее оглядываются. «Я знаю, или думаю, будто знаю...», «или так мне кажется...», «толком не знаю...». И — апофеоз этой музыки: «я не знаю толком, что же произошло — со мной»!

Если поискать Кроссу место в воображаемом континууме достоверности, на одном конце которого будет соцреалист, уверенный, что воссоздаваемое им — неопровержимая реальность, а на другом — сюрреалист, который неопровержимо верит, что за «всем этим» никакой реальности вообще нет, то Кросс окажется как бы в провисе между полюсами, вернее, в осознанном противостоянии тому и другому эйфорическому убеждению.

Его реальность неопровержима; ее присутствие ощущается ежемгновенно, она даже, как я уже сказал, «нависает». Ни уберечься от нее нельзя, ни исчерпать ее. Только — осознавать через непрерывные противоречия. Вслушиваясь в «ту» и «эту» стороны. И не строя иллюзий.

Со стороны это и впрямь может показаться сидением на двух стульях. Или бурей в стакане воды. Кросс отвечает: «со стороны» ничего не бывает, потому что сторон бесчисленное множество. Что же до стакана воды, то...

запомним фразу: «...при этом стакан незаметно для нас уже выскальзывал из наших рук».

Улло Паэранд это «незаметное» выскальзывание отлично чувствует, потому что он — незаметный чиновник эстонского правительства, которое делается все более незаметным — на дворе 1940 год. Так что не случайно Яан Кросс избирает героем своего романа человека «незаметного». Он не берет ни одного из тех ярких, самозабвенных, «продвинутых» (как сказали бы теперь) деятелей независимой Эстонии, которые либо бежали в Германию, либо остались под Советами и полегли в чекистских подвалах с простреленными затылками, либо умерли «естественной» смертью от голода или болезней в сибирских лагерях. Кросс не хочет знать крайних типов. Вовсе не те «доведенные несправедливостью до отчаяния» — «чахоточные, измученные идеалисты», от лица которых творилось «все это», — на «том полюсе» у Кросса не героические отморожки (как сказали бы теперь), но «циничные откормленные красные рожи при мундирах, с пивной пеной на усах...» Если краснота рож художественно соотносится с цветом сталинских знамен, то пивная пена явно несет мюнхенский оттенок. И то и другое так далеко от нормальной жизни...

— Послушай... (Это Яак спрашивает Улло). А не живешь ли ты по формуле: интересно то, что трепещет вокруг тебя, под твоими ногами, прямо тут, и — то, что непостижимо далеко? Все, что между тем и этим, кажется малоинтересным и плоским?

Парафразис той самой дилеммы: или то, что перед носом, или то, что в непостижимости. А между — что? Пустота? Жизнь? Третья возможность?

Между «рожами» (пивными ли, чахоточными) надо найти что-то нормальное, естественное и здравомыслящее. Независимое и неангажированное. Если угодно, нейтральное.

Мелодия текста все время подспудно работает на этот лейтмотив. Говорит же Улло, бывший спортивный журналист, бывший чиновник независимого эстонского правительства, бывший работник чемоданной фабрики, допущенный Советской властью на ответственный пост завсклада:

— Тут единственно возможное соотношение порядка и беспорядка.

— Что имеешь в виду? — переспрашивает Яак, подталкивая наше читательское любопытство.

— То, что большего беспорядка не выдержал бы я. А более точного порядка не выдержала бы система... в самом широком смысле слова (последнее добавлено в расчете на нашу недогадливость).

А хороша формулировочка! Блеск ее выдает в герое романа Кросса очевидную незаурядность. Которая в себе сомневается и все время пытается уронить себя в общий ряд. Вы чувствуете мощь крыльев. И — невозможность взлететь. Полет на месте. Как теперь сказали бы, — невесомость.

Проникнемся этой мелодией и оценим теперь путь героя.

Итак, перед нами повествование об Улло Паэранде, эстонце, который находится как бы в нейтральном поле. Он далек, как мы видели, и от

чахоточных комиссаров, и от краснорожих выпивох. Далеко, что очень важно, и от корректных прусских юберменшей, аккуратны и невозмутимо стреляющих в затылок, и от особистов, обожающих перед расстрелом поговорить с приговоренным по душам.

Кажется, что в этой связи чисто эстонский период жизни Улло Паэранда должен быть воплощением идиллии. Но идиллии нет. Именно детство и юность Паэранда, совпавшая с временами, когда не было ни той, ни этой оккупации, изображается в романе как пора тяжких потерь и надвигающейся нищеты; это в жизни его родителей — путь вниз, и в сознании героя такой опыт не проходит бесследно. Во всяком случае, пролетарская гордость работника прачечной в критический момент оказывается в нем сильнее буржуазной спеси спортивного журналиста. Что не мешает ему (зараженному кроссовской склонностью к «противоречиям») в следующий критический момент пойти на службу в аппарат правительства.

Что могла бы обеспечить ему эта служба? Карьеру? Он в это не верит. Он просто служит, потому что это в нем естественно. Потом так же естественно выявляется в нем уникальная способность «запоминать координаты места и времени», за это его делают... координатором.

Способность, поразившая папского нунция (когда, как мы помним, Улло с ходу перечислил ему координаты всех итальянских посетителей Эстонии в веках), побуждает нунция предложить умному эстонцу место в любом католическом университете (стипендия... докторская степень...).

Отказался!

Это кажется безумием: остаться в крошечной, обреченной Эстонии накануне мировой войны, которая кровавым прессом пройдет по судьбам, отказаться от тихой крыши в какой-нибудь католической библиотеке «где-нибудь в Италии»...

Не будем забывать о дьявольской иронии, закладываемой Кроссом в каждый такой «момент выбора». Тот архиепископ Эстонии, который передал избраннику план спасения, — немец Профитлих (любопытствующий читатель может по соответствующему словарю убедиться, что «профит» в немецком языке значит то же, что в русском), — архиепископ этот в ждановские времена угодил-таки в руки чекистов и умер... по всем правилам, в кировской тюрьме зимой 1942 года... «уже приговоренный к смерти, но еще до казни». Вот и выбирай после этого, куда податься.

Но нас интересует не этот несчастный немец. Нас интересует эстонец, который отказался от ватиканской неслыханной (как сказали бы теперь) везухи.

Почему отказался?

Я думаю, что в этот момент мы прикасаемся к сердцевине, к глубинной мелодии, к пику той духовной драмы, которую вмещает и пытается разрешить Яан Кросс.

Единственное условие получения ватиканской стипендии — переход в католичество.

— Я не могу.

— Почему?

— Потому что я слишком неверующий.

— Если вам хватает вашего неверия, чтобы быть лютеранином, почему его не должно хватать, чтобы стать католиком? (Это говорит Профитлих — оценим блеск диалектики).

— Потому что лютеранином я стал благодаря случаю. А католиком должен стать по своему выбору... Я не могу взять на себя ответственность. (Это Улло. Оценим простодушие и честность).

А ведь потрясающее место!

Не надо делать из него ни конфессиональных, ни даже общерелигиозных выводов. Речь вовсе не об этом. Бытие Бога вообще мало интересует Улло: есть ли, нет ли. Одно время Улло думал так, потом эдак.

Инстинктивная боязнь попасть к католикам «на крючок» более реальна, но и она не исчерпывает ситуации. Дело куда глубже. Предложение Профитлиха неожиданно ставит Улло перед вопросом: чего именно он ждет от своей жизни?

«Выходит, что я вообще не думал на эту тему».

Ну вот. Кажется, теперь мы, наконец-то, «на дне пропасти». Речь о том, что человек, выпадающий в XX веке в осадок истории, не находит внутри себя основы для сопротивления. Он может определиться в координатах, найти себе место, пристанище, стезю, угол. Но когда он это находит («место», вполне очерченное — и в Истории, и в «географии»), — вдруг оказывается, что это место надо заполнить, обжить... а нечем.

Это драма, передаваемая XX веком веку XXI, драма всемирная, составляющая роковую ловушку как для очередных «империй», «мировых поветрий» и «глобальных проектов», так и для нормальных, нейтральных людей, ищущих и не находящих убежища от этих чумовых фронтов.

Нет укрома. Есть только координаты места и времени, скрещивающиеся в вакууме.

В случае Кросса — это маленький клочок земли между германским и славяно-тюркским фронтами за мгновение до сшибки.

Представим себе систему координат, в которой обретается всякая такая эфемерная точка: очертим мироконцепцию, вне которой непонятны и частные оценки, и то колебание, которое испытывает Кросс, а иногда намеренно демонстрирует при вынесении оценок. Без такой мироконцепции нет большого писателя. И такая мироконцепция у большого писателя всегда уникальна. Хотя и вознесена ко Всеобщему, то есть по замыслу универсальна.

Итак, сверху — в непостижимости — то, что называется Богом. Или отсутствием Бога. Там — Исторический Разум. Или историческое безумие.

Эту непостижимость пересекает «понизу» колесо судьбы. Колесница, в которой все едут, хотя они того или не хотят. Какая-то сила манипулирует всем и вся. Например, Кремлем в 1938 году, расстреливающим лучших своих военачальников. Высший Постановщик расписывает людям фантастические роли. Когда думаешь об этом Высшем Постановщике, — например, о том, как русские вывезли из эстонских банков

свое золото и стали катеринками оклеивать нужники, — кажется, что всяких там керенских сметает в мусорные ящики истории Великий Дворник.

Это — в непостижимости. А — под ногами?

А под ногами — мусор. Непредсказуемый мусор случайности. Скажем, так: человек несет в чемодане нелегальщину, замечает за собой слежку агентов СД и прячет чемодан в куче мусора с тем, чтобы вернуться за ним позднее, а возвратившись позднее, не находит чемодана...

«В игру вмешался пьянчуга-дворник... Этот грязнорожий паршивец нашел чемодан... думал, что там деньги... обнаружил какие-то бумаги... и потащил свою находку господам из службы безопасности...»

Чувствуете? Дворник сверху — дворник снизу. Ну и дела! То тебе баба в ванной, то буря в стакане...

Баба — это уборщица служебных апартаментов премьер-министра, которая в его отсутствие тайком моется в его ванной; с приходом Советской власти баба застукана и вышиблена вон со службы — несмотря на свое пролетарское происхождение.

А стакан, выскальзывающий из рук, — это скользящая меж двух мировых войн (меж моровых поветрий) эфемерная эстонская государственность.

Роман Яна Кросса «Полет на месте» — потрясающая по точности и выразительности картина этого полупризрачного и вместе с тем полуреального существования. Со всеми твердо зафиксированными атрибутами. То есть со всеми признаками времени и места. Среди коих: неотступное «стремление вернуться в Европу». И «неопределенное состояние безымянности и безликости для всего остального мира». И отчаянные попытки «дать о себе знать». И воображаемые «идеальные черты» гипотетического эстонца. И чаемые признаки осуществления... например, почитание государственного национального флага.

Флаг приходится почитать иносказательно (восторг по поводу дерзости Манолиса Глезоса, попробовавшего в 1941 году отстоять от немцев флаг Греции). Крик о помощи не доходит до тех, кто мог бы помочь (то есть до англичан с их вторым фронтом). «Ядро декларации», которую Улло спешно переводит на английский («Эстония никогда добровольно не отказывалась от своей независимости») при переводе... выскальзывает из рук: never voluntary relinquished... yielded... surrendered... abandoned... assigned... gave up... (Русский язык дал бы не меньше двоящихся определений: не оставляла надежду? бросала привычку? поддавалась? капитулировала? была сброшена в распутство? сдана в опеку?). Чертов хаос. Контуры двоятся, призрак расплывается... Но внутреннее стремление неотступно: закрепить ядро, пусть даже еще ничем не наполненное, очертить себя как что-то центрированное, пусть еще не определившееся, — поставить пределы расползанию эстонцев в фатальное псевдобытие.

Особист в Гулаге формулирует ту же задачу «с другого конца»: активные националисты будут уничтожены как враги Советской власти, а пассивные, то есть молча сочувствующие или потенциально могущие

испытать к ним сочувствие, должны быть сосланы, рассеяны по окраинам огромной страны...

— Размазаны по стенке, — сказали бы нынешние интеллектуалы. — Чтобы координат не было...

Яан Кросс, то есть Яак Сиркель, как всегда, старается понять «и другую сторону». Он соглашается с тем, что особист по-своему прав и все лояльные, нейтральные, нормальные эстонцы действительно либо сочувствуют, либо будут сочувствовать, либо должны сочувствовать своим национальным активистам. Иначе говоря, империя неизбежно будет их раскатывать катком.

А они?

А они так же неизбежно будут сопротивляться. Просто в силу хода вещей.

Лояльный, нейтральный, нормальный эстонец Улло Паэранд — не активист. Он сопротивляется без «программы» и даже без всякой надежды на успех. Так сопротивляется естественная материя удару или давлению. Если давят с двух сторон, — значит, надо искать что-то третье. Третью возможность...

Третья возможность внешне напоминает первый великий роман Кросса «Три поветрия». В Смуту три чумы угрожали эстонцам: польская, шведская и русская. Стало быть, тогда они искали четвертую возможность... А если «четвертой не быть»? Если «императорский безумец», зажатый в тиски александровской Российской Империи, имеет только одну альтернативу? Он ее и избирает: безумие...

Третья возможность — это попытка выпасть из схватки двух сближающихся гигантских многонациональных армий, одна из которых собрана под черной свастикой, другая — под красной звездой. Не будем философствовать на ту непостижимую тему, что любая попытка собрать пестрое человечество воедино нависает над ним чумным поветрием и оборачивается глобальным же страданием, в том числе и для носителей всемирных проектов, будь они победоносны, как гунны или монголы, или не очень, как немцы или русские. Кстати, национальные ярлыки этих поветрий довольно условны, такие проекты всегда интернациональны. Кто следующий попробует привить человечеству общий взгляд на ценности? Американцы? А может быть, мусульмане? Или возникнет что-то «третье»?

Трагедия малого народа на фоне этих глобальных гекатомб кажется едва ли не интермедией, проходным номером, фарсом... Но человечество в сущности состоит из «малых народов», даже когда История на время сбивает их в гигантские интернациональные полчища. Эти комбинации неизбежно повторяются в Истории, потому что это история Человечества. И люди неизбежно сопротивляются ей. Потому что они люди.

В мировой драме — чем больше форса, тем больше фарса. Но из-под любого фарса брызжет кровь. Кросс знает неразрешимость проблемы и не теряет юмора. Адмиралу, который командует эфемерным и символическим эстонским сопротивлением, докладывают, что на дороге показались русские танки и что капрал украл с кухни двадцать буханок хлеба. Ввиду появления

русских танков адмирал приказывает сопротивление прекратить и разбежаться по лесам.

— Господин адмирал, а как быть насчет того, кто хлеб украл?

— Выпороть! Эстонец не должен воровать даже у своих палачей!

Герой Кросса должен оценить это высказывание. Он тоже за словом в карман не лезет. Только однажды промолчал глухо, мертво. Когда принес жене найденное в лесу детское пальцецо с тремя пулевыми отверстиями и запекшейся вокруг них кровью.

Кровь брызжет из-под морковного сока актеров мировой драмы. Даже когда активисты-актеры сами себя уверяют, что это морковный сок. Проза Яана Кросса построена на этом контрапункте. В эстонской литературе я не знаю другого такого мастера и другой такой души.

Вот вам эпизод — для финала. Когда в 1926 году отец Улло обанкротился, судебный пристав распорядился описать и увезти имущество. Улло и его мать остались сидеть на двух оставленных им стульях за кухонным столом, внесенным в комнату.

Як Сиркель, то есть Яан Кросс, откомментировал этот эпизод так. «Моей маме после ареста отца в 1945 году, и не за долги, а по политическим мотивам, был оставлен настоящий дубовый стол с обутыми в медь ножками. И тоже два стула!».

Вы начинаете невольно сравнивать «ту» и «эту» сторону? Ну, так ваше глубокомыслие и будет осажено в эстонский юмор. «Я тогда не жил с матерью, мама была одна...» И она спросила у носителя Исторической Непостижимости, то есть у начальника увозивших мебель солдат, то есть у молоденького советского лейтенантика в новеньких погонах: как же это она одна усидит на двух стульях?

О третьей возможности не спросила.

Сын — спросил.

P.S. Не удержусь от соблазна привести здесь рассказ, переданный мне когда-то одной таллинской журналисткой. Она поинтересовалась у старой эстонки, при какой оккупации было хуже: при гитлеровской или при сталинской?

Ответ: обе хуже.

— Но была ли разница?

Почтенная дама подумала и рассудила:

— Когда ко мне вселился герр офицер вермахта, он отослал меня жить на кухню, а сам занял жилую комнату. А когда вселился товарищ красный лейтенант, он оставил меня в комнате, а сам устроился ночевать в кухне. Так кого я буду больше уважать?!

Комментарий оставляю читателям.

...ЛАТЫШИ

ЧТО СКАЗАЛ «ДУРАК»?

«Дурак тот, кто сказал, что родина у человека должна быть одна».

Об этом огромным шрифтом оповещает читателей одна из рижских газет (уточню: русскоязычная, что для нынешней ситуации оказывается чуть ли не самым важным) и удостоверяет, что автор этой сентенции (то есть автор опубликованного ниже же под этим заглавием обширного интервью) — Вл. Дозорцев.

Чувствую себя дураком. Тем самым, у которого родина — одна. Потому одна, что — родина, и потому родина, что — одна. Дискуссии такого рода мне не раз приходилось вести с умницами, отбывающими за рубеж «без срока и надежды»; обмениваясь с ними прощальными поцелуями, я не мог себе представить ни родины сдублированной, ни родины подмененной, сдвоенной, принятой временно и т. д. Но те дискуссии велись в принципиально другой исторической ситуации. Во-первых, родина была твердо и незыблемо зафиксирована в границах тогдашнего Советского Союза, причем границы были не только географическими, но, так сказать, и духовно-практическими. Во-вторых, по тем временам переход через границу был возможен только в одну сторону... в свете этого обстоятельства то, что было в-третьих, четвертых и сотых, уже не казалось существенным.

Дискуссии тогда я вел преимущественно с литераторами, и потому все было так обострено: языковая почва и читательская среда для литератора вещи жизненно важные; их потеря грозит профессиональной и духовной катастрофой. Я понимал, что, теоретически рассуждая, вопрос о том, где жить писателю, — его личное дело (точно так же, как личное дело вообще всякого человека — где ему жить, со стороны тут ничего не укажешь), но тем страшнее — и для писателя, и вообще для всякого человека, видящего смысл жизни в ее духовной стороне, — потеря смысла. Узел тут завязывается прочный: чем свободнее «телу» жить где угодно, тем больнее «духу» отрываться от почвы, ломать уже начавшуюся судьбу, терять ощущение жизни как единого целостного пути. Мест жительства для «тела» может быть сколько угодно, но родина (для «духа») — одна.

Человек, назвавший это убеждение дурацким, побуждает меня заново вдуматься в проблему и прежде всего — внимательно вчитаться в его аргументацию.

Вот рассуждение Вл. Дозорцева (в записи готовившего диалог с ним Г. Гайлита):

«Как жить русской диаспоре здесь?..»

Сразу же объясню: «здесь» — это в Латвии. В Латвии, где «русскоязычные» могут остаться без гражданства, без прав, без пенсий... и далее — без языка, без имени, без памяти и т. д. Диалог происходит во

времена, когда всякий русский может услышать, что он «оккупант», и не только русский — всякий нелатыш может обнаружить на себе то или иное клеймо, и в газете, где Дозорцев рассуждает о русской диаспоре, параллельно идет дискуссия о том, не пора ли вернуть рижским евреям старое наименование «жиды», в котором, «филологически» говоря, нет ничегошеньки обидного, а если иные жиды найдут это слово обидным, так это их проблемы: обидой жидов можно и пренебречь, потому что они — не граждане.

Да, это совсем не та ситуация, когда вопрос о родине решается однозначно (вернее, двузначно: да или нет?) — со времен овировских и покоренья Шереметьева столь много воды утекло, что все вопросы встали на голову. Раньше: как бы уехать? Теперь: как бы удержаться? Раньше: «тело» здесь, а «душа» там. Теперь, как бы душу сохранить, когда «тело» за рубежом выдавливают? Раньше: либо ты советский, либо... антисоветский, третьего не дано. Теперь дано и третье, и сорок третье: ты, конечно, не советский... но какой? По точке проживания — латвийский. А по точке душевной привязанности?

Вот теперь и вчитаемся в исповедь Вл. Дозорцева:

«Как жить русской диаспоре здесь? Так же, как она живет во Франции или, скажем, в Канаде. Как эмигранты. Для меня был достаточно серьезным вопрос, как соотнести свою этническую родину... и ту реальную родину, где мы родились (то есть Латвию. — Л. А.). И я для себя нашел выход, определив это как патридуализм. Я считаю: тот, кто сказал, что родина у человека должна быть одна, — дурак. Почему не две и обе любимые? Почему не три? Как, например, у евреев, здесь родившихся, выросших на русской культуре и тяготеющих к Израилю? Все это нормально. Если мы оказались за пределами России, в Латвии, и считаем ее своей родиной, а воспитаны на русской культуре, то соответственно в нас может жить некий патридуализм, сочетающий интересы (или высокие чувства) к этнической родине — России и к той реальной, на которой (на земле которой? — Л. А.) мы живем...»

Конечно, если придирается к частностям, то русские во Франции и русские в Канаде — «дьявольская разница». Одно дело аристократы, разбежавшиеся по парижским таксопаркам, или тонкий слой литераторов-беженцев, создавших воздушный замок издательства УМСА, и другое дело — молокане, компактно переехавшие в Канаду (на толстовский гонорар за «Воскресение» и другими путями), — тут и концентрация иная, и уровень поближе к земле, по каковой причине русские (или украинцы) в Канаде вряд ли подходят безоговорочно под понятие «эмигрантов», — скорее уж это анклав.

Но придирается не хочется, потому что Вл. Дозорцев имеет все основания усмотреть в этих частных случаях нечто общее, и это общее очень важно в теперешних пересекающихся культурных и государственных системах жизненно важно.

Термин «патридуализм», помимо русской неблагозвучности, еще и по сути нехорош: «почему — две, а не три родины?» — сам же спрашивает

Дозорцев. Пример евреев в этом смысле весьма показателен: если люди проходят не через одну, а через две диаспоры, то, помимо тяги к «этнической родине», не может не сохраниться в их душах привязанность еще к двум (а если и к трем?) культурам, давшим им нишу. Допустим, к русской, немецкой и украинской: вариант Агнона, совместившего библейские начала со стилистикой Гоголя и мотивы германского галута с мелодиями галицийского Бучача. Или — вариант Башевиса-Зингера, который вернулся на «этническую родину», неся в душе польский опыт, а попутно усвоив в США «формы общей мировой культуры» (некоторые его тексты существуют только по-английски).

Речь идет о принципиально новой культурно-этнической ситуации, в которой современный человек не просто может соединить в душе разные культурные начала (по русско-японскому принципу матрешки), но, пожалуй, не может не соединять их. Во всяком случае, чем культурнее личность, тем более открыта она мировым поветриям, тем больше разных начал будет в ней пересекаться. Чем больше влияний и воздействий, тем больше вероятность, что личность обнаружит в своем фундаменте несходящиеся слои и, главное, захочет придать им значение.

Канада, о которой вспомнил Вл. Дозорцев, — красноречивый пример такой поликультурности: государство — одно, но франкофоны и англофоны упорно отстаивают свою этническую несхожесть, и так же сохраняют несколько слоев в духовном фундаменте русские, украинцы, индейцы и любые другие попавшие в этот общий двуязычный обруч национальные группы.

Более того, ни одно однородное целое, пусть даже имеющее эту однородность в качестве государственной программы, не может удержать ее в настоящих условиях: целое обречено дробиться. По этническому признаку — так по этническому, по религиозному — так по религиозному, но дробиться будет непременно. Взять Соединенные Штаты: вроде бы успешно функционирующий «общий котел» (то, что у нас от перегрева разорвалось), и два века отбор ведется именно по признаку отказа от «прежних корней» и принятия новой, американской идентификации.

И что же? Дробится и там единое. Уже выделена каста «чистых» — WASP, где отобрано все: и этническая белизна кожи, и англосаксонская «прапамять», и даже протестантская конфессиональность (white-anglo-sax-protestant). Соответственно, американские ирландцы не могут забыть, что они ирландцы, американские итальянцы — что они итальянцы... не говоря уже о неграх, японцах, корейцах и китайцах, у которых все «на лице написано». Да еще накладываются сюда психологические расколы: Север — Юг, Восток — Запад (Новая Англия — Средний Запад, Дальний Запад...). В общем, не будет и у них «общего котла», а будет — пока не повернется Колесо Истории — бесконечное перетекание форм, сплетение «прапамятей», удвоение, утроение, учетверение идентификаций.

Удивляются: как же так, Советский Союз распадается, Россию сотрясают конвульсии дезинтеграции, в то время как Запад консолидируется и Европа объединяется в единое целое.

Но процесс — общий, хотя и происходит на разных уровнях. Один уровень — укрепление национальных государств, сложение этих государств в общеевропейскую и мировую системы и другой уровень — накопление психологических «особостей», дробление культурных спектров в пределах общего «белого света» той или иной материальной цивилизации.

Те же евреи, вернувшись на свою «этническую родину», начинают острейшим образом ощущать землю, которую они принесли на подошвах: в Израиле они — русские, американцы, немцы, испанцы, эфиопы... Дробится и противостоящий им арабский мир. Я подчеркиваю: речь идет не о «национальном» или «этническом» дроблении, а о накоплении своеобразности как всеобщем законе современного бытия. «Национальное», как и «государственное» — частный случай. Да, на нынешнем этапе совпадение этноса и государства — как бы счастливый случай, но взгляните в эти счастливые случаи, в эти эталонные национально-однородные государства — и вы увидите в них неутраченное дробление оттенков.

Никогда не забуду реплику немки в разговоре со мной на эти темы:

— Никакие мы не немцы! Это Бисмарк придумал, что мы немцы, а мы другое: пруссаки, саксонцы, баварцы, гессенцы, эльзасцы...

Бисмарк, конечно, ничего не придумал, он осуществил то, что «дремало» в истории: пруссаки и баварцы должны были объединиться. Ради выживания в «Европе отечеств». И Гарибальди ничего не придумал, спланировав итальянцев. И Муссолини, который с той же целью опирался на «римские руины». Однако это опора коварная. Когда я, оказавшись недавно в Милане и обсуждая с тамошними философами проблемы современного национального сознания, решил польстить моим собеседникам и сказал, что в их исторической памяти «дремлет» Рим, они из вежливости промолчали, но потом один наш умный итальянист объяснил мне (на ушко), что похвалить ломбардийцев за то, что они хорошие римляне, все равно что похвалить киевлян за то, что они настоящие москальи. Я, конечно, зарекся впредь говорить такие глупости. Впрочем, всякая глупость тоже реальность, но в «утраченном» ряду. Надо чувствовать ряды.

История государств — это смена форм целесообразности. Это один ряд. История культуры — кипение нецелесообразных составляющих внутри этих форм. Это другой ряд. Англичане едины в контексте Великобритании как государства, но копни их души — и обнаружишь кельтов, саксов, норманнов... Копни испанцев — и обнаружишь кастильцев, басков, каталонцев... Копни русских...

Как, а язык?! Разве язык не является мощнейшим средством, спланивающим людей в государства?

Является. Вернее, может являться, если совпадает с государственной целесообразностью. Может и не являться, если целесообразность диктует другое. Сколько государств у народов, говорящих по-немецки? (Что не мешает германской конституции считать потенциальными гражданами всех «этнических немцев», но это уже как раз культурное движение, ищущее, хоть и не находящее государственных форм.)

Латинская Америка — пример того, как языковая общность «разъезжается» с государственной целесообразностью. Меж двумя языками: испанским и португальским — поделили континент, можно сказать, «по линейке»; на будущее культуры это оказало, конечно, свое воздействие, — уже хотя бы потому, что мощнейшая страна этой части света, Бразилия, говорит по-португальски, а остальные крупные страны — по-испански, — но какие это оказались страны, зависело скорее от силовых хитросплетений истории, чем от «первоэлемента» культуры.

Впрочем, при малейшей перемене ветра «первоэлементы» дыбом встают из подсознания и выпрямляются во весь рост. Между латиноамериканскими странами отношения достаточно сложные, и с аргентинцами, например, нет никакой априорной солидарности; есть даже некоторая изначальная оппозиция, отчасти и потому, что итальянские «корни» у аргентинцев сильнее, чем у других «ибериоамериканских» народов; но стоило Англии столкнуться с Аргентиной на Фолклендах, то бишь на Мальвинах, — и все эти народы мгновенно ощутили себя «латиноамериканцами», «ибериоамериканцами», «южноамериканцами», — в то время, как в других сюжетах они оставались эквадорцами, гватемальцами и чилийцами, а при известных условиях ощущали и прапамять, которая у одних — испанская, у других индейская, у третьих африканская...

И никуда эта полифония духа и культуры не денется — какие бы империи ни сплывались и ни разваливались на том или ином «геополитическом пространстве». Они и дальше будут сплываться и распадаться по неисповедимым ритмам «силовой» истории. Но это только один уровень человеческого существования. Только один — из бесконечного множества.

Да, сейчас эти силовые напряжения дробят население гигантских держав на более или менее управляемые «средние» единицы. И «национальное» наиболее близкий (совпадающий) псевдоним для такой единицы. А уж что подпадает под этот псевдоним этнически и культурно, — тайна. Тайна памяти. Тайна личности.

Логикой тут ничего никому не докажешь. Когда украинцы отлагались от Советского Союза, они говорили о том, что спасают свою культуру от русификации. Это было реальное опасение. И логичное решение: защитить культуру силой государства. Я с этим не спорил (дискуссии шли в 1991 году), я только спрашивал: но ведь Галичина, Крым и Донбасс — области с достаточно разными культурными традициями; почему бы, логически рассуждая, каждую из этих областей не защитить своим государственным суверенитетом? Зачем подгонять их все под киевский стандарт? Тут дискуссия кончалась и начиналось кипение казачьих темпераментов:

— Развалить хочешь Украину?! — говорили мои оппоненты. — Не позволим! И обсуждать не будем твой провокационный бред!

И я их понимаю. Если бы они сказали мне в ответ: а русские что, одинаковые в Сибири и в Питере, на Урале и на Дону, — чего ж ты равняешь их всех по московскому стандарту? — я бы тоже не нашел логичного ответа, а противопоставил бы этой логике кипение казачьего

темперамента: это не обсуждается! Единая неделимая Россия тысячу лет стояла...

Вот так. Стояла, а теперь затрещала.

Я, человек, выросший в этом государстве, не мыслю себя вне его. Я вне его погибну. Или вместе с ним погибну. Не как «тело» — как личность.

И все-таки: ведь это правда — русский человек в Питере и русский человек на Урале — разные русские. И донские казаки не повторяют сибирских (хотя могут и всколыхнуться единой волной в какой-то критический момент, при очередном «взятии заложника», — но это именно момент, да так может и «вся Россия» всколыхнуться, и весь «бывший Союз», если, не дай бог, новый Гитлер явится наводить новый порядок).

Вот и выходит, что живет современный человек душой на нескольких уровнях. На одном уровне он — кундрюченский и непохож на бузулукского. На другом уровне он — донской и не похож на семиреченского (а кундрюченское в нем уже притихает). На третьем уровне он — казак (и уже неважно, какого войска). Еще дальше он — русский (и уже неважно, что казак). И дальше европеец, точнее, евразиец...еще совсем недавно: «советский человек». А прилети марсиане, и он — представитель рода человеческого, неважно, с какого континента.

Болезненны, мучительны сдвиги и перемены в этих рядах. От того, что я «советский», я не излечусь никогда. Потому что это не выдумка Ленина или Орджоникидзе, это моя состоявшаяся жизнь. И это — очередной псевдоним того полиэтнического государственного целого, которое исторически реализуется теперь в новых формах на этом же земном пространстве.

Дробится? Примем как неизбежность. И подумаем: где же теперь наша родина при гуляющих туда-сюда госграницах? Границы-то гуляют, а вот точка в центре души остается неизменной. Эта точка — одна, а проекций ее на границы может быть столько, сколько — границ. В зависимости от того, как ложатся силовые линии истории.

Эти линии (границы) чаще всего тоже ведутся по псевдосфере, то есть по воображаемому историческому атласу. Чья земля? Тех, кто здесь раньше всех сел...

Господи, да того, кто раньше всех сел, давно нет в реальности. И что такое «земля»? А то, что на этой земле (и в этой земле) построено, это что, не земля? Ну, так если «земля» принадлежит той нации, которая «титутельная», а обустроивали эту землю веками еще двенадцать наций, — как делить?

Делят обычно — оружием. И получают во владение то, из-за чего заводились: «землю». В чистом виде. То есть выжженную.

Как этого избежать?

Да наверное, вот именно так — дав людям дышать на всех уровнях одновременно: на местном, на региональном, на государственном... Совпадает «национальное» с «государственным»? Замечательно! Редкостный момент: все латыши равняются по «рижскому стандарту». А потом идут с госпраздника по домам: латгалы, земгалы, лифляндцы,

курляндцы... А тут еще рядом: поляки, евреи, немцы-остзейцы... А тут еще русские, оказавшиеся в немыслимом, невообразимом для себя состоянии: нацменьшинство.

«Как жить русской диаспоре?»

Так и жить, как весь мир живет. Ассимилироваться в государственную структуру в той мере, в какой это, как минимум, прилично для человека, не желающего уезжать. И сохранять в душе культуру, которую ты считаешь своей, в той мере сохранять, в какой это, как минимум, предотвращает распад личности. Насчет «отъезда» — тяжелый вопрос, конечно. «Теоретически говоря», человек, внутренне приверженный определенной культуре, должен стремиться соединиться с нею и физически. Еврей, который не может перестать быть евреем, едет в Израиль. Русский, который, живя в Риге, не может перестать быть русским, должен бы...

Но тут на эти логические доводы может последовать такой ответный взрыв казачьего темперамента, что лучше со стороны не давать советов.

Я и не даю. Каждый сам решает, где ему жить. Как в 1946 году решал человек, вербоваться или не вербоваться ему в Прибалтику. Но если уж так выходит, что номинально у человека родина одна, а духовно — другая, то ничего в этом нет ни дурацкого, ни антидурацкого, это в нынешней чересполосной реальности не «несчастный случай», а норма: личность концентрирует множество «рядов» и «слоев»; это у всех так, не только у нас, многострадальных.

Насколько русский человек, оказавшийся в Риге, внутренне остается русским, зависит только от его воли. Захочет удержать Пушкина и Толстого удержит. Не захочет — не удержит. Пушкин и Толстой — не залог чего-то и не награда за что-то. Они — сами по себе ценность; кто обладает, тот обладает.

Что же до дураков... Ну, если никак не обойтись без них в предложенном Дозорцевым определении, — так утешимся таким наблюдением мудрого человека: чтобы посрамить глупость, не обязательно умничать; достаточно согласиться быть дураком в другом роде.

...ЛИТОВЦЫ

ПОСЛАНИЕ К ЛИТОВЦАМ

в ответ на вопросы журнала «Вильнюс»

Дорогие друзья!

Не буду отвечать вам по пунктам — слишком ясно, что вас интересуют вовсе не отдельные пункты — вроде: «над чем работаете» или «какие явления литовской литературы привлекли внимание», — а мое отношение к коренным, поворотным событиям последних лет: к возрождению национальной и государственной независимости Литвы и к тому, чем может обернуться этот поворот в будущем.

Хорошо. Мне и самому эти коренные, необратимые для нашего прошлого события куда интереснее обсудить с вами, чем делиться впечатлениями о новинках литературы или рассказывать о своих «творческих планах». Тем более, что ничего принципиально нового о литовцах я за последние пять лет не написал, а то, что написал (статья о «Путешествии в горы и обратно» Миколаса Слуккиса), — это, конечно, продолжающееся раздумье об отражении общей драмы нашего поколения в литовском зеркале. Принципиально же новое для меня — далековато от литературы (в начале 80-х годов я написал книгу о литовской школе фотоискусства, но и в этой книге — отраженно и перевернуто — наша русская драма потери чувства земли). Более нет ничего. Так что я не чувствую за собой никакого права судить о новинках и рассуждать о тенденциях литовской литературы. Нет на то и решимости. И это последнее (отсутствие решимости, то есть нежелание судить) связано с тем главным, о чем вы спрашиваете и о чем я хочу сказать вам: о моем отношении к «общественно-политическим процессам последних лет в Литве». Ни о чем другом говорить сейчас неинтересно.

А об этом, главном — трудно говорить. Может быть, лучше промолчать. Я и молчал бы дальше, — но оставлять прямые вопросы без прямых ответов значило бы еще больше загнать вглубь те чувства, которые я испытываю. Надо отвечать.

С ощущением горькой неизбежности принимаю я все то, что происходит сейчас между нами. Почему принимаю — это понять просто. Я вообще привык мириться с тем, чего не могу изменить; в меня это смирение вколочено с детства, за которое спасибо товарищу Сталину и всему, что его породило. Не я придумал мировой коммунизм и диктатуру пролетариата, борьбу классов и партийность литературы; я все это получил как данность, как ситуацию, и в этой ситуации я должен был искать свои ценности.

Да, я в высшей степени понимаю литовцев, я приемлю их решение, я склоняю голову перед их безоговорочным желанием расстаться с нами. Но мне грустно, моя тоска невыразима, она полна дурных предчувствий; мне жалко вас терять, мои дорогие, мне горько с вами прощаться.

Вы скажете: да что ты-то поешь отходную? Твои личные связи с Литвой твоё дело. Захочешь — останутся.

Да. Останутся. Даже сам факт, что вы прислали мне эту анкету, настраивает в этом смысле на оптимизм. Но легко ли быть оптимистом на качающейся, трясущейся почве?

Или, напрямую говоря: легко ли быть в этой ситуации русским? И можно ли, честно ли в этой ситуации им не быть?

Я ведь прекрасно понимаю, чем вызвана отторгающая реакция литовцев. Вы отталкиваете от себя не Толстого, не Пушкина, не великую русскую культуру и даже не нынешнюю культуру русских, как ни далека она от классических заветов. Вы отталкиваете наше бескультурье. Вы отторгаете наше хамство, нашу беспардонность, наш нахрап, нашу манеру все делать «скопом», «всем миром», а чаще — «всем миром» ничего не делать. Вас приводит в ужас «лимита», хлынувшая и в ваш край: поселки со стандартными безликими пятиэтажками, над которыми стоит еще и пятиэтажный мат, с выбитыми по праздникам стеклами, с похабщиной на заборах, с барачной психологией, въевшейся в души людей. В вашем сознании это — русские, они заслоняют Пушкина и Толстого.

Да, все правда: и барачная психология, и жизнь «всем миром», и неумение работать, и фатальное охамление моего народа. Не хочу прятаться, говорить, что вы не туда смотрите и что Пушкин должен быть вам важнее матерящегося пьяного лимитчика, не знающего ни слова по-литовски. Пушкин не спасет, да и причем тут классика — жить-то надо сейчас.

Впрочем, я мог бы найти и в этой ситуации выгодную для спора с вами сторону. В обществе всегда есть черная работа, отупляющая, непрестижная. Не всем быть журналистами, надо кому-то и в цехах вкалывать, и дороги мостить, и дома строить, и пыль глотать, и «химией» дышать. Если такую работу делают преимущественно русские, — то это не свидетельство их склонностей, а следствие их судьбы; характер таких людей не предшествует их занятиям, а следует из них. Отупляющая гарнизонная служба тоже не способствует утонченности души, а огромное число живущих в Литве русских — это военные или дети военных, приведенные туда войной. Получается, что тупая и грязная работа, ставящая человека в беспросветные условия, становится фактором национального самоопределения. Чудовищная подмена... Но если русские уйдут с литовской земли, и всю грязную, черную, тупую, беспросветную работу, неизбежную во всяком хозяйстве, станут целиком выполнять одни только литовцы, — доосмыслите сами такую ситуацию и поищите ей аналогов. Или в блаженные сметоновские времена была в Литве классовая идиллия?

Впрочем, не будем об этом. Во-первых, потому, что тотчас въезжаешь в классические марксистские формулы, захватанные руками сталинистов, естественно, ни о чем таком вы и слушать не захотите. И, во-вторых, простите, но в сущности все это теперь не мое дело: ваши проблемы — это ваши проблемы.

Вернемся к ситуации с русскими именно как к ситуации этической, а не социальной.

Итак, перед вами люмпен из рабочего квартала, глушащий водкой свою отравленную «красителями» душу, матерящий «чистеньких господ»... и далее по схеме «второсортного» человека, «голодного и злого соседа», «хама» и т. д. Могу ли я идентифицировать себя с этим человеком — здесь, в России? Нет. Здесь, в России, такой человек — антипод мой, а точнее сказать, объект и адресат моей бессильной проповеди. Но когда такой человек волею обстоятельств становится «представителем России» вне России, — что-то сламывается, меняется, переворачивается в моем нравственном механизме: я должен себя с ним идентифицировать. Друзья мои, поймите, это не парадокс, это закон национальной ответственности: здесь я за него не отвечаю, а там, у вас, я за него отвечаю — перед вами, перед богом, перед судьбой. Я должен встать и я становлюсь в положение того самого русского, который вызывает у вас брезгливость и презрение. Вообразите себя на моем месте и задайте себе вопрос: а когда ваш соотечественник оказывается в несчастном положении, разве вы не встаете на его сторону? Независимо от его качеств, плохой он, хороший ли, а вот просто: надо отвечать за него и вместе с ним, отвечать на ненависть и презрение.

В этой ситуации, скажу вам, меняется все: и «творческие планы», и интерес к «перспективным тенденциям». Одно дело писать о разных преломлениях одной судьбы. И другое дело — писать об иностранной литературе: о югославах, итальянцах или японцах. Да, я и о них пишу: о Селимовиче, о Ландольфи, о Кобо Абэ. Но так писать о литовцах, как я пишу об «иностранцах», — рука не подымается. Я еще не настолько перестроился. Я еще не оторвал вас от сердца, друзья мои, товарищи глухих лет, союзники по тьме. Я еще с вами в душе не расстался.

Умом понимаю: вы правы. «За стеной» вам будет лучше. Мне — будет хуже без вас. Прибалтика — это же огромной важности фактор в нашей судьбе. Полвека почти моей сознательной жизни вы, литовцы, вместе с эстонцами и латышами, были для нас — для меня — единственной реальной Европой, вы были — свет в окошке (Петром прорубленном). Не потому, что такая уж тьма без вас: в конце концов, можно быть счастливым и при Ксерксе, и при Перикле, — а потому, что без вас — совсем другая жизнь, чем с вами.

Вот и получается, что в годы, когда мы были прикованы к одной исторической галере, я делал все для вашего духовного самоопределения (то есть искал национальную несхожесть лиц в пределах советского ареала; в любую щель влезал: где сквозит, где веет вольностью, своеобычностью), а когда самоопределились вы до отделения, — руки мои опускаются, и я не знаю, зачем я и зачем со мной все это: у вас своя судьба, у нас своя.

Так когда-то Балтрушайтис, превратившийся из российского авангардиста в литовского дипломата, — ходил по Москве в поисках людей, которым мог бы почитать свои стихи, — и я его понимаю. Хотя не желал бы ему вернуться на «Ступени» и «Тропы» предвоенного Санкт-Петербурга, зависшего над пропастью мировой войны.

Я не хочу возвращаться в 70-е годы, когда я, лукавая и выкручиваясь, протаскивал свои идеи сквозь редактуру и цензуру брежневских времен, — но я не могу не признать, что именно те времена были для меня порой

живительных контактов с инонациональными душами нашего общесоветского ареала, и именно тогда я увлеченно писал об Авижюсе и о Слуцкисе, о литовском «зонде в подсознание» и о сравнительных достоинствах критических манер Альгимантаса Бучиса и Гурама Асатиани. То время не вернуть. Все в жизни бывает только раз.

Примем данность как данность, друзья мои. И расставим некоторые точки. Позвольте мне привести здесь цепочку определений, пересказываемых обычно в качестве анекдота, но имеющих некоторое отношение к реальности: литовец — это национальность; еврей — это клеймо; русский — это судьба.

Моя судьба — Россия. Несчастье России — мой рок. Когда я вижу русскую землю, заросшую бурьяном, брошенную жителями, а жителей этих, побывавших в общежитиях городов, — толпами стоящих перед дверьми пустых магазинов, — о чем другом могу я думать? Именно здесь, на брошенной земле, — корень тех поражений, которые терпит Россия во всех сферах. О чем бы ни думал, это зияет в душе: там, где должен стоять на своей пашне русский человек, — там пустота, пустошь, пустырь; некому работать, некому жить. Здесь корень бед. Отсутствие корня.

Судьбу не выбирают. Русская судьба прибрала меня к рукам. Оглядываясь, я вижу, что произошло это в середине 80-х годов, и литовская фотошкола, делами которой я жил весь 1983 год, была последней крупной моей работой на нерусском материале. Только этот поворот не связан у меня с наступившей эпохой «гласности», но с более глубокими переменами. Человек сталинской закваски, я неплохо жил при Брежневе: это было «то же самое», но несравнимо мягче, либеральнее, вольготнее. И безнаказаннее. Судорожная попытка вырваться из трясины при Андропове заставила признать, во-первых, что мы в трясины по уши, и, во-вторых, что не в силах вырваться. Черненкоовский год был признанием полной внутренней капитуляции. Поэтому эйфория при начале горбачевской «перестройки» была у меня недолгой: я чувствовал кожей, в какой страшный кризис вошло русское бытие, и не строил никаких иллюзий. Но я не мог уже думать ни о чем другом, кроме как о причинах того горестного состояния, в котором оказался мой народ.

Было время — все к нам шли, хотели быть русскими, включиться в русскую культуру. Теперь — бегут. Не буду углубляться здесь в причины произошедшего, скажу только, что дело вовсе не в «революционной идеологии», занесенной к нам с Запада и исказившей, по мнению некоторых экспертов, голубиную душу русского народа. Дело, я думаю, в тектонических сдвигах геополитики, заставляющих нынешних русских людей бежать с той самой земли, за которую они и их отцы проливали кровь. Дело в самих этих войнах, в давлении окружающих народов на евразийский народ, отвечающий им с той же жестокостью. Если мыслить в категориях троичности, то было три удара: в начале века японский, а потом — два немецких (европейских, ибо не только немцы шли нас убивать). После первого немецкого удара вывернулась Россия наизнанку в революционной судороге и так спаслась. После второго... то есть после Второй мировой войны — вот сейчас мы начинаем переживать ее настоящие последствия. Рушится старое имперское сознание — и кончается русская страница в

мировой истории, — та страница, в которую вписал свое Достоевский, русский гений, посланный нам литовцами, впрочем, белорусы считают его белорусом, а причина та, что шли тогда к нам «дети разных народов», чувствуя, что русскими буквами пишется мировая история.

Что станет с русской культурой при утрате ею мировой задачи, при конце ее всеотзывчивости, обернувшейся трагедией саморастраты? Кому мы нужны в качестве провинциально-национальной подробности? И нужны ли в таком качестве — самим себе?

Хотя, может быть, именно этот, единственно некатастрофический, путь нас и ожидает.

В этом случае у меня нет выбора: надо быть с теми, ОТ КОГО отшатываются. Гулять можно от счастливого народа, несчастному надо быть верным.

Прощайте, милые друзья, собратья, собеседники, товарищи по былой судьбе. Будьте счастливы!

ПОДПИСАНИЕ ПРИГОВОРА

В 1931 году молодой рабочий парень, сапожник из Калварии Юозас Жемайтис за распространение прокламаций получает от сметоновских властей десять лет тюрьмы.

Другой молодой парень, тоже уроженец Калварии, правда, не сапожник, а сын фабриканта, сочувствующий, однако, коммунистам, Янкель Йосаде, получает от коммунистов задание: каждый месяц собирать по десять литов и отдавать сестре Юозаса, чтобы та, купив на эти деньги продуктов, могла отвезти ему в каунасскую тюрьму передачу. Любопытно, что деньги эти Янкель собирает среди рабочих на фабрике своего отца.

В 1940 году в Литву входят советские войска. Евреи встречают их цветами. Юозас, не досидевший года, освобожден. Сестра встречает его у ворот тюрьмы. Отводит к Янкелю: «Вот твой спаситель».

Юозас живет у Янкеля несколько дней, потом получает от новых властей назначение — секретарем горкома партии в родную Калварию. А вскоре и приказ: составить список на депортацию.

Местный фабрикант, естественно, попадает в список.

14 июня 1940 года в шесть утра жена фабриканта в панике звонит сыну в Каунас:

— Янкель! Нас высылают в Сибирь! Спасай!

Янкель прыгает в такси, едет в родной городок, является в горком, проходит прямо к секретарю и глядит в глаза.

Юозас бледнеет:

— Но ведь тебя же я не трогаю.

— А мою семью: мать, отца, сестру... Что с ними будет в Сибири?

— Не знаю. Я ничего не могу сделать.

Тот поворачивается к выходу.

— Стой! — возвращает его Юозас. Приказывает всем выйти и, оставшись наедине, протягивает карандаш:

— Вон список на столе. Вычеркни их сам.

Янкель берет карандаш и вычеркивает.

Год спустя вся его семья, оставшаяся в Литве, погибает.

Выселенные в это время мучаются в Сибири. Потом уцелевшие возвращаются.

Среди тех, кто остался в Литве, уцелевших нет: из четверти миллиона литовских евреев (а это была полная самоуважения этническая группа, гордившаяся своей верностью ветхозаветной вере, не желавшая ассимилироваться подобно прочим евреям и даже именовавшая себя по-особому: литваки) — из четверти миллиона литваков, живших в Литве к 1939 году, в живых осталось — 25 тысяч. Да и те не в Литве уцелели, а в Шестнадцатой дивизии (наполовину из литваков состоявшей), да в той самой Сибири, куда их депортировали.

Юозас и Янкель — оба воевали в Шестнадцатой дивизии и оба остались живы. Юозас после войны какое-то время горел на партработе, потом был опущен в коммунальную службу и безвестно помер. Янкель стал журналистом, потом литературным критиком, потом драматургом, писателем. Литовским советским писателем. Из иудаизма он перешел в социализм. В конце сороковых годов, страха ради иудейска, сжег еврейскую часть своей библиотеки, сменил имя Янкель на Йокубас и стал писать по-литовски. Так он выжил, выдержал, выкарабкался — если не на вершины литературной славы, то на прочный профессиональный фундамент. Дожил до восьмидесяти четырех лет. Мучительно думая о смысле жизни, в последние годы искал понимающего собеседника и нашел — в лице московского литературоведа Евсея Цейтлина, который с распадом СССР переехал в независимую Литву и перешел в этой связи из социализма в иудаизм.

Книга Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», выпущенная в Вильнюсе, — трагическая исповедь, записанная из уст человека, который ждет смерти как избавления от мук совести. Философский аспект этого репортажа о собственном умирании достоин отдельного разговора, в контекст которого надо будет включить толстовского Ивана Ильича, а также академика Павлова, Николая Островского и, пожалуй, того американского интеллектуала, который предложил всем желающим наблюдать его агонию по каналам Интернета.

Сейчас мне интересно другое. Прожитая долгая жизнь и ее итог.

Литовский советский писатель Йокубас Йосаде мало озабочен тем, что дюжина его пьес и несколько десятков или сотен статей, написанных в годы заведования отделом критики журнала «Пяргале», канут в небытие; его не трогает вопрос о том, одну или две строки посвятят ему историки литовской литературы советского периода. Но: какой смысл в его судьбе? Что заставило его «бежать из еврейского рая» и объявить себя литовцем? И еще раньше: что заставило взять тогда карандаш из рук секретаря горкома?

«В Сибири они, может быть, и выжили бы».

«Я подписал своей семье смертный приговор».

«Почему он протянул мне карандаш?»

Юозас — разве мог знать, что литваков будут убивать поголовно — в Девятом форту Каунаса, в Ковенском депо, в вильнюсском пригороде Панеряй?

А кто будет убивать — знал?

Бывшего фабриканта Йосаде, отца Янкеля, казнили не немцы. Его казнили «люди с белыми повязками». Не немцы начали уничтожение евреев после захвата Литвы летом 1941 года. Немцы, конечно, прикончили бы всех аккуратнейшим образом, но начали в тот момент не они; начали — с их попушения — литовцы. Местное население. «Народ».

Подождите. Во всяком народе хватает всякого: и того и другого. Убивали и в Сибири. Но там же и спасали (помните фильм «Долгая дорога в дюнах» — латышский вариант саги о депортированных — как сибирские бабы старались облегчить жизнь рижанкам, там загибавшимся, причем те бабы отлично понимали, что самим им ни при какой ситуации не светит в будущем никакого даже подобия рижского комфорта).

Страшно в Сибири. Страшно в России. Страшно под властью Сталина.

Ну, так бери карандаш и решай, в каком ты списке. И каков твой маршрут.

Положим, такой:

1941: теплушка, тюрьма, лагерь, барак и возможная смерть в Сибири.

1951: Советская Литва — страх тюрьмы, лагеря, гибели.

1971: Все та же Советская Литва — страх... нет, не гибели — потери духовного комфорта, возможности писать и печататься.

И все это — от Панеряйских могил до возмущения, что не дают «печататься», — покрывается и подпитывается одним вселенским словом «антисемитизм»?!

Может, все-таки вдуваемся в нюансы?

В 1951-м — в ту самую пору, когда завкритикой и ответсекретарь журнала «Пяргале», уже спаливший свою еврейскую библиотеку, уже сменивший имя, уже перешедший с идиша на литовский язык, ждет если не ареста, то увольнения по «пятому пункту», он знает и другое — среди литовцев действует негласное правило: еврея — не выдавать. То есть в каждой редакции непременно должен оставаться один еврей. Чаще всего именно в роли ответственного секретаря. Его не повышают, но и не трогают. Нужен «трудолюбивый спец», перепуганный и потому ни на что не претендующий? Да, так. Этим объясняют ситуацию литовцы — и себе, и «московским товарищам». И «московские товарищи» — знают эти правила игры и соблюдают их. Пока сверху на них самих не нажмут другие товарищи без всяких правил.

Ах, так это всего лишь «правила игры»? Тогда при чем тут «совесть» и прочие мерехлюндии из арсенала плакальщиков?

А при том, что всякая система состоит из людей. И если система сверху донизу — делает вид, что она выдавливает евреев (и

выдавливает-таки), а люди по возможности их спасают (хотя делают вид, что давят), — значит, не так проста и эта система, и не так просты эти люди.

Люди — лукавы, хитры, изворотливы. Система — блудлива, лжива, демагогична. И оставляет людям — пусть минимальный — шанс ослабить давление. Именно потому, что она, система, блудлива. А блудлива потому, что знает человека. Который лукав. А лукав потому, что знает блуд системы и не хочет брать лишний грех на душу.

«Разве это был антисемитизм? — вспоминает старик в беседе с Цейтлиным незадолго до смерти. — В те страшные годы почти все крупные литовские писатели поддерживали меня... Шимкус, Балтушис, Венцлова, Цвирка, Тильвитис... Я чувствовал их теплые взгляды, которые резко диссонировали с тем, что писали газеты. И не только взгляды. Как раз в разгар „дела врачей“ меня вызвал к себе Балтушис — в ту пору мой шеф, главный редактор журнала „Пяргале“: „Слушай, Йосаде, тебе надо сейчас поехать в Ялту. Вот путевка в дом творчества на два месяца, потом сможешь остаться там еще“... Это было не только со мной. Я знаю еврейских журналистов, которые, на первый взгляд, серьезно пострадали в период „борьбы с космополитами“. На первый взгляд... В сорок восьмом году с ними, если не ошибаюсь, беседовал сам Шумаускас (в то время — заместитель председателя Совета министров Литвы). Разумеется, беседовал с каждым наедине. Схема разговора была той же: „Уезжай из Каунаса в Шяуляй... Дадим квартиру... Дадим работу“. А формально „еврея-космополита“ убирали из партийной печати. И рапортовали об этом в Москву».

Литовцы не могли отменить тот «государственно-партийный антисемитизм», который им спускала Москва. Но они, как могли, его смягчали. Те самые литовцы, которым — после июньской бойни сорок первого года — можно было приписать (и приписывали) повальную юдофобию.

Да что говорить о тех «рядовых интеллектуального фронта», которые по редакциям и театрам, по институтам и студиям тихо упирались, не выдавая евреев на расправу, — сам Палецкис — Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР — позвонил как-то в редакцию... впрочем, передаю слово прямому свидетелю, взявшему трубку.

«— Йосаде? Приходи в Президиум. Тебе приготовлен пропуск. Сейчас десятый час. Жду тебя ровно в одиннадцать.

Через час я сидел в кабинете президента у огромного — хорошо помню блестящего письменного стола. (Почему-то показалось: стол — из слоновой кости).

— Вот два написанных мною рассказа, — сказал он, словно продолжая ранее начатую беседу. — Оба по шесть страниц. Будь добр, прочитай их, но очень внимательно. А я на десять минут выйду.

Я прочитал. Очень внимательно. На одном дыхании... У меня потемнело в глазах. Передо мной лежали две сценки из жизни гетто. Я увидел голодных детей. Услышал выстрелы, крики. Испуганные люди куда-то бежали, спешили спрятаться... Акция уничтожения. Слезы евреев, муки евреев.

Вскоре Палецкис вернулся в кабинет и сел напротив меня.

— Прочел?

— Да.

— Как написано?

— Гм... впечатляюще.

— Йосаде, я тебя очень прошу, сделай так, чтобы рассказы были напечатаны в „Пяргале“. Я знаю, ты — хозяин там, ты сможешь... Договорились?..

Я вышел из кабинета и еще долго не мог прийти в себя... Неужели Палецкис такой наивный человек и сам не понимает, что теперь такую ересь нельзя печатать, спрашивал я себя, а в сердце... Признаюсь, хотя я много лет знал этого честного литовца, настоящего интеллигента, у меня возникло мерзкое подозрение: это провокация...

Конечно, рассказы о гетто журнал не напечатал. Вроде бы я их показывал редактору, а может, и не показывал, не помню.

...Вскоре, 5 марта 1953 года, умер Сталин».

Теперь можете делать выводы и строить версии. Нет, не о том, «показал» или «не показал» Йосаде тексты редактору — уж если пришла в голову «провокация», — то, конечно, ни черта он не показал. Но не о нем речь — о Палецкисе. Он что, настолько был информирован, что «просчитал» смерть Сталина и решил загодя вписаться в новый «поворот»? Не поверю. А вот в другое — поверю: просто излил душу честный литовец. Головой рискнул, между прочим. Весь свой авторитет «Председателя Президиума» и т. д. поставил на кон — может, надеялся: должность защитит.

А если так, то подозрение в провокации, строго говоря, — действительно мерзко. И то, что Йосаде лично приговорил рассказы к корзине, — к тому близко. Наверное, оба это поняли: и Президент (первое лицо республики, «хозяин», так сказать), и ответственный секретарь журнала (никакой не «хозяин», а тот самый «единственный еврей», которого держали по «правилам игры»). Встречались потом — ни словечком не обмолвились о том эпизоде. Чтобы от стыда не сгореть: еврей — за то, что он про литовца подумал; литовец — от неловкости, что догадался, что тот подумал.

Кто без греха — пусть бросит в них камень.

Но откуда этот град камней, этот повальный грех, эта чума, общее помешательство, когда вроде бы все — сторонятся и мучаются, и однако все участвуют? Почему из «центра», то есть из Москвы идут чудовищные директивы? Там-то, в Москве, нормальные люди тоже ведь сторонятся мерзости. А масса? Ах, масса... Что, Сталин — один закрутил антисемитскую карусель? И у него одного — хватило бы сил?

Йосаде понимает: «Это, конечно, не так. Смерть тирана сама по себе мало что решает для маленького человека. Тиран продолжает жить в душах миллионов».

А в душах миллионов это — откуда? Эта ненависть?

«Изгнание... Погромы... За десять заповедей Моисея мы заплатили кровью. За то, что еврей из Назарета завещал любить ближнего, как самого себя, заплатили кровью. За то, что Маркс требовал справедливости, — снова кровь. Из поколения в поколение реками льется наша кровь. Нас ненавидят...

— Почему же?

— Среди прочего, и за наши постоянные „почему?“».

Это — из пьесы Йосаде.

А вот — из его предсмертной исповеди Цейтлину:

«Ах, как я гордился, мальчишка, когда мама привезла меня впервые в Каунас! Почему я гордился? Видел всюду на улицах столицы вывески с еврейскими фамилиями! Нет, мне и в голову не приходило спросить: а что думают по этому поводу литовцы? Может быть, то, что вызывало у меня гордость, казалось им унижительным?»

Понять то, что казалось унижительным ИМ, понять ИХ чувства — для этого «мальчишке» понадобилось восемь десятков лет жизни. И поездка в Израиль на старости лет. И странная аналогия: а если, к примеру, израильтяне в центре Тель-Авива на шикарной улице Дизенгофа в один прекрасный день обнаружили, что большинство магазинов, кафе, кинотеатров, одним словом, «вывесок» принадлежат не евреям, а арабам, — что они, евреи, должны были бы почувствовать? Они подумали бы: но ведь это НАШЕ государство!

Но ведь и литовцы думают то же самое: это НАШЕ государство!

В 1940 году перед евреями встал смертельный выбор: Гитлер — это смерть, Сталин — это все-таки надежда. Евреев можно было понять, когда на улицах литовских городов они с цветами встречали советские танки. Но поймите же и литовцев: что они должны были чувствовать, глядя на эти цветы, — при гибели их национального государства?

А ведь по сути — это вовсе не еврейско-литовская проблема. Это проблема национального сознания вообще. Любого. Еврейского, литовского, русского, польского, дагомейского... Человек, вступивший в это магнетическое поле, должен быть готов к тяжелому выбору и к губительным последствиям. Как старик Йосаде, которого после его исповедей насчет правоты литовцев евреи объявили предателем.

Что он мог ответить?

Он ответил: если еврейский вопрос состоит в том, чтобы диаспора исчезла ради «нашего государства», то есть если «евреи» с их привычкой сносить унижения хотят превратиться в гордых «израильтян», отвечающих ударом на удар, — в таком случае я — не израильтянин, я по-прежнему «еврей»!

Кто может понять Йосаде в этом безумии?

Правильно: русский интеллигент. Знающий: «Поэты — жида».

Гордость, знаете, дело тонкое. Вот был поэт Ошерович. Не стерпел советских унижений — уехал. И на творческом вечере в Тель-Авиве выставил коробочку: «для пожертвований в пользу выступающего поэта».

Так что унизительнее: секретная «комиссия», при жизни «тирана» за закрытыми дверями решающая, как тебе жить, или гласная «общественность», которая после смерти «тирана» делает то же самое?

Потому и не поехал Йосаде. Ни в Израиль, ни в другую цитадель свободной «общественности». Предпочел остаться в диаспоре и лечь в землю Литвы. В ту самую землю, куда легли литваки в сорок первом году.

Кладбище, их упокоившее, впоследствии снесли. Литовцы.

Но нашелся литовец — великий фотохудожник Римантас Дихавичюс: незадолго до уничтожения еврейских могил пришел и отснял эти заснеженные камни.

И его работы обняли, одели, охватили обложкой посмертную книгу Йокубаса Йосаде.

Так откуда идут зло и ненависть, если все — не хотят, и уклоняются, и упираются?

А черт его знает, откуда.

Лев Николаевич Гумилев вон даже целую теорию выстроил, чтобы объяснить это вспыхивающее в людях всеобщее опьянение насилием. «Пассионарность».

«За что убивают?» — спросил себя Йосаде на девятом десятке. И ответил: «Да просто так».

«Что творится в мире? Сизиф падает вниз... Все кончено. Ненависть победила. Цивилизация обанкротилась».

Так что же, падать безвольно сизифовым камнем?

О нет, так сразу не получится. Сначала — приговор. И подпишешь ты его себе — сам.

Как когда-то Юозас Жемайтайтис, побледнев, протянул карандаш Янкелю Йосаде:

— Ты лучше меня знаешь, что кому уготовано? Вот сам и решай.

...ЕВРЕИ

ПРО НАШЕ И НЕ НАШЕ

Чтобы читатель понял контекст и подтекст того суждения, которое я хочу откомментировать, два слова предварительно. Дело в том, что А. Солженицын, разворачивая свои посильные соображения о том, как нам обустроить Россию, имел неосторожность вскользь упомянуть Израиль. Причем не в укор, а в поощрение, и даже в пример нам: там-де, в отличие от нас, не капитулируют перед американским культурным империализмом с его «интеллектуальным мусором».

Как известно, всякое упоминание Израйля ложится в еврейскую душу на одну из двух чаш: либо это упоминание просемитское, либо антисемитское. А поскольку Солженицын, походящему в Израйле мнению, — антисемит (политический и даже метафизический, то есть невменяемый), то новое его прикосновение вызвало ярость, и со Святой Земли в неосторожного пророка полетели камни. Выяснилось также, из какого источника писатель почерпнул свои впечатления, — из статьи Нелли Гутиной, блестящей публицистки, автора тель-авивского журнала «22».

Публицистка, оказавшаяся в пикантном положении, взяла слово, чтобы оправдаться в своем «неофундаментализме». И написала, в частности, следующее (журнал «22», (75, с. 209):

«Да, западная цивилизация прекрасна, и западный мир, при всех его несовершенствах, — наверно, лучший из всех ныне существующих миров. Глядя на его замечательные достижения, легко уподобиться нуворишу в роскошном универмаге: подайте мне, пожалуйста, французскую кухню, американскую технологию, английские манеры и заверните все это в универсальную культуру...

Этот левантийский способ испробован и, как оказалось, „чреват“. На французской кухне выросли поколения интеллигенции Магриба — интеллигенции, не знающей арабского языка, писателей, получающих французские литературные премии, и вот сейчас новое поколение этих интеллектуалов... выдавливает из себя французскую культуру с помощью исламского фундаментализма. Говоря о марксизме на русской почве, переродившемся в кровавую диктатуру, много спорят о том, что здесь от марксизма, а что от почвы, тогда как важно не это, а сам факт противоестественного смешения: попытка перестроить Россию на манер западных демократий тоже не удастся. Евреи, начиная с девятнадцатого века, создавали симбиоз с европейской культурой; они вполне восприняли и освоили достижения западной цивилизации и... получили Освенцим. Христиане в Бейруте имели вполне „невинное“ желание жить на западный манер в центре Востока, и это кончилось для них трагически.

Урок, однако, не освоен, и многим еще кажется, что английская лужайка, которую подстригают четыреста лет подряд, может зазеленеть и в пустыне, если только очень захотеть и не поскупились на усилия и расходы; в крайнем случае, ее — готовую, пропитанную дождями и туманами — можно просто пересадить. А также изменить русла рек и ход истории. Современное варварство состоит в комплексе Эллочки-людоедки. Потребительский комплекс неудовлетворенного до конца мещанского вожделения может развиваться и на уровне идей».

Не хочу скрывать: обширность цитаты продиктована с моей стороны соображениями отчасти эстетическими: всегда приятно переписать блестящий текст.

Не крою и того, что в данном случае мне интересна не эволюция Н. Гутинной как идеолога: по словам рассерженных оппонентов, она прошла путь «от крайне левого палестинофильства в духе кнаанитов до радикального „израэлизма“ в стиле Гуш-Эмуним». Ну, прошла и прошла. Вернется — тоже хорошо. Это не наши проблемы. Но я думаю, что в выше цитированном рассуждении каждое слово обращено к нам, русским, а вовсе не к «христианам в Бейруте». И хоть за двадцать лет эмиграции, отъехав от наших палестин к палестинам не нашим, ни словечком прямо не задела Гутина «русских дел», а взвешивала в основном перспективы новой израильской нации, созидаемой не только из евреев диаспоры, но и из представителей всех народов «ближневосточного клуба», оказавшихся на святой земле (к сведению читателей, если не все знают: вера в Ханаан как исток нации, более ценный, чем иудаизм, — и есть идеология кнаанитов), — и тем не менее: пишет Гутина по-русски (замечательно пишет), пишет в журнале, адресованном русским евреям (и тамошним, и тутощним), а главное, пишет так, что русский (советский) опыт вопиет из каждой строки.

Поэтому и хочется ее откомментировать.

Дорогие соотечественники, русские люди! Нувориши в роскошном западном универмаге — это мы. Это мы в отчаянии хватаемся сейчас за французскую кухню, американскую технологию и английские манеры. Манерам нас обучала, как помнится, Маргарет Тэтчер, технологию предлагает изучать Джордж Буш, а префекты и мэры, поселившиеся сейчас в нашей политической реальности, прямо с французской кухни. Перестраиваем Россию на манер западных демократий. Конечно, приятно узнать, что мы не одни такие шустрые, что смыкаемся с «интеллигенцией Магриба»... Я бы добавил сюда и интеллигенцию Машрика, ибо не только на арабском Западе, но и на арабском Востоке люди, испробовавшие «левантийский способ» освоения западной цивилизации, отпали в «дикий» исламский фундаментализм. Иран времен шаха сравнивали с Россией времен Петра: чего им было плохо? Тут надо, наверное, учитывать иррациональный характер человеческого (а значит, и национального) достоинства, — гордость дороже западной культуры. Так что остается вполне открытым вопрос, что же отбросило арабов в фундаментализм; может, и не «потребительский комплекс», а, грубо говоря, унижительная израильская оплеуха 1967 года? Но это, повторяю, не наши дела, и лучше нам в них не углубляться.

А наши — таковы, что мы сегодня, под градом насмешек и издевок, вынуждены просить у «растленного» Запада все то, что с презрением топтали и высмеивали в течение десятилетий как плоды неудовлетворенного мещанского вождения. И не только технологию, но берем и «мусор», плывущий к нам в потоке массовой культуры.

Так вот, я хочу сказать: соотечественники, не бойтесь. Да, это унижительно, горько, больно, но если уж выпало нам пройти через такое пройдем с достоинством. И побыстрее. Дело не в том, «мусор» или не «мусор», и не в том, что кому по вкусу. Мне, например, не по вкусу рок-металл и современная агрессивная музыкальная культура. Поколение у меня не то, опыт не тот. Я знаю, что все равно решит личность, и из тысяч фанатов, орущих на Тушинском стадионе, культуру будут создавать единицы, которые почувствуют, что их зовет бог, но дело не в этом неотменимом законе, а в том, как он практически реализуется на нынешнем этапе нашего пути.

Так вот: все культуры периодически проходят через такие реанимационно-подражательные этапы. Весь наш Восемнадцатый век — сплошное заимствование, освоение, как сказал бы Кюстин, чужих титулов и заглавий. Так ничто же и не помешало русскому гению вселиться в «чужие формы», когда опыт накопился и вызрел; ничто не помешало Крылову выйти «из Лафонтена», а ученику Руссо — стать Толстым.

Да и Лафонтен не «из Эзопа» ли вышел? И французы эпохи Руссо — не бредили ли Римом? А Рим в свою очередь — не бредил Элладой? А американцы на чем культуру выстроили? На сплошных цитатах. Кому это сейчас мешает? Да они так вжились в эти цитаты, так их напрочь пересоздали, что стали американцами, и пусть кто хочет, ищет теперь, в какие мехи было влито вино — это их вино.

Так и с нами. Будет сила — никто не вспомнит, на что эта сила оперлась в критический момент, с какой кухни что подобрала. А иссякнет сила, — никто и нас не вспомнит, и разговора не будет.

Но не исчезнет же духовная энергия стомиллионного народа с тысячелетней историей! Пройдет митинговое безумие, минует истерика кризиса, преодолется паралич лени и отчаяния. И станем жить, работать, верить. Те формы, какие будут удобны, — те и возьмем («напрокат», «на вырост», «на шарап», «на халяву»). И сделаются — наши. Никто их обратно не требует.

Правильно Игорь Дедков ответил когда-то на возобновленные в печати характеристики русских из давней книги Кюстина, на все эти «обезьянства», на «дар подделки» и перелицовку «европейской цивилизации для азиатов». Тихо ответил, или просто подумал: это наша жизнь, наша отрада.

Если сами выдержим, то и не важно, окажемся ли в чьих-то глазах попрошайками и напомним ли кому-нибудь Эллочку-людоедку.

ПРОСТЫВАЮЩИЙ СЛЕД АГАСФЕРА

— Ты откуда? — Никто не ответил.

— Ты куда? — Не ответил никто.

Из книги «Свет двуединый»

Русско-еврейский диалог завершается. Жаль. Грустно всякое расставание. Хотя это, казалось бы, должно обрадовать обе стороны. Евреи, проводшие в «утробе Империи» двести лет, из которых двадцать последних — в активном отказе, — уходят, наконец, за ее рубежи, в землю обетованную, изживая в душе очередное «пленение» и проклиная страну, то ли их приютившую, то ли принудившую, то ли спасшую, то ли зажавшую. И сама эта страна должна, кажется, вздохнуть с облегчением: беспокойное племя покидает ее пределы; бесы, совратившие простодушных русских людей в революцию и коммунизм, исчезают за горизонтом; торгаши и проныры, вызывавшие зависть и ненависть, проваливаются, наконец, восвояси. Слава богу, кончается эта история. Все: нет больше в России евреев.

Дело, естественно, не в этническом происхождении: мало ли людей «иной крови» влилось в русский народ, который весь и составил — то из перемешавшихся племен: финнов, славян, тюрок; те, что вливались, становились русскими, в том числе и те евреи, которые на это согласились.

Но в том-то и дело, что в основном — не согласились, не смогли, не сумели стать русскими. Что-то в душе помешало. Не потому, что родились евреями, а потому, что вели себя как евреи. И вот — уехали.

Те, что остались, — во втором-третьем поколении и думать забудут о своих исторических корнях, и проверять эти корни вряд ли кто-нибудь станет. Так что придется русским людям на роль совратителей и виновников искать кого-то другого. Неважно, кем по крови окажутся эти новые ответчики. Но это будут, наверное, уже не евреи.

А евреи в маленькой крепкой державе на Ближнем Востоке будут решать свои, ближние, восточные проблемы. Агасфер уgomонится. Вечный жид, вместилище мирового духа, — станет нормальным обывателем в мировом сообществе, наподобие бельгийца или канадца. Есть же у России культурный обмен с Бельгией и Канадой! Будет и с Израилем.

А двести лет яростного и темного сожительства? А смысл этого полувменяемого диалога, втянувшего души в беспредельную тяжбу и вывернувшего мозги местечковым мудрецам и русским интеллигентам? Выходить из общины, не выходить из общины... Выйти — значит перестать быть евреями; не выйти — значит, отгородиться от русского общества, обречь себя на местечковое прозябание. И, с другой стороны: принимать евреев в русском обществе как «людей вообще»? Но это значит: отказать им в национальной принадлежности. Принимать именно как евреев? Но это значит отказать им в русской принадлежности.

«Проклятый народец». Ни так, ни эдак не угодишь. И зачем Екатерина прикупила их у Европы при очередном разделе Польши? Так и не влились, не слились. Без земли, без языка, без «компактного проживания», когда, казалось бы, нечем и удержаться в качестве «иностранцев», а надо бы раствориться без остатка и сопротивления, — так и не растворились. Выпали в осадок. Удержались непонятно чем. Чистым именем, пустым звуком, святым духом.

Загадка.

Разгадывается она — с отъездом. Святой дух возвращается на Святую Землю. Звук имени наполняется государственной медью. Величие страдания входит в нормальный масштаб.

Но ведь и Россия в момент расставания находится в кризисе своего величия. На месте империи, державшей за шиворот полмира, — ворох притирающихся друг к другу малых осколочных государств. С распадом Советского Союза Россия уже лишилась половины своей весомости, а теперь угроза распада и дробления висит уже и над нею самой. Я имею в виду не великороссов, чья этническая суть никуда не денется, я имею в виду русское дело как часть мирового дела, русское величие, создававшееся усилиями также и украинцев, татар, прибалтов, молдаван, кавказцев и — евреев, становившихся русскими.

Неудача этого дела, крах коммунистической утопии, поставивший под вопрос русскую мировую роль, закат русской всечеловечности — все это ставит русских в положение, в чем-то сходное с положением евреев: вместо мировой роли надо сживаться с рядовой ролью, сжиматься до нормы, «мести свой кусочек улицы».

Не расставание страшно. А тревога, простершаяся над двумя ненормальными народами в момент разрыва. Тревога от мысли: что же означало это двухвековое сосуществование? Зачем понадобилось оно в ходе судеб, если кончается таким прощаньем?

Эмоция, лежащая на поверхности: взаимная обида. Неразделенная любовь. Мы им давали, а они не взяли. Мы их любили, а они отвергли. Нет и не будет с ними счастья.

Несчастнейшие из сыновей покидают опостылевшую землю, а родина-мать, оборачиваясь мачехой, грозит им клюкой и злобно плюет вслед. А если и не грозит, если и не плюет, то все-таки примечает. Как сказал поэт:

Она, может быть, и исполнит

Иные из наших начал.

Но тихо и крепко запомнит,

Что этот вот лодку качал.

Попив из «святого колодца»,

Колодец завалит с душой.

А там уж сама разберется,

Кто свой ей, а кто ей чужой.

Я в этой статье опираюсь на стихи, потому что поэзия лучше публицистики выявляет общий тонус, общий образ оставляемой, остающейся в памяти евреев России. Поэзия на частности не отвлекается.

Она не выясняет, кто же свой, а кто чужой, потому что тень такого вопроса действует сильнее любого ответа на него. Чужая земля, чужая вина.

Что же это за страна, двоящаяся матерью-мачехой, за двести лет так и не разгаданная, так и не принявшая льнувших к ней несчастнейших сынов?

Образ страны зыблется в памяти Агасфера. Россия непрочна. Россия бесплотна. Россия абсурдна. Россия бесследна.

Непрочность, зыбкость, непредсказуемость мерещатся за ее замками, запорами, задвижками и запретами. Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках — именно потому, что сплетается все из хрупкого, мягкого, неверного. Человек в этой стране не может ничего предвидеть, а если предвидит, то — рвы и ямы Бабьего Яра; он живет под занесенным мечом; он видит невозможные снега над расширяющейся бездной, он чует бездну, провал, развал. Он бредет вдоль колючей проволоки, всматривается в капли, сияющие на железе, и думает, что в сущности ничего здесь больше и нет: только эти капельки на железе, а за проволокой — тщета, безнадега, бездонность. Здесь человек чувствует, как исчезает грань между жизнью и смертью; он слышит, как мертвые шевелят костями и как живые входят в бездонные летейские воды и дважды, и трижды, и многожды... Из небытия возникает человек и в небытие исчезает:

«Я был остывшею золой без мысли, облика и речи, но вышел я на путь земной из чрева матери — из печи».

Жизнь — бесплотна, ирреальна, воздушна. Гнездо свито в кратере; в любой момент можно сгореть. Тема снега, свинцовой холодной обреченности сменяется темой огня, обреченности пламенной, плазменной, воздушной, воспаряющей к небу. «Нежная славянская плацента» горит многоязыким пламенем; этим пламенем горят и пылкие еврейские души; бессмертный товарищ Чапаев летит вместе с евреями в атаку на затраханый Богом Бейрут, и эта фантазия прекрасна при всей своей чисто русской придури; в реальности же задавленный, огни и воды прошедший, готовый все потерять русский поэт «еврейского происхождения» скачет в каком-то ином измерении, вернее, в том же ирреальном измерении, но чаще — в другой тональности:

Мне выпало счастье быть русским поэтом.

Мне выпала честь прикоснуться к победам...

Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фурты в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.

Русь — это абсурд и непредсказуемость. Это обваливающиеся мосты, заваленные тропы, брошенные деревни. Это веселые сны посреди грустных

просторов. Это богоданное безбожие, вечные качели между блаженством и скотством, это демократия пьяни, братание с первым встречным. Это привычка к неожиданному, необъяснимому, выходящему из рамок и правил. Это смесь всего и вся: Европы и Азии, культуры и дикости, мощи и бессилия.

Все перепуталось тупо:

Пушки Путилова, Круппа,
Танки завода Рено,
Жидкие порции супа,
Радио, Сталин, кино.

Абсурд живучести. Бесконечность скрещений и безначальность качеств, одинаковость шинелей, гимнастерок, погон, дождей, песен. Серый цвет — цвет времени и высушенных временем бревен, цвет смешения: черное — белое, живое — мертвое, остывшее — горячее. Все пегое, пестрое, стекающее в общую бездну. Только в России можно вжиться в такой живительный абсурд:

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
То ли дернуть отсюда по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
Паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:
Как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
Колесо паровоза...

Россия — это царство бесследности.

И именно здесь, где время стирает все: следы материальных усилий, зарубки памяти, ощущения отдельного индивида, — именно здесь предпринимаются самые отчаянные попытки удержать лицо: противостоять этой всесильной «фузе».

Зов прародин — вот одна из последних спасительных опор. Желтые звезды загораются, прожигая серые лохмотья. Зов предков, зов крови. Зов царской крови, как иной раз именем Книги Царств ограждает себя еврейская душа среди всеобщего ровного изгойства. Жезл патриарший, пылающий куст и чернеющий крест прорезаются в тумане. Горючие проклятья прадедов помогают окликаться и в безмолвии пустоты, и среди ревущих толп. Еврею мстится, что сказать «все — как в древности» — значит остановить этот хаос, это безначалье-бесконечье, эту бесследную невменяемость бытия.

Все, как в древности: дикое пенье,
Ожиданья тягучий застой;
И над всем, словно чудо прозренья,

Примиренье с любой судьбой.

Не буду проследивать по стихам отъехавших поэтов, как на Святой Земле это жгучее стремление бежать из России оборачивается неожиданной тоской по оставленной матери-мачехе. У меня и помимо стихов было достаточно случаев убедиться в ностальгии, охватывающей бывших русских евреев в Израиле (там они неистребимо именуются «русскими», как здесь не могли перестать быть «евреями»). Не испытывая по этому поводу никакого пристрастного чувства, то есть ни торжества, ни злорадства, — я зимой 1993 года в ходе одной телепередачи коснулся этой темы в диалоге с Вл. Ем. Максимовым. Критик Мих. Золотоносов в газете «Московские новости» оценил нашу попытку «рассуждать о евреях и „русофилии“ в Израиле» как комическую, заметив, что «лучше бы об этом размышляли Мартин Бубер и Ханна Арендт». Что именно показалось М. Золотоносову комическим, я не понял, но уловил, что мои рассуждения на эту тему его неприятно задевают. Ладно, не буду. Пусть, в самом деле, об этом высказываются М. Золотоносов и другие соплеменники Мартина Бубера и Ханны Арендт. Это, видимо, и будет продолжение диалога, вернее, это будет конец русско-еврейского диалога, грезющий мне в наших разводно-отъездных делах. Но «русскую половину», надеюсь, М. Золотоносов позволит мне додумать?

Так вот, я думаю, тут важно то, что еврейская тоска по прародине есть своеобразный выворот русской судьбы, постигший евреев в последние два века их двухтысячелетнего скитанья. Народ, готовый поступиться всеми «естественными условиями бытия» ради самого факта бытия (я употребляю термины Ницше из «Антихристианина», но можно описать это и иначе) — народ, согласившийся потерять, казалось бы, все: землю, государство, язык, веру, мораль (две последние ценности евреи бросили в «мировой пожар» революционности) — за что народ все это отдал? За факт бытия. За звук имени. За один этот звук, за чистый факт, за след в бесследности. И из этого звука, факта, следа — и язык возродили, и веру, и мораль. И на землю вернулись, и государство теперь воссоздали и отстояли.

Но это теперь. И теперь — это великий искуc для евреев: отдать мировое страдание за крепкий уютный угол. И это — конец того диалога, который мы стремимся разгадать, того, в котором еврейские и русские души мучились, узнавая и не узнавая друг друга. Теперь — все ясно, и узнавать нечего: вот рубеж, вот виза, вот дипотношения. Вот Россия, а вот Израиль. Шолом! Здрасьте и до свиданья.

Но пережитая нераздельность-неслиянность! В этом сыновно-сиротском сцеплении любви и горечи, причастности и изгойства остается неразгаданной какая-то тайна, какая-то зеркальная зачарованность. Русские в глазах евреев — это люди, готовые все отдать, все потерять, всем пожертвовать ради «чего-то», что и определить-то невозможно, разве что определить все так же: как «факт бытия», только. И примирение с судьбой, и готовность «объять весь мир», и вечная неприкаянность — это же черты русских (в глазах евреев, но не только в глазах евреев!), но это и черты евреев в глазах русских (и не только русских). А еврейская незакрепленность, безземелье, расплывающееся в «гражданство мира», вечное кочевье по чужим странам и культурам

(«формой существования еврейства является паразитирование на языках чужих культур» повторил за Фридрихом Ницше Борис Парамонов, а от себя добавил со знанием дела: русские — это ж евреи в своем отечестве! — Добавил бы еще что-нибудь о хищническом разграблении природных богатств, принадлежащих ста народам «одной шестой части суши», да о властном присвоении богатств культуры этих ста народов, то бишь «русификации»)...

Вот на этой-то зыбкой почве и выпало встретиться двум мировым народам: русскому и еврейскому. Ответы на вопросы они дали разные, даже диаметральные. Но вопросы-то были — общие. А это и есть диалог.

— Понимаю: ярмо, голодуха,
Тыщу лет демократии нет,
Но худого российского духа
Не терплю, — говорил мне поэт.

Эти дождички, эти березы,
Эти охи по части могил...
И поэт с выраженьем угрозы
Свои тонкие губы кривил.

Эту водочку, эти грибочки,
Этих девочек, эти грешки
И под утро вместо примочки
Водянистые Блока стишки;

Наших бардов картонные копы
И актерскую их хрипоту,
Наших ямбов пустых плоскостопье
И хореев худых хромоту...

Вот уж правда: страна негодяев;
И клозета приличного нет, —
Сумасшедший, почти как Чаадаев,
Так внезапно закончил поэт.

Но гибчайшею русскою речью

Что-то главное он огибал
И глядел словно прямо в за-речь-е,
Где архангел с трубой погибал.

Потрясающий поворот! Все — тошнотворно: от водочки до нужды сбегать на двор. Все воплотившееся — невыносимо. Но огибается речью что-то, что за речью: невоплощаемое, невыразимое, неисследимое, — и приковывает душу.

Заметим этот потусторонний магнит русской жизни. Заметим и силовые линии к нему: ямбы и хорей. То не важно, что строчки пустые или хромые, а важно, что они все искупают. И без них невозможно. И от их магии не оторваться.

Магия слов. Два народа, помешавшиеся на Слове. Два народа, словно разделенные зеркалом: что-то единое есть (может быть, предназначение неразрешимое), но повернуто зеркально. Перевернуто. Русский мир в глазах евреев абсурден, безумен, «на дурака рассчитан», на голову поставлен. Но он свят. Он только перевернут.

Вот это действительно лейтмотив, причем глубинный — русско-еврейского поэтического самовыражения.

В смешении черт и качеств, в неразличимой «фузе» русской жизни, в этом «котле добра и зла» обнаруживается нечто вроде логики, вернее, некая антилогика, логика от противного. Чем хуже, тем лучше, и наоборот: чем лучше, тем хуже. Можно отнести первую часть перевертыша к русской реальности, а вторую — к еврейской доле в этой реальности, но суть в том, что это — разные аспекты одной реальности, вернее, одной ирреальности, имеющей свойство оборачиваться в свою противоположность. Чужое зовется своим, свое отвергается как чужое. Еврейский ум на русской почве обретает подобие души. Что-то зеркальное является в несходящемся подобии душ и судеб: правое становится левым, левое правым, как чужое своим, а свое чужим. Не поймешь, где роль, а где судьба, где маска, а где лицо. Думаешь: это грим, а сдираешь его — вместе с кожей. Отъезд (алия) в этом контексте не решение, а лишь переворачивание проблемы, перенос ее с места на место: попадаешь на другой крючок, или в другую сеть, и нет разницы, крюк ты перепутал или море. Хрестоматийный еврейский релятивизм (изворотливость) накладывается здесь на хрестоматийную русскую непредсказуемость (дурь). Возникает ощущение жизни вывернутой, выворотной, вечно выворачивающейся. Победителей — судят. Поражение оборачивается победой, победа — поражением. Сила — слабостью...

Забвенья нету сладкого, лишь горькое в груди,
Защиты жди от слабого, от сильного не жди...

Сила — у слабых, сила — в слабости. В еврейской жизни выявляется скрытая русская слабость, скрытая, глубоко запрятанная надломленность русской жизни. Давид и Голиаф меняются ролями. Морок подобия. Жизнь полусон, сон, видение, воспоминание о прошлом, мираж будущего. Сон —

это двухсотлетняя жизнь в России, мираж — возвращение на историческую родину.

Запоздало свиданье, на тысячи лет запоздало!
Застревала невстреча моя в неподвижных веках,
Застывала в чужбинах холодных, в чужих языках,
В ненадежных домах, с бесприютным уютом вокзала...

Я не знаю, зачем и какою стихийною силой
Перепутаны в жизни моей времена и миры.
И внезапный озноб этой лютой восточной жары
Непонятно похож на заснеженный воздух России!

Кольцуются судьбы, кочевье замыкается на самое себя, Агасфер глядится в зеркало, дурная бесконечность висит над вечным скитальцем, над самоотверженным искателем Смысла.

В грандиозной Бессмыслице единственное, чему можно верить душу, — это то самое: Слово. «Народ Книги» обнаруживает странное родство с народом, которому Словесность на два века заменила и философию, и религию, и здравый смысл. Словесный мостик качается над бездной. Среди проклятий, которые еврейская душа обрушивает на голову окаянной российской государственности, одно из самых яростных вызвано тем, что империя потеряла язык. Среди отравляющих память воспоминаний об окаянной жизни неизменно спасительной остается светлая строчка — строчка СТИХА: русский ямб, русский хорей, хромой, калеченный, но — спасительный. Ариаднина ниточка рифмы, нота гармонии в хаосе антижизни, распев русской речи.

Все серо, зелено, сквозисто,
И будто бы издалека
Звенит прерывисто и чисто
Еще не слышная строка...

Удержит ли эта ниточка расходящиеся берега? Нет. Лишь подчеркнет бездну. Лишь обернет еще раз жизнь, изошедшую на чернила. Лишь очертит то неизъяснимое, что «огибается», охватывается русской речью и ею прикрывается. Можно жизнь прожить в перевернутом мире, «не там» и «не тогда», по чужим углам и под чужими именами. Можно эту судьбу проклясть, перевернуть. Но нельзя не почувствовать, что, помимо ЭТОЙ жизни, есть еще «что-то», бесконечно важнейшее, неисчерпаемое, неохватное, неопределимое и непреодолимое, превышающее любую силу и обесценивающее любую ясность.

Это ощущение соединяет евреев и русских.

Это ощущение — смысл и итог их двухвекового диалога.

Это ощущение — его финал.

Россия, зависшая над темной бездной распада, из которой она чаёт выбраться на какой-нибудь ясный берег, горьким взглядом провожает своих пасынков, из «ничего» восстановивших себе родину, а евреи, оглядываясь на оставляемую Россию, оставляют ей неизреченную «мировую тайну», которую они отдали за маленький крепкий дом.

Кто прав?

Неразрешимо.

Ибо спрошено:

«Где путь к жилищу света, и где место тьмы?»

И отвечено:

«Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои».

* * *

Источники: Иов, 38:19; 39:34.

Авторы стихов в тексте: Юрий Ряшенцев, Семен Липкин, Давид Самойлов, Михаил Синельников, Иосиф Бродский, Михаил Грозовский, Лев Лосев, Инна Лиснянская, Светлана Аксенова, Лия Владимирова.

И МАЛЬЧИКИ НАНАЙСКИЕ В ГЛАЗАХ...

Речь пойдет не о нанайцах, как легко догадаться. Но и не о евреях, хотя тут уже придется кое-что объяснить. Ибо заварилось дело с еврейского конца.

Нашлись в России дельные люди, которые собрали огромный том: антологию русских поэтов еврейского происхождения.

Раньше за такой «отбор» припаяли бы и расизм, и сионизм, и евгенику... Вы представляете? Неважно, где живет русский поэт: в Москве, в Нью-Йорке или в Иерусалиме, — был бы по крови еврей. Что он при этом чувствует? Как воспринимает матушку-Россию? С чем едет на «историческую родину»? Чем она его там встречает?

По новым-то временам «евгенический» аспект меня уже не смутил. Может быть, потому, что я ему вообще не придаю самостоятельного значения — только опосредованное, но об этом ниже. А пока — о том, что было дальше.

Итак, собрали огромный томище стихов: яростных, горьких, слезных, ликующих. Предложили мне написать предисловие. Написал. Не о стихах, конечно. То есть и о стихах тоже: кесарю кесарево. Но — о ярости, горечи, слезах, ликовании. О русско-еврейском диалоге. О конце диалога. О грусти прощанья.

Грустно мне было. Отчасти по двойственному моему происхождению: из вечной благодарности еврейской маме и казачьему батю, что исхитрились когда-то встретиться, а еще более — из интуитивного неприятия всякого

разрыва, раздвая и разлета, — я в том предисловии выл и скулил, провожая взглядом расходящиеся стороны. Хотя умом понимал: чем сводить бесконечные счета и с подозрительной громкостью клясться во взаимной любви, — лучше уж подчиниться «исторической неизбежности» и — завершить. Кто еврей — в Израиль. Кто русский — в Россию. Раз уж такая планета. Был диалог кончился.

В ответ на мои прощальные стоны в той же «Независимой газете», где я их первоначально издал, появилась блестяще исполненная и благородная по чувствам статья Исаака Милькина.

Он мне ответил в стиле дамасского эпизода из жизни Павла: Савл, Савл, что ты гонишь меня? То есть зачем ты нас, оставшихся, выдавливаешь из России? Кто хотел, тот уже уехал (или еще уедет, но — сам, без подталкиваний). Кто чувствовал себя евреем — тот давно на Святой Земле, и там он уже не еврей, он — израильтянин. Но того, кто чувствует себя русским... евреем, — как у тебя хватает совести лишать такого человека родины? Да мы до последней возможности будем тут сидеть и терпеть, потому что мы — россияне. Досидимся до погрома? Ну, так и досидимся: это наша беда и наша боль... «Авось, обойдется как-нибудь», — завершил статью мой оппонент, стилистически продемонстрировав необратимую русскость при несомненно еврейском юморе.

Честно говоря, тут не то что возражать — тут и комментировать нечего. Я даже обрадовался такому обороту дела. Да кто же вас гонит? Хотите быть русскими... евреями — будьте.

Отточия, которые я ернически вставляю между вышесоставленными словами, несомненно сигнализируют читателю о тех новых и непресказуемых проблемах, которые встают по ходу диалога. Вы хотите быть не просто русскими, а именно русскими евреями, то есть чуть-чуть «особыми» русскими? Ради бога! В России, как известно, неособенных нет. Но тогда встает вопрос о, так сказать, материальном обеспечении данной особи. О каком-то базисе для культуры, о школах, газетах и т. д. Я уж не говорю о «куске земли», тут и подумать-то страшно; земля теперь — дело гиблое, из-за нее убивают. Да и куда сунешься? Дальний Восток — дело слишком дальнее, Крым поближе, но про него и вспомнить опасно, столько из-за этого Крыма крови пролито и еще, не дай бог, будет пролито. Но ведь куда-то же надо деваться — если культивировать «особость»? Обособиться в гетто самоубийственно. Раствориться в русской массе — самоубийственно же. А жить в этой массе, считая себя «чуть-чуть особыми»? Ну, и вы понимаете, как на этот счетотреагирует «остальная масса»...

У нас в этой «массе» все — «особые». Так что проблема — общая. И решается — личностями. То есть риском и выбором данной личности. И, конечно, мое сочувствие — на стороне таких людей. В том числе и на стороне Исаака Милькина, который не хочет, чтоб я его «подталкивал». Драматургия хоть отчасти и абсурдная, но тем более волнующая: чем больше он на меня обижается, тем он мне милей; чем сильнее он от меня «оттталкивается», тем больше мне его хочется удержать.

Это — ясно, я и растолковывать бы не стал. Но есть в статье Исаака Милькина одна оговорка, как бы и «мимоходная», но поразившая меня своей

неожиданной точностью и заставившая задуматься о вещах, которые раньше казались элементарными.

Речь опять-таки о диалоге, но о другом. О диалоге «кровей» в смешанной душе.

И. Милькин пишет:

«После развода (то есть после разрыва русских с евреями. — Л. А.) возникает иногда такие непростые отношения влюбленных-разведенных; чаще одна из двух сторон (имеются в виду русские. — Л. А.) еще чего-то домогается, лишь бы продолжить диалог, чужое зовет своим... Но стоп! останавливает себя И. Милькин: — Я, кажется, уже вторгаюсь в угодыя уважаемого мэтра Аннинского, это песня его, лично его борьба нанайских мальчиков».

Лично моя. Не отрекаюсь. Точность попадания такова, что мне уже не очень важно, «домогаюсь» я или не «домогаюсь» чего-то у «другой стороны», где эта «сторона» и чье «чужое» я присваиваю. Борьба нанайских мальчиков это так поразительно верно подмечено, что все остальное неохота комментировать. И это — в самую точку: борьба с самим собой, неизбежная в человеке «смешанного происхождения».

Впрочем, нынешним молодым поколениям, не заставшим «расцвета социалистических наций», не запомнившим всевозможных «декад», «недель» и прочих праздников, надо, кажется, объяснить смысл концертного номера, когда, сцепившись, катаются по сцене два мальчика в кухлянках, а потом встает с пола и раскланивается улыбающийся круглолицый артист, и публика, хохоча и аплодируя, обнаруживает, что он изображал обоих.

Смысл — розыгрыш публики. Сверхзадача — показать борьбу шутивную, притворную, мнимую, борьбу, в которой человек делает вид, что его разрывают противоречия, а на самом деле он забавляется.

Это, так сказать, мои угодыя. Моя борьба с собой. Смысл похож. Сверхзадача другая.

Сверхзадача — оправдание жизни, сотканной на противоречивых основах. Кентаврическая смесь: то ли человек, то ли конь. Русалочий хвост, протянутый через судьбу. Химерическое клеймо. Психология полукровки.

Нужна ли мне в качестве русского — моя еврейская половинка? По здравому смыслу — не нужна. Зачем же она во мне и почему не исчезает? Не знаю. Есть, и все тут. Но ведь это нонсенс! Да, нонсенс. Если национальная «принадлежность» — акт моего свободного решения, — то какое значение имеет все остальное? И при чем тут кровь моих родителей?

Да, но кровь родителей — тоже реальность!

Реальность? Только в той мере, в какой я ее сознаю, переключая в духовно-практический план. То есть никого не касается, еврейская или не еврейская у меня мама, и какие «кровя» намешаны в моем донском папе; чтобы «кровя» стали фактором, я, во-первых, должен знать, что они есть, и, во-вторых, я должен признать, что они во мне что-то значат. Иначе кровь несущественна.

А физиономия?! А черная кожа негров! А скулы азиатов! А твой, прошу прощения, нос? Каким это образом совершает «свободный выбор» человек, у которого на физиономии уже написан выбор, сделанный природой?

А вот и решается тут, сколько в нас природного, сколько человеческого. До той черты, пока на физиономии ничего такого не написано, выбор не стеснен. А если написано, то выбор делается волевым усилием. Если угодно, подвигом самоотречения. Это-то как раз и говорит о том, что «кровь» — чисто материальный субстрат, который переводится в мистический ряд чистой волей. И волей же преодолевается.

То есть: быть русским — значит хотеть быть русским. Вести себя по-русски. Быть человеком русской культуры.

Но ведь это значит также, что все нерусское в тебе будет «преодолено»: забыто, стерто, предано?

Вот тут мы и подходим к таинству памяти, к необъяснимому парадоксу преемства.

Я не могу ни забыть, ни стереть, ни предать в себе ни одну свою половину. Даже если не осталось ни малейшего намека на еврейство в моей физиономическом, «анкетном» или психологическом портрете, — я все равно не могу ее избыть. Она держится только духом, только волей: я должен это удерживать в себе.

Что — «это»?

Тысячелетняя история, сотни поколений предков, записанные на страницах древних книг?

Да. Но не только. И даже не столько это. А что еще? Не знаю... Сам факт, что это — во мне. Я не могу предать в себе эту «половинку» независимо от того, нужна она мне или нет, вредна или полезна, хороша или плоха. Если бы сверхъестественным образом я знал в себе еще десять «половинок», — я бы и их удерживал. Независимо от древности их и от того, насколько признана их ценность. А просто от факта. Если бы память моих предтеч простиралась не в библейские времена, а не далее дедова стойбища, — я все равно хранил бы это как величайшее благо. Мне не дает покоя чувство, что во мне должна быть тюркская генная память. Откуда это — не знаю. Может быть, были татарские или турецкие присадки в казачьем стволе моих донских дедов. Я не знаю, я только смутно чувствую, но и этого достаточно, чтобы всю жизнь тянуться и вслушиваться в голоса культур Востока (когда читал Нурпеисову, Пулатова, Сулейменова, — было острое любопытство и странный вопрос в душе: где в том существовании мы встречались?).

А если наверняка НЕ встречались ни в «том», ни в «этом» существовании, — то все равно есть необъяснимое чувство: мы все — родные, хоть и в разных коленах. Чисто русская черта, между прочим: во всем раствориться, ко всему прилепиться и все присвоить. «Чужое назвать своим», как сказал бы Исаак Милькин. Да, так. Иной огораживается, охраняя свое от чужих. Я — захватываю, охватываю, осваиваю, присваиваю, удерживаю, теряю и мучаюсь оттого, что не могу всего удержать.

Это, конечно, не национальное, то есть не этническое, не племенное сознание. Русские — вообще не «племя», русские — народ, составившийся из многих племен. Русская культура — суперэтническая; она подобна индийской, латиноамериканской, африканской, западноевропейской, североамериканской культурам и вбирает разные этнические культуры: славянские, финские, тюркские — подобно тому, как европейская культура вбирает в себя испанскую, немецкую, английскую... а североамериканская принимает и преобразует элементы негритянские, японские, ирландские...

Но это значит, что, становясь русским, ты перестаешь быть славянином?

Отчасти да. В какой-то мере перестаешь. То есть в той мере, в какой ты великоросс, ты остаешься на этнической почве, но в той мере, в какой ты становишься русским (теперь стали говорить: россиянином), ты через свою племенную суть как бы перешагиваешь.

Всякое государство «перешагивает» через этнические барьеры, составляя из племен — народ.

Всякая попытка создать этнически «чистое» государство — самообман: в этнически чистом поле рано или поздно все равно прорастают даже и от единого корня идущие разные ветви, не говоря уже о заносимых ветром семенах. Украинцы обнаруживают, что одни из них — галичане, другие харьковчане, третьи — крымчане. В Литве жемайтийцы вступают в диалог с аукштайтийцами: что «свое» у кого, что «чужое»? Я уже не говорю о великороссах: их вообще с корнем вывернула имперская судьба, вздернула на «мировые высоты».

Трагический парадокс великороссов: быть русскими, то есть мировым народом, и одновременно — великороссами, то есть народом этническим. На этом сначала подорвалось в 20-е годы наше национальное самосознание, а затем в 90-е — сознание интернациональное, имперское. Мы и теперь мучаемся в невесомости между всемирным и национальным. Становясь великороссами, мы предаем в себе мировое, а стараясь удержатъ мировое, — предаем в себе национальное. Для малых, компактно собранных народов, не отягощенных державными комплексами, эта проблема не стоит или не стоит так остро. Для великих народов она мучительна.

И вот наша вековая боль: становясь русскими, забываем в себе великороссов. Или: учитывая сдвиг терминов на весь XX век: став советскими, мы старались забыть, что мы русские; теперь, когда маятник пошел в другую сторону, мы хотим забыть, что мы советские, чтобы обрести в себе русских, забывая при этом (лукавство памяти? или спасительная анестезия?), что русские — это уже плод смешений, соединений, скрещений, что они появились как результат скрещений, и на дне русской памяти (русского беспамятства) лежат погребенными поляне и кривичи, чудь и куманы, печенег и хазары.

Жалко их потерять?

Жалко.

Жалко терять все то, что сегодня растворяется в русском (теперь говорят: российском) целом: те украинские, сибирские, тюркские,

прибалтийские, еврейские, нанайские элементы, которые (если ты решил быть русским) с неизбежностью отпадают в забвение.

Безмерно жалко.

И держишь все это в себе — как неразрешимость: и отдать нельзя, и удержать невозможно. Горечь кентавра. Слезы русалки. Проклятость химеры. Бред полукровки.

Трагично забвение, страшно уничтожение. Тени предков не ходят в памяти праздничным шествием — они сталкиваются; «многонациональный состав культуры» — не парад достижений и не накопление богатств... то есть в какой-то степени — и накопление тоже: семьдесят лет Советской власти мы именно это накопление славословили, и оно — тоже реальность. Но, во-первых, ничто не копится безгранично, наступает предел, что-то вываливается из активного арсенала в запасник и дальше в забвение. А забвение-то и страшно; ты с ним борешься и все-таки бессилён перед ним.

Во-вторых же: не сосуществуют эти национальные начала мирно, в них скоплено слишком много ядов, и это — тоже реальность. То есть: татарская национальная память автоматически включает шок от взятия Грозным Казани и картину того, как московиты рубят мулл в дверях мечетей, точно так же, как русская память не может освободиться от шока падения Рязани, от картины самоубийства Евдокии Зарайской и от того, как пировали победители на Калке, положив побежденных. И вы это не отмените никакой логикой: ни тем, что Грозный был по крови столь же татарин, сколь русский (и литовец, и византиец, и прочая, и прочая, и прочая), ни тем, что мы потомки обоих воинств, сошедшихся на Калке... И вот все это умом понимаешь, а национальные комплексы все равно искрят.

Так же вот и еврейская моя половина уживается с русской — подключаясь к напряжению противоположных потенциалов. Когда дух окончательно разрывается, кровь, глядишь, и «помогает». В том смысле, что я могу набраться духу и сказать все, что я о них думаю, и русским, и евреям, не боясь, что в ответ крикнут «русофоба» или «антисемита», потому что когда крикнут (уже бывало), я спрячусь за соответствующие «половинки»: имею право!

Глупо, конечно. Ибо дело-то не в этом. Дело в неотвратимости боли. Непримируемое сталкивается, и это трагедия, а примиренное сходит в благополучное небытие, и это тоже трагедия. Но если непримиренное можно еще попробовать примирить, то уходящее опустошает намертво, и ты согласен включить в себя все: взаимную ярость предков, их дурь, их глупость, их темноту и гонор, их несведенные счета — только бы удержать.

И шепчешь в бездну словами русского поэта, соединившего в себе закавказские корни:

— До свидания, мальчики... Мальчики!!
Постарайтесь вернуться назад...

«БЫТЬ ЕВРЕЕМ ЕВРЕЮ СЛОЖНО...»

Письмо:

«Уважаемый Лев Александрович!

В своем отклике на публикацию романа Дины Рубиной „Вот идет Мессия!..“ в журнале „Дружба народов“ № 10, 1996, Вы достаточно подробно и профессионально разобрали это произведение. И оно достойно того. И потому, что этот роман успел уже получить национальную и международную премии (я уверен, что признание романа будет еще более широким), и, главное, потому, что в романе много итогового для самой Дины Рубиной как писательницы и (теперь) израильтянки, а также итогового в том смысле, как складывается жизнь евреев из бывшего СССР в современном Израиле. Уверен, что израильтяне легко прочтывают в романе намеки на конкретные лица и организации, но дело, конечно, не только в этом — если говорить о публикации в российском издании. Мне, например, что-то более знакомо, чем Вам, хотя я должен признать, что Вы внимательно и вдумчиво прочитали роман. В Вашем отклике заметна и Ваша личная позиция в так называемом еврейском вопросе, и шире позиция русской интеллигенции, пытающейся разобраться в чужом, как в своем.

В этой связи — несколько уточнений. И к тому, как Вы восприняли роман, и к тому, как Вы трактуете еврейскую традицию. Потому что все в романе есть так или иначе ответ на вечный вопрос о том, что есть еврей. И поэтому все происходящее в романе есть вариант личного во всех аспектах и проявлениях ответа на этот вопрос, есть степень совпадения или несовпадения с тем, каким должен быть еврей, чтобы прожить всю жизнь и уйти из нее лицом еврейской национальности.

Вы упомянули о том, что у евреев есть 613 запретов, и им надо жить с этим нормативным наследием. Это некоторая неточность, потому что речь должна идти не о запретах, а о заповедях. Их в Торе (Пятикнижии Моисеевом) перечислено 613. Из них 365 заповедей запретительного характера и 248 заповедей разрешительного характера. Ясно, что запретительных явно больше, но это отнюдь не означает, что Всевышний не оставил евреям никакой свободы, сделав их жизнь как бы скучной и полной обязанностей. Обратите внимание: такой подход к исполнению заповедей характерен для тех евреев, которые, ссылаясь на обстоятельства, стараются уклониться от исполнения — не всего даже, а самого главного, например, соблюдения субботы и празднеств. Конечно, в современных условиях ряд заповедей исполнять достаточно сложно. Кроме того, в связи с разрушением Иерусалимского Храма ряд заповедей пока не исполняется; поэтому, пока Храм не построен заново, речь идет об исполнении около 300 заповедей, но и это много, поскольку каждая заповедь — это тезис, который еврейскими мудрецами подробно разбирается. Так, есть заповеди помнить субботу и хранить субботу, а это целый свод правил. Есть заповедь не работать в субботу, чтобы таким образом подчеркнуть власть и могущество Всевышнего и не претендовать на равенство с Богом своей созидательной деятельностью в субботний день. Но для того, чтобы понять, что такое „не работать“, надо четко знать, что есть в святой день „работа“. Еврейские мудрецы

перечислили около сорока видов работ, которые нельзя делать в этот день, например: писать, рисовать, срезать ветки деревьев, шить, включать свет и т. п. И каждый вид запрещенной в субботу деятельности имеет столько же подвидов, так что речь идет уже о полутора тысячах запрещенных работ. И вроде бы получается, что раз в субботу как бы нельзя ничего делать, то день этот просто выходной. Но ведь и для Всевышнего Суббота не была просто днем отдыха, потому что в оригинале на святом языке не сказано, что Всевышний не работал. Всевышний не совершал в этот день того, что делал прежде, и не начинал ничего нового. Так и человек в субботу не просто отдыхает, но вспоминает об акте творения мира Всевышним. И учится без суеты и спешки осознавать свою жизнь, ее высший смысл. В этот день много полезного можно сделать, но важно, чтобы было желание быть евреем...»

В этом месте хочется переспросить автора письма: а что это такое быть евреем?

Но дальше:

«Обращаю Ваше внимание и на то, что в иудаизме нет миссионерских движений, поскольку быть евреем еврею сложно. Поэтому если нееврей хочет перейти в иудаизм, его серьезно предупреждают, что есть сотни заповедей, тысячи законов, которые ему придется соблюдать, будучи евреем. Ему прежде всего говорят о том, что ему необязательно переходить в другую веру, чтобы заслужить долю в грядущем мире. Нееврейам, потомкам Ноаха (Ноя), дано всего 7 заповедей, исполнение которых уже есть гарантия его заслуг перед Всевышним. Понятно, что каждая из 7 заповедей — лишь начало связанных с нею законов. И все же 7 и 613 — это большая разница, поскольку с евреев Бог спрашивает жестче и нелицеприятней. Это — что касается того, как быть евреем».

Далее от проблем общееврейского характера мой корреспондент возвращается к роману Дины Рубиной и ее литературным предшественникам:

«Нелишне вспомнить, что о Мессии, именно о Мессии в христианском его понимании, уже был роман „Мастер и Маргарита“. И, конечно, Дина Рубина знает об этом; ее роман „Вот идет Машиах!..“ перекликается с тем, что сказано Булгаковым полвека назад. Перекликается и по форме, по приему, и по содержанию. В обоих случаях речь идет о том, что от стереотипов мышления человек прорывается к вере как к правде и непререкаемой истине. Но все же Дина Рубина пишет не о христианах, а о евреях. Пишет смело, честно, иронично. Надо быть очень мужественным человеком, чтобы так просто и искренне говорить правду, называть все своими именами. Это очень правдивая и трагическая история, где возвышенное и земное пересекаются порой пародийно, порой драматично. По сути, это повествование о том, как мучительно человеку возвращаться к своим духовным и историческим корням, к тому, чтобы быть евреем без

компромиссов с совестью. Да, есть проблемы с жильем, с работой, с вживанием в новые реалии, в язык и традицию. Да, есть возможность словчить, прожить, не думая о боге и святости места, земли. Но все равно что-то меняется в людях. И об этом их молитва в Судный день, когда слова всех соединяются в единую молитву раскаяния, поскольку и циники, и ортодоксы в душе все же признают Всевышнего. И уповают на его милосердие, прекрасно зная его строгость и силу гнева...

Мне очень близка позиция Дины Рубиной; она пишет как человек, который принимает Эрец Израэль, землю Израиля как давно родное, трудом души и сердца обживает эту землю. К сожалению, такая позиция достаточно редка. Чаще встречается потребительское отношение к исторической родине, которая что-то кому-то вроде бы недодала и еще должна добавить. И отсюда появление Русской партии в политической жизни Израиля, отсюда гетто — по языку и по нежеланию жить в другом месте по его законам, попытка жить в Израиле как в СССР. Конечно, жизнь в современном еврейском государстве далека от идеала, поскольку сионизм как идеологическое обоснование создания государства Израиль далек от еврейской традиции, сионизм навязывает ей опыт диаспоры и секулярного подхода к иудаизму. Сионизм вел речь прежде всего о физическом спасении евреев Европы, хотя после разрушения Второго Храма и возникновения для евреев прецедента диаспоры речь всегда в молитвах и литературе шла прежде всего о духовном возвращении, о том, что Святая Земля — это не прошлое, а настоящее и будущее евреев. И об этом написала Дина Рубина. Ее роман — прежде всего о духовном возвращении, а уже потом о жизни в государстве Израиль. Во всяком случае, именно в таком контексте мне кажется правильным и наиболее приемлемым его прочтение.

С уважением Илья Абель».

Начну с того, чем кончил мой уважаемый оппонент: роман Дины Рубиной действительно может быть прочитан по-разному в зависимости от контекста, который те или иные читатели сочтут для него приемлемым. Это говорит о художественной состоятельности текста. Текст плоский такому прочтению не поддается. Роман Рубиной многозначен, он вызывает к разным контекстам, что и подтверждается письмом Ильи Абеля.

Разумеется, я публикую это письмо и комментирую его не затем, чтобы оспаривать: в письме выявлена тема куда более широкая, чем прочтение романа, более широкая даже, чем вопрос о еврейской самоидентификации, — речь идет о загадке национального самосознания вообще. Хотя кажется, что вопрос частный: заповеди и запреты, сопровождающие еврея от колыбели до могилы.

Я сказал: «запреты»,

Илья Абель меня поправляет: не «запреты», а «заповеди».

Уточнение филологически тонкое. Можно найти лазейку: согласно Далю, «запрет» — одно из шести значений слова «заповедь» (согласно Евгеньеву уже одно из двух). Это лазейка мнимая, ибо все равно надо доказать, что именно это значение в данном случае требуется. Но дело-то не в значении слов, а в реальности. Из 613 заповедей 365 — запреты

(образно говоря, по одному на каждый день года). Но и те заповеди, которые на первый взгляд не запретительны, при реализации разворачиваются веерами расшифровок, начинающихся с частицы «НЕ».

Действительно, нелегко «быть евреем еврею».

«Чисто еврейская» реальность, возникающая из этой статистики: ограда вокруг ограды, вокруг ограды... и т. д. Это даже не реальность в обыденном понимании, а виртуозная система защиты еврея от реальности, спасения от нее.

Цена спасения велика. Она, можно сказать, равна самой реальности. То есть, ограждая себя от реальности, еврей теряет самую реальность. Этой ценой он спасает в себе...что же? Он спасает в себе... «еврея».

Вот тут-то и неизбежен вопрос: а это что такое? Что такое «быть евреем», если это равно утрате реальности?

Здесь — глубинная мистическая тайна еврейства, универсальный урок еврейства человечеству, и в этом — главный интерес письма Ильи Абеля, хотя по видимости речь идет о подробностях ритуала.

Эмоциональный подтекст его исповеди: еврей, чтобы быть евреем, должен идти на колоссальные жертвы. Он должен отказаться от массы соблазнов. Он должен стерпеть массу ограничений.

Что же будет на другой чаше весов и перевесит все эти неудобства, запреты, самоограничения?

Только одно: готовность «быть евреем».

Но что значит «быть евреем», если все осязаемое может быть принесено в жертву?

Что такое «опыт диаспоры» и чему он может научить людей, вроде бы не побывавших в диаспоре?

Что значит быть евреем в галуте, когда — ни земли, ни государства? Что остается? Язык, вера, традиция? Голос крови?

С «голосом крови» разобраться проще всего: достаточно взглянуть на китайского еврея, потом на эфиопского, на германского, русского или испанского, чтобы раз навсегда оставить в покое бабушек и прабабушек на предмет того, от кого они рожали своих еврейских детей. А уж интернациональная эпоха вообще похерила «голос крови», отдав все — совести и убеждениям. Так что оставалось у евреев к середине XX века? Ни языка, ни веры, ни традиции... А если взять крайний случай — революционную Россию, так вообще ничего. Кроме слова «еврей». За которым тоже «ничего». Один звук.

И вот из этого «звука» на глазах у изумленного человечества возродилось все: язык, вера, традиция, и наконец — возвращенная земля и возрожденное государство.

Понятие «быть евреем» вновь наполнилось реальностью. Оно обросло реалиями, СКВОЗЬ которые — прав Илья Абель — в романе Дины Рубиной надо прозревать смысл и судьбу.

Это вовсе не значит, что проблема решена и цель достигнута. Та цель, которая при этом достигнута, может вернуть еврею сумму жизненных

прав и благ, но может и убить в нем того еврея, который преподавал миру урок духовного выживания.

Урок, который заключается в следующем (если, конечно, пытаться исчерпать тайну).

У человека можно отнять все. Родину, историю, язык, веру. У него можно отнять даже систему внешних имен — вместе с гражданством, исповеданием, фамилией предков. У него останется только одно: внутреннее имя. Он может стать по паспорту германцем, россиянином, аргентинцем, он может ходить в костел, в церковь, в мечеть или в партком, он может сменить фамилию на «Иванова», а потом еще раз сменить — на «Петрова» и еще раз — на «Сидорова», чтобы не докопались.

У него останется только память «неизвестно о чем», только дуновение духа, вздох: «я еврей», — слово, ничего уже не значащее, ни к чему не обязывающее, никому не слышное. Кроме самого человека, который может даже не отдавать себе отчета, зачем он это о себе помнит.

Просто знак памяти наперекор беспамятству. Знак прочности среди непрочности. Наконец — просто ЗНАК среди беззначности.

Остальное, как говорится, в руке Божией. Повернется ось мироздания и бесплотный знак отяжелеет. И проступят сначала линии: границы, проходы; затем ощутится подпор бытийной материи, знающей, что подпирать и наполнять.

Русские стонут: дайте национальную идею!

Никто ничего не даст. При случае охотно дадут по шее.

Будем живы — напомним. Чем сможем. И прежде всего — болью, слезами, кровью. Трудями.

Что наполнится?

Дуновение духа. «Я — русский». Ничего более. Для точки поворота достаточно. Помни, кто ты.

Внутреннее имя потерять нельзя. На эту потерю — запрет.

Или, как поправляет меня Илья Абель, — заповедь.

Р. С. Два слова о том, как мой уважаемый оппонент определяет отношение русской интеллигенции к «еврейскому вопросу»: она пытается разобраться в чужом, как в своем.

Правильно. В прежние времена это называлось чуть иначе (см. речь Достоевского о Пушкине). А если в формулировке Ильи Абеля есть налет раздраженности, то это, видимо, знак: не путать свое и чужое.

Мне к этому привыкнуть трудно. Так же трудно, как еврею быть евреем.

* * *

Письмо другого моего читателя:

«9.09.97.

Мой папа, Пантелеев Иван Пантелеевич, умер в 1939 году от авитаминоза и похоронен в поселке Контрандья Сусумского района

Магаданской области. Реабилитирован. Я тоже сидел и в Мордовии, и в крытках. Реабилитирован. У меня нет и не может быть ненависти к покойным большевикам, ибо живые большевики делают более страшные вещи, чем в 1937–1939 годах. Но интеллигенты — Попов, Боннэр, Мороз, Окуджава, Рязанов, Астафьев, Табаков, Любимов, Вознесенский, Аксенов, Битов, Захаров, Быстрицкая, Быков, Сахаров, Черниченко, Карякин, Панченко, Ульянов, Лихачев, Щекочихин, Никулин, Ахмадулина, Приставкин, Евтушенко и многие другие, живые и мертвые, интеллигенты любили и любят ельцинизм или остаются безразличными к чудовищным изверствам большевиков-ельцинистов...

Сифилис возрос в сорок раз, инфекционные болезни возросли в десятки раз, продолжительность жизни сократилась на десять лет, идет вымирание населения, ежегодно — по полтора миллиона человек. Это геноцид русской нации. Думаю, что повторился эксперимент 20-30-х годов почти что в чистом виде. В 30-х годах в США была издана книга, где приводятся данные по СССР. Там говорится, что 95 процентов должностей, приравненных условно к полковнику и выше, в стране занимали нерусские. Сейчас то же самое; „звезды“ нерусские, банкиры, крупные собственники, люди, решающие властные вопросы, а не числящиеся министрами для проформы, — тоже нерусские. Это не антисемитизм, а факты.

Евреи искренне считают, что они лучше, умнее. Цивилизованнее, чем все другие нации. Не это ли подвигло шизонутого ефрейтора придумать свою расовую теорию? С точки зрения цивилизации потребления, евреи, наверное, самая лучшая нация. Но есть и другие цивилизации. Да и в еврейской нации гениев потребительской цивилизации (у нас их зовут большевиками, или жидами) не более 10 процентов. И среди славян процент большевиков, жидов, новых русских, „демократов“ — тоже 10 процентов. А 90 процентов евреев, живущих в России, — русские по всем параметрам, русские патриоты (в США американские, во Франции — французские). Что касается генетики, то найдите мне славянина, в котором не слиты сотни кровей.

Еврейский вопрос надо открыто решать, а не замалчивать».

Уважаемый Юрий Иванович!

На Ваше письмо, присланное мне в частном порядке, решаюсь ответить гласно, ибо вопросы Вы ставите глобально, а убеждения, подобные Вашим, достаточно распространены.

Прошу задуматься над следующим.

Если среди евреев столько же «гениев потребительской цивилизации», сколько и среди русских, то почему надо решать именно «еврейский» вопрос, а не русский, или, скажем, украинский и все остальные?

Если девяносто процентов евреев, живущих в России, — русские по всем параметрам, и даже русские патриоты, — то почему эти русские патриоты должны отвечать за десять процентов прохвостов?

Если в каждом славянине слиты сотни кровей, то не лучше ли те вопросы, которые Вы призываете «решать, а не замалчивать», — назвать как-то иначе и не делать вид, что они национальные?

Желаю успеха.

ТАК КТО ЖЕ У НАС БОЛЬШЕ РУССКИЙ, ЧЕМ САМИ РУССКИЕ?

Историк и публицист Дмитрий Фурман при поддержке социологов провел в восьми городах России опрос граждан с целью уяснения их «мировоззренческих ориентаций». Среди двух тысяч опрошенных оказалось сорок евреев. По ходу дела им, как и всем, был задан вопрос об отношении к русской культуре. Ответы Фурмана поразили.

Свои впечатления Дмитрий Ефимович изложил в статье «Массовое сознание российских евреев и антисемитизм»; статья напечатана в журнале «Свободная мысль» и уже стала предметом обсуждения в элитарном московском клубе «Свободное слово». Там действительно есть что обсудить: от той фантастической ситуации, когда государственный антисемитизм у нас исчез (и о евреях говорить «стало можно»), однако интеллигентский страх прослыть антисемитом никуда не делся (и о евреях говорить все-таки «нельзя»), до той фантастической же ситуации, когда по содержанию культуры у русских евреев нет ничегошеньки еврейского, а по «имени», по знаковой привязке эта культура все-таки — еврейская. Что в ней еврейского, не определил бы и сам Саваоф: ни языка, ни религии, ни традиций — один звук, дуновение слова, тень тени давно исчезнувшей реальности. И однако заставляет же что-то этих людей называть себя евреями! В России их полмиллиона; еврейский язык признает в качестве родного — каждый десятый; действительно же владеет языком (ивритом либо идишем) — лишь каждый двадцать седьмой! Что же они имеют в виду? Что обозначается как еврейство? Что означает это упорное стояние на «отмененном» месте? В ситуации антисемитизма — понятно что. А без оно? Все равно стоят! Почему?

И это — еще не самое удивительное в подмеченных Фурманом тенденциях. А вот что еще: на вопрос о том, какая история и культура представляет для них наибольший интерес, евреи, назвавшие русскую, обогнали по этому показателю русских! Точнее, так: в части интереса к дореволюционной русской культуре они оказались с русскими почти вровень (42,5 против 47,8 процентов), а в части культуры советского периода — опередили (17,5 и 10,7). Когда же пошли вопросы о конкретных рейтингах (отношение к Толстому, Лермонтову, Чехову, Бунину, Достоевскому), то перевес этих авторитетов у евреев сравнительно с русскими оказался настолько явствен, что Фурман сделал ошеломляющий вывод: «реальный интерес к русской культуре у евреев даже больше, чем у русских».

Я представляю себе, что скажут по этому поводу записные патриоты. Они скажут: «эти и здесь пролезли». Более трезвые аналитики вспомнят об относительно высоком образовательном уровне еврейского населения, о нетерпеливом желании «ассимилироваться», о динамизме национального

характера и т. д. Самые трезвые примут в расчет то, что русские вообще анархичны и не очень-то считаются с авторитетами, даже если это светочи культуры, евреи же — напротив, весьма считаются...

Все так: я согласился бы со многим в этих объяснениях, но вот свидетельство с совершенно другого края, где никаким еврейством не пахнет: казахская публицистка Шуга Нурпеисова свидетельствует, что казахам (городским казахам, что тоже существенно, и мы к этому сейчас вернемся) казахам «идеи и пафос русской культуры ближе и доступнее», чем русским.

Есть над чем задуматься, не правда ли?

Русских — оставим на минуточку в покое: они в данном случае как бы фон для статистики. Культурное состояние русских — тема гигантски важная, но это другая тема. Речь идет об анклавах.

Вопрос: почему в анклавах, в диаспорических общинах (когда-то именовавшихся унизи́тельно «инородческими», а теперь из страха обидеть никак не именующихся) и просто во вкрапленных и распыленных «контингентах», смесь которых являет собой современный город, — престиж русской культуры акцентирован с такой ясностью?

Первое и простейшее объяснение: так это ж та соломинка, за которую хватается утопающий... или, скажем так, дрейфующий.

Куда денется дух человека, попавшего в поле духовного воздействия огромного, стомиллионного народа, если этот человек не схватится за Пушкина и Толстого? Дух «осядет» в огромное среднестатистическое поле привычного культурного «быта», где этнография сростается с рутинной, и самоидентификация не стоит никаких индивидуальных усилий, а значит, не имеет личностной цены. В этом гигантском «русском поле» человек, обладающий энергией, начинает искать знаки особости, своеобычия, непохожести. Ищут все. Сибиряк, уралец, воронежец тоже вынашивают что-то, что будет выделять их из общего поля, из общего ряда. Казак скажет, что он не просто русский, а именно — казак: он предпочтет Шолохова Пастернаку, а у Толстого поставит «Казак» впереди «Воскресения».

Великая нация имеет тенденцию осознавать себя именно как систему анклавов. И это, в общем, нормально: пока беда не собьет воедино, — отчего ж и не процвести многопестрым полем?

Теперь возьмите любой «инонациональный» цветок в этом многоцветье. Ну, скажем, еврею — куда «оседать»? Кто впал в иудаизм, в действительное еврейство, — уехал в Израиль. А кто остался, — куда он тут «взрастет»? В общее поле? (так и хочется сказать: в общее застойное болото...). Нет, он будет осушать себе кусочек, огораживать свой участок. Мне приходилось писать о принципиальной неразрешимости русско-еврейского самоопределения в России, о зажатости души между идеями ассимиляции, исчезновения, и диссимиляции, обособления: и то, и другое опасно. Реакция евреев на эти рассуждения меня поразила: а мы и не хотим ни того ни другого. Ни обрусения, ни оевреивания! Мы не хотим быть ни «просто русскими», ни «евреями вообще» — мы хотим быть

русскими евреями. Мы — совершенно особый анклав: не часть какого-то другого народа, а — народ со своей судьбой и своими ценностями.

С какими же ценностями?

«Сарафаны» и «армяки», а также старославянские ценности — исключены. Тора, Стена Плача, Плач на реках Вавилонских — все это тоже нереально. Что же остается?

Пушкин. Лермонтов. Чехов. Толстой. Достоевский. Солженицын. Распутин. Последние три имени Д. Фурман комментирует особо: это ж фигуры, за которыми тянется репутация «антисемитов», и все-таки они становятся в русский еврейский синодик, потому что люди отлично знают цену и таким «репутациям», и связанным с ними провокациям, — великие же чувства никогда не рождаются на ровном месте, а только из великих преодолений.

Казах, переселившийся из юрты в город и ставший интеллигентом, конечно же, сразу приобщается к русской классике. Чему она противостоит в его сознании? Ничему не «противостоит», а просто наполняет душу. Это ж надо попасть в ситуацию острейшего параноического национализма, такой комплекс неполноценности подцепить, — чтобы Пушкин «помешал» Абаю или чтобы Чокан оказался казахом в противовес русскому Достоевскому. В нормальном состоянии тут нет и не может быть антитезы. Казахский интеллигент, попавший в поле русской культуры, берет ее вовсе не как инонациональную. Он ее берет — как общечеловеческую, как часть культуры всемирной. Он берет Пушкина не как «иноплеменного», а как «единоплеменного» — Шекспиру, Гомеру, Сервантесу.

Так ведь и русский (здравомыслящий русский) берет Пушкина в том же качестве и контексте. И русскому неохота «оседать» в общее «бескрайнее поле» или в общее «болото», на бережку которого будет кружиться этнографический хоровод в сарафанах и гулять общество в армяках. Потому что общее поле делается у нас реальностью только как поле боя, если, не дай бог, явится очередной фюрер наводить порядок. А нормально — когда из тысячелетнего фонда культуры берут — кому что ближе. Всем хватает. В том числе и русским евреям, которые не хотят «растворяться». В том числе и горожанам-казахам, которые не хотят быть русскими, но и без Пушкина не хотят.

Узел тут завязан вовсе не с того боку, с которого его обычно хотят развязать. Сам феномен русской культуры — вовсе не национальный, не племенной, не этнический. И совершенно естественно, что, приобщаясь к русской культуре, разноплеменные россияне и нероссияне не собираются узурпировать чужое национальное достояние или в него «пролезать». Русский культурный мир по определению всемирный, вселенский, всечеловеческий, «кафолический». В этом он сродни византизму, американизму, старому Риму, наконец — великим народам, которым дорого стоило их величие. Ибо оплачивалось оно — именно за счет утраты племенной однородности и органичности.

В нынешних условиях, когда племенная устойчивость из биологической краски превращается чуть ли не в обоснование фундаментального права на жизнь, — встает для «вселенской» русской

культуры острейшая проблема ее перемаркировки в национальную. Как это сделать? Или надо искать в русской культуре некий этнический горизонт и считать его опорным, то есть надевать «зипуны и армяки» (что для великой культуры узко и жалко), либо сохранять «всемирную отзывчивость», но уже в качестве сугубо национальной черты (что для культуры рискованно именно как для великой). К маргиналам, берущим русскую культуру «на вооружение», эта проблема обернута другой стороной: они ее берут не как национальную и не как инациональную, а как мировую, сверхнациональную. Русские же должны удерживать ее — как национальную.

Кажется: понять Пушкина как всечеловека — это же так естественно. Удержать его как этнического гения куда труднее. Я не про то, что по крови он эфиоп и немец, а по стилю — «француз», я про то, что попытки перевести его «русскость» на другой язык — невероятно трудны: все утекает, исчезает.

Вот так и «русское» — вроде бы утекает и исчезает при переводе на язык всемирности. И надо выгораживать внутри русского что-то специальное: великорусское, а потом и тамбовское, висимское, лебедяньское.

Тогда почему не бердичевское?

Правда, тамбовским вроде бы и не надо «овладевать» этими ценностями: само дано. Бердичевским — надо. И кустанайским. И остзейским.

Вот они и овладевают. Чтобы этого не было, русская культура должна потерять свою всемирную ориентацию. Что от нее останется?

Когда-то В. Розанов заметил: если услышу, что где-нибудь в России отец читает сыну курс русской истории, заранее знаю, что это немец.

Пусть читает. Курс-то все равно русский.

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ В РУССКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Из ответов на записки

— *Что будет с оставшимися в России евреями — в свете трудов и настроений Шафаревича, Белова, Распутина и отца Иоанна Петербургского?*

— С евреями будет то же, что с оставшимися в России армянами, чеченцами, эстонцами, татарами, цыганами, а также и с русскими, которых, возможно, ожидает междоусобие, доходящее до взаимных погромов, то есть драк стенка на стенку. Сегодня Шафаревич проводит грань между русскими и евреями, завтра какой-нибудь его преемник проведет грань между русскими и... сибиряками, и... казаками, и... «студентами». Или — грань между русскими северного и южного типа. Или еще какую-нибудь грань. Природа человеческая непоправима — вся дурь при нас. Конечно, можно уехать в какую-нибудь другую страну. Там тоже будет грань. Между евреями и палестинцами. Или между американцами белого и черного цвета. А также желтого. И красного. Все равно что-нибудь в этом духе будет. Вы же видите:

рай человеческий, о необходимости которого так долго говорили большевики, на земле не состоялся. Стало быть, жить придется — как жили на протяжении тысячелетий. Что «здесь», что «там».

— *А что будет с евреем «там», если его вдруг охватит ностальгия?*

— Он будет «русским» — как этих евреев и называют на «исторической родине». То есть, будет решать ту самую неразрешимую проблему, которую евреи безуспешно решали в России: как им быть русскими, оставаясь при этом евреями? Или: как быть евреями, оставаясь при этом русскими? Поскольку задача принципиального решения не имеет, надо принимать решения непринципиальные. Иными словами: делать то, на что хватает сил. Допустим, в России еврей мог ходить в синагогу, читать Тору, говорить дома на идиш. Или хотя бы просто помнить, что он еврей. Или ничего этого не делать и не помнить, а жить в обрусении. Охваченный русской ностальгией израильтянин может читать Тургенева, говорить дома по-русски и смотреть московские телепрограммы. Или хотя бы просто помнить, что десять поколений его предков как-то спасались в России. Впрочем, он может забыть все это и стать израильтянином. И не мучиться. Нация, по счастливому выражению Ортеги-и-Гассета, — это непрерывный плебисцит. Надоело быть евреем — стань, чем хочешь.

Правда, тут есть одно весьма трудное условие: надо немножечко знать, чего хочешь.

— *Кого вы считаете евреем: ортодокса, признающего 613 необходимых заповедей, или любого квартирона с пресловутым еврейским геном?*

— Ген — вообще из другой оперы: он действует только в том случае, когда о нем знаешь и если хочешь, чтобы он действовал. А вот заповеди — это по существу. Но опять-таки: 613 заповедей — не единственно возможный вариант; можно себе представить и другой: с одной заповедью: «я еврей, потому что считаю себя евреем». И только. И достаточно. Большое число заповедей — вообще признак неуправляемости. Тут один мыслитель раввинического толка выступил со статьей, где доказывал, что человек, ограничивающий себя шестьюстами тринадцатью нормами, лучше, чем человек, ограничивающий себя, допустим, тринадцатью. Меня это самовосхваление не тронуло. Но когда Зоя Крахмальникова начала этому мыслителю отвечать и доказывать, что последователь тринадцати правил (это все фигурально, имеется в виду христианин) не хуже иудея с его 613-ю, меня охватило чувство неловкости. Как можно вообще обсуждать такую фанатерию? Видишь, человека занесло — пройди мимо. Начнешь доказывать — окажешься там же, где он: кого признать лучшим, кого считать достойным, кого куда пускать и т. д.

Как меня можно кем-то «не признать» (русским, евреем и т. д.), если я этого признания не прошу и считаю себя тем, кем сам нахожу нужным?

— *Не тесно ли будет на маленьком кусочке Азии всемирному народу?*

— А не тесно ли в Греции народу, давшему миру Перикла и Проксителя? Не тесно ли римлянам в Италии? Англичанам в Англии? Испанцам в Испании? После того, как Новый Свет пошел частью по

английской, частью по испанской колее? А каково будет русским сжиматься до Средней России?

Не будем спорить о терминах: в принципе всякий народ может стать всемирным. Или вообразить себя таковым, что для духовно-творческой стороны даже и важнее территориальных параметров. Если же важнее территория, «маленький кусочек Азии», то можно попытаться стать нормальной нацией, то есть перестать считать себя всемирным народом.

Можно, конечно, остаться всемирным. То есть, независимо от «кусочка», присутствовать «везде» и везде решать «всемирные задачи». Тогда, извините, легко не будет. У «всемирных» народов судьба тяжелая. Так сказать, путь на Голгофу. Тут и всеобщее раздражение (можете назвать это завистью), и Холокост, и опьянение Мировой Революцией, и отрезвление от оной...

Как этого избежать? Очень просто: перестать считать себя «всемирным народом». То есть: не употреблять этих слов, особенно применительно к себе.

— *Диаспора — Израиль: что важней, кто главней, кто живучей?*

— А что лучше: быть «всемирным» народом или быть народом нормальным, локальным?

Лучше — второе.

Но интереснее — первое.

Диаспора — это и есть место жительства «всемирного народа». Армянский спюрк. Цыганский табор. Американское присутствие. Рука Москвы.

Вы скажете: какого лешего я о руке Москвы, когда у нее нога неизвестно где и голая задница не на месте? То есть, при своей гига-антской территории все время где-то руками шарит. «Всемирный народ».

На это еще раз отвечу словами Б. Парамонова: а русские — это первые евреи в своем отечестве: скитальцы, божжи, бродяги, гонимые властью и живущие «святых духом», то есть «всемирной отзывчивостью».

Может, потому такая взаимная ревность у русских с евреями? Такая любовь, переходящая в ненависть. Два «всемирных народа»...

Два нормальных народа могут поделить «кусочки земли». Но как два всемирных народа поделят воздух?

ДЕЛО О ПОЩЕЧИНЕ

Возвращаясь к Переписке Н. Я. Эйдельмана с В. П. Астафьевым

Спустя два года после скандала приперли-таки Астафьева к стенке: заставили высказаться. «Мировая общественность» потребовала автокомментариев. Астафьев поначалу перевел разговор на других: стал рассказывать о реакции на Переписку знакомых евреев. (О незнакомых тоже сказал: о потоке анонимных писем, но — вскользь и брезгливо). А подробнее об одном «друге из Перми»... (Я знаю, какие эмоции и доводы летят обычно в человека, подозреваемого в антисемитизме, если он осмеливается сказать,

что у него есть «друзья среди евреев»; я эти эмоции и доводы сейчас оставляю в стороне. Мне интересна сама реакция этого еврея из Перми на Переписку. Потому что это и моя реакция: один к одному).

Так вот: пермский еврей славную Переписку... «игнорировал совершенно». То есть: ни возмущения, ни радости, ничего — ноль. Ноль принципиальный! Как человек относился к Астафьеву, так и продолжал относиться. И Астафьев это оценил.

Потому что по ходу Переписки с обеих сторон (но сначала, конечно, у зачинщика, у Эйдельмана) проступило в душах такое, что мгновенно следовало пресечь. Табу! Я и тогда, в 1986 году, едва письма зашелестели в Самиздате, интуитивно почувствовал: дурное дело! Поэтому — ни звука об этом! Отдернуть руки!

Но «мировая общественность» продолжает эти манифесты мусолить. «Мировая общественность» по-прежнему ждет комментариев. Как же: один писатель обвинил другого в антисемитизме — и тот согласился! Отнеситесь же все как-нибудь к этому саморазоблачению! Вы — на чьей стороне? Дайте оценку!

Хорошо, дам. Вернее, воспроизведу с точностью мою первую реакцию. За много лет она не переменялась.

Итак, мне из рук в руки передают частную переписку двух хорошо известных мне писателей.

Читать чужие письма??

— Читай, читай, это не «чужие письма»? Это — для всех: «открытые письма»,

Но тогда почему сначала были посланы в частном порядке? «Открытые» принято сразу отдавать в печать. А тут — послали, дождались ответа... А чтобы обнародовать, разрешения спросили? Ведь написано-то с первых строк как частное письмо. В смысле: извините, что вторгаюсь...

«Уважаемый Виктор Петрович!

Прочитав все или почти все Ваши труды, хотел бы высказаться, но прежде — представлюсь.

Эйдельман Натан Яковлевич, историк, литератор (член СП), 1930 года рождения, еврей, москвич; отец в 1910 году исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу...»

Мне достаточно. Эйдельман ведь — не просто великий историк, он еще и изысканный писатель, он отлично знает подспудную силу слов, художественный эффект их неожиданного воздействия. Можно выплести какие угодно логические узоры и за них спрятаться (сделать вид, что спрятался), но что в первой же фразе после «знакомства» Астафьев получает пощечину, — впечатление это тем более непреложно, что оно — подсознательное, ибо, «логически говоря», пощечину получил в 1910 году какой-то неведомый «учитель».

«Логически говоря», тут все можно и распутать.

«Представлюсь...»

Зачем? Астафьев, без сомнения, и так знает, кто такой Эйдельман, и Эйдельман знает, что тот это знает. «Представляюсь» — это значит: в принципе с Вами знакомств не веду и впредь вести не намерен, а являюсь к Вам, уважаемый, с единственной целью...

С какую же?

А это и становится ясно, как только на пятой строке журчание автобиографии взрывается прилетевшим совсем из другой сферы звуком «пощечины».

Выходит, с этой целью и явился: дать Вам, уважаемый, по физиономии. Это и есть суть письма. Все остальное — усиливающие эффекты.

Включая и то, что, отдавая Переписку в Самиздат (явно без разрешения соавтора) Эйдельман возвращает Астафьеву копию его ответа. То есть как бы «швыряет в лицо».

Включая, наконец, и такую «мелочь», как реестр астафьевских оскорблений грузинам, монголам и «прочим шведам», кои (оскорбления) рассыпаны в астафьевских текстах и собраны Эйдельманом наскоро. (Почему наскоро? Потому что забыл, например, Корепанова из «Царь-Рыбы», за которого и «угры волжские» обиделись на него смертельно).

Это «мелочи» в астафьевском творчестве?

В принципе — далеко не «мелочи», конечно. Опаснейший перекос сознания, имевший для Астафьева как для писателя крутые последствия. Опять-таки, не надо быть сверхпроницательным, чтобы понять, как все эти дикости сочетаются у Астафьева с очевидным добродушием. Как он ухитрился обидеть всех: и грузин, и монголов, и угров, и «французи́ков», и «еврейчат» — при такой немереной широте души?

Да от широты же. От дикой неаккуратности. От нежелания на миллиметр вперед рассчитать реакцию других на твои слова. От уверенности (между прочим, чисто русской), что все, конечно же, думают и чувствуют так же, как ты. И потому можно говорить все, что бог на душу положит. Не заботясь о последствиях. Скажет — а потом и пожалеет; а иной раз и объяснится: не хотел, мол, обидеть.

И не хотел. «Само» получается. От размаха. От неистребимой русской беспечности.

Понимал ли это Эйдельман?

Наверняка понимал. Должен был понимать. Но нужнее был в письме фон для «пощечины». Оттяжка, благостный отвод внимания — для неожиданности удара. Грузины... монголы... Батый... Карамзин... Вы ждете «еврейчат», а их нет. Вы их ждете, потому что в начале письма было ясно объявлено: «я еврей». Просто так это незнакомым людям не объявляют. Человеку, может быть, вовсе и неважно, еврей ты или не еврей. Ему это, может, без разницы. А ему это тычут. Зачем? Это письмо — КЕМ написано: интернационалистом, гуманистом, человеком, или — «евреем»? Вроде бы, по всей внешней логике интернационалистом, гуманистом, человеком. Причем же тут «еврей»?

А чтобы ждали еврейской обиды.

Ждем. А ее «нет». Грузины, монголы... Лишь под самый занавес — про «еврейчат» из «Печального детектива». Как бы и вскользь. Я, мол, не за себя, я — за общую справедливость.

Зачем же тогда с пощечины начинал?

На что Астафьеву в этом письме отвечать? На внешнее «благоепие» или на скрытые под этим «благоепием» вызов, подначку, оскорбительную, дразнящую дерзость?

Импульсивный человек — сел да простодушно, в десять минут, и накатал ответ. Писал, как есть, не соразмеряя последствий. (Впрочем, и за «десять минут» сумел вспомнить и со ссылкой процитировать из Эйдельмановской книги — про «жиденят»... Досье, что ли, вел?).

Но примем и у Астафьева простодушную интонацию как закон, им самим над собою признанный.

«Натан Яковлевич!..»

Стало быть, без «уважаемого». Для частной переписки — странно. Для «открытой» — естественно. Объявленное неуважение, да еще при наличии к письму эпиграфа — прием вполне литературный: явно «для печати».

Значит, вызов принят: боремся по правилам, предложенным противником?

И прежде всего — интонацию подхватываем. Эдакая благодная невинность. В глубине-то там — готовность убить, чуть ли не физически промеж глаз врезать, а на поверхности — благоепие! Смысл же такой: и мы вас кормили, и мы вас поили, и столько добра вам сделали, а вы все равно нам враги. Но мы все равно добрые. «Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо...» Это в каком же смысле? А в таком, что раньше не ясно было, кто враг, а теперь ясно.

Ну, так с врагами — как с врагами. Вы нас убиваете, мы — вас. Вы нашего царя убили — вы: «евреи и латыши, которых возглавлял отпетый махровый сионист Юровский...»

Кстати, точнее было бы: мадьяры и латыши. А возглавлял действительно Юровский, но был он не сионист, а коммунист, а на то, что он еврей, и ему, и всем прочим коммунистам было в высшей степени наплевать, — это только теперь стало важно.

Обычная история: злодействовал как коммунист, а отвечать должен — как еврей.

Так вот: Эйдельман-то почему перед Астафьевым за Юровского отвечать должен? Что, Эйдельман участвовал в казни царя? Или хоть как-то оправдывал это дело? Почему он за Кривелева отвечать должен, что тот взял русский псевдоним? А может быть, он, Эйдельман, как-то не так составлял энциклопедии и теперь следует его от этого дела отстранить: и «пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже „приберем

к рукам», и, о ужас! О кошмар! Сами прокомментируем „Дневники Достоевского».

Вообще, довольно странные эмоции. Что, Гомера должны комментировать только греки? Библию — только евреи? А что, если израильтянам когда-нибудь взбредет в голову издать и прокомментировать Астафьева, — им что, нельзя?

Но речь идет вроде бы не «вообще», а «в частности». Но тогда почему Эйдельман должен отвечать за каких-то редакторов, за кино, за театр, за издания классиков?

Да потому, что не он тут объект ненависти, а они. В письме еще удерживается Виктор Петрович, а в разговоре, два года спустя, дает себе волю: «Они же ведь думают, что это они, так сказать, пупы мира».

Еще мгновенье, и — «все они». «Эта нация».

«...Привычка этой нации соваться в любую дырку, затычкой везде быть...»

Виктор Петрович, и пермский Ваш друг, комбат саперный, — тоже? И московский друг, бывший солдат, — тоже? И тот еврей, Герой Советского Союза, что проклял Эйдельмана за его письмо, он что, тоже затычка?

Виктор Петрович, «они» — все?!

Я задаю идиотские, провокационные вопросы — я отлично знаю, что Астафьев не антисемит, никогда им не был и не стал им от эйдельмановского письма. Но логикой этого письма он, увы, заразился. Тон Эйдельмана принял. Точку отсчета взял — его. То есть, если называть вещи своими именами, перед нами классический пример провокации, которая — удалась.

Наверное, Эйдельман не отдавал себе полного отчета в том, что делает. То есть, он не понимал, что затевает провокацию. Он действовал импульсивно и, так сказать, по эмоциональному шаблону. И по тому же шаблону получил сдачи. То есть, его противник как бы подтвердил его худшие предположения, «попался», «раскрылся». И Эйдельман — на том же публицистическом нерве поставил в переписке точку:

«Виктор Петрович, желая оскорбить — удручили...»

Значит, и тут уже без «уважаемого». И со словом «оскорбление» в первой строке (начал с «пощечины», кончил «оскорблением» — сюжет!). А слабенькое, лукавое, блудливое слово «удручили» — все от той же игры: разве с Вами можно всерьез! С Вами — только «подтрунивая». Потому что Вы шовинист, невежда, животное...

И — обрывая Переписку — «возвращает» астафьевское письмо. То есть, копию.

Вообще-то возвращать надо оригинал, если уж обижать наверняка. Или оригинал нужен как оправдательный документ, когда Переписка, пущенная в Самиздат, пойдет по рукам? Поэтому «в лицо» брошена — копия. Это несколько смазывает эффект, но не отменяет разрыва:

«Прощайте, говорить, к сожалению, не о чем».

Так не о чем?

Нет, к сожалению, есть о чем.

Возможны два отношения к реальному или предполагаемому антисемитизму. (На место евреев в этой схеме можете поставить кого угодно: цыган, армян, негров, чеченцев и даже, о господи, русских). Так вот: если кто-нибудь кого-нибудь «не любит», — реагировать на эту «нелюбовь» можно двояко.

Можно — «не заметить».

А можно — не только заметить, но еще и расковырять: «вывести на чистую воду», «заклеймить», «пригвоздить».

Я предпочитаю первый путь.

Не говорите антисемиту, что он антисемит, — чаще всего он этого сам про себя не знает. Он это узнает, когда вы это ему скажете.

А если он знает?

Не повторяйте ему это, не укрепляйте, не утверждайте его в этом. Не усугубляйте ситуации. Никто никого не обязан любить: ни евреев, ни немцев, ни американцев, ни русских. Это — личное дело каждого. Не подводите «базу». Не подсказывайте формулу. Не провоцируйте.

Ну да! — скажут мне пуганные евреи. — А погром?

В погром — сопротивляться. Прятать обреченных. Спасать. Восстанавливать как в Варшавском гетто. Однако погром — не образ жизни. И не только еврейская проблема. Она и начиналась — не вполне как еврейская, и уж точно — не как еврейско-русская. А начали бить — «торгаши» «торгашей» (по «пятому пункту» — греки — евреев). Братья-славяне, склонные к соборности, конечно, присоединились. Но подлость человеческая вообще охотно присоединяется к безнаказанному грабежу. Не придавайте подлости излишнего глубокомыслия. Не подвернутся «евреи» на пути дураков и подлецов — не будет и еврейского погрома.

Иосифа-то Когана (у Багрицкого) украинский мужик ненавидит разве как еврея? Нет, как экспроприатора.

Коган однако тоже должен соображать: что будет, если погода сменится: насильничал — как комиссар, а отвечать придется — как еврею.

Кто соображает, тоже знает, когда и почему надо ждать погрома. Двести лет евреи в России ждут погрома. Последние двадцать лет вроде бы и государственного антисемитизма нет — все равно ждут. Людей рассказывали, размуживали; ссылали горцев, корейцев, немцев. Перебили армян в Сумгаите, стерли Грозный с лица земли. Евреи не в моде, вся слепая ненависть переключилась на «кавказцев»; цыган сжигают семьями; немцам на Волге грозят «вторым Сталинградом»...

А евреи Малаховки и московского Юго-Запада все ждут погрома.

Отсюда — сверлящая жажда: отыскать и наперед уличить антисемита. «Упреждающий удар». Человек, может, и ведать не ведал, что он антисемит. Ему сказали. Он их в упор не различал. Стал различать.

Астафьев-то, конечно, не стал. Но в сердцах сказал, будто стал.

Другие, глядя на него, — стали.

Так что, резюмируя, скажу, что повинны — оба. Хотя и в разной степени.

Натана Эйдельмана я знал лично, я к нему (помимо того, что бесконечно ценил как историка и писателя) питал большую человеческую симпатию (смею думать, не безответную). С Виктором Астафьевым лично едва знаком (как прозаика и совестливого человека — ценю бесконечно). Кроме того, об усопших — или хорошо, или никак. А все-таки, переступая через все это, скажу: Эйдельман в том совместном грехе виноват больше. И «первый начал». И «шибко умничал». И, простите, если уж шибко умный, то должен бы ведать, что творит.

Бог с ними.

Остается «безделица»: понять, как же вести себя евреям в стране, называемой «Россия»?

* * *

Ответ так же прост, как все непостижимое: вести себя как русские.

Кровь, происхождение, форма ушей и длина носа тут решительно ни при чем. При всем еврейском внимании к генетической чистоте («по матери», только «по матери»!) — вы же не проконтролируете, с кем дружила матушка этой матушки и всякая по восходящей прабабка. О русских и говорить нечего: поскреби русского — и найдешь кого угодно: на том стояло и стоять будет наше многонациональное (или так: многоплеменное по истокам) государство.

Так что оставим в покое кровь и внешность, и тайну родословной, и ностальгию прапамяти: кровь «говорит» только тогда, когда дух «спрашивает»; внешность помогает (или не помогает) маркировать то, что добыто самосознанием; если я помню о еврейском происхождении моей бабушки, то это мое личное дело, и оно касается других не больше, чем казачье прошлое другой моей бабушки... Это все — только «стройматериал» личности, но увенчивается «строение» только тогда, когда человек решает, кто он.

Когда он говорит себе: я русский.

Или: я еврей.

В годы моего становления личность вообще строилась из других материалов (что ни на йоту не меняло принципа построения). То есть, я мог сказать себе: «я — строитель коммунизма», или «я — наследник революции», «я — советский человек». Или: «ненавижу все советское» — абсолютно та же логика, начисто лишенная национального окраса.

Десяти лет от роду меня обозвали евреем.

С этого момента я им стал.

Русским я тоже — стал. Когда почувствовал к себе презрение (сочувствие, сострадание, соболезнование) со стороны более «удачливых»

соседей по глобусу. Я стал русским в ответ на унижение русских. Это выбор, выбор души, смешанная кровь тут ни при чем.

Впрочем, кровь «помогает». В том смысле, что в любой момент ею можно «прикрыться». Есть два народа, о которых я могу говорить и писать все, что думаю: русские и евреи. Да и то попадаешь то в русофобы, то в антисемиты. Тут-то «кровь» и выручает: отвалите! Имею право! Про грузин, немцев и чукчей — не имею права (семь раз отмерю, пока выговорю), а про евреев и русских — сколько угодно, потому что «сам такой».

Глупо, конечно. Но в дурацкой ситуации быть Иваном-дураком спасение.

В любом случае — я выбираю. Я решаю: кто я. Я веду себя туда, куда решил и так, как решил.

Тайна поведения — единственная разгадка «национального вопроса», включая и самые дикие «националистические предубеждения». Люди цепляются за внешность, за анкету, за «пятый пункт», потому что пытаются спрогнозировать или объяснить себе интуитивно чужое: тип поведения.

При малейшем намеке на расчетливость говорят: «еврей». Совершенно неважно, кто он там на самом деле. С другой стороны, это может быть (как любит выражаться мой минский единомышленник Ким Хадеев) — питекантроп с надписью «Рабинович» на лбу, — но если этот Рабинович ведет себя как русский и люди будут уверены, что он именно так поведет себя в любой предполагаемой ситуации, — они не заметят ни носа, ни акцента, ни надписи на лбу (или в паспорте).

Бывают отклонения?

О, бывают. Патологические отклонения. Вроде тех, что с такой силой описаны Фридрихом Горенштейном: когда у русского человека раскапывают еврейские корни. Но патология и есть патология и ни к чему, кроме новой патологии, не приводит. Катастрофа евреев во Второй мировой войне по истокам трагедии — не катастрофа специфически «еврейская», а катастрофа общего безумия войны, павшая на евреев; цыгане оказались в такой западне; победы Гитлер — в ту же печь пошли бы и славяне. Но это — именно ситуация общей драки, свалки, тотального безумия. Это катастрофа общечеловеческая, и бог попустил ее, наверное, не специально ради евреев.

А так, в относительно нормальной ситуации (и возвращаясь к России как стране «воинствующего антисемитизма») — побойтесь же бога и не ищите расовой истерии там, где ее нет.

Кто знал, что Борис Пастернак еврей? Кто помянул ему это даже и в худшие времена травли? Ведь подумайте: момент был мутнейший, и много чего могли припасть, когда государство объявило Пастернака врагом. Да многое и было вызывающим в его поведении: «дачник» среди трудящихся, «небожитель» среди жильцов, наконец, «клеветник», напечатанный за границей, у классовых врагов. И все это ставили в строку, и дикие люди «из народа» подхватывали: «я Пастернак(, конечно, не читал и читать не буду, но скажу...»

Так вот: все, что можно, ему говорили, все тыкали в глаза, кроме одного: что еврей. Потому что — при всем своем еврейском происхождении — он никогда не вел себя как еврей. И даже дикие люди «из народа» это чувствовали. Он был человек абсолютно русский — по культуре, по образу мыслей, по типу поведения — это отлично понимали организаторы травли. Хватило же ума не нажимать на эту педаль.

Хватило же безумия у «организаторов» противоположного толка называть Пастернака «ассимилятором». Ибо он сказал: не собирайтесь в кучу.

Да, сказал. И был по-своему прав.

Потому что у тех, кто хочет «собраться в кучу», с некоторых пор появилось место, где это можно сделать. Появление «своего государства» принципиально меняет ситуацию. Даже если реально она мало меняется. То есть если реально еврей в Израиль уехать не может (его не пускают), а уехавший не может там прижиться (но это уже «не наши» проблемы), — все-таки принципиальный выход как бы остается, и любой оппонент имеет право еврею этот выход указать: ты же можешь уехать! Астафьев — уж на что в угаре ненависти писал Эйдельману, но точно же суть уловил: «для них — весь мир вроде, если им где плохо — переедут туда, где лучше, а нам, русским, некуда, нам где плохо, там и жить».

Славно сказано. Я не про «хорошо» — «плохо»: в Израиле им, может быть, тоже плохо, но уже не потому, что они — евреи среди русских, а по другой причине.

Остается выяснить, что делать «евреям среди русских»: тем, кто не может уехать. Не может — по душевному состоянию, по принадлежности и приверженности к русской культуре, по ощущению «русской судьбы», одним словом — по личностному решению.

Им что делать?

Далее — цитирую Юрия Карабчиевского, который в свое время в статье, посвященной переписке Эйдельмана с Астафьевым, попытался ответить на этот вопрос:

«Что делать? Не знаю. Знает лишь тот, кто точно знает, что надо уехать. Таким остается только завидовать. Их позиция всегда хорошо обоснована, и для них вопрос на сегодня снят. А еще знает тот, кто думает, будто знает. Кто уверен, что можно жить себе и жить, не обращая внимания, нормальной жизнью русского интеллигента, ну, там, еврея по происхождению, мало ли какие у кого были предки, здесь, в России, ни с кем и не разберешься толком, у кого татары, у кого буряты, у кого немцы, у кого евреи... Жить и жить, никогда, ни в какой ситуации, ни даже наедине с самим собой не чувствуя, не признавая себя евреем. А если в автобусе или в очереди... Ответить: — Да сам ты — какой ты русский? Научись сперва говорить грамотно! — Ну, и что-нибудь там еще остроумное, так, чтобы все тут же и померли со смеху. А если окружающие тебя не поддержат, и придется тебе помирать в одиночестве — выйти и пересечь в другой автобус, не на этом же свет клином сошелся. А когда это будет во всех автобусах, или хотя бы в каждом третьем... Да не будет этого, не может быть!

Может! И вспомним: уже бывало в сороковые-пятидесятые. А сейчас-то зла накопилось поболее. Будет так: автобус, два активных подонка, пять пассивных подонков, двадцать пять любопытствующих и еще пять — нормальных людей, которые содрогнутся, но не решатся...»

Насчет того, «может» или «не может» повториться 1952 год, спорить не буду. Все «может»! Тут и угадывать нечего. А вот как вести себя сейчас, вот в эту секунду, — об этом можно поспорить с Ю. Карабчиевским.

Да, это точно мой принцип: жить, не обращая внимания. Жить нормальной жизнью русского интеллигента. Вести себя так, как должен себя вести человек русской культуры. Не говорить антисемиту, что он антисемит. Не соглашаться с ним, когда он сам называет себя так. Не верить в это даже тогда, когда это реальность. Потому что кроме реальности эмпирической есть реальность духовная. Не называй дурака дураком, потому что в его глазах ты сам дурак.

И опять вечное возражение: а погром?

А в погром защищается человек прежде всего — как человек, и уж только потом — как носитель ярлыка, который ему по случаю погрома клеят. Ярлыки не вечны. «Не собирайтесь в кучу». Будьте русскими...

— ...Так ведь не дадут! — в отчаянии отвечает Юрий Карабчиевский. — Нет выхода! Ни там, в Израиле, нет жизни, потому что там — ты «русский», ни тут, в России, потому что тут ты — непременно «еврей».

Исаак Милькин на этот же вопрос в этой же ситуации отвечает иначе:

— Есть выход! Остаться тут, но не делать вид, что ты русский (как и там — невозможно сделать вид, что ты не русский). Остаться тут и быть особым народом — «русскими евреями».

Так они стыкуются в какой-то запредельной точке алогического пространства: отчаявшийся Карабчиевский и несдающийся Милькин:

«Прежний стыдливо-уравнительный довод, что евреи — такие же русские, уже не работает. Всем уже ясно, что — не такие же...»

Так. Это и есть крайний пункт, до которого можно пятиться, реагируя на доводы. Здесь доводам конец. Еврей не может перестать быть евреем. Не потому, что другие препятствуют ассимиляции. Сам не может. Даже когда искренне хочет перестать быть евреем. Все равно не может.

Опасность этого решения на эмпирическом уровне самоочевидна. Ну как ты станешь «особым народом», не имея ни клочка земли, ни материального подкрепления своей среди «прочих русских» особенности? Ни Биробиджан, ни Крым тут не вдохновляют: «русским евреям» как особому народу собраться «в кучу» негде. То есть никакой перспективы полноценного национального бытия не просматривается. Только «самосознание». И подкрепится оно — чем же? Профессиональными склонностями? Вроде того, что в Москве «все дворники татары»? Что-то вроде имиджа ассирийцев? Или цыган? Только с поправкой, что те «дворы метут», «ботинки чистят» и «по руке гадают», а эти — «в журналах пишут» и потому они среди прочих русских — особенные?

Вы понимаете, какую бомбу под себя подводите?

Лучше не высовываться в этом качестве.

Десять лет либеральной Перестройки; погромов не было и нет; евреи в моде; а все-таки висит в воздухе тревога; и бабочки по-прежнему летят на огонь.

Расклеена по городу афиша, и такая же, в миниатюре, сунута в почтовый ящик:

«ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕССИАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ...

Приходите послушать всемирно известных певцов и музыкантов из Европы, США, Израиля.

Вы услышите традиционные еврейские и израильские песни.

Вы услышите вдохновенное сообщение о надежде и любви от Мессианского раввина Джонатана Берниса...

Приходите, и вы откроете для себя истину!..

Вера в Бога и его сына Иешуа может изменить вашу жизнь».

Ох, что-то тревожно мне. Я не против — послушать всемирно-известных певцов. Я только боюсь, когда вот так обещают открыть истину. Боюсь встречной реакции тех, кого хотят облагодетельствовать. На каком-то афишном столбе я уже видел доброе лицо раввина Джонатана Берниса со звездой Давида, нарисованной у него на лбу чьей-то глумливой рукой. Резануло меня — нет, не фактом хулиганства, этим на Святой Руси не удивишь — а тем, как скоро сбывается смутное предчувствие. Ой, будьте осторожны, «мессианские евреи, верящие, что Иисус является еврейским Мессией». Ой, не высовывайтесь так неосмотрительно. Ой, не собирайтесь в кучу.

Я понимаю: в моей «крови» пульсирует тысячелетний страх, не подавленный за два русских века еврейской истории.

И он не будет подавлен, не может быть подавлен. Потому что еврей (человек, сказавший о себе: я еврей) не умеет перестать быть евреем. Может быть, это рок над ним, одна из загадок мировой истории, сфинксово вопрошание.

Поэтому он уходит, не отвечает сфинксу, уносит ответ. Он уходит в свою пустыню, в свою сумасшедшую древность, уходит обратно «за реку», из-за которой явился когда-то с праотцем Авраамом.

А остающиеся дальние потомки его, смешавшиеся со «здешними народами», постепенно забывают о том, каким ветром занесло сюда, в

«северные болота», непонятные живучие пустынные гены, и только изредка, все реже и все необъяснимее, будут вспыхивать и дотлевать в прапамяти отзвуки странной тревоги.

Уходящие уходят. Остающиеся остаются.

Двухсотлетний эпизод «еврейского участия» в русской истории завершается.

Это ничего. Завершился же и двухсотлетний татарский. И двухсотлетний европейский, с Петербургом связанный. Теперь иссякает еврейский.

Чем будет помянут?

Что останется в русской душе от контакта с этими странными людьми: вроде бы и «южными» по темпераменту, да как-то «примороженными», вроде бы живучими, быстрыми, контактными, но хрупкими, да и «закрытыми» наглухо в своей глубине. Что все это значит в Книге Мировой Истории? Зачем они тут были, зачем страдали, зачем во все вникали и влезали?

Во все вникли, во все влезли, во всем поучаствовали, были и главными палачами, и главными жертвами, и вроде бы безоглядно пребывали здесь, — а все-таки хранили, таили какую-то нездешнюю, запредельную, древнюю, вечную думу... с которой и ушли отсюда туда, откуда пришли и куда другим пути нет.

Вот это и останется — неверный, загадочный след. Как от «пришельцев».

МОСКОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

по поводу «Иерусалимских размышлений» Амоса Оза

Тридцать лет назад по Москве ходил анекдот, а может, и вправду подслушанный разговор девочек-«лимитчиц»:

— Ой, ты слышала? Евреи арабов побили!

— Ну и вранье! Ты видела этих евреев? Вон у нас в конторе бухгалтер: тощий, согнутый, в очках, всех боится. Кого они могут побить?

— Дура ты, Клавка! То ж древние евреи!

Наивная собеседница ушлой Клавки не подозревала, насколько была права. Еврей, унесший ноги из галута, ненавидел свое изгнанничество и самого себя в изгнании. Тощий согнутый бухгалтер, потерявший очки в погроме, едва выживший в гетто, чудом избежавший освенцимской печи, вернулся на землю пращуров, чтобы умереть от горя и позора. Сабры, ошетилившиеся на палестинских камнях, встретили его вопросом: как ты мог безропотно идти на заклание?

Спорить было бессмысленно: на плохом польском рассказывать о варшавском восстании, на картавом русском — перечислять евреев, ставших Героями Советского Союза. Бытийные вопросы решались не доводами. Надо было становиться другими. Немедленно. Не сумевшие — завещали детям.

Дети круто переложили рули:

— Стрелять, пахать, говорить на иврите.

— Ориентироваться ночью на местности.

— Научиться у арабов тому, что они сохранили здесь, на земле: ругаться, сидеть у костров, рассказывать истории...

Еврей диаспоры вцепился в образ «древнего еврея», как в свое спасение. Ханаан «с ножом» пошел на галут... С ножом? С автоматом «узи», с электронной техникой, с компьютерным орошением. Но если надо, так и с ножом. То ж древние евреи.

Амос Оз описал это пятнадцать лет спустя. С тех пор прошло еще пятнадцать. Два или три поколения выросли на земле Ханаанской. Новая психология, новые ценности, новые реакции. Или слишком старые — древние? Так или иначе, «народ Израиля» обновился: количественно, от смены поколений, наполовину, качественно — еще больше и сильнее. Потому что есть закон раскручивающегося маховика. Закон борьбы, когда нельзя останавливаться. Есть, наконец, опьянение победоносностью...

Отцы-очкарики опомнились:

— Дикари! Что с вами случилось? Где ваш еврейский гений? Где образованность, где чувствительность, где ирония?

Амос Оз мог бы добавить: «Вы не евреи!»

Наверное, так. Не евреи. Израильтяне. Новый народ. Реальность переломилась от «еврея» к «израильянину» не только в Израиле. Солдаты Израиля («древние евреи»), прыгнувшие в Синай в 1967, выстоявшие у Голан в 1973 и усадившие арабов за стол переговоров в 90-е, переменили еврейскую ситуацию не только на каменистом пяточке у Средиземного моря — они переменили мировую ситуацию с еврейством.

И то, что крутой антисемитизм несколько «осел» на всех континентах, их заслуга. Клавка не дура; она сообразила, что «бухгалтер» в их конторе не так прост; черт его знает, может, он в душе — тоже древний еврей. У русских (во всяком случае, у тех миллионов русских, которые привыкли уважать силу) отношение к «еврею» начало меняться в сторону именно такого уважения. Теперь с Абрамовичем можно иметь дело. Особенно если он — «там».

Вопрос: а те русские (их тоже миллионы), которые привыкли уважать не силу, а право, совесть и страдание, — они как должны были отнестись к этой перемене? Иметь дело с Абрамовичем, который сиганул в Израиль, оттуда в Америку, и не просто в Штаты, а прямо-таки в штатное расписание русской мафии, — с таким Абрамовичем русскому интеллигенту делать таки нечего.

Я спрашиваю: где тот «еврей», который две тысячи лет был укором и уроком всему миру? Он что, тоже «исчез» в израильянине? «И тебе не больно?»

Андрей Синявский когда-то вздохнул вслед первым отказникам: «Как же без евреев? Скучно без евреев».

Слово «скучно» надо понимать в русской многозначности. То есть это не антоним ни «веселью», ни «развлечению». Это — антоним «смыслу».

Что же, эти две тысячи лет диаспоры, эти слезы галута, эта тихая безответность очкарика, согнувшегося над Книгой, — все ошибка истории? «Тупик», из которого надо поскорее выскочить и забыть? Стереть «еврея» из памяти?

Русский интеллигент, которому тоже предстоит то ли высказывать из семидесяти советских лет, как из ловушки и ошибки, то ли куда-то эти семьдесят лет пристраивать в своем «поехавшем» сознании, — русский интеллигент смотрит на «еврея» со смутным чувством родства. Не генетического, конечно, а духовного. Я читаю Амоса Оза русскими глазами.

«...Наша страна — чуть не единственное место в мире, где практически ни один человек не живет в том доме, в котором родился. Лишь немногие собираются умереть в том доме, в котором живут... О, конечно же, не палаточный лагерь, не бараки из жести, как это было в пятидесятые годы, но даже когда это итальянский мрамор, и датское дерево, и дом твой смотрит на все четыре стороны света, это все еще лагерь беженцев...»

По порядку.

Насчет «дома, в котором родился». Рискну обратить сюжет на себя. Я родился в Ростове-на-Дону, куда моя мать приехала к сестре на каникулы, и родился не вовремя, потому что мать, беременная, подняла племянника, а подняла — потому, что больше некому было поднять: няnek не держали. В Москве, куда мать вернулась с новорожденным, у нее вообще не было дома, а было временное место в студенческом общежитии. Дом (комната в коммуналке) появился через три года, и отец еще четыре года спустя ушел из этого «дома» на фронт; где его могила, неизвестно.

Дом же, в котором отец родился (казачий курень в донской станице), был сразу оставлен, потому что дед (школьный учитель) кочевал из станицы в станицу в поисках работы, таская за собой детей.

Дом, в котором родилась мать (на Черниговщине), в 1917 году сожгли. Бабку убили. Дети спаслись, и это было великое счастье. Как счастье было и то, что спаслись дети казачьего учителя (не все: некоторые умерли от тифа и скарлатины, а те, что выросли — каждый второй — убиты в 1941-м). И опять-таки счастье — что успели своих детей оставить. Так что из действующих лиц драмы, называемой моей родословной, ни один не жил там, где родился, и ни один не имел шансов умереть там, где жил.

До итальянского мрамора мы в России вряд ли когда-нибудь доживем, до датского дерева — может быть, а вот «лагерь беженцев» для России — понятие всегдашнее. Бараки были, правда, не из жести, а из теса или вагонки, и выросло в бараках не одно, а два-три поколения. И «палаточный лагерь» понятие не «пятидесятых годов», а также и девяностых, когда после всех строительных штурмов (когда мы, как и израильтяне, скачком норовили выскочить в «иное состояние»: «каждой семье — отдельную квартиру» и прочие советские всенародные «операции») — однако рухнула «империя», и «палаточные лагеря» увенчали социалистическую эру, и понятие «страна беженцев» обрело зловеще-реальные очертания.

На заре Гласности я увлеченно цитировал афоризм Бориса Парамонова: «русские — те же евреи в своем отечестве» — удачная метафора, парафразис, блестящая стилистическая находка. Сегодня дурной сон переходит в дурную явь. «Страна беженцев» — это мы.

Можно и в этом случае ограничиться парадоксальной аналогией евреев и русских (моя излюбленная тема, самой природой данная мне в удел), но, я думаю, евреям выпало не только русских смоделировать в этом отношении (и не только в этом), а — человечество вообще.

Призрак бездомья, беженства, скитанья висит над человечеством. Не потому, что где-то кто-то кого-то выгнал, потеснил, пожег, пустил по миру, а потому, что агасферово проклятие висит над всеми, это — в природе вещей, и если кто-то гордится, что в его фамильном доме балки закопчены на протяжении столетий (кажется, это Честертон говорил об англичанах в противовес французам: у нас-де балки закопчены и газоны стрижены со времен Кромвеля) — наверное, это все-таки частный случай, счастливый случай. Общее же состояние человечества — бесконечные сдвиги и потрясения, оставленные дома, потерянные могилы.

Что же такое еврейский галут? Ошибка судьбы, прискорбное стечение обстоятельств, нарушение справедливости? Да, так. И еще что-то. Общечеловеческое клеймо, павшее на «избранных»? Да. И еще что-то. На многих падало, иные исчезли, стерлись в памяти человечества, но тот народ, которому выпало этот ужас запомнить, и удержать в Книге, и преодолеть духом (не силой — только духом!), — этот-то народ и оказался «избран». Не для счастливого исхода драмы («итальянский мрамор» и «дом на четыре стороны света»... и Синай... и Кэмп-Дэвид), а для того, чтобы это агасферово проклятие — вынести и всему миру показать, что его можно вынести.

Это не только России урок, Россия — такая же страдальца, как и все человечество, это — человечеству урок, а Россия просто кричит громче других. Русская литература — этот крик. Русские книги. То, что евреи народ Книги, общепризнано, но что русские — народ Книги, предстоит выяснить. В зависимости от того, одолеет ли сейчас «телевизионный клип» поэзию Пушкина, заменит ли карманный дайджест по «Анне Карениной» саму «Анну Каренину», и вообще — как мы перенесем обрушившийся на русскую культуру очередной «временной разрыв».

«Мы, — пишет Амос Оз о еврействе, — пример цивилизации, которая претерпела временной разрыв. Этот разрыв начался 200 лет назад в Европе...»

...Разрыв, связанный с ослаблением Османской империи и усилением секулярных европейских влияний в еврействе?

А приход турок в Израиль 400 с лишним лет назад — не разрыв? А еще за 400 лет до того крестоносные погромы — не разрыв? А Тит, в 70-м году лишивший Агнона отечества? А Александр Македонский, за 300 лет до римлян нахлобучивший на евреев греческую шапку? А Вавилонское пленение за 200 с лишним лет до Александра? А распад Иудеи — Израиля после Соломона? А филистимляне...

Сплошные разрывы: живого места нет.

Мысленно проецирую эту хирургию на русскую историю. От Киева к Владимиру-Суздалью — разрыв. Татары — опять разрыв. Воцарение Москвы разрыв (Псков и Новгород в крови). Окно в Европу — разрыв (Петр Великий ассоциируется у народа с Антихристом). Приход большевиков — разрыв. Уход большевиков — опять разрыв; непонятно, какие концы стягивать: то ли к «февралю 1917» возвращаться, то ли к «февралю 1613»; и какой именно «временной разрыв» пустить по разряду «исторического тупика», то есть козе под хвост: то ли в 70, то ли в 300 лет тупик, и что восстанавливать: Российскую Империю? Святую Русь? Праславянское единство (которого никогда не было)?

Смысл всех этих «разрывов» — в том, чтобы нащупать противостоящую им прочность. Выявить то, что из-под всех «разрывов» выходит неповрежденным. То, что у нас обозначается бегучим, как зыбь, словом «русскость». То, что у них обозначается магическим, как заклинание, словом «еврейство».

Человек может сменить все: страну, язык, культуру, веру. А потом скажет себе («вспомнит»): я — еврей. И душа — дома. Возвращен блудный сын.

Интересно: а к русским применим ли этот закон блуждания?

Скажу с полной мерой самоуверенности: да, применим и к русским. Гуляет-гуляет человек по эмиграциям, потом говорит себе: я — русский. Или так: рождается человек бог знает от каких корней: от абиссинцев-немцев — и становится великим русским поэтом. Все дело в том, скажет ли он себе: я русский, как говорит себе еврей: я — еврей.

Разница, конечно, в том, что русские «за сто лет новейшей истории» угробили соотечественников миллионов около пятидесяти (точное число подсчитать невозможно), а евреи убили евреев в количестве пятидесяти особей (это в 1984 году подсчитал Амос Оз).

Так. Но если к 1995 году окажется пятьдесят один, — этот один сильно омрачит еврейскую солидарность. Я имею в виду, что можно на людях пристрелить премьер-министра, а потом, жуя жвачку, улыбаться в телекамеры, слушая, как журналисты фиксируют рекорд для Гиннеса: впервые глава еврейского правительства убит евреем.

Но он его убивал — не как еврей еврея, а как непримиримый примиренца. Это уж калькуляция задним числом: еврей — еврея. Как и русская калькуляция того же образца: русские-де убивали русских.

Нет, не «русские русских». А красные белых (белые красных). Бедные богатых (богатые — бедных). Атеисты — верующих. Советские — власовцев. А что «русские русских» — это мы только сейчас сообразили. Как и то, что «евреи евреев». Для этого надо, чтобы точки отсчета сдвинулись.

Почему они сдвинулись — это пока что (для меня во всяком случае) загадка истории. Почему все социальные, государственные, конфессиональные и прочие параметры оказались почти разом оттеснены этническими, и под эти этнические, стало необходимо подбивать все прочие (социальные, государственные, конфессиональные)? Применительно к еврейству: сионизм или раввинизм, вхождение в ближневосточный пул или

обособление от него, израильская культура как продолжение мировой (в том числе русской) или как нечто изолированное, ни к чему не сводимое)?

Перемена точек отсчета коренится в таинственных ритмах истории, а не в том, что кто-то кого-то в чем-то «убедил».

«Мы, евреи, слишком долго слышали, что нам следует измениться, стать другими...»

То есть: слушали, слушали, ну, и переменились: из «евреев» стали «израильтянями».

Интересно: слушали две тысячи лет, а переменились — в два поколения.

Так, может, не потому переменились, что «услышали», а потому «услышали», что переменились? Переменились же — внутренне — в связи с общей переменной ситуации (всемирной, точнее, всемирно-этнической). Переменились потому что веками хранимое на дне души содержание, дождавшись момента, вышло на поверхность и реализовалось в историческом действии.

С этим — ясно: государство восстановлено из «ничего», «чистой волей». Язык восстановлен из «ничего», из упрямства двинского гимназиста, ради своей идеи переехавшего в Палестину и открывшего школу иврита. Нация восстановлена из осколков, отказавшихся исчезнуть.

Неясно другое: какая культура должна возродиться в этом вновь собранном, нормальном государстве. Великий еврейский опыт возник и удержался в ненормальных условиях.

Вопрос: что создается в нормальных?

Великая культура?

Амос Оз, размышляя над европейскими национальными культурами, возникшими на реках крови, говорит: нет. Культура возникает не там, где дикости нет, а там, где дикость надо преодолеть. Опять — русская аналогия:

«Россия Толстого и Достоевского (а до того — Гоголя, как и впоследствии — Чехова) была страной дикой. Русская улица была вотчиной дикарей, русская деревня по дикости своей не уступала деревне где-нибудь в Африке. Это известные факты. И тем не менее там и сям, в разных уголках, расцвела культура, которая изменила весь мир, а не только Россию. Россия времен великих писателей, философов, идеологов была страной куда более дикой, чем Швейцария. Тем не менее Швейцария не породила ни Толстого, ни Достоевского, ни Гоголя, ни Чехова...»

Швейцария, между прочим, «породила» Руссо, который «породил» Толстого... но оставим ее: меня куда больше интересует Россия, а точнее, Россия — глазами евреев. Факты действительно общеизвестны, как по части русской деревни, так и по части улицы. К этим двум точкам я бы добавил третью: усадьбу. «Там и сям» стояли усадьбы с библиотеками и роялями, и именно в усадьбах корчи улицы и невменяемость деревни обретали осмысленность великой культуры. Именно в спокойной точке сходились стихии, питавшие культуру. Но именно здесь ее, культуру, физически и уничтожали: грабили усадьбы, жгли библиотеки (русский бунт, бессмысленный и беспощадный, обычно начинался с того, что мужики,

ворвавшись в усадьбу, выкидывали барский рояль в окно; остальное шло «само собой»).

Так что для великой культуры мало великих потрясений, нужна еще и щель, где эти потрясения можно было бы осмыслить. Великие песни слагаются не в битвах, а в передышках между битвами, сказал, кажется, Константин Леонтьев.

Это существенно: не в конце битвы и не после битвы, а в передышках...

Но пока — о том, как видит русскую жизнь и русскую душу израильский писатель Амос Оз:

«Если в одной комнате собираются три-четыре человека, наверняка происходит нечто такое, чему нет аналога ни в одной другой точке земного шара. У нас не ведут вежливых, необязательных разговоров. О, конечно же, и у нас говорят о футболе, бирже и зарплате, но затем, когда тонкий слой этих проблем бывает исчерпан, разговор не становится тривиальным. Люди говорят об очень важных вещах... Говорят о смысле жизни. У нас не говорят о политике, как, к примеру, в Америке, в Англии или в Германии: какая из партий мне лично удобна в качестве правящей, кто сумеет обеспечить лучший порядок в стране? Наши разговоры о политике — это разговоры о Жизни и Смерти, о Культуре, о Смысле Жизни. Наша беседа может начаться со сплетен: Бегин таков, Перес таков, а уж Рабин и вовсе таков! Но если беседа затянется за полночь, она превращается в метафизическую, даже если собеседники не знают, что такое метафизика. Либо она становится религиозной, хотя ее участники иногда и думают, что с религией у них ничего общего».

Мне надо сделать усилие, чтобы вспомнить, что это не о русских. Замените имена, скажите: Ельцин таков, Зюганов таков, а уж Жириновский и вовсе таков — и перед вами точный портрет классического «русского спора». Американцы говорили мне, что только в России они могут, сев за стол даже с незнакомыми людьми, обсуждать «вечные вопросы», миновав ритуальные темы о погоде, о том, «какой счет» и каков курс доллара. Американцам ведь тоже хочется — о Смысле Жизни. Но в Америке так нельзя — на то в Америке есть специальные симпозиумы.

У нас — все можно. «За каждым углом».

И в Израиле тоже?

Поразительно. А я думал, что русские и евреи несхожи.

Не потому ли однако эти народы сцепились за последние двести лет в такой странный альянс (и не это ли отчасти — причина того двухсотлетнего «перерыва» в еврейской истории, о котором жалеет Амос Оз)? И не потому ли еврею, приехавшему в Израиль из России, так трудно вписаться в узкий ближневосточный «театр действий», что он покинул «всю вселенную», которую «проезжал» (мысленно или реально), ухая по проклятым русским дорогам?

Лет за десять до того, как появились «Иерусалимские размышления» Амоса Оза, в том же журнале «22» (тогда ходившем по Москве тайно, запретно) мне стали попадаться статьи Нелли Гутинной. Теперь ее

израильский стаж четверть века; тогда она была новоселка. Так вот: тогда меня поразил ее пафос: из всемирного еврейства стать ближневосточным народом; войти в ближневосточный «клуб»... Призрак крестоносцев, сброшенных в море прежде, чем они справили столетний юбилей своего государства, мучил эту «ханаанку» Оттепельного призыва. И все-таки она говорила: надо вживаться заново.

Теперь, в сотом номере того же журнала «22» та же Нелли Гутина продолжает темпераментно подталкивать вчерашних «евреев» в новый Израиль; сотни тысяч новоселов из «русской алии» неуверенно тычутся в израильскую жизнь, не зная, куда деть им свою русскую, свою советскую, свою русско-еврейскую, еврейско-советскую ментальность. Надо входить в израильскую политическую жизнь. Надо становиться израильтянами.

А евреи, оставшиеся в России, в эту же пору мучительно решают вопрос: кто они? Надо переставать быть евреями, надо становиться русскими. Инстинкт духовного самосохранения подсказывает им идею: они — не евреи, но и не русские. Они — «русские евреи». Особый народ в составе России, особая струна в оркестре русской культуры.

Идея здравая и своевременная: в оркестре царит контрапункт; перекликаются сольные партии; казаки, сибиряки и уральцы, окающие волжане и южнорусские носители суржика, питерцы и москвичи — все хотят не слияния в общем «тутти», а — чтобы каждая струна была слышна. Так что «русские евреи» не одиноки в этом стремлении.

Но как это трудно.

Не так давно я послал в Тель-Авив моему старому другу режиссеру Станиславу Чаплину выпуск армяно-еврейского журнала «Ной», где помещена моя статья о переписке Эйдельмана с Астафьевым с очередными вариациями вышеописанных «ассимиляторских» идей.

Чаплин увлекся, стал показывать эту статью соотечественникам израильтянам и отписал мне реакцию.

«Тебя обвиняют в лицемерии и приспособленчестве».

Узнаю темперамент... И, разумеется, признаю. Да, приспосаблиюсь к той жизни, которую сам выбрал, и, разумеется, лицемерю — с точки зрения тех, кто искренне выбрал другое.

«Мы здесь горячо спорим с ними, мы — за твою логику, если представить себе еврея в другой стране...»

Вот! Тут-то и зарыта собака. «В другой»? А если — не в «другой», а в «своей»?

«Если говорить честно, то не радует усиление русской общины: не хотим, чтобы она превращала нарождающуюся израильскую культуру в русскую».

А за честность вам спасибо, товарищи бойцы... Собака, которая тут зарыта, есть русская культура. Я тоже не хотел, чтобы она превращалась во что-то другое. Ее выбрал... Вы меня понимаете?

Теперь о том, что выбрали вы.

Народившийся народ Израиля — нормальный, крепко стоящий на своей земле, этнически монолитный народ, отрясший тысячелетние страдания, ненавидящий самую память о галуте.

Какую культуру он создаст?

Великая культура рождается от великого страдания.

Усадьба — не убежище, это лишь место исполнения. Всегда найдутся желающие сжечь библиотеку Блока и выбросить в окно рояль Чайковского. Так о чем мечтать? О библиотеке и рояле или о том, как выразить в словах и звуках трагедию жизни, в том числе и безумие тех, из-за которых культура висит на волоске?

А она висит на волоске — всегда. Можно ждать, когда «этот ужас» кончится, — и дожидаться другого ужаса.

Амос Оз вспоминает русских гениев, полагая, что они творили в конце одной эпохи и в начале другой. Вот так же и израильтяне, — говорит он, — при начале времен... Но упование на конец дурных времен и на начало добрых старая русская иллюзия: вот только добьем самодержавие, вот только похороним капитализм... Вся коммунистическая эйфория — попытка приблизить светопреставление: все — до основания, а затем...

А затем — трезвеем на том пожарище, что спьяну запалили. И культуру тщимся вырастить заново, да на том же диком поле: «скифском», «папуасском» (термины — из Блока).

Но дикий скиф страдает так же, как и страшящийся его утонченный европеец. И папуас так же мучается, как самый изысканный цивилизатор, он только сказать не умеет, выразить не может, записать не пытается.

Евреи стали великим народом, потому что сумели сказать, выразить, записать — и сохранили опыт, через тысячелетия пронесли — Книгу. Уже сам факт — победа над мировым хаосом.

Не бывает ни конца времен, ни начала, бывают только выделенные сюжеты с началом и концом, а жизнь — бесконечное и неразрешимое мучение, смысл которого открывается (или скрывается) ежесекундно. Тысячи лет — масштаб этих мгновений, и этот масштаб лишь выявляет бесконечность. Что и продемонстрировал всему миру народ Книги.

Будет ли Книга продолжена усилиями маленького средиземноморского народа? То есть: создаст ли он новую версию великой культуры?

Амос Оз говорит:

«Я не знаю...»

Если «знать» — наверняка не создаст. Великая культура не создается специально, она — коррелят великой истории. «Не приведи мне жить в великую эпоху... «Да минет меня чаша сия»... «Господи, пронеси».

Собственно, у меня нет никакого права рассуждать в этом духе о народе, который борется за свое государство на краешке далекого моря. Я стою на другом берегу и созерцаю другое пепелище.

Только в сердце стучит — так же.

КАКОЙ СМЫСЛ ПОМНИТЬ, КОГДА МОЖНО ЗАБЫТЬ?

Заметки на полях исповеди Аарона Аппельфельда

Уж кто-кто, а Аарон Аппельфельд мог не стыдиться своей биографии, хотя совпала она изначально с Катастрофой. Он не брел покорно в толпе обреченных — сопротивлялся. Из гитлеровского концлагеря — бежал. Три года скитался по Украине, скрываясь от карателей, пока в 1944 году не пришли русские. Больше не скрывался — наступал. Научился у победителей русскому мату, но не перестал быть евреем.

Ему было восемь лет, когда все это началось.

Ему было четырнадцать, когда в первый послевоенный год он добрался до Палестины. Там он начал другую жизнь — с нуля. С ивритского букваря. Появилась возможность забыть прошлое, зачеркнуть, выбросить из памяти.

Он не забыл.

Впрочем, пробовал забыть — как и большинство евреев, в полумертвом состоянии вывалившихся из фашистской мясорубки и доставленных на пустынный палестинский берег. Они спаслись от смерти — теперь им надо было спастись от презрения.

Когда в 1989 году я впервые оказался в Израиле, то был потрясен этой историей. Не фанфарами — похоронным звоном обернулось спасение. Местные евреи, не нюхавшие дыма Освенцима, спрашивали у тех, кто в том огне горел, почему они так покорно шли, когда их гнали на смерть. Это спрашивали те, которых не гнали.

Разумеется, свою правоту можно найти в любом опыте. Это зависит от того, с кем ты себя идентифицируешь, то есть: на чью сторону мысленно встаешь. Я не мог встать на сторону попрекавших, хотя понимал их ярость: в нее они пережигали унижение при виде тех, кого гнали и кто на смерть «шел». Я понимал и тех, кто хотел все это забыть, сделать небывшим. Понимать понимал. Но чуял и другое: забыть — еще страшнее.

Это что-то вроде ловушки. Жить с такой памятью нельзя. И без нее нельзя.

Аппельфельд — на этой грани:

«С большинством детей, прибывших со мной, произошла разительная метаморфоза. Они похоронили прошлое, они как бы заново родились и теперь пытались жить заново. Их прошлое вряд ли можно было назвать героическим, а атмосфера Эрец Исраэль 1946 года была полна героики: все были сильны, все с честью прошли войну... А мы? Мы были в лагерях, мы голодали, бродяжничали, нас били...»

Господи, а кого не били в этой жизни? А если не мордовали физически, так все время держали под угрозой, что могут. Во мне, разумеется, говорит русский опыт. Русская история полна симфоний на эту тему. Первое поколение не битых татарами москвитов вышло на Куликово

поле. Первое поколение небитых дворян вышло на Сенатскую площадь. Первое поколение разночинцев, не битое крепостными плетью, вышло «на бой кровавый, святой и правый...»

Как выпасть из этой святой кровавой карусели? — вот вопрос, который висит над нами и сегодня. Импульсивная реакция: забыть! Все зачеркнуть! Семьдесят советских лет — вымарать! Потому что невыносимо помнить, когда не можешь ни оправдать, ни изменить.

Я гляжусь в еврейский опыт, как в зеркало.

Вот он, их опыт:

«Каждый из нас стыдился своей собственной истории и хотел быть кем-то другим. Не самим собой, кем-то другим. Большинство моих сверстников поменяли фамилии: какой-то Аппельфельд (не я) захотел быть Карни... Так появились всякие Амиры-Шамиры. Изменив имя, многие полагали, что им удастся изменить себя. Воспоминания о прошлом были загнаны глубоко внутрь. Некоторые из нас, даже став героями израильских войн, стыдились признаться в том, что пережили Катастрофу. Жертва стыдилась того, что именно она жертва. Не могла примириться с этим. Вчерашние жертвы меняли свое обличье: безбородые отращивали бороды, брюнеты становились блондинами, низкорослые тянулись вверх, хилые качали бицепсы — стать сильнее, выше! — физически и духовно!...»

Стало быть, и бицепсы качали? Как наши люберы — только бы не походить на очкастых интеллигентов! Только бы не попасть в ситуацию, когда тебе могут дать по морде походя, без объяснений, просто потому, что есть такая возможность. То, что по этой логике и ты, если представится возможность, должен будешь дать по морде другому, — как-то не принимается в расчет. Главное — выскочить самому. Без набитой морды! Без воспоминаний! Все переименовать! Ленинград — обратно в Петербург...

Я не об ономастическом первородстве; первородство, несомненно, за Петроградом, и лучше бы не переименовывать его в Петербург, а потом обратно (ну, допустим, «птенцы гнезда Петрова» имели на то больше прав, они все-таки город сами и строили), и нечего было его перекрашивать в Ленинград (ну, допустим, то была эпоха тотального экстатического помрачения), — но теперешние-то трезвоголовые рыночники понимают ли, что эта косметика небезопасна? Ах, надо втоптать в забвение советскую эпоху: Ленинград — это плохо, потому что там били (в чекистских подвалах). А в Санкт-Петербурге не били?

Ну, так лучше всего никуда «не заглядывать».

«До сих пор сотни израильтян боятся заглянуть в себя, особенно те, кто пережил Катастрофу. Боятся осознать, что произошло с ними. Они скрывают это даже от собственных детей. Более того, огромные усилия потрачены на то, чтобы ничего им не рассказать. Окружение требовало от них: будьте как все. Внутренний голос и голос внешний в унисон твердили: забудь!...»

Внешний голос — крик телевидения, газет, радио: этого не было, не было, не было! А если было, то будь оно проклято, проклято, проклято! А кто причастен — тот кайся, кайся, кайся!

А внутренний голос — что? В ответ на внешнее давление — протест почти автоматический. То есть если мне велят каяться, так я скорее всех их пошлю, чем присоединюсь к хору. Когда мне говорят: «не было», так я из-под земли буду доставать то, чего «не было».

А в то, проклинаемое время вернуться — хочется?

О нет. Немыслимо, невозможно. Когда я впервые смотрел фильм «Покаяние», — то почувствовал, что это такое: вернуться. Я был совершенно убит тем патологическим страхом, который помимо воли поднялся во мне откуда-то из комсомольского, пионерского, детсадовского подсознания: где-то на дне души оно дремало.

Ужас в том, что подсознание дает о себе знать не героическими отзвуками, которых тогда вроде бы было больше, а именно страхом. И сознание теперешнее, вроде бы избавленное от Сталина, ничего с этим патологическим страхом поделать не может: стоит рядом в бессилии и ждет, пока наваждение минет.

Страшный синдром: этим же подсознанием я знаю, что ни секунды не выдержу, если вернусь в ту катастрофическую реальность, и вместе с тем — я той реальности не хочу отдать забвению. Я не могу это ни примирить, ни объяснить, ни располосинить. Я только знаю, что мой отец, вычищенный из комсомола и добившийся восстановления, потом вычищенный из партии и добившийся восстановления, потом вычищенный из призыва по возрасту и добившийся, чтобы его послали на фронт добровольцем, пошедший туда и сгинувший там без вести, — был счастлив. А я при мысли о нем несчастен. Но буду еще более несчастен, если не удержу мысли о его счастье.

Я не знаю, счастливая или несчастная судьба у России в XX веке. Она такая, как есть, и я не берусь вымерять ее ни по каким внешним меркам. Я без нее, без этой памяти жить не умею. И все мерки: «хорошая», «плохая», «тоталитарная», «единодушная» и т. д. — все это только после того, как я скажу себе: она моя.

Аппельфельд говорит: можно адаптироваться в новой реальности. Но это будет внешняя территория твоего бытия. Подлинная твоя жизнь — все равно ТАМ. Там, где тебя убивали, а ты потом отлеживался.

В чужой опыт глядишься, как в зеркало.

«Первую книгу я опубликовал в возрасте тридцати лет. Она называлась „Дым“. Напечатать ее было нелегко, в ней говорилось о других людях. Они были старше меня, но, как и я, оказались в Стране после Катастрофы. Они пребывали на побережье, не работали. Много спали. Это были не „целые“ люди — половинки, а то и четвертушки, их сознание было четвертовано. Они пьянствовали, занимались контрабандой, женщины — проституцией. Некое дно, периферийный народец...»

Как сказано-то! «Периферийный народец». Шафаревич такого блеска не достигал, он говорил: «малый народ» в недрах большого.

Интересно, сколько периферийных народцев существует в пределах большого народа? Бомжи современные — периферийный народец? Или это боевой резерв боевого отряда, так сказать, арьергард авангарда? А «лишние люди», весь прошлый век вылетавшие за пределы русского дворянства? —

периферийный народец? А разночинцы, недоучившиеся умники, «не кончившие курса» вечные студенты, не умевшие вписаться в «систему» и составившие тот странный народец, который позднее был назван русской интеллигенцией? Интеллигенция нашего века — это что? Прослойка? Между рабочими и крестьянами? А крестьянин, бросивший землю и пристроившийся в городе: ночь в бараке, день на подсобных работах? А рабочий, вылетевший сегодня с оборонного завода (остановившегося по причине «кризиса неплатежей», а точнее — по причине не востребоваемости продукции) — рабочий этот, переквалифицировавшийся в «челноки»-торговцы, — он где: в народец или в народе, на периферии или в сердцевине?

А это от ситуации зависит. Когда общая опасность вынуждает людей спланиваться, — тогда наполняется живой и опасной кровью само понятие: «народ», и тогда все, что не входит в него, остается на периферии.

Но люди не могут все время жить в осажденной крепости. В конце концов они периодически разряжаются. Целые поколения попадают в такое состояние, целые эпохи окрашиваются таким расслабом: «не работают», «много спят». Сознание «уполовинено», «третировано», «четвертовано», то есть неприкаяно. Аппельфельд нарисовал портрет израильянина второй половины 40-х годов, но в ту пору и наши люди, выбравшиеся живыми из военной мясорубки, надеялись «отлежаться». Сталин не дал: вздрючил, скрутил, загнал в лагерь, завербовал на великие стройки. Третьей мировой войной запугал. И, может, не без оснований... Так или иначе русская релаксация отодвинулась на полстолетия и на три поколения. Вот она теперь и достала нас. Хорошо, если для России это не кончится Катастрофой.

Впрочем, 1917 год — Катастрофа?

Я думаю, что и 1610-й — тоже. И 1385-й. И 1237-й. Только все это более или менее забытые Катастрофы.

«О Катастрофе у каждого своя история. Масса мемуаров. Но мемуары дело такое: ты написал и избавился. Литература — это нечто иное. Мемуаров о Катастрофе много, литературы на иврите о ней — почти нет. Почему? Ведь треть нашего народа уничтожена. Уцелевшие свидетели добрались до Израиля. Мемуары ими написаны, а литературы — нет. Почему?»

Потому что литература появляется тогда, когда появляются люди, готовые ее воспринять. Дело не в том, что нет писателей, а в том, что нет читателей.

В СССР о Великой Отечественной войне были написаны горы мемуаристики и тонны литературы, остававшейся «внутри ситуации». Чувствовалось, что нет вершины, которая поднялась бы надо всем. Помню диалог во время читательской конференции по «военной прозе».

Вопрос из зала:

— Почему об этой великой войне не написано ничего, равного «Войне и миру»?

Ответ:

— Потому что среди нас с вами нет ни Андрея Болконского, ни Пьера Безухова, ни Николая Ростова.

Когда появился роман Гроссмана «Жизнь и судьба», вопрос отпал. Значит, «среди нас с вами» выросли люди, способные понять и драму партийца-коминтерновца Крымова, и драму «военспеца» Новикова, и драму ученого Штрума. Не порознь: того, другого, третьего, а — общую нашу драму. Появилась Литература.

«Воспоминания о Катастрофе — живут как бы в глубоком подвале, куда каждый спускается в одиночку. Об этом не говорят не только друг с другом, но и сами с собой. Я и не пытался писать о себе — таких историй в нашей стране более полумиллиона, есть и пострашнее, — я хотел понять смысл. Если нет смысла, зачем все это?..»

Какой смысл в гибели? В унижении? В том, что ты бессилен, не можешь ничего поправить?

А какой смысл во фразе: «Блаженны нищие духом»? Не телом, заметьте, духом! Вроде бы уж духом-то надо бы богатеть и усиливаться. Пользу неуязвимости можно на пальцах доказать. Но нельзя доказать пользу уязвимости. Это абсурд — в него можно только верить. Испытывать духом бессилие, измерять духом бездну нищеты — зачем? Затем, что абсурд жизни все равно настигнет. Все равно придется все это измерить. Достаточно вжиться в факт смерти даже одного человека...

«Мы не можем постичь смерть одного ребенка — как постичь смерть миллионов? Наше сознание вытесняет Катастрофу, не принимает, отменяет всякие разговоры о ней. Те, кто пережил Катастрофу, пережили ее лично. И этот личный опыт, каким-то особым, уникальным образом преломленный, может стать литературой... Смысл — вот что важно для создания литературы... Как сделать так, чтобы то, что случилось с Ициком или Мойше, обрело универсальный смысл? Как найти эту „точку схода“, мельчайшую крупичку, микроскопический кристалл, где собралась вся трагедия?»

Для этого надо, чтобы сыновья Ицика и Мойше, вышедшие победителями из «шестидневной войны», и внуки их, переназвавшиеся Амирами-Шамирами, захотели вжиться душой в драму дедов. Тогда микроскопическая крупичка станет кристаллом, через который засветится Смысл.

Смысл — это не избавление от боли, а боль, ставшая твоим «Я». Твое «Я» и есть Смысл, все остальное бессмыслица.

«Еврейский народ побывал в аду. Как написать об этом?»

Интересно, есть ли на земле народ, который не побывал в аду? Об иных вариантах и рассказать некому: ни мемуаристов, ни слушателей. Ничего как бы и «не было».

А чтобы «было», надо жить памятью. Даже если на «внешней территории твоего бытия» переворачивают все: отрачивают (или сбивают) бороды, накачивают в подвалах бицепсы, меняют на башнях птиц на звезды. Или наоборот.

МЕНОРА И МЕЗУЗА, ТФИЛЛИН И ТАЛЛИТ, СУККОТ И ШАБАД

Я спросил художника Любарова, когда и как явилась ему идея сделать цикл на еврейскую тему.

Художник подумал и сказал, что один генерал, выступая перед казаками, отозвался о евреях грубо и даже употребил при этом неприличное слово.

Я высказал предположение, что ругательства генерала — не настолько существенный факт нашей текущей истории, чтобы определять пути искусства.

Художник подумал и сказал, что когда он был в Антверпене и увидел тамошних ортодоксальных евреев, то их черные пальто и шляпы его поразили.

Я заметил, что в этом случае логично было бы изобразить голландских евреев на фоне их голландских домов, а не переносить их на московский Щипок или в деревню Перемилово, что между Юрьевом-Польским и Переяславлем-Залесским.

Художник подумал и сказал, что есть понятие «еврей», а есть понятие «русский еврей», это не одно и то же.

Я спросил, живет ли хоть одна еврейская семья в Перемилове.

Да, живет, и не одна. Если там живут азербайджанцы и цыгане, почему бы не жить и евреям? Правда, евреи там такие скромные, что иные и не подозревают, что они евреи.

Я подумал, что полученной информации мне достаточно, и углубился в созерцание работ.

В новом цикле Любаров и похож, и не похож на себя прежнего. Похож в том, что общая тональность «Щипка» и «Деревни Перемилово» — циклов, принесших в свое время художнику всероссийскую и европейскую известность, сохраняется и теперь. Тональность мягкая, теплая, обволакивающая, вроде бы даже благодушная — странно взаимодействующая с острой фактурой сюжетов и положений: с фантастической русской непредсказуемостью, то есть с той особенностью нашей жизни, преимущественно деревенской, какую ненавидящие критики издавна клеймят «свинцовыми мерзостями», а влюбленные апологеты величают обратной стороной талантливости — неотразимой русской «дурью».

В этом же изобразительном ключе строит Любаров и еврейскую серию: композиции отдают лубочной распределенной повествовательностью, объемы округлены, фигуры пластически самодостаточны. Только золотисто-голубая гамма, пожалуй, сдвинута к фиолетовому краю спектра, хотя самого края не видно, но: чуть глубже тени, чуть гуще воздух... Впрочем, может быть, такое впечатление создается из-за активного вторжения в эту нежную пастельность черных пятен: как-никак, у евреев и лапсердаки черные, и шляпы, и картузы, и зонтики.

Самый же замечательный эффект дает то, что евреи, мобилизованные то ли с антверпенских мостовых, то ли со страниц Торы, — высажены прямо в наши среднерусские снега. Эффект — прежде всего живописный. То есть: когда вдоль по перемиловской шествуют два мудреца в черном, то они изумительным образом, магнетически притянуты друг к другу и держатся, как в невесомости, внутренним взаимопротяжением. Идут — сквозь реальность! Глядит на них баба с кучи бревен, бревна эти тянутся куда-то за обрез картины, — а эта пара центрирована так, что бабу они и в упор не заметят. Другая баба, махнув сумкой со снедью, прошла мимо и ушла опять-таки за обрез картины; видна только вкусная попка; мудрецы этой прелести опять-таки не замечают. Их черные силуэты сопряжены между собой, сцеплены «непонятно чем».

Может, эта сомкнутость контуров — при той же патентованной любаровской «воздушности» — и отличает его новую, еврейскую серию от прежней, русской?

В еврейском цикле — «Встреча»: сближаются две фигуры для рукопожатия; руки еще не соприкоснулись, но вот-вот... и все движение на полотне — от краев к центру, к магнетической точке в центре.

А в русской серии? Один мимо другого проходят: «Привет!.. Привет!..» — в сущности, не замечая. В обнимку лежат, а смотрят — в разные стороны. В хороводе цепью держатся, а глазами косят: не залез ли кто куда не следует. В очереди номера пишут на ладонях — каждый вперился в свою ладонь.

В еврейском цикле — «Молитва»; единый массив: кипа к кипе, лапсердак к лапсердаку; оливковые глаза рифмуются: все взгляды собраны единым порывом; множество отдельных лиц, глаз, воля — намагничены в одно.

А в русском — «Саша с газетой»: в руке номер «Гудка», под одной кепкой — шесть профилей с невидящими глазами; глаза устремлены куда-то в неопределенное пространство, в инобытие, в никуда. Или это эйфория опьянения? «Коля видит третьим глазом»: у Коли под кепкой — сдвоенное лицо: два носа, два рта и три глаза (в глазах двоится?) и взгляд опять-таки в «никуда». Или: идет красавица по деревне, бросила снежок, смотрит — то ли на снежок, то ли на луну...главное — куда-то за обрез смотрит, куда-то «туда»... Разомкнуто!

В еврейском цикле такая разомкнутость просто немыслима. Жарит еврей рыбку — весь согнулся к сковородке, спина дугой композицию замыкает; весь тут, весь собран. Если тесто раскатывают, халлу лепят, то жгутиком конец собран, свит, и пальцы сплетены. Если сидит еврей на берегу (берег нашенский, кустодиевская Венера недалеко обнажила убойные тела), — еврей ничего этого не воспринимает, он сидит, скрючившись, обхватив колени, застегнувшись на все пуговицы, натянув черную шляпу на голову, и взгляд его устремлен внутрь души...

А как сидит на берегу наш русский удалец? Да он не сидит, он стоит... Ого! Увесистую свою подругу взял на руки, демонстрирует всему миру. А этот что? Ого! Сиганул в воду прямо в одежде, сам под водой, сапоги торчат... но оба целы. А этот? Ну, этот вообще. На голове стоит. Йога

изображает; душа как бы в Индии, а ноги — в родных небесах; одна в сапоге, другая — уже без...

— Владимир Семенович! Сформулируйте все-таки, какие именно черты еврейского мира побудили вас затеять серию!

— Ну... их образ жизни. Абсолютная верность закону и Торе. Контакт с Богом, позволяющий им обособливаться от всего остального мира. Их совершенная самодостаточность. Их память о корнях. И то, что у них вера пронизывает всю плоть жизни, а не маячит, как у нас, по ту сторону добра и зла, когда можно искренне верить и притом грешить напрадую...

— Владимир Семенович, а не сформулировать ли нам замысел вашего еврейского цикла таким образом, что он есть восполнение вашего русского цикла, то есть поиск того, чего нам не хватает?

Художник задумывается, потом говорит:

— Нет, я так не планировал. Я боялся перепутать такие детали, как менора и мезуза, тфиллин и таллит, не говоря уже о таких вещах, как суккот и шабад.

ИГЛА В СЕРДЦЕ

*Красиво говорить о любви может лишь
тот, в ком эта любовь ушла в
воспоминания...*

*Убедительно говорить о любви может тот,
в ком она всколыхнула чувственность...*

*Вовсе молчать о любви должен тот, кому
она поразила сердце.*

Марк Леви. Роман с кокаином

Марк Леви не дожил семи лет до своей мировой славы. И сорок лет «вовсе молчал» о том, что должно было эту славу ему принести, — о небольшом романе, который он под безликим псевдонимом «М. Агеев» прислал в 1933 году из Константинополя в Париж русским издателям. Роман оказался настолько хорош, что в эмигрантском журнале «Числа» его начали печатать немедленно, не зная толком, кто автор — что его зовут Марк Леви, выяснили задним числом. Отдельное издание вышло там же, в Париже, в 1936 году, но в грохоте начавшейся мировой войны было забыто вместе с именем автора.

Когда через тридцать пять лет после окончания войны полузабытый текст почти случайно вывалился из библиотечных хранилищ на литературную арену, на поиски автора отрядились такие филологические асы, как Никита Струве, а потом Гарри Суперфин. В финале поисков обнаружилась в Ереване безвестная могила. В ней упокоился тихий преподаватель местного университета Марк Лазаревич Леви, учивший студентов немецкому языку, любивший музыку, увлекавшийся кинематографом, коллекционировавший игральные карты и оставивший в памяти знавших его людей загадочную фразу о том, что в жизни надо попробовать все.

Он, видимо, действительно «испробовал все». Хотя «вовсе молчал» о том, что испробовал. Молчал о том, что «Роман с кокаином», коротко

сверкнувший в середине 30-х годов в предвоенной Франции, написал никакой не «М. Агеев», а он, Марк Леви... хочется назвать его Марк Левий — по старо-иудейски, а не по ново-французски, потому что французского в «Романе с кокаином» нет ни на понюх, а вот иудейское есть... но об этом ниже, а пока о той короткой вспышке, которая сопровождала появление этого романа в русской эмигрантской прессе перед тем, как все затянуло дымом войны.

Дело в том, что ослепленная блеском текста «литературная общественность» решила, что под псевдонимом «М. Агеев» скрывается либо талантливый имитатор Набокова, а может, и сам Набоков, решивший таким образом мистифицировать читателя.

Эта гипотеза в конце концов была отвергнута и вряд ли была бы достойна теперешнего интереса, если бы Никита Струве, пытавшийся ее обосновать, не написал целое исследование о том, сколь многое схоже в писательской палитре «М. Агеева» и «В. Сирина» (то есть Набокова).

Да, схоже многое. У Набокова тело собрано из «составных частей» (спина, локти, колени), и у «М. Агеева» тоже: «спина сгорбатилась», и «пианист работает локтями».

— Такая сафпадение! — сказал бы в этом случае Григор Тикиджянц, с которым Марк Леви учился в гимназии Креймана — оба окончили оную в 1916 году.

Но если вслушаться, как в «Романе с кокаином» описан крик лихача: «эээп!» — где острое и стальное «э» пронзительно поднимается вверх, пока не ударяет в мягкую заграду, не пускающую дальше «п», — не попросится ли в аналогию звук прыгающего мячика «Пепп-Пеппович-Пепп» из «Петербурга» Андрея Белого?

А чеховское горлышко бутылки, блеснувшее под лунным светом, не отвечает ли во фразе героя, крадущегося по темной квартире: «Я потушил блестящую точку на самоваре»?

А атмосфера раннесоветского суда в рассказе «М. Агеева» «Паршивый народ» (единственное, что прибавлено в его наследии к «Роману с кокаином») — не напоминает ли Михаила Булгакова времен «Гудка» и «Бузотера»?

Не проще ли допустить, что московский гимназист, в 1916 году подавший документы в университет, в 1918 году бросивший там учебу и поступивший в «Трамботдел ВСНХ», в 1924 году командированный в Германию «по красильному делу», а в 1930 — в Турцию по делу «распространения советской книги», — не лучше ли, повторяю, предположить, что все эти годы Марк Лазаревич Леви продолжал следить за литературой, как эмигрантской, так и советской, не говоря уже о том, что классику (от Достоевского до Чехова) он усвоил с молодых ногтей и что именно литературу, а не «красильное дело» считал главным в своей жизни?

Так почему же «вовсе замолчал», когда его первопубликация в 1934 году вспыхнула так ярко, что его приняли чуть не за самого Набокова и уж точно за писателя, который не уступает Набокову, а также Бунину и

молодому Достоевскому (для завершения пасьянса: так оценил «Роман с кокаином» Мережковский).

Тут такие страсти, а «М. Агеев» сидит в Константинополе и «молчит». Разгадка?

Да, страшно, да, огласка может ему отрезать путь обратно в СССР. Более того, при возвращении в СССР вся эта история с публикацией в «Числах» может стоить ему карьеры, если не головы. Тут уж надо возвращаться или под знаменем «социалистического реализма», как Куприн или Алексей Толстой, или... помалкивать, потому что в текстах «М. Агеева» социалистическим реализмом не пахнет, а пахнет-таки кокаином.

Но и без всякой «литературы» у него есть причины «залечь на дно» в Ереване и «не высовываться» до самой смерти. Он же был типичный кандидат на высшую меру. Его шлепнули бы в 20-е годы уже за то, что от него за версту несло гимназическим образованием. Его поставили бы к стенке за то, что он слишком много знал, работая в Германии «по красильному делу», а также в АРКОСе (известной чекистской организации, как пишут о ней такие знатоки, как Г. Суперфин и Ю. Сорокина). Вряд ли, наконец, турки так уж безосновательно подозревали, что Марк Леви был замешан в дело Папена (покушение на гитлеровского посла в Анкаре), за что и выслали «распространителя советской книги» из Турции обратно в СССР в 1942 году. В общем, если уж выпало ему во всех этих переделках уцелеть, то еще более оснований было в дальнейшем сидеть тихо-тихо.

Что же до «М. Агеева», чей короткий роман вкупе с еще более коротким рассказом затерялся в предвоенной эмигрантской прессе, — то об этом Марк Лазаревич должен был «вовсе молчать», что он и делал до своей тихой смерти, последовавшей в 1973 году.

Еще семь лет было беззвучие, пока не взорвался тот роман вкупе с рассказом первыми сенсационными переводами на французский и прочие европейские и мировые языки и не стал таким «международным бестселлером», что было решено: за псевдонимом скрывается сам Набоков.

Вера Набокова, к которой Никита Струве обратился за подтверждением такой догадки, отнеслась к ней без энтузиазма. Ее довод: Набоков в жизни своей не касался кокаина.

В этом доводе угадана, я думаю, и та причина, по которой в 80-е годы «Роман с кокаином» стал-таки «международным бестселлером». Подробно выписанная процедура наркоопьянения вряд ли могла бы стать глобально интересной в предвоенные годы; тогда надвигались вещи пострашнее; но полвека спустя, когда поколения, выращенные в обманчивой тишине, стали «садиться на иглу», — проблема обнажилась. Возможно, именно эта медицинская сторона «Романа с кокаином» дала стартовый эффект и помогла триумфу романа в Европе начала 80-х годов. Возможно, что успех этой книги в России начала 90-х годов отдает тем же. Не исключено и дальнейшее воздействие данного литературного «понюхона» на души читателей разных стран.

Дело именно в состоянии душ, а не в том, какими именно отклонениями от нормы это кончается. Кокаин — лишь финальное, «техническое» разрешение драмы, которая здесь заложена. Чтобы ее

почувствовать, надо поменьше упираться в «кокаин» и побольше — в то, что гонит человека «на иглу». Драма совершается и без кокаина.

Надо вернуть душу в те обстоятельства, которые ее создают: в ситуацию русской жизни начала XX века. Надо вписать книгу Марка Леви в историю русской литературы, расколовшейся в XX веке на два потока: «советский» и «эмигрантский». Прежде чем разлетаются эти концы, душа раскалывается внутренне. Предсказано это — за два поколения до того, как московские гимназисты почувствовали, что с ними происходит непоправимое. После 1916 года все это уже только «технически» реализуется.

В начале 30-х годов, когда Марк Леви пишет свой роман, уже ничто, кроме ненависти, не связывает классиков социалистического реализма, инженерно возводящих душу нового человека, с корифеями эмигрантской прозы, оплакивающей гибель старого. Но это половинки когда-то единой, расколовшейся русской души. Непосредственно герои Марка Леви связаны с героями Марка Алданова, Бориса Зайцева, Ивана Шмелева, Гайто Газданова (и, разумеется, Набокова, что все сразу почувствовали). Но от противного — они связаны с героями Леонида Леонова, Михаила Булгакова, Юрия Олеши, для которых завещанная русской классикой мировая справедливость более существенна, чем правила поведения, диктуемые тем или иным «моральным кодексом» или «ходом борьбы».

С обеих сторон просматривается распад души.

На первой странице «Романа с кокаином» герой издевается над собственной матерью и при этом отлично сознает, что поступает как мерзавец. Все — от первого лица. Притом удивительным образом совмещаются два плана: естественное для рассказа от первого лица ощущение, что мерзавец себя как-то оправдывает, и ощущение, что он все-таки мерзавец. Ваше щемящее сочувствие к жалкой старухе, ковыляющей на кривых каблучках, вызвано тем же текстом, в котором воссоздается мятущееся «Я» ее мерзавца-сына. Это не описание «старухи» и не описание чувств «сына», это тончайший контрапункт того и другого: описание чувств настоящего рассказчика (а не героя, от имени которого...) при сближении разрывающих полюсов.

«Пахнет» Достоевским?

О да. Достоевский эту проблему завещал прозаикам XX века: неразличимость добра и зла в русской душе. Близость этих полюсов. Мгновенный переход одного в другое. Можно сказать, что автор «Романа с кокаином» осмысляет уже не ход этой драмы, а саму неотвратимость ее свершения, то есть саму эйфорию мгновенного перехода из очарованности в мерзость и обратно. На философскую глубину эта драма промерена и предсказана Достоевским. Впрочем, и Толстым она прочувствована: вспомните, как в «Крейцеровой сонате» Позднышев крадется убивать жену и одновременно видит себя со стороны: как он крадется убивать...

С точки зрения того, что каждый человек «в своем праве» (то есть с точки зрения всех уровней справедливости: мировой, классовой и т. д.) эта ситуация в русской литературе разработана вдохновенно. Замечено: когда немецкий бурш безобразничает, то он именно безобразничает, а когда

безобразничает русский нигилист, то он борется за правду: русский мальчик, как известно, законами астрономии не связан, он господу-богу звездную карту возвращает исправленной.

Русский мальчик 1916 года, описанный в 1933-м, отлично сознает, что он безобразничает. Он хочет решить уравнение следующего уровня: как же это так получается, что его честная душа неуследимо быстро проваливается в безобразие? Дело даже не в том, что идеальное и звероподобное в ней стерегут друг друга; в конце концов, борьба ангелов и бесов за душу человека известна сотни лет и осмысливается со времен Средневековья, — нет, в русской душе обнажается странная закономерность, по которой звероподобное просыпается в человеке именно тогда, и именно потому, и именно вследствие того, что душу посещает идеальное.

«Фигурально выражаясь, я себя спрашивал: не есть ли душа человеческая нечто вроде качелей, которые, получив толчок в сторону человечности, уже тем самым подвергаются предрасположению откачнуться в сторону зверства».

Не выдерживает человек божьего зова — этого толчка к благородству и, чувствуя, что не выдерживает, инстинктивно, почти автоматически прячется в мерзость. Эта ниточка накрепко связывает праведника с безобразником: потянешь одно — вытянешь другое.

Скот, подцепивший грязную болезнь, это нормальный скот; но скот, намеренно заражающий грязной болезнью ничего не подозревающую девушку, — это уже в известной мере праведник, пытающийся понять в самом себе скота, то есть через скотство разбудить в себе раскаяние. Возникает фантастическая духовная ситуация: правда лжи.

«Моя двойственность, моя раздвоенность... заключалась не столько в той лжи, которую говорили мои губы, сколько в той правдивости, с которой всколыхнулось во мне естество наглого молодчины и ухаря».

Душа шкодливого гимназиста 1916 года (психологический ввод в ситуацию романа) явно пропущена здесь через психоанализ, весьма популярный в России в 20-е годы. В 30-е, когда это написано, видны уже и всемирно-исторические следствия такого освобождения «естества». Пока качели с ангелом и чертом качаются в душе отдельного человека, это еще «лирика», но когда эти качели захватывают миллионы душ, — это уже «эпос».

А ведь «наглый молодчина и ухарь» потому так хватается за эту роль, что убежден: подобным образом ведут себя «все». То есть он уверен, что все — скоты, и хочет быть в стаде.

Но когда он благородничает, он ведь тоже желает быть не хуже других, ибо он видит, что все благородничают перед тем, как сорваться в скотство.

Все так и все эдак — речь уже не о душе отдельного человека: писатель 30-х годов задумывается о ходе Истории, гул которой сотрясает тысячелетия.

«Милые и добрые пророки! Не трогайте вы нас; не распалайте вы в наших душах возвышенных и человечнейших чувств и не делайте вообще

никаких попыток сделать нас лучше. Ибо видите вы: пока мы плохи, мы ограничиваемся мелким подличанием, — когда становимся лучше — мы идем убивать... Это стремление взвить душевные качели в сторону человечности и неизменно возникающий из него отлет в сторону зверства проходит чудесной и в то же время кровавой полосой сквозь всю историю человечества...».

Тут уж, как во времена прокурора Вышинского формулировали, наговорено на высшую меру.

«Как раз те особенно темпераментные эпохи, которые выделяются исключительно сильными и осуществленными в действии взлетами в сторону Духа и Справедливости, кажутся нам особенно страшными в силу перемежающихся в них небывалых жестокостей и сатанинских злодейств».

Написав такое в 1933 году, следует это спрятать от чужих глаз. Если же не удержался и напечатал под темным псевдонимом «М. Агеев», — то всю жизнь молчать. Слиться с ереванскими камнями.

Меж тем, текст пробивает себе дорогу из XX в XXI век. И читается по-новому.

Любовь, ушедшая в воспоминания, — это, конечно же, любовь к великой русской классике: к Гоголю, Достоевскому, Толстому, Чехову, — которые предупредили нас о трагедии.

Убедительная чувственность — это, понятное дело, наличная реальность: распад и обречение души, которая добралась до 1916 года и замерла в ожидании, куда качнутся качели.

Полное молчание — это когда ни предотвратить, ни поправить ничего нельзя, потому что поражено сердце.

* * *

А теперь — два эпизода, имеющие прямое отношение к одному из болезненных вопросов нашего времени, к национальному. Один эпизод — из «Романа с кокаином», другой — из рассказа «Паршивый народ».

Вряд ли автор предполагал, какой актуальный смысл приобретет эта тема к концу века, вряд ли он вообще придавал ей какое-то особое значение. Еврейское начало, разумеется, жило в сознании Марка... Левия (тут опять хочется вернуть его имени библейское звучание). Но, родившись и выросши в Москве, он, кажется, стоял (подобно Пастернаку) на позициях неперменной культурной ассимиляции еврейства. И вживался скорее в русское, чем в еврейское сознание. Поэтому, наверное, главным героем «Романа с кокаином» (то есть тем повествователем, от имени которого все рассказано) является отнюдь не еврей, а русский, Вадим Масленников.

Что не мешает этому русскому так или иначе все время «различать» евреев в своем окружении.

Итак, эпизод первый. Действующих лиц — двое. Первые ученики гимназии. Один — Штейн, списанный с гимназиста Григория Шика. Другой — Василий Буркевиц, списанный с натуры без изменения фамилии. Штейн, сын богатого еврея-меховщика, проникнут еврейским высокомерием (замаскированным, впрочем, под либеральное эстетство: «пора быть

европейцами»). Буркевиц, напротив, проникнут яростным демократизмом. Несмотря на странноватую фамилию, он несомненно русский (во всяком случае, в глазах рассказчика: из Василия прет «страшная русская сила, которой нет ни препон, ни застав, ни заград, сила одинокая, угрюмая и стальная»).

«Одинокая» — потому что во враждебном окружении.

Теперь — сам эпизод.

На перемене кто-то из одноклассников задает Штейну вопрос с издевательской улыбкой: верит ли тот в ритуальные убийства?

Люди, знающие о деле Бейлиса, могут оценить улыбку.

Штейн оценивает. Понимая, что перед ним подлость, он защищается встречной мерзостью.

— Нет, — отвечает он с такой же улыбкой (от которой у рассказчика сжимается сердце). Мы, евреи, не любим проливать человеческую кровь. Мы предпочитаем ее высасывать. Ничего не поделаешь, надо быть европейцами.

Каково?

Как бы вы, уважаемый читатель (я обращаюсь к читателю 2001 года) отреагировали на подобный обмен любезностями? Встали бы на сторону провокатора, задавшего издевательский, мерзкий вопрос? Или на сторону спровоцированного, который ответил издевательской мерзостью?

И тут Буркевиц обращается к Штейну с монологом, который я приведу здесь полностью. Потому что в сегодняшней ситуации, когда тон в русско-еврейских отношениях начинают задавать Макашов и Тополь и все вынуждены выбирать, кто из этих двоих более прав, — монолог Василия Буркевица надо бы расклеить на всех углах. Чтобы люди поняли, как можно реагировать на диалоги провокаторов.

— Вы, кажется, господин Штейн, испугались здесь антисемитизма? А напрасно. Антисемитизм вовсе и не страшен, а только противен, жалок и глуп: противен, потому что направлен против крови, а не против личности, жалок потому, что завистлив, хотя желает казаться презрительным, глуп потому, что еще крепче сплачивает то, что целью своей поставил разрушить. Евреи перестанут быть евреями только тогда, когда быть евреем станет не невыгодно в национальном, а позорно в моральном смысле. Позорно же в моральном смысле станет быть евреем тогда, когда наши господа христиане сделаются наконец истинно христианами, иначе говоря людьми, которые, сознательно ухудшая условия своей жизни — дабы улучшить жизнь всякого другого, будут от такого ухудшения испытывать удовольствие и радость. Но пока этого еще не случилось, и двух тысяч лет для этого оказалось недостаточным. Поэтому напрасно вы, господин Штейн, пытаетесь купить ваше сомнительное достоинство, унижая перед этими свиньями тот народ, к которому вы сами имеете честь, слышите ли, имеете честь принадлежать. И пусть вам будет стыдно, что я — русский, говорю это вам — еврею...

Честно сказать, я был потрясен, когда прочел это. Потрясен чистотой и высотой позиции в споре, где, кажется, с обеих сторон одна грязь.

Впрочем, об этом замечательно сказал сам рассказчик:

«Я стоял молча, так же, как и все. И, кажется, так же, как и все, в первый раз, в первый раз за всю мою жизнь испытывал острую и сладостную гордость от сознания того, что я русский и что среди нас есть хотя один такой, как Буркевиц. Почему и откуда вдруг взялась во мне эта гордость — я хорошенько не знал. Я знал только, что Буркевиц сказал несколько слов, причем раньше, чем понял смысл его слов, я уже почувствовал в его словах какое-то особенное рыцарство, рыцарство личного самоуничижения ради защиты слабого и обездоленного инородца, рыцарство, столь свойственное русскому человеку в национальных вопросах...».

В какой степени свойственно русскому человеку рыцарство в национальных вопросах, — это мы выяснять здесь не рискуем. Хватит и рыцарства, и плебейства. Дело не в сравнительных качествах русского и нерусского человека, а в том, что из каждой ложной ситуации возможен рыцарский выход. Правда, это требует сил....

Ну, а что благородный рыцарский порыв мгновенно порождает в душе человеческой кач в подлость и зверство, — это уже мучительный опыт самого Марка Леви, его проклятье, его роковая тема как писателя. Ибо Буркевиц идет в революцию и, надо думать, участвует в ее злодеяниях. Мы об этих злодеяниях ничего конкретного не узнаем, зато узнаем, что Буркевиц конкретно предает Вадю Масленникова: отказывает своему бывшему однокласснику в санаторной путевке (а «попасть в хорошую психиатрическую санаторию в нынешнее социалистическое время» без блата невозможно). В результате доходяга-наркоман отдает богу душу....

Продолжение темы — в рассказе.

Года через три после окончания гражданской войны уличают какого-то «украинского коммуниста», что он «с 1918 года по 1921-й водительствовавший небольшой бандой на Киевщине...Для набегов выбирал села победнее, подальше от железной дороги, у крестьян забирал продовольствие и девок, евреев же, мужчин и женщин, убивал... и младенцев не миловал».

Суд уличает преступника и приговаривает к высшей мере; его уводят; в последний момент, «держась пухлой рукой за барьер, он что-то поспешно делает с ногами...» — он надевает галоши.

Деталь, достойная русской классики, но дело не в этом.

В коридоре суда стоит юноша-еврей и говорит, что ему жалко осужденного.

Вася Буркевиц, где ты?

Нет Васи. Вместо него от имени рыцарского русского народа выступает в рассказе «ехидный старик с мутными глазами и прыгающей бородкой».

Привожу монолог.

— Вот уж этого я и в толк не возьму, вот уж этого я не понимаю. Он ваших евреев убивал, он младенцев ихних душил, изувер... а вы, еврей... говорите, жалко его. Да ежели по справедливости рассудить, так за такой

приговор вы обязаны в ножки поклониться да ручку поцеловать. А вы вон болтаете невесту что. Не-ет, молодой человек, вы уж не обижайтесь, а я вам прямо скажу. Вы, евреи — бузотеры, паршивый народ. Вам, как ни делай, все не хорошо, не ладно...

Хочется добавить с интонацией Штейна: и пусть вам будет стыдно, что я, русский, говорю это вам, еврею....

В 1916 году Штейн не нашелся, что ответить Буркевицу, — удалился обиженно и высокомерно. Ответил тот юноша, что десять лет спустя пожалел убийцу. Ответил нелогично и даже глупо. За что и получил немедленно отпор от ехидного старика: как это можно, сознательно ухудшая условия своей жизни (то есть еврейства) — дабы улучшить жизнь всякого другого (то есть бандита), испытывать от такого ухудшения удовольствие и радость?!

Вы успели почувствовать, кто в этой ситуации рыцарь? Спешите же, пока не взвились качели.

Р. С. И последнее, что поразило меня в истории Марка Леви, он же «М. Агеев».

Когда Г. Суперфин решил выяснить, что за человек скрылся под псевдонимом, то начал с того, что попытался вычитать биографические свидетельства из текста самого романа. И преуспел. Расшифровать гимназию Креймана было не трудно. Труднее оказалось докопаться до ее архива. Но Суперфин докопался: чудом он добыл чудом же сохранившийся протокол педсовета от 28 апреля 1916 года с полным списком выпускников! Все они там оказались: и Василий Буркевиц, и Григорий Шик (то есть Штейн), и Григор Тиджикянц (он же Такаджиев, весельчак и добряк).

Список опубликовали в историческом альманахе «Минувшее» (выпуск 16, СПб., 1994, с. 274). Всего там тридцать одна фамилия. Одна из них приковала мое внимание. Уже без связи с Марком Леви.

Под третьим номером значится в списке выпускник гимназии Алексей Баруздин.

Мысленно восстанавливаю дальнейший его жизненный путь. В 1941 ему пятый десяток, но он идет на фронт. И не один, а с сыном Сергеем. Сын школьник, успевший уже попробовать свои силы в литературе, точнее в московском Дворце Пионеров, в его литературной студии.

Отец погиб. Сын — Сергей Алексеевич Баруздин — израненный — вернулся. Стал писателем. И в течение нескольких десятилетий, до последних своих дней редактировал журнал «Дружба народов».

— Такая сафпадение! — пошутил бы тут Тиджикянц, добряк и хохмач.

— Да, дорогой! — добавил бы я. — Игла в сердце.

КТО ДАЛ НАПОЛЕОНУ УСКОЛЬЗНУТЬ?

Кутузов обвинял Чичагова. Когда я занимался Толстым, то почувствовал, что среди толстоведов ходит мнение (само собой, совершенно неофициальное), что это сам Кутузов дал Наполеону уйти из России. Если

учесть, что Наполеон (во всяком случае, до Отечественной войны) был кумиром мыслящей России, а «над нами царствовал тогда властитель слабый и лукавый», чьим пленником стал бы Наполеон в случае его захвата, — то можно понять и тех, кто не желал такого исхода. У адмирала Чичагова в бытность его военным министром бюст Наполеона стоял на рабочем столе, и то, что Чичагов с Витгенштейном «не успели» замкнутьмышеловку на Березине, действительно могло показаться подозрительным.

Толстой, впрочем, склонялся к тому, что в России в принципе невозможно кавалерийским корпусам соединиться в назначенной точке в назначенный момент просто потому, что лошади в снегу вязнут (в 1812 году не было не только современной радиосвязи, но и «искровок», как в 1914). Так что есть роковой ход событий, вмешиваться в который — все равно, что дергать веревочки в закрытой наглухо карете, думая, что ты ею правишь.

Говорят, вмешались евреи. Местные жители явились к Чичагову и дали ложную информацию о месте переправы Наполеона через Березину; Чичагов поверил — и упустил злодея. Израильские историки дают несколько иную версию: маршал Удино специально подослал к Чичагову евреев с правильной информацией, рассчитывая на то, что Чичагов евреям не поверит. И поскольку евреи в 1812 году считались, как и поляки, пособниками французов, то Чичагов не поверил, и Бонапарт ушел. Лазутчиков повесили. Чичагов, не выдержав позора, два года спустя эмигрировал в Германию, где и умер, тоскуя по родине...

А евреи?

Их имена затерялись в потоке угробленных миллионов и пребывали в безвестности, пока не всплыли в сносах у историков наполеоновских войн. Откуда и выудил их человек, о котором следует сказать особо.

Израиль Мазус. Сиделец-лагерник, отмотавший срок после того, как в 1948 году по младости лет поучаствовал в антисталинском подполье (студенты решили готовиться к «стихийному возмущению масс» — что-то, аналогичное истории, описанной А. Жигулиным в «Черных камнях»). Но это особый разговор.

Выйдя на свободу, Мазус сумел вернуться к активной жизни, стал профессиональным строителем, а параллельно — «подпольным» писателем (начал печататься в израильском журнале под псевдонимом), пока эпоха Гласности не сделала его писателем признанным. Лагерные его рассказы продолжают «шаламовскую линию». Но и это — особый разговор.

Я сейчас — о повести «Березина», которую Мазус написал в середине 90-х годов и которая вошла в его однотомник. Если бы я писал об этой повести как литературный критик, я дал бы читателю почувствовать уверенность руки, экономность штриха, чувство меры. Психология местечковых евреев, какие-нибудь сорок лет назад перешедших из-под руки польского короля под руку российской императрицы и не очень еще понимающих, что в их жизни переменялось, описана в повести прекрасно. Но и это — другая тема.

Так кто же выпустил Наполеона из России?

Что у Мазуса поразительно (поразительно — для нашей теперешней словесности, ищущей виноватых): у него нет ни заведомых подлецов, ни

предателей. Русский дворянин, посланный из Питера прощупать настроение евреев (он едет в Борисов перед самой войной; и именно он казнит потом лазутчиков, своих знакомых), — ведет себя благородно, и искренне верит, что евреи помогли Наполеону.

А евреи? Похоже, что они так же искренне хотели помочь Чичагову и верили, что доставляют русским истинные сведения о французах... Значит, попались, как ворона в суп?

«Шел спор между двумя великими народами, и никто не приглашал евреев принять в этом споре участие...»

Вот как? А в пределы Российской Империи при разделах Польши их тоже не пригласили? А Наполеон, предлагая им французское гражданство, не приглашал?

Вот вам и дилемма. А вот и ответ: понес же черт Лейба Бенинсона, Боруха Гумнера и Мойше Энгельгардта «через реку» к Чичагову.

Впрочем, не черт. А принципы, обещанные им Бонапартом.

— Желание спасти человека, который имел смелость объявить их свободными и равными со всеми иными народами земли.

(Это у Мозуса говорит русский офицер над трупами повешенных, склоняя голову перед подвигом самопожертвования).

— Пустые слова... Особенно о равенстве и братстве. Может быть, до того, как сюда пришел Наполеон, у меня действительно не было братства с поляками, так я его и сам не хочу...

(Это у Мозуса говорит еврей, принимающий в гостях русского дворянина).

— ...И равенства с ними мне тоже не надо. Даже если бы мне вдруг сказали, что я им, оказывается, равен, и они мне теперь разрешают жить на самой главной улице в Варшаве, то я все равно туда не пойду. Я всегда буду жить там, где мне совсем не надо думать ни о братстве, ни о равенстве.

Браво, Лейбэлэ! Митрополит Иларион подает тебе руку через столетия! Если не жить по благодати, тогда и нужен закон. Но найдется ли на земле улица, где тебе дадут жить, «не думая» о том, что другие люди «думают» о твоём праве? И о своём праве на ту же улицу?

Увы. Будет тебе Варшава. И варшавское гетто. И Гражданский кодекс, на который уповал Наполеон. И всемирные права человека. Уйдет Наполеон с одной улицы, появится на другой. И так, и эдак клин.

Когда на Энгельгардта опускали петлю, он почувствовал, что пальцы, которые коснулись его шеи, дрожат.

— Не бойся, — сказал Энгельгардт, глядя в глаза молоденькому жандарму. — Нет на тебе вины за мою смерть.

Вины нет. Страдание — есть. И будет. На любой стороне. И от этого не уйти ни с Березины, ни с любого другого места в Истории.

ИЗ ЗАПИСОК КЛАДОИСКАТЕЛЯ

О вкладе евреев в русскую культуру

Вопросы, встающие в связи с темой еврейского вклада в русскую культуру, уместны лишь после ритуального и мгновенного, ожидаемого и импульсивного ответа:

— Да, вклад велик.

Теперь — вопросы:

— А еврей, делающий вклад в русскую культуру, еще еврей или уже русский?

— А сам этот вклад его — еврейский или русский?

— А если вклад еврейский и делает его еврей, то какого лешего он делает этот вклад в русскую, а не в еврейскую культуру?

— А если вклад русский и делает его человек, ставший русским, какого беса лезть в его анкету и выяснять, от каких бедуинов или целовальников он происходит?

Попробую размотать этот клубок с кончика нити, попавшего мне в руки несколько лет назад, когда Леонид Грозовский составлял собрание русских стихов, написанных евреями. Я писал к этой антологии вступительную статью и потому знал некоторые подробности дела. Один поэт был оскорблен нашим предложением и отказался дать стихи:

— Это что за расистский подход?!

Мне было жаль терять автора (поэт, надо сказать, был замечательный и очень мне близкий); я его пытался переубедить — безуспешно; но, не разделяя ни его точки зрения, ни его опасений, — каким-то краем сознания я его понимал.

Еврейские справочники сплошь и рядом включают в число евреев людей, у которых — «половинка»; я сам такой; попав в один подобный справочник, не протестовал; дело не в том, что еврейская кровь «сильнее» (гитлеровцы считали, что даже осьмушка «портит»); дело в том, насколько я в себе эту кровь признаю и познаю.

Все зависит от содержания вклада.

В тех сферах, где содержание по определению не несет национальной окраски, нет и проблемы. Для того, чтобы национальная принадлежность академика Ландау возымела значение, должно возникнуть понятие «еврейской физики». Еврейские корни Ильи Мечникова не имеют никакого отношения ни к бактериологии, ни к еврейской проблеме. Вопрос о том, еврей ли построил гостиницу «Москва», имеет не больше смысла, чем вопрос о том, не немец ли построил в Москве Ярославский вокзал (между прочим, построил в «русском стиле»). Вот если взять понятие «немецкая архитектура», — то там национальность такого строителя прозвучит; если есть «еврейская архитектура» (в Израиле — наверняка), — там такому строителю и контекст. А тут — «русская архитектура», «советская

архитектура», а каких корней был Барма и что было в паспорте у Иофана — вопрос только для кадровиков.

Кадровики, особенно любители, могут извлечь свое из любых сфер. Например, из спорта. Считается, что евреи «умные» и потому лучше всех играют в шахматы (интересно, как в этом случае разделить Каспарова между евреями и армянами?). Однако еврей Бренер лучше всех прыгал в воду, еврейка Крепкина лучше всех прыгала в длину, еврей Манкин лучше всех гонялся на яхте, а еврей Новак лучше всех поднимал тяжелые предметы... впрочем, Новак в качестве еврея все-таки фигурировал в соответствующих дискуссиях....

Все это, допустим, «пропаганда».

Тогда идем в сферу, куда более существенную для расфасовки национальных вкладов, — я имею в виду литературу.

Последний общепризнанно яркий всплеск русской словесности «шестидесятники».

Даю список корифеев: Василий Аксенов, Анатолий Кузнецов, Юрий Трифонов, Анатолий Гладилин, Владимир Войнович, Георгий Владимов... Цвет тогдашней «молодой прозы», неубитые идеалисты, последнее «верующее» советское поколение, вплотную подведенное историей к черте безверия....

Что общего у всех перечисленных?

Евреи?!

Нет. Полуевреи.

Тут важно, что — «полу...» Прибавлю еще Сергея Довлатова (которого опять-таки армяне у евреев могут оспорить), и Владимира Корнилова... впрочем, его вклад — скорее в поэзию, чем в прозу, а о поэзии — чуть позже.

Итак, «полу...» Еще: все это люди полу-западные, полу-советские. Все бежали от тоталитаризма (не через границу, так в диссидентство), и все внутренне — остались «в плену» у русской культуры. Так, может, именно встреча противоположных начал (коммунизм — демократия, еврейство русскость) сделала их душу особо чуткой?

Дело не в том, что у них была еврейская «половинка»; могла быть и не еврейская; крупнейшие поэты того же поколения тоже были чуть не сплошь полукровки, но не еврейские. Но не так важно, что у Евтушенко корни были латышские (потом выяснилось, что немецкие), у Вознесенского грузинские, а у Ахмадулиной и Куняева татарские; важно, что в их сознании встречались миры.

Никому ведь не пришло в голову спекулировать на национальности Булата Окуджавы, хотя сам он иногда декларировал свое грузинство, — там решал диалог: диалог солдата и миротворца, коммуниста и вольного поэта... и в конце концов — диалог кавказца и москвича.

Когда Александр Галич поет: «А Мадонна шла по Иудее», вы знаете, что это поет еврей, что этот еврей крестился, что этот крестившийся еврей перешел грань, расколовшую мир в эпоху холодной войны. Все это вы знаете от него самого, и именно так оцениваете вклад. Но что еврейские

корни есть у Юрия Визбора, — это вам и в голову не приходит. Что в еврейях ходил Высоцкий — вы знаете только потому, что он написал на эту тему несколько лукаво-издевательских песен, так что вклад его как еврея — иронический. А «чистый» еврей Городницкий стал автором русейших песен, прямо вошедших в народное бытие, а евреем, внесшим вклад, сделало его лишь то, что он издал в Израиле книгу стихов о своих еврейских предках и о судьбе евреев в России.

Не надо подменять «графой в паспорте» творческую установку. Ни Осип Абдулов, ни Ефим Копелян, ни Марк Бернес, ни Леонид Утесов не существовали как евреи, а только как русские артисты. Да и Михаил Козаков, съездивший в Израиль (и довольно быстро вернувшийся), никаким боком к еврейству не прислонился. Во всяком случае, не больше, чем Михаил Ульянов, ставший евреем по роли.

Но театр «Современник»! Галина Волчек, тот же Козаков, Игорь Кваша, Валентин Гафт, Валентин Никулин....

Да, лучший театр поколения «шестидесятников» — это детище советской ментальности в ее чистом, интернациональном корне, это театр идеалистов, лишенных всякого этно-акцента, и это пример того, как в общее дело вносится общечеловеческий вклад. Евреи вкладывают в это дело талант и душу, вовсе не чувствуя себя евреями. Хотя внутренняя драма, скрытно обостряющая восприятие, здесь, наверное, присутствует. Можно, конечно, описать ее в этнических терминах. Но это другая реальность, и лучше ее без нужды не трогать.

Поэт и публицист Дмитрий Быков (между прочим, объявивший, что он полукровка) высказывает мысль, что если еврей в сфере культуры остается только евреем, у него нет шансов подняться над местечковым уровнем.

«Подлинные взлеты, духовные прорывы чаще всего возникают там, где еврей рвет со своей средой и пытается стать частью другого этноса... Для Пастернака в высшей степени оскорбительно было бы называться только евреем. Никто не усомнится в том, что евреи дали миру величайших литераторов и мыслителей, но верно это лишь применительно к тем, кто, как Хеллер и Маламуд, Мандельштам и Бродский, Эйнштейн и Ландау, стал гражданином мира. Но называть гением Шолом-Алейхема — увольте...»

Это высказывание можно подвергнуть корректировке как по персоналиям, так и по этнической привязке. Вклады евреев в культуру американскую я вообще тут не комментирую, но и у них, и у нас «духовные прорывы» наиболее вероятны при столкновении стихий и сфер, отнюдь не только этнических. Что до нас, то у Пушкина интересно сопряжение «империи и свободы», гармонии и трагизма, а не только диалог эфиопских и славянских генов. Положим, Пушкин остается в черте непереводимости. Но Мандельштам и Бродский... я согласен: миру они дали больше, чем Шолом-Алейхем и Бялик, но ведь в данном случае мы хотим оценить то, что дали евреи не миру, а русской культуре...

Да, Мандельштам в какой-то мере сохраняет черты иудейского менталитета (раввинического, по определению С. Аверинцева), что остро сопоставлено с русской (точнее, советской) реальностью. Но Пастернак, совершенный в этом смысле «ассимилятор», вряд ли несет в своем

менталитете что-то еврейское, разве что «всеотзывчивость» (по определению того же С.Аверинцева — хасидскую), которая уже неотличима от той всеотзывчивости, что в свое время открыл у полуэфиопа Пушкина полулитовец Достоевский.

Вклад евреев в русскую культуру конкретно определяется в каждом индивидуальном случае тем и только тем, что именно вложено. Бродский, записавший свою поэтическую Одиссею на русском языке (и смолodu присягнувший русской классике в лице Боратынского), несомненно входит в историю русской словесности, но русская культура вряд ли сможет извлечь из его дара что-либо, кроме ненависти к Советской Державе и ее русской почве; все остальное в наследии великого поэта: предчувствие всеобщей гибели и обжигающе-ледяное одиночество перед Роком — принадлежит скорее все-таки именно миру, чем русской культуре.

Меж тем Коржавин, столь же неотъемлемый от русской словесности и так же перенесшийся в Америку телом (не духом!), при всем своем родстве с «Абрамом Пружинером», невообразим вне русской духовной реальности и войдет в историю именно русской культуры как великий «шестидесятник», русский идеалист XX века. То, что при этом он еврей, — не более, чем подробность его биографии.

Решусь на ономастический каламбур: Александр Борщаговский, написавший историю гибели Еврейского Антифашистского Комитета, — внес этим еврейский вклад в русскую культуру, а соседствующий с ним в справочниках Борщевский, всю жизнь комментировавший Герцена и Салтыкова-Щедрина, является просто русским литературоведом, и что он Соломон, теперь не интересно даже osobистам.

Тут тонкость в том, что творческое напряжение, продиктованное, говоря языком физиков, «разностью потенциалов», заставляет художников, не погасивших в себе «инородческого» начала, с особенной силой вживаться в русское бытие. Может, не случайно две артистки, в разные эпохи сыгравшие Аксинью в экранизациях шолоховского «Тихого Дона»: Эмма Цесарская и Элина Быстрицкая — несли в себе еврейские гены: им-то казачья стать давалась далеко не «сама собой», а соответственно усилиям души. Соответственно этой душевной энергетике вышел и результат...

Каждый случай такого рода уникален по определению. Михаил Калик, сделал неотразимо молдавский фильм «Человек идет за солнцем», а десятилетия спустя — необратимо еврейский фильм «И возвращается ветер». Вопрос: каким концом оба этих фильма: молдавский и еврейский — вкладываются в русскую культуру? — разрешается элементарно: в той степени, в какой русская культура воспринимает и принимает эти вклады.

В какую культуру сделал вклад Марк Шагал, и что тут русского, если на его полотнах летают исключительно евреи, а живописной фактурой он связан с Францией, где прожил свой век? Только ли тем, что Витебск, над кровлями которого летают шагаловские евреи, был вписан в Российскую Империю, а при Советской власти молодой Шагал поучаствовал в делах русского авангарда?

Да хоть бы и так. Возьмем — будет наше. Оттолкнем — мир подхватит.

Оскар Рабин есть несомненный еврей, живущий и работающий во Франции. Но его ржавые сеledки, расплаstанные на советских газетах, родились и обрели смысл именно в Лианозове, свидетельствуя о том «скотском образе жизни», который пришлось вести русским в ожидании третьей мировой войны. Я не знаю, еврейский или не еврейский это вклад, но это вклад реальный, и это вклад в русскую живопись и в русскую культуру.

Я не знаю, в качестве кого: израильтянки-еврейки, украинки-киевлянки или русской москвички-универсантки Майя Каганская пишет свои блестящие исследования о Булгакове или Арцыбашеве, но я не мыслю русское литературоведение без ее работ.

Я не берусь предсказывать, в какой мере культура грядущего Израиля признает своей прозу Дины Рубиной, но что ее проза: еврейско-русская, пограничная, разрывающаяся от противоречивых чувств и разнонаправленных векторов любви, — принадлежит русской прозе и русской культуре, я знаю твердо.

Аналитики разнесут по полочкам. Потомки разберутся, где чье. Недолго осталось. В конце XVIII века матушка Екатерина (она же Софья-Августа-Фредерика Ангальт-Цербстская — вы не пытались перевести последние два слова с немецкого? Посватанно-сербская?) «прикупила» евреев, открыв тем самым историю их драмы в России. Теперь эта драма заканчивается. «Еврейство в России завершает свой короткий век», — итожит Анатолий Казак в предисловии к своему справочнику «Евреи в русской культуре». Еврейство отходит на землю обетованную. Кто не отойдет, останется русским. Независимо от корней и генов. Сюжет завершается. Занавес близко.

Возблагодарим судьбу за то, что драма завершилась, а еще больше за то, что она совершилась.

...НЕЕВРЕИ

ЦАРЬ МЕЛЕХ

Как бы вы ответили, уважаемые читатели, на такой провокационный вопрос: почему в корне названия старейшего казачьего поселения на Дону Кагальницкого городка — присутствует иудейское слово «кагал»?

Этот вопрос был задан Михаилу Шолохову. Он ответил так:

— Пока есть противостояние иудаизма и православия, мы не будем знать всей правды. Ни об истории казачества, ни об истории России. — И шутливо добавил, обращаясь к задавшему вопрос правдоискателю: — Ищи! Может, найдешь правду.

Казачья повадка помогает автору «Тихого Дона» уйти от однозначного ответа (что свидетельствует о том, что великий летописец казачества, сам, как известно, по происхождению иногородний, действительно проникся вольным казачьим духом).

Однако вопрос, как говорится, интересный. Пока православие и иудаизм противостоят друг другу, простого ответа на него ждать не приходится. Как и ответа на вопрос, была ли в реальности Хазария, а если была, то какая. Вместо нее в российской историографии веками маячило что-то эфемерно-туманное, неразумное (прилипло пушкинское словцо!), непоправимо обрезанное (то есть отрезанное от отечественной истории: впали в иудаизм, значит, чужие). В новейшей историографии (от Гумилева до Кожина) Хазария как бы воскресает из псевдобытия (есть и роман А. Байгушева на эту тему), и именно — как непримиримый враг, фатальный геополитический оппонент Руси.

Эта оппозиция, я думаю, переносится в хазарские времена из времен позднейших, когда Русь действительно противостояла «востоку», — хазары оказываются как бы в роли прото-татар. В реальности же ось напряжения проходила в доордынские времена не по линии Хазария — Русь, а по линии Хазария — Византия; Русь же, пластавшаяся между двумя этими силами, еще не была равновесным участником конфликта; она стала им позже — именно в результате борьбы с Ордой, но это произошло в эпоху, когда от Хазарского каганата остались одни воспоминания.

Опять-таки: если писать историю «верхов»: историю царств и религиозных доктрин, — тогда каганат, сопоставляемый с княжеством или ханством, может играть роль альтернативы, а иудаизм, в который вросла хазарская «верхушка» за 250 лет до крещения Руси, вполне может быть символически предъявлен Владимиру Красно Солнышко в качестве искуса при выборе веры.

Но если говорить об истории народов (а история народов кажется мне не менее интересной, чем история престолов и алтарей), так ведь кроме хазарской «верхушки», впавшей в иудаизм, были еще и пастухи, гонявшие стада от Дона до Арала, купцы, торговавшие по всему этому ареалу,

ремесленники, чьи изделия по сей день археологи находят от Венгрии до Армении...

Оставляю в стороне поэтический вопрос о том, прикрыла или не прикрыла Хазария Западную Европу от азиатских кочевников, и если прикрыла, то лучше или хуже это вышло для истории, потому что в пору, когда этот вопрос был для Хазарии актуален, Русь еще только проектировалась, а когда Русь (опять-таки по Пушкину) действительно заслонила Запад от Востока, Хазарии уже не было.

Я думаю, что для истории России (именно — для истории народов, ее составивших) не менее существен другой вопрос: вот те самые хазары, неразумные, обрезанные, — куда они после исчезновения каганата реально делись?

Как куда? Рассеялись по евразийским просторам. Слились с тюрками, которым, по А. Кестлеру, приходились кровной родней. Слились со славянами, которым тоже были не чужды. Слились с еврейскими общинами Западной Европы... но это — обрезанная верхушка. Что же касается масс, то в пестрой массе хазарского населения, жившего под крышей каганата, преобладали (по свидетельствам мусульманских историков) два типа: «кара-хазары» и «ак-хазары», то есть «черные» (похожие на тюрок, а еще, как тогда считали, на индусов), и «белые» (рыжеволосые, светлоглазые, долговязые... на кого они похожи, решите сами). В общем, как собрался каганат из двенадцати племен, так и рассыпался. Из кого собрался, пусть выясняют историки древности, а вот куда девался, это стоило бы выяснить историкам современности.

Вот один из ручейков, выбившийся на поверхность: казаки мещерские. Дialect — смесь славянизмов и тюркизмов. На воротах — мезуза. Предпоследняя историческая затрещина получена от патриарха Филарета в 1619 году — за то, что в Смуту переметнулись к Лжедмитрию: за сей грех пришлось казакам из Мещеры передислоцироваться на Дон. Последняя затрещина — уже от Советской власти, в ходе общего «расказначивания». Так что к середине XX века мало кто из этих казаков помнил, откуда они.

Один — помнил. Восемнадцатилетний кавалерист 247-го Уссурийского казачьего кавполка, в 1943 году по совету отца «попросившийся в кавалерию». По совету того же отца о своем «мещерском» происхождении благоразумно помалкивал. Однако со слов своей бабушки Федоры Давыдовны (хорошее сочетание) знал много тюркских выражений. И еще знал, что значит его фамилия: Подоксик (возьмите карту Мещеры и найдите реку Подоксу).

Участвовал казак в последней конной атаке XX века под Муданьцяном. Служил в Советской Армии до 1954 года. Вышел в отставку в чине подполковника.

Он-то и спросил Шолохова о Кагальницком городке. На правах знакомого. Потому что и Шолохов, в военные годы посетивший их полк, спросил, какие тот парень знает фамилии дореестровых казаков. Фамилии оказались такие: Алимов, Баскаков, Малкин, Бирюков, Бердников, Чурхин, Мелехов....

Оставляя любителям ономастики распознавание тюркских и славянских антропонимов в этом списке, раскрою один, для почитателей Шолохова особенно любопытный: Мелех — это царь. На иврите.

Прочие подробности — в статье Е. Подоксика в 15 номере журнала «Русский еврей» за 2000 год.

С ДВУХ СТОРОН

*С двух сторон ощущаешь на себе
возможные, невозможные и еще
нарастающие упреки и обвинения.*

**Александр Солженицын. Двести лет
вместе. Том 1.**

1. Бикфордов шнур длиной в двести лет

Самый остроумный отзыв, донесшийся с русской стороны: для обоюдного взрыва обид хватило бы в этой книге и обложки... Соединить в одном сюжете русских и евреев! Нерасторопные русские если еще не обиделись, то обидятся непременно, как только почувствуют, что обиделись расторопные евреи. А та сторона уж точно в обиде. «Солженицын пишет, что у него много друзей-евреев. А зачем он их считает?»

Вообще-то я не помню, чтобы Солженицын оправдывался друзьями-евреями (такого рода оправдания действительно отдают пошлостью, но все зависит от контекста). Зачем он их считает? Затем, что он в данном случае исследует эту тему. Если бы он писал о шведах или о тасманийцах, считал бы и их.

Если же вы думаете, что евреев пересчитывают без повода и причины одни только антисемиты (в годы гонений в интеллигентской среде так боялись самого слова, что антисемитом казался каждый нееврей, произносящий слово «еврей»), то отвечу: их считают без повода, но не без причины. А причина та, что евреи, хотя и того или нет, тысячи лет являются фактором мировой истории. Если перестанут, тогда их никто и считать не будет. Вы этого хотите?

У меня появление книги Солженицына вызвало совсем иные чувства. Сам факт появления такой его книги. Подумалось: как, он и это успел?! И сил хватило, и времени! И никто не ведал, что готовится такое! Втайне, что ли, работал, как в советские времена? Во хватка, во схран — молодец, зек!

Теперь насчет обилия материала. Иронизируют: «цитатник». Переворочил пару-тройку энциклопедий... Надрал вырезок... А с другой стороны: «неточная тенденциозная подборка цитат».

Вы можете объяснить, что такое «точная подборка цитат»? Это, надо думать, вся, как формулируют социологи, генеральная совокупность: все, что написано. А подборка (социологи говорят: выборка) всегда так или иначе тенденциозна. Что бы вы ни выбрали, вам скажут: у вас тенденция.

Дойдем и до тенденции, а пока — о солженицынской выборке. Там не пара-тройка энциклопедий (хотя и они тоже). Там к каждой из двенадцати глав — сотня ссылок. «Цитатник»? Да! Любой поворот исторического

течения событий выщупан свидетельствами, так что от свидетельства к свидетельству выстраивается сюжет, читаемый запоем. Нет, это не «цитатник», господа заседатели, и не «фактограф», — это драма, выстроенная из исторических реплик, прошитая острым пунктиром ремарок.

Ремарки эти выдержаны в убойном солженицынском стиле — и потому, что непоёжисты, то есть пахнут «Словарем расширений» и — узнаваемы по неотступной точности эмоционального окраса. Кто подлец, кто трус, кто болван, кто проныра — в каждом эпизоде сказано очень даже определено.

И — главная загадка, потаенный нерв, бытийный парадокс текста: при беспощадности частных оценок — сверхзадача щадящая: ни на чью сторону не встать! Если обе стороны виноваты, то пусть обе и каются, причем сами, без указующего перста от правосудного автора (таких призывов к чужому покаянию сейчас полно, и всегда зовущий других выглядит самым совестливым). Так вот: эту мерихлюндию Солженицын спокойно отводит. Он «погружен не в полемику, а в события». Он исследователь (подчеркну: художественный исследователь, то есть вооруженный писательской психологической интуицией), а не прокурор и не адвокат. И не метафизик-проповедник. Метафизику он тоже отводит. Хотя знает, что она «есть», и предупреждает об этом читателей.

Тем не менее ему очередной упрек: зачем уклонился? Зачем не взял в расчет религиозную несовместимость евреев и русских? В ней-де все дело: «все от иудефобии, то есть от неприятия иудаизма».

Отвечу на это так: если все упереть в несовместимость религиозных начал, то и толковать не о чем, кроме, как о том, что они несовместимы. Такие начала в принципе несопругаемы и даже необсуждаемы, они — предмет веры, результат духовного опыта, сокровение судьбы. Ни один иудей не объяснит вам и не докажет, что хорошего в том, чтобы придерживаться шести сотен ритуальных запретов тысячелетней давности, и зачем надо быть богоизбранным народом, точно так же, как ни один православный не растолкует вам внятно, зачем ему древнее благочестие и чем ему не угоден римский папа. Это именно метафизика, с этим надо жить, то есть уживаться, не пытаясь ничего свести к общему знаменателю и признавая, что религиозная пестрота в человечестве природна и будет всегда.

Упереть русско-еврейский вопрос в иудефобию или христолобие — значит не наплодить ничего, кроме новых обид. Правильно Солженицын «небесное оставил Богу».

Это не значит, что в его исследовании вообще нет метафизической сверхзадачи. Она есть, только возникает из «событий» как бы «сама собой». Это план «историко-бытийный», историософский, соотносимый с дальним смыслом событий и прежде всего — с судьбами стран и народов. В конце концов, это и геополитический аспект тоже, в каковой мы теперь все время с изумлением утыкаемся. В таком общечеловеческом контексте действующие лица солженицынской драмы обретают символическую значимость и требуют от автора чисто писательской интуиции.

Действуют тут два собирательных героя: евреи и русские.

Евреи в этой драме динамичны, практичны, беспокойны, предприимчивы, шумливы, сметливы, неугомонны, увертливы, упорны (самоупорны), фанатичны, страстны, чутки и быстры, отточенно напористы, талантливы к учению, радикальны в решениях и действиях, блистательны умом и пером, замечательно слитны духом, они «плуты и обманщики», у них «ловкость и энергия», они борцы, говоруны, теоретики и всегда знают, что делать.

Русские — не знают, что делать. Они делают все невпопад, растеряны, нерасторопны, великодушны, недалёковидны, непрактичны, рыхлы духом и — в стыке с евреями, то есть в той точке, где сходится с еврейским галутом русская интеллигенция, — русские, как и евреи, — пламенно беспочвенны.

В концентрации, какую я придал этим характеристикам, они могут показаться обидными (кое-что я взял в кавычки: это определения, данные другими авторами, коих Солженицын цитирует, но не оспаривает). Однако в каждом конкретном случае эти определения, четко привязанные к событиям, выдают в авторе их не столько решительность, сколько опаску: боязнь обидеть, перейти грань.

Он нигде и не перешел грани. Он эту грань перелетел, отнесся в сверхзадачу к смыслу драмы: к тому, что свело русских и евреев во всемирной истории, почему этот контакт оказался столь значим, и чему мы научили друг друга, в том числе и горькими уроками.

Не хочется выверять, где и как Солженицын подобрал цитаты, или ловить его на фактах. А то еще и сам поймаетесь. Я, например, раньше знал, что Ходасевич — внук Брафмана, но, возможно, что Солженицын выяснил точнее, что — внучатый племянник. Или: у Солженицына уловка французов при Березине состоит в том, что они через евреев подбросили Чичагову ложные сведения о месте переправы, и адмирал поверил. Я знаю другую версию: обжогорили французы Чичагова тоньше: подослали евреев с истинными сведениями, рассчитывая, что евреям адмирал не поверит, и тот не поверил-таки: попался. Вообще обильнейшая по материалу книга содержит бездну увлекательных конкретных сюжетов, но важнее общий ее сюжет: русско-еврейский дуэт в мировой истории и смысл его.

Вопросы в связи с этим возникают вечные, то есть проклятые, окончательного решения не имеющие. Думать над ними в связи с книгой Солженицына — счастливый труд.

Вот и подумаем.

2. Вопрос не столько еврейский, сколько русский

В 1772 году Россия прикромсала себе треть Польши со сотысячным еврейским населением; «от этого года надо датировать первое значительное скрещение еврейской и русской судьбы».

Тогда встал практический вопрос: что делать с евреями? Приснопамятные впечатления от них были какие-то... неисследимые.

Петр I говорил, что они плуты и обманщики. Однако говорил и другое: что ему безразлично, крещен ли человек или обрезан, знал бы дело да был бы порядочен. Шафиров выходит аж в вице-канцлеры, хотя и

мошенник. Как возвышен и куда больший мошенник Меншиков, крещеный необрезанный. Оба знают дело.

Екатерина I под давлением того же Меншикова повелевает выслать евреев из Украины и из российских городов. Год спустя выясняется, что указ не исполнен.

Вы следите за лейтмотивом?

Анна Иоанновна еще раз указывает: евреям — убраться! Вообще за границу. Земли им в Малороссии не давать!

Ничего не выполнено.

Елизавета Петровна, прославившаяся фразой: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли», — запрещает врагам «жить в нашей империи». Враги вроде бы выезжают, а потом выясняется, что они опять тут.

Екатерина II, учтя неудачи своей кроткой предшественницы, действует хитрее: она декларирует по отношению к евреям государственную строгость, но втайне им сочувствует и помогает. «Императрица... вынуждена прибегнуть к конспирации!» — не без одобрения комментирует бывший зек Солженицын.

Однако делать с евреями что-то все-таки надо. Во всяком случае, надо пресечь шинкарские их дела, от которых стонет и спивается беззащитное славянство. В целях искоренить это безобразие решено выселить евреев из деревень в города.

Исполнение буксует, потому что непостижимым образом деревни переименованы в города. Евреи остаются на месте. Беззащитные славяне тоже. Питье продолжается.

Гаврило Державин, отложив лирическое перо, едет в Западные губернии, чтобы разработать программу извечения евреев из шинкарско-кагальской тьмы и вовлечения их в общероссийскую жизнь. Евреи не спорят, разве что одна ушлая винокурщица пишет кляузу, будто тот побил ее палкой, отчего она преждевременно родила. Но сей навет опровергнут. А дальше? Державинские проекты утоплены тихо и бесповоротно. Отпав от проблемы, великий поэт возносит ко Всевышнему следующий вопль: «Ежели Всевысочайший Промысл, для исполнения каких своих неведомых намерений, сей по нравам своим опасный народ оставляет на поверхности земной и его не истребляет, то должны его терпеть и правительства, под скиптр коих он прибегнул...»

Скиптр переходит к Александру I. Вновь решено выдворить сей опасный народ из деревень. Вряд ли это удалось бы и при спокойной обстановке, замечает Солженицын, видимо, слегка уже устающий от этой песенки, — а тут еще Наполеон с войной... В общем, выселение отсрочивают, и евреи остаются на месте... а потом вдруг кидаются переселяться тайно, без позволения и даже без паспортов. Сколько ушло, сколько осталось, учесть не представляется возможным.

Даже предпринятое в Риге пустышное дело: переодеть евреев из вызывающих лапсердаков в общепринятое там «немецкое платье» — никак не исполняется: государь, смиряясь, это дело откладывает.

Поначалу кажется, что этот попутный мотивчик возникает в солженицынском повествовании произвольно... да он и должен возникать как бы произвольно. Но когда мотив перетекает в лейтмотив, закрадывается мысль: не он ли определяет и мелодию?

Разумеется, не одни евреи исхитряются в уклонении от ударов державной длани; русские спокон веку делают то же самое (Иоанн Грозный, закабалая народ в крепостное бесправие, объяснял, что иначе он не может познаться, где гуляют в тот или иной момент его подданные). И, конечно, не на одних евреях российская власть демонстрирует свою медвежью неповоротливость и волювью нераспорядительность. Но с евреями этот сюжет обретаёт такое виртуозное постоянство, что изворотливость описываемого племени заслуженно входит в легенды.

Николай I, чья административная решительность сравнима с моральной озабоченностью, придает делу новый и достаточно тонкий оттенок: евреям запрещено пользоваться христианской прислугой, так как это «оскорбляет в женщинах христианскую веру».

Распоряжение не исполняется. Доклады до назначения не доходят. Решено брать евреев в рекруты — они не даются, утекают, мера остановлена по причине невозможности справиться с «безотчетной и бесконтурной еврейской массой». Решено (очередной раз) выселить евреев из деревень — выселение вязнет и тормозится. Им пытаются запретить торговать водкой лично — ничего не выходит. Заходят с другого боку: запрещают евреям держать почтовые станции («а при них... постоянные дворы с шинками») — отменяется и это.

Наконец, октаясь, пробуют втянуть евреев в общероссийское просвещение. Евреи сопротивляются: «Венценосный изверг приказывает обучать евреев русской грамоте» — иронизируют они и, разгадывая в планах Уварова тайную ассимиляторскую цель, уклоняются от русских школ так же ловко, как уклонялись от рекрутчины. (А два царствования спустя кинутся поступать в школы и университеты, правдами и неправдами преодолевая процентную норму, и опять — поперек воли властей!).

Ну и народец.

Не хотят пахать — хотят ремесленничать, любыми путями самовольно уходят в ремесло, но едва это дозволено, и власть пытается определить евреев в цеха, то есть в «принудительное производственное обучение», уклоняются!

Даже такая вроде бы законно-логичная мера как запрет контрабанды и попытка выселить евреев-контрабандистов из приграничной полосы, выворачивается в их пользу и проваливается, произведя тот единственный эффект, что вся Европа с возмущением клеймит Россию, которая, как сказали бы теперь, плевать хотела на права человека.

Николай I пытался взнудать — Александр II отпускает поводья: никаких ограничений! Расселяйтесь! Торгуйте! Учитесь! Включайтесь в общероссийскую жизнь! Берите наконец землю...

Землю окончательно отказываются брать. Впрочем, с землей — особый сюжет. А наш лейтмотив продолжается: не входят евреи в

общероссийскую жизнь. А входят — в антироссийскую: бунтарскую, мятежную, интернациональную, революционную.

И что же? От этого самого революционного движения они и получают погром (народовольцы: «Бей евреев, а там доберемся и до помещиков»). Однако и участие евреев в революционном движении — тоже тема особая, сейчас я о другом: о фатальном соскальзывании еврейского «вопроса» со среднеразумной линии. Русские бомбисты говорят: «Пошло против евреев — так не отстать бы от народа!» Но и еврейские бомбисты говорят то же: не отстать! Едва какое-то право добыто, «то уже сочтено и мелочью». Давай все! Все та же своя потаенная логика. Если не назад выскальзывают, и не в сторону, то вперед.

В сторону тоже: с конца либеральной эпохи начинается эмиграция первый вестник конца двухсотлетнего совместного бытия, забрезжившая развязка сюжета.

Сюжет итожит Ипатьевский Комитет, по счету девятый (!) ради разрешения еврейской проблемы. Итог: все усилия правительства по слиянию евреев с прочим населением тщетны.

Полдистанции пройдено: век усилий. Уклонились-таки!

Вот я и спрашиваю: где пружина? Независимо от конкретных причин в тот или иной период — что за тайна в поведении этого народа? Какая сверхзадача писана ему на роду? Каков, говоря державинским штилем, Всевысочайший Промысл, велящий ему так фанатично уклоняться от внешних воздействий дурных ли, добрых? Что за инстинкт диктует ему выскальзывать — инстинкт, который для этого народа сильнее, выше (или глубже?), фундаментальнее, онтологичнее, то есть бытийно важнее всех прочих благ или жертв? Инстинкт самосохранения народа — это самоцель? Или, как мог бы сказать автор «Матренина двора» (и как сказал он по поводу прискорбного состояния другой стороны) — превыше всего — инстинкт народосбережения?

А если это и есть — Замысел, который ведет «сквозь все»? Опыт идентичности, мистика имени. Вот уже, кажется, ничего нет: ни языка, ни веры, ни имени... Что остается? «Что-то»... Дуновение эфира, воздух...

И висю в воздухе, питаюсь воздухом, люди воздуха из воздуха же способны вернуть все, что отдали: язык, веру, землю. Люди, более всего боявшиеся «прирасти к месту», прирастают-таки к месту... только не к тому, какое им предлагалось...

Значит, разгадка — в самом феномене сплочения? «Жить по Закону и никак не смешиваться с окружающими народами, в этом и испытание», — доводит Солженицын до формулы неисследимый дух еврейства.

И оценивает его применительно уже к нашей стороне:

«Более чем двухтысячелетнее сохранение еврейского народа в рассеянии вызывает изумление и уважение. — И дальше, с горечью: — Нам, русским — даже малую долю такого изоляционизма ставят в отвратительную вину».

Так если бы! Но такой спаянности, такой обособленности, такой преданности имени нет между русскими. Вольные мы люди, гуляем!

Созная это, великий русский писатель говорит: «рассматриваемый вопрос — не столько еврейский, сколько русский»

По каковой причине он им так пристально и занимается.

3. Земельный вопрос для людей воздуха

Оставляю в стороне все шатания и колебания русской власти, то сажающей евреев на землю, то сгоняющей их с земли: повороты здесь столь круты и неожиданны, что даже Лев Толстой высказался на сей счет невольно, так что Солженицын переспросил: «На каких облаках он жил?»

На облаках, как известно, предпочитали жить евреи. И это висение на облаках, то есть отрешение от земли, подкрепляется не столько даже реакцией на правительственные постановления (от исполнения коих евреи, как мы видели, уклоняются виртуозно), сколько некими прирожденными, то есть едва ли не биологически непреодолимыми свойствами тела и души, каковые никакому научному исследованию явно не поддаются, а именно и только художественному.

Опять ловлю лейтмотивы солженицынской книги.

Им не давали землю? Давали.

Их выселяли туда, где и без них было тесно — в гущу конкурентов? Нет, на пустые площади в Новороссии. Конкурентов не просто не было — их отсутствие являлось одним из условий, и даже побудительным мотивом русской власти: избавить евреев от скученности местечек и расселить «попросторнее».

Так именно «попросторнее» и не захотели! Сбивались обратно в скученность.

Может, не на что было подыматься и переезжать? Нет, правительство давало ссуды.

А они брали ссуды и смывались. Или — более изощренный вариант: брали землю и сдавали в наем, в аренду, за которую взымали деньги с «христиан», то бишь с крестьян; крестьяне землю обрабатывали, а евреи с этого жили. И еще могли себе немного портняжить, по анекдоту.

А если брались обрабатывать сами?

Ну, это вообще смех и грех. Надо пахать, а они молятся. В субботу вообще ничего делать нельзя, нельзя даже погнаться за ворами, которые сводят со двора скот. А свести проще простого: евреи за скотом не смотрят, загонов не строят, выгоняют без пастухов, а если с пастухами, так те не стерегут, а напропалую спят. И это потомки славных библейских овцеводов! Им власть даже «теплые армяки с капюшонами» выписывает — чтобы в холод могли выходить кормить скотину, — нет, не в коня корм. Ни того же коня уберечь от запала, ни корову вовремя подоить... Милей всего — всю эту живность разом продать, а самим... что? Как что? Уйти «бродяжничать».

Рядом — в той же Новороссии — живым укором — немцы-колонисты. С крепкими постройками, с тучно-нежными стадами, с богатейшими урожаями. Как тут не посыпать головы пеплом? «Земледеление запрещено еврею его народным духом, ибо, внедряясь в землю, человек всего легче прирастает к месту». Это Гершензон, которого Солженицын не

комментирует. А это как раз и хочется откомментировать. Может, именно здесь зарыта собака?

К месту не прирастают. Место не то. А лучше сказать: не то место.

То место в еврейско-русском языке окутано лаской миниатюрности: «местечко».

Но хоть в местечке-то можно обосноваться безоговорочно?

Нет, с оговорками. В тех немногих и кратковременных порывах, когда евреи все-таки соглашались «вместиться» и зовут соплеменников (в Новороссию или в Украину — из Литвы, Белорусии), они зовут, заметьте, соплеменников. Им нужна не просто земля для прокорма, им нужна — Родина. Пусть в миниатюре. А им что предложено? Гигантская многонациональная империя. В ней они могут стать гражданами, могут — налогоплательщиками, могут, наконец, земледельцами и даже землевладельцами. Но они должны перестать быть «евреями». И этот пункт, этот неухватываемый, как дуновение воздуха, пунктик, это «непонятно что» — оказывался весомей пахоты, едче пота, сильнее страдной бессонницы.

Нужна не земля вообще, но земля, которая стала бы своей.

В Девятнадцатом веке никто им такой земли не предлагал. Только в Двадцатом, в первой половине: вот вам Биробиджан... И что же? Без надежды собрать там все еврейство — захирело. Может, Крым? Аргентина? Уганда?

А может, Палестина?

Чем эти священные пески и камни лучше новороссийских черноземов и дальневосточных «лесов, полей и рек»? Это ж безводье, веками иссушенное! Там же, после веков турецкого роскошества — нежить! Вверху голые скалы, внизу болота!

И что же? Кинулись! Круговую оборону заняли! Я уж оставляю в стороне пресловутую еврейскую «трусость», в которую когда-то и Лесков не верил, но откуда такая землеустроительская прыть? Куда делась склонность к «беззаботной жизни»? Именно в эти камни, в эти болота двинулись. Осушали, пахали, цедили воду. Кто хоть раз был в кибуце и видел стада коров, меченых индивидуальными номерами (рационирование — по компьютеру), или капиллярный полив (по компьютеру же), тот вряд ли станет повторять байки про вечно дрыхнувших пастухов и про земледелие, «запрещаемое народным духом».

А если вы скажете, что земледелие должно быть не «компьютерным», а по-русски героическим, надсадным, мускульно-надрывным, — так именно на такой жуткий труд, и без всяких компьютеров — поначалу и ехали первые резмигранты. Именно так подымали палестинскую целину, осушая топи, дробя и убирая камни и только потом впрягаясь. Было даже такое специальное понятие: еврейский труд. То есть возвращение имени — не через торговлю, не через оборот и оборотистость, а именно через тягло и тяготу.

Так почему там вышло то, что нигде не получалось?

Потому что там — не «место» обитания, а Родина. Которая не ставит тебе условий, и которой ты не ставишь условий. Это то, что выше условий.

Это вообще выше всего. В том числе и выше безопасности. Какая там безопасность, если из-за тех же святых камней осыпают тебя камнями родичи-измаилиты! Им что нужно — тоже «среду обитания»? Нет, и им — Родину. В Иордании плохо, и в Ливане не то, а вот именно этот кусочек земли подай, который им, палестинцам, обещал Бог.

Вот и финал еврейского скитания. Ни Уганда, ни Аргентина, ни Россия не давали этого. Землю давали — прокормиться. А надо было еще и Богу вернуть кочующую и закоченевшую душу. Именно туда вернуться и там собраться, где договорено было тысячи лет назад. Договор, Завет, Замысел — вот дно проблемы. Или бездонье ее. Если учесть, сколько народов считают ту землю обетованной.

Мистическая тайна сокрыта и под армяком с капюшоном, и под лапсердаком, и под профессорскими очками, отшлифованными где-нибудь в Иене или Гааге. Из невесомости можно опуститься только на те камни, которые сто поколений назад слышали Имя.

Чокнутые, да?

4. Физиология погрома

От первых спорадических погромов середины позапрошлого века (до 1881 года — только в Одессе громили евреев, нигде больше), через встречный взрыв слепой русской ненависти, настигший евреев после первомагтовского цареубийства, к диким побоищам 1905 года («Довольно мы врагов своих любили, мы ненавидеть их хотим!») — через все погромные страницы новейшей русской истории тянется вердикт: евреев громила царская власть.

Обманность этого вердикта я заподозрил впервые лет сорок назад, когда прочел у Шульгина (полузапретные книжки его ходили тогда по рукам), что он, Шульгин, молоденький тогда офицерик, в Киеве во главе взвода солдат пытался погром остановить.

Кто же устраивал погром, если власть его останавливала? Солженицын последовательно опровергает прилипшую к «еврейскому вопросу» ложь о правительственном поощрении погромов. Да, была растерянность, была нерасторопность, было, наконец, фирменное русское упование на «авось», но устраивать погромы для власти было просто абсурдно.

Ну, тогда — «Союз русского народа»?

Солженицын опровергает и это: при зарождении и при размахе погромов «Союза» еще не было, а когда он появился, ни одного погрома устроить не сумел, уже хотя бы по причине организационного бессилия.

А — «черная сотня»?

И на нее повешено скорее от отчаяния, чем от фактов — ярлык пошел гулять как попало: «черносотенцами» и конституционных демократов клеймили, и веховцев...

Но если и те не виноваты, и эти не причем, — откуда беда навалилась? Может, погромов не было? Или русских провоцировали против евреев какие-нибудь ушлые «инородцы»? Я, грешным делом, даже

обрадовался когда-то, узнав (из полузапретной опять-таки литературы), что одесский погром 1821 года, зачинный, так сказать, в России, был начат греками, и не из какого-то там мистического антисемитизма, а из трезвой торгово-конкурентной зависти.

Очень хотелось мне тогда снять с русских это клеймо, невыносимо было думать об антисемитизме как о черте русского национального бытия, это ни с чем не вязалось, я кожей чувствовал облыжье и цеплялся за всякие «уточнения», вроде того, что в Кишиневе громили молдаване, а в Киеве украинцы, а в Елизаветграде...

А в Елизаветграде в 1881 году, как было выяснено, маятник погрома раскачивали «интернациональные» революционеры. Думали: натравим народ на евреев, потом перенатравим на царя. Вышло наоборот: гробанули царя, а народ в слепой ярости пошел громить евреев. Бывает: замыкают цепь причин-следствий, а она другим концом бьет «не туда».

И начинается: око за око, зуб за зуб. Евреи царя не убивали, а их громят за цареубийство. Они в ответ готовы пустить под откос самодержавие. С двух сторон растет счет незаслуженных обид и лживых обвинений: под них и почва подводится, и ложь оборачивается правдой безумия.

В Кишиневе толпа бьет беззащитных евреев; им говорят, что они ведут себя как трусы; в Гомеле евреи защищаются; обвинение в трусости смыто кровью; выстрелы еврейских боевиков вызывают еще большую ярость православных воинств... и уличная война достигает безумного накала, запредельной взаимной беспощадности.

Еврейское встречное презрение (оружие слабейшего) замыкается на русское оскорбленное простодушие (сильнейший не вдруг соображает, где и как его ужалили). В историю входит еврей, который прорвал головой портрет государя и из золоченой рамы орет: «Я теперь государь!» Этот цирковой аттракцион подкреплен подколами, приправленными ядом эрудиции: «Мы вам дали веру — дадим и царя».

Из Шульгина помню онемение русских обывателей в ответ на такую прыткость — ничего не могли вымолвить, кроме простецкого: «Да как они смеют?!» И далее — натуральнейший, всамделишный погром, в ходе которого уже мало кто соображает, с чего началось, кто кого первый обидел и на ком начальная вина.

Так на ком все-таки начальная вина? Кто начал? С чего все это «вообще» начинается?

Не смейтесь, но начинается с того, что еврейская пасха во времени сталкивается с христианской. 6 апреля 1903 года на улицах — «праздный народ», «много подростков», «пьяные». Мальчишки начинают бросать камни...

(Через сто лет Ясир Арафат скажет: «Я не могу запретить мальчишкам бросать камни»).

...Бросание этих камней в стекла еврейских лавочек азартно комментирует толпа, состоящая «исключительно из чернорабочих». Толпа «пополняется гуляющим народом»...

Господи, из какого же «ничего» все это раскручивается, из какой висящей в воздухе, пустяшной вроде бы агрессивности, из какой безмотивно томящейся праздной энергии, всегда бродящей в людях и только ждущей, когда какая-нибудь Пасха совпадет с Пейсахом.

Умные представители обеих сторон пытаются «подняться над» тупой физиологией погрома. Умный, всеотзывчиво мыслящий русский говорит: это — не против евреев, это русская смута. Вообще.

Подхватывая утешительный тезис, Солженицын цитирует умного, глобально мыслящего еврея: дело тут не только в русской смуте, но в смуте века. Тоже вообще.

И еще — в подхват ускользающему от разума истоку безумия — две группы среди белостокских анархистов 1906 года: «коммунары» и «безмотивники». Первые весьма логичны, они стремятся вооруженным путем захватить власть и устроить безгосударственную коммуну, они — в собственном самоощущении даже прагматичны (о реальной цене их проектов напишет по их осуществлению Андрей Платонов). Зато вторые, то есть «безмотивники», при всем безумии их планов, куда лучше чувствуют психологический фон: безмотивность террора, ежемгновенно нависающего над невинными, глубоко соответствует общей духовной невинности, то есть готовности начать бесчинство из «ничего», из случайно подвернувшегося под руку камня, из пустяка.

Бездумье провоцирует безумье.

«Евреи не удержали своих безумцев... но ведь безумцы есть и между нами, русскими, и мы не могли их удержать», — пишет Шульгин, и Солженицын, процитировав его, заключает:

«Так мы копали бездну с двух сторон».

А может, не копали, а валились в нее с двух сторон? А бездна уже была? Была пустота в сознании, заполнявшаяся «с двух сторон» какой-нибудь подножной чушью, «с двух сторон» разраставшаяся в дурь и гонор, заливавшая глаза гневом, улицы — кровью?

Какого же подвоха надо постоянно ждать с другой стороны, чтобы от безмотивного раздражения любой чепухой соскальзывать в бездну ненависти?

Тогда в чем подвох? Где та лакуна, и откуда пустота духа, которая разверзается, едва тронешь? Откуда замкнутый круг, который проламывается только яростью?

5. Квадратура кагала

С кагалом сражался Державин, кагал изнутри подрывал Брафман, в кагал утыкались все попытки вывести евреев из местечковой замкнутости на простор мировой культуры. Кагальское сопротивление приводило в отчаяние широкодушную российскую власть, которая искренне хотела осчастливить евреев, сделав их полноценными подданными престола и приобщив к общему порядку жизни. Кагалы упирались и уворачивались, и поскольку учет еврейского населения находился в их и только в их руках, а веками воспитанная дисциплина еврейства была, на русский взгляд, такой, что ей

«удивляться должно», — власть в конце концов признала, что перестроить кагальскую жизнь «извне» не способна, и прибегла к шагу всякой отчаявшейся власти: к запрету.

В 1844 году кагалы были упразднены.

Проблема осталась.

Проблема в следующем. Кагальская замкнутость, конечно, отсекает евреев от всего развивающегося цивилизованного мира. Она погружает их в «средневековую тьму». Но в этой тьме еврейской душе безопасно. Ей тепло. Мир тесен, ограничен, связан со страданиями, — пишет Солженицын. — Но все же это целостный мир.

Добавлю: это мир еврейский.

Освобождаясь из темницы кагала, душа выходит на мировое поприще и оказывается перед дилеммой, которая шире и глубже любого кагальского принуждения. Евреи должны решиться перестать быть евреями.

Невозможно справиться с тем разрывающим притяжением, которое рвет душу с двух сторон.

Все «нелогичное» метание евреев — к земле и от земли... или: отказ идти в русские школы, когда их туда зовут (а они в ответ: «гимназический мундир — знак богоотступничества»), а потом — страстное стремление в русскую высшую школу, когда им ставят барьер процентной нормы (а они правдами и неправдами проникают), — это ведь все то же двоение души. Когда разрываешься между ассимиляцией, открывающей тебе мировой горизонт, и затвором, не открывающим тебе ничего, кроме факта «еврейства», а чем оно, это «еврейство», заключается, попробуй еще пойми хоть извне, хоть «изнутри бездны».

Для тех, кто оставался в России, ассимиляция — разумный и реальный путь. Солженицын вспоминает, что ассимилятором был Ленин. Добавлю, что ассимилятором был и Пастернак; фраза «Не собирайтесь в кучу!» из романа «Доктор Живаго» поразила меня когда-то точным соответствием состоянию и моей раздвоенной на две «половинки» души. Мне было проще: русской «половинкой» я уже был как бы прирожден общей почве. Но каково вживаться в русскость «чистому» еврею, если должен происходить такой самоотказ! Если психика расслаивается... И какова должна быть встречная, «изнутри души», реакция на это состояние! Троцкий орал соплеменникам, что он не еврей, — да в этом крике, в самом этом самоопределении: нееврей — больше еврейства, чем во всей Торе! Люди, читавшие Горенштейна, могли почувствовать, что это такое: когда еврей, искренне обрусевший, испытывает вечный страх, что его разоблачат.

Этот страх — так ли беспочвен?

Попробую это объяснить с помощью Петра Струве, которого Солженицын обильно и сочувственно цитирует:

«Национальность есть нечто гораздо более несомненное [чем раса, цвет кожи] и в то же время тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания, и для того, чтобы осознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, не к генеалогическим разысканиям. Они живут и трепещут в душе».

Струве понял это за целую эпоху до того, как вопрос стал окрашиваться кровью.

Кровь может облегчать или затруднять осознание человеком своей национальности, особенно если это написано у него на лбу цветом кожи или зарублено на носу вырубкой этого чертова носа. Но решает все-таки акция духа. Извините, повторю каламбур: решает решение. «Нация — непрерывный плебисцит», — сказал испанец Ортега; еврей Бен-Гурион подтвердил со своей стороны: «Еврей это тот, кто называет себя евреем».

Между этими сторонами и распята личность.

Можно выставить свое родословие. Можно выучить язык. Первое «неотменимо». Второе трудно. Кажется, что самое легкое — сказать себе: я такой-то.

Так вот, это «самое легкое» оказывается самым тяжелым. Ты берешь на себя обет определенного поведения. Но ты не хочешь притворяться. Чтобы стать Павлом, ты убиваешь в себе Савла. И этого ожидают от тебя, ищут в тебе другие: искреннего перерождения. Разумеется, всегда могут найтись антропометристы из ведомства Розенберга или добровольные спецы из нашенского особого отдела, — но «праздной толпе» на улице совершенно наплевать на обмеры и анкеты, она чувствует все нутром, печенкой, шкурой. И если перед толпой человек, который не до конца выдал из себя «еврея», особенно если он молча кричит себе, что он «нееврей» (а в этом случае комплекс еще и острее), — такую раздвоенность духа без всяких анкет шкурой учует самый необразованный охотнорядец, и понятно, в кого полетит камень, который подвернется под руку его томящемуся от распирающей энергии отпрыску.

Перечитайте же Горенштейна — он это очень хорошо прочувствовал.

А теперь несколько формул из книги Солженицына.

«Еврей стремится к получению всех гражданских прав при сохранении своей обособленности и спаянности».

«Оставаясь евреем, жить общечеловеческой жизнью...»

«Добиваться равенства, но без утери еврейства...»

«Приобщаясь к общей культуре, сохранять свой национальный духовный облик...»

«Играть в русской культуре такую роль (как никто)... оставаясь евреями...»

Быть тем, оставаясь этим? Квадратура круга.

Подождите, но ведь любой народ, включаясь в хор мировой культуры, сохраняет свой голос, — иначе и хора нет.

Да, но «голос» не может звучать в безвоздушном пространстве. Опора нужна, почва! Проблема снимается, когда есть место, к которому можно прирасти. Проблема решается, когда есть алия. И не в Анголу-Уганду, Аргентину или Штаты, где еврею предстоит повиснуть в той же невесомости, а в Израиль, где возникает много других проблем, но не эта: еврей ты или нет.

Поэтому: тот, кто хочет быть евреем, — едет в Израиль. Тот, кто хочет быть русским, — остается в России.

Тут мне возражают русские евреи (то есть не желающие ни уехать, ни ассимилироваться): мы не евреи, — говорят они, — но мы и не русские; мы особый народ: русские евреи.

Ох, не получится, родные мои. Для «особого народа» нужен территориальный компакт. Если же компакт будет какой-то другой (социальный, например, или профессиональный: евреи — это интеллектуалы, зубные врачи, кинематографисты, банкиры, физики-теоретики и т. д.) не избежать камней.

Нет почвы? — обрусевайте. Не во втором, так в третьем поколении. Кажется, чего плохого? — в великий народ вырастает, в великую культуру...

И опять наталкиваемся на подводный камень, из-за которого вся эта ассимиляция грозит обернуться симуляцией. Невозможно же забыть свои корни, предать предков, смириться с тем, что прапамять теряется навсегда.

Значит, хранить, сколько хватит сил. Хранить именно как память, а не как живой образ жизни и не как поведенческий код. Американцы помнят, кто из них английских кровей («Новая Англия»), кто — немецких (весь Средний Запад выстроен выходцами из Германии), кто ирландских. И это не мешает им быть американцами. Даже и цвет кожи — черный, желтый, красный (индейцы — самый тяжелый вариант ассимиляции), — даже и эти стороны в душе постепенно примиряются.

А русские? Поскреби русского — найдешь татарина, поскреби другого — он из угров, а уж славян и вовсе к единому племени не сведешь... И это не мешает нам быть русскими. Если не возникает «территориального компакта», то не будет и соблазна раскола, автономии, государственного отделения, при котором проблема вообще переходит в иную плоскость.

Но это уже опыт нынешний, рубежа Двадцать первого века. А отступите на столетие вглубь — какая «автономия» светит российскому еврею в 1901 году? Из теплой тьмы кагала он уже вывалился — прошлое потерял. В мировую культуру вроде бы вписался, но по какому-то странному разряду: космополитическому, межнациональному, безнациональному, псевдо-национальному. Интер-национальному.

Куда ему деться от ощущения бездны под ногами?

Шесть путей перечисляет Солженицын.

Первое: сохранение в кагальском затворе. — Было. Лопнуло. Не путь.

Второе: ассимиляция. — Тоже не идет. Лопается на глазах. Камни летят.

Третье: автономия в составе России. — Где? В Жмеринке? В Одессе пополам с греками? А может, в Крыму? Ну, за эту идею они еще расплатятся.

Четвертое: эмиграция. — Куда? В Анголу-Уганду?

Пятое: сионизм. — Вот это дело. Только лорд Бальфур должен еще с турками этот вопрос увязать. Через полвека реализуется. Но не раньше.

Шестое: революция...

В русской революции евреи так же пламенно-беспочвенны, как и русская интеллигенция, в сущности заменившая в их сознании русский народ. И, подобно русской интеллигенции, в ходе русской революции еврейство горит голубым огнем. Да еще, в отличие от русской интеллигенции, успевают евреи услышать, что они, с их склонностью к организационным, а не кулачно-мускульным усилиям, — никакие не герои, не мученики, не жертвы революции, а — маклеры ее. После чего опыт можно считать законченным.

То-то они и не живут долго, эти евреи-революционеры. Самоубийц много. И где? В безопасности, уже вне зоны риска. Уехал из России — застрелился. Весь путь — сплошные браунинги, бомбы и мины.

Но это уже материализация духовного подрыва. Вакуум цели убивает душу. Утеря Замысла. Ни в прошлом, ни в будущем нет опоры.

Свеча горит с двух сторон.

6. Финал. Урок

До финала вроде бы еще далеко, еще целый том нужен Солженицыну, чтобы дорассказать вторую половину русско-еврейского сюжета, однако брезжит развязка уже теперь, на переломе от века Девятнадцатого к веку Двадцатому (если брать, по Ахматовой, «не календарный — настоящий Двадцатый век»). Брезжит — в том, как отхлынуло русские еврейство от революционности 1905 года к патриотизму 1914-го. Брезжит — в общем ощущении неудачи революции не только русской, но — мировой, которую Россия хотела разжечь собственным самосожжением. Брезжит — в том, что сама ставка на самодостаточный человеческий разум, на идеально организованный социум и на нового человека, которого можно выковать, а ветхого — выдавить, — эта ставка оказывается битой, и евреи чувствуют это раньше многих, ибо, по справедливому наблюдению Солженицына, они умеют упредить Историю за полшага.

Не всегда, конечно. Развязка, наступившая в середине Двадцатого века, когда две социалистические державы сцепились в смертельной схватке, и случился-таки «мировой пожар», раздутый в человечестве вестниками мировой катастрофы, — оборачивается для евреев катастрофой реальной, печами Освенцима, холокостом.

На рубеже от Первой русской революции к Первой мировой войне это выглядит еще не так жутко, а просто как бы переключаются рули с «освободительного движения» к охранительному. И можно идти не на баррикады, а в Думу и там осваивать свои права (а там великодержавный остроумец, обедая жестом скамьи депутатов-евреев, острит на всю Россию: «Думская черта оседлости»! — и вся Россия, эта «лающая псарня», аплодирует удачной шутке.

Нет, не получается у евреев овладеть душой русского народа. «Еврей может стать россиянином первого разряда, но русским — только второго». Еврей говорит с той же думской трибуны: «Мы, учителя, врачи, адвокаты, статистики, литераторы... мы — враги культуры??» и слышит в ответ:

«Русской культуры, а не еврейской!» — реплика доносится «справа», то есть, уточняет Солженицын, с русской стороны.

Кажется, это фатально. За поворотом евреев от бунта к лояльности угадывается и другой, более глубокий поворот, всемирно-исторический, который чувствует быстрочувствующее русское еврейство: поворот от миражей уверенного высокоумия («учителя... адвокаты... литераторы...») к тихой, почвенной, приземленной, национально очерченной надежности.

На целый век рассчитан Историей этот поворот, но едва слышится первый скрип руля, — «духовная нация» осаживает полет.

Любопытный симптом. В 1915 году начинается массовое выселение евреев из прифронтовой полосы. То, что не удалось когда-то Николаю I, при Николае II начинает получаться: и Европа не возмущается, и евреи едут (тут-то пропадает, наконец, пропадом и треклятая черта оседлости, — замечает Солженицын). Однако одно обстоятельство, вроде бы попутно-техническое, поражает его. «Питательные пункты, летучие врачебные отряды, госпитали, амбулатории, приюты, консультации для матерей...» И все это сделано мгновенно возникшими еврейскими «комитетами», помогающими переселенцам. «Великолепная организованность!» — восклицает Солженицын.

Интересно, кто все это делает? Адвокаты? Литераторы? Думские златоусты? Нет, это самоорганизуется та «тихая» еврейская масса, которая оставалась «во тьме» местечек, в квадратуре кагала. Об этой стороне еврейской жизни во второй четверти славного двухсотлетия как-то забывали все внимание было отдано революверщикам и бомбистам, говорунам и борцам, адвокатам и литераторам. А между тем, еврейство, «забытое» в этнографическом отстое, — жило, выживало на окраинах России тысячелетними инстинктами. И в критический момент оно оказалось способно мгновенно подняться и из тихой, «косной» массы превратиться в народ. И в 1915-м. И еще через треть века, когда союзники по антигитлеровской коалиции вырвали у Сталина обещание вернуть в Польшу застрявших в Советском Союзе поляков, и Сталин отмахнул органам: найти и отправить! — тогда под видом поляков были эвакуированы на Запад тысячи людей из местечек, стремительно погруженные в эшелоны. Эту операцию, проведенную «под носом у КГБ», мало кто знает в России, зато ее хорошо помнят на Брайтон-бич дети и внуки тех спасенных евреев.

Что же тогда спало? Тысячелетняя «кагальская» дисциплина? Ребе сказал: «Надо ехать!»

Так из-под блеска еврейства мирового, воздушного, громогласного проглядывает еврейство почвенное. И высвечивается феномен «избранного народа» с двух сторон. И каждая сторона получает жизненный урок.

«Роль маленького, но энергичного еврейского народа в протяжной и раскидистой мировой истории — несомненна, сильна, настойчива и даже звонка. В том числе и в русской истории. Однако она остаётся — исторической загадкой для всех нас.

И для евреев тоже...»

Следующую, заключительную фразу солженицынского пассажи: «Эта странная миссия — отнюдь не приносит и счастья им» — я комментировать

не буду. Не об их несчастьях речь сейчас, а о том, почему они несчастны у нас. О том, чему в результате двухсотлетнего опыта мы научились друг у друга.

Чему научились у нас евреи, о том пусть расскажут сами евреи, отъехавшие от нас «туда» (но не на Брайтон-бич, конечно, а в Израиль); там государство строили (и строят) люди с российскими корнями либо с российским опытом. Там они и называют себя — русскими. (Поневоле думаешь: в России мы им не дали стать русскими — так они все-таки русскими стали — там, на исторической родине).

Что же касается нашей исторической родины, то есть тому, чему должны бы научиться у евреев русские, — то на этот счет есть у Солженицына пронзительно-глубокий абзац, который я под занавес и приведу целиком.

Вопрос: не заговор ли жидо-масонский определил беды России за два века?

Ответ:

«Наши русские слабости — и определили печальную нашу историю, под уклон — от бессмыслицы никонианского раскола, жестоких петровских безумств и уродств, и через национальный обморок послепетровской чехарды, вековую трату русских сил на внешние, чужие задачи, столетнее зазнайство дворянства и бюрократическое костенение сквозь XIX век. Не посторонний заговор был, что мы покинули на-1таё крестьянство на вековое прозябание. Не посторонний заговор был, что величавый и жестокий Петербург подавлял тёплую малороссийскую культуру. Не посторонний за-;говор был, что по четыре министерства не могли рассудить, кому же из них принадлежит какое-нибудь дело, и годами, изморочно прокручивали его по четырём кругам, ещё в каждом от помощника столоначальника до министра. Не посторонний заговор был, что один за другим наши императоры не понимали темпа мирового развития и истинных требований времени. Сохранялись бы в нас духовная чистота и крепость, истекавшие когда-то от Сергия Радонежского, — не страшились бы мы никаких ни заговоров, ни разговоров».

Это моментальный снимок русской истории, пропущенный через фильтр «отсутствия еврейства». Расколы. Безумства скорых реформ и чехарда амбиций. Зазнайство и окостенение. Раздутая величавость и попушенное прозябание...

Высветите лакуны, восполните портрет с «другой стороны». И почувствуйте, чему моет научиться великий русский народ у «маленького слитного племени», и зачем великий русский писатель потрудился рассмотреть двести лет нашей истории с двух сторон.

...БЕЛОРУСЫ

ПОСЛАНИЕ К БЕЛОРУСАМ

в ответ на анкету журнала «Неман»

Дорогие соотечественники!

Знаю, что в атмосфере охватившего нас всех суверенитетного неистовства это обращение может показаться рискованным. Если не издевательским. И все-таки называю вас соотечественниками. А почему надеюсь, станет ясно из моих ответов на Ваши вопросы.

На все девять пунктов отвечать подробно не буду. Подробно — только на один. Дело в том, что этот один, ключевой, главный, базисный пункт — таков, что из его трактовки следует все остальное.

Этот главный Ваш вопрос такой:

«Ты царь, живи один...»

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...»

Какая позиция Вам ближе?

Отвечаю: обе. Обе одновременно. И ни одна отдельно. И ни одна — сама по себе.

Это тоже может показаться издевкой над здравым смыслом. Но это нормальная диалектика. Просто люди от нее отвыкли.

Сейчас я попробую объяснить все это, только сначала возьмем необходимые поправки на «терминологию». Она тут, конечно, поэтическая. С «царем» ясно: метафора; можно даже думать, что имеется в виду «царь в голове». А вот «гражданина» надо уточнить: это слово из некрасовского словаря, оно испещрено следами великих драк со времени Великих Реформ и вовсе не покрывает всего таящегося в нем смысла, хотя и в ситуации XIX века этот смысл бесспорно затрагивает. Но, скажем, полутысячелетием раньше, в эпоху борьбы с «орденом», с «латинством», а то и с «поганством», когда вселенная для «поэта» собиралась под «хоругвями», — не находите ли Вы, что тогда поэт сказал бы: «но православным быть обязан»? А в наше время, когда человеческий потенциал ищет себе не конфессиональных и не классово-социальных, а национальных санкций, — не будет ли естественно для Вас переиначить некрасовскую строку так: «поэтом можешь ты не быть, но белорусом быть обязан»?

Ну, вот, а теперь попробую распутать этот узел. Да, я живу один, но лишь при том условии, что меня затаскивают в «ряды», вербуют в «колонны», волокут в «единство». В ответ на простирающиеся ко мне «цепкие объятья эпохи» я — свободен, я тайно, неуловимо, неподсудно, неистребимо, нахально и яростно одинок.

Но в тот момент, когда в моей жизни эта свобода реализуется, я чувствую, что сама по себе она мне решительно не нужна, и тогда я вольно (только так, только по своей воле, только из ощущения внутренней

свободы!) отрекаюсь, отказываюсь от нее: жертвую ее тому делу, которое ждет моей помощи и которое наполняет мою личность. И тогда я обязан быть гражданином (или так: быть православным; или: быть русским и т. д.).

Тонкость в том, что эти состояния отнюдь не «чередуются» и не «сменяют» одно другое, они сосуществуют, они «стерегут» друг друга, они должны быть реальны оба разом. Тут работает диалектика мгновенной компенсации, а не последовательного накопления. Личность вообще не «накапливается», она «выявляется». Этот вопрос хорошо разработан в русской идеалистической философии: нет такой стадии, на которой человек может «доразвиться» до того, что получит право сказать себе: я — личность. Сказать о себе так — значит встать на грань самопародии и профанации. Между тем, в тот момент, когда личность даже и впервые сознает себя, она уже реализована — в известном смысле абсолютно. Но — только на мгновение, только на это мгновение, а дальше, в новое мгновение все начинается как бы с нуля. Поэтому сколько бы ни «накапливал» индивид «личностных черт», — как личность он никогда не будет и не может быть реализован окончательно, то есть в известном же смысле не может быть реализован абсолютно. Это именно переживание свободы выбора, которая нужна не сама по себе, а непременно «для» чего-то. Но именно для этого бесконечно меняющегося «чего-то» она одновременно нужна и сама по себе: сама — себе.

Я понимаю, что Вы пригласили меня участвовать в этом разговоре не ради общеполитических рацеей. Вас волнует национальное начало. Меня тоже.

Само по себе?

Нет. И да.

Не само по себе — потому что едва национальное начало «реализуется», оно отвердевает, деревенеет.

Но и само по себе: потому что оно никогда не реализуется окончательно и, значит, всегда сохраняет в себе самом момент свободы от «одеревенения».

Пока национальное — импульс пробуждающейся личности, почва ее и арсенал, — да: оно для меня неоспоримо.

Но в тот момент, когда оно — рефлекс удерживающей себя структуры, нет: оно уже относительно. Переход мгновенен, почти неуловим. Тут вся надежда на чутье. И на ожидание ответной чуткости.

В тот момент, когда литовцы или белорусы говорят мне, что они литовцы или белорусы, они тем самым говорят мне, что я — русский.

Хорошо, я принимаю это условие.

Был ли я русским до этого? Был. Было ли это важно мне само по себе? Нет. Только — как знак выявления личностного начала, только как адрес естественной любви, только как упор для сопротивления казенной полировке, безличной унификации. Но как только этот национально-личностный момент во мне реализуется, — в это мгновение уже действует и рефлекс отталкивания от той новой пошлости и тупости, какая готова скопиться под национальными эмблемами, как до того она

скапливалась под эмблемами имперскими, классовыми и конфессиональными.

Вот Вам и вся диалектика. Двадцать долгих лет Застоя я только тем и занимался, что выявлял в «общественном монолите», в «новой исторической общности людей» национальные лица, а теперь, когда эти лица грозят стать личинами, хоругвями для собирания людей в новые когорты и толпы, — я теряю к ним интерес и начинаю искать человеческие лица — под этими личинами.

Еще одна аналогия, из «соседней» области. Кто мне «ближе»: аристократы или демократы?

Ответил бы так: мне ближе позиция аристократа в стане демократов и демократа в стане аристократов. Аристократ, пленительный сам по себе, становится невыносимым «вырожденцем» в куче себе подобных, так что хочется демократически вернуть его к «низкой реальности». Но нет ничего грубее и пошлее собравшихся в кучу демократов; этой куче хочется ответить аристократизмом, реагируя вполне эстетски на демократическую «простоту нравов».

Поэтому мне ни разу не пришло в голову участвовать в движении русской «Памяти»; поэтому же я не хожу защищать Россию на митинги всяческих партий и вообще стараюсь не касаться этой проблематики, если она приобретает площадной характер. Национальное так же интимно для меня, как личностное; это — имя божества, это — любовь, это — пароль моего внутреннего состояния, и никакие когорты, партийные ряды и движения тут для меня невозможны, а поэтому никакие их успехи меня не убеждают.

Ответы на все другие Ваши вопросы вытекают из этой позиции.

Я никак не оцениваю положение Белоруссии в нынешней политической ситуации, потому что Белоруссия, как я чувствую, хочет выйти из «моей» политической ситуации.

Я никак не отношусь к современному белорусскому Возрождению, потому что оно — подчеркнуто белорусское, а я тем самым осажен в русскость.

Я знаю имена и произведения белорусской литературы последних лет, но отношения к ним не вырабатывал; раз они для себя тутэйшие, то для меня, стало быть, — тамошние. Я занимался Адамовичем, Козько и Быковым, потому что видел в них инобитие моей собственной драмы, но мне трудно вживаться в опыт, в котором моя драма изживается. Я любил и люблю белорусов как собратьев по нашей великой общей драме и я еще не научился относиться к ним как к чему-то отдельному.

Соответственно — и прочие параметры отделения, отдельности и отделенности.

Мне не важно, существовал или не существовал андеграунд. Мне не важно, уехал или не уехал писатель в эмиграцию. Это все подробности литературного быта, интересные лишь до тех пор, пока они мешают личности выявиться (и тем самым помогают ей выявиться). Личность может реализоваться по любую сторону границы и по любую сторону «граунда».

Бездарности и ничтожности столько же в андеграунде, сколько и в... аутграунде? апперграунде? юберграунде? — где хотите. Я пишу об эмигрантах точно так же, как об оставшихся дома, — игнорируя эмигрантство, диссидентство и прочие заслуги. И тем более игнорируя, что теперь прежние мучения предъявляются как билет в рай.

Нет никакого отдельного «русскоязычного» союзного читателя; «русскоязычным» можно считать всякого, кто способен прочесть по-русски Солженицына, Шолохова, Гроссмана и Купалу. А также, если хочет и может, Гомера, Сервантеса, Гарсиа Маркеса и Кафку. Не хочет — не читает. Объективное представление о белорусской литературе у этих миллионов читающих по-русски людей зависит от того, сколько общечеловечески интересного будет написано белорусскими писателями. Никакой «отдельно белорусской» рубрики не будет, как и русской. Появляется Чехов — мир узнает, что существует «русская литература». Появляется Быков — мир узнает, что он белорус. Даже когда он пишет по-русски.

Один ваш вопрос заставил меня внутренне улыбнуться: возможен ли возврат к «жизни по лжи»?

Во-первых, «по лжи» мы никогда не жили, а жили по определенному общественному договору, по правилам игры. Во-вторых, «по лжи» мы и сейчас живем, только по другой «лжи», по другому общественному договору. Личность реализуется в любой системе, она вольна в любой лжи разглядеть правду этой лжи, ибо никакая ложь не существует без того, что народ согласен ее терпеть, а это уже объективный факт, то есть правда.

А что я лукавил, когда писал свои статьи в так называемые периоды «жизни по лжи», так я и сейчас лукавлю.

Есть такой вид лукавства — ради того, чтобы сказать правду. Правда страшна, человеку ее трудно выдержать. Трудно сказать людям и себе правду. Вот и делаешь вид, будто лжешь, бреешь и играешь, вот и валяешь дурака, и играешь роль, но ведь правила игры люди знают! Это общепринятый язык, на котором можно выяснять истину или заблуждаться. Это именно правила игры, реальность, не знающая отмены ни в одну эпоху.

Так что если завтра будет то же, что сегодня, — приму как неизбежность. Исчезнет литература, отменится этот способ духовного постижения и общения — исчезну и я. Найдутся другие формы. Реальность-то останется. Могут исчезнуть старые границы, старые названия, старые деньги, но люди-то останутся. При новых названиях, деньгах, границах.

Больше скажу: у меня такое чувство, что чем яростнее и бесповоротнее дробится наша реальность НА УРОВНЕ ПОЧВЫ (осточертели друг другу «мигранты», «оккупанты», «русскоязычные», «иноязычные», вообще все — всем: шахтеры — металлургам, фермеры — колхозникам, приезжие — местным, «провинциальные» — «столичным» и т. д.) — то есть чем сильнее разворачивается суверенитетное неистовство, разожженное интеллигенцией в ответ на смутную жажду земли и людей дробиться, в ответ на яростное желание людей восстановить любой ценой свое достоинство, чем глубже уходят эти расколы и трещины в толщу народа, порождая кровавые столкновения и амбициозные противостояния, — тем

сильнее чувствует та же самая интеллигенция в республиках — жажду сохранить связи, удержать духовные контакты, ощутить общечеловеческие ценности, испытываемые сейчас на изломе в национальном своебесии.

Поэтому мне так тепло, дорогие друзья, когда через все бывшие и будущие границы вы присылаете мне свои вопросы.

Поэтому, отложив все, я немедленно вам отвечаю, хотя не занимаюсь специально ни белорусским андеграундом, ни белорусской эмиграцией, ни белорусским Возрождением.

Поэтому от набережных Москвы я обращаюсь к Вам, живущим на берегах Немана, так, как это естественно для моей души: дорогие соотечественники!

ПОДЗАТЫЛЬНИК КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПРОГРЕССА

Я пишу этот комментарий весной 1997 года, не загадывая, что будет к лету или осени. Североатлантический союз движется к российским границам и в ответ на наши протесты вежливо отвечает, что вопрос «уже решен» и обсуждению не подлежит. Попытки же России воссоединиться с Белоруссией и не дать сомкнуться на евразийской шее «черноморско-балтийскому» ошейнику вызывают яростное сопротивление уже с другого боку: со стороны московских и минских либералов. Может, ко времени, когда мой комментарий попадет к читателям, НАТО развернется и потопает обратно к Атлантике? Или нравы либералов переменятся? Сомнительно. Долгодействующие факторы, крепкие нравы...

Поэтому две статьи, которые мне хочется откомментировать, — статьи, появившиеся весной в одном и том же выпуске «Московских новостей» (№ 14), вряд ли постареют.

Автор одной из них — Станислав Шушкевич. Профессор, как он скромно подписался в газете. Мы однако помним, что этот профессор в тройке беловежских богатырей сокрушил Российскую империю в самом лютom ее, советском варианте.

Автор другой статьи — Джульетто Кьеца, шеф-корреспондент московского бюро итальянской газеты «Ла Stampa». Советского Союза он не сокрушал, но законы его существования выучил хорошо. Еще лучше выучил законы существования Североатлантического союза. Чем в данном случае и интересен.

Первое слово — профессору.

«Я удивляюсь, сколь аморальны многие российские демократы или, точнее, бывшие демократы, позиция которых абсолютно откровенна — допустим, там все провалится, в этой Белоруссии, пусть там будет какой угодно президент, пусть добьют экономику, пусть выбросят конституцию и глушат дубинками несогласных, лишь бы не ушла от нас, как Украина. Имперщина крепко засела в мозгах российских политиков самого разного толка, хотя, на мой взгляд, это не отвечает мироощущению самого российского народа — он уже избавился от имперского комплекса.

Нынешняя позиция Москвы рано или поздно приведет к тому, что Белоруссия действительно пойдет своим путем...»

Я, по терминологии профессора, — типичный аморальный российский демократ, или, если угодно, бывший демократ. Моя позиция абсолютно откровенна. Союз России и Белоруссии — ценность настолько важная, фундаментальная, геополитически незаменимая и духовно-живительная для обоих наших государств и народов, что никакие «президенты», «конституции» и даже «дубинки» ее в моем сознании не перевесят. Это просто несравнимые уровни: общее культурно-историческое пространство, сложившееся на протяжении тысячи лет, — и комбинации политиков, иной раз не видящих дальше своего кресла.

Разумеется, я исхожу из того ощущения и убеждения, что этого союза хотят, извиняюсь за высокопарность, «народы». И, разумеется, если Белоруссия действительно захочет пойти «своим путем», — пусть идет. Как Украина. Только понять бы, КТО этого хочет. Белорусы? Или этого хочет профессор, который считает, что «результаты референдума, проведенного в течение трех недель специально назначенными Лукашенко людьми, — это государственная ложь», и который «располагает иными данными нефальсифицированными»? Я, конечно, не могу проверить, чьи данные лучше отражают мнение белорусов, но когда я вижу на экране телевизора людей, орущих на минских улицах «Долой Луку-урода!» (и показывают их московские телеведущие, надеющиеся пробудить во мне солидарность с орущими), я думаю: это что, и есть демократия? В нашей истории похожие демократы ходили по улицам и орали весь 1917 год; какая из этого крика вышла «конституция», известно.

Но я, кажется, вторгаюсь во внутренние дела другого государства. Боже упаси. Профессор же ясно говорит: Белоруссия — одно, а Россия — другое. И даже так: Белоруссия без России проживет.

«Это миф, что Белоруссии без России не выжить. Придется отказаться от комплекса промышленного гиганта, чтобы вписаться в европейскую структуру разделения труда, переключившись на развитие сферы услуг, разумное использование своей земли — а по ее запасам на душу населения мы впятеро богаче немцев».

Лучше бы сказать: не по «запасам земли» на душу населения белорусы «богаче немцев», — а населения у белорусов меньше, чем должно быть и чем могло бы быть по «запасам земли». Может быть, профессор помнит, почему это произошло с белорусами, какая судьба была им уготована в немецком рейхе и кто истребил в Белоруссии каждого четвертого? Может, профессор также припомнит, какую роль в той драме сыграла наша русская имперщина?

Впрочем, недавно я услышал от одного человека (не от белоруса, правда, — от жителя Украины), что, мол, это провокация Москвы привела к тому, что немцы сожгли Хатынь и перебили жителей; немцы всего только ответили на партизанскую войну, которую белорусам навязали русские.

Интересно, с этим профессор тоже согласится? Не исключено. Для него что немецкая оккупация, что российская интеграция... Оккупация даже

легче: «Пережившим оккупацию интеграция не страшна». «Переживут». То есть, проживут без России.

Каким образом?

А впишутся в «европейскую структуру разделения труда». То есть в «сферу услуг».

Ну, что ж, арийское нашествие это именно и имело целью: переключить славян и прочих недочеловеков на «сферу услуг». Еще бы их и теперь не переключить, когда сами напрашиваются. Среди наших «российских демократов» даже и такое мнение ходит, что Гитлер, пофарту ему включить нас в сферу таких «услуг», накормил бы нас, дураков, баварской колбасой.

Накормил бы. Тех, кого в живых оставил. Боюсь только, что уважаемый профессор вряд ли попал бы в их число. А если и попал бы, то вряд ли смог бы заняться наукой и политикой. Скорее всего он и в школу бы не успел пойти, а вылетел бы в трубу крематория. Как вылетел бы и я, его ровесник.

Теперь насчет «мироощущения самого российского народа», который, по имеющимся у профессора данным, «уже избавился от имперского комплекса». Поскольку референдума на этот счет у нас не было, да профессор референдумам и не доверяет, — обопрись на две такие эфемерности, как логика и интуиция.

Имперщина, уважаемый профессор, это не объединение «по национальному признаку», как пишете вы, уличая авторов российско-белорусского проекта в том, что они намерены строить «славянское государство». То, что оно славянское, это частичная данность, это лишь окраска, и делать из нее цель — значит профанировать сверхзадачу. Логика империи — не национальная, а сверхнациональная, геополитическая. И в данном случае — не славянская, а славяно-тюркская. Евразийская. Продиктованная не национальными амбициями, сколько бы о них ни орали на улицах, а мировым раскладом сил. Точно так же, как мировым раскладом сил был продиктован Европейский Союз, в котором французам пришлось смириться с нарастающей гегемонией немцев (что будет в наступившем веке, легко экстраполировать). Точно так же, как раскладом сил было продиктовано то, что англичане и американцы сцепили мост над океаном прежде всего в противовес немцам, а когда с океана пришлось сойти на Евразийский континент, а справиться с гигантской сухопутной немецкой армией оказалось не по силам, — втянули в драку и Россию, то есть СССР, то есть наших с вами отцов.

Еще чудом из той драки выскользнули пиренейские «метрополии» и не запылала Латинская Америка. А то ведь начинался-то XX век у них там, на Западе, помните, с какой войны? С испано-американской. Но это я к слову, вернее, к тому «делу», какое может случиться в непредставимом будущем: бывает, что история оставляет такие клеммы «про запас», и если вдруг замкнет...

Так вот я и спрашиваю: по логике вещей какие «комплексы» должен сохранять «российский народ», периодически втягиваемый в глобальные драки?

Профессор может ответить, что мои опасения недоказуемы. То есть все эти расклады (в том числе и на грядущий век — исходя из опыта века уходящего) — не более, чем разгул интуиции и ничем подтверждены быть не могут.

Правильно, чистейшая интуиция. И подтверждается — интуицией же человека, видящего реальность «с того берега».

Джюльетто Кьеза. Статья называется «Экспансия „империи Добра“». Уловили игру слов? «Империя Добра» — это то, что противостояло и противостоит «Империи Зла». А империя Зла — это мы с вами, читатель. Это та самая империя, которой панически боится минский профессор, ее в Беловежье сокрушивший.

Итак, сокрушили они Империю Зла, после чего Империя Добра, то есть Организация Северо-Атлантического Договора из «оборонительной» вдруг превратилась в наступательную и двинулась к границам России.

— Как же так? — спрашивает Джюльетто Кьеза, мысленно ставя себя на место российских «имперских демократов» (и рассуждая, между прочим, с точки зрения «нормальных человеческих ценностей», столь излюбленных минским профессором). — Разве Запад не обещал принять Россию в свои объятия как часть цивилизованного мира? Разве Россия не исполнила то, что от нее требовалось? Разве она не позволила разрушить берлинскую стену, не ушла из Центральной Европы, не отпустила на все четыре стороны республики, стонавшие под ее «невыносимым гнетом»? Разве она не растоптала Сталина, не вознесла Ельцина, не отменила социализм, не отпустила цены, не обуздала инфляцию, не последовала рекомендациям Международного валютного фонда? Разве она не ввела такую свободу слова и жеста, что на экранах домашних телевизоров обзывают президента уродом — и ничего? Она же все это сделала за что же вы ее обкладываете?

А это в цивилизованном мире — в порядке вещей, объясняет Кьеза...

«Да что мне Кьеза? — может ответить профессор Шушкевич. — У меня своя точка зрения».

Правильно. Я и не навязываю. Я сопоставляю. И читателя призываю всего лишь сопоставить тексты. Текст минского профессора о том, как он будет вписываться в «европейскую структуру». И текст итальянского эксперта о том, какова эта структура.

«Все вокруг вам улыбаются, все клянутся в дружбе и заверяют, что думают только о вашем благополучии. Но стоит вам отвернуться, как вы тут же получаете подзатыльник».

Тут наши бывшие братья скажут: а поделом! Кому подзатыльники-то достаются? «Империи Зла»! Кто их раздает? «Империя Добра»!

— Но Добро, которое тоже представляет собой империю, очень придирчиво. Оно, как гольф-клуб, предназначено только для элиты. Оно само решает, кого принимать, а кого нет. И у него есть интересы, которые надо защищать. Что Добро и делает с максимальной решительностью, несмотря на то, что ему больше не угрожает никакая «империя Зла».

Вы понимаете, что это значит? Им же совершенно неважно, какая Россия: царская, большевистская, реформаторская; Ельцин там во главе,

Горбачев, Брежнев или Сталин; какая там команда оседлала Кремль: минская, днепропетровская, уральская или питерская, — они все равно считают нас варварами и будут обкладывать, как дикого медведя.

Что прикажете делать, если обкладывают? Если малейшая попытка прорвать кольцо облавы вызывает вопли о том, что русские восстанавливают империю? Если наши демократы, настоящие и бывшие, ничего так не боятся, как того, что призрак коммунизма очередной раз забредет к нам из Европы... впрочем, на сей раз про Европу они помалкивают.

Позвольте же очередной раз побеседовать с призраком.

Представьте себе полную реставрацию Советского Союза... ну, в порядке бреда. Предположим, что все четырнадцать отделившихся государств (или там больше — с Чечней) вдруг захотят восстановить империю и — по готовым меркам — сошьют все это заново: ЦК КПСС, СССР, СЭВ и т. д. Вы думаете, что получится прежнее государство?

Да никогда! «Человеческий материал» — совершенно другой. Ситуация другая. Наполнение слов совершенно другое. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Разве что воспроизвести клонированием мир столетней давности.

Вот в этом фантастическом случае — империя и восстанет в старом виде. Если нас начнут стирать с лица земли. Как в 1941-м.

Возможно ли такое?

Не знаю. От многого зависит. От расклада сил. От комбинации миров в XXI веке. Вот мир тюрко-исламский. Вот мир европейский, то есть в потенции — германоцентристский. И между ними — мы, Россия. Тысячу лет росшая меж этими берегами. И жерновом. Мост. И — спасение от жерновов.

Если продолжится жизнь мирная, — это же самое западно-восточное средостение и будет держать нас с обоих концов, питая «загадочную» русскую всеотзывчивость, духовную скрепу Евразии.

Если же будут обкладывать, душить, рвать на части, — то кто возглавит «имперщину», не так уж важно: белорус Лукашенко, грузин Джугашвили, еврей Бронштейн или татарин Чет; кто жестче, тот и возглавит, лишь бы отбиться.

Отобьемся — и спасенные дети опять проклянут «тоталитаризм», «социализм», «имперщину».

А не отобьемся — затравят, затопчут медведя; тогда лисы и зайчики найдут себе ниши в новой «сфере услуг» и скажут: вовремя мы разбежались.

Одного подзатыльника и хватило — все поняли.

...УКРАИНЦЫ

ГДЕ ТОНКО, ТАМ РВЕТСЯ

Если бы статья Александра Боргардта «Тонкий и толстый» попалась мне в украинской печати, я не решился бы ее комментировать: отношение к заграничной прессе — дело тонкое, щепетильное; в конце концов, что считают нужным, то и пишут, лучше не лезть. Но статья опубликована в московском журнале «Век XX и мир», она обращена прямо к нам с вами, так что у нас с вами есть причина ее оценить.

Общая идея статьи: «нет ничего более несовместимого», чем российский империализм (только что сбросивший маску интернационализма) и украинский национализм, «столетиями отстаивавший свой дом и свою работу». Они несовместимы, как несовместимы «толстый и тонкий». Ибо у толстых, то есть у русских, в отличие от украинцев, нет и не было ни дома, ни работы: они с самого начала разменяли национальное бытие на имперское, ворованное. «Гигантское сборище людей без нации, без культуры, без разума, не желающих и пальцем шевельнуть друг ради друга», — это мы с вами.

Разумеется, опровергать такие определения я не буду, они теперь в ширпотребе; но интересны психологические послылы, оттенки, оговорки, издержки темперамента, которые куда больше говорят о ситуации, чем ширпотребные идеи. И потом, надо же как-то жить дальше, искать точки для диалога. По-человечески.

Тебе говорят:

«Россия брала культурные достижения отовсюду, где плохо лежало».

Да, брала. Но почему «плохо лежало»? Если я прочел Котляревского так это оттого, что он «плохо лежал»? Котляревский прочел Вергилия — тоже потому, что тот «плохо лежал»? Что где как лежит — это вопрос хранения, а дух дышит где хочет и берет что может. Тут нечего одно к другому примешивать.

Теперь насчет того, что у русских своей земли нет: вся краденая.

«...Найти бы эту „русскую землю“ — все реки которой, от первой до последней, носят почему-то финские названия...»

А финские названия — они что, от сотворения мира? Или, может быть, здесь и до финнов кто-то жил, на берегах рек? И названия какие-то были?

Тут-то и вступает в дело главный аргумент А. Боргардта: про место. Место-то то же самое! Значит, нашенское.

«По месту действия многие истории „Эдды“ с самого начала принадлежат Украине...»

По «месту действия» — да. Ну и что из этого? Что, во времена «Эдды» была Украина?

А что, была!

«Когда вследствие войны в Украине 375 года между гуннами левого берега (Днестра) и балтами и готами правого — победили первые, образовалось большое количество беженцев... Под началом своего, выбранного уже в изгнании, кунинга и победный рев своих трембит они, впервые в истории в 410 году вошли в Рим и взяли с него гигантскую контрибуцию...»

Аларих — украинец? Не слабо. Знаете, что мне это напоминает? Рассуждения Алексея Югова о том, что Ахиллес был скиф, и даже тавроскиф, то есть русский. Буквально! Была такая статья у Югова, я читал ее в альманахе «Крым» году в пятидесятом. Видит бог — не держу никаких задних мыслей, поминая «Крым», — просто «место совпало», но ведь и логика совпадает: что у русского в 1950 году, что у украинца в 1992. Раз во времена оны что-то происходило в том месте, где мы сейчас живем, значит, это «наши». Если готы пришли в Европу с Днестра, значит, это ОТ НАС получили государственность датчане и шведы, норвежцы и исландцы, а «до некоторой степени» и британцы.

Тут не рискнешь и переспросить: а само слово «Украина» — откуда? Когда появилось в теперешнем значении? В 375 году? Или попозже? Украина край... чего? Тут тебе докажут, что это край степи, и что слово половецкое, степное, до всяких российских краев рожденное.

В принципе-то такие этимологические изыскания очень интересны, но хорошо, когда они не связаны со стремлением ущуть другого. А иначе и в благородство стремлений плохо верится.

Декларирует А. Боргардт вещи самые благородные:

«Мы, люди с Украины, с глубокой древности соединяли народы Европы и Азии...»

Замечательно. Но дальше:

«...а не разъединяли, как Россия».

Что любопытно: «люди с Украины» берут тут на вооружение именно традиционную русскую идею всесоединения людей, идею столько же русскую, впрочем, сколько и имперскую, вернее, русскую в той степени, в каком имперскую. Не боюсь этого слова, потому что империя, как хорошо знает А. Боргардт, — явление сверхнациональное, и строят ее «Разумовские и Кочубеи» в той же степени, как «Минихи и Остерманы», а также «Багратионы, Лорис-Меликяны (так у Боргарда, — Л. А.) и Аракчеевы (Ракчяны)».

Значит, поступавшая так Россия, — «разъединяла», а поступавшая так Украина — «соединяла».

Хорошо, переступим через «Россию». Если Украина хочет соединять народы, — это замечательно. Пусть она это сделает лучше нас. Даже на уровне лозунга — это сейчас очень важно. Сейчас ведь в ходу два лозунга, с помощью которых хотят себя укрепить суверенные государства. Два пути. Один, условно говоря, прибалтийский. Другой, условно же говоря, украинский.

Из Прибалтики слышно: Эстония — для эстонцев! Этнических! Остальные временные. Или изгнать сразу, или вытеснить постепенно.

На Украине говорят: все, живущие здесь — свои! Начнем с нуля: все граждане Украины. «По месту действия», как сказал бы А. Боргардт. Или, как сказал Л. Кравчук: пусть на Украине русскому будет лучше, чем в России, греку — лучше, чем в Греции, еврею лучше, чем в Израиле.

Надо ли говорить, что вторая концепция мне бесконечно ближе, чем первая! Тут я всецело на стороне Украины. Хотя готов понять и прибалтов, ужас которых перед угрозой полного национального стирания лица способен заставить их с каждого спрашивать родословную. Понимая их, я могу стерпеть их желание «стеной отделиться». Я только не понимаю, как за стенами-то дальше жить.

Вернемся в украинские «стены». Лозунги замечательные. Объединить всех, кого свела тут судьба. Нулевой вариант, юридически говоря. Или поэтически: «податься в козаки может каждый и не оставляя своей веры: хоть тот же поляк, хоть еврей...» Еврей, который подается в козаки и не оставляет при этом своей веры, это, конечно, штучка. Интересно, как с ним уживутся в Одессе. Или во Львове. Вообще, не находит ли А. Боргардт, что если вне национального начала культура вообще профанируется, а многонациональные государства неизбежно превращаются в сброд маргиналов и люмпенов, то «соединение народов» в месте, называемом Украиной, породит массу проблем? Тех самых, с которыми веками пыталась справиться Россия, и в ее составе — «Разумовские и Кочубеи». Остроумнее всего было бы назвать это проблемами козакующего еврея. Но не только, не только...

«Византийские церкви расписывали по преимуществу грузины и армяне...»

Это сказано как раз в подкрепление того, что и Византия, прообраз России, тоже присваивала все, что плохо лежит.

Так я хочу спросить: грузин, расписывающий византийскую церковь, — он только грузин или уже немножко и византиец? И если византиец, то в каком смысле: как «грек» или как «православный»? А Шота Руставели в иерусалимском монастыре — кто: уже монах-христианин или еще автор грузинского национального эпоса? А Гоголь...

Простите, Гоголя трогать опасно. Гоголь, как известно, продан на имперскую службу. Интересно: а на нежинской службе стал бы он Гоголем или остался бы Гоголем-Яновским?

А. Боргардт Гоголя не поминает. Это я добавляю — из других разговоров с братьями-украинцами. Но добавляю не случайно. Потому что статья А. Боргардта — ярчайшее (и талантливое) свидетельство того душевного распутья (если не тупика), на котором (перед которым) стоим мы все в нашем разводном безумии. Здравое-то говоря: что в империи, что вне империи — все равно в тяжком труде добывает человек свой хлеб и ценою всей жизни сохраняет лицо. Нет, империя заела. Раздолбали империю — а все равно: хочется, чтобы и люди были как люди, и чтоб народы «соединялись». Ну, хотя бы по «месту действия». По той причине, что на Украине происходят «многие истории Эдды».

А как насчет других мест?

Например, собирается в Киеве конгресс украинцев со всего мира... Помилуйте, зачем вам «весь мир»? Если узбеку, живущему в Киеве, должно житья лучше, чем в Ташкенте, то речь, стало быть, о том, как живется в Киеве, а не о том, как в Ташкенте. А если украинец, живущий в Ташкенте (в Торонто, Мельбурне, Москве, Петропавловске-на-Камчатке), все-таки украинец (а не канадец, австралиец или русский), — тогда вся логика другая. Тогда позвольте и киевлянину тюркского происхождения быть татариним и ездить в Казань причащаться. И не говорите, что Аларих был украинцем (как мы: что Ахиллес — русским).

Одним словом, пусть украинцы готовятся к русской судьбе. Я буду с ними очень солидарен.

Мне вдруг пришло в голову нечто испано-эстонское. Никто не удивится, если в Таллине соберется конгресс эстонцев со всего мира. Ну, а если в Мадриде решат собрать всех испанцев и черноволосые мухумаасцы, описанные Хинтом в «Береге ветров» (и происходящие, по преданию, от моряков разбившегося у эстонских берегов испанского судна), подхватятся и поедут в Мадрид в качестве испанцев, — это как? Это на суверенитет Эстонии сработает? Или на рейтинг испанской державы, которая, глядишь, еще и возродится в качестве мировой?

Горько мне шутить на эту тему. Больно мне читать статью А. Боргардта. Даже не из-за идей: идеи в принципе правильны, а по частностям поправимы. Нет, что-то обидно непоправимое — в тоне и в пафосе. Желание обрубить раз навсегда.

«К несчастью, история поставила рядом с Украиной северного соседа... Нет ничего более несовместимого... Поэтому пока что лучше всего — навеки отдельно... Чтоб ваше — ваше, а наше — наше...»

Ладно, проживем отдельно, раз так приспичило. Но зачем голос срывается в прощальном аккорде? «Пока что» и «навек» — это как-то плохо вяжется. Если по логике, конечно. Так тут не логика — тут запал. Потому и срывается голос. Как у певца на высокой ноте. Когда «тонкий» звук вдруг становится «толстым».

КРЫМСКИЕ ЗНАМЕНА

Что возникает в нашей ассоциативной памяти при словах «Крымская война»?

«— Вздор, — сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал: — Вперед, ребята! Ура-а!..»

Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости...»

Толстой. «Севастопольские рассказы». Диалектика души, впервые положенная на такой — смертельный материал. То, что мыслится отныне (с момента, когда Толстой это открыл) как продолжение русской «загадки».

И у Толстого, и у огромной массы его читателей эта диалектика, раздвинувшись до масштабов «Войны и мира», связалась в конце концов уже не с Севастополем 1855 года, а с Москвой 1812-го. Крымская же война отошла частью в сферу анекдота, где подхватил тему Лесков, вывернувший героики наизнанку и приравнявший героев к бесстыжим вора-интендантам, а также объяснивший наши неудачи тем, что англичане ружья кирпичом не чистили. Лесковские шуточки странным образом «легли» в образ события. И потому что хотелось шуткой прикрыть горечь все более осознаваемой неудачи, и еще потому, что самим этим «технологическим» подхватом Лесков уловил что-то, внутренне присущее памяти о той войне. Дело шло как бы и не о судьбе Отечества, а о том, «болтаются» или не «болтаются» пули в стволе. О том, что старый мушкет, переделанный в штуцер, не выдерживает боя против ружья, которое Клод-Этьен Минье научился переделывать в винтовку. О том, у кого оказалось больше «бомбических пушек».

Инженерные проблемы заслонили все. Два великих адмирала, Корнилов и Нахимов, остаются в народной памяти прежде всего как организаторы и «фортификаторы», они гибнут не в атаке, «со знаменем в руках», а — «на позициях», от шального ядра, в пяти шагах от спасительного брестера. Война — военно-технический экзамен, и главный в ней отличник — гений инженерии Тотлебен.

А Малахов курган? А триста пятьдесят дней обороны Севастополя? Да, вошло в легенды. Но тоже заслонено позднейшей, еще большей кровью. Штурмом Перекопа в 1920 году и последующей гибелью белого офицерства. Обороной Севастополя в Великую Отечественную войну. Сквозь эту кровь и эти слезы боль 1853–1856 годов кажется уже как бы и терпимой. Исторически — это бодрящая встряска. Демократическая русская мысль в свой час внесла свою лепту в понимание крымского поражения как благотворного шока, посланного судьбой России: чтобы опомнилась.

Она и опомнилась. И понеслась в Великие Реформы, сбросив оцепенение николаевской эпохи. На целый век хватило этого пороку: Крым разбудил. А там опять задремали в лучах описанного Петром Павленко «Счастья».

И только теперь, еще эпоху спустя, когда «роковой полуостров» опять оказался на скрещении двинувшихся этнопотоков, — давно прошедшая «Восточная война» переживается заново — как событие, прямо задевающее интересы минимум трех народов, считающих себя в Крыму «титульными».

Три публициста выдвигают аргументы в этом споре: татарин, украинец и русский. Слава богу, в журнале «Родина» эти аргументы опубликованы без смягчений, то есть со всеми проклятиями «преступной политике Российской империи и советского режима», с изобличением «беззастенчивой лжи», к которой прибегает «российская сторона», с издевками по поводу «старшего брата», «семьи народов» и даже «пролитой русской крови», — лучше уж эти яды выводить на поверхность, чем копить в глубине уязвленного сознания.

Один вопрос, очевидный в своей абсурдности, решается отрицательно сразу: чей Крым? Чья «историческая родина»?

Ничей. Ничья. Чья ни попадя. Всех по очереди. Если уж искать тех, кто пришел сюда «раньше всех», то надо скифов искать, да где их найдешь? Надо греков звать, а греки, в отличие от татар, русских и украинцев, хоть и живут в Крыму, однако на государственность не претендуют.

А ведь и до скифов-греков жили же люди на этом полуострове. Жили и ушли, а другие пришли. Все тут «пришлые». Или смешавшиеся с «пришлыми». Попробуйте в этом коктейле определить, кто «коренные». Мустафа Джемилев говорит: коренные — татары. Сергей Семанов говорит: Крым — коренной российский край. Владимир Коваленко говорит: земля — украинская, потому что украинцы начали отбивать ее у турок лет эдак за двести до москвитян.

«Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными», предупреждает Толстой.

Увы, все-таки — надо.

М. Джемилев аргументирует: «Попытки некоторых политиков рассматривать крымских татар лишь как потомков монголо-татарских завоевателей и на этом основании отрицать их право на самоопределение совершенно несостоятельны. С таким же успехом можно отказывать в этом праве мексиканцам, кубинцам, бразильцам... они потомки испанских или португальских завоевателей».

Отлично. Значит, все-таки крымские татары некоторое отношение к монгольским завоевателям имеют? Уже прогресс. Чаще слышишь: монгольские завоеватели — это одно, а мы, здешние жители, другое. Примем же такую формулу событий XIII века: «монголы» — предводители воинства, а воинство действительно жители. Тюрки. Пришли, поселились и стали жить-поживать. Крымский Юрт.

Полтысячелетия спустя явилась Екатерина II и присоединила Крым к российской короне. Это, говорит М. Джемилев, акт международного бандитизма. Правильно! Екатерина — бандитка не хуже монголов, которые привели в Крым татар.

Между прочим, Екатерина — немка. Это мелкое обстоятельство подтверждает идею М. Глобачева, что в Крыму сталкиваются «щупальца» империй, тянущихся сюда издалека. Разве ученица Дидро, перестраивающая Россию, в известном смысле — не агент «западной цивилизации»?

Но речь о Крыме. Итак, международные бандиты приводят сюда новых жителей. Те поселяются и начинают жить. Таврическая губерния. Почему татарам можно, а русским нет?

Разумеется, депортация татар в войну — варварство и чудовищная несправедливость. Но почему она произошла? Что, Сталин и Берия выселяли всех подряд? Нет, только тех, кого подозревали в сочувствии гитлеровцам. Было это сочувствие? Допустим, не было. Но попытки со стороны гитлеровцев вызвать это сочувствие — были? Были. И планы «очистить» Крым для немцев были. И были бы реализованы, одолей нас Германия. Тут не о правах и законах речь: тут все — сплошное бесправие и беззаконие. Война! Поэтому надо задуматься о тех геополитических причинах,

следствием которых становятся война и связанные с нею депортации. Если бы не «тевтонское нашествие», депортации бы не было.

Так если бы не предыдущее нашествие — война 1914–1918 годов, — не было бы и того, что С. Семанов называет засевшим в красной Москве «правительством осатанелых русофобов» со всеми его тюркскими экспериментами.

Это тоже неправда. Ни Ленин, ни его сподвижники не были русофобами, это были крутые российские государственники, только объяснялись они на том волапюке, который занесли в наши палестины опять-таки все с того же англо-франко-германского Запада: на марксистском. Главное же: они не имели сил от того же империалистического Запада отбиться; потому и пятились в Азию. И кемалистскую Турцию старались привлечь в союзники. Со всеми вытекающими последствиями. Достало сил — и повернула Советская власть на столь любезный С. Семанову путь русской национальной государственности. И сделал это Сталин, который при Ленине был вполне марксистским «русофобом».

По нашей новой терминологии все это сплошь бандиты. Вроде Чингисхана и Екатерины II. Кто же под их бандитскими знаменами сюда приходит? Жители. Поселяются и живут. Как тонко формулирует С. Семанов, «православное население в Крыму становится преобладающим. Крым делается русским». Это как же: сам собой делается? Или кто-то ему помогает?

В 1954 году он, как известно, «делается» украинским. Все попытки обсудить этот акт с точки зрения легитимности совершенно беспредметны. Потому что Советская власть, подарившая Крым Украине, — такая же по определению узурпаторская, как и все прежние «бандитские» режимы. Пьет при акте дарения Хрущев коньяк или не пьет, — это не имеет значения. Но раз он «бандит», вроде Чингисхана и Екатерины, чего же вы на него ссылаетесь?

Впрочем, надо отдать должное Владимиру Коваленко: он хоть и подкрепляет этот бандитский акт юридическими ссылками, но отлично знает, что дело не в этом.

А дело в том, что географически, гидрографически, энергетически и еще всячески Крым связан именно с Украиной, и это факт, который не сроешь никакими бульдозерами. Хрущев просто оформил это. Как «бандит», он мог бы подарить Украине и Сахалин, однако воздержался. Подарил Крым. Дело в том, что русские с их «картохой-капустой» плоховато осваивали крымскую степь. Украинцам это было сподручнее.

Но тогда отдайте и татарам должное: они в Крыму еще дольше жили и еще лучше к его природе приспособились! Ну, и уступите им «титул»! Да нет, тут уж С. Семанов вмешается: мало ли что «жили», а вот в культуре «заметного следа не оставили». Это как сказать. НАМ кажется, что не оставили, а у НИХ другое ощущение. Вообще культура — это дело тонкое. Культура Крыма — это ведь не только «дворцы», это, скажем, еще и виноградарство. Так что, будем выяснять, сколько в это наше виноградарство вложили опыта немцы, сколько французы? А кто «дворцы»

строил? А севастопольский собор, принявший прах наших адмиралов, кто проектировал? Все тот же Константин Тон, славный русский немец...

Но вернемся к войне, которая эти дворцы и соборы рушит. Я, когда дошел в статье В. Коваленко до того места, где солдаты переименовывают Нахимова в Нахименко, — просто зарыдал от счастья. Ну наконец-то! Наконец-то хоть один человек вслушался в фамилию, пока это не догадалась сделать евреи. Евреи — те могут! Они вам живо корень сыщут. И пролита кровь возопит, потому что Еврейский антифашистский комитет тоже был казнен из-за Крыма... Но это была и впрямь провокация. А вот «Нахименко», в которого матросы переименовали русского адмирала, — это же просто объяснение в интернационализме! Прав Владимир Коваленко: защищавшее Севастополь под русскими знаменами войско состояло в огромной части из жителей южнорусских губерний. Из украинцев. Так что же вы «делите»?

Знамя России никогда не было «этническим». Оно было — «имперским», «вселенским», «православным», «советским». И украинская кровь на нем вместе с великорусской. Украинцы эту страну строили наравне с великороссами. И умирали за нее в 1856-м и в 1941-м.

Пусть еще сто знамен сменится, но есть геополитические непреложности, которые не сменить. Есть на Земле места, где скрещение интересов неизбежно. Гибралтар. Суэц. Панама. Дарданеллы. И Крым — такое место. В нем никогда не устоится глубинная, коренная, инертная, закрепленная, нетронутая жизнь. В нем всегда будут скрещиваться, соприкасаться «щупы» дальних «империй»: дальних, потому что «близко» — только вода. А «империи» все равно будут периодически, это ритм истории, хотя и не угадаешь, где сложится очередной «центр». И загорать на крымских пляжах будут не только «местные жители», но непременно и люди, с разных концов света сюда едущие. Иные будут и селиться.

А «знамя» будет то, вокруг которого люди ЗАХОТЯТ сплотиться и с которым окажется — КУЛЬТУРА. Включая и память о павших. Независимо от того, «на чьей стороне» они пали. Не всегда ведь потом и разберешь, кто кого убивал. Козельцов толстовский — он кто? Русоволос. Кареглаз. Усы и борода черные. Может, русак. Но вполне, может, и «малороссийских корней». А вдруг — из татар крещеных? А ну как «кавказской национальности»?!

«— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому. Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась, — отвечал священник, говоривший на „о“, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя».

ЧТО ПОСТРОИМ НА ПЕСОЧКЕ?

После выхода «крымского» номера журнала «Родина» я получил письмо от публициста Владимира Коваленко.

ЕЩЕ РАЗ О «КРЫМСКОМ ВОПРОСЕ»

Журнал «Родина» сделал важное и нужное дело, дав возможность высказаться всем трем сторонам крымского конфликта: лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву, представителям России (Сергей Семанов) и Украины (автор этих строк). Только выяснив всю палитру взглядов, можно прийти к компромиссу и таким образом ограничить «поле баталии» печатными страницами.

Откровенный разговор о Крыме на страницах «Родины» тем более отраден, что форма межнационального диалога отнюдь не распространена в сегодняшней России. В то время, как население Украины, Молдовы, Грузии и т. д. может узнавать позицию российских политиков и общественных деятелей по «первоисточникам» — из передач нескольких программ российского телевидения, из российских газет и журналов, — россияне могут ознакомиться с точкой зрения украинцев, латышей или крымских татар лишь по редким и сильно обстриженным интервью.

Я также признателен обозревателю журнала Льву Аннинскому за поддержку ряда моих тезисов.

Огорчило однако, что глубоко уважаемый мною Лев Аннинский, увлекшись, видимо, риторическим приемом, совершенно исказил мою позицию. В моей статье совершенно четко сказано, что «завоевание, с точки зрения современного международного права, не влечет никаких последствий». Я также — пусть даже это кому-то очень не понравится — высмеиваю тезис о «русской крови, пролитой при завоевании Крыма» (типичный аргумент нынешних московских перекройщиков границ) и указываю, что «пролитая кровь, как известно, любимый довод всех захватчиков, начиная с египетских фараонов». Потенциальным оппонентам могу напомнить, что в недавно изданных в России «Застольных разговорах Гитлера» пассажи типа «тот, кто проливал кровь, имеет право на власть», встречаются на каждом шагу.

Из комментария г-на Аннинского следует также, что с моей точки зрения Крым — не татарский, а украинский: «...отдайте и татарам должное: они в Крыму еще дольше жили... уступите им „титул“!» Но ничего подобного у меня и в мыслях не было! В оригинальной рукописи (желающий может проверить) было прямо сказано: «Наша украинская точка зрения базируется прежде всего на многократно и недвусмысленно высказанном желании татар: полуостров должен быть автономией в составе Украины». К сожалению, эта фраза выпала при чисто техническом сокращении

текста, хотя в статье и остался не совсем понятный ее рудимент: «А о волеизъявлении татар мы только что говорили».

Следовательно, моя точка зрения: «Крым — и татарский и украинский» (разумеется, при соблюдении языковых, культурных и тому подобных прав преобладающего ныне русского населения) — подобно тому, как Башкортостан является и башкирским и российским, Якутия — и якутской и российской и т. д.

Если же я вспомнил что «украинцы начали вооруженную борьбу с Османской империей лет эдак на 200 раньше москвитян» (впрочем, не ставя перед собой цели ликвидации государственности крымских татар, которые гораздо чаще были нашими союзниками в борьбе против поляков и др., нежели противниками), то единственно ради того, чтобы защитить нашу воинскую честь, к которой украинцы, как известно, весьма равнодушны, и их в этом легко понять: слишком часто приходится сталкиваться с историческими фальсификациями. Заявил же недавно депутат Государственной Думы К. Затулин, что, завоевывая Крым, Российская Империя пролила реки своей крови, а Украина (но она ведь, кажется, входила в ее состав? — В. К.) (ну да, как «лет эдак на 200 раньше» Крымское ханство — в состав Османской Империи — Л. А.) — «несколько капель чернил в 1954»... Не читали, видимо, подобные знатоки-историки хрестоматийной повести Гоголя («и слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград») и даже не видели картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»...

И последнее. Профессионально занимаясь историей Крымской войны, я обратил внимание на то, что во всех дореволюционных описаниях обороны Севастополя приводятся три одни и те же фамилии и даются три одних и тех же портрета: Нахимов, Корнилов и Тотлебен. Между тем любая работа о Севастопольской обороне, написанная в советский период, содержит несколько иной набор: Нахимов, Корнилов и... Истомин. Сдавая в «Родину» заказанную мне статью, я между прочим, рассказал в редакции об этой трансформации, предположив, что Тотлебену, очевидно, с «немецким рылом» нечего было соваться в ряд русских героев.

Но каково же было мое удивление, когда вышла «Родина», всецело посвященная Крымской войне! Под рубрикой «Герои войны» в журнале помещены портреты Михаила Медведева, Александра Ключникова и других, наверное, достойных воинов. Однако почти на 200 страницах номера вообще ни разу не упомянут «русский чудо-матрос» Петр Кошка (родом из села Оматинцы, ныне Винницкой области). Что, теперь он уже изъят из российской истории как неподходящий по «пятому пункту»? Возможно, конечно, что стремились уйти от школьной хрестоматии: зачем писать о герое, которого и так знает каждый семиклассник. (Хотя мы

убедились, что в Москве даже некоторые доктора наук полагают, что украинцы проливали в Крыму лишь чернила). Однако столь же «хрестоматийным» Нахимову с Корниловым в номере уделены десятки страниц.

Конечно, хозяин — барин. Не мне указывать, кого должен прославлять российский исторический журнал, а кого нет. Но, по правде говоря, грустно, братцы москвичи. Очень грустно...

Владимир Коваленко.

Нет, не очень. Потому что мой уважаемый оппонент (между прочим, сам москвич, но это я к слову) имеет-таки полное право указывать российскому журналу, кого тот должен прославлять, а кого нет. Это право всякого читателя, а родные мне российские журналы не делят своих читателей по национальной принадлежности или даже по национальной ориентации. И зачем же россияне будут знакомиться с точкой зрения украинцев по редким и сильно обстриженным интервью, если два российских журнала охотно печатают Владимира Коваленко?

Конечно, могут и «обстричь». Но — по соображениям технологическим, не по идеологическим. Легендарный Петр Кошка исчез из «крымского» номера отнюдь не по «пятому пункту». Просто не нашлось нового интересного материала. Портрет, во всяком случае, надо было дать. Но, учитывая, что Кошку и так знает «каждый семиклассник», — дело не безнадежное. Искать тут антиукраинские козни бессмысленно.

Я действительно поддержал (и поддерживаю) «ряд тезисов» Владимира Коваленко, и прежде всего — его трезвое видение реальности. А именно то, что географически Крым есть естественный сосед и просится быть частью Украины. И что исторически Крым — никакой не украинский, а «чей ни попадя»: киммерийский, скифский, греческий, сарматский, аланский, римский, готский, гуннский, хазарский, русский (именно так!), итальянский, татарский, армянский, русский, немецкий, еврейский, украинский...

Конечно, я не имел возможности читать те аргументы Вл. Коваленко, которые в текст его статьи не вошли, но в свете вышеприведенного рассуждения (которое в текст вошло) они вряд ли станут более убедительны. Во-первых, потому, что «многократно и недвусмысленно высказанное желание татар» — это все-таки точка зрения татар, а не украинцев. Во-вторых, если так, то отчего не спросить и точку зрения русских, составляющих в Крыму большинство? Ах, они «приперлись» без приглашения... а татары или турки по приглашению? А украинцы, вышибавшие турок, кем были приглашены? И при такой всеотзывчивости — зачем сообщать нам тот факт, что украинцы начали драться здесь с турками за двести лет до москвитян? К слову пришлось?

Вот я и говорю, что мы в наших «межнациональных» спорах очень многое поминаем «к слову». Например, что «украинцы, как известно, весьма равнодушны» к воинской чести. Потом начинаешь думать: а кто равнодушен? Помянут Гоголя; понуришь голову вместе со старым Бульбой по поводу того, что Пидсышкова голова посолена в бочку и отправлена в

самый Царьград, а потом задумаешься: кто ж тогда в Царьграде сидел? Кто с Колопера содрал кожу под Кизикирменом? И вообще: кому с бульбовских времен присягнули крымские татары (современным языком говоря: в чьем составе они тогда согласились быть автономией?).

Я думаю, что все эти доводы можно выворачивать туда-сюда до бесконечности. Если же глядеть в корень (в вечный корень дела), то Крым, по самому «замыслу Господню», земля чресполосная, граничная, промежуточная, спорная, общая. Вроде Суэца, Гибралтара, Панамы, Дарданелл, Босфора. По блестящему выражению одного современного политолога, Крым — место, где вечно сталкиваются щупальца далеких империй.

Не станет империй?

Возможно.

И флот окончательно устареет и заржавеет (и тогда его, наконец, «разделят»).

Империй не будет, проблемы останутся. Как подать в Крым пресную воду? Как вырастить в Крыму хлеб, картошку и капусту? Или не растить — пустить все под виноградники? И, наконец, как быть с особью, которая пожелает возлечь на крымском песочке и провести таким образом отпуск?

Владимир Коваленко любит цитировать «словесный шедевр» известной антитоталитаристки Валерии Новодворской: вам мало позагорать на пляже, вам надо, чтобы рядом еще и триколоры висели?!

Насчет триколоров промолчу: я под красными знаменами вырос и просто так, «по указу», знамен в душе не меняю. И если уж на то пошло, — вовсе не факт, что из русских триколоров купеческий будет мне милей староимперского. Но это моя личная проблема. А общая заключается в том, чтобы не рвали на куски флаги ни в том, ни в этом парламенте.

Эти вещи решаются по мировой ситуации. Продлится в истории человечества эра держав (называйте их империями, союзами, содружествами, сообществами, осями, блоками, да хоть «общими здоровьями») — останутся и точки вроде Крыма: геополитическими нервными центрами, из-за которых будут литься реки чернил и крови; и тогда, случись что, — и мы с Владимиром Коваленко быстро сообразим, как объединиться. И простит он мне, что Гоголь сичевиков «русскими» называл (именно так!) и что москвитам продался.

А наступит энгельсовско-фукуямовский «конец истории», влывет счастливое человечество в век информатики и меритократии, — что ж: тогда бабушка русской диссиденции сможет спокойно возлечь на пляже под Алупкой, и мы развесим над ней все флаги, какие она захочет, — хватило бы денег на материю.

Главное в нынешних тяжбах — души не повредить.

Одно только никогда не прощу Владимиру Евгеньевичу: что упорно обзывает меня господином. Оно бы и ладно, кабы не зеркало. Как глянешь, так и отпадешь обратно в товарищи.

ПЯТНИСТЫЙ МИР

Шадр был прав. В мыслях наших булыжник по-прежнему главное оружие. Вслед за Владимиром Коваленко, ответившим мне в статье о «Пятой колонне» (пятая колонна, как он уверен, — это русские на Украине) кладу этот краеугольный камень в наш разговор и соображаю: что строим?

Вопрос в статье Вл. Коваленко поставлен широко, даже глобально, и выходит далеко за пределы русско-украинских разборок. «Пятая колонна» — как универсальная фомка современной политики. Изобретена и опробована в ходе Второй мировой войны, однако с войной в прошлое не ушла, а сделалась в канун XXI века угрожающе всеобщим явлением. Чего ждать в будущем?

В прошлом четкие границы, «имперски» врезанные в тело человечества, делали достаточно ясными вопросы: где враг, кого резать, в кого стрелять? Теперь все «пятнисто». Границы петляют, повторяя извивы анклавов, линии размежевания кольцуются, рвутся, выворачиваются. Они теряют государственную жесткость и приобретают мистическую окраску. Внутри «большой» нации замыкается меньшая, внутри этой меньшей — еще меньшая, и все это пестрение вопиет не только к «мировой справедливости» (на глазах разваливающейся на части), но и к родственным душам за той или иной стенкой (на глазах возведенной). Родственны они там или не родственны, то уже сам черт не разберет, но вопиют же! «Свои» и «чужие» перемешиваются; пятнистый мир становится сплошным капканным полем для заложников. И жить с этим приходится как с неизбежным злом, и с ним же входить в новый век, с ужасом думая, что же будет дальше.

Да если бы тут таилась только теоретическая проблема! Поскольку от заложников трясет весь мир, проблема эта, как всемирно-историческая, таковой и является. Для потенциальных историков. Но в нашей-то обстановке, в нашей геополитической ситуации (назовите ее евразийской, славяно-исламской, всероссийской, постсоветской — как угодно) чреполосье оборачивается каждодневной болью и ежесекундной неразрешимостью.

Драма в том, что, получив во владение «пятнистый» мир, мы пытаемся сладить с ним при помощи старой «линейно-фронтальной» логики.

Логика Вл. Коваленко опирается на следующую аксиому: «Москва» издавна последовательно и насильственно русифицирует окраины Империи, подавляя в них все национальное.

На верхних этажах власти — это кадровая политика, уместающаяся, по Авторханову, в формулу: если шеф — национал, то его первый зам — непременно москвич.

Авторханов, правда, как мыслитель осмотрительный, этого самого «москвича» слегка варьирует. То это у него «москвич», то «московский посланец» или «товарищ из Москвы».

«Интересная Москва», скажу я в интонации Владимира Коваленко. А нельзя ли уточнить, кем был такой «товарищ» прежде, чем записаться в «москвичи»? И чьим «посланцем» в Москве он побывал прежде, чем стать

«московским посланцем» где-нибудь в «угнетаемом» регионе? Вообще много ли коренных москвичей обреталось в высших эшелонах советской власти? Не считали? В основном, евреев считали в составе ВЦИКа, на остальных бумаги не хватило. Так без всяких подсчетов ясно, что это не «Москва» формировала страну своею волей и политикой, а страна через Москву формировала самое себя. А та «Москва», которая выступает в подобных уравнениях под маской главного русификатора, — есть результат того, что через нее шло все: и смешение языков, и формирование единого пространства. Было время, когда аналогичные процессы шли через Киев. Ни никто же не говорит, что князь Игорь подступал к древлянам с идеей «украинизации» — его вздернули совсем за другие грехи.

Теперь вот выясняется: имперские кадры, посылавшиеся по стране в качестве русских, были столько же русскими, сколько и украинскими. То есть «товарищ из Москвы», садившийся за спиной «национального шефа» где-нибудь в тюркской или прибалтийской республике, был чуть не в каждом втором случае по происхождению украинец. Сюжет, достойный кисти Айвазовского, в том смысле, что «все течет», и украинцы теперь должны кастить и проклинать ту «империю», которую сами же и строили в роли «русских». Никакого изначального разделения ролей тут, кстати, не было: был естественный отбор, и крепкие мужики с хозяйственной жилкой в характере по праву выходили на руководящую роль в обкомах. Так не в качестве же украинцев или русских они ими становились, а в качестве коммунистов. Это их сейчас высвечивают — в качестве украинцев. А были они ими не больше, чем переселенцы столыпинских или достолыпинских времен. Мужики с топорами могли целый порядок объявить «своим» где-нибудь в уральском Висиме, — такой украинский порядок (в деревенском значении слова, то есть край, улица) был хранилищем национальной памяти, важной в быту, но никто тогда не ощущал себя представителем незалежной Украины, и тем более — «пятой колонной» в потенции.

Как никакой «пятой колонной» не ощущали себя и русские переселенцы. Империя — это общее пространство, где каждый едет туда, где есть работа и где он чувствует себя нужным. Затем империи и строятся. Желания сплотить их сверху в конечном геополитическом балансе бывает приблизительно столько же, сколько снизу — желания не знать границ и гулять, где охота. Правда, какой-нибудь одесский растиньяк, едущий учиться в Москву, воображает, будто он ее «завоевывает». Давай, Вася! Много бы ты завоевал, если бы не «империя».

Задним-то числом можно и на Хмельницкого всех собак навешать, и на Бутурлина, но дело же не в политических пасьянсах, а в психологических фронтах. В XVII веке стояло против Украины три фронта: фронт католический (Польша), фронт мусульманский (Турция) и фронт православный (Россия). Выбрано было то, что «сохраняло душу». Теперь, конечно, душу можно сохранить и без таких ужасов, как Переяславская Рада: ну, перепишется Украина к туркам, и что? Поедет Владимир Евгеньевич вслед за новыми русскими отдыхать в Клуб Салима, да хоть в самую Гранд-Висту в Анталии. Нормалек.

Правда, чтобы это стало возможно, надо, чтобы идейно-политические разборки не переходили в военно-политические. И вообще чтобы старая логика сменилась на новую.

По-старому как? Силовой борьбе предшествовала словесная: религиозная, классовая. Иначе ее и затевать было незачем, если на силу не уповать. Сейчас в той же роли словесность национальная. Да силы не те. И сил на такую борьбу нет, и народ на это не пойдет, поэтому разборка словесная идет как бы понарошку. А ну-ка выясним, кем был Хрущев: украинцем или русским? А Брежнев? Ах, Брежнев писался и так, и эдак? Это о чем говорит? Своих не узнавал?

Да ему, Брежневу, как коммунисту, это было неважно. Как и Хрущеву, перекидывавшему Крым с руки на руку. Как и Варенику, переписавшемуся в Варенникова. Они не в русских переписывались, они в единое государственное подданство шли. На великую службу. Под сильную руку. И сами же этой силой становились. Как Розум, переписавшийся в Разумовского. Его что, тоже насиловали? Гоголя из Нежина насильно тянули в Москву и Питер?

Теперь эти счета можно сводить до бесконечности. Но это бессмысленно, потому что никаких «чисто русских», «исконно русских», «изначально русских» вы не найдете ни в Москве, ни в Киеве (как, впрочем, не найдете «праказахов» в Приаралье или «праангличан» в Британии). Все — результат смешений. Чьего в ком сколько — не взвесишь. Как все это теперь «делить»?

По-старому бы так: раз в исторически сложившейся общности полно оказалось инонациональных анклавов («пятых колонн» в потенции), — так расписать бы их всех по однородным стратам. Чтoб сидели и не дергались.

Они, правда, дергаются, и начинается морока с тем, какой анклав в каком случае считать «титulyным». Приходится выяснять, кто, когда, кому и по какому праву этот «титул» вручил. Например, греки несомненно «сидели» в Крыму раньше немцев, турок и славян, но немцы «сидели» дольше. И еще надо доказать, что нынешние немцы и тогдашние готы — один народ. Такие доказательства появляются «сами собой», когда берет свое сила. Например, когда немцы в 1941 году захватили Крым, тут выяснилось, что исторически это Готенланд, и славяне с татарами тут ни при чем. Потом немцев прогнала Советская Армия... Не выяснить ли теперь, какая она была фактически: русская или украинская? Выяснили же, что при Нахимове русская армия была фактически украинская.

Может, и была. Только она этого не знала. Это сейчас надо задним числом выяснять. Так же задним числом выясняем, что советская власть на одной шестой части земной суши была наполовину украинская. Неудобство только в том, что советская власть теперь — плохая. И городом украинской славы Севастополь называть не хочется. Потому что его все-таки сдали. А то бы почему нет?

А реальность под всеми этими словесными баталиями одна и урок один: никакая империя не создается прочно и не живет долго, если она себя мыслит как мононациональная. Гитлер подорвался именно на том, что

новый мировой порядок проектировал — для немцев. Самоубийственный, тупиковый путь — в этом Вл. Коваленко абсолютно прав.

Но именно поэтому проводить подобную аналогию с Советским Союзом абсурд. Не говоря уже о том, что по душевной ситуации — кощунственно. Да, между гитлеризмом и сталинизмом много общего. Но сталинизм все-таки не выставлял в качестве цели уничтожение немецкого или какого-либо другого народа, а гитлеризм именно и выставлял целью войны и политики — уничтожение других народов, в том числе славян. Правда, этих последних было слишком много; поскольку извести столько людей разом технически трудно, то готовились превратить их сначала в полулюдей, в рабов; а чтобы этого достичь, — собирались расколоть: столкнуть русских с украинцами, белорусами, казаками и по очереди вышибать из жизни.

Разумеется, в некоторых отношениях большевики нацистов «переплюнули». Но только не в национальном вопросе. Переселяли татар и чеченцев? Да, это было зверство, но это было зверство, вызванное войной: продолжение войны, а не геноцид как цель. Что, всех кавказцев подряд выселяли? Нет, только тех, на кого вермахт рассчитывал в войне.

Евреев притесняли? Да, притесняли. Это плохо, мерзко, несправедливо. Но между ограничениями в карьере и газовой камерой — есть разница? Или нету?

Стыдно и горько повторять это. Потому что не хотят слушать, не хотят знать. Сейчас еще есть люди, которые помнят, как было, могут напомнить. Но еще одно-два поколения, и вообще некому будет ни говорить это, ни слушать. Гитлеризм и сталинизм сольются в памяти. И чего они только воевали?

Так что Вл. Коваленко работает даже с опережением моды, когда для удобства композиции и эффекта провокации укладывает современную Россию в схему Луи де Ионга, выстроенную для гитлеровской Германии. Россия, мол, на такое способна, что и Гитлеру не снилось. Насчет того, что «снилось» и что «не снилось» Гитлеру, мне гадать не, хочется. Но если бы подобная композиционная параллель ему приснилась, он вряд ли захотел бы досматривать этот сон. Он-то знал, за что воюет. Он бы с украинцами из-за Крыма дискуссий не разводил.

Вернемся однако к узорам современной геополитики. Вл. Коваленко ведь не для сновидений полустолетней давности все это живописует: он озабочен нынешней реальностью. А она такова: все перемешиваются, украинцы живут в России, русские в Украине; женятся напропалую, детей крестят кто во что горазд. И как им это запретить, когда во всем мире идет такой хипеш: анклав в анклав, матрешка в матрешке, и все, как на грех — разнонациональные и норовят еще и дальше перемешиваться.

Как тут определять «принадлежность», если мыслить по-старому? В масштабе государства, или области, или региона, в масштабе уезда, подъезда? В тех границах, какие сочтет для себя достаточными «титulyная» нация? А если на «титул» претендует несколько? И почему, собственно, человек должен быть привязан к тем границам, которые провели здесь бог знает когда?

По старой логике — надо делать чистку. Одно государство — один народ — одна нация. «Кому это сильно не нравится — возвращаются на родину», — пишет Вл. Коваленко. Правда, я чувствую, что этот вариант его тоже не радует. Но что делать: не нравится украинцам в России, таджикам в Узбекистане, армянам в Грузии — пожалуйста, вот вам Бог, а вот порог.

Должен сказать, что меня этот вариант не устраивает. Потому что при таком порядке очищения атмосферы от инородцев покинет Москву и сам Вл. Коваленко. Я с этим согласиться не могу. Пусть лучше Владимир Евгеньевич живет в Москве, терпит «сплошной рев» московских СМИ и печатается в «ДН». Как всякий патриот, я не хочу, чтобы талантливые люди бежали отсюда на «историческую родину». Они там не пропадут, конечно, но обидно.

Поищем все-таки другой вариант национального сосуществования, кроме разборок и чисток. Попробуем мыслить не по силовой схеме, выработанной в человечестве веками кровавой истории. Все-таки реальность подсказывает. Два поколения назад это еще имело смысл: ставить санитарные кордоны, железные занавесы, замковые границы. В нынешнем «пятнистом» и проницаемом мире никого ни от чего не отгородишь. А если отгородишь, результаты будут непредсказуемые. Опыт этнических чисток в Боснии показывает, как это получается на практике.

Значит, надо искать такой новый тип отношений, такой новый способ духовной ориентации в «мозаичном» пространстве, при котором национальный анклав не превращается в пятую колонну, а пятый пункт не превращает человека в придаток анклава.

Речь не о материальном обеспечении индивида — речь о духовном обеспечении личности, заброшенной в этот безгранично-«пятнистый» мир.

Материальную сторону дела примем как данность. То есть признаем де-факто и систему государственных языков и, соответственно, систему государственного просвещения. Все это уже существует. Однако при нынешнем национальном чресполосье вокруг любого бастиона системы стоит кольцо дополнительных просителей.

Вл. Коваленко рисует такую картинку: стоят русские в Курган-Тюбе и требуют:

— Откройте нам оперу!

Я бы и ответил:

— Пойте.

Или:

— Выкладывайте деньги и приглашайте артистов. Хотите культуры платите. Хотите учить язык — нанимайте учителя. Хотите читать книги, смотреть ТВ, иметь газеты и библиотеки — пожалуйста. Это стоит ровно столько, сколько стоит. Никаких запретов! Все можно!

Можно, конечно, ждать субсидий. Можно сосчитать число украинских школ в России и русских школ на Украине и начать очередную тяжбу: чтобы все было «по справедливости». Это и есть старый, державный, силовой подход. Он хорош тем, что деньги на культуру падают как бы с неба, но плох тем, что до неба не дотянешься. Система жесткая, негибкая: если

завтра миграция усилится хоть из Москвы в Киев, хоть из Киева в Москву — надо опять перетягивать канат, а это опять претензии, счеты, качание прав.

Но ситуация-то новая! Огромная информационная свобода, немислимая в эпоху «железных занавесов», допускает более гибкую систему индивидуального обеспечения «запросов души», но и создает мощный конкурентный фон для всякой культуры. Иначе говоря: любой человек волен исповедовать и культивировать ту «веру», которую он сам избирает (по зову предков или непонятно по какому зову — это его личное дело). Для этого уже не обязательно ехать на «историческую родину» (там тоже тянут на себя титульное одеяло несколько перемешавшихся претендентов). Так живи себе в Нью-Йорке и считай себя приверженцем... хеттской культуры.

Американцы за двести лет опробовали этот вариант на практике. Никто не заставляет тебя учить английский. Можешь не учить — посмотрим, как ты выживешь. Учат английский добровольно, и никто не жалуется, что это «англофикация». Внутри своего анклава (Little Italy, Chinatown, брайтонская «Одесса» и т. д.) можешь быть кем угодно: итальянцем, китайцем, русским, литовцем, немцем, украинцем... Свободная конкуренция. «Нулевой вариант».

Да, но тогда культура сильная получает загодя преимущество перед культурой слабой!

Да, получает. Я бы сказал, что сильная культура в известном смысле самоцель. Я — человек русской культуры не только потому, что кости моих предков лежат в русской земле... впрочем, что это я... теперь это на украинской, под Любечем, а если всех поминать, то лежат они от Шипки до Даугавпилса — вот такая у моих покойников интересная Россия. Но более всего — это Пушкин и Толстой. Это — сильная культура, и это — мой выбор.

Поэтому я не боюсь, что русские, оставшиеся в Украине или в Эстонии, перепишутся в украинцев или в эстонцев. Пусть перепишутся. Решат жить без Пушкина — пусть живут. Без Пушкина можно и в России прожить, имея безукоризненный паспорт. А можно, живя в России, дышать воздухом мировой культуры от Вергилия до Котляревского. Был бы, как говорится, «парубок моторный».

САПОГ И БАШМАК

Мой оппонент украинский публицист Александр Боргардт как-то выдвинул довод, на который я не нашелся, как отреагировать; он заметил: имперские люди, лишённые корней и обречённые шататься по перепутьям, наследуют имя оказавшихся не у дел римских солдат; русские калики переходящие — это, так сказать, жалкая память о солдатах-калигах, которые некогда наводили страх на жителей «империи», а с развалом оной превратились в посмешище.

Нырнув в старые словари, я убедился, что мой собеседник семантически недалек от истины и допустил разве что маленький сдвиг: *caliga* по латыни не «солдат», а всего лишь «солдатский сапог». Что, конечно, никак не колеблет строя мыслей и чувств, это сравнение породивших.

Более скажу: сопутствующие значения латинского слова способны просто добить. Знаете ли вы, что такое по-латыни *caligo*? Туман, мрак. А соответствующий глагол? «Темнить». А ближайшее переносное значение? «Умственный мрак», «помрачение». И даже так: «мрачные времена». «СМУТА». Более чем достаточно, чтобы раз навсегда «заткнуться» на предмет имперских сил, координирующих, объединяющих, спланивающих и т. д. края и осколки. Кому в самом деле охота влезать в «сапоги оккупанта»?

Разумеется, наш интерес к тому, как там живется бывшим «братьям» среди разлетевшихся «осколков империи», при этом не исчезает. Только неловко спрашивать напрямую: ну, как вы там в «отделенности» (или в полуотделенности, если брать Российскую Федерацию, которая ведь еще не развалилась?). И каково будущее, которое строится на «осколках»? Прикрылись мы как-то в редакции одного журнала из тактичности анкетой: старым добрым жанром советских времен (позднего, усталого, либерального периода). Разослали.

Самый красноречивый ответ — отсутствие ответа. Мало кто откликнулся. Заняты самоидентификацией, а тут бывший старший брат лезет с расспросами, мешает сосредоточиться.

И однако то небольшое, что можно считать откликами, знаменательно и достойно внимания читателей. Независимо от того, ближе ли это зарубежье или круг российских народов, рубежами еще не рассеченный.

Российский грек проклинает «русификацию» и озабочен болгарскими претензиями на македонское наследие. Хотя живет наш грек во Владикавказе (бывшем Дзауджикау, бывшем Орджоникидзе) и историческую родину посещает наездами.

Осетин российский проклинает «русификацию» и радуется, что его народ, загнанный когда-то татаро-монголами в горы, в XIX веке вернулся, наконец, в долины. Хотя не вполне ясно, вернулся ли бы он, если бы в XIX веке горы и долины не оказались в пределах одной державы (угадайте какой).

Украинец незалежный проклинает «русификацию» и напоминает Москве (и Питеру), что было время, когда более культурная и образованная Украина поставляла России государственных деятелей, художников и мыслителей.

Все правильно. Все правы. Я готов понять их всех. Я тоже, натываясь на русские «осколки» в мировом «хаосе», чувствую себя неисправимо русским. «На что ни взгляну, все про них думаю». То есть про русские корни Алехо Карпентьера и Диего Риверы, и даже белорусские — Гийома Аполлинэра. Совершенно нормальные чувства.

Вопрос в том, чтобы нормальные чувства ложились в нормальный контекст. Мне бы в голову не пришло, вспоминая о происхождении Разумовского, Гоголя или Феофана Прокоповича, скорбеть об «украинизации» русской культуры или истории. Я изначально и твердо воспитан в убеждении, что без Коста Хетагурова обеднеет РУССКАЯ поэзия (его томик я обнаружил в библиотеке моего отца, который вовсе не был специалистом по «литературам народов СССР», а был нормальным «красным профессором», добровольно пошедшим в 1941 году умирать за родину). И

мне совершенно неважно, грек или не грек будет избран сегодня мэром Геленджика или Анапы... Кстати, грекам мы можем спокойно смотреть в глаза с тех пор, как их соплеменник был избран мэром аж самой Москвы, а если перестал им быть, то не потому, что грек, а потому, что был более склонен к латанию демократической теории, нежели к латанию столичного асфальта, покореженного демократическими танками.

А насчет того, что «евреи, грузины и латыши» являлись, наряду с русскими, «ударной силой большевизма» и теперь должны каяться перед другими народами Федерации, в частности, перед осетинами, — скажу так, что если бы я был способен вести подобные разборки, то напомнил бы уважаемому Камерлану Бязарти, кем был по национальному происхождению товарищ Сталин. И спросил бы: на кого более походил характером этот стальной товарищ: на грузина или на осетина? И независимо от ответа на этот вопрос сказал бы, что покаяние как общенациональная акция — дело скользкое и опасное; покаяние может быть делом только личным, да и не очень громким, иначе оно превращается в очередное «госмероприятие», из тех, в коих прохвосты преуспевают значительно больше, чем обыкновенные мучающиеся граждане.

И насчет того, какой мир возникает теперь на «развалинах империи», среди «осколков» великой державы.

Опираюсь на свидетельства наших авторов.

Слава богу, говорят они, теперь можно пресечь гигантоманию и перестать громоздить этаж на этаж, топтаться на маленьким пяточке. Кому вообще взбрело в голову это вавилонское возведение башен? Известно же, что приусадебный участок дает впятеро большую урожайность...

Тут я уточнил бы: дает, пока он — приусадебный участок. Надо еще ухитриться раздать участки и чтобы люди удержали их в этом качестве. Когда это дело срывается, мы говорим: «не дают!» А что, если «не берут»? Если рискнувшие «взять» — разоряются через два сезона? Если их жгут и калечат соседи? И погорельцы идут по миру калекками, каликами, а то и калигами, потому что заработать фермером нельзя, но можно — наемником.

А дороги, дороги-то, по которым туда-сюда ходят, они что, тоже «от соседа к соседу» торятся, с нуля? Или все-таки их надо строить и защищать государственным образом?

Но ведь это — «имперский хомут»! Это, так сказать, русификация. Интересно, что при этом вы ждете, когда же «федеральные власти» станут отвечать за «порядок на местах». Сбрасываете хомут? Сами и отвечайте. Но и готовьтесь: в одном месте будет один порядок, в другом месте — другой.

На Украине — четыре церкви... и все дерутся. Да еще этот бермудский треугольник: либералы — националисты — коммунисты. Да еще коммунисты теперь — все разные. Черт ногу сломит. «Хаос»! Как в «хаосе» взаимодействовать? Тут и объяснить-то — проблема.

А не сделать ли — как в Швейцарии? Двадцать три кантона, и всем хорошо.

Хорошо-то хорошо... да в Швейцарии — сколько государственных языков? Три. А сколько должно быть в Российской Федерации, если делать все «по-швейцарски»?

В Осетии «нет ни одного ученого или писателя, который знал бы адыгский, армянский или аварский язык». Чего же удивляться, что и «деятели русской науки, чьи интересы были „нацелены на Осетию“», не умели объясниться по-осетински? Слишком много языков «смешалось» на просторах родины чудесной. Тут трем, по швейцарской системе, не обойдешься.

«Ну и что? — полагает К. Бязрти. — В многонациональном государстве „все (все! — Л. А.) языки должны быть языками межнационального общения“». Хорошо как образ, но смутно как образ действий. Сколько языков способен выучить средний человек, живущий в нашем «хаосе»? Не логично ли предположить, что практически установится один (ну два, максимум три — как в Швейцарии). Не вследствие «лингвистической экспансии» а в силу лингвистического здравого смысла и ограниченности человеческих возможностей.

Вовсе не обязательно это должен быть русский. Русскому было не на роду написано «межнациональное общение». Просто исторически так вышло. И русский язык не так уж хорош для такого общения: труден, эмоционально заражаем и в то же время архаичен. Хорош для художественного самовыражения, но не для протоколов и параграфов. Английский, наверное, более практичен в качестве «вездехода»... хотя и это не факт: латынь, может, еще лучше; недаром же эсперантисты во время оно плясали не от английской, а от новолатинской палки. Но я ведь не о том, какой язык станет языком общения на этническом чресполосье. Я о том, что какой-то все равно станет. Потому что иначе всем придется сделаться толмачами. А мы ведь хотим, чтобы человек выращивал еще и помидоры на приусадебном участке и не лез в «стандартные многоэтажки». В Вавилонской башне языки, положим, все равно смешаются. А «при усадьбе» придется уж какой-то один, «межнациональный», освоить плюс к своему кровному.

Естественно, и «калига», пристроившийся к месту, должен будет местный язык освоить плюс к своему «имперскому», «римскому» (номер Рима не важен; второй, третий или десятый — законы естества едины).

Это, конечно, верно, что «империи всегда распадаются». Но верно и другое: на месте распавшихся конгломератов и союзов рано или поздно («всегда») возникают новые. И они опять распадаются. Иначе не пришлось бы присваивать порядковые номера тому или этому Риму. Разумеется, ничто никогда не повторяется в истории точно, а попытки что-либо повторить оборачиваются карикатурой и фарсом, и тогда, по известной формуле, человечество смеясь расстается со своим прошлым. Чтобы в будущем использовать его как точку отсчета или отталкивания. Ощущение того или иного общего культурного контекста все равно неизбежно — для любой нации, хоть трижды титульной, независимой и суверенной. Мы все зависим от контекста, в котором созданы, и все являемся наследниками того общего, что создали мы и что создало нас.

Если речь о России (и о Российской Империи, и о Советском Союзе), то никакой исходно «чистой» русской субстанции, которая навязала себя племенам и народам, не было — разве что пара варяжских конунгов, спустившихся по Днепру и окрестивших место, до которого доходил в скифские времена знавший Христа палестинский рыбак Андрей, именем своей дружины: «Русью». Не было никакой «прарусской» имперской идеи (если не считать того, что идея «вселенскости» вообще носится в воздухе то в татарском, то в тевтонском, то в славянском исполнении), а то, что называется «Российской империей» и даже просто «русской сверхнацией», усилиями и волей разных племен и народов сложилось, это результат общей драмы и общих попыток выбраться из драмы, а какой национальный ярлык оказался закреплен на «империи»: русский, литовский или татарский, — это с точки зрения вечности вопрос почти частный. Я не знаю, какой «ярлык» выдумается для этой общности в будущем, но без общности не выжить никому.

Хотя, конечно, всякая «общность» драматична по отношению к «малой родине», к историческим корням и национальному (региональному) самоощущению. Грек, живущий в Новороссии будет разрываться душой между Гомером и Пушкиным, а Владикавказ никак не дожидется мэра-грека. И это нормально. Осетин, получивший высшее образование в Москве или в Ленинграде, будет раздвигаться чувствами между тем, что ему пришлось получать это образование на неродном языке, и тем, что Осетия так и не закрепила на европейских высотах. Украинiec же будет решать головоломку: если именно Россия когда-то помогла собраться Украине воедино (под имперской эгидой), то как теперь ухитриться сохранить эту часть имперского (и советского) наследия и избавиться от всего прочего?

И если завтра «более культурная Украина» пошлет в Россию «государственных мужей и деятелей культуры», — что мы сделаем? Да примем как родных. Будем считать, что блестящий экономист, прибывший к нам из Львова, просто продолжает традицию, возвращая свое «яблоко» на наших политических подзолах. Как почитатель Явлинского я, конечно же, претендую на него как на «украинское наследие» и с полной уверенностью его себе «присваиваю». «Странствующий экономист» лучше «солдата», гуляющего по дорогам «империи». Да дороги-то те же самые.

И калика, может быть, вовсе и не из латыни к нам пожаловал. Может, он из тюркских сфер, где *kaluk* означает «народ».

Народы торят дороги друг к другу. По дороге, конечно, может пойти и солдат. А может — «архангельский мужик», учиться в Славяно-греко-латинской академии. А может — горец: учиться в университете «Северной Пальмиры». Варяг пойдет в греки, грек — в варяги. Пойдет не только солдат, но и вероучитель, паломник, просветитель. В башмаках.

А все — калика.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ?

Гегемоном Европы будет тот, на чьей стороне окажется Украина.

Илья Гонимов

Рванулись «на ту сторону». Прочь от Москвы! Куда угодно: да хоть к Карлу XII! Только бы от великодержавной русификации. А лучше всего так: Украина — для украинцев! Для тех, кто живет в Украине и говорит по-украински. Модель абсолютно логичная.

Быстро, однако, бежит время на рубеже тысячелетий. Десяти лет не прошло — стала оббиваться модель о реальность. Разве страну втиснешь в один этнос, в одну мову! Это же страна-мозаика, где «галицийские полонизмы» перекликаются с румыно-венгерскими мелодиями Закарпатья... а русифицированное Левобережье, а «феномен Крыма», а Одесса...

Хочешь, не хочешь, надо усложнять модель. Пусть же будет независимая Украина родной матерью всем народам, которых бабка-история поселила тут!

Слово «мать» побуждает нас вернуться на тысячу лет в прошлое... и тут мы попадаем в ловушку: Киев никогда не был началом «Украины» (каковой тогда еще не существовало ни виртуально, ни реально), он был началом того, что изначально называлось «Русью».

Очищая исток, некоторые незалежные историки выплескивают с мутной водой мифа и такого замечательного ребенка, как Киевская Русь. «Это химера! — говорят они. — Такого названия не существовало. Как и названия Древняя Русь».

Что верно, то верно: русичи, жившие на Днепре тысячу лет назад, действительно не называли себя «древними», им это в голову не приходило. Но Русью они себя все-таки считали.

Далее — две возможные версии. Одна такая: на Киевскую Русь наваливается монстр, невесть как оказавшийся на ее границах. «Псевдо-Рим». Медведь. Насильник. Версия, бывшая в большом ходу десять лет назад, когда Киев освобождался из-под чужого ига.

Как, однако, имперский медведь завелся в заповедных и дремучих, страшных Муромских лесах? Что тут свое, а что чужое? Если черниговские дружины идут в брянские леса, они какую идею, какую энергию, какую весть несут на кончиках своих топоров? Киевскую? Русскую? Ах, это одно и то же.

А если для X века это одно и то же, то не логично ли предположить (вослед замечательному украинскому публицисту Евгению Маланюку), что естествен следующий шаг Киева — наполнить своим содержанием формирующуюся евразийскую общность, каковая должна была бы стать «собственно украинской империей с доминированием украинского национального духа».

Уберите слово «украинский», транспонированное сюда из позднейших времен. Вы не находите, что империя таковой и стала, как хотел Маланюк? И это естественно, если учесть, что когда вокруг Кучкова

Поля еще бродили медведи, киевские князья уже выдавали дочерей за французских монархов. Да именно через Киев и просвещение пошло в дочернюю державу. И великие имена, составившие славу русской культуры и истории, хранят малоросский колорит. Нравится вам Гоголь или нет — это факт. Украинский ракурс декабризма факт. И то, что уроженцы Украины успешно строили империю, — факт. И когда над Кремлем реяли двуглавые орлы, и когда пятиконечные звезды.

Александр I мечтал вернуть столицу в Киев. Не потому, надо думать, что он, нехороший человек, собирался додавить гетманов. А потому, что он чувствовал историческую доминанту процесса. Гетманы делали бы то же самое... если бы в свое время имели силы. То есть столица вернулась бы в Киев, и второй Иерусалим воссиял бы не хуже третьего Рима. Переезды столиц вообще дело житейское: из Москвы в Питер и обратно...

А язык? Ну, а язык, первозданный, коренной, неиспорченный, «переезжая» вслед за его носителями «из Чернигова в Брянск» и далее, то есть взаимодействуя с другими языками (и в значении «племен» тоже), неизбежно при этом обкатывается, уходит от первооснов и, как теперь говорят, «позитивно загрязняется».

И исток в сравнении с устьем (не говоря уже о море, куда поток впадает), кажется, по неизбежности, «малым». В этом нет ничего странного или обидного. Мала Португалия в сравнении с великой Бразилией; мала Испания на фоне Латинской Америки, Англия — в масштабе Соединенных Штатов. Вытяжной парашют мал. Так что считать самоцелью? Вытяжной парашют не приземлится сам, но без него...

Становясь великими, народы втягиваются во всемирную драму, они вызывают восхищение и ненависть состязателей. И однако у всякого народа есть святое право выйти из мирового состязания, отойти в сторону, на край, отдав свою энергию тем, кто продолжает нести проклятье великой роли, которую кому-то все равно же придется играть...

Быть «на краю» — в этом есть своя правда и своя прелесть. Вот картина, нарисованная современным историком Украины. XVII век. Дерутся державные турки, поляки и русские. Правый берег Днепра усеян белыми костями. И с Правого на Левый через границы «идет поток возов и телег», и за полвека украшается Левобережье «купам аккратных белых хаток в вишневых садах, над которыми так сладко тянутся в прозрачном осеннем воздухе щекочущие ноздри дымки свежевыкуренной горилки».

В добрый же час! Процветай, Слобожанщина! Пусть дымок горилки состязается с крепким духом родимой водки и с ароматом пива... Да под любым флагом — только бы государственные флаги не стали воинскими стягами. А тогда — увы! — вставать на ту или иную «сторону». И тогда любая сторона будет чужой, и ты в ней — «со стороны» и «на стороне». Прислонись ты хоть к Анкаре, хоть к Вене, хоть к Москве, хоть к Берлину.

Берлин, кстати, показал во Второй мировой войне ту степень равноправия и партнерства, которую гитлеровцы отвели своим украинским (и прибалтийским) союзникам: они определили их в каратели.

К материалам украинского номера, на которых я строю свою «геополитическую версию», в этом эссе добавлена только одна фраза. Из

моего журналистского опыта. В 1959 году молоденьким корреспондентом «Литературной газеты» я посетил в Донецке (тогда — Сталино) старейшего литератора Илью Гонимова. Для газеты мы поговорили о соцреализме, о дружбе народов и литератур. А потом, не для записи, восьмидесятипятилетний старик сказал мне фразу (смотри эпиграф), от которой я замер и которая занозой сидит под коркой.

По сей день.

...КАВКАЗ

БОЛЬ ОСТАЕТСЯ, НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Письмо:

«Уважаемый Аннинский!

Я, Ваш давний читатель, хочу высказать Вам нечто нелицеприятное.

Есть ирония злая, есть ирония добрая, и есть просто ирония. Мне представляется, что Вы просто иронически воспринимаете откровения доверяющих Вам авторов. Ну, а под иронией Вашей видится простой контекст: „и чего вы дурью маетесь. делать Вам там нечего“. В общем, все получилось согласно Вашей же схеме: „Нормальные чувства легли в нормальный контекст“. Не хотелось бы, однако, чтобы Вы и впредь руководствовались только иронией, да еще со столь простыми контекстами.

Почему не хотелось бы? Потому что, хотя Ваши словесные композиции и доставляют мне удовольствие, — при Вашем ироничном, остраненном отношении к вопросам, которые беспокоят читателей, отклика не будет. А будет то, о чем Вы говорите с некоторой горечью: „самый красноречивый ответ — нет ответа“. Тогда — естественный вопрос: „А кто виноват, что нет ответа?!“ Вопрос риторический, не чета Вашему лукавому: „В какой стране есть горы и долины?“

Нельзя руководствоваться Вашим подходом: „Все правильно, все правы“. И хотя Вы говорите: „Я готов их всех понять“ — позвольте Вам не поверить. По-моему, Вас больше занимают столичные страсти, а заниматься всякими окраинными дразгами, „мышинной“ возней Вам не хочется. Рад бы ошибиться.

То, что написано Камерланом Бязрти, не ново, и у Коста Хетагурова немало строк-опасений, боли за судьбы народа и языка. Это обстоятельство дало основания властям предержащим какое-то время числить даже Хетагурова в числе буржуазных националистов. Жизнь продолжается, но боль остается. Конечно же, чужая боль мало кого обычно трогает и кажется чем-то не заслуживающим внимания. К счастью, есть люди, не конъюнктурщики и фронтеры, а руководствующиеся принципами. Причем, принципами, не дающими им никаких благ, а неудобств всякого рода предостаточно. К таким резким людям относится и Камерлан Бязрти.

Представляю себе грома раскаты и благородные молнии начальнического гнева в присутственных местах и в республиканских средствах массовой информации: „Кто дал ему право так отзываться о республике, о тех грандиозных свершениях, о той огромной повседневной работе и т. д. и т. п.“. Последуют неизбежные придибки к его переклестам, обязательно сошлутся на Ваше мнение. Но что подделаешь, Бязрти любящий человек и, как видно, горячо любящий человек, а потому и печаль, и гнев всегда при нем. Отсюда и некоторые переклесты в суждениях и

оценках. Впрочем, перехлесты, пardon, передержки могут быть следствием не только гнева и печали, но и следствием личного снобизма.

Возьмем Ваше обобщение: „Осетин российский проклинает русификацию“. А что, русификация — благо? Однозначно? А цивилизация тоже благо? Но развитие цивилизации сопровождается нарастанием негативных явлений, суммарное воздействие которых на среду обитания, на экологию нравственности может привести к катастрофе. При этом человек, честно и мужественно выступивший против негативных явлений, может быть однозначно припечатан словами „он проклинает цивилизацию“, но это же не так.

„За мученье, за гибель, я знаю, — все равно принимаю тебя!“

Так вот, уверяю Вас, что Бязрти, окончивший в свое время МГУ, принял и достаточно полно (на себе) осознал полезность и необходимость уже сложившегося двуязычия. Откуда же тогда эмоции, вражда, проклятья? Да от сложившихся реалий. Ибо во всяком деле необходимы разумные паритеты, а теперь уже и разумный протекционизм. Но откуда же было возникнуть всем этим разумностям, если даже такой человек, как Вы, сегодня воспринимает позицию Бязрти как несущественную ересь, и это, поверьте, еще очень и очень либеральное восприятие (именно либеральное, а не либерально-демократическое).

Коснусь Вашего определения: „лингвистическое здравомыслие“. Нехороший стальной товарищ (тиран, деспот и т. д.), в общем, не демократ и не либерал — требовал от лиц, назначаемых из центра в нацокраины на ответственные посты, изучения, а затем и знания соответствующего языка (привести факты?). Как Вы думаете, это была блажь тирана? Или же осуществление на деле (не на словах) принципов взаимоуважения между народами, политической культуры, такта и этики, весьма необходимых в государственном строительстве многонационального государства? Нехороший Сталин понимал культуру отношений, конечно же, по-своему. А вот хорошие демократы, бесспорно, и более образованные, чем недоучившийся семинарист, и более эрудированные, со своим пониманием культуры национальных отношений, дали нам то, что мы имеем сегодня. А ведь Советский Союз до войны некоторые называли колоссом на глиняных ногах. Тем не менее в войну он выстоял.

Предполагаю контраргументы. Конечно же, конечно: тоталитарная система, террор, НКВД, ГУЛАГ, СМЕРШ, КГБ и прочее. Но на войне одним из (подчеркиваю: одним из...) видов героизма было: закрыть своим телом вражескую амбразуру. Какое принуждение, какое НКВД могло заставить человека броситься на амбразуру? Циники и пошляки скажут: тотальная пропаганда, тотальное оболванивание, — но на то они и циники. В списке героев (свыше двухсот человек) люди самых разных национальностей. Можно, наверное, сделать из вышеуказанного соответствующие выводы?

Что же касается российских ученых, занятых „ведением“ соответствующих народов, то знание языка „ведомого народа“ представляется вопросом их профессионализма и культуры. В этом случае „лингвистическое здравомыслие“ незнание языка — сродни верхоглядству. Впрочем, у каждого времени свои понятия о культуре и порядочности, и очень возможно, что и у меня, и у Бязрти устаревшие понятия. По-моему,

уже стала хорошим тоном эдакая агрессивная демонстрация „лингвистического здравомыслия“ в самых разных вариантах. Особенно она характерна для людей, волей судьбы вознесенных на столичные и прочие вершины. С точки зрения властей предержажих, да и не только их, в этом нет ничего особенного. Но хотелось бы предостеречь всех заблуждающихся, что „лингвистическое здравомыслие“ в его вариациях для государственного строительства вещь архинехорошая. Издержки не исправил ни батальонами десантников, ни дивизиями МВД или морской пехоты во главе с генералами, обремененными учеными степенями, без конца разбивающими бандитские формирования.

Не могу обойти и Ваш вопрос с намеком: каких национальных черт больше в „стальном товарище“? В контексте намек прозрачен. Сведения, касающиеся происхождения Сталина, сравнительно недавно ставшие достоянием широкой общественности, никогда не были секретом для уроженцев Южной Осетии (в том числе и для Бязарти). Но и тогда в ходу были анекдоты типа: „Ленин чукча был. Почему? Шибко умный“. Поэтому-то, к сожалению, слишком большой вес обрели вошедшие в широкое обращение свидетельства Троцкого, Мандельштама и других. Ну, а осетинам сегодня приходится дожидаться „своих“ Троцких и Мандельштамов, и это касается уже автора „Витязя в тигровой шкуре“. Заинтересованными лицами сделано очень многое, если не все, чтобы скрыть действительное положение вещей. Поскольку Руставели относят к великим гуманистам, то не перемените ли Вы поэтому хотя бы слегка свое представление об осетинском народе?

Не могу более обременять Вас своими суждениями. Скажу только, что мы (наше поколение) не избавимся от нашего культурного контекста, в этом Вы правы. Но время идет, и если не будет ничего меняться, то Ваш фатализм, к моему большому огорчению, может и не оправдаться.

С уважением — давно уже подмосковный осетин

Губади Хетагуров».

С радостью предаю это письмо гласности. Хотя и не без страха: вдруг уважаемый Губади Хетагуров сочтет, что я и здесь подлавливаю «доверившегося» мне автора? Фантастика, конечно: мне куда важнее дать человеку высказаться, чем оказаться правым (или признать себя неправым). Яркое письмо Г. Хетагурова настолько существенно и интересно, что могло бы обойтись вообще без комментариев. Некоторые проблемы в нем освещены весьма рельефно (например, «сложившиеся реалии» нашего межнационального общения), некоторые интригующе притенены (например, осетинские корни Иосифа Сталина и Шота Руставели), но тем более интересны.

Один мотив все же хочется откомментировать — по личным, так сказать, причинам: насчет того, откуда у меня — ирония. Не злая, не добрая, а, так сказать, перманентная.

Да, есть такой грех. Иной раз тональность включается интуитивно. Но не беспричинно. Иной раз ее и не объясняешь себе рационально. Но можно и объяснить. Мой уважаемый оппонент дает мне случай сделать это: самому себе объяснить (и читателю), откуда она, эта ирония, берется.

Да оттуда и берется, где мы говорим каждый о своей боли, не чувствуя ни боли другого, ни общей нашей беды. Украинец — о своем (и уже не слышит ни грека, ни осетина); грек — о своем; и осетин — о своем же (не слыша ни грека, ни украинца). А когда пытаешься понять и тех, и этих, — не верят.

Вот отсюда ирония моя: от бессилия. От отчаяния. На грани безнадёги. О, как горько я почувствовал это впервые — лет восемь назад — когда взорвалось в Карабахе, и ко мне в редакцию стали приходить по очереди армяне и азербайджанцы, люди, которых я хорошо знал и дружбу которых высоко ценил, — и требовали, чтобы я взял сторону одних против других. И никакие попытки свести, соединить их, никакие мои потуги «посредничать» не вели ни к чему, кроме новых обид и подозрений, что я, занятый «столичными страстями», не хочу спуститься до «окраинных дрязг».

Вот тогда и пришлось спасаться «просто иронией». То есть самоиронией прежде всего. Потому что то высокое, общечеловеческое, что есть во всех нас (и что для меня — выше любых национальных и тем более «столичных» страстей — простите уж мне мое интернациональное советское воспитание), это общее было прочно погребено под страстями.

Вот так и пошло дело: от «сложившихся реалий», вызывавших «вражду» и «проклятья», — к «тому, что мы имеем сегодня».

Оставьте уж мне хоть иронию. И простите, если она показалась обидной. Будем как-то выбираться из того, «что имеем».

Боль остается. Но жизнь — продолжается.

ТРАЕКТОРИЯ САПОГА

Этот анекдот был популярен в годы моей молодости. Приходит за полночь мужик с работы — усталый, злой. Снимает сапог, швыряет в стену. Потом соображает, что за стеной спит сосед: снимает второй сапог и тихо ставит на пол. Под утро — остервенелый стук соседа из-за стены и вопль:

— Когда же второй?!

Помню, в тяжелой тишине мы встречали 1994 год, отчищая белые стены от сапожно-черной копоти. В тишину не верилось, однако год прожили в тишине. В ожидании второго сапога. И вот он полетел.

Мне не легче оттого, что полетел он не в белокаменную стену родной столицы, а в стену Кавказа. Я так и не научился делить пространство моей памяти на кусочки. С обеих сторон гибнут родные мне люди. Нет исхода у этой боли. Нет разумного объяснения безумию.

«Я сын империи», — имел мужество сказать о себе Грант Матевосян, когда Армения откалывалась; но в грохоте развала никто его не услышал. Никто и теперь не слышит. Московская интеллигенция нервно напоминает дерущимся, что худой мир лучше доброй ссоры. Это, конечно, абсолютная истина, но люди, втянувшиеся в драку, абсолютных истин не слышат, они дерутся: убивают и гибнут. Виснуть на руках у бойцов, когда те уже пошли в бой, бессмысленно, если не подло; это напоминает ленинские лозунги

времен Первой мировой войны. Кошунственно желать поражения своему отечеству: может быть, власть в нем и плоха, но попробуй отдели власть от массы: власть — это структура, массой рождаемая; сколько бы правящих слоев ни угробилось в порядке классовой, этнической, религиозной или какой-нибудь еще чистки, — из этой же массы выделяются новые структуры, и делают то, чего хотят массы. Или и их срезают.

Вот я и хочу понять: чего мы хотим — чтобы Россия распалась на десятки малых государств? Или мы хотим жить в составе великой страны? Выжить можно и в том, и в этом случае. И в том, и в этом случае мучений не миновать. Мучительно тяжка жизнь в «великой империи». Мучителен и страшен разрыв. Мучительно терять великую культуру. Мучительно слышать со всех сторон, что эта культура душит другие культуры.

Я не выношу коллективных покаяний, да и индивидуальных не люблю, когда они публичны. Но меня мучает ощущение, что это я работал впустую, когда писал о межнациональных контактах и, стоя в точках схождения советских наций, пытался найти такой способ дыхания, чтобы быть одновременно и советским, и русским, и чтобы казах был при этом казахом, литовец литовцем, горец — горцем. В противовес известной песне о широкой стране, я нигде не ходил как «хозяин»; для малой родины мне хватало пары московских кварталов; для полного дыхания не хватало и шестой части суши, но заявлять где бы то ни было себя хозяином я не смел. Дорогим гостем бывал, и сам принимал гостей. Потому что верил, что тому огромному, пестрому, дышащему наследию, которое приняли мы от отцов — назовите его советским, российским, союзным, мировым (в шестой части), все-таки можно придать человеческое лицо.

Не удалось. Нам не удалось, мне не удалось; это моя катастрофа. Чечня — лишь горький результат этой, главной неудачи.

Как нормальный русский интеллигент, я сочувствую тому, кто слабее, кто с десятками танков выходит против тысяч. И как нормальный же русский интеллигент знаю, что распад России — это поругание всего, что накоплено за тысячу лет. Не «русскими» накоплено, нет, но — всеми: каждым, кто в ходе общего исторического труда почувствовал себя русским и стал им. Или можно представить себе русскую культуру без опыта горцев? Фигурально говоря, в Питере Ахматова, и в Грозном Ахматова. «Наша» Ахматова на четверть — от «их» корней.

Жить невозможно в этом помрачении. А надо. И надо решать: криминальная компания, надевшая зеленые повязки, — это все еще криминальная компания или уже святое воинство национального освобождения? И надо решать: десятилетний ребенок, прицеливающийся из автомата, — еще ребенок или уже противник?

Горе-то в чем: «операция» закончится, и ребенок, освобожденный от оружия, поедет учиться. Из горного селения поедет в белокаменную столицу. И выучится. И станет, может быть, генералом российской армии. И будет служить верой и правдой где-нибудь под Лугань. И не угадаешь, когда взорвется ненависть, осаженная ему в душу сегодня, в ходе «операции».

Господи, осади нас в нашей ненависти.

Как бы ни кончился кризис, — жить придется. И интеллигенция (русская, российская, всемирно-отзывчивая, из ста народов вербуемая) все равно должна будет делать то, что ей не удалось сделать: вырабатывать такую систему общих ценностей, из которой людям не захочется выламываться силой оружия. Многоруганная, распроклятая, гнилая-перегнилая, пинаемая-распинаемая интеллигенция будет искать эти ценности. Чтобы они были, когда изнеможенные от борьбы бойцы и боевики согласятся слушать доводы.

Вернувшись, не швыряйте сапог в стену: там сосед.

КИНЖАЛ. ТОПОР. ТАНК

«РОССИИ НУЖНА ТЕРРИТОРИЯ ЧЕЧНИ, НО... НЕ НУЖЕН ЧЕЧЕНСКИЙ НАРОД».

Этот крупно набранный заголовок расшифровывается так:

«...Нужна нефть, другие полезные ископаемые, горы, земля, но только не люди, которые живут на этой земле...»

Невозможно отвлечься от страшных обстоятельств, в которых написаны эти строки: они появились в «Общей газете» под грохот штурма Грозного — в новогоднем номере. В такой ситуации вообще ни о чем не думаешь, кроме как о том, как немедленно прекратить «все это»: кровь, бомбежки, пожары, взаимные обвинения, ложь с обеих сторон. Я не знаю, когда и как разрешится ситуация. Но рано или поздно о причинах думать придется. И вникать в доводы сторон.

Я хочу вникнуть в доводы Бориса Агапова, чье рассуждение из «Общей газеты» процитировал выше. Интересны и вызывают к спору именно принципиальные доводы, потому что непосредственные его чувства я совершенно разделяю. И насчет НАШЕЙ доли вины согласен. У «нас» в варварских средствах тонут любые цели. Побочный эффект начисто перешибает первоначальные намерения. В итоге получается то, чего никто не хотел.

Но о том, чего мы хотим, все-таки подумать надо. О цели.

Цель — целостность. Единство страны. Неделимость России. Нарочно беру самые одиозные формулировки: хочешь — не хочешь, а под ними есть реальность. Вопрос: какая? И как к ней относиться.

Борис Агапов пишет:

«Руководство нашего государства воспринимает проблему целостности России исключительно в плане территориальном. А ведь на самом-то деле куда больше следовало бы печься о целостности иного плана — национальной».

Давайте представим себе это попечение практически. Что такое национальная целостность России? Каким образом вы ее достигнете? Вы знаете, как это делается? Что такое этническая чистка, пробовали? Вы это предлагаете России?

Борис Агапов — вице-президент Республики Ингушетия, генерал-лейтенант советской (так?) армии в отставке, — он себя к какой «национальной целостности» отнесет? К русской? К ингушской? К какой-нибудь «смешанной»? А то, что Россия — по составу, по количеству «смешанного» населения, да наконец «по замыслу Божьему» и есть именно такое смешение — содружество соединение национальностей, — с этим как быть? Неужели миллионы людей, несколько столетий УЖЕ живущих в таком государстве, так легко позволяют разрезать его на «национальные целостности»? — даже если «руководство» разных регионов и уровней продолжит об этом печься? Я понимаю, что безумства хватят с обеих сторон, но ведь и разум у людей за всеми этими безумствами существует, и он все равно скажется, хотим мы того или не хотим.

— А мы именно не хотим, — говорит Б. Агапов от имени ингушей. И дальше перечисляет: — «...Якуты, тувинцы, татары, башкиры, евреи... все они прекрасно понимают, что не сегодня-завтра на месте чеченцев могут оказаться они».

Почему «на этом месте» оказались чеченцы.

Ответ: потому что они НЕ ЛЮБЯТ эту страну (то есть «нашу страну»).

Теперь вслушаемся в доводы.

«Почему они должны любить эту страну, которой нет ровным счетом никакого дела до их бед, до их печали, до их боли?..»

Они-де, чеченцы, рассуждают так: «Зачем нам идти к вам, в Россию? В нищую, голодную, забывшую о том, что такое — права человека, погрязшую в преступности? Наведите у себя порядок, постройте здоровое, правовое государство, и тогда никому не придется принуждать нас вернуться в Россию. Мы вернемся сами».

Выделяю главное: вы наведите у себя порядок, тогда мы к вам вернемся. То есть, Россия — не общий дом, который должны строить все вместе, не союз, в который вкладывают и от которого получают все создающие его народы, а раздельная кормушка, в которую можно прийти, если «вы» ее «нам» обустроите.

Значит, если мы ее не обустроим, вы не придете? А может, все-таки придете? И даже без приглашения? Если приспичит подкормиться?

Я отвлекусь ненадолго от статьи Бориса Агапова и обращусь к другой статье — Ирины Дементьевой, в «Известиях» от 17-го того же злополучного января 1995 года, и озаглавленной так же рельефно: «Хотят ли русские Чечни».

Я хочу связать следующие два рассуждения.

Первое: да отпустите их на все четыре стороны! Не хотят с нами жить не надо! «Вот уже три года ему (рядовому чеченцу. — Л. А.) говорят, что он бандит, что его родина — скопище бандформирований и отстойник всяческой преступности. С какой надеждой и благодарностью, верно, он прислушивается сегодня к словам Солженицына, предлагающего России отречься от Чечни: правильно, оставьте, оставьте нас в нашем „отстойнике“, живите сами в своей Москве...»

Второе рассуждение И. Дементьевой:

«Трудоизбыточность региона (Чечни. — Л. А.) всегда побуждала его жителей рассчитывать не столько на государство, сколько на самих себя, и едва ли не каждая чеченская семья, чтобы достойно прокормиться, одеться, построить дом, ежегодно отправляла кормильца и старших сыновей в Россию на заработки...»

Я не прошу вас, уважаемый читатель, оценивать верность каждого из этих утверждений, я прошу только одного: свяжите одно с другим.

Если мы окажемся в своих «отстойниках»: мы «в своей Москве», они — «в своей Чечне» — означает ли это, что «каждая чеченская семья» будет и впредь отправлять сыновей в Россию на заработки? И что такое в данном контексте «заработки»?

Недавно на Би-Би-Си был Круглый стол, посвященный северокавказским проблемам; там эксперты-историки употребляли другое слово: «набег». Причем без всякого осуждения: мол, условия жизни горцев таковы, что они экономически никогда и не могли замкнуться в своих горах и потому, естественно, «бегали» к жителям долин. Природа!

Хочется спросить: а «жители долин», к которым «бегают» такие гости, имеют ли естественное право как-то к этому относиться? Или из уважения к естественности таких набегов надо благословлять их как сезонные дожди?

Если (вопрос к И. Дементьевой) Россия оставит Чечню в покое, а Чечня, соответственно, оставит в покое Россию, — КУДА отправятся «на заработки» кормильцы и старшие сыновья из чеченских семей? В Анкару? В Тегеран? В Тбилиси, в Баку, в Ереван? И жители этих «долин» успеют обустроить свои «отстойники», чтобы «бегающим» на заработки гостям там понравилось? «Наведут у себя» порядок, чтобы те охотнее «приходили сами»?

О, я отдаю себе отчет в том, что у нас в России «наведение порядка» по интеллигентской традиции давно уже воспринимается только в пришибевском духе. Между тем, и дух ведь дышит, где хочет. Гордый горец ходит с оружием. Это «ментальность». Но и негордый русский терпеливец, доведенный до края, берется за топор, и это тоже «ментальность», извините.

Лучше обойтись без топора? Конечно. И без кинжала? Кто спорит! Но как это «обеспечить»? Может, все-таки общий порядок лучше, чем порядок явочный, кончающийся снайперскими засадами и «точечными» бомбежками? Может быть, все-таки это «порядок», и «нормальный порядок», когда выходец из горского селения становится спикером Российского парламента, а если перестает им быть, то не потому, что он горец, а по другим причинам. И этот же горец волен потом выбрать: возвращаться ли ему в родной юрт или продолжить профессорскую работу в московском институте. Это все-таки порядок: когда горец может стать генералом советской (то есть российской) армии. Может стать генералом, может — президентом или вице-президентом, — он может все, если останется в пределах общего порядка.

Может, конечно, и вооружиться против этого порядка. Но тогда и порядок вооружится: вызов на вызов. И дальше — слезы горькие. А вы, что

же, не знали, что мы — страна варварская? Господа генералы и господа президенты, уважаемые силовые начальники, вы не знали, что на всякую демонстрацию силы находится другая сила, и конца этому не будет, пока не сойдутся разум с разумом... А если делать по разуму, то тогда это уже не «наша территория — ваша территория», тогда это уже «общая территория», на которой учитывается все. В том числе и менталитет народов, где каждый мужчина носит кинжал. Но не установку «Град». И ездит верхом. Но не в танке. Танк — это уже средство передвижения «на все четыре стороны».

Четыре — не так уж много, чтобы не рассчитать последствий. От одной, северной, отгораживаемся — остаются три. И ведь нигде не «ждут», нигде не спешат «навести порядок», чтобы гости соблаговолили пожаловать, а везде свой, общий порядок, в который надо вписываться.

Впрочем, все это действительно «общие» материи, от рассудка, а по-человечески-то: через себя не переступишь... Что в статье Бориса Агапова действительно сильно — так это представление о России как о нищей, голодной, погрязшей в преступности стране.

Я не хочу сейчас спорить, таковы или не таковы мы в реальности. Даже если не таковы, — представление о русских, здесь выраженное, — тоже реальность. Надо признать: мы даем к тому некоторые основания. Даже если характеристики и усугублены. Есть только один путь россиянам решать неразрешимые проблемы: меняться к лучшему. Не для того, чтобы понравиться «якутам, тувинцам, татарам, башкирам и евреям». А чтобы понравиться самим себе. Это неизмеримо труднее.

Может быть, еще и потому, что дело-то вовсе не только в тех гримасах русского «менталитета», о которых кричим и мы, и весь мир (пьем, врем, не даем друг другу работать и т. д.). Дело еще и в фатальной исторической «усталости», накопившейся в центральных структурах за века напряжения. Аналогии невеселые. Пока Рим был в силе, окружающие его «народы» (то есть люди) охотно почитали себя его гражданами; когда движение к центру и через центр на мировой «форум» застопорилось, — граждане, особенно в провинциях империи, обнаружили, что они — «народы». Ответить на это нечего: имперская власть никогда по определению не бывает «национальной», она всегда мировая, вселенская, универсальная. Теряет она это качество — и распадаются граждане на «народы», на языки, племена, нации.

Вот и мы сейчас ощущаем что-то вроде закупорки центральных сосудов. «Мы» — не в том смысле, что «русские», а в том, что это может сказать о себе любой российский (еще недавно советский) гражданин, привыкший через «центр» чувствовать себя в контексте мировой культуры. Горько, что потеряно это ощущение.

Однако не здесь, так в другом месте «центр» все равно определится. Такие центры неизбежно возникают в ходе решения объединяющих задач, усилиями многих народов, на «территории» какой-нибудь общей «единой-неделимой» долины, в которую с гор сначала «бегают», а потом на полном законном основании «спускаются» граждане, считающие, что это — «наше государство».

«Наше государство» — слова Бориса Агапова. Оговорился он, что ли? Господин вице-президент, товарищ генерал-лейтенант в отставке! Если оно «наше», то порядок надо наводить вместе. Разумеется, России «территория» Чечни нужна. В такой же степени, в какой Чечне нужна «территория» России, с ее городами, университетами, институтами, академиями, консерваториями и прочими «отстойниками» культуры. И «народы» друг другу нужны. Хотя бы затем, чтобы воин, охранявший «общую территорию» (Борис Агапов был генералом погранвойск), имел бы право и возможность возглавить на этой «общей территории» ту республику, которая его на эту роль изберет.

Только бы не садились в танк и не объявляли суверенитет явочным порядком. Это самый долгий путь, и, боюсь, не в разумно избранную сторону, а именно — на все четыре, то есть куда придется.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН

*Солдаты, скорее всего, не знали про то,
что красота спасет мир, но что такое
красота... они, в общем, знали.*

**Владимир Маканин. Кавказский
пленный**

Солдаты еще не знают, что ведут Вторую Кавказскую войну, но что такое война, ставшая образом жизни, они уже знают.

Литература Второй Кавказской войны хочет опереться на литературу Первой Кавказской войны. Потому что сейчас не на что опереться, а тогда величайшие русские перья, поэтические и прозаические, отточились о Кавказский хребет.

Вскользь отсалютовав Достоевскому, главным ориентиром Маканин выбирает Толстого. В названии хрестоматийного толстовского рассказа он меняет две буквы; «пленник» становится «пленным» и таким образом из контекста девятнадцатого века попадает в наш.

Это не братание с классиком, не подстраивание к нему и, тем более, не модная сегодня постмодернистская перекройка, неазываемая «римейк». Это отсыл.

Мы смотрим на Толстого, потому что он выдержал когда-то кавказский экзамен, а мы боимся не выдержать.

Тут опора не на тот или иной эпизод давней кампании, а на общую память о ней. У Толстого помнится не только история «кавказского пленника» — в маканинском рассказе можно найти отзвуки и «Набега», и «Рубки леса», и «Казakov»; то есть: он адресуется к общей толстовской идее «живой жизни», которая мудрее любых искусственных умствований о ней. Толстой не хотел вникать в доводы политиков и генералов, загнавших русского солдата в горы, он вникал в другое: в то, что девочка-горянка тайком носит пленнику молоко. В сочувствии горянки к пленному «урусу» больше правды, чем в доводах всех схватившихся здесь властей, и именно в этом простом контакте простых душ — выход для Толстого.

Мы выхода не знаем. Но знаем, где его искал Толстой. Мы не можем распутать геополитические узлы, но чувствуем, что тоже соскальзываем в простоту. Только эта простота не спасает. У нас в ушах вопли передравшихся между собой югославов, которые разделились на сербов, хорватов, боснийцев, краинцев и еще десятки анклавов, пустили друг другу кровь, а теперь, стоя на пепелище, спрашивают: «Что с нами произошло? Мы не понимаем, что с нами случилось!»

Вот он, главный штрих в портрете современного бунтующего сознания, не знающего, какая сила бросает его против ближнего и отрезает путь к примирению. Это — главная правда и о Второй Кавказской войне. Другой пока нет.

Весь «верхний уровень» объяснений: причины, цели, исторические права, государственные интересы — все это срезано у Маканина, аннулировано в сознании его героев. Они просто живут, то есть стреляют, прячутся от пуль, дразнят друг друга через линию противостояния и даже веселятся, потому что во всем этом есть элемент игры: попав в ситуацию, когда смерть действительно рядом, — люди вовсе не хотят убивать друг друга. Они тоже сказали бы: «мы не знаем, что с нами происходит», — если бы рискнули задуматься. Но здоровым инстинктом они запрещают себе залетать умом в сферы, где их ждет абсурд. Поэтому они просто живут. Живут в обстановке, где почему-то летают пули, взрываются мины и таятся засады.

Но почему, почему?

Толстой в этом случае мог думать о человеческой глупости, о подлости правящих сил и т. д. Маканин, его современный оппонент, снимает этот умственный слой начисто. Потому что не надеется ничего извлечь оттуда, кроме тех же глупостей и ловушек. Жизнь опускается у Маканина на простой биологический уровень, без всякого намека на толстовские самооправдания. Просто рефлекс, и все. Если два солдата являются к подполковнику, то подполковник озабочен не делом, с которым те явились (о деле сказано: «Никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога!»), — он озабочен тем, чтобы солдаты на него поишачили: разбросали песок по дорожкам или помогли в огороде. И это нормально, это в порядке вещей. Если солдат видит «бабу», то, не теряя ни секунды, тащит ее в укромное место, и баба не очень-то упирается. Ей, бабе, тоже «скучно», и она по случаю готова отдаться попавшемуся на глаза мужику, будь то «молодцеватый майор» или шустрый солдатик.

У Толстого в этом случае все-таки рефлексировали. Во всяком случае Оленин при виде Марьяны и Толстой при виде Оленина. У Маканина ни намека. Все просто. Хорошо, когда баба «большая», ее удобно «обхватить». Совокупляются стремительно и по-звериному целесообразно. И этот вариант кажется естественным не только солдату и «бабе» — он кажется естественным и самому Маканину. И, наконец, сознаюсь, что этот вариант начинает казаться нормальным и мне, читателю. Потому что таковы условия игры: жизнь сползла в какое-то невероятное измерение, где все прежние правила, законы и идеи обесцениваются, и возникает совершенно новая система жизни и выживания. Без вражды и злобы.

Пленных берут не затем, чтобы ослабить противника. Пленных берут, чтобы потом выменять. Даже не на других пленных, а — на право проехать по такой-то дороге. То есть это все-таки в известном смысле «игра». Хотя и смертельная.

Беря в плен горца, наш солдат вовсе не ненавидит его. И когда тащит на себе красавца-юношу, — чувствует с ним уже и душевную связь. И когда стережет его ночью, — им любитесь! Я оставляю в стороне некоторый пережим, некоторый «голубоватый» налет в этой сцене: возможно, Маканин полагает, что без оттенка скандальности — «не подействует». Но на меня — действует, и не из-за намеков на смутное влечение нашего крутого мужика к нежному мальчику, которого он скрутил, а потому, что союз насильника и жертвы психологическое откровение нашего времени.

Я никогда не забуду, как женщина с теплохода «Аврасия», проведенная сутки под дулом автомата, горевала о террористе: «он мне рассказал, что его прогнали с Кавказа, он сидел рядом и плакал...» При этом его палец был на крючке, а динамит — по периметру палубы, но террорист действительно плакал, и она, заложница, плакала вместе с ним, и, рассказывая это, плачет о нем.

Невероятный симбиоз, феномен двадцатого века. Или уж — двадцать первого?

У Маканина говорят:

«— Если по-настоящему, какие мы враги — мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет?» — любой наш солдат и любой чеченец ответят на это согласием, а потом упрутся в ту же «югославскую» апорию: мы, люди одного мира, убиваем друг друга, И МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ.

Наш солдат убивает пленного юношу-горца вовсе не из какого-то внятного чувства, будь то даже ненависть, вспыхнувшая на месте любви. Нет, просто инстинкт самосохранения. Лежат у тропы, а по тропе, как на грех группа боевиков; мальчишка может заорать, и его душат, пока не поздно.

«Писатель двадцатого века», Маканин перемешивает ангельское с бесовским, а сам как бы устранивается. Штрих патологоанатома: «несколько конвульсий...» и только. Поздний Маканин (с момента отмены цензуры) вообще — живописец морга: внутренности наружу. В «Кавказском пленном» один труп с разбросанными кишками так описан. У меня нет охоты упрекать писателя в превышении меры, потому что, как я уже сказал, он рисует реальность, которая находится за гранью понимания (то есть нашего традиционного знания о том, что истина — одна, добро лучше зла, красота спасет мир и т. д.). Надо ли говорить, что прежний Маканин мне ближе и понятней: Маканин — исследователь человеческой типологии, Маканин-психолог, Маканин-социолог...

Да вот же они, знакомые типы. Картинка из прошлого: советский майор является в райком партии «выбить» харч для своего подразделения. Можно договориться по-человечески: мы вам тягач или там запчасти — вы нам баранины...

Они и теперь сидят, дружелюбно беседуя: ты мне — харч и проезд «без этих дурацких засад», а я тебе — десять «калашниковых» и пять ящиков патронов. Те же люди, только «молодцеватый майор» теперь — опытный, усталый, тертый жизнью подполковник, а давешний райкомовец (или райисполкомовец?) теперь — полевой командир боевиков (или, как минимум, их тайный снабженец).

Типология у Маканина, конечно, потрясающая (сидят два кунака, пьют чай — как сидели, обнявшись, ночью русский солдат и юноша-кавказец «пленный»), но... тут ведь, помимо типологии, еще и социополитика в зародыше, и — невиданная.

Что, собственно, происходит? Подполковник Гуров должен кормить своих солдат. Он у Алибека выменивает харчи — на оружие.

Так. Харчи солдаты съедят. Оружие... оружие пойдет боевикам, которые будут стрелять в солдат. Нет, не обязательно затем, чтобы убить. Убивать никто никого как бы и не хочет. Тут какая-то запредельная игра: мы берем боевиков в полукольцо, на выходе их ловим, а потом вымениваем... на что? На право проезда колонны в такое-то место. Колонна везет туда... оружие. Это оружие потом Гуров отдаст Алибеку за харч...

И в этом безумном, с точки зрения логики, круговращении живого и мертвого таится какой-то незнакомый нам, новый образ существования, в свете которого все «идеи» (имперские, сепаратистские, федералистские — любые) кажутся тоже игрой, только пустой.

Идет выработка совершенно новых понятий.

«— Долины здесь наши.

— Долины ваши — горы наши».

Почти по тому самому проекту, который, легализуя реальный фронт, предполагает независимость населенной чеченцами горной части и российское подчинение тех равнинных районов, где большею частью живут русские, — да вот осуществления такого проекта не хотят ни те, ни эти. Оформить-то можно что угодно, — как сделать, чтобы на микроуровне жизни выкристаллизовался такой тип сосуществования?

Он пока что в «коллоиде»:

«— Алибек! Ты же, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывая, где ты находишься. Ты у меня сидишь...

— Шутишь, Петрович. Какой я пленный... Это ты здесь пленный... И каждый твой солдат — пленный!»

Смеются: плен для всех без исключения. А ты думаешь: они все взбесились? Чего им делить? Зачем Алибеку «десять „калашниковых“ и пять ящиков патронов»?

И вдруг странная, «биологическая» мысль въезжает в голову: да эти «калашниковы» как раз и определяют всю абракадабру отношений. Огромная держава готовилась отбить нападение извне, ковала и совершенствовала оружие, полвека копила его... И в какой-то момент все это пошло через край, и огромное количество людей ПОЛУЧИЛО оружие: простое, компактное, дешевое.

«Моджахед со „стингером“» решил геополитическую ситуацию в Афганистане.

«Чеченец с гранатометом» решает ситуацию на Кавказе, да как бы и вообще в России.

«Человек с ружьем» вновь выходит на авансцену истории, только «ружье» у него стократно убийнее давешнего, а чувство безнаказанности — вовсе беспрецедентное. Тут не то что коммунию провозгласить в уезде — тут правительство великой державы можно поставить на колени, взяв в залог роддом, ясли или детсад.

Соблазн неслыханный.

И соблазняются — все. Молодые горцы — «хотят поскорее убить первого (русского. — Л. А.), чтобы войти во вкус». Русские, вместо того чтобы, отслужив, собрать чемоданы и отбыть в родимую «степь за Доном», — смотрят вокруг («А горы!..» — как Толстой когда-то ахнул) да тут и остаются. И «не без удовольствия стреляют...»

Они понимают, вообще-то говоря, что творят? Вряд ли. О последствиях никто не думает. Только о том, что есть возможность «пострелять». Это не война в той форме, которая врезалась нам в сознание с 1914 или 1941 года. Это образ жизни эпохи Стингера-Калашникова. Инстинкт здорового существа, «не знающего» ничего ни про историю, ни про то, что красота спасет мир.

Да что же это все — обеспамятовали?

А старики!?

О, старики у Маканина мудрые.

Старики говорят: поход на Европу пора делать — пора опять идти туда. Старики говорят: это не так далеко. Пойдем с русскими: куда русские, туда и мы. И чего мы друг в дружку стреляем? Время от времени в Европу ходить надо. Старики говорят: сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет.

Европа — это, конечно, вариант. Но можно и в Азию (если все, что южнее Хребта, — Азия). Хаживали же и к персам, и к туркам. То есть, не хаживали — бегали. Никогда горы не могли прокормить всех живущих здесь, и был вековой способ выживания — набег. А уж куда бегать — вопрос практической целесообразности. На север тоже бегали — пока север не пришел сам, и не «пленил» вольных бегунов, и не «пленился» сам — Кавказом. А потом повернули общий фронт — на запад. То есть, как говорят старики, в Европу.

Да ведь и Европа не ждет, пока на нее «набегут». То Наполеон оттуда вдарит, то Вильгельм, то Адольф. И тогда мы с горцами — плечо к плечу против такой напасти... И лучшие, вернейшие части русской армии — горские. И психологически — «жизнь как жизнь становится» — правы старики. Такой взаимный душевный кавказский плен.

Ну, так выбирайте. Куда идти. Или, точнее, уйти? Уйти с Кавказа, признав свое бессилие. И ждать «набегов»? И ждать — чем обернется там накопленная бешеная энергия, да при дешевом оружии и при абсолютной

вседозволенности? Кто там в кого примется стрелять, когда стрелять охота всем?

Или — никуда не идти. Упереться и ждать. Чего? Когда «придут» — из Европы или из Азии? Или пока обе стороны, испытывающие от стрельбы «удовольствие» и торопящиеся «войти во вкус», искромсают друг друга настолько, что просто физически не смогут продолжать драку, — и тогда разом найдутся и посредники, и прорежутся ответственные политики, и согласуются исторические права, и пресловутая «дружба народов» воцарится над кладбищами и пепелищами.

Маканин так далеко не заглядывает. Он — эксперт. Берет капельку крови на анализ и сообщает результат.

Диагноз. Эпикриз. Вскрытие.

А нас охватывает тоска, которую с помощью Толстого мы тщимся переиграть в кураж.

ДОРОГА И ОБРЫВ

*Беспечные и радостные от сознания
полной свободы, овцы щипали траву,
пододвигаясь все ближе и ближе к краю
обрыва.*

**Отар Чиладзе. Шел по дороге
человек**

Какой дорогой пришел к своему первому роману знаменитый поэт-шестидесятник, какие травы и на каких полях собрал? — Этот вопрос казался чуть ли не решающим и поначалу, и потом, когда последовало продолжение: вслед за первым романом вышел второй, в том же мифологическом ключе («И каждый, кто встретится со мной»), затем третий («Железный театр»), и стало ясно, что именно роман-миф, символически опрокинутый на текущую реальность, является главным достижением грузинской прозы 70-80-х годов, а пожалуй, и вообще конца XX века, впрочем, не исключено, что и всего столетия.

В качестве литературоведческого откровения разнеслась мысль о том, что грузинская проза мгновенно откликнулась на мировое поветрие, донесшееся до нас из Латинской Америки... В ответ литературные пимены уточнили, что хотя Гарсиа Маркес и завершил свои «Сто лет одиночества» на пять лет раньше, чем Отар Чиладзе — свой первый роман, но прочесть колумбийского романиста грузинский поэт не мог, потому что когда он в начале 70-х годов работал над своим романом, Гарсиа Маркеса еще не перевели... и, стало быть, грузинская душа дозрела до мифологического реализма не вдогон латиноамериканской, а в параллель — и самостоятельно.

Колумбийца Отар не читал. Но немца читал же! «Иосиф и его братья» были переведены на русский как раз к началу 70-х годов.

Ну и что? Даже если Томас Манн и повлиял, а скорее всего, не повлиял, а просто укрепил в уверенности, что человек идет по правильной дороге, ведь кроме чисто номинального сходства жанров там все иначе!

Прозрачная сетка мифа наполняется в каждом случае плодами совершенно автономного опыта. Мало ли кто и когда опирался на миф об аргонавтах! А у Чиладзе еще и Дедал с Икаром задействованы, и казнь Фарнаоза в финале романа перекликается с евангельским распятием, и напасти на голову жителей Вани заставляют вспомнить откровения Иоанна Богослова, и сад Дериачанги выращен не без оглядки на библейский Эдем...

Но невозможно же роман в миллион печатных знаков извлечь из мифа, уложенного на одну страничку! — роман рождается из собственного опыта, а то, что повивальной бабкой, крестным отцом и названным дедом являются при этом Медея, Ясон и Аэт, лишь позволяет автору увереннее оттолкнуться от общеизвестного. И совершенно не важно, что писали на эту тему Еврипид, Сенека и Корнель, — роман Отара Чиладзе возникает и осмысливается не в этом контексте.

А в каком?

Не примите за дурную шутку: он возникает в контексте... социалистического реализма. От противного, но в достаточной и весьма продуктивной зависимости. Недаром же Отар Чиладзе как поэт вззошел звездой на небосклоне «шестидесятников», в последовательной оппозиции «народным эпопеям» позднесоветского образца. Перейдя с поэзии на прозу (то есть от лирического афронта к фундаментальному пересмотру ценностей), Отар Чиладзе перехватил у своих оппонентов сверхзадачу (то есть вознамерился изобразить не просто жизнь души, а жизнь народа — как целое, причем во всем возможном богатстве проявлений). Притом решение сверхзадачи идет у него вразрез общепринятому: вместо проверенных социальных типов — мифологемы фольклорного толка, вместо конкретно-исторических примет времени демонстративно вневременные категории, вместо точного и соразмерного реалистического письма — поток перемешивающихся подробностей, увиденных вольным оком, воспроизведенных сочной кистью и тем более вызывающих по отношению к схемам, извлеченным когда-то социалистическим реализмом из «Войны и мира».

В этом контексте первый роман Отара Чиладзе воспринимался в 70-е годы как роскошество зрелой советской культуры, как избыточное (если принять в расчет яркость, насыщенность, «безудержность» словесной ткани) обогащение палитры прозаика, зарядившего роман поэтическим неистовством и своеволием. В 80-е годы проза Отара Чиладзе (уже вся его трилогия, не только первый роман) воспринимался как подспудное накопление сугубо национального и чисто грузинского опыта, достойного лечь в базис независимой духовной культуры и суверенной государственности... хотя никакой прикладной «политики» из текстов Чиладзе извлечь невозможно — ни тогда, ни теперь.

Тем интереснее перечитать его роман теперь, по исходу века, когда независимая духовность грузин уже прошла через романтический искус звиадизма и, совершив этот ослепительный полет, оказалась перед проблемами удручающе-земными. Но дело даже не в этом, а в том, что грузинский мифологический эпос новейшего времени оборачивается не уникальным в своем безумии эпизодом (настоящий сюжет романа «Шел по дороге человек» — история безумия от Фрикса к Фарнаозу), а шагом в

мировом паломничестве человечества к праисторической истине — чтобы спастись от индустриального безумия.

Глобальность этого паломничества наводит на мысль о том, что от всемирной «мондиалистской» драмы не укрыться ни в какой национальной «пещере».

Отар Чиладзе может ответить: мысль — одно, а жизнь — другое. В мыслях хранится то, что в реальности давно уже не существует...

Да, это правильно — для эпохи почвенно-ретроспективной. Но до нее, в эпоху полетов и перспектив, мысль лелеяла и угадывала как раз то, что еще не существует.

Остановившись на краю обрыва, сын любимого героя Отара Чиладзе (он же — любимый сын грека Дедала), хочет оттолкнуться и полететь. Отец шепчет ему, что летать рано, что мир еще только будет таким, чтобы — летать... Сын говорит:

— Но ведь он и теперь такой.

— Да, такой — и будет таким всегда.

Венчая роман этой фразой, Отар Чиладзе фиксирует стрелку духовного сейсмографа в точке нейтрала, так и не решив, что же там в твердом осадке: летящая мысль или твердая почва. Риск или надежность. Путь или дом.

Или так: судьба или природа?

Невозможность однозначных ответов на эти вопросы побуждает нас пройти вслед за человеком по дороге его мучений.

Первое, что нам предложено осознать: откуда он идет?

Из города Вани.

Столица легендарных колхов, в греческом мифе возникавшая как точка приложения усилий предприимчивого Ясона, здесь — точка отсчета. При всей мифологичности предъявляемого нам образа, в нем угадываются черты и запахи реальной Колхиды, реконструируемой грузинским сознанием в качестве вечной национальной ценности. Это мир неунывающего народа, где все живут радостью общения. Замки не запираются, кумушки чешут языками, соседи перебивают друг другу косточки. Ванцы добры и злы, незлобивы и злорадны, самоотверженны и лукавы, как все отпрыски адамова семени, только они еще с особенным чувством юмора, то есть с готовностью обхохотаться надо всем и вся. Включая самих себя. Радуются, когда море плещет в причалы их гавани, принося на волнах корабли из чужеземных краев. Отшучиваются, когда море отступает, оставляя городу зловонное болото. Вообще, как заблагорассудится Посейдону, так и будет. Боги решают, а люди терпят и надеются. Так было всегда и так всегда будет. Времени ванцы не замечают, вернее, не размечают. В их мире время не является ни мерой, ни базой последовательных событий, хотя каждый миг каждое событие обладает изначальной непреложностью.

Вы видите этот мир с тем большей отчетливостью, что все его признаки — неизменны и все его персонажи появляются с приметами, приросшими к ним наглухо. Как в фольклорной песне. Если Малало — «черноглазая», то без этого определения она в тексте возникнуть не может

— только в сращении с эпитетом. Как виноторговец Ваха в начале повествования садится на свою любимую скамеечку, поставив меж колен любимую палку с круглым комлем и сложив на ней руки домиком, так и сидит Ваха до последнего появления. Как пропах колыбельный мастер Бочия древесиной, так и пахнет, и дытел с первой до последней страницы без страха сидит у него на плече. Бедия как ходил с мотком веревки на плече, так и ходит. А Куса — с мешком позвякивающих железяк... но к Кусе мы еще вернемся. А пока — о городе Вани и его жителях ванцах.

Исторического времени нет, конца и начала жизни нет, прошлого и будущего нет; все кольцуется; дети незаметно подрастают и входят в роли взрослых; взрослые тихо умирают, уступая места и роли. Впрочем, не тихо, а иногда весьма громко: живое и мертвое настолько привычно чередуются в этом бытии, что между ними в сущности мало разницы, и по поводу смерти виноторговца Вахи горожане потешаются с тою же искренней веселостью, с какой они хохочут над странностями какого-нибудь чудака Фарнаоза, решившего жить в пещере... или взлететь... или еще как-нибудь распотешить эту несдвигаемо прочную вселенную.

Вспоминается Томас Манн: как у него идет человек вдоль берега моря и видит, как возникают на горизонте мыс за мысом — это такие исторические горизонты, когда не определишь, что за персона скрывается под легендарным именем: это может быть и прадед, и правнук....

Отар Чиладзе реализует подобные мифологемы с такою же обманчивой невозмутимостью, что и великий немец: и там, и тут невозмутимость коварна.

Настоящая вечная жизнь состоит из таких же первичных звуков и предметов, как стук топора, петушина песня и тень замершего на потолке скорпиона...

Читатели, имеющие вкус к эмоциональной тайнописи, особенно у такого поэтичного стилиста, как Отар Чиладзе, не пропустят, конечно, эту тень, то есть эту смертельно ядовитую бестию, как бы невзначай влетевшую в вечный рай. Конечно, это «чисто реалистическая» деталь из быта жителей субтропиков. Но перед нами отнюдь не «чистый» реализм, а реализм мифологический, к тому же воплощаемый рукой поэта. Когда царская дочка (а царские дочери в этом мире бегают с тазиком к речке стирать белье и обустраивают свой двор не в том смысле, в каком это будут делать короли времен Абсолютизма, а как крестьяне всех времен), так вот: когда царская дочь, отгородившая свой укромный «дворик», боится, что кто-то отломит прутик от ее изгороди, — вы воспринимаете этот образ чисто поэтически. Прутик рифмуется с тем, как птица лепит хрупкое гнездо из сучков мечты, скрепляя их клеем греха. Прочувствуйте же лейтмотив: обламывается веточка и исчезает сад; именно так, от одной сломанной веточки умирает сад Дариачанги, превращаясь в кладбище, — это центральный поэтический образ романа, базисная мифологема, национальный рай, расцветший на краю обрыва: тронешь ниточку — все рухнет.

Если у всего есть свое вечное, принадлежащее ему место... то стоит лишь пошевелить, чуть сдвинуть или заменить какую-либо, хотя бы самую

незначительную часть этого мира, чтобы все спуталось, пришло в смятение, и воцарилась неразбериха.

Почувствовали?

То ли это мир, то ли мираж.

Мираж исчезает от любого внешнего толчка.

Первая естественно грозящая этому самодостаточному миру опасность появления чужака.

Чужак приходит робко, держится скромно, просит убежища, благодарит за приют. Потом он осваивается, становится весел, непринужден, подчеркнуто беззаботен. Потом он гордо поднимает голову, глаза его светятся, как у зверя, он проворен, быстр, удачлив.... Он идет по волоску над пропастью, однако укореняется прочно.

Можно привязать эти качества, или эти стадии вторжения, к облику того или иного героя, скажем, Фрикса или Ясона, можно соотнести их с «волнами», накатывающими на Колхиду «вечно» и появляющимися из «бесконечности», подобно тем же мысам Томаса Манна.... Отар Чиладзе настолько прикован к этой роковой опасности, что невозможно не спросить: откуда она?

Ну, как же, она — из Греции.

В той мере, в какой художественная реальность романа выстраивается по матрице мифа об аргонавтах, и роль иммигранта выполняет грек, — источник этой порчи обнаруживается на острове Крит, где сидит и плетет свои хитрые сети «царь царей» Минос... Коварство его козней заставило бы оцепенеть человека, не знающего новейшей истории: Минос засылает в Колхиду Фрикса вовсе не как завоевателя и даже не как разведчика! Он засылает его... как вызывающего к жалости сироту, как спасаемого агнца, как усыновляемого и вечно благодарного родича... То есть Миносу нужно, чтобы в Колхиде у греков появились гнездо и могила. Человек, знающий новейшую историю, легко нащупает параллели: Германской империи нужны фольксдойчи во всех краях Европы, Российской империи в тех же краях нужны русские поселенцы; албанские «гнезда и могилы», заведенные полвека назад в Косовском крае, дают вашингтонскому Миносу повод разбомбить сербов в Белграде... как тысячи лет назад Миносу критскому нацелить армады на колхского Аэта.

О, я представляю себе, сколько геополитических бомб сдетонировало бы в этом сюжете, если бы Отар Чиладзе действительно имел вкус к таким аллюзиям. Но, кажется, его занимают проблемы иного уровня. И образ чужака, вечно стучащегося в ворота Колхиды, вовсе не с тем выставлен у этих ворот, чтобы художественно защитить свое или возопить о беззащитности. Тут куда более интересный философский смысл.

Во-первых, в роли чужаков оказываются у Отара Чиладзе отнюдь не только греки, оседающие в Колхиде, но и колхи, изгнанные сородичами на тот же Крит или добровольно сбежавшие туда от междоусобий, чтобы там, под крылышком у Миноса, поливать эмигрантский хлеб слезами тоски по родине.

Во-вторых, в истоке опасности оказывается у Отара Чиладзе вовсе не один только империалист Минос; там еще живут критяне, народ, простые люди, которые радуются, когда их корабли возвращаются из очередного похода с добычей и огорчаются, когда без добычи, — они-то и дают кров и очаг («гнезда и могилы») многочисленным политэмигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам.

Стало быть, в Колхиде народ и на Крите народ — ставки уравнины.

И, в-третьих, вернемся к мифу об аргонавтах и спросим себя: почему Ясону все-таки удалась его афера? Почему обаятельный прохиндей, втершийся во дворец Аэты и стибривший золотое руно, сумел с честью вернуться восвояси и даже утер нос «царю царей», который рассчитывал, что его посланца в Колхиде изрубят на куски и появится повод послать туда ограниченный контингент?

Потому что нашлась Медея, которая Ясона — полюбила.

Здесь мы подходим к существенной особенности Отарова стиля, опять-таки выдающей в нем прирожденного поэта. Эпический сюжет разворачивается в одном направлении (назовем его геополитическим), а интонационные лейтмотивы, лирические обертона, неистребимые смысловые ореолы слов разворачивают ваше впечатление в направлении противоположном. Они создают невидимое и неслышимое, но неотвратимое, как рок, противозвучание.

В этом противотоке — художественный секрет прозы Отара Чиладзе. Веселые ванцы могут потешаться над чем угодно — слезы сочатся сквозь смех. Беда нависает над людьми, безумие разъедает их души, кости убитых гремят в мешках, подвешенных к деревьям райского сада, — и все это отворено и освящено одним словом: «любовь».

Само это слово сопрягается в смысловом поле романа с кругом понятий, означающих горе. Любовь — это гибельное знание тайн и чудес, выхватываемое из мрака вечности и беспредельности. Любовь — это предательство, путь до лобного места. Любовь — это унижение и растоптанность, это раздражение, гнев, сбитость с толку. Это грех, страсть, страдание, беда, несчастье. Это глупость, наконец. Это ненависть, неотличимая от любви. И это — смерть. Влюбленная героиня поет «одно и то же», поет то, что «хочется», так что и бранить ее за это не стоит, но что же она поет, «вертясь перед зеркалом»?

А нашей любви, мой милый,

И смерть не разорвет...

И при всем том, что смерть, боль и несчастье подстерегают человека каждый раз, когда он пробуждается к любви, он все-таки обречен на все муки. Почему?

Потому что это любовь.

И самое глубинное сопряжение ключевого понятия у Отара Чиладзе — не с ненавистью, глупостью и гибелью. Самое глубинное — вот: он утратил право на мечту — на мечту и на любовь.

Вы думаете, что «мечта» — это поплавок, который поможет «любви» всплыть?

Вовсе нет. Это грузило, которое ее дотопит. Это сизифов камень, который придется тащить. Это крестная ноша, которую почему-то берет на себя человек и даже ищет ее.

Но почему все-таки?

Потому что это мечта.

Любовь, мечта и тайна — вот понятия, святое обаяние которых неслышно разворачивает человека от надежного, привычного, традиционного образа жизни — к неизвестности. И он начинает свой путь, идет по дороге, бежит по волоску над пропастью...

Наверное, он бежит над той самой пропастью, к которой приближаются беспечные радостные овцы, щиплющие траву...

Он чувствует, что нужно полностью разгадать эту тайну...

Это — герой чувствует А автор-повествователь, знающий о своем герое «все», чувствует необходимость очередной раз повернуть хрусталики слов:

Душа его... спокойна, потому что он не знает истины.

Первая фраза — о Фарнаозе, сошедшем с ума отщепенце (между прочим, обезумевшем именно от любви). Вторая фраза — об Аэте, всемогущем царе Колхиды, от львиного рыка которого содрогаются стены дворца и сердца подданных.

Один из лейтмотивов романа — бессилие всемогущего. Аэт, грозный владыка, безмерной мощью своей и громовым голосом подобный самому богу войны, — в финале предан собственной охраной, связан и вывезен вон из дворца неведомо куда... Ухеиро, великий воин, нанизавший на копье бесчисленных врагов, в конце жизни лежит с перебитыми ногами и вышивает гладью на полотне сагу о своих былых подвигах. Фарнаоз... ну, этот изначально обречен любви и гибели, все его силы собраны только для того, чтобы выдержать. Его победоносное бессилие — тоже ведь отражение их бессильной победоносности.

«Аэт», «Ухеиро» и «Фарнаоз» — три части романа, как бы вбирающие в себя акты драмы, суть которой отражена в названии его, несколько тяжеловесном и, с другой стороны, отдающем какой-то благодушной певучестью... может быть, только в русском переводе (вообще-то Элисбар Ананиашвили пересоздал грузинский оригинал виртуозно, как и подобает классику перевода), однако вслушаемся в эту прогулочную музыку:

«Шел по дороге человек...»

С чего это он пошел? Что потерял? Что погнало его? Да в том первосеянном поле, где он обретается, и понятия-то такого: «дорога» — быть не должно. И откуда оно берется, спрашивать бессмысленно. Ибо если бы тут «знали истину», не было бы и драмы. То есть всей этой истории. То есть именно такого романа.

И все-таки: с чего бы это овцам, мирно щиплющим траву (и баранам, воображающим, что они их охраняют), заглядывать с обрыва в бездну? Особи плодятся и размножаются, заботясь только о том, чтобы не выпасть из круговорота. Все делается как бы без участия отдельного индивида. То есть, он много чего делает: рождает, строит, убивает, разрушает. Но он не ломает себе голову над разгадкой того, где начало этого порядка и будет ли конец. В лучшем случае он говорит себе: начало это конец, а конец — это начало.

Кто управляет миром, лежащим вне времени?

Боги, вестимо, — ответит любой ванец. — Если что случится, то по воле богов. — А самый умный прибавит: — Все боги одинаковы: и победоносные, и побежденные, в сущности, они все — одно и то же существо...

Еще мгновение, и умный ванец заглянет в бездну. Поэтому мудрый автор перехватывает инициативу. Он предлагает формулу: «Боги и природа» (что звучит приблизительно так же, как под нашими осинами: «князь и дружина»), а потом твердо останавливается на универсальном определении: природа.

Слово опять-таки ключевое. Не определение даже, а энергетический сгусток. Искрит. Никакая сила не может противиться тому, что замыслила природа... Упрямая природа не желает принять мысль о смерти... Природа, создав Кусу, предназначила ему быть палачом Фарнаоза. И даже так: мужчина, овладевший тайнами природы, все равно, что безумец, размахивающий кинжалом. Главный безумец в романе, напоминая, — все тот же Фарнаоз.

Соединяя эти полюса (искрящие контакты), мы следим одновременно за логикой событий и за музыкой слов, а пристальнее всего — за тем контрапунктом, в котором логика и музыка дают вольтову дугу, как бы проверяя друг друга.

В тот момент, когда индивид делает первый шаг на пути к разгадке тайны, он встает на путь безумия. И все-таки идет по этой дороге. Потому что он человек.

Что заставляет человека идти по дороге?

Мы нащупали: мечта... мысль... судьба... При любом ответе — слова, словно подсолнухи, поворачиваются к источнику некоего общего смысла, о котором можно определенно сказать только одно: на этом пути человек сгорит, но иначе ему не почувствовать себя человеком.

Что же им все-таки движет?

Сам себе он говорит: воля богов. Автор говорит: природа. Но весь строй художественного внушения сигналист нам, что человеком не движет ничто, или движет нечто — нечто неопределенное, что лучше и не определять (то есть не заглядывать за край обрыва). А просто возникает «рок» — противодействие безлично-беззаботному существованию.

Если в мире ванцев время тянется бесчувственно-безначально-бесконечно, то кто-то должен выпасть из этого колющегося времени во время личностное, отмеренное. Это время и

начинает ощущать Фарнаоз, когда его поражает роковая, безнадежная и смертельно опасная любовь к Ино веснушчатой девочке с торчащими косичками, которой не терпится убежать из родного дома, чтобы слепо и самоотверженно довериться возлюбленному, хотя она и видела его лишь однажды и даже толком с ним не поговорила.

То есть она его не знает. Что же толкает ее к нему? А то же, что его к ней, — нечто... или ничто, а лучше сказать: сама система — тем, что в ней этого нет.

Если в роевом бытии ванцев главенствуют две формы: веселая толпа и сытое стадо (с вариациями: разъяренная толпа и голодное стадо), то именно вразрез этому состоянию мира выпадает из «роя» отдельная особь и прочерчивает индивидуальную траекторию. Тут порог, который обратно уже не перешагнуть: система не примет. Потому что он — отрицание системы. Самим фактом, самым шагом. Или, лучше сказать, бегом. Ибо вид этого человека, стремящегося неведь куда, бегущего без оглядки, не разбирая дороги, вызывает у нормальных ванцев нормальный хохот. Стадное поле — это лоно надежности, а дорога — это цепочка шагов, каждый из которых может оказаться ошибочным, это лестница в неизвестность — последняя ступенька в ней обрывается — и дальше нет ничего, кроме одиночества, мрака и холода.

Неведь куда и ничего — ключевые слова в описании этого пути.

Если в толпе, в народе, в доме тепло и светло, то какая сила может толкнуть человека на ту дорогу, где малейший неверный шаг перечеркивает судьбу и единственный сломанный сучок означает гибель всего сада жизни?

Веление рока. Скрижаль судьбы. Назначенное наказание. Вина. Случайность. Отар Чиладзе перебирает слова и все чаще всего натывается на слово «свобода».

Свободы люди не знают, когда они все одинаково свободны.

— А что, дядюшка (это Куса говорит Фарнаозу), если бы вдруг кто-нибудь бросил клич: «Ванцы! Довольно быть рабами!..» Да они разmozжили бы голову тому, кто бросил бы этот клич! (И разmozжат, и Отар Чиладзе опишет это — в следующих своих романах). А пока Куса еще только подначивает Фарнаоза, «подкусывает» его в полном соответствии со своим именем: — Если бы кто осмелился сказать: «Мы все рабы, но я больше не хочу быть рабом, и поэтому извольте пожертвовать собой и своими семьями за мою свободу!» — как бы ты, дядюшка, поступил?

Это, наверное, единственное место в первом романе Отара Чиладзе, где он позволяет себе прямой выход в революционно-прокламационную эпоху советской истории, еще далеко не исчерпанной в 1973 году, когда все это пишется.

Фарнаоз не знает, что ему ответить на подкусы племянника, хотя это именно он, Фарнаоз, всем своим поведением «бросает клич».

А я, читатель, знаю? Нет, я должен сказать, что и я, вместе с автором, «не знаю». Не знаю, что тут причина, что следствие. То ли обреченность Фарнаоза — причина того, что хочется отпасть в праисторические глубины «чисто» национального сознания, то ли

обреченность этого архаического сознания заставляет автора качнуться к тому обрыву, по краю которого бродит Фарнаоз.

Впрочем, слова «обреченность» Отар Чиладзе избегает.

Сделав мысленный круг около обезумевшего интеллигента, он оставляет ему (и нам) в полное распоряжение слово «судьба», точно так же, как мысленный круг, очертивший рабское стадо, замкнут словом «природа».

Решая, что же все-таки «лучше»: природа или судьба, — мы распинаемся вместе с героем на равносторонности этого креста, оставляя разгадку чувствам. Любое слово, вехой стоящее на дороге, по которой пошел человек, напитано страстями и предчувствиями, в которых — вся суть.

Мечта? Мысль?

Мечта — мощнейший эмоционально-смысловой сгусток. Аэту не нравится, что его отпрыск растет мечтателем. Мечты вслух — это бред. Из бездны небытия и мрака прорывается в этот мир плод чрева безумной женщины творение ее мечты. Девочка с косичками — лишь мечта оскорбленного, убитого горем мальчика. Лучше бы ему убить себя, нежели разводить всю эту болтовню, от которой в душах людей рождаются мечты. Человек не имеет права на собственные мечты и мысли...

Вы уловили? Тут мостик, по которому «мечта» перебегает в «мысль»... Пройдем по нему еще раз.

Присутствие отца (то есть Фарнаоза, сын тоже неизлечимо заражен индивидуализмом. — Л. А.) придавало этой хитроумно притаившейся мысли видимость какой-то мечты...

Чувствуете взаимоприятие? Мечтой прикрыто хитроумие мысли — мыслью подкреплено безумие мечты... Мысль, как и мечта — парафразис безумия, овладевающего человеком, и если проследить по тексту романа излучения, испускаемые словом «мысль» (всякое такое слово у Отара Чиладзе, — как бы сгусток энергии), то мы ощутим не менее знобящие предчувствия, чем при слове «мечта». Куса, ушедший в свои мысли, походит на скованного морозом, обмерзшего сверчка, забившегося в трещину стены... Маленький Ухеиро, сын Фарнаоза (названный в честь деда) смутно чувствует, его мысль — отросток, ответвление обширной, всеобъемлющей мысли, переданной ему в наследство отцом...

Отросток. Веточка. Сучок... вот-вот хрустнет...

Разум, рассудок — признаки расщепляющегося бытия. Поэтому Отар Чиладзе заслоняется — «сердцем».

Сердце у человека гудит, как разогретый огнем бубен, сердце разбито, сердце останавливается, сердце чует беду, сердце — поводыр на пути, где разум бессилен, Узловая формула: Фарнаоз убегает от настоящего дома и друга жизни в поисках призрачного, несуществующего друга сердца.

Кажется, это финал. На одной чаше весов — дом, друзья, природа, народ, боги. На другой чаше — путь, судьба, рок, сердце. И — любовь. Которая, как мы помним, равнозначна смерти.

— Смерти хочу, сестра! — едва не закричала она, и ей в самом деле захотелось умереть; она даже думала, вероятно, что это и есть любовь, когда жаждешь смерти...

Медея — греческий вытяжной парашют сюжета; настоящий же полет в пропасть, прыжок с обрыва — сюжет чисто грузинский: история Фарнаоза, отщепенца, безумца, которого ведут к гибели: мечта, мысль и любовь.

На чьей стороне Отар Чиладзе?

На обеих...

Сказать, что его роман — апология праисторической национальной почвы, не расчлененной еще гибельными дорогами цивилизации, — значит игнорировать кровоточащую муку его сердца, потому что сердце его — сердце интеллигента всецело отдано мечте и мысли, любви и свободе.

Сказать, что это апология героической личности, бросающей вызов нерасчлененной темной массе, — значит не ощутить главного чувства, владеющего писателем при мысли о нерасчлененном природном мире: чувства его незащищенности.

Этот мир не устоит — он непременно втянется в путь и риск, в судьбу, в индивидуальное существование, в любовь и гибель.

Но не уцелеет и человек, пустившийся по дороге...

Как это у Матфея... «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит...».

Соблазн индивидуального опыта неотвратим. «Надобно» придти этому соблазну в души неунывающих ванцев. То есть собраться их духу — не тому протестному духу, который воплощен в интеллигенте-отщепенце Фарнаозе, а тому духу, который вполне отвечает нерасчлененности природного бытия.

Вот тут-то и появляется Куса с мешком звякающих на плече железок.

Фарнаоз — не как все.

Куса — как все.

Он понимает, что раз все люди неразличимо похожи друг на друга, то выражения типа «законный» и «незаконный» не имеют реального смысла. Что твое, что мое — все едино. Значит, то, что вчера было твое, завтра может стать моим. В смысле: с волками жить — по-волчьи выть. Ну, да, где овцы, там и волки — их дополнение и порождение. Куса выживает только потому, что мобилизует «смышленость», «деловитость» и «безошибочное чутье». Фарнаоз только усмехается, слушая «пошлые мудрствования» своего практичного племянника, но ему еще предстоит узнать главное: Природа, создав Кусу, предназначила ему быть палачом Фарнаоза.

Это — развязка. Веселые ванцы никогда бы не подняли руку на несчастного безумца, бежавшего от них в пещеру и проповедовавшего любовь, они продолжали бы потешаться над ним, бережно охраняя его странность, ибо странность для них — тоже знак стабильности, подобный мотку веревки на плече Бедии или дятлу на плече Бочии. Но когда коллективная психология концентрируется в особи, желающей стать последовательным и воинственным воплощением этой психологии, то есть

когда во главе стада становится хитрый энергичный вождь — деятель с прилизанными висками (хочется сказать: зверь с прижатыми ушами), — распятия не миновать.

Фарнаоз распят. Куса идет дальше по дороге жизни, подхватив на плечо свой неизменный звякающий железками мешок.

Железная дорога раскраивает мир в следующем романе Отара Чиладзе; название второго романа подсекает благодушную певучесть названия первого: «И каждый, кто встретится со мной...» — продолжите эту фразу Каина, и вы поймете, куда делось благодушие.

Железный театр — этот образ-сгусток дает название третьему роману: от одного сломанного прутика, от одной хрустнувшей веточки, от одного выстрела в Сараеве рушится мировой порядок, тот самый театр, в котором все люди актеры.

Первый роман кончается в «нейтрале»:

— Будет ли мир таким, чтобы в нем летать?

— Но он и теперь такой.

— И будет таким всегда.

Прекрасен тот, кто летает, прекрасен и тот, кто предостерегает от бездумных полетов. Там «природа» и тут «природа». Прекрасен дом — прекрасен путь. Прекрасное помогает выдержать...

Что выдержать?

А то «вечное», что укрыто под ветвями сада и что кровавой развязкой предвещено в финале первого романа Отара Чиладзе.

Отщепенец казнен: он, как паршивая овца изъят из жизни; остальное стадо продолжает щипать траву, пододвигаясь к обрыву.

...ТУРКИ

РАЗГОВОР БЫВШИХ ГИГАНТОВ

Эти заметки — плод двух моих коротких поездок в Турцию. Я не решился бы ни на какие геополитические или страноведческие рассуждения на этот счет, но, оказавшись на том берегу (который нам, согласно известной старой песенке, «не нужен»), вдруг обнаружил, что — нужен. А нужен потому, что и сам на том берегу, как выясняется, нужен, и это главное, что поражает.

Интерес к русским и подчеркнутое доброжелательство к ним (то есть к нам) — повсюду. Этот интерес вопиет с огромной вывески «АРБАТ-МАГАЗЫН», вклинившейся между рекламами на английском и немецком языках. Он шелестит в русских фразах, которые старательно выговаривает почти каждый продавец, а иной, выступив вперед с ослепительной улыбкой и оттолкнувшись от ритуального разговора о цене, сходу, на беглом русском врывается в наши родные «душевные» материи, в ответ же на твоё изумление, поясняет, что четыре года торговал где-нибудь в Сызрани и «жил что надо».

Конечно, тут и чистая коммерция. Палубы прогибаются от «челноков», берега резонируют от русской речи. Поток россиян, хлынувших на теплое побережье, подкрепляет репутацию Турции как курортной зоны всевропейского уровня, — но много ли возьмешь с нашего брата как с плательщика? Много или мало, не знаю, но иной раз кажется, что русских в Анталии уже не меньше, чем немцев. И не только «новых русских», общением с которыми я похвастаться не могу, а тех самых родимых «совков», которые вчера еще кантовались в Крыму или в Юрмале, а теперь залетают аж на Средиземное море. Там наш брат обкатывается, учится бросать окурочек не под ноги, а в урну, перекладывает вилку из правой руки в левую и оттаивает душой, то есть теряет ощеренное выражение, застывшее на лице от постоянного ожидания агрессии.

Гаснут комплексы, и выясняется поразительное: мы с турками похожи. И они, и мы — бывшие имперские народы, пережившие унижение распада; с ними это произошло на век раньше, чем с нами, но что такое век на весах вечности? Это очень близко, очень понятно: народ, создавший великое сверхнациональное государство, теряет все это как бы в одночасье. Никогда не забуду на картинах, запечатлевших финал последней русско-турецкой войны, людей в красных фесках, их горькое достоинство, когда они подписывались под своим поражением.

У Ататюрка хватило решимости отсечь страну от имперских амбиций — и от красных фесок тоже, — сберечь народные силы для чисто этнического возрождения и — для прыжка в западную цивилизацию.

Она и есть теперь, Турция, — западный зуб в исламской челюсти. И это разгадка того, почему так нужна Турции Россия — такой же зуб Европы, врезавшийся в Азию...

Мой знакомый турок, бывший советский гражданин, в пятилетнем возрасте вывезенный отцом на «историческую родину» (старик-отец хранит медаль за взятие Берлина и считает самым святым праздником 9 мая) — сын его, попросивший называть его по-русски Борисом, дал мне почувствовать, что для него «интеллектуально подпитаться» (его формулировка) важнее, чем накормить меня физически (что он взялся сделать как совладелец маленького рестораничка), — он мне сказал:

— Не бойтесь, Азербайджан никогда не повернется на юг.

— Как? — опешил я. — Разве Эльчибей не хотел положить бывшую советскую республику к ногам Турции?

— Эльчибей хотел — Турция не захотела. И не захочет.

— Как?? Разве кто бы то ни было не хочет в этом мире прихватить то, что плохо лежит или, тем более, само идет в рот?

— Дурак хочет. А умный понимает, что Россия — естественный геополитический союзник Турции.

— Как!?! А глаз Кутузова, выбитый в Крыму? А Суворов на стенах Измаила? А «первый звук Хотинской оды»? А бросок Нахимова к Синопу? А Плевна, а Шипка? — мечу я ему через частокол четырех русско-турецких войн.

— Неизбежная притирка двух империй, деливших пространство. Россия никогда не была фатальным противником Турции.

— А кто был?

— Иран, — ни мгновенья не колеблется он. — Иран против Турана, тысячелетний фатум. Плюс арабы...

И тут русско-турецкая косилка, так гладко пошедшая в нашем разговоре, налетает на армянский камень.

— Турция давно была бы вернейшим другом России, если бы Ельцин не находился под влиянием армянского лобби.

Далее следуют сведения о происхождении Елены Боннэр и о том, от кого избрана в парламент Галина Старовойтова. Я постыдно ухожу от темы: тут роковой пункт, на котором мой собеседник перестает меня слышать.

Но и я знаю твердо: русско-турецкие отношения не сдвинутся с этого камня, пока турки не изменят свое отношение к армянам. Я отдаю себе отчет в том, что это отношение постоянно обостряется от встречной ненависти армян. Я понимаю, как это глубоко и страшно: я видел, как в Ереване люди целуют землю у Вечного огня, мечущегося меж вставших дыбом гробов. Я помню, что пришлось пережить Вардкесу Петросяну, когда в своем романе он решился протянуть руку туркам. Я никогда не забуду, что говорил мне один блестящий молодой ереванский интеллект: турки не люди, человечество должно раздавить их... не помню имени этого интеллектуала (сознание само выбросило — такой это был сгусток ненависти).

Все так, и турки могут привести ворох «объективных причин», приведших к гибели миллионов армян в 1915 году (как немцы кучей «причин» могут оправдывать свое вторжение в Россию в 1941-м). Но когда

страшное уже свершилось, — надо понимать, что оно откладывается в души на века. Причины придут и уйдут, пепел будет стучать.

На этом застывает наше русско-турецкое братание. Мы обходим окровавленный камень и тихо движемся каждый к своему берегу.

Я — к твердому убеждению, что русские никогда не предадут и не оставят армян.

Он — к твердому убеждению, что такой маленький народ, как армяне, не должен мешать сближению таких гигантов, как Россия и Турция.

С тем и тает в голубой дымке гостеприимный турецкий берег.

...ФРАНЦУЗЫ

ФРАНЦУЗЫ, ЕВРЕИ И РУССКИЕ

«Французы живут для чужого. Мудрого, может быть, даже гуманного и рачительного хозяина, но... чужого. А русские не захотели... Франция постепенно перестает быть самостоятельной страной, превращается в лишенный мозга социальный труп, подобно марионетке, дергаемой за нити неведомым сверхгосударством... может быть, хотели из России сделать процветающую Францию с отличным пищеварением и давно выжранным червями мозгом...»

(Дмитрий Галковский).

Такие вещи ни в коем случае не следует опровергать, перечисляя, скажем, мыслящих французов от Паскаля до Бергсона и от Монтеня до Башляра, вообще дискутируя в таком ключе. Даже если бы автор «Бесконечного тупика» хотел обидеть французов, даже если бы он повторял обычные наши зады насчет западного потребительства и русских духовности, — и тогда не следовало бы отвечать. А он и не повторяет — он набредает. Галковский — сомнамбула; вступая в чужой след, он того не замечает. А если замечает, то — чтобы «наплевать» на «вообще-мнения». Дело не во французах, а в том, кем они тут увидены. Дело в том, чего русские «не захотели». Или не добились. Нам бы отличного пищеварения и развитого социального общества. Но так, чтобы при этом нас не дергали. И чтобы рачительность с гуманностью были, но так, чтобы «для чужого» не жить. Чтоб национальные святыни сохранялись («свое»!). Но и чтоб «большее» тоже сохранить (всемирность, надо полагать). Чтоб «мир похолодел» от нашей «фатальной борьбы» с историей. Но и чтоб «господство над историей не удалось».

Французы... они проживут. А мы?

А вот там же — о евреях:

«Евреи гениальные провокаторы-практики, но в теории, в мире идей удивительно неспособны к какой-либо нечестности, неправде, юродству. Им это просто не приходит в голову. Внутри плоских шахмат они боги, но русские разбивают шахматные доски об их „жалобные лобные кости“. Когда с евреем ведешь какое-либо дело и зависишь от него, или взаимозависим, он силен, но если свободен от него, он вдруг становится глуп, узок, азиатски прямолинеен. Он сам не понимает, что над ним издеваются... Русские как будто и выдуманы для издевательства над евреями».

Сначала думаешь: над кем тут больше издевательства: над евреями или над русскими? Потом соображаешь, что никакого издевательства тут нет

вообще. Тем более что от ожидаемых обвинений в антисемитизме (от «вообще-мнений» на этот счет) Галковский ограждает себя стандартным «вообще-мнением», что многие из его друзей и знакомых — евреи. Это, конечно, слабина. Лучше бы не оправдываться. Ведь и не в чем: перед нами еще одно сомнамбулическое видение, причем с большой долей реальной проницательности.

Однако я бы кое-что уточнил. Говоря «еврей», Галковский вслед за своим учителем Розановым в сущности говорит о евреях галута, о евреях диаспоры. Да, так: кормясь с чужого стола, будешь с хозяевами и «масляным», и «бархатным», и «шелковым». Особенно хорошо выжимается масло в Освенциме или Бабьем Яре: полная безропотность и вполне бессмысленные попытки не заметить над собой издевательств. Что-то в современном Иерусалиме мы этих качеств не наблюдаем. За плоские шахматы там никак не усядутся, зато доски разбивают о головы с большой готовностью.

Так что дело у Галковского опять-таки не в евреях, галутных ли, библейских (ему не важно). Дело в русских. Мы, русские, и на практике, и в теории «удивительно способны к нечестности, неправде, юродству», мы непредсказуемы, и именно потому можем облапошить всякого, как, впрочем, и опростоволоситься с тою же вероятностью. Непредсказуемость наша — чуть ли не единственное спасение от «идиотизма», который мы обнаруживаем во всякой «правильной» ситуации.

Интересно, сойдут ли Галковскому эти пассажи у наших патриотов? За двадцатеро меньшее у них «русофобию» давали. Галковскому, я думаю, сойдет. Потому что тут никакой «филии» или «фобии». Чистое мышление, ангельское.

Так что же о русских?

«Русская заглушенность, уход от вопросов, отказ от мышления. „Ничего не знаю“, „я не я, и лошадь не моя“... Абсолютно творческая нация. Где даже полная бездарность — созидает... Загадочная страна. Иногда кажется: а была ли Россия?».

В последней фразе из-за Розанова вдруг выглядывает Горький. Но Галковскому все равно, с кем перекликаться. Как «галчонок», перелетает с ветки на ветку (самохарактеристика). Чисто русский способ мышления: не оперирует словом, а живет в слове (характеристика, данная Галковскому Кожинным). Чисто русский предмет мышления: мы — они; наше — не наше; свое — чужое. Чисто русский пафос: не поймешь, где чье. Вместо категорий «истина — ложь» работают категории: «много — мало». Много говорят — значит, врут. Молчат — знают истину. Между прочим, очень точное наблюдение. Не в том смысле, где истина, а в том, что на Руси работает в качестве истины.

Применительно к литературе (а Галковский чисто литературный философ) это особенно существенно. Как-никак литература — «наше все»; она нам «историю заменила»; она у нас чуть ли самую жизнь вытеснила. Тут, кажется, и вход в лабиринт.

Кончик нити — бахтинский комментарий к «Запискам из подполья» («бесконечная речь», невозможность остановиться, воронка

самовывовариванья). Галковский переходит к «Идиоту» («замкнутое пространство выговариванья») и осмысляет это истекание словами как чисто национальный феномен. «Русский с рукописью... Униженное, нелепое шнырянье по коридорам. Навязыванье всем своих рукописей».

Это уже вполне прикладной вариант, но не будем искать здесь автобиографических оттенков. Галковский по редакциям не «шныряет» — сидит сиднем и пишет в стол. 70 листов «Бесконечного тупика» уже написано; автору еще только 32 года; что будет в 64? Хотелось бы, однако, извлечь Галковского из журнально-литературного ряда, где он сейчас преимущественно и осмысляется как феномен, и поместить в тот контекст, которого он сам взыскует: в контекст национально-исторический и вместе с тем всемирно-мистический.

У него в исходе — некая русскость: русский характер, русская ментальность, русская судьба. Причина всего, что с нами произошло, происходит и произойдет.

Я же думаю, что русские — не причина того, что произошло в окружающем нас мире, то есть в «империи» (и в «литературе»), русские — следствие того, что здесь происходило. Русская ментальность — результат. Результат этнического смешения, результат глобальной установки, результат растворения себя в общем деле. Если бы в такой же ситуации смешались другие этнические элементы, результат был бы приблизительно такой же. Если ходом вещей этносы сплываются в «империю» (в данном случае сплывались славяне, финны и турки, к которым примыкали немцы, евреи, кавказцы и т. д.), то возникает «имперский народ», чаще всего — ценой этнического обезличивания. «Всемирность» и «всеотзывчивость» — приличные псевдонимы этого самостиранья. Умение действовать в непредсказуемых ситуациях — всего лишь накопленный опыт, а неумение действовать в ситуациях «правильных» (равно как и судорожное желание отрегулировать и отрегулировать жизнь, сделать ее «плановой», или, говоря в духе древних римлян, все разгородить и распределить) — сопутствующие эффекты, а может, знаки накапливающейся слабости. Разговорчивость — метод воздействия, а может, попытка заклинания.

Словообилие — черта народа связующего, сопрягающего. Хотя, конечно, этот «клей» может быть заварен и не на образной словесности, а на словесности юридической (тот же Рим), политической (Британия), ритуально-иерархической (Срединная империя) или еще какой-нибудь. Молчать хорошо в одиночестве, а общество обязывает. Североамериканцы куда общительнее островных англичан, от которых произошли, а южноамериканцы значительно говорливее испанцев, от которых опять-таки ведут родословие.

Так что «падение империи», на развалинах которой ликуют сегодня народы, освобожденные от «ужасов русификации», — несомненно, как-то подействует и на русский характер. Возможно, не все мы останемся святыми, но большинству из нас придется стать честными. С юродством возникнут сложности. Не исключено, что мы уже не будем так говорливы и литературны. Займемся собой, своим домом, своим делом. «Плоскими шахматами».

И евреи в своем государстве не будут так «безъязычны», как изобразил их Розанов, а Галковский повторил.

И французы не будут так «безмозглы», как кажется автору «Бесконечного тупика».

Это я уже не об «имперских» чертах характера, а о том, как все меняется в этой жизни. В том числе и национальные души.

Ортега-и-Гассет заметил: нации — не то, что «есть», а то, что «делается».

Вразрез с жанром Дмитрия Галковского, сочинение которого строится как цепочка примечаний к своим и чужим цитатам, — я эту мысль великого испанца оставляю без комментариев.

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

Прошу у читателя прощенья за крепкие обороты в тексте, но правда прежде всего.

Знаменитая издательница и публицистка, о крутом нраве и сочном русском языке которой давно слагаются легенды и в эмиграции, и в России, назову ее здесь Марьей Васильевной — сказала:

— Парижские тайны требуют времени. Надеюсь, вы не собираетесь потратить здесь ваше дорогое время на такую свалку, как Лувр?

Я замер. Отчасти чтобы скрыть смущение, отчасти оттого, что всплыли воспоминания: двенадцать лет назад я уже посетил Лувр.

Я с трудом попал тогда в писательскую тур-группу. На Париж нам было отведено четыре дня, на Лувр — четыре часа. Мы двигались строем, рассекая толпу, от экспоната к экспонату; нам было сказано, что отставших искать не будут. Звучало это почти так же, как: шаг вправо, шаг влево считается побег. Отставший и впрямь оказывался в незавидном положении: без обеда, без ужина и без внятных перспектив, потому что на счету был каждый франк.

Итак, мы шли, почти держась за руки, как детсадовская группа, и внимали экскурсоводу, но когда впереди показалась Венера Милосская, со мной что-то произошло. Я вдруг подумал, что никогда больше ее не увижу (был 1984 год, «холодная война»). Еще я подумал, что Алпатов советует непременно обходить скульптуру кругом. Словом, я отцепился от группы и, наступая на чьи-то ноги, слушая чье-то шипенье, пошел, как сомнамбула, вокруг статуи. Я прошел уже четверть круга, когда был схвачен за руку, остановлен, выдернут из блаженства, обруган и утащен догонять группу. Меня ждали. Из-за меня уже начали чуть-чуть стервенеть, потому что группа потеряла темп. Сжавшись, я выслушал все, что полагалось. Я знал, что поступил плохо. Но это была Венера Милосская — в первый и в последний раз в моей жизни.

Лишь двенадцать лет спустя выяснилось, что — не в последний.

Я попал в Париж в марте 1996 года — на международный симпозиум памяти Владимира Максимова: Максимов, писатель-эмигрант, основатель и редактор журнала «Континент», яростный публицист, раздраживший

своими последними статьями в «Правде» и правых, и левых, — умер за год до того в Париже.

Народу эмигрантского пришло много. Даже неожиданно много. Марья Васильевна дала этому факту столь же неожиданное (для меня) объяснение:

— Деньгами запахло. Если к власти в России вернутся коммунисты, все эти люди получают работу — борются с ними.

— А если коммунисты не придут? — робко предположил я.

— Тогда все эти люди в жопе, — сказала она.

Я умолк.

Не буду подробно рассказывать о симпозиуме — тут нужен другой жанр, другой настрой и другой объем. Скажу только, что спектр был богат и представительен, а проблематика актуальна. Из приехавших россиян: Лариса Пияшева говорила о нашей бедственной экономике, Юрий Давыдов — о бедственной нашей истории, Игорь Виноградов — о бедственной духовной ситуации. Однако Фазиль Искандер, Андрей Дементьев и Чингиз Айтматов не давали нам впасть в уныние, что было весьма кстати, потому что «другая сторона», кажется, ожидала от нас именно уныния. На «другой стороне» блистали Андрей Синявский, Эдуард Кузнецов, Владимир Буковский, Эрнст Неизвестный, Наталья Горбаневская, Алексис Берелович...

Спорить мне ни с кем не хотелось, но пару раз я испытал желание задать оратору вопрос.

Во-первых, когда академик Осипов демонстрировал статистику, согласно которой Россия по всем цивилизованным социологическим допускам давно «зашкалила», — хотелось спросить: не тогда мы должны быть уже трупами? Или, может быть, имеет смысл учредить для России особые допуски?

Во-вторых, когда старый «левак» Андрэ Глюксманн объяснил, что тоталитаризм — это не что иное, как наивная попытка индивидов обрести бессмертие, как и община, как и нация, — хотелось спросить: а демократия тоже попытка обрести бессмертие?

Но ораторам я вопросов так и не задал. Я их задал в кулуарах Марии Васильевне. В статистику она вникать не стала, а о Глюксманне заметила, что когда-то дважды перед ним извинялась за то, что напечатала статью Пятигорского...

— О, это где Пятигорский дважды послал Глюксманна в задницу? радостно откликнулся я, блистая эрудицией.

— Не в задницу, а в жопу, — уточнила Марья Васильевна.

Дальнейшее происходило вечером близ Сен-Жерменского подворья, где и обретались парижские тайны, обещанные мне Марьей Васильевной взамен «свалки» Лувра. Должен признать: то, что она мне показала, производило-таки впечатление: улочки шириной «с коридор», площадь величиной «с комнату», фонтан, бьющий «из-под плит». И, наконец, «Кентавр» Сезара, поставленный в память о Пикассо: нормальный мощный чугунный кентавр, вознесенный на нормальный мощный каменный постамент. Подошли — боже мой! — да он не «отлит», а склепан из «посторонних» предметов! То, что казалось роскошным хвостом, обернулось

при ближайшем рассмотрении пучком кухонно-дворовой утвари: щетка, лопата, швабра...

— Не хватает «калашника», — решил я состричь. — Но торчать он должен из другого места.

— В другом месте уже достаточно, — отбрила Марья Васильевна и предложила удостовериться.

Я удостоверился и, вернувшись к букету швабр, воздал должное:

— Впервые вижу, чтобы столько всего торчало из-под хвоста!

— Не из-под хвоста, а из жопы, — поправила Марья Васильевна. — Ну, кого в Лувре можно поставить рядом с ним?

— Некого!! — возликовал я.

«И потирая руки, засмеялся довольный».

И все-таки в последний парижский день я сбежал на «свалку», скрыв мой позор от строгой собеседницы.

Я явился туда к трем часам, потому что с трех в Лувре билеты дешевле вдвое.

Я спустился во чрево, под изумительную стеклянную пирамиду, возведенную среди старинного квадратного двора для прикрытия гардеробов и прочих швабр.

Я купил билет, разделся, взял путеводитель.

Времени у меня было — только на мировые шедевры.

Я нашел «Нику» и побегал вверх-вниз по лестницам, оценивая Победительницу с разных точек.

Я нашел «Рабов» Микеланджело, посмотрел, как они взаимодействуют, и прикинул, не учел ли опыт Роден в «Гражданах Кале».

Я нашел «Джоконду». Нашел по изумительному, медово-золотому сиянию, которое не передается никакими репродукциями. Я сделал шаг вправо и шаг влево, проверяя эффект «слежения глазами». Я сравнил ощущения: когда за тобой следит загадочно улыбающаяся Мона Лиза и когда в тебя упирается мооровский палец: «Ты записался добровольцем?» — и убедился, что это совершенно разные ощущения.

И, наконец, я пошел к Венере Милосской. Я перед ней встал. Постоял. Потом медленно, как учил Алпатов, пошел вокруг, «против солнца», не отрывая взгляда.

И сделал полный круг.

Не было рядом Марьи Васильевны. А то спросила бы: ну как? рассмотрел? И уточнила бы, что именно.

СОРОК ПЯТЬ... ПО ЦЕЛЬСИУ

Две программы радиостанции «Свобода» случайно оказались в эфире рядом. В моем сознании они однако соединились накрепко. И неслучайно.

Первая прозвучала в «сибирском» цикле и касалась развития культуры в Республике Саха — той самой, которая во времена проклятого

советского империализма именовалась Якутией. Кира Сапгир специально предупредила слушателей, что ее репортаж не имеет ничего общего с липовой «дружбой народов». С этим, так сказать, покончено.

Сюжет такой. Недавно на Лазурном берегу сладчайшей Франции состоялся фестиваль игр: «от бриджа до скрэбла». Были в программе и родимые шашки. И вот из Якутии прибыла на фестиваль команда шашкистов и всех обыграла. Произвела фурор, забрала призы и отбыла обратно к белым медведям.

Капиталистическая общественность сочла необходимым осмыслить эту сенсацию, начиная со впечатляющей проблемы транспорта: ребята из зоны вечной мерзлоты, чтобы попасть во французский город Канн, описали в воздухе дугу в полглобуса — шесть с половиной часов от Якутска до Москвы, потом три с половиной часа от Москвы до Парижа. Потом ночь в поезде, а потом... прямо, можно сказать, с колес — бегом в воду: купаться в теплом море.

Затем они сели за столики, выиграли свои партии и собрались домой. В Париже во время прощальной экскурсии по городу до них добрались наконец французские журналисты, которые хотели понять, почему подростки из якутской спортшколы играют в шашки лучше европейцев. Вопросы задавались, конечно, не прямые, а наводящие. Например: «Какое впечатление произвел на вас Париж?» Однако ребята были неразговорчивы, и секреты остались при них.

Один парень все же кое-что объяснил. Он сказал:

— Когда мы улетали из Якутска, там было сорок пять градусов.

И поскольку Бредбери он наверняка читал, то скорее всего уточнил:

— По Цельсию.

На этом интервью закончилось. И закончилась радиопередача радиостанции «Свобода» об алмазах якутской ментальности.

Следующая передача перенесла меня в далекий уже 1955 год, когда канцлер ФРГ Конрад Аденауэр выторговал у наследников Сталина согласие на возврат в Германию тех немецких военнопленных, которые продолжали валить лес на просторах одной шестой части суши.

Узнав о предстоящей репатриации, немцы учинили следующее. Они завалили в тайге лесину, вырубили брус и из бруса вырезали человеческую фигуру. Затем, зная порядки у наших охранников и пограничников, они распилили эту фигуру на мелкие кусочки, распределили по рукам и, спрятав в вещах, сквозь все шмоны вывезли эти кусочки в Германию.

В Германии они фигуру склеили.

Теперь она стоит в одном из немецких музеев.

Фигура эта изображает женщину в платочке.

Женщина протягивает кусок хлеба.

Россияне... вы понимаете, конечно, о чем говорит нам с вами этот факт. Он говорит о том, какие эмоции, помимо ненависти, выносятся из войн, пленений, депортаций, репрессий, а также из национальных

противостояний, которые в наш век играют такую же роль, какую раньше играли классовые.

Я отношу это прежде всего к самому себе, потому что для моего поколения — для детей войны — слова «Германия» и «смерть» были изначально синонимами. Это в моей душе немец сначала должен был превратиться в человека, а потом в друга. Я до сих пор боюсь поверить в чудо этого преображения, как не могу до сих пор примириться с тем, что два народа, давшие миру великие культуры, дошли во взаимной ненависти до сталинизма и гитлеризма.

Разумеется, в радиопередаче, которую на волнах радиостанции «Свобода» вел Владимир Федосеев, ненависть к сталинизму как системе была обозначена, так сказать, титульно.

Да, система есть система. Но я о сорока пяти. По Цельсию. Я думаю, пленных немцев в тайге мучил мороз. Тот самый, что трещал в Сибири и в 1912 году, когда Сталин мерз в Туруханске. И в 1812, когда Наполеон явился сюда незванным гостем, в результате чего русские офицеры явились незванными гостями в Париж, превратились там в будущих декабристов и в конце концов, описав по глобусу еще одну дугу, отправились в Сибирь.

Все-таки если вы куда-то отправляетесь, то должны учитывать, что система сильно зависит от мороза, а мороз от системы не зависит; стало быть, раз уж вы решаетесь на такой вояж, да еще с оружием, вам придется жить именно там, где вы в результате окажетесь, и именно так, как диктует в этой части «глобуса» земля, а не так, как планируется в лазурном городе Канне.

Возможно, в этой евразийской дыре вас встретит человек с автоматом.

И наверняка женщина в платочке протянет вам кусок хлеба.

Не исключено также, что вам предложат сыграть в шашки.

...ИСПАНЦЫ

КАТАЛОНСКИЕ ВЫВЕСКИ

Черная клякса на мелькнувшем белоснежном дорожном указателе настроила меня ностальгически: правильно говорят, что в испанцах есть что-то русское... Когда показался очередной дорожный щит с такой же кляксой, я заподозрил, что тут не просто русский размах. Третий щит был подвешен высоко над дорогой, но и на нем чернело пятно; уже не яростно растертое по букве, а слабенькое: видно, метились снизу, стреляя краской (флаконом? кистью, пущенной на манер копья?). И опять: целились в одну и ту же злополучную букву в слове «Dirección». Кому-то буква мешала.

— Хуан, что такое dirección? — спросил я моего старинного друга и одноклассника, пригласившего меня на пару недель в Валенсию и теперь сидевшего за рулем.

Об этом человеке можно бы написать отдельно. Седовласый солидный джентльмен с трубкой в зубах — это был тот самый четырехлетний мальчик, который пятьдесят восемь лет назад в числе других детей гибнущей Испанской Республики был вывезен в Советский Союз. Это потом тридцать седьмой год ассоциировался у нас с ГУЛАГом, а сначала это был Год Испании. Шапочки-испанки — «рот фронт!» — парход со спасенными детьми... Они, конечно, навсегда прощались тогда с родиной: Испании больше не было для них — только Франко. Они стали советскими ребятами, и лишь имена выдавали их происхождение. Однажды, попав в милицейский протокол (ничего удивительного: парень горячий, боксер-перворазрядник), на вопрос о месте рождения наш испанец сказал: «Валенсия», — милиционер записал: «Алексиню».

Теперь в этом «Алексине» полно вернувшихся советских испанцев; большой дом в Альфафаре гудит от русской речи; по вечерам жильцы московского и рижского розлива спускаются во двор и соборно чинят свои машины, а потом отправляются пить.

— Dirección — это «направление», — ответил Хуан, не вынимая трубки.

— А если замазать букву «эн»? — уточнил я.

— То же самое. Но по-валенсийски.

Я умолк и начал осмысливать ситуацию. Что Каталония — это «не совсем» Испания, это я уже знал. Что Страна Басков — это «совсем не» Испания, тоже. И что испанского языка «нет», а есть «кастильский», — знал. Но что есть еще и валенсийский язык — это надо было теперь запомнить, чтобы невзначай не обидеть кого-нибудь из моих гостеприимных хозяев.

А все-таки что-то русское в испанцах есть. «Российское», как теперь говорят. Две страны не покорились Наполеону: Испания и Россия. А изнутри вечный раздор. С тех пор, наверное, как к иберам явились вездесущие

кельты — первые вестники «объединенной Европы». Потом в качестве таковых же объединителей явились римляне. Потом мавры. Потом...

Потом, как известно, Изабелла Кастильская вышла замуж за Фердинанда Арагонского, и они, скинувшись, послали Колумба искать край света. Вот всемирный охват, мондиалистское мышление! Очень даже по-русски.

Для полноты аналогии: из той же гавани в том же году выслали всех евреев. В Державе не должно быть пятой колонны.

Но я отвлекся.

Итак, Хуан Орц Кобо вез меня из Альфафара в Валенсию, где была назначена моя лекция в университете. Главный страх состоял в том, что — не придут. Когда набралось человек двадцать студентов и преподавателей, меня поздравили с неслыханной удачей (в Москве такое количество публики означало бы полный провал).

Я говорил, Хуан переводил (по-моему, на кастильский, но, может, и на каталонский). Потом последовали вопросы. Между прочим, интересные. Одна девушка спросила, правда ли, что из русского языка исчез лексический пласт, связанный с милосердием, и есть ли надежда, что он вернется.

Я сказал, что надежда умирает последней.

Вслушав один из вопросов, Хуан вдруг замолк. Студент повторил вопрос. Хуан переспросил. Кто-то из слушателей стал то ли растолковывать, то ли урезонивать спросившего; возникло что-то вроде перепалки; тут мой старый друг наклонился ко мне и произнес на ухо несколько родных русских слов, повторить которые я здесь не в силах; суть же столь эмоционального комментария состояла в том, что студент задал вопрос по-валенсийски и отказался говорить иначе. Когда вопрос, наконец, перевели, оказалось что студента интересует: как я (слышите? — я!) отношусь к идее независимого валенсийского государства.

В моих глазах заплясали флаги.

Знаете, сколько разных флагов обычно висит на фронте нормального средневропейского офиса? Полдюжины! Положим, флаг Испании (или Германии и т. д.). Рядом — в нашем случае — флаг Валенсии: те же желто-красные полосы, но — с синим узором поперек). Рядом может быть еще и флаг города, флаг корпорации, фирмы, компании, профобъединения... Теперь еще — синее полотнище с хороводом золотых звезд: Европейское Сообщество... простите, Союз. С тех пор, как число членов достигло пятнадцати, — только «Союз» просили не путать. Слава богу, с некоторых пор мы «Союз» с другими словами вроде «Содружества» не путаем, да и число пятнадцать нам хорошо знакомо.

В Испании регионов чуть больше: семнадцать. Галисия, Каталония, Андалузия, Астурия, Валенсия... После смерти Франко была война флагов: сепаратисты вывешивали, полиция срывала. Теперь — висят гирляндами.

Студенту я сказал: кому нужна Валенсия? Неужели только самой себе? Нет, она нужна и Испании. Кому нужна Испания? Разве только самой себе? Нет, Испания нужна и Европе. Кому нужна Европа? Европа нужна человечеству...

Студент смотрел на меня с большим подозрением.

Он был прав: легко догадаться, что думал я в тот момент не о Валенсии.

...ИТАЛЬЯНЦЫ

ОСТАЕТСЯ ПУСТЯК: ПОНЯТЬ, ЧТО ЖЕ МЫ ВЫБРАЛИ

Каждый раз, когда оживают в вечном споре «западники» и «славянофилы», чувствуешь себя почти именинником: Европа и Азия нас признают и даже как бы на нас «претендуют».

И все-таки каждый раз, когда этот спор возобновляется, невозможно отделаться от мысли, что это всего лишь очередное обострение комплекса нашей вечной неполноценности.

Смысл символов ускользает. Что такое Запад и где он переходит в Восток? Патерналистская скопидомская Германия, сравнительно с вольнолюбивой улично-гаврошной Францией — конечно же, «восток». А если в послевоенной Европе символы разменялись и Германия чувствует себя куда вольнее скопидомской домовитой Франции, — так это еще красноречивее свидетельствует о том, многого ли стоит эта символика. Внутри Германии — свой «восток» и своя граница «запада» с «востоком». Внутри славянского мира — своя: чехи и поляки, конечно же, сугубые «европейцы» перед словаками и украинцами, а украинцы — неприступные «европейцы» перед «москалями».

Теперь пойдем на запад. «Европа» (в том смысле, в каком знаменитый итальянский советолог и русист Витторио Страда определяет ей в удел такие качества, как современность, динамизм, нетрадиционность, вечное беспокойство и непрерывное обновление) — Европа, разумеется, не кончается в Лиссабоне или Лондоне, а становится еще более Европой в Америке. Там уж никакой ностальгии — сплошной динамизм! Дальше как бы и некуда: США крайний предел западничества.

А если все-таки еще западнее?

Еще западнее — Япония.

Япония — апофеоз динамизма, технологизма, обновленности и прочих зверских качеств, по которым вербуются примкнувшие к ней прочие тигры Азии, оказавшиеся более «современными», чем старые европейские львы, включая британского.

Не попробовать ли другую ось? Не запад — восток, а север — юг?

Север — протестантская этика, рациональный подход, индивидуальный риск, неустанное обновление капитала, свобода и ответственность. Юг католический нравственный абсолютизм, древняя латинская государственность, социальные системы, среди которых призрак коммунизма чуть не целый век бродил из страны в страну.

С кем окажется Франция: с Югом или с Севером? То есть с Италией и Испанией или с Британией и Германией? Где пройдет граница меж «современностью» и «традиционностью»: по Ла-Маншу или по Альпам? И

какой «Запад» мы, русские, мечтаем натянуть на себя: северный или южный?

Североамериканский! Всегдашняя российская греза: сбежать в Америку. Так если не застрять в Нью-Йорке, а скользнуть в Америку чуть глубже, — там встретит нас такая провинциальная самостийность, что она сто очков даст вперед нашим украинским самостийникам, мечтающим догнать Америку или хотя Канаду.

А когда мы натягиваем на себя «славянофильство», мы что имеем в виду? Мы помним ли, из какой философской школы вышли русские славянофилы? С кем рядом сживали на студенческой скамье Киреевские? Как назывался первый славянофильский журнал? Да я и не против, это очень показательно, что журнал назывался «Европеец», я только хочу, чтобы мы помнили, где мы и что с нами происходит. Панславизм — ответ на пангерманизм (и обратно: об руку идут эти идеологии двух родственных племен: славянства и германства). И философская школа первых славянофилов — немецкая. У Гегеля учились, у Шеллинга. С Шопенгауэром на одной скамье сидели.

Так что не надо делать из славянофильства русскую отмычку. При всякой попытке положить в основу русской идеи чисто славянский элемент, мы из трех этнических опор России вышибаем две: северную (угорскую) и восточную (тюркскую); вместо России получаем Московию, вместо русской культуры великорусскую, да и то усеченную, ибо великороссы-москвиты, по Ключевскому, есть уже продукт скрещенния трех народностей: славян, финнов и тюрков.

То есть сама по себе славянофильская идея вполне может обернуться русофобской.

Вернемся от этнического аспекта к технологическому.

Витторио Страда замечает, что тоталитарные режимы XX века пытались воспользоваться научно-технологическими достижениями Запада, но при этом «ожесточенно боролись с другими, самыми существенными чертами современности: гражданским обществом, политической свободой, плюрализмом культуры и т. д.».

Оборот «при этом» свидетельствует о том, что знаменитый итальянский советолог и русист хотел бы, чтобы все происходило иначе, и чтобы дикие тоталитарные режимы не попирали «логику», а вместе с «урбанизацией и индустриализацией» брали бы у Запада логически вытекающие из урбанизации «права человека» и прочие ценности «четвертой корзины».

Герцену тоже хотелось, чтобы русские самодержцы не напоминали «Чингисхана с телеграфом». Самодержцев герценовской эпохи сменили Чингисханы с атомной бомбой.

Вряд ли люди Востока (или Западо-Востока, какова Россия) смогут внять этим советам, даже если захотят. Скорее всего, они продолжат свое историческое пиратство, то есть будут перехватывать у Запада технологию, а человеческое содержание — вгонять свое: традиционное и даже отчасти

«восточное». Сегодняшняя реальность предвещает именно такое развитие событий.

Тогда поставим вопрос так, как его подсказывает развитие событий: а если то, что мы называем «западничеством», и есть в реальности именно технология, не более того? Западные народы и сейчас-то, прагматично применяя все вестернизированные способы организации производства, — в духовной сфере далеки от общего стандарта. И никогда стандарта не будет! Не знаю, будет ли и согласие: скорее соперничество. Согласие — вообще скорее способ выживания, чем реальная сверхзадача. Исламский реванш, нависающий над XXI веком, говорит о том, что христианнейшего растворения воздушных не получится. Вулканические идеи «карибского человечества» (и то, что Испания, отвернувшись от Европы, все чаще глядит через Атлантику, туда, куда полтысячи лет назад уплыл Колумб), — все это говорит о том, что не вечно Северу доминировать над Югом и в Западном полушарии. И Африка не впишется в традиционную дихотомию Запад-Восток. И Индия. И Китай. Продолжится титаническая борьба. Технология в этой борьбе — не более, чем оружие. Природа человеческая неисправима. Судьба непредсказуема.

Где место России в этой бесконечной драме?

В сущности, только об этом голова у меня и болит сегодня. Болит потому что не угадаешь ответа на главный вопрос: каким путем пойдет Россия?

Когда мы говорим: не тем и не другим, а своим, то это не ответ, а повтор вопроса. Когда мы говорим: Россия — это Евразия, в таком суждении нет ничего, кроме констатации очевидного географического и геополитического факта.

Все остальное — целина, и пахать ее опять придется «методом тыка», то есть способом проб и ошибок, практически-прагматически — именно так, как определил Витторио Страда: то, что работает, возьмем, а то, что не работает, не возьмем.

Фермер или колхоз? Президент или парламент? Федерация или конфедерация? Еще миллион вопросов, на которые невозможно дать ответ, пока не «влезешь в воду», как говорят гидростроители (а Гераклит прибавил бы, что в ту же воду не войдешь дважды). То есть, пока не начнешь делать. Начнешь — и выяснится, сколько должен стоить мешок суперфосфата сравнительно с булкой хлеба, и что выгоднее: крепкий автомобиль для хлипкой дороги или хлипкий автомобиль для крепкой дороги, и где практически лежит тот предел неравенства (и хамства нуворишей), который народ согласится вытерпеть ради того, чтобы в конце концов всем стало лучше.

Но, во-первых, «конца концов» не будет. И, во-вторых, что такое «лучше»? Здесь, на наших подзолах, на наших болотах, под нашими дождями, а не в сверкающем Средиземноморье?

Так как же тогда с выбором: Европа или Азия? Запад или Восток? Западники или славянофилы?

Никак.

Вернее, как выйдет.

Тут я недавно обнаружил листовочку в почтовой ящике. Некие активисты пишут:

«Мы считаем себя сторонниками „третьего пути“. Мы отвергаем как бездушные потребительские ценности Запада с его культом индивидуализма, так и традиционный деспотизм Востока с его полным подчинением личности. Нам одинаково чужды и „западники“, которые завели страну в глубочайший кризис, и „национал-патриоты“, мечтающие о новом тоталитарном государстве.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ НОВУЮ РОССИЮ.

Россию, в которой главным принципом жизни будет не большевистское псевдоравенство и не либеральная псевдосвобода, а **НОВЫЙ ГУМАНИЗМ!**

Друг! Если ты думаешь так же... то приходи к нам по адресу...»

По адресу я, конечно, не пошел, вследствие непреодолимого отвращения к политике и от страха, что очередное движение составит очередную партию, а партия очередной раз начнет безумствовать.

Но настроение этих ребят я понимаю. Выбрать «Новую Россию» — это все-таки лучше, чем «выбрать пепси».

Остается пустяк: понять, что же мы выбрали.

С СОВКОВЫМ ПРИВЕТОМ!

Ответ на реплику Витторио Страды

— Меня порицают без вины!

— А ты хотел бы, чтобы тебя порицали за какую-нибудь вину?

Вспомнилось — когда Витторио Страда ответил мне в «Вехах» на статью «Запад — Восток и российская греза», в «Вехах» же напечатанную. Я в статье отталкивался от того, что Витторио Страда говорил на конференции «Российское западничество» — выступление его печатали те же «Вехи» (не те, что были в 1909 году, а «Вехи» современные, еженедельное приложение к «Российским вестям»). Поскольку у меня нет уверенности, что читатели так уж следили по «Вехам» за этими публикациями или тем более, что кто-то полезет смотреть их в подшивке, — то вот краткая история вопроса.

Три пункта были интересны и существенны (во всяком случае, для меня) в концепции, которую применительно к «российскому западничеству» развернул Витторио Страда.

Во-первых, западничество в старом смысле слова теряет смысл; оно теперь очень неоднородно; внутри каждого «западничества» есть свое «славянофильство»: реакция традиции на современность.

Этот пункт совершенно соответствовал и моему ощущению реальности; спорить было не о чем.

Во-вторых, на смену спирально-поступательному движению истории приходит движение колебательно-волновое, «океаническое», приливы-отливы, пульсация; «диалог всех»; «дифференцированная глобальность».

Этот пункт хорошо сопрягался с новейшими наблюдениями историков и воззрениями философов, но вызывал у меня смутное сопротивление. Я не приемлю идею «конца пути», независимо от того, кто ее проповедует: Витторио Страда, Фрэнсис Фукуяма или кто-то еще. «Конец пути» — это смерть. Но поскольку во мне говорит на этот свет только темная интуиция, я счел, что и тут спорить незачем.

Прицепился я к третьему пункту, именно к тому, где Витторио Страда рассуждал о «тоталитаризме нового времени», который «пользовался феноменами индустриализации, урбанизации и другими техническими достижениями современного западничества, „но при этом“ ожесточенно боролся с другими его чертами: свободой, плюрализмом вкусов и т. д.»

Как я понял, речь зашла о России.

Витторио Страда впоследствии объяснил мне: не о России, а вообще о тоталитарных режимах! Скажу в свое оправдание, что хотя итальянский фашизм тоже очень интересная штука, но мне важнее было понять сталинизм, причем как явление именно русское. Витторио Страда впоследствии объяснил мне, что это грубая и банальная ошибка: смешивать самодержавие прошлого столетия с тоталитаризмом двадцатого. Скажу в свое оправдание, что, конечно, разница немалая, но мне важнее было понять именно сходство, то есть то, в чем мы не изменились — понять народную базу нашего тоталитаризма.

Словом, я прицепился к его словам и сделал это следующим образом: оборот «при этом» в рассуждении знаменитого итальянского советолога свидетельствует о том, что он хотел бы иного хода событий и чтобы дикие тоталитарные режимы не попирали «логику», а вместе с «урбанизацией и индустриализацией» брали бы у Запада «права человека» и прочие гуманные ценности.

Игра была в том, что и мне того в принципе очень бы хотелось. Но увы...

В ответ я получил следующее. Во-первых, Витторио Страда не «советолог», а «всего лишь историк русской литературы и культуры», хотя и слышавший во время оно «небезызвестным антисоветчиком». Во-вторых, никаких «советов» соединить «режим» с «правами человека» он никакому тоталитаризму давать не собирался. И, в-третьих, моя словесная игра («кульбиты») свидетельствует о том, что идеологии меняются, а ментальность (советская) остается. «Обыкновенная советчина».

Так хотелось ли мне, чтобы меня порицали за реальную вину?

В данном случае, прямо сказать, есть и то, и другое.

Есть важная, существенная для меня проблема, в которой я заведомо повинен. И есть несколько попутных нюансов, которым я не придал бы значения и никакого бы чувства вины за них не испытал, если бы того не захотел мой оппонент. Но раз так, то с них и начну.

Разумеется, я отлично знаю, что Витторио Страда — историк русской литературы и культуры. Не решусь сказать, что знаком со всеми его основными работами, но то, что я читал, свидетельствует о том, что он не только знаток, но и человек, тонко чувствующий дух текста. Это и из теперешней полемики видно. Например, я пишу: «знаменитый советолог», а у Витторио Страды мгновенно возникает аллюзия: «небезызвестный антисоветчик». Только человек, искушенный в обортонах русской артистической речи, способен так пережить текст. Чисто русское чтение! Я ведь тоже подбирал слова интуитивно, скорее в музыкальном, чем в логическом ключе (логика шла попутно: тот, кто размышляет о советской ментальности, наверное, советолог), — но уважаемого коллегу я не хотел обидеть, а если невольно обидел, — прошу прощения.

Само собой, о бреде соединить «дикие тоталитарные режимы» с «правами человека» я не помышлял, а говорил о чаемом соединении или разъединении этих «прав» с «урбанизацией и индустриализацией», — в чем сможет убедиться тот, кому охота будет сличить цитаты. Мне — неохота. Потому что и это ничего не докажет. Будем считать, что раз я так неожиданно понял, значит, слишком «неожиданно» выразился.

Оборот «при этом» я в рассуждении Витторио Страды, конечно, зацепил для удобства полемики. Этого оборота в его рассуждении могло бы и не быть. Но сама жажда сопрячь или разъять то или другое в русском опыте применительно к западным параметрам все равно бы чувствовалась. И я бы на этоотреагировал. Не с тем оборотом, так с другим.

Честно сказать, я, когда писал, так в эти оттенки вообще не закладывал никакой программности. Если они моего оппонента задели, приношу извинения.

Есть однако пункт, в котором я действительно осознанно и программно грешен.

Витторио Страда пишет, что я — носитель «курьезной ментальности, типичной для советского периода». Что тип мышления у меня, независимо от идеологии — «советский». Что это «несмотря на новое содержание» «обыкновенная советчина».

Правильно! Истинно так. Не отрекаюсь. И даже не уважаемому итальянскому историку культуры сейчас отвечаю, для которого такие определения, наверное, — само собой разумеющаяся попутность, — а отвечаю я тем моим соотечественникам, которые требуют, чтобы мы немедленно очистились от «советчины» и выбросили бы семьдесят советских лет из русской истории.

Нет, господа-товарищи. Не очищусь. Не выброшу. Ни года, ни дня не выброшу из нашей истории, как бы страшна она ни была. Нет у меня другой. И советскую ментальность в себе не искореню. Потому что я в ней возник, я из нее сделан, я на ее почве вырос. Этой ментальности не семьдесят, а тысяча семьдесят лет. И положительных черт в ней столько же, сколько отрицательных: это уж как повернуть. Вот и буду поворачивать ее на то, что почитаю лучшим, ни в какой Запад либо Восток не выпрыгивая.

Здесь Родос, здесь прыгай, как говорили когда-то в тех краях, где имел счастье вырасти мой уважаемый оппонент.

КАК ФИШКА ЛЯЖЕТ?

Прошу прощения у читателя за нижеследующую выдержку — она потребует выдержки и у читателя.

Цитата-угадайка:

Мать обнаружила, что я держу говно в тумбочке...

Мне восемнадцать. Я Овен.

До говна я дошел постепенно. Для начала задумался о цвете...

Говно коричневое. Как земля.

По мне, земля — это клево.

На глобусах мир весь такой разноцветный, как мячик.

А на деле-то он синий (моря синие) и коричневый...

Я офигеваю, когда в рекламе прокладки и памперсы вечно поливают чем-то синим...

Вы небось замечали, что в рекламе никогда не показывают какашки.

Вот я их и храню...

Политику надо менять...

Прошу прощения за словарный состав.

Итак, кто автор?

Люди, обладающие нюхом к фактуре современной прозы, скажут, не колеблясь: это Сорокин. И будут правы. Однако люди, обладающие нюхом к более тонким, духовным веяниям, подметят тонкость оттенков, непреодолимую тягу к телеящику и налет грусти при неизбежном контакте с «политикой»; они скажут: конечно, это Пелевин. И будут еще более правы.

Но ошибутся и те и другие. Потому что это итальянец Альдо Нове, переложенный на русскую феню Геннадием Киселевым.

Опубликованные недавно в журнале «Иностранная литература» тринадцать рассказов этого «юного людоеда» (определение и вся нижеследующая фактура из блестящей вступительной статьи переводчика) позволяют понять, почему этот «каннибал» окружен на родине культом и как смог он расколоть надвое словесность страны, давшей миру Петрарку и Данте. Ибо литературная критика на берегах Тибра раскололась пополам, разгадывая «примочки», «приколы» и «пенки» тридцатитрехлетнего гиперреалиста. Одни критики поносят его за «экстремальность» (хочется в этом слове заменить первое «т» на «к») и за «отсутствие лексической иерархии» (хочется вспомнить политкорректность: не она ли дала в эстетике такое равенство отбросов?). Другие же критики полагают, что итальянской словесности давно следовало вставить куда надо подобное перо.

Меня, понятно, больше интересует словесность русская. В этом контексте появление Альдо Нове на нашем горизонте — событие, достойное осмысления.

Прежде всего, выясняется, что и наши гиперреалисты не одиноки в своих экспериментах (опять хочется поменять буквы... не буду). Они имеют мощную поддержку на мировом уровне. Рискну предположить, что Г. Киселев не смог бы перевести итальянца так виртуозно, если бы отечественная тусовка вокруг Сорокина и Пелевина не взорвалась нашу каменеющую литературную ниву.

Не менее важно, что «13 рассказов» из книги «Супервубинда» (так называется цикл Нове) дают вполне сносный социальный портрет героя подобной тусовки. (Фотография самого Альдо Нове в журнале принципиально размыта, что подкрепляет легенду о загадочной неуловимости этого писателя, хотя при всей неуловимости «астрального» тела, эмпирическое тело вполне прозаично функционирует в кресле главного редактора журнала «Поэзия» и за пультом одной из рок-групп). Если же говорить о лирическом герое, то астрально он занимается тем, что ежедневно примеряется к «концу света», эмпирически же ведет следующий образ жизни. Слямзил коробку шоколада и толкнул ее одному торгашу. Кантуется с фанами на выездных играх «Ювентуса». Треплется по телефону. Обожает карамельки из автомата. Трахается с кем может. Мечтает стать артистом. День и ночь готов сидеть перед ящиком.

Один раз этот образ жизни утяжеляется тем, что подружка героя на лето уезжает в Ирландию работать официанткой, и другой раз герой строчит тексты для эротической телефонной линии. То есть он тоже как бы официант, но виртуальный. Вот такие прогоны я маракал. На кооператив не хватало. Или там — мотаться в альпийские пансионаты.

Тут у меня, как у нераскаянного марксиста, вертится вопрос: откуда берутся в Альпах пансионаты, а на берегах Тибра кооперативные дома, а в домах ящики, в которые прячутся эти чуваки, когда они не жрут и не трахаются? То есть, интересно, чьими трудами производятся те «яблони и груши», коих плоды разносят официанты, а чуваки трескают?

Тут, наконец, мы возвышаемся до «политики».

Я-то знаю, вас ист дас коммунизм... Первым делом накроется телик. Кина станут крутить тока о России. Вместо нормальной одежды понацепим серые презервативы. Равняйся — смирно!

Народ враз с винтов съедет. Гавкать друг на дружку будут как отморозки. Дас ист коммунизм — зашибись!..

Расцветайте яблони и груши!

Ну, наконец-то. Теперь мы знаем, какая роль отводится России в этом мировом раскладе. Мы должны отпугивать другие народы от коммунизма, тем самым давая им возможность и дальше жрать, паяться в ящик и оттягиваться через посредство влагилиц, разодранных лиловыми овчарками.

Хочется верить, что это не единственная наша роль?

Ой, хочется.

«Хочется верить, что разложенный автором пасьянс „апокалипсиса сейчас“ есть еще одна попытка ЗАГОВОРИТЬ тот, главный Апокалипсис, который уж точно покруче будет. Заговорит ли его А. Нове? Это как фишка ляжет».

Я опять цитирую статью Г. Киселева. Фишка, конечно, ляжет, и, судя по всему, без нашей помощи. А нам что делать? А нам — наблюдать, как «шипучий словесный коктейль» новейшей анtilитературы «разъедает последние островки» собственно литературы, и надеяться, что этот текущий продукт, «внезапно затвердев... сам превратится в литературный реликт».

Отлично. Мы этот реликт сохраним в тумбочке.

«Ведь сказано: литература начинается там, где кончается литература», итожит Г. Киселев.

Верно. Еще сказано: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят.

...ТАТАРЫ

РУССКО-ТАТАРСКИЙ СЧЕТ

...Иго есть не только несчастье, но и школа...

Кн. Николай Трубецкой

Однополюсного мира не будет, потому что его не бывает. Двухполюсный и тот долго не живет, разве что в контексте мировой войны или по ее инерции. Американцы монополии не удержат. С усилением Японии на Дальнем Востоке и Германии в Европе создадутся в XXI веке новые параллелограммы сил, со своими противовесами и сдержками. Сейчас это не спрогнозируешь. Но ясно, что будущее евразийского «пространства» зависит от того, окажется ли оно разодрано между Европой и Азией или удержится как целостность. А это зависит от того, станет ли оно «мостом» между «полюсами».

Две опоры этого моста — славяне и турки.

Говоря «славяне», мы вводим в дело весьма противоречивое и пестрое понятие. Ни западные, ни южные славяне, ни даже часть восточных славян (украинцы) не горят желанием строить этот мост и склонны закрепиться, оставшись на европейском берегу. Так что для простоты и краткости скажем, что с этой стороны в нашем уравнении участвуют «русские», — это будет достаточно точно.

«Турки» — тоже понятие туманное: то ли лингвистическое, то ли этническое, но и в том, и в другом смысле пестрое и противоречивое. Исламская принадлежность помогает очертить здесь границы не больше, чем православная — у славян. Ни один здравомыслящий идеолог туркизма не отождествляет сегодня туркизм с исламом; ислам, как известно, сверхнационален; его еще надо видоизменить, чтобы он стал полем для тюркского самоосознания; некоторые исламские ценности можно внести в туркизм, но что такое этот туркизм — тоже не всегда понятно, хотя он и воспринимается как реальность. В том смысле, что объективен и дан нам в ощущениях. Для краткости определим его так: «татары».

От кого происходят татары?

От гуннов, кипчаков, ногайцев, болгар, половцев, ордынцев...

Русские тоже происходят от гуннов, болгар, кипчаков, половцев, ордынцев...

В одном случае налицо смещение к востоку, в другом — к западу, но смещается — нечто общее.

Чтобы не копаться в изрядно переплетенных корнях, лучше опереться на две отчетливые культурно-исторические общности, языковые и государственные, составившие после распада СССР ось российской «предварительно напряженной» конструкции. Их взаимодействие теперь

становится решающим. Русско-татарский диалог. Или, скажем так, русско-татарский счет.

Русская позиция за триста лет вбита в подсознание миллионов людей школьными учебниками: Русь начала строительство Державы — Орда напала, двести лет держала под игом — не удержала; Русь иго сбросила и вернула историю в «правильное русло».

Оппоненты прежде всего замечают, что эта концепция — не очень старая, что она навязана русским европейцами, которые, начиная с Петра и особенно при Екатерине — прибрали Россию к рукам (иначе говоря, наставили на общечеловеческий путь); при Рюриковичах же все это выглядело несколько иначе; был симбиоз; было Касимовское ханство в недрах Руси; а до того была Русь в недрах Орды; какая династия сверху: Чингизиды или Рюриковичи неважно, они все равно смешивались; где столица: в Сарае или в Москве, тоже вопрос второй или даже третий: была столица и в Киеве, потом во Владимире...

А кровавый поход Батыя?

Да, был поход. Набег. Присоединение и усмирение «территории». Иоанн III усмирал Псков не менее жестоким образом — почему не назвать эту власть «московским игом»?

Да, впрочем, ее так и называют. В Казани.

Татарская точка зрения, в отличие от «петербургско-московской», в школьные учебники не входила; она вырабатывалась подспудно и неофициально. Сейчас она из-под спуда вышла. Получается следующий татарско-русский счет.

Во-первых, начало. Для русских начало истории — приход славян на Днепр, Ильмень и Волгу; далее — призвание варягов; Русь Новгородская, Русь Киевская, Русь Владимирская...

Татары отвечают: вы историю чего пишете? Историю племени, пришедшего в степь с Карпат, потом переселившегося «из степи в лес» и влившегося в племена, давно тут живущие? Но почему именно этого племени? Почему не считать началом истории страны путь любого другого племени из сотен, тут живших и кочевавших? Например, булгар? Или — хазар? А если вы пишете историю «пространства», входящего ныне в границы России, то чем Днепр лучше Енисея? В Сибири тоже жили люди. И на Волге жили. И на Алтае. И все они теперь «россияне».

А если вы пишете историю государств, в этом «пространстве» осуществившихся, тогда начинайте не с варягов, не с Дира и Аскольда, не с Рюрика — Трувора — Синеуса, а с Черной Выдры, сянбийца, который создал государство среди кочевников, рыскавших по степи севернее Хуанхэ, причем произошло это за четыре века до «призвания варягов». Легендарные времена и события? О да, но если уж говорить о легендах, начните с волчицы, выкормившей первого тюрка (вот вам и «второй Рим»). Если же вы пишете историю Государства Российского, и только, — тогда пресеките ее на 75 лет в 1917 году, в прошлое же не углубляйтесь далее 1242 года, потому что Государство Российское — это то, что вызрело в недрах Орды, родилось от Орды и научилось быть великим Государством —

у Орды же. А то, что было до 1242 года, — это еще не Государство Российское, а некий неосуществившийся проект неизвестно чего.

Русские отвечают: нет, известно! Это был проект процветающей Державы европейского типа, который оказался сорван, пресечен и искажен Ордой.

Татары парируют: если обсуждать проект процветающей Державы, то он-то и был задуман Чингизом и так или иначе осуществлен его преемниками. Без этого — кто знал бы Москву? Москва и в улусе Джучиевом долго оставалась малозаметным городком; центральное правительство Орды этот улус не считало стратегически важным; если смотреть с Волги, то Батый стоял на отшибе; смысл же Империи был именно в том, чтобы осуществить мировой порядок, а какой там хан, или каган, или конунг, или князь, или царь собирал ясак (налог) для общей системы, — не так важно. Важно другое: история Золотой Орды была в тот момент частью мировой истории, а история раздробленных и грызущихся между собой русских княжеств — была частью истории татарской. Русские благодаря Золотой Орде оказались вовлеченными в мировые процессы; они сумели стать наследниками Орды; в тех же геополитических границах, в том же, как теперь говорят, Вмещающем Ландшафте — они создали великое государство, история которого стала сюжетом мировой истории, и последние четыре века история татар является уже частью истории России, а история России — частью мировой истории.

Последний довод, взятый мною из новейших татарских источников, должен смягчить уязвленное русское самолюбие, что по-человечески весьма важно и даже благородно со стороны оппонентов, но дело все-таки не в этом.

Дело в том, что во Вмещающем Ландшафте, о котором идет речь, угадывается действие закона, который выше, глубже и шире той или иной конкретной государственной системы. Государство живет века, но у истории тысячелетние циклы, и они в свою очередь опираются на геополитические условия, время жизни которых соизмеримо с геологическими эпохами. Человеческая жизнь в этих параметрах — песчинка; человеческая история ручеек. Тем более важно сознать, где берега. И какие возможны мосты.

На округ Суйчжоу, что в излучине Хуанхэ, нападает племя, называющее себя «тюрк» и прикочевавшее с Алтая. Советник императора по имени Юйвэнь Тай, а по прозвищу Черная Выдра, — соображает, что выгоднее: истребительная война с пришельцами или цивилизуемый их союз? Выбран союз...

Несколько поколений минует. Аттила, оторвавшись от хуннского союза, пропахивает борозду из Азии в Европу, доходит аж до Рима, роняя семена будущей Хунгарии, — прокладывая ось: Восток — Запад.

Эпоху спустя славяне с помощью варягов пытаются пробить в этом пространстве еще одну ось — с севера на юг.

Монголы, принявшие имя татар, повторяют маршрут гуннов, прожигая и сплавляя воедино земли от Каракорума до Киева.

Русские, перехватывая власть у татар, воссоздают великое государство, прошивая его в противоположном направлении, «от Киева до Каракорума».

Вы чувствуете, что есть некая общность, некое Целое, некое Единство, оцепляемое этими прострелами?

Вы знаете, как его назвать?

Евразия?

Татар коробит от этого слова: «евразийство, — говорят они, идеологическая крыша для старых территориальных претензий; это стремление русских восстановить СССР, или Российскую Империю, противопоставив при этом свою культуру как Западу, так и Востоку; это вечное метание России между Европой и Азией и вечные претензии на дела той и другой».

Я даю самую крайнюю, самую «антирусскую» из современных татарских формулировок. Если продолжать перетягивание каната в том же духе, — надо цитировать и тех русских западников, для которых евразийство — та же крыша для ухода России на Восток, а пантюркистская концепция — та же претензия на дела обеих частей света. А как же? Орда отнюдь не фиксировалась на делах «малозначительного Русского улуса», татары оказались у ворот Европы и «стучались» в них (чем? мечами? — Л. А.). Но это — если продолжать тюрко-славянский счет на этом уровне.

Если же говорить о глобальных перспективах, то вопрос стоит так: или Россия распадется на ворох национальных «земель» (и русские наконец-то станут «нацией»), «земли» же эти присоединятся к каким-то другим сверхнациональным конфигурациям; или Россия поймет, что она — только этап в истории грандиозного Целого, которое существовало за много веков до нее и будет существовать после нее... или в ее лице.

Я не знаю, можно ли это назвать Евразией. По географической принадлежности — можно. А по культурно-исторической? Или, как лучше выразиться в эпоху нациомании, — по этнопсихологической?

Можно очертить это Целое (земля плюс народ плюс государство) словами: татарско-славянское, турано-русское.

Есть ли психологические основания для такого Единства? Поговорим об этом. А пока — имена авторов, на которых я опирался в этой части статьи: Рафаэль Хаким, Сергей Кляшторный, Дамир Исхаков.

РУССКО-ТАТАРСКИЙ МОСТ

*Италию мы создали — теперь нужно
создать итальянцев.*

Массимо д'Азеглио

Не знаю, как при Кавуре и Гарибальди создавали итальянцев из пьемонтцев и сицилийцев, а вот как создавали россиян при Булгарах и при Батырше, рассказал Лев Николаевич Гумилев:

— Камские булгары набегают на Муром и Суздаль, убивают мужчин, уводят женщин, и те в гаремах рожают им Ахмедов, Мухамедов и Шамилей.

Но русские тоже не дураки. Они набегают на болгар, убивают мужчин, уводят женщин, и те рожают им Петек, Ванек и Машек. В результате по одну сторону — татары, по другую — русские, хотя по крови это одно и то же, и по способу хозяйствования — то же, и по культуре — близки...

«Близки» — это не «то же», что очень важно, особенно при сегодняшних счетах и разборках, но хоть из-за «голоса крови» можно не гоношиться. Это не значит, что «от Москвы до самых до окраин», «с южных гор до северных морей» устанавливается один генетический состав. Но это значит, что генетика не играет определяющей роли в национально-культурном самоопределении; это один из факторов, и он действует — только если его заставляет действовать сумма других факторов.

Есть, стало быть, «что-то», лежащее «под» (или «над») всеми этими факторами, — некий общий базис (или купол).

Как «это» определить, если ни «состав крови», ни «язык», ни «нация», ни «компактность расселения» его не покрывают и с ним не совпадают? Применительно к нашей теме: как определить то, что объединяет турок и самоедов, татар и алтайцев, маньчжуров и киргизов... а если перешагивать и через веру, — то буддийцев (монголы), магометан (узбеки), христиан (чуваши)?

Николай Сергеевич Трубецкой, чью концепцию я здесь излагаю и комментирую, называет это «туранский психологический тип». Явственнее всего этот тип выступает у тюрок, а среди тюрок явственнее всего, как думают некоторые почитающие Трубецкого идеологи, — у татар. Разумеется, это не более чем модель, помогающая нам понять реальность неизмеримо более широкую, чем та или иная нация. «Туранский тип» коррелируется скорее с геополитическим полем, то есть со Вмещающим Ландшафтом, чем с той или иной национальной нишей внутри этого поля. Черты «туранского типа» ни с одной нацией не совпадают, но помогают нам определить базисные черты разных национальных характеров, расцветших в этом ландшафте.

Еще одна оговорка: никакой прямой причинно-следственной связи «тип» не имеет с личностью (и как с категорией, и конкретно), ибо личность реализуется через выбор и ответственность. Но поле выбора до некоторой степени обусловлено базисной типологией, и ответственность предполагает точку опоры, то есть почву. Но действует тут уже другая, именно личностная логика.

Психологический же тип выявляется, так сказать, статистически. В нашем случае — «туранский тип».

Так вот, статистически наблюдается следующее.

В языке — необычайная стройность и ясность. Последовательность простых правил. Нелюбовь к исключениям.

В музыке — необычайная стройность и простота мелодии, длящейся «бесконечно долго» и по-своему монотонной...

(На чей слух «монотонной»? Несомненно, на слух европейца, ориентированного на мелодический драматизм. Но на слух европейца и

русская мелодия монотонна. Причем у русских в этом «монотоне» нет прозрачной ясности, зато много тоски и смуты, главное же в ней — вечное ожидание мелодического взрыва, непредсказуемого и безумного, жажда отчаянного риска, а потом, после взрыва, — монотонная тоска ожидания...

Так ведь в языке русском, в отличие от тюркских, — влюбленная готовность к исключениям, к непредсказуемым сочетаниям, к своеволию прецедента).

У тюрков же — сравнительная аскетичность средств при замечательной целесообразности, ясности и последовательной закономерности строения фразы — мелодии — мотива — образа.

Туранский психологический тип, угадываемый за этими особенностями фактуры, — ясность мышления, нелюбовь к сомнительным тонкостям и каверзной путанице нюансов. Размах фантазии — не в нюансировке деталей и своеволии подробностей, не в наворачивании красок и двоении смыслов, а в мощном охвате материала, подчиняемого все тому же ясному закону, и в широте, вырастающей до глобальности. Туранский тип выстроен на чувстве симметрии и устойчивого равновесия.

(А русский? Он окружает себя загадками, тайнами, неясностями. Мир приходится непрерывно разгадывать. Русская широта непредсказуема, неуравновешена, нефиксируема).

Туранский тип не задается смутными целями, он опирается на ясные основы; он ценит не заданность, а данность; он всматривается не в «миражи будущего», а в реальные устои насущного, наличного, на котором и строит жизнь; раз уверовав в определенную систему, туранский тип ищет и находит в ней закон, который способен оправдать все поведение человека, и прежде всего его быт. Именно поэтому тюрков так легко берет со стороны готовые религиозные системы: чужая вера, попав в тюркскую среду, фиксируется и как бы застывает, кристаллизуется, становится незыблемым ядром всей жизни.

(Так ведь и мы, русские, берем «на стороне» готовые схемы. Но они у нас становятся скорее бродильным началом, чем камнем основы, и никогда окончательным решением...)

Любопытна странная взаимотяга туранского и семитского психологических типов. Казалось бы, полный контраст: тюрков, более всего ненавидящий тревожное чувство внутреннего противоречия и беспомощный в его преодолении, — и семит, упоенно выискивающий противоречия, преодолевающий их в казуистике, любящий «ворошиться» в запутанных тонкостях. Но какое удивительное взаимодополнение! Тут я, пожалуй, не рискну на пересказ и закавычу то несколько рискованное определение, которое дает этому симбиозу Трубецкой): «семит делает за тюрка ту работу, на которую сам тюрк не способен».

(А русский? О, он тоже «ворошится», но не в казуистических тонкостях, а во взаимоиспепеляющих чувствах. И, подобно тюрку, русский охотно заимствует плоды чужой казуистики — с той же подсознательной целью: обрести камень-основу для своего жизнестроительства, — да камень-то под ногами ходит).

Вот тюрки принимают ислам, а русские — православие (между прочим, выбирая из «вороха» предложенных вер).

Тюрки, приняв ислам, так и не выдвигают ни одного сколько-нибудь крупного богослова.

Монголы, люди близкого к тюркам психологического типа, приняв буддизм, — тоже не выдвигают.

И русские, приняв православие, замораживаются в «древнем благочестии», как монголы — в буддизме, а тюрки — в исламе. У европейцев: католиков и протестантов, — идет непрерывное развитие и осовременивание веры; так же бьется и исхитряется религиозная мысль у арабов, а евразийский массив, и, в частности, туранский психологический тип — ведет себя по-другому: здесь ищут не «систему», а прежде всего единство внутренней и внешней жизни; система же в идеале как бы вообще не ощущается, она, система, уходит в подсознание, она незаметно определяет каждодневную жизнь. Догмат и быт сливаются воедино, сообщая жизни устойчивость и ясность, обеспечивая преемство традиций и экономию сил для строительства — по тем же незыблемым «древним» законам.

(А русские? Все время — вылетают, вываливаются душой из этой твердыни. Хотя именно ею и держатся. И бунтуют против нее беспрестанно).

На этом стоит все русское «бытовое исповедничество», на этом зиждется все русское загадочное «долготерпение»; то и другое при взгляде извне вызывает недоумение и недоверие; то и другое имеет внутри русской души драматичный противовес. Иосифлянскому обрядоверию противостоит Нилово «нестяжание», и его берет на вооружение интеллигенция, пеняющая народу за его темноту и отсталость. Беспросветное же русское «рабство», описываемое больше заезжими иностранцами, нежели здешними жителями, пресекается русским бунтом, который, как известно, бессмыслен и беспощаден. После каждого такого бунта обнаруживается все та же «твердыня», от которой дух постоянно отлетает в некое ирреальное пространство и пребывает там «не от мира сего», и каждый раз, поверив «иностранцам» и перехватив у них очередную «готовую систему», русские с ее помощью все свое сносят «до основания», а затем, выстроив по новой мерке чужое как свое, опять ищут себе на стороне очередную новую систему, силясь преодолеть все то же: свой неистребимый евразийский менталитет.

Менталитет, глубинным образом родственный туранскому. С тою только особенностью, что русские им недовольны, ищут чего-то «другого» и постоянно перехватывают «на стороне». Греческую веру. Немецкую организацию. Бродячий по Европе марксизм. Американскую деловитость. Американскую же демократию. И все-таки психологически остаются внутри той общности, в которую входят вместе с тюрками. Добавляя в эту общность то, что Николай Трубецкой назвал «горением». И что Александр Блок увековечил строкой: «Мировой пожар в крови».

Эпохи мировых пожаров сменяются эпохами мирного сожительства. Можно строить жизнь под разными флагами, собирая казну внутренними налогами или на таможенных межах, говоря на разных языках или на смеси

языков. Но евразийский континент все равно заставляет признать единство, которое «выше» и русской, и татарской, и любой другой «национальной» идеи.

Завершаем разговор о нашем сюжете: русско-татарский счет может иметь смысл только на общем поле.

В заключение несколько библиографических ссылок.

Сумма идей, на которую я здесь откликаюсь, собрана и представлена в небольшой книжке. Книжка выпущена в Казани мизерным — в тысячу экземпляров — тиражом. Классические тексты соединены в ней с текстами актуальными — создается поле взаимодействия. Рядом с исследованием Николая Трубецкого «О туранском элементе в русской культуре» и комментарием Николая Бердяева «Евразийцы» — обширная, концептуальная, спорная и яркая работа Рафаэля Хакима «Россия и Татарстан: у исторического перекрестка», очерк Дамира Исакова «Об основных этапах становления татарской нации», академичные, но увлекательные изыскания Сергея Кляшторного «Формирование древнетюркской государственности: от племенного союза до первого тюркского каганата». Рядом — теоретические размышления Хуана Линца (США) и Айдина Яльчина (Турция) о соотношении этносов и государств; сообщение Леокадии Дробижевой о формах национального сознания в республиках Российской Федерации и яростно-насмешливый ответ Льва Гумилева на вопрос: была ли Орда игом?

Увенчивается (вернее, открывается) книга выступлением Президента Татарстана Минтимера Шаймиева на московском международном Форуме в августе 1996 года. Тема Форума: «Предупреждение смертоносных конфликтов: стратегия и институты». Тема выступления: «Значение опыта Татарстана для предупреждения и урегулирования конфликтов».

Тема (и название) книги, которая все это объединила: «Евразийство: за и против».

НЕЗВАННЫЕ И ЗВАННЫЕ

В брежневские времена московские интеллигенты попытались снять с истории вековую горечь и придумали анекдот: решением ЦК поговорка «незванный гость хуже татарина» отменяется как подрывающая дружбу народов, отныне следует говорить: «незванный гость лучше татарина»...

Нет, все-таки это необъяснимо, невместимо, нестерпимо: чтобы за семьсот лет не зарубцевалось! Но почему? Ведь англичане излечились же от синдрома норманнского десанта и даже инсценируют битву при Гастингсе. Попробуйте «инсценировать» взятие Рязани, осаду Козельска, битву на Калке...

Думаете, «срок» не вышел? От Гастингса как-никак почти тысячелетие минуло, а от Калки...

...А от Калки — семьсот семьдесят восемь. Много? Мало?

Ну так от Грюнвальда — еще меньше. Однако белорусы, немцы и литовцы способны вспоминать эту мясорубку спокойно. Как хватает юмора

англичанам и французам разыгрывать карнавальное Ватерлоо в годовщину битвы. Да что говорить, Бородино, отстоящее от нас на те же сто восемьдесят пять, уже становится полем праздничных представлений...

Но какой рок лежит между Русью и Ордой, что кровоточит их разборка пять, шесть, семь веков спустя?

«Камни немые, пока люди не заставляют их говорить».

Теперешние татары и теперешние русские бьются над теперешними проблемами, и потому вопиют в их памяти рязанские и казанские камни, залитые кровью пятьдесят поколений назад. Что делить под Ватерлоо нынешним англичанам и французам? Или — в связи с Гастингсом — нынешним потомкам кельтов и саксов?

Тут, вспомнив Ольстер, вы скажете, что и на Альбионе будущее туманно: глядишь — передерутся!

Вот когда передерутся, тогда и Вильгельма Завоевателя из гроба поднимут. Пока что передрались мы после распада Союза — если не физически, то мысленно. И встают из гробов великие азиаты, ставшие кошмаром для европейцев: Чингис, Бату, Тимур... Для русских — злодеи, супостаты, носители смертельной угрозы.

А для татар?

Да ведь «татары» тут — чистейший символ. Реальные современные татары — скорее уж от половцев происходят (как и нынешние украинцы), чем от ордынцев. Орда — она именно за половцами гналась, а Русь под руку подвернулась. Реально же от ордынцев — не татары, а калмыки, казахи, узбеки, другие братья-среднеазиаты. Что же до монголов, то Улан-Батор куда дальше от Казани, чем Москва...

А неважно! Современность ныряет в историю за ярлыками. Были татары, они же монголы. И были славяне, они же Русь. И начинается: что русскому здорово, то татарину смерть... если уж переделывать поговорки.

Да, смерть гуляет по страницам истории. Незванных полно, а званных мало... Разве что варяги. Да и их вроде бы звали ненадолго, а получили навсегда. Большею же частью то оттуда, то отсюда являются без всякого зова. А потом оказывается, что историю не переиграешь, и без тех, явившихся, уже немислимо.

Да, приход Батыева войска на Русь — трагедия. С крестами навстречу выходили — с крестами и были порублены. Так вспомните же и погром Казани! Как порублены были муллы, протягивавшие руки на порогах мечетей. Да рубившие еще и пьяны были, потому что первым делом, ворвавшись в город, разбили винные склады. И не говорите ничего про «русский национальный характер»! Потому что с обеих сторон были потомки и предки и тех, и этих. И во главе победоносного русского войска стоял, между прочим, прямой потомок Мамай. Как был «татарин» и Годунов, гениальный администратор, строивший на евразийской равнине ордынского типа империю под названием «Русия».

Давайте отделим теперешние национальные амбиции от амбиций тогдашних царей и ханов, ставивших перед собой задачи совершенно другого уровня. Чингис строил вовсе не национальное монгольское

государство — он строил мировую империю, то есть навязывал строй и порядок тому «хаотическому пространству», которое в его понимании было «всем миром». Точно такой же мировой порядок брезжил перед Наполеоном (автором Кодекса), перед Иваном III (наследником византийских владык), перед любым «имперским» диктатором от Аттилы до Сталина.

Русь унаследовала от Орды жажду «имперского порядка». Она получила: ямскую службу, переписи, подати... то есть «федеральный бюджет»... «общее экономическое пространство»... при этнической и религиозной автономности входящих в это пространство народов. Данный Вмещающий Ландшафт вместили именно то, что должен был вместить, а под какими именами и эмблемами — это уже драма другого, человеческого уровня.

Но и на этом, человеческом уровне великая русская культура (имперская по масштабу, вселенская по пафосу) создана столько же славянами, сколь и татарами от Карамзина и Тургенева до любого из Булгаковых. И великий русский народ (мучительно пытающийся сегодня свести себя к этносу) есть результат скрещения славян, финнов, татар и... раскреститься он может только ценой деградации.

Но современные татары не хотят быть русскими!

Не надо. Свое лицо (и свою историю) должен иметь каждый этнос, каждый род, каждый регион. Не вижу ничего смешного или курьезного в «Истории Кубани», где казачество предстает как центр Вселенной. Можно так написать биографию всякого «кусочка Земли». Но можно ведь и прочесть такую биографию умными глазами, не корчась от амбиций. Если вы пишете историю Орды, тогда Чингис — отец-основатель и даже вечный этнарх. Но если вы пишете историю Российской Империи (Советского Союза тож) как преемника Орды, тогда Чингис (то есть Темучин) — есть житель будущей Читинской области, объединивший великую страну и избавивший ее от новых нашествий с юга. Батый федеральный военачальник, пресекавший в своем «улусе» сепаратистские движения («междоусобия»). Тимур... узбекский брат наш, не только прикончивший отжившую свой век Орду, но и дальновидно ослабивший Турцию, за что Екатерина, наша матушка-немка, от имени россиян должна быть ему благодарна.

А если бы наш узбекский брат прогулялся не до Ельца, а до Москвы?

Попал бы в незваные гости. И сейчас корчились бы над ним, как над Чингисом.

История пишется кровью, но читается глазами разума. Степь — такая же страданица, как и Русь. Дайте каждому простонать о своем. Не ищите в прошлом динамита — его слишком хватает в настоящем.

ДИНАМИТ И ЦЕМЕНТ

Письмо:

«Уважаемый г-н Аннинский!

Прочитал Вашу статью в „татаро-монгольском“ выпуске „Родины“. Хотел бы поделиться с Вами мыслями, возникшими в ходе чтения.

Не считаю необъяснимым то, что „за семьсот лет не зарубцевалось“. Дело ведь не в одном проигранном или выигранном сражении (Гастингс, Грюнвальд, Ватерлоо), а в ДВУХСОТЛЕТНЕМ ТЯЖЕЛЕЙШЕМ ИГЕ (что бы там ни говорили поклонники Л. Н. Гумилева!), господстве менее культурного, менее цивилизованного (опять-таки что бы там ни говорили!) общества над более культурным, более цивилизованным, а такоево господство особенно тягостно. Господство Орды отбросило Русь на столетие назад (строить Кремль при Иване III было некому — не было ни зодчих, ни каменщиков. А гибель по сути всей домонгольской литературы — как тяжело и эмоционально переживал ее А. К. Толстой!) — иго угрожало самому существованию русского народа. Ведь сфера его обитания резко сократилась — остатки истребляемого народа бежали на север, под защиту лесов. В плодородное черноземье русский крестьянин вернулся лишь в XVII веке.

Ну, что тут поделать — для поколений и поколений русских людей татарин был врагом, и чувства русских к нему понятны скорее не англичанам и французам с их Гастингсом и Ватерлоо, а балканским славянам и армянам в их отношении к туркам-поработителям. Не думаю, чтобы было возможно театральное действо „Взятие Тырнова“, а в Армении как-то не представляю себе турок у памятника жертвам геноцида. Не случайно взятие Казани воспринималось русскими как акт величайшей исторической справедливости (что нашло отражение в русской литературе, иконописи, о Покровском соборе на Красной площади я уже не говорю — такие памятники не ставят в честь ЗАВОЕВАНИЯ). Как возмездие вековому врагу воспринимали свой поход Ермаковы казаки. Уже в XIX веке русские солдаты на Кавказе называли мусульман-горцев татарами (см. „Кавказский пленник“ Л. Н. Толстого).

Ох, уж этот „незванный гость“ вкупе с „нехристом старостой-татаринком“ из песни! А вот о татарской пословице „татарин — барин, мордвин — господин“ стыдливо не вспоминаем; барин и господин — по отношению к кому? Вековая привычка: как бы не обидеть... Вот и в бондарчуковском „Борисе Годунове“ из уст самозванца изымают „поляков безмозглых“. Никто не обидится, если в прошлом не искать динамит (тут я с Вами полностью согласен!) для подкладывания в чьих-то политических интересах под отношения народов сегодня. Но и мазать елеем горькое историческое прошлое (опять-таки в чьих-то сегодняшних политических интересах), умалчивать об этом прошлом (как молчали о кавказской войне и геноциде 1944 года), по-моему, нельзя. Искать в прошлом соседних народов, обреченных жить рядом, надо не динамит, а цемент.

Извините за сумбурность изложения. Пишу под воздействием только что прочитанной Вашей статьи. Очень хотелось бы получить хотя бы короткий ответ.

С уважением В. А. Ляпин,
доцент Уральского университета.
Екатеринбург».

Уважаемый Владимир Александрович!

Кто ж из нас не горевал о славянах, проигравших Орде войны XIII века! Кто не помнит князей, раздавленных ханскими задами на пиру после Калки! Кто не оплакивал Евпраксию на зарайской кровле! Кто не жалел о рукописях, сгоревших во время набега Тохтамыша! История пишется кровью, умывается слезами. Но современность ждет здравомыслия.

Это верно, что Орда отставала от Руси в отношении цивилизационно-культурном, то есть в том смысле, что житель средневекового города куда охотнее строит себе теплый сортир, чем средневековый степняк-кочевник. Но если военное искусство все-таки входит в понятие культуры, — то не Орда ли научила нас этому искусству? И с его помощью мы удержали завоевателей с Запада, которые — поддайся мы — скорее всего вырастили бы здесь свою передовую цивилизацию на наших костях. И если великое Российское государство — ценность, а не имперский бред, то не Орда ли преподала нам структуру такого государства?

История не знает переигровок. И все-таки Вы невольно примеряетесь к тому, что было бы с нами «без татар». Позвольте и мне примериться. А что, если бы нас ожидала в этом случае судьба балканских славян? А если бы Русь, размытая потоками с Запада, разделила бы судьбу Пруссии — перестала бы быть Русью?

Ивану III, конечно, нелегко было строить Кремль. А Пскову — легко было вынести державную длань Ивана III? Горцам — легко было вынести Ермолова? О чеченцах 1944 года Вы сами сказали.

Но если и так, и эдак клин (или пропадать поодиночке, или отбиваться вместе) — так в чем разница? В том, ЧЬЕ иго? Татарского хана или любого из Иоаннов (часто, между прочим, татар по крови, как и Годунов)?

А дело в том, что современное сознание по-прежнему ищет, куда бы приписаться. «Татарин — барин». «Незванный гость». «Мы — они».

Но ведь «мы» — уже на протяжении десятков поколений потомки и тех, и этих. И тогдашних славян, и тогдашних татар. А если уж искать ответчиков, то сегодняшние татары — потомки скорее все-таки половцев, чем ордынцев как могут отвечать за 1223 и 1237 годы? Даже прямые, так сказать, отпрыски Батыевых воинов: калмыки, буряты, узбеки — и те уж так перемешались с потомками воинов других станов, что только комплекс неполноценности способен раздуть эти угли в пожар.

Не дай бог, Владимир Александрович!

А дай бог Вам (и всем нам) вместить прошлое так, чтобы не взорвалось настоящее.

ТАТАРЛОО

Боюсь, что по ходу осмысления проблемы придется мне перенестись не на Восток, как надо бы, а на Запад, но прежде сознаюсь: я в шоке от того, что происходит. Судя по всему, в шоке побывал и спецкор газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, участвовавший в «Круглом столе», тема которого — при всей заковыристости формулировки — вполне объясняет вышеуказанное состояние: «Может ли поднять дух патриотизма

федеральных солдат намечаемое празднование Министерством обороны РФ победы русских полков над татарами на Куликовом поле в 1380 году?»

Праздник — на балансе Министерства обороны, а забеспокоились, судя по всему, мидовцы; во всяком случае, «Круглый стол» устроили в колледже МИДа. Хотя Татария и не входит ни в дальнее, ни даже в ближнее зарубежье, но дипломаты, наверное, почувствовали, какой бес просится из бутылки.

Дух солдата можно поднять на любом историческом событии. При условии, что солдат согласится признать это событие за «свое». Я допускаю, что коломненский призывник испытает дополнительную гордость, если ему объяснят, где именно князь Дмитрий собирал полки. А призывник из Казани? Какие чувства испытает он, если в годовщину разгрома «мамаевых полчищ» от него станут ждать патриотического подъема? И какие встречные чувства испытает в ответ на эти ожидания?

Разумеется, историки найдут, чем его утешить. Вернее, отвлечь. Они скажут ему, что «те» и «эти» татары — не просто «разные люди», но даже и не слишком прямые родственники. И стороны конфликта лучше бы различать не по национальному признаку, а по тому, какое место они занимали в поле тогдашней государственности. Потому что ордынская верхушка, собиравшая федеральные налоги (тогда это называлось дань) отнюдь не покушалась на местное самоуправление, и на местах брали столько суверенитета, сколько могли. Пока не вставал вопрос о верховной власти. Да и этот вопрос не прост: Мамай вовсе не был ордынским полпредом — таковым был Тохтамыш, который и навел конституционный порядок, вернув Москву в общий строй, Мамаю же прижарил пятки куда круче, чем Дмитрию.

Так что у А. Колесникова были основания назвать Мамаю сепаратистом (и даже «чеченским», что уже полный журналистский произвол). Признаем однако, что у Тохтамыша было еще больше оснований назвать сепаратистом Дмитрия. Что же до Мамаю, то и его почитателям есть чем утешиться: от него произошла Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Так что в жилах последнего кровь Мамаю и кровь Дмитрия обрели, наконец, некоторый консенсус. Который мы теперь пробуем — из лучших побуждений — взорвать.

Но битва — была? Была. Надо ее помнить? Надо. Только не делайте сегодняшних татар соучастниками тогдашней драки. Или уж позвольте и им отпраздновать кое-что в компенсацию. Взятие Рязани, например. Зеркально: мы берем Казань, они — Рязань. Или еще Калку вспомните. «И там, придавлен, как комар, задами тяжкими татар...» Господи, да где сейчас те татары? А где те половцы, бегство которых решило исход дела? Вы теперь их найдете? А те русские, которые изнемогли под «задами», — они теперь в какой независимой области обретаются? Может, в Киевской?

Давайте все вместе отряхнемся от этого морока. Нам дорога держава? Так она общая. Современные татарские ученые говорят, что в 1991 году русские (и украинцы) разрушили то единое государство, начало которого было заложено Золотой Ордой, а то государственное устройство, которое еще сохранилось в России, по типу остается ордынским. Судя по всему, услышав такое, Андрей Колесников очередной раз втянул голову в плечи. И

зря. Потому что мы наследуем всё то, что тысячу лет рождалось в муках и междоусобиях. Теперь уже дело не в том, кто кого посек шестьсот или семьсот лет назад. Дело в том, кто из-под кого хочет вышибить табурет сегодня.

Поэтому вопрос стоит так. Если вы хотите, чтобы Россия оставалась великой страной, признайте, что великой она остается только, если она многонациональна. Тогда потрудитесь понять душевное состояние и тех, кто шестьсот или семьсот лет назад оказывался битым. А если вы хотите, чтобы Россия распалась на три десятка суверенно-самостийных регионов, среди которых русские будут гордиться беспримесной этнической чистотой, тогда пожалуйста: празднуйте каждый свое. Приближайте светлое общечеловеческое будущее и надейтесь, что все забудут, кто они такие.

Так ведь не забудут.

Но разве мы одни так мучаемся? Интересно, а немцы все еще обижаются на нас за Ледовое побоище? Шведы — за Невскую стычку? Да полно! Немцы давно забыли бы про Побоище, если бы Эйзенштейн им не напомнил, потому что для них это — малозначительный эпизод периферийной истории. Ярл Биргер в золотом сиянии покоится в центре Стокгольма, и шрам на его лице (от удара копья Александра Невского) лишь украшает воина. «Виртуально» в те времена Русская равнина вообще была в сознании шведов Швецией. Равно как в сознании ордынцев — Ордой. А мы были — «местное население». Улус.

Но нам-то что делать теперь с нашей историей?

Во-первых, помнить, что в этой истории много участников, и каждый имеет право на свою боль. Во-вторых, соображать, что битвы в ходе создания государств — это чаще всего трагедии братоубийства, в ходе их страдают обе стороны и плодами в конечном счете пользуются обе. И в-третьих... хватает же французам здравого смысла не возмущаться, что потомки славных воинств, угробивших армию Наполеона, устраивают потешные инсценировки битвы при Ватерлоо. А ведь с тех пор не шесть сотен — двухсот лет не прошло! Да и мы Бородино спокойно разыгрываем! Так в чем дело?

Дело в том, что нам сегодня с французами делить нечего. И французам с англичанами и немцами — нечего. Они там свой европейский Союз укрепляют. А мы свой Союз раздолбали и то, что осталось, норовим добыть. Они там по два-три языка уже знают. А мы русский никак не доконаем.

А может, в языках все дело? Вот бы и у нас всем по два-три языка выучить! Скажем, в Казани, кроме английского и русского, непременно чтобы все знали татарский. А то ведь как вышло за «Круглым столом», о котором рассказал Колесников. Кроме него и еще одного московского журналиста, все участники — татары. И рабочим языком встречи объявлен татарский. И мулла прочитал молитву. И ведущий по-татарски представил присутствующих. А как начали Куликовскую битву перевоевывать, так и оказалось, что большинство татар знают только русский. На него и перешли.

...СИБИРЯКИ

ЧТО ЗНАЧИТ: «ПОКОРЕНИЕ»?

Нагляднее всего на этот вопрос ответил своим знаменитым полотном Василий Суриков: слева — «наши», справа — «ихние»: кто кого? «Покорение» в чистом виде.

Нет, все-таки удивительное, необъяснимое это дело: избрание народом героя для легенды. О нем — песни, ему — памятники, книги, фильмы... А строго-то говоря, он разбойник, да и не очень удачливый: проспал ночную атаку неприятеля, бежал, хотел уплыть, «запрыгнул на борт», сорвался, шлепнулся в воду... А о нем — «Ревела буря, гром гремел...» Вплоть до пыревского, предельно бестактного по отношению к коренным жителям: «Сибирь, Сибирь, благословенный русский край, земля потомков Ермака!»

Каково быть потомками человека, предки которого до сей поры не прояснены? Самое имя которого — под вопросом. А вдруг он — Аленин? Интересно, а как «Аленина» полюбил бы его народ? А почему нет? Сусанина полюбил же... но там хоть подвиг неоспорим и самопожертвование отчетливо: жизнь за царя. А тут — авантюра, которую царь и поддержать-то открыто поостерегся. Тоже интересно: хоть и сидит на московском престоле сумасброд, да правительство-то у него отнюдь не безумное и предпочитает действовать не через казака-разбойника, а через заводчиков, которые продвигаются в новые земли не «покорять», а — осваивать.

Далее начинается почти скомороший сюжет: Строгановы, снабжая Ермака провиантом и опасаясь за это царского гнева, делают вид, что Ермак их ограбил. Сам Ермак тоже не уверен, что его ждет: на Иртыш он уходит, скорее спасаясь от того же царского гнева, чем надеясь обогатить Русь Сибирью. И только разбив Кучума, слагает добытое к ногам царя... А царь? Он на всякий случай Ермака к себе лично не допускает! Он на всякий случай и разбитому Кучуму предлагает выбор: либо принять высокий чин в московской службе, либо — остаться царским наместником в Сибири...

Это — «покорение»?

Если да, то в изумительном варианте: наделить покоренного противника отнятыми у него же владениями — лишь бы платил дань.

Так вопрос только в дани?

Не только. Дань с мест, конечно, идет, но и на места отныне идет кое-что. Оттуда сюда — меха, отсюда туда — то, что называется «продуктами металлообработки». Во времена Кучума это было еще золото-серебро, в век пара и электричества стали говорить о «москательных товарах». Вогулы и остяки хорошо ловят рыбу и бьют зверя, но стальные крючки и ружья им не самим же делать: это проще завезти...

Откуда?

Оттуда, где это делают лучше, где достанет сил стать центром коммуникаций. Кто-то все равно должен эти коммуникации стянуть в систему. Не эмир бухарский, так царь московский, хан казанский, султан турецкий...

Откатимся на тысячу лет в прошлое от эпохи Ивана Грозного. Сибирь не пуста — она безлюдна по лесам и освоена по берегам рек. Как только речные берега перенаселяются, начинается борьба между племенами. Укрупнение владений — экономическая и социальная неизбежность. Или зверь, добытый хантом, будет брошен и сгниет, или за шкуру этого зверя хан получит то, чем богаты пришедшие его «покорять» соседи.

Кто они? Хазары, болгары... Потом — новгородцы и суздальцы. Заметьте, ничего «имперского» тут не брезжит: соперничают разные части Руси. И «югра» борется вовсе не с Русью как таковой, она ищет места в перемежающихся контактах и дерется на первых порах с соседней и родственной «самоядь», то есть, по-нынешнему говоря, с ненцами. Но рано или поздно надо на кого-то ориентироваться: на Сарай, на Москву, на Казань, на Бахчисарай, на Бухару...

Кучум надеялся на Бухару, убежал от московских «завоевателей» вплоть до того, как его угробили в бегах те же бухарцы. А семья Кучума отправилась в Москву и была принята Борисом Годуновым по-царски.

«Покорена» ли Сибирь? Да — если фиксироваться только на драках и разборках. Но девять десятых жизни (и истории) проходит между драками. И Сибирь — «обыскана, добыта, населена, обстроена, образована», — как итожит русский историк XIX века, употребляя первое слово скорее в геологически-поисковом, чем в фискально-сыском смысле. Остальное понятно без объяснений: Сибирь втянута в мировой хозяйственный оборот, вытянута на уровень современной цивилизации, и не «пришельцами-завоевателями», а усилиями всех, кто здесь прижился.

Это нормально: люди ищут места приложения своих сил и способностей. В 1876 году немцы, мирно вросшие в Россию на Волге, зондируют почву: не позволит ли им российское правительство активнее осваивать Сибирь? (Разумеется, это лучше, чем пытаться дойти до Сибири танковыми армиями, как попытались сделать другие немцы шестьдесят шесть лет спустя, так что их пришлось отрезвлять силой: Москву в 1941 году спасали сибирские полки...) Что же до последней трети XIX века, то российские геостратеги куда больше, чем немцев, опасаются нажима Америки, уже купившей Аляску... В воздухе висит призрак войны на независимость, отделившей Соединенные Штаты от Британской империи ровно за сто лет до того, как доктор Брем решил прощупать Россию на предмет мирного немецкого продвижения в Сибирь.

Закон, который прощупывается сквозь эти хитросплетения: чуть ослабеешь — конкуренты начеку. На рубеже XXI века Сибирь учитывается в прогнозах геополитиков как бесценная кладовая и место потенциальной иммиграции в масштабах человечества. России просто не позволяют сидеть тут, подобно собаке на сене. С нее не спускают глаз. Россия деморализована, она распадается? «Президент Клинтон, поторопитесь!»

Разумеется, «покорение» планируется бархатное. К вящей радости местного населения, которому будет дарован американский образ жизни. А пока — пусть «толпы протестантских миссионеров» заполняют вакуум. Пусть американские специалисты, предприниматели, консультанты и репортеры «битком забивают самолеты, летящие по маршруту Анкоридж — Владивосток». И пусть действуют как бы от своего имени.

Конечно, в эпоху Строгановых не было такого летного маршрута, но знаете, что мне это напоминает? Как Иван Грозный предоставлял Ермаку действовать на свой страх и риск: а вдруг получится?

И получилось же!

...КАЗАХИ

БОЛЬШОЙ ДЖИХАД ШУГИ НУРПЕИСОВОЙ

*Маркс ошибся. Первичен все-таки дух,
материя же бывает такой, как мы ее сами
хотим увидеть.*

Кое-что о национальной идее казахов

*Научить человека глубоким ощущениям,
чтобы он перестал быть рабом острых.*

Ностальгия по самим себе

*После злых трущобных скитаний под звук
пинков и тычков особенно необходим
опьяняющий феерический танец под
музыку небесных сфер.*

Пробуждение волны

Прежде чем стать пифией пламенно-нетленной праистины, мифологом степи и мистагогом казахского духовного возрождения, Шуга Нурпеисова была советским литературным критиком.

Как литературный критик она связана материалом, хотя отбирает близкое, крупное, интересное (Булгаков, Маканин, Кекильбаев, Распутин, Ким). Став культурологом, тоже близкое отбирает и тоже, конечно, связана материалом: опирается на самое яркое и свежее в теории мифа (Юнг, Генон, Элиаде).

Но как натура пытливая и неумная, она находит в материале именно то, что дает душе надежду. С первых статей эти мотивы светятся сквозь материал, иногда почти прожигая его.

Это — ненавистное ощущение хаоса и бессмыслицы: образ, достаточно рискованный для благодушно-застойной позднесоветской ситуации. Это ощущение того, что привычное и ясное вот-вот лопнет и разрушится, потому что под ложной ясностью копится варварская свирепость и шевелятся дремучие инстинкты. В соответствии со словарем социалистической эпохи мишени выстраиваются вокруг слова «быт»; иногда его «мерзости» соотнесены с «мещанством», из «тисков» которого надо «вырваться», иногда же «утомительное однообразие» этого быта надо терпеть. В любом случае вас не покидает чувство общей повязанности, общего морока, в котором отдельный человек бессилен, и даже любой самый могущественный правитель немощен перед толпой-чернью, потому что не он ею правит, а она — им. Противостоять круговому бездумью-безумью по логике невозможно, потому что личность, которая должна ему противостоять, вынуждена черпать логику из того же потока, из себя же самой личность поддержать и напитать свой дух не может.

На что же уповать? На чудо? На то, что какая-нибудь шальная идея выведет людей из ступора, ибо люди легковерны; вот ведь любая злая идея мгновенно овладевает толпой — почему бы не появиться и доброй? Если

поставить человека перед мучительной правдой о нем самом, заразить его отвращением к самому себе, может, хотя бы это терзание поколеблет то мертвенное равнодушие, под которым мельтешит полузадушенная суета?

Неясное ощущение неопределенной вины и смутное ожидание некоего искупления не столько венчают, сколько подмывают картину реальности в статьях Шуги Нурпеисовой советских времен.... И вдруг в одночасье картина меняется, и кровь вскипает, как у водолаза, вытолкнутого из глубины на поверхность.

«Прямо из дремотного застоя» республика брошена в «кипящий водоворот». На месте быта «давящего», мерзко-застойного раскорячивается быт взбесившийся, желчно-отравный, вывернуто-откровенный: власть берут поверхностные дилетанты, скучные ловкачи, шарлатаны, шныряющие в безостановочно потребляющей, то есть непрерывно жрущей толпе...

На что опереться духу? Да еще в ситуации, когда медлить нельзя, когда исторический шанс, выпавший казахам при нежданном-негаданном крушении империи, может никогда более не выпасть, и стало быть: сейчас или никогда! Или — или! Или — брэнное прозябание, где жизнь гробится по тому закону, что дважды два четыре, неважно, закон ли это рынка либо антирыночной власти, или — иллюзорный мир, который надо взлелеять в своей душе! Третьего не дано: либо гибель, либо спасение! Из иллюзий, из мечтаний, из смутных упований — тотчас же начинать строить новый мир!

В соответствии со словарем перестроечной эпохи этот мир начинает выстраиваться вокруг слова «нация». Раз история выбросила такую козырную карту, как национальное государство, надо играть! То есть это понятие наполнить.

Чем?

Тут возникает некоторая заминка. Род, этнос — тоже вещь небезобидная, ибо в пределах казахстанского государства живут не только казахи, но и другие люди, когда-то казахами спасенные. Тогда это был акт милосердия и гостеприимства, теперь это масса рутинных, земных вопросов: о статусе языков, о культурной автономии, о средствах на образование и о средствах коммуникации.... В реальности это решается трудно и нудно; в пылающем воображении — мгновенно: если расцветет древняя, изначальная, не затронутая позднейшим безумием пракультура казахов, то прочие национальные культуры в пределах общего государства расцветут ей в отклик....

В пылающем воображении оживает та базисная субстанция духа, в свете которой брэнные проблемы плавают и теряют тупую неразрешимость.

Никакого благорастворения воздушных это чаемое пресуществление миров не сулит — напротив, искры праведного мифа, высекаемые из древних камней, зажигают такой пожар, в котором все несправедливое тотально испепеляется: главная, ключевая статья Шуги Нурпеисовой, принеся ей славу казахской прорицательницы, называется «Анафема».

Анафема быдлу! Анафема потребительскому прагматизму! Анафема бесхребетной, безнациональной интеллигентщине!

Происходит, по словам Шуги Нурпеисовой (и ее словами), следующее. В ситуации, когда толпа, чернь, люмпенская масса обретает голос, она все заполняет омерзительным чувством сострадания и подменяет идеалы интересами торжествующего быдла, — в такой ситуации надо сделать все, чтобы вернулись утраченные идеалы, только тогда возникнет надежда, что масса, может быть, станет когда-нибудь народом.

Никак не отрицая того, что вакуум идеалов смертелен для общества и опасен для народа, отмечу все-таки, что в поисках общего для народа идеала Шуга Нурпеисова достаточно субъективна и избирательна. При всей страстности и общечеловеческой возвышенности ее чувств, — у нее весьма последовательная и жестко отобранная система ценностей. Это аристократизм в классическом и узком смысле слова. Исходный пункт: есть вещи, которые выше человека, ценнее человеческой жизни, важнее человеческого существования. Какие это вещи? Честь. Красота. Страсть, напряжение, поэзия. Вообще — стиль. Стиль не оболочка. Стиль — это именно материализация, квинтэссенция сути, и в то же время аура, кристаллизующая суть.

Однако чтобы материализовался дух (суть), нужна именно фанатическая вера: готовность ради идеи сгореть. Нужна аура, перенасыщенная гремучим газом, — тогда и впрямь любая идея будет способна такую смесь взорвать, и если идея окажется хорошая и удачная....

Но ведь это лотерея, игра, упование на чудо?

— Да, так! — отвечает Шуга Нурпеисова. — В обществе красивых людей, признающих власть чуда, случается и невозможное. Игра — как стиль поведения, вкус и азарт к игре, легкое дыхание в любом начинании — это уже полдела. Откровенная игра (Шуга, умеющая всякую мысль домыслить до конца, говорит: нахальная игра) — это ведь превосходная терапия против привычного надрыва, сиротского состояния души и ума...

«Сиротского» — потому что казахам не на что опереть свои патерналистские упования?

И тут, разворачиваясь в прошлое, Шуга Нурпеисова находит, на что опереть. Средневековые — вот опора! Средневековые — все — дышало разгулом творящей, беспокойной мысли, так легко, естественно оборачивая на службу себе даже еретические положения и обычаи.

То есть: когда лев сжирает барана, он бараном не становится, он остается львом.

Меня, правда, не к имени будь привязано, не столько наевшемуся льву тянет сопереживать, сколько несчастному барану, но это во мне говорит, конечно, недовыдавленный русский интеллигент. О котором разговор чуть позже, а пока — о средневековые.

Что ожесточенное соперничество с пылающим исламом средневековья только добавило христианству недостающей энергетики и стало трамплином для чудесного взлета, — это я оспаривать не буду: когда миллионами давно прошедших жертв уже вымощена взлетная полоса, — что ж ловить улетающую царственную птицу — ее естественнее созерцать

восхищенно. Куда труднее созерцать такую птицу в упор, то есть переживать такое средневековье на уровне юрты.

Шуга и здесь смело идет навстречу моим сомнениям:

— Вот он, ответ на вопрос, почему наши предки, кочевники, жившие в своих войлочных юртах посреди бескрайних степных просторов, не сходили с ума от гнетущей скуки без телевизора и дискотеки... Их мир был густо пропитан флюидами вечно длящегося чуда.

А не потому ли кажется нам их мир таким чудесно-счастливым, что он миновал, давно прошел со своими повседневными бедами? И не столько они там, в юртах, сколько мы — счастливы оттого, что видим их с такого чудесного расстояния? И не стоит ли предположить, что наша кипящая буча, сегодня вызывающая спазмы тошноты, с расстояния веков покажется нашим уцелевшим правнукам неплохим временем?

Вряд ли моя героиня согласится с этим. Особенно если под «нашей бучей» понимать советский период, который для Казахстана, как она аккуратно формулирует — «самый неорганичный». В это время и были казахам подсунуты под видом «дружбы народов» общечеловеческие ценности — интернациональные, вненациональные. В это время мы были самой разнесчастной шестой частью света, отринувшей все законы космоса.

Не скажу за все законы космоса, но насчет «шестой части» позволю себе не согласиться. Все-таки в недрах самой разнесчастной вызревали такие таланты, такие личности, как моя уважаемая собеседница, читать которую (и спорить с нею) — определенно счастье.

То же — и насчет России. Тут Шуга Нурпеисова формулирует несколько менее аккуратно:

— Кто, как не та же Россия, подогревает национализм в сердцах казахов, используя казахстанских русских как ширму для своей экспансионистской политики? Можно ли расценивать заявление главного мидовца России, что-де он силой оружия готов защищать попираемые права соотечественников в зарубежье, только лишь как неудачную шутку?

За шутки мидовцев, опять-таки, отвечать не берусь, а вот за Россию, увы, должен. Когда мне говорят: «кто, как не та же Россия», — я отвечаю: извините, я — та же Россия. И у меня — свой опыт, своя история и своя, так скажем, аура отношений в сфере «дружбы народов»... Не задевал бы этого пункта, да профессия обязывает: не позволяет пройти, «не заметив».

Будем считать, что это — частности, преходящие особенности текущего момента. На фоне главного — пренебрегаемо. А главное — то, что завещали нам Средние века, а мы растеряли, растратили, распродали. Разменяли на среднегуманистические прохладности. Вот оно, наследие, которое надо вернуть. Живительная энергия... природного, еще досознательного истока, наделенного космической целостностью.

Да, счастливы те отважные, что пожнут драгоценные плоды этой атмосферы... пробуждаемого из орфических глубин мифа.

Но как нам представить себе действие этих орфических глубин в нашей теперешней реальности? Как все это будет реализовано сегодня? И кто реализует?

Поскольку средневековые носители такого рода страстей и воззрений: «священники и аристократы» — в наше время, как сознает Шуга Нурпеисова, изведены, — приходится опираться на то, что есть. А есть — перемешавшиеся человеческие потоки.

И еще есть «заморские штучки»: «права человека», подбрасываемые с Запада; есть идеи «двойного гражданства», навязываемые с севера, то есть из России. В результате — сумбур и паника: куда идти, за кем идти?

— В этом сумбуре смешений, — говорит Шуга Нурпеисова, — на место, утраченное аристократией, претендует сейчас интеллигенция.

Вводя в свой словарь чисто русское понятие, Ш. Нурпеисова, я думаю, делает это неслучайно: «интеллигенция»-то и есть тут главная мишень. Именно на интеллигенцию изливается самый страстный гнев, именно интеллигенция объявляется «зеркалом нашего упадка», и именно интеллигенции адресована та «анафема», что стоит в заглавии статьи, заметно, кстати, сдвигая мажорный и духоподъемный пафос манифеста в сторону апокалиптического отчаяния.

И поскольку зло это — интеллигенция — пришло на казахскую землю из России, я решаюсь этот данайский дар все же откомментировать.

Идею «двойного гражданства» обсуждать здесь не буду. В конце концов, как оформить тот или иной культурный симбиоз, — дело юристов и законников. Речь-то идет не о формах, а о горении сердец.

Сердца же горят, потому что не могут примириться с безнациональным, бескачественным прозябанием; главным же носителем этого амебного псевдосуществования является городская интеллигенция, и прежде всего застрявшая в Казахстане русская интеллигенция. Казахской она не стала, русской тоже понемногу перестала быть. Парадокс, но сегодня в Казахстане именно казаху гораздо ближе и доступнее идеи и пафос русской культуры, чем русскому. Сказано так, что хочется перефразировать: парадокс, но русским в Казахстане идеи и пафос русской культуры еще более чужды и недоступны, чем казахам, поддавшимся этой общей порче, — тогда и горечь Шуги Нурпеисовой становится более или менее понятной, и ярость ее.

Так где же выход? Казахам — стать казахами, русским — русскими... немцам — немцами? Речь ведь о республике, где и немцы играют заметнейшую роль, причем отнюдь не только как знаменитые хлеборобы; я в этом еще раз убедился, когда читал лекцию в Кустанайском университете: на кафедре русской филологии со мной говорили работающие там немцы, специалисты по русской и тюркской филологии, не переставшие притом быть немцами, во всей филологической и философской осознанности такой самоидентификации.

Тут Шуга Нурпеисова, конечно, напомнит мне, что и она знает о Гарольде Бельгере.

Да, она пишет с величайшим уважением об этом филологе, переводчике и писателе, который всю жизнь посвятил служению казахской культуре (он больше казах, чем многие из нас, казахов... добавлю, что для Бельгера и русская культура абсолютно, врожденно органична, и в этом смысле он больше русский, чем многие из русских); но, являясь в полном

смысле слова казахом и русским, он не перестал же быть немцем, причем именно носителем высочайшей немецкой культуры. Так какая разница, будет ли у него в паспорте два или три штампа? Впрочем, автору «Анафемы» и это, кажется, ясно: «кем была Екатерина II по паспорту? Кем был Багратион?..» Да тогда и паспортов не было — только страна, которой служили, только культура, ставшая своей. Было совмещение культурных корней, благотворное для обогащения духа. Будет таковое, надо надеяться, и впредь. И это не «заморские штучки», не мондиалистский бред и не размытость амебы, это тысячелетняя традиция нашего бытия. И, между прочим, это базис интеллигенции, тот камень, на котором она стоит и на котором строит. Чего ж тут анафемствовать?

«Еще одна российская уловка, — пишет Ш. Нурпеисова, — это когда выставляется счет: „а кто здесь строил города и заводы?“ И отвечает: а это неважно. Права духовного строительства всегда выше прав материального обживания. Наши предки действительно не возводили здесь полигонов и сырьедобывающих сооружений. Они наделяли свою Золотую Степь (Сары-Арка) душой, историей и судьбой... Они создавали здесь здание, неразрушимое вовеки: чувство, что это самое дорогое — твоя священная земля».

Какое безупречное следование аристократическому принципу: дух там, где земля! И ничего более! Земля — это все. Разумеется, если очистить землю от полигонов и сырьедобывающих сооружений и вернуть ее к табуну и юрте, то есть к орфическому мифу, — тогда все сойдется, и без посредников обойдутся оставшиеся объекты и субъекты: земля и владеющие землей аристократы, и никакого «пролетарского элемента» между ними, и никаких «интеллигентов»: табунщик, как известно, к аристократу ближе, чем буржуй, торгош, люмпен и прочие предвестники будущих свалок и полигонов. Но как вы теперешнюю землю «очистите» от всего того, к чему она пришла за истекшее тысячелетие? И так-таки, кроме сырьедобывающих сооружений, ничего и не добавилось к этой земле за всю новую историю? Ни городов, ни всего того, что они вносят в жизнь людей? Как вы освободите «священную землю» от людей, живущих в городах? И что останется после такого очищения? Еще один полигон?

Правда духовного строительства всегда выше материального обживания... Согласен, выше. Да только одно без другого все равно не выживет. Без материального обживания не получится и духовного строительства. Разве что представить себе средневекового отшельника, живущего святым духом, то есть, подаянием? То есть опять-таки за счет того населения, которое строит «города и заводы»? И отнюдь не в воображаемом мире, где Сары-Арка наделена душой, историей и судьбой, а в мире реальном, где без сырьёобработки загнешься.

И, наконец, о том, как мы будем выдавливать из себя интеллигента... хочется добавить: «по капле», — чтоб уж было совсем по Чехову.

Да, разумеется, «интеллигенция», занесенная на священную землю «со стороны», так сказать, на кончиках перьев, — это совсем не то, что «аристократия», огнем и мечом освятившая эту землю издревле. Хотя что-то общее хочется найти, правда? Шуга Нурпеисова признает: считалось, что

русский интеллигент сохранял определенную преемственность с духом истребленного или выродившегося племени аристократов...

Увы. Может, оно и «считалось», и даже хотелось, но интеллигенция в России никогда не дотягивала до аристократии. А если точнее, то и не хотела за нею тянуться: тянула совсем в другую сторону. Аристократ по определению — воин, а интеллигент — миротворец, примиренец. И вся система ценностей другая. Аристократ — человек чести, интеллигент — человек совести. Аристократ — вверх, интеллигент — вниз. Аристократ силен, интеллигент слаб. И так далее. На эту тему целая литература в России написана от Бердяева до Федотова. Не говоря уже о нестяжателе Ниле.

Так вот: интеллигент может снести (или не снести) свой крест. Но отказаться от него он не может. Если он интеллигент. Его бессилие коррелирует с непосильностью задач, от которых ему нет спасения. И, слава богу, известно, на кого уповать в этом бессилии. Ибо Иса, он же ал-масих, Ибн Мариам, абд Аллах, то есть мессия, сын Марии и раб Аллаха, мусульманский пророк, на которого с полным основанием ссылается Шуга Нурпеисова, сказал не только о том, что не хлебом единым жив человек. Он сказал также: блаженны нищие духом. Вы чувствуете змеиный соблазн, спрятанный в этой формуле? Ну, понятно бы: сильные духом, но слабые плотью. Так нет же: нищие духом! То есть: взявшие на себя, вместившие в себя, вобравшие в себя ту неизбежную горечь мира, которую никогда не допустили бы в сердце настоящие сильные аристократы.

Кого же выдавливать из себя? Человека? Но для этого надо забыть и предать слишком многое, и не только из породившей «интеллигентов» русской истории двух последних веков, но и из двух тысяч лет мировой истории, и не только из опыта христианского, но — всех авраамических религий, то есть религий личного завета, а может, и вообще из опыта человека как такового. Ибо по ходу мировой драмы человек как победитель опростоволохился, а как сын — никак в себя не поверит, никак не смиритсся с этим. То, что русский интеллигент в череде этих испытаний оказался в роли нищего и принял «зрак раба», — правда. Правда и то, что этого раба он из себя «по капле выдавливает». Роль довольно неаристократическая, и облик нехорош. Но драма-то — божественная. Идея в ней — великая. Больше самого человека. То есть больше ветхого Адама.

Во времена, когда за перестройку брэнного мира, то есть за возведение полигонов и заводов взялись наши отцы (для уважаемой Шуги Абдижамилуовны, впрочем, они деды), на подобные рассуждения ответ был один: на кой нам ляд все это, когда мы вот-вот ветхого Адама перекуем в новейшего, а нищего так обогатим, что себя не узнает?

Не получилось. Ни перековать, ни обогатить. И не получится. Будем и дальше духом ветхие да нищие. А потому не отрекайтесь от пророков — ни от христианских, ни от мусульманских: без них с брэнным человеком не справиться. И интеллигенцию не выдавливайте. Уж если кто способен выносить идею, которая выше, больше, ценнее самого человека, — так именно она. Чего и взыскует воспаленным духом Шуга Нурпеисова.

Из-за чего и анафемствует. Ее исповедь — манифестация возрождающегося духа. Ее статьями национальный дух возрождается —

самосознание казахов. Но именно потому, что это дух, — он должен сознать национальную стадию именно и только как стадию. Как форму. Как носительницу. Национальное — это лодка, без которой можно утонуть в океане всемирного, общечеловеческого. Само по себе возрождение самобытного не есть конечная цель ни государства, ни людей... Это лишь исходный пункт.

Великолепно сказано. Горизонт, открывающийся из исходного пункта, настолько широк и просторен, что, право же, можно не пугаться того, что болтаются в волнах и «заморские штучки», а океан, в который вливается «национальная лодка» так велик, что можно и не заметить, что иной пловец выдвигает в него из своей души пару капель ненавистной «интеллигентности». Когда с такой чистой страстью кричат: Анафема! — это звучит как «Осанна!» Когда пророчествуют о том, что близок к завершению темный век, а там, следом, грядет век золотой, — спорить не хочется. И впрямь бы — из нашего вонючего хаоса да в вечность, без промежуточных станций!

Я думаю, что именно это и в исламе ищет, любит и ценит Шуга Нурпеисова: полет сразу — от частной истины к изначальному проекту — без тех половинных и смешанных состояний, где возникает отец, то ли слившийся, то ли неслившийся с сыном, и маячит то соединение божественного и человеческого, о котором иудаистские максималисты говорили как о дурной смеси чистоты и грязи... оставим этот спор богословам, но учтем, что смысл появления христианства с его «ступенчатостью», сама эта версия схождения Бога в мир есть попытка все-таки этот мир изменить.

Так ведь исламские мудрецы о том же думают.

И индуистские...

«Вся власть брахманам!» — провозглашает Шуга Нурпеисова, сменяя межрелигиозные перегородки.

То есть не царям, не воинам и, уж конечно, не тем торгашам, которые суеются в хаосе повседневья, с рынком или без. Святым жрецам-мудрецам власть!

В принципе хорошо. Но они мудрецы, пока пребывают в «ауре чуда», вкушая горный воздух духовности. Там им и место. Но власть штука ползучая, тем более «вся власть». А если дух сползет к власти на уровень махалли? Ведь неизбежно он должен спуститься в мир, туда, где надо определять ежедневную жизнь и поступки людей, впряженных в «этот проклятый быт». И тогда на месте всяких мистиков, гностиков, суфиев и даосов окажется — кто? Брахман повседневья, скромный сельский мулла. И какими зарядами насытит он душу так называемого простого народа, вернее, как оформит и куда направит он чувства этого народа — мы это можем предугадать?

Предугадать не можем. А пронаблюдать можем. В современном Алжире, например.

Да Шуга и сама это чувствует. Достаточно было немного ослабить узду контроля в Иране, и народ потихонечку уже ищет как бы пуститься во

все тяжкие. Вот то же мгновенно случилось и с народами СНГ. Хорошо еще, что не со всеми.

Узда контроля — это еще брахманы? Или уже кшатрии?

А тот джихад, который объявляет Шуга Нурпеисова, — это какой джихад? Джихад руки? Не поверю. Джихад меча? Не поверю. Скорее, Джихад языка, а еще точнее — Джихад сердца. Огненное очищение собственной души.

Идеал — это недостижимость, зато уверовав в великое, мы меняем сам тип ментальности и собственные возможности.

Чтобы придать этой глубокой мысли еще и остроту (хотя вроде бы затем и учат человека глубокому, чтобы он перестал быть рабом острого), — ниже добавляет:

Идеал выстрадывают, а не берут штурмом, как Зимний.

О да. У нас (во «все той же» России) было много «зимних» задач. Индустриализация, например. За пределами нормальных возможностей. Надо было эти возможности расширить. Пришлось поверить в миф (раскаленный, запредельный, огненный). Думали, что строим коммунизм, а на самом деле строили армию и казарму для мировой войны. Без такого орфического экстаза и казармы бы не построили.

А нельзя ли миф — без казармы?

Можно. Но найти правильное соотношение между чудом, пламенеющим в душе, и правдами, искрящими в хаосе наличной реальности, — посильно, наверное, лишь одному Аллаху. Посему Мохаммед, пророк Его, учил различать малый джихад и большой: борьбу с неверными и духовное самосовершенствование.

Если спрашивать, что все же милей обществу, то безусловно малый джихад — внешние исправления.

Мне милей Шуга Нурпеисова — потому что избирает большой джихад.

...СЛАВЯНЕ

ВЗАИМНОСТЬ

За всяким словом неизбежен шлейф. Любовь — без взаимности. Взаимная вежливость — порядок на дорогах. Я бы даже сварьировал: взаимность свыше нам дана, замена счастью она...

А химеру не хотите? Славянское единство — как умозрительная фикция. Как интеллигентская выдумка, не имеющая под собой почвы. Как пропагандистская уловка для наивных душ. Тут и за «взаимность» схватиться, как за соломинку...

Но в самом деле: какая реальность прощупывается под «славянством»? Когда-то считали: это племя. Самые рискованные антропологи говорили: раса. Однако попробуйте, вычленив общий этнотип славянина, вытащите из-под наслоений. На западе обнаружится высокий, светлоглазый, похожий на прибалта блондин. На юге — полная противоположность: брюнет, черноглазый, да еще и с формой носа, характерной для кавказцев. На востоке с формой носа все в порядке, и русые волосы в законе, но — скулы! Разумеется, найдутся теоретики славянства, которые скажут, что русские — это уже не вполне славяне, что в них полно финских, тюркских и прочих примесей. Но тогда и болгары с их тюркским происхождением — не вполне славяне. Тогда в любом чехе, пьющем пиво и экономящем кроны, вы найдете столько же немецкого, сколько и славянского. Поляк же, романтической героической своей немцу явно противостоящий, долго будет искать свои корни, мучительно соображая, когда и как порусское превратилось в прусское.

Разумеется, в веках и тысячелетиях не всегда уследишь, какая бабушка ведет род от какой прабабушки: в таких вопросах важна не столько этногенетика, сколько этнологика. То есть: кем люди себя считают, кем хотят быть, тем и будут. Так что если хорваты в лице Павелича заявляют, что они по происхождению не славяне, а готы, — попробуем признать их таковыми. Если о своем готском происхождении в 1943 году докладывают Гитлеру босняки, можно только пожелать им идти туда, куда им так хочется. Да ведь, кроме готов, есть еще спасительные, всеевропейские, неславянские кельты, и если учесть, что следы их присутствия обнаружены прямо под Краковом....

Впрочем, если реконструируемых кельтов наделить такими чертами характера, как щедрость, широта души и любопытство ко всему новому, — то между кельтами и славянами наметится полная взаимность....

А еще — язык! В XIX веке, когда после окончательного исчезновения средневековых религиозно-государственных единств начали складываться современные нации, — главной объединительной чертой этноса сделался именно язык. И XX век это утвердил. В энциклопедии 1904 года славяне — «племя», в энциклопедии 1930 — «народы, говорящие на славянских языках». Последнее чистая правда, но подвох в том, что языковая близость

— вовсе не залог единения, а чаще — причина яростного отталкивания. Это верно, что словаки и чех скорее поймут речь друг друга, чем речь немца или мадьяра. Но не сливаются близкие языки! Украинцы отделились от русских не из-за «сала», которые якобы съедали у них русские, а ради спасения мовы, и если насчет сала можно посмеяться (а сало — перепрятать), то тревога за язык — дело святое, и украинцы правы, считая, что от далекого английского они свою мову уж как-нибудь уберегут, а вот от близкого русского им ее не спасти — и раздолбали Союз ради языковой независимости!

Так что насчет близости славянских языков — не будем строить иллюзий. Не напоминайте хорватам, что у них с сербами один язык, они ответят, что этот общий язык — соблазн имперской эпохи, как и славянское единство (а если югославянское, так это для них еще опаснее), ибо корни у хорватов издревле — свои, особенные, отдельные (так что, глядишь, они и от «готов» без сожаления отложатся).

Конечно, Югославия — это крайний, трагический случай внутриславянской разборки, но что-то в этой модели брезжит сокровенно родное...

Желание жить на особицу?

История свидетельствует: для того, чтобы славяне почувствовали, помимо трудноуловимой «взаимности», реальное единство, их надо очень сильно прижать извне. Крик «гей, славяне!» раздается, как правило, тогда, когда надо спастись: от немцев ли, от турок, от австрийцев, от мадьяр, от кавказцев. Но как только внешняя угроза ослабевает, — тотчас всплывает вечное, неизбывное наше: «кичливый лях иль верный росс?» Заметьте, что самое громкое стихотворение Пушкина на славянскую тему пронизано ненавистью к французам за то, что они мешают нам, славянам, разбираться между собой, влезают чужаки в наши всегдашние домашние споры! Эти споры и есть наша вечная реальность? Русские вовсе не собираются вливаться в славянское море, напротив, они хотят поглотить славян в русском море. А те — упираются, не хотят тонуть в море, что раскинулось «от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды»...

Но тогда что же это все-таки такое: славяне? Дуновение слова? Некий общий дух в восточно-европейских культурах? Конечно, и это. То есть, можно вычленил славянское в ритмах Дворжака, в пафосе Наровчатова, в истовости Селимовича, в юморе Чапека, в горечи Вайды... Можно проследить, как славянскими мотивами подкрепляют свои геополитические концепции публицисты (юго-западный вектор Константина Леонтьева, северо-восточный — Александра Солженицына). И всегда обнаружится — какой-нибудь «фронт»...

Хочется в «тыл». Хочется понять славянство не как оборонительный щит, а как тип душевной организации.

Русские — по Ключевскому — соединяют три душевных наследия: славянское, финское и тюркское.

Что от кого?

Пойдем от последнего, самого очевидного: от тюрков. От них у русских государственный инстинкт, вселенский размах-замах (греками в свой час

маркированный). От финнов — мистика, таинственность (варягами маркированная): «мысли, тайны от туманов».

Что же от славян?

Я бы так сказал (опираясь не только на Ключевского, но на всех историков, описавших дотатарскую Русь): от славян в нас — любовь к нестандартным ситуациям. Эмоциональная взрывчатость, мгновенная мобилизация сил с мгновенной же демобилизацией. И — заражаемость. И — открытость. То, что русской классикой маркировано как всеотзывчивость, непредсказуемость, широта души...

Широта «русского моря».

Что же до островков, морю не поддающихся, то вот старый чешский диалог, вполне выражающий эту эмоциональную стихию.

Ян Коллар: «Кто ты? Чех... Русский... Серб... А ты? Поляк. Сотрите это, пишите: славянин».

Карел Гавличек: «Сначала я чех, потом славянин».

Современный автор резюмирует: «Чех вспоминает, что он славянин, после четвертой-пятой кружки пива».

Моя взаимность пану!

...ВЕЛИКОРОССЫ

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ ВЕЛИКОРОССОВ

Интересно: найдется ли теперь публицист, который рискнет увести из-под понятия «русская культура» его этнический фундамент, то есть великорусское начало? Я был уверен, что в наше этнопомешавшееся время такого автора не найти.

Однако нашелся:

«„Великоруссы“ — порождение умонастроений XIX-XX веков — развития этнографии, повального увлечения фольклором, собиранием народных песен, изучением плясок, обрядов и обычаев деревни, а также „пробуждения“ национализмов, шедших рука об руку с ростом либерального и революционного движения...»

«Кто этого не понимает, тот не поймет... почему орловского мужика называют великороссом, а Тургенева и Бунина, уроженцев той же Орловской губернии, — русскими».

«„Русский“ и „великоросс“ — понятия неслиянные. Одно означает аморфную этнографическую группу, стоящую на низком культурном уровне, другое категорию историческую, активный творческий слой народа, не связанный с какой бы то ни было „этнографией“ — носитель души и пламени нашей истории...»

Представляю себе чувства национал-патриотов, хоть чистых почвенников, хоть чистых государственников, когда в щель нашего растрескавшегося самосознания вводят такое жало, когда так решительно отсекают государство от почвы, а почву оставляют без государства.

Однако это реальность: и историческая, и актуально-современная. Более того: она актуализована как историческая именно потому, что злободневна. Единственная из национальных проблем, которую так и не смогла решить советская идеология, — это проблема русской культуры: в качестве русской она так толком и не была отделена от советской. Взаимовыталкивание терминов прямо следовало из исторической реальности, а новейшая реальность вталкивала нас в новые неразрешимости. Например: «русские» имеют права на Крым и Севастополь, но «великороссы» таких прав не имеют...

Где грань?

В глуби времен.

Ах, если бы мы, подобно Европе, где в «образцовых» единицах нации совпадали с государствами... Впрочем, и Европа знавала всякое. И «римское» отнюдь не совпадало с итальянским. И «Великобритания» из трех этносов сплавилась. И в Испании до сих пор решают, что такое каталонцы. Или баски. Что же говорить о России, где государство никогда не совпадало с этносом? Что это за племя: «Русь»? Да мы и слово-то это в истоке

определить не можем. Зато понятие — однозначно, и изначально стоит оно вне, над, под, между... где угодно, только — не «внутри» племени. «Русь», собственно, это дружина, это княжеская властная структура, это государственный фермент в многоплеменном, непрерывно перемешивающемся растворе евразийского населения.

Еще и то учтем, что раствор от веку не очень густ: хватает незаселенных пустот и в дебрях, и в степях бескрайних. Поэтому «Русь» не завоевывает «чужие земли», а занимает, заселяет их, скорее «охватывает», чем захватывает, скорее «присоединяет», чем вторгается, а существеннее всего: она облагает данью тех людей, что в тех пространствах живут (собственно, «Орда» делает то же самое).

Из этого изначально идет пустотный синдром нашего сознания, наказывающий нас нищетой второе тысячелетие: «земля — ничья». Отсюда и структурный принцип: власть — внеэтнична.

Византийцы когда-то знали, что на этой земле «русь» собирает дань со «славян».

Получается, что «славяне» в «русь» не входят?

Входят. Наряду с кем угодно. Господствующая группа вербует из всех: тут варяги, венгры, осетины, греки, хазары, финны, печенеги, торки, половцы. Естественно, сюда включаются и выходцы из полян, древлян, кривичей, дреговичей, вятичей — но родоплеменные связи не имеют веса, а важны функции: «русь» — это собиратели дани, и в то же время — арбитры местного населения, строители крепостей, организаторы походов, купцы и воины, вернее: купцы-воины.

И когда настает пора идейного оформления этой власти — она находит себе отнюдь не национально-племенную санкцию. Она ставится как «православное царство». Она называет себя: «Третий Рим». Она претендует на «кафолическую миссию», то бишь, в новейших терминах, на «мировую» революцию, на «всечеловеческий» коммунистический порядок, на «вселенскую» истину (между прочим, не от национальных мыслителей нами полученную, а либо от «мировой религии», либо от «мировой науки»).

Конечно, в наше время никто не рискнет покинуть магический круг нации. В добрый час! Украинец пусть станет прежде всего украинцем, татарин — татарин, осетин — осетином. Великоросс — великороссом (казак казаком, помор — помором, чалдон — чалдоном и т. д.).

Не знаю, возникнет ли культура донская или культура чалдонская, но что украинская и белорусская уже четко выделились из общерусского круга факт. Факт новейшей истории, независимый от того, есть ли у этих культур отдельные исторические корни (их сейчас интенсивно откапывают, особенно на Украине) или корень у всех единый («Киев — мать городов русских»).

А вот превратится ли русская культура в великорусскую — вопрос открытый.

И другой открытый вопрос: хотим ли мы этого?

Разумеется, в великорусском начале больше органики. Но, спасая органику, рискуешь потерять многое: масштаб и то, что называется «всемирностью». Великорусской культуре, наверное, и не до того.

Но если вы думаете о судьбе русской культуры, — очнитесь от гипноза этнической статистики.

«Русский народ почти неуловим при статистическом методе изучения. Каждый русский может быть отнесен либо к великороссам, либо к украинцам, либо к полякам, немцам, грузинам, армянам. Гоголь — хохол, Пушкин — из арапов, Фонвизин — немец, Жуковский — турок, Багратион — грузин, Лорис-Меликов, Вахтангов, Хачатурян — армяне, Куприн — татарин, братья Рубинштейны, Левитан и Пастернак — евреи, добрая треть генералитета и чиновничества была из немцев. Можно без труда рассортировать эту группу. Так сейчас и делают: каждая национальность выискивает „своих“ среди знаменитых русских и зачисляет их в свой национальный депозит. Мы можем с улыбкой следить за этой шовинистической игрой. Печать русского духа, русской культуры слишком глубоко оттиснута на каждом ее деятеле, на каждом произведении, чтобы можно было стереть ее или заменить другой печатью. Отмеченное ею никогда не будет носить ни великорусского, ни украинского, ни какого бы то ни было другого имени. И если, при статистическом подходе, „русских“ можно растащить как избу по бревнышку, то есть в то же время что-то подобное цементу, что сплавливает эту группу в другом плане и делает ее прочнее железобетонного сооружения. Не оттого ли, что она не великорусская, а совсем другая по замыслу?»

«Картина ее гибели — одна из самых драматических страниц нашей истории. Это победа полян, древлян, вятичей и радимичей над Русью».

«Это прямая победа пензенского, полтавского, витебского над киевским, московским, петербургским. Это изоляция от мировой культуры, отказ от своего тысячелетнего прошлого, конец русской истории, ликвидация России. Это — крах надежд на национальное русское возрождение».

Написано — в 1967 году, за четверть века до этнического извержения (Этны этносов), засыпавшего пеплом СССР и Российскую империю.

Отдадим должное проницательности автора и спросим, наконец, кто такой.

Ульянов.

Николай Ульянов.

Николай Иванович Ульянов, историк. Уроженец Петербурга (1904), выпускник Ленинградского университета (1927), сиделец Соловков и Норильска (с 1936), пленный оstarбайтер (с 1941), эмигрант в Марокко (с 1947), эмигрант в США (с 1955)...

...Я попал в США летом 1987 года. Непринужденность этой фразы не отражает, конечно, того потрясения, которое я испытал от поездки, первой в моей жизни поездки в Новый Свет и, как я твердо знал, последней. Я был участником славистской конференции и Йелле и попал в маленький университетский городок Нью-Хэйвен, который и стал для меня «открытием Америки». Я ходил по тенистым тротуарам, задирал голову на кресты, созерцал полки книгохранилищ, вел диспуты с эмигрантами и читал надписи на могильных камнях местного кладбища. Америка казалась мне зазеркальем: все похоже, все всамделишно — и ни к чему не прикоснешься:

сон. И вроде бы ни живой души родной, а что-то держит. Какая-то тайная гавань для души. Новая гавань. Нью-Хэйвен, как нареклось это место со времен первых голландских переселенцев.

Теперь прочел в журнале «Родина», открывшем для нас наследие замечательного русского историка:

«В Нью-Хэйвене, штат Коннектикут, Николай Иванович Ульянов жил и работал вплоть до своей кончины, последовавшей 7 марта 1985 года».

Всего за два года с небольшим до того момента, когда я, ничего о нем не зная, прошел где-то около его могилы.

Господи, как это было близко. Как теперь далеко!

Ничтожные мгновенья в океане истории, где то ли тонет, то ли выплывает, обновляясь, великая русская культура.

РУССКИЕ И НЕРУССКИЕ

Отдадим должное поморскому юмору Шергина, а все же признаем, что одним юмором тут не отделаться: когда Фома Вылка «самоедским обычаем» сватает Ирину, испытываешь весьма сложные чувства. Что красавица ходит «вперевалку, как утка», это в известном смысле даже пикантно. Любовный диалог, уложенный в три реплики: «Идешь, девка, за меня замуж? — Ты меня прокормишь-ле? — Сыта будешь», — конечно, несколько утилитарен с точки зрения заветов Петрарки, однако колоритен и стремителен. Но когда в ответ на вопрос: «Бить порато станешь?» Фома отвечает: «Здоровее будешь» (а ты ждешь, что он ее успокоит: «Пальцем не трону!») — тут в сердце начинает шевелиться подлое сомнение: а что, и бил? Ведь не отрицает же! Прикладывал руку!

А, собственно, какое у нас право переспрашивать? Да она с ним жизнь прожила; она старухой, когда его схоронила, только год протянула после; она же была счастлива! Так чего мы хотим? Почему самоеды должны жить по нашему кодексу?

Еще недавно ответ на такой вопрос предполагался недвусмысленный: потому что есть нормы цивилизации. Потому что есть законы прогресса. Потому что на пути в светлое будущее народы преодолевают рознь и различия: выравниваются.

Увы, мы тягостно перестраиваемся теперь в своих взглядах на пестрый мир. Рознь-то, может, и преодолима, в той или иной форме. А вот различия никогда. И не будет выравнивания. Эта психологическая переориентация драматична особенно для русских, привыкших ощущать себя великим, всемирным народом, со всечеловеческой задачей.

Очень точно пишет историк Сергей Панарин в работе «Восток глазами русских»: мы на Восток всегда смотрели как на дикое поле, которое надо «поднять» до своего уровня — выровнять, вытащить к свету и культуре. Это самонадеянно. И унизительно — для Востока. Но ведь и на Запад мы смотрели похоже, только перевернуто: как на удачную модель универсальной цивилизации, которой нужно технически овладеть и которую духовно оплодотворить.

Банкротство этого подхода подвело нас к тяжелой психологической задаче: она лезвием посверкивает из ситуаций, в которые попадают русские люди. Вспоминается эстонская писательница Лилли Промет (впрочем, тогда еще советская), которая в повести «Примавера» описала туристический вояж, состоявшийся в «разгар застоя»: одна ее спутница все возмущалась, что итальянцы не понимают по-русски. На довод, что итальянцы и не обязаны понимать, было отвечено:

— Могли бы выучить! Все-таки язык Пушкина!

Разумеется, Пушкин великий поэт. И на русском языке созданы мировые ценности. А все-таки приходится примириться с реальностью: не выучат. Больше того: могут даже и не знать нашего Пушкина. Не по невежеству. А потому, что история идет вперед, и в конце концов никто не обнимет необъятного. На просторах умножающегося человечества могут оказаться вполне культурные люди, которые ничего не будут знать ни о наших ценностях, ни о нашей многострадальности. Потому что у них будут свои ценности и свои страдания.

Смириться с этим невероятно трудно. Русский исторический и духовный опыт по самой основе, по самому «замыслу Божьему» — опыт сопряжения, соединения. Я имею в виду именно русский опыт, а не, скажем, великорусский, этнически определенный; или даже славянский, с акцентом на «логике родства». Русская логика — братство. Равенство и братство. Со свободой всегда были проблемы — перехлестывалась в волю. Но братство было сметающее барьеры. И равенство без границ.

Так изначально у нас. Государство зарождалось не как национальное, а как православное, вселенское, кафолическое. Империя конституировалась как новый Рим — как продолжение мирового дела. Советский Союз, наследник империи, мыслился как прообраз мирового устройства: ленточки герба были раскрыты...

Нам невероятно трудно отказаться от этих амбиций. Не потому, что мы теряем «позицию силы» — силы у нас так и эдак потеряны. А потому, что мы теряем позицию благородства, альтруизма, самопожертвования. «Россия распинается за весь мир» — и вдруг миру не нужна эта жертва. Мы ко всем подходили как к равным себе — наше равенство отвергнуто. Из лучших, благородных соображений мы полагали русскую культуру в качестве универсальной — нам было отвечено, что русификация оскорбляет другие народы. Бессмысленно объяснять, что русская культура мыслилась нами не как национальная, а как всечеловеческая, — никто не станет слушать. Ибо русская культура оказалась все-таки национальной, да еще и изрядно ободранной ради всечеловечности.

Надо пережить эту драму. Нас ожидает переоценка, полная страстей и разочарований, любви и ненависти. Это процесс тяжелый. Но живой.

Просверкнула во «фрагментах» Вл. Микушевича интуиция: любить или ненавидеть можно других, а равенство чревато равнодушием.

Если бы только равнодушием. А то ведь и бьют.

Порато бьют, как сказал незабываемый Борис Шергин.

Стать бы здоровее.

БЕЛЫЕ ГОСПОДА

Дмитрий Галковский выдвинул концепцию российской истории. Белая держава посреди цветного, пестрого, сизого, желтого, азиатского полулюдского месива. «Белая» — в том чисто художественном словоупотреблении, когда прямая живописность перекликается со знаковыми смыслами: русский «белый царь» — с англо-американским «белым человеком», а также с «белой костью», «белой работой» и прочими колониальными просветами в дикой тьме.

Вот как рисует Галковский зарождение России:

«Огромная территория, редкое население, народ глупый. Так соберем все в один город, сделаем в глупой стране город умных и будем остальные миллионы из этого города спасать. Плюс этническая проблема.

Набрали из полуазиатского месива европеоидов на один белый город, добавили немцев — получился Петербург. С немцами поссорились, уложили своих белых сначала под немецкими, потом под китайскими пулеметами, — получился Ленинград. Бывший европейский город с новой азиатской судьбой — расстрелял и тысячи заложников за Моисея Соломоновича Урицкого...»

Я так понимаю, что евреи в этом месте должны взвиться. Но не надо. Не надо «подозревать» Дмитрия Евгеньевича Галковского в антисемитизме — он уже сам как-то во всеуслышанье объявил себя антисемитом (что не помешало ему в той же статье в «Комсомольской правде» почтительно процитировать Надежду Яковлевну Мандельштам). Дм. Галковский не более «антисемит», чем, к примеру, его первый патрон В. Кожин — все это игра. Я подозреваю даже, что и вся картинка «белой России» посреди азиатского идиотизма — вариант вполне игровой... но по сути он — реален, да и исполнен, надо признать, мастерски.

Галковский вообще — фигура уникальная. По сочетанию природной одаренности и какой-то старательно воспитанной разнузданности. За три-четыре года успел покусать всех, кто попался на глаза: шестидесятников, коммунистов, сталинистов, либералов, Окуджаву, Золотусского, Мамардашвили, Зиновьева... Осведомленность редкостная, готовность памяти прекрасная, знаний — вагон: все тридцать лет сознательной жизни грыз книги, да и сейчас, похоже, не вылезает из библиотек. Но какая-то не «библиотечная» прямота выражений. А может, именно «библиотечная»... Врагов русского народа надо бить. Физически. Прикладами. Пусть враги кровью заплатят русским за то, что вынудили их быть азиатами.

«А еще лучше — сделать стучкиным детям небольшую операцию на головном мозге. Опустить их в первобытное состояние, чтобы ни они, ни их дети и внуки не поднялись больше по социальной лестнице. Никогда».

Люди, представляющие себе облик Дмитрия Евгеньевича хотя бы по портретам, наверное, усомнятся, что он способен ударить человека прикладом. У него и на вивисекцию вряд ли достанет жестокости. Вот призывать, указать, подначить — это пожалуйста. Фамилию Стучки

издевательски обыграть запросто. Сказать оппоненту, что он не философ, а украинец, — это можно. И не боится!

Словом, Галковский, несомненно, — самый отчаянный из птенцов, вылупившихся в кожиновском гнезде. На все готов. Советская власть для него — власть оккупантов, и ее надо уничтожить в ходе гражданской войны. Никакие «перестройки» с азиатскими ворами невозможны — азиатов надо истреблять. Советская интеллигенция — антирусская, фиктивная; она капитулировала перед азиатской властью; значит, и ее — туда же (вот откуда «биологическая» ненависть к шестидесятникам... если это, конечно, тоже не игра).

Но, допустим, не игра. Страшная правда. Галковский выговаривает то, что не каждый идеолог «Памяти» решится сказать вслух, да и не додумается так отрубить от белого все: и красное, и желтое, и голубое (под цвета смело подставляйте значения: у Галковского каждый блик играет). Все «опустить» и среди месива недожизни воздвигнуть Россию: форпост западной культуры. Что-то вроде Англии, возвышающейся над грязным океаном. Белый утес. Или: белый дом «на холме». В колониальном стиле.

Между прочим, на очередном вираже Галковский, кажется, вцепился и в Парамонова. Прикрывшись, впрочем, псевдонимом. Борис Михайлович Галковского «вычислил» и в очередной радиопередаче цикла «Русские вопросы» ответил коротко, как бы «стряхивая с рукава». Хотя по существу они ведь смыкаются. Борис Парамонов, идеолог рыцарственного индивидуализма, ненавидящий социализм как «богадельню» и муравейник паразитов, — кем он ощущает себя, вырвавшись из этой азиатской тины? — «владельцем личного автомобиля», уже присматривающим себе «дом в пригороде» (см. его философский этюд «Дом в пригороде»).

Что же из этого всего следует?

Во-первых, то, что белые господа, побившие прикладами азиатскую нечисть и отъехавшие на сверкающих «иномарках» в сверкающий чистотой «пригород», не станут жить мирно: они между собой передерутся (и тогда явление Салах-ад-Дина, который всех этих очередных крестоносцев сбросит в море, — вопрос времени).

Во-вторых, не будет конца и этой дурной бесконечности: подавлению «полулюдей» «сверхчеловеками». Зря надеется Френсис Фукуяма, что история кончилась, — не кончилась. Продолжается. Со всей тошнотворной мерзостью: с высокомерием «белых» и «опусканием» всех остальных «в первобытное состояние».

И, наконец, третье — и главное для меня: что станет в этой свалке с Россией?

Неохота мне быть «белым». Стыдно. Если азиатов начнут сгонять в газовые печи, — я азиат. Если суждено оказаться России в Азии, то лучше остаться азиатом в реальной России, чем европейцем в воздушном замке, каким Россия вознесется над Азией. Есть ощущение судьбы, если хотите, исторического рока. Вопрос о том, кто сделал «больше» мерзостей, то есть: что хуже, гитлеровская печь или полпотовская мотыга, я отказываюсь здесь обсуждать. Достанет ужасов и с того, и с этого боку. И изнутри тоже достанет: из нашей шатающейся неопределенности.

А все-таки — судьба. Убери это шатание, это скитание духа, это вечно-детское желание соединить, сопрячь, сплотить несоединимое, убери эту «кашу», эту «полуазиатскую полуевропейскость» — нет России.

Есть что-то другое: белое, ослепительное, с отмытыми от крови прикладами и хорошо проваренными шприцами.

Без нас.

«ДЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

Замечательный кинорежиссер (корни — наши, живет в Штатах, фильмы приезжает делать в Россию, а когда делает в Америке, то они — «русские по менталитету») — вот как он пересказывает и развивает мнение одного английского критика о России и о русских:

«Проблема русских в том, что они белые. Если бы они были черные, желтые или коричневые, не было бы такой деинтерпретации. Когда люди западные — едут в Мексику, или в Индию, или в Турцию, их ничто не шокирует. Они знают, что они в Турции. Когда они едут в Россию, то их все шокирует. Потому что думают, что приехали в европейскую страну, где живут белые люди. А Европа кончается в Польше. Дальше начинается уже не-Европа. Это такая прихотливая мысль, но она очень точно передает проблему русских. Русские сами думают, что они белые, им к тому же это и вбивали в голову, и требуют соответствующего поведения. А этого поведения нельзя требовать. Потому что наша нация родилась не из Европы».

Англичанина я понимаю. Англичанин с небелыми привык — как с небелыми. Но я не очень понимаю, почему мы-то, русские, должны перед таким англичанином испытывать комплекс неполноценности. Ведь для этого надо, так сказать, изначально хотеть быть белым и только белым, причем именно в английском (колониальном) духе. Но мы, кажется, никогда не делали из этого проблемы. То есть не «хотели» (потому что и так были белыми), а если не были (потому что постоянно смешивались с соседями), то вряд ли чувствовали по этому поводу сожаление. То есть русские по определению интернациональны, полиэтничны, соборны, смешанны... определение каждый пусть подберет по склонности. Да заодно пусть присмотрится к физиономическому спектру России: нет ли среди нас таких «белых», какие приезжали из Британии к черным, желтым и коричневым? Вряд ли такие найдутся.

Англичанин чего ищет? Джентльменского набора. Чтобы его, джентльмена, не обворовали на вокзале, не надули в сделке, вовремя заплатили... Ну, правильно: у нас и не заплатят, и надуют, и обворуют... как в Мексике, Индии и Турции (я ничего не перепутал?).

Ну, так не воруй. Работай, как на Западе. Как на Западе — это, между прочим, и опоздать нельзя, и коридорный треп отменяется, и чаю не попьешь в рабочее время. На Западе у белых тоже, конечно, по-разному, но если что и видится как едино-западное из-под наших осин, так это умение работать регулярно и методично.

Так это нам и требуется. Работать методично. Причем тут «белые»? Никогда я себя таким белым не чувствовал. И не хочу.

Впрочем, дело, как выясняется, не только в цвете кожи.

Дело еще и в православии. Вот на этот счет рассуждение нашего режиссера, уже его собственное, не переведенное с британского:

«Тот факт, что православному нужно шесть часов стоять на ногах или на коленях, даже сесть нельзя, говорит о том, что человек находится глубоко внизу, а Бог от него — по чистой вертикали... Православные не изменились за тысячу лет... Едва с колен встали, из-под КГБ еще не выползли, а уже враг у них — Ватикан. Уже хотели бы запрещения других конфессий в России... Извините меня — это средние века! Вот мы там и находимся — югославы, греки, болгары и Россия находятся в шестнадцатом веке. Ничего плохого в этом нет, просто факт. Посмотри, как разошлись чехи со словаками и как расстаются сербы с хорватами. Насилие, геноцид, нетерпимость, страсть, племенные войны... Православие и мусульманство очень близки в этом смысле... слово „компромисс“ для них — гадкое слово... Ничего не изменили и десятилетия атеистической пропаганды. Православный атеист — это воинствующий атеист. А протестантский атеист — очень мирный человек. Поэтому российские коммунисты очень отличались от шведских и, как ни странно, мало отличались от камбоджийских. Каждая религия в конце концов определяется ценой жизни. В православии цена жизни низкая, в мусульманстве еще ниже, в буддизме жизнь просто ничего не стоит...»

Особенно красиво про вертикаль: Бог вверх, православный вниз... У русских философов бывали такие же метафоры, но, «как ни странно», с обратным смыслом. Православие человека на земле укрывает — католицизм человека к небу вытягивает; у нас «шатер», у них — «шпиль»; готика вертикальная. Читал я также, что когда православный монах на Афоне созерцает свой пуп, то это он замыкает в себе энергию, а вовсе не отрицает «вертикаль». Буддист, я думаю, делает то же самое.

Если же пройти по горизонтали, то интересно, что на крайнем Западе, где цена жизни должна быть максимально высока, обнаруживается тяга... к крайнему Востоку: к тому самому буддизму, где жизнь «просто ничего не стоит».

Жизнь, я думаю, дорого стоит везде. Формы оплаты разные. Коллективные, индивидуальные. Формы складываются веками; в известном смысле их «не выбирают». Человек в основе своей действительно не меняется. Каждый век знает свое средневековье. Это сказал Лец, житель Польши, где «кончается Европа».

Пусть кончается. Раз так, я не хочу быть ни «европейцем», ни «белым». Я хочу быть русским, каковым и являюсь. К Ватикану ненависти не питаю. Остаюсь атеистом, как и был, впрочем, не воинственным, каковым никогда и не был. Хочу здравого смысла, хочу трезвой экономики. И еще: чтобы трезвая экономика не претендовала определять бытийные ценности.

Ценности надо уважать: и у католиков, и у буддистов, и у мусульман, и, простите, у самых архаичных язычников. Потому что всюду люди, и они имеют право понимать цели бытия так, как это сложилось у них на

протяжении тысячелетий. Не тыкая ими друг друга в глаза. И, разумеется, не выясняя отношений так, как это делают «сербы с хорватами». Или как это делали уважаемые белые европейцы, англичане и французы, на протяжении ста лет, с 1337 по 1453, пока мы тут стояли вертикально и ползали на коленях. Ничего плохого в этом, конечно, нет, просто факт.

К «фактам» режиссер вдруг добавляет:

«Когда я говорю такие вещи, на меня русские сильно обижаются».

Правда? Я не обижаюсь.

Впрочем, обижаемость пропорциональна наивности, так что когда тебе сообщают «просто факты», но при этом добавляют, что факты «обидны», и что англичане в нас разочарованы, — иной обидчивый и поверит.

ТАКАЯ СУДЬБА

У Шукшина в романе о Разине — воевода Семен Львов, попытавшийся запереть разинцев в дельте Волги и не выпустить в море, узнает, что те, быстро и хитро разделившись, все-таки просочились, выскочили к нему в тыл; в момент доклада об этом воевода мгновенно теряет интерес к делу и падает духом.

Рассуждение Шукшина в связи с этим когда-то потрясло меня: вот русские люди! Как легко, как быстро взлетают и воодушевляются! Как скоро гаснут...

Вообще-то логичнее было ждать от Шукшина другого: хоть в контексте социальных идей, почерпнутых им из традиций советского эпизма, хоть в контексте увлекавшей его национальной идеи — логично было ждать противопоставления Разина Львову как настоящего русского народного героя эксплуататору и вырожденцу. Но увидеть русское В ОБОИХ — это было (для 1972 года) в высшей степени необычно.

Теперь, перечитывая Шукшина, я вижу в его рассуждении следы привычного разлома: «Так резко различаются русские люди: там, где Разин легко и быстро нашелся и воодушевился, там Львов так же скоро уронил интерес к делу»; «им овладела досада»; ему тяжело было «снова собираться с мыслью и духом». Но, при всем различии, тот и другой — русские люди, и Шукшин подмечает здесь важнейшую национальную черту, глубинную русскую драму.

Легко загораемся. И быстро гаснем. В непредсказуемой, головоломной, «незаконной» ситуации — азартные игроки. При угрозе проигрыша — мгновенные неудачники. Готовы на все плюнуть и начать все снова: на новом месте, в другой раз.

Поразительная уверенность, что места хаптит и что других разов будет навалом.

Поразительный переход из уверенности в уныние и из уныния опять в уверенность.

Поразительная неустойчивость и непредсказуемость: непредсказуемость для самих себя.

Вы скажете: а легендарная русская стойкость? А смертное стояние на Шипке? А русская готовность часами и сутками сидеть в окопе, выжидая выгодного момента для атаки, месяцами и годами жить в землянке, трудясь для победы? Широкий смысл этого национального качества общепризнан, но вот свидетельство конкретное, профессиональное: маршал Рокоссовский, родом поляк, отмечал способность русского солдата ждать — по контрасту с жолнежом польским, который в атаке отважен, да вот ждать не умеет: пан или пропал, и немедленно! Русский воюет привычно — на измор, на износ. Его главная, фундаментальная черта в войне — стойкость. Выстоять! Как в Бородинской битве, Толстым описанной. Как в 1941-м: стоять насмерть! Эту черту в ту пору патриотически отмечал даже такой антисталинист, как Солженицын. Мы, воюя, прежде всего стоим, и уж потом — пьемся, и уж потом — размахиваемся и «врезаем». И это воинское «стояние» — сродни, конечно, легендарному, двужилному, невменяемому русскому терпению.

Как же связать ртутную шукшинскую подвижность русской души — с этой бездвижностью стояния-сидения?

А вот так напрямую и связать. Связка на разрыве. Скобы на трещине. Желание взять в обруч, положить плаху, закрепить намертво, решить на вечные времена — от того же инстинктивного, звериного чувства нестабильности, неустойчивости, непредсказуемости. Чудовищный перевес импровизации над методичностью в основе характера (талант сильнее ума), и чудовищные же усилия подавить этот безудерж — незыблемым, чугунным бездвижьем: укротить шатость крепостью (община сильнее индивида).

Ощущение такое: не за что зацепиться, не на что опереться в «чистом поле». Тогда вбиваем кол и намертво держимся. Кто отойдет — предатель.

Сравнить с Европой. Самые «нерусские» в ней народы: англичане, французы, датчане, итальянцы. Там живущие, где морем, либо горами, либо реками — ограничено пространство. И в этом пространстве: на острове, полуострове — отстаивалось отграниченное однородное существование. Чем ближе к «серединке» (немцы в «середине» Европы), или к «проходному двору» (испанцы: хоть и «на краю», но — как «труба», по которой хлестали в Европу сарадины), или к «натуре» (норвежцы, у которых государственность была «чужая», шведская, а «своя» — лишь природа), — тем ближе характеры этих народов к русским, в которых играет именно «природа», «натура», и у которых земля — «проходной двор», которым смирать игрище стихий и воль приходится именно железной, давящей всякую волю «системой».

У русских никогда не было ни твердого места, ни древнего корня. На евразийской равнине с ветром гуляли ватаги, дружины и орды из края в край, вернее, без конца и края; кто откуда пришел, кто куда ушел, — иной раз просто некому было выяснять: все мешалось. Шли с юго-запада славяне, шли от «финских холодных скал» — варяги, шли из азиатских степей — татары, и смешивалось все, смешивалось: кудри черные и кудри белые (получались русые), носы горбатые и носы приплюснутые (получалось что-то среднее: «картошкой»), глаза карие, глаза синие, а уж про души и говорить нечего: полная «всеотзывчивость».

Те, что здесь смешались, и назвались — русскими. И страна назвалась Россией.

Что их свело вместе, что эту страну — скрепило?

Нужда свела вместе: вечная опасность удара сзади, сбоку, изнутри; вечный страх нашествия, междоусобия, непредсказуемого срыва.

Беда страну скрепила: бесконечные кровавые счета между «своими», вечные оглядки на «чужих», непрерывное участие «чужих» в разборках между «своими», постоянное смешение своего и чужого.

Вопль о границах, о межах — в безграничном просвисте сквозящих «проходных дворов», зияющих дыр, незатыкаемых промежутков. Морок маргинальности: ползла империя «пятном на скатерти», растекаясь и впитываясь, пока на гигантском пространстве не сравнялось бессилие Центра идти дальше с бессилием окружающих народов идти на Центр. Тут стали чертить на песке границы, вбивать колышки, колы, колья, тянуть проволоку: сделалась Империя.

Национальная? Русская?

Никак нет.

Я же сказал: русских не было; были — славяне, финны, татары, немцы, литовцы, кавказцы. Русские — это те, что здесь смешались, те, что здесь остались, те, что на это согласились: назвали себя русскими.

Империя не была национальной. Ни по замыслу, ни по исполнению. По замыслу: не «русская» — «Московская», потом «Российская»: мировой город, третий Рим — перехватчик кафолической, вселенской, всемирной идеи. По исполнению: из Центра — циркулярно — импульсы во все стороны: до Балтики и Крыма, до Варшавы и Аляски: присоединять и удерживать; но и на Центр же накатывались — циркулярно — со всех сторон... зачем? Грабить? Грабить, конечно... когда усидеть не надеялись. А надеялись бы усидеть — так и сели бы! И все эти рейды — от польского похода бунташных времен до набега всякого очередного «Гирея» — были попытками вовсе не уничтожить Москву, а «стать Москвой». Как Аларих когда-то, наместник Иллирии «из рода Балтов», вовсе не уничтожить хотел Рим, а — овладеть им.

Так что надо бы нам переступить вполне понятную встречную враждебность к Тохтамышу, из-за которого сгорели наши бесценные древние летописи, и против всех Лжедмитриев, из-за которых чуть не пропала наша бесценная новоиспеченная династия, и понять: то была неотвратимая, геополитическая тяга народов осуществить центрирование жизни, общий порядок, ибо иначе — все истекло кровью. Удалось бы это татарам — и продолжили бы они наши летописи своими. Удалось бы полякам — сидели бы Ягеллоны на троне Романовых, славянской-то крови в Ягеллонах было не меньше. Ну, сложилась бы империя «Русско-Литовская». Либо «Московско-Казанская». И жили бы люди. Воевали-то — считанные годы, а «хорошовались», обнимались-целовались при встречах, торговали и женились, смешивались и пребывали — века.

Так что не знаю, кто от кого отделялся и отделялся бы сегодня: Ландсбергис от нас или мы от Ландсбергиса, и кто бы в Казани отделял в

водке «спирт от воды»... то есть пытался бы этнически разделить начисто татар и русских, когда у тех и у других в основе — чуть не половина общей половецкой крови.

Да и вообще кровь тут ни при чем. «Еврей — это тот, кто называет себя евреем». Русский — тот, кто считает себя русским. Американец — тот... и т. д.

Если уж с евреями, помешанными на идее материнской крови, это так (с папашиней-то стороны мог оказаться кто угодно), то русским и, полтысячелетия спустя, американцам сам бог велел не в составе крови искать национальную идентификацию, а в ощущении общей судьбы.

Такая судьба. Счастливая? Несчастливая?

Не знаю. Я фаталист. Мне осточертел эпитет «многострадальная» при всяком упоминании о России. Строго говоря, немногострадальных народов нет. Ни в природе, ни в истории. Жизнь вообще есть страдание, которому единственный противовес — понимание смысла страдания.

Но революция — «ужас», не так ли, господа?

Но и то, в результате и против чего произошла революция, — тоже ужас, не так ли, товарищи?

Какой смысл — в смене ужаса ужасом, какой смысл в революции?

Никакого. Тут не смысл — тут неизбежность. А смысл только тот, чтобы в условиях неизбежности революции сохранять человеческие ценности.

Конечно, с нашей теперешней точки зрения, ценности искажались. Но с тогдашней, с их точки зрения, с точки зрения наших отцов и дедов, — искажены были ценности в «эксплуататорском обществе», так что революция возвращала смысл человеческому существованию. Где гарантии, что спустя еще два-три поколения маятник не пойдет снова в ту сторону, и революция не будет еще раз «перечитана»? Для этого нужно только одно: чтобы в сытом и благополучном обществе «угнетенные» оказались в исчезающем меньшинстве (а мы сейчас изо всех сил хотим выцарапаться в такое сытое общество), и чтобы солидарность с сирыми и убогими стала в обществе хорошим тоном. А если эта сиропфилия и убогомания накладываются на очередной пик нестабильности истеблишмента, — тогда вы получаете в сытой и благополучной Франции 1968 года взрыв левацких настроений, любовь к Троцкому и сожжение университета. Но и без срыва — может тлеть и накапливаться. Как в сегодняшней сытой и благополучной Америке, где интеллигенция... ну, это мы ее так по-русски называем, а там — интеллектуалы, «яйцеголовые», «писи», сиречь P-C, political correction — политически скоординированные инакомыслящие, — они, думаете, на чьей стороне? Государства? Нет, на чьей угодно, только не государства. На стороне Саддама Хусейна, на стороне гомосексов и спидоносцев, на стороне любой секты против любой ортодоксии, на стороне любого бунта против «их говенного благосостояния».

Так что это в крови, в генах. У всех, не только у нас.

Стало быть, революция была неизбежна?

Была неизбежна.

Кто ее совершил? Никто. «Сама совершилась».

Задним числом вмыслили в демиурги — Ленина. Но он революцию не сделал — он ее оседлал, он оказался на гребне, на острие. Ненадолго оказался, непрочно оседлал, едва держался, а потом и не удержался. Только и успел, напоровшись на самоочевидное безумие коммунистической доктрины, от доктрины отказаться, ибо действовала она — только в военном варианте, только для войны годился коммунизм, а как только пахло миром, — с ним нечего было делать. Так НЭП и стал сигналом отказа, больше Ленин ничего не успел, разве что перед смертью крик отчаяния издал (в последних «страничках», «записках»), разве что в преемниках своих смутно опознал уголовников, да ничего изменить не мог. И выходит, все наследие его практически было «мгновенное»: как взять власть (когда брошенная валяется) и как удержать ее (когда и другие бросаются поднять). Но как жить — он не только не успел почувствовать, но вряд ли и мог бы, потому что обламывалась тогда жизнь России в какую-то неведомую бездну.

Через бездну перебирались сомнамбулически, на стимуляторах, под наркозом, в страшнейшем самогипнозе; имя этому самому гипнозу коммунистическая мечта. Иначе не перейти было бездну двух мировых войн и лагерной (военно-лагерной) «передышки» между ними. Иначе не сдюзить было этого ужаса самозакрывания в металл, в цепи: в броню индустриализации, в кандалы коллективизации. Иначе не выдержать было сгона мужиков с земли, не прокормить гигантские армии: военную, трудовую, не оправдать повальную военизацию народа. На этой-то военизации мы теперь и надорвались, вколотив живую силу народа в броню, в шестьдесят тысяч танков. На это и напоролись, выучив военному искусству миллионы людей, прогнав через армейский всеобщ все мужское население державы, так что теперь любая ватага боевиков, под любым флагом собравшаяся, захватившая любой арсенал, любой «ствол» взявшая в руки: от автомата Калашникова до ракеты «земля-земля», — знает, как с этими железками обращаться и умеет вести боевые действия на уровне солдатской профессиональности, — таким образом любая гражданская «склока» грозит стать гражданской войной.

Фатум: готовился народ к тотальной отечественной брани, к защите от внешнего супостата, а ударился — о свою же агрессивность; пошла взрывная сила внутрь, рвет народ изнутри, кромсает отечество на части.

Доведись какому-нибудь лидеру, из нынешних, пусть безвестному, оседлать ситуацию и проскочить сквозь абсурд подступающего междоусобия к мало-мальской «тишине» народного успокоения, к какому-нибудь сносному «рынку», то есть к сытому прилавку, к относительной стабильности, к мирному стойлу, — и спасенные от самих себя люди задним числом в боги произведут такого деятеля, осанну вострубят ему, в новый мавзолей положат... Так где-то пролегает же в хитросплетениях нашего жизненного лабиринта та дорожка, которая, как потом станет ясно, «была спасительной», то есть «вела к цели». Но разгадка-то не в дорожке, разгадка в почве, по которой она бежит, в наклоне, по которому течет народ, а может, в том, что накопившаяся новая агрессивность не вся еще вышла. Выйдет — успокоимся. Разгадка, одним словом, в общей геополитической ситуации.

Так что если бы на «единственно правильном пути» в 1917 году оказался бы не Ленин, а кто-нибудь другой, то делал бы тот другой приблизительно то же самое... ну, с другими расстрельными списками, с другим порядком экзекуций и экспроприаций, разверсток и налогов. Кстати, «продразверстка» словцо не большевистское, а — Временного правительства.

Так что на вопрос: что случилось бы с Россией, если бы не Ленин, ответ уже дан историей: без Ленина случилось то, что явился Сталин и другие ленинские ученики. И сделали они именно то, что обещали. А обещали они именно то, чего хотел, о чем смутно мечтал народ, именно то, что он лелеял в подсознании под наркозом «коммунизма». И достигнуто было:

— равенство всех: круговая порука стабильности: «как всем, так и мне»;

— гарантия от голодной смерти: круговая порука ради физического выживания;

— работа без стресса, без перенапряга, с раскладыванием всей тяжести — на «мир»: круговая порука безответственности.

Конечно, равенство — в нищете. Конечно, гарантия лагерной пайки издевательство над здравым смыслом. Конечно, стресс все равно настигал: штурмовщина, авралы, выворачивание труда в подвиг. Но все-таки: если вывороты за 70 советских лет тяготели к годам войн, то годов таких, на круг, было не так уж много. А норма меж этими пиками (провалами) все-таки за эти 70 лет устоялась; все-таки шесть советских поколений в этой юдоли, как-никак, выросли. И не говорите, что были сплошь несчастны: нет, и счастливы! Осуществили действительное равенство, и даже не только на солдатском, но и на каком-то минимально гражданском уровне: огромная часть населения, худо-бедно, избавилась, наконец, от деревенских вил, и хоть в бараке, хоть в общежитии, хоть в вонючем от большой химии поселке — но зацепилась-таки за возжеленную городскую жизнь. И действительно получила гарантированную «пайку», возможность работать «от сих до сих»; пусть кое-как, ничего не имея, но и ни за что не отвечая, кантуясь в куче, наваливаясь на любое дело «всем миром» и любое дело охалтуривая, но избавилась же от необходимости пахать, «упираясь рогами», вставать в четыре часа утра к «частной корове» и трястись день и ночь над «личным наделом», поливая оный потом. Вместо этого — в огромной массе — встали «к машине» от гудка до гудка, а еще лучше — сели вчерашние пахари к письменным столам, прибились к каким-никаким бумагам (читайте Шукшина).

Бумаги, кстати, — далеко не только «бюрократия». Это и «стихи». Гигантское производство текстов, под которые изводятся леса и над которыми веет призрак творчества, отвлечение от жуткой реальности, еще один род самогипноза. Как предрекал Маяковский: «и будет много стихов и песен». Осуществилось. Много.

Нет, никто не обманул нас: ни Ленин, ни Сталин, ни Троцкий. Мы получили (то есть построили) именно тот «развитой социализм», за который клали свои (и чужие) головы большевики. Конечно, нужно вычистить отсюда «процесс строительства» (20-е, 30-е годы) — грязь котлованов, надрыв

фундаментов; нужно вычистить войну и восстановление (40-е, 50-е) — на деле-то все это был единый комплекс мировой войны: война горячая, война холодная, наше медленное и неуверенное оттаивание при Хрущеве... Но когда оттаяли и «оттаялись», когда при Брежневе, в условиях с трудом удержанного глобального паритета, начали отъедаться и погуливать, и впервые отошел «социализм» от войны (впрочем, тут же в Афганистан и влез — в крови это у него), но все-таки, в «чистом»-то виде наш строй только тут и выявился наконец как образ жизни, а не только как тип воинства, — и тогда реализовался, тот самый реальный социализм, о необходимости которого говорили большевики и в фундамент которого полетело столько голов.

Голов ли полетело слишком много, цена ли оказалась чрезмерна, но недолго длилось торжество воцарившегося строя. По всем смутно улавливаемым геополитическим закономерностям (а смутные они — потому, что природные, статистические, вероятностные, и потому же при реализации неотвратимы, хотя и непредсказуемы в конкретных формах, как непредсказуемы все нюансы погоды, а приход зимы в целом неотвратим) — по этому ощущению неотвратимости хода вещей чувствовалось, что должен этот праздник исчерпаться, эта гульба кончиться. Вот она и кончилась. Внутри душ людских «природное» взорвалось: по национальным швам стало рваться народное тело — по тем швам, которые единственно и оказались упрятаны от всеобщего блуда и унификации. Этническое оставалось «сбоку припека» — сохранялось как «форма», как нечто музейное... оно и рвануло теперь.

Да еще и удивительно: как надолго хватило и этой огромной земли, прадедами завоеванной, собранной, и этого огромного народа, сбитого воедино из двенадцати языков...

Ну, вот, кончилось.

Или — продолжается в других «формах»?

Так я спрашиваю: что же, семьдесят советских лет — «ошибочная» страница в истории России и окружающих народов?

Что же, характер советского человека, воспитанного за семьдесят лет коммунистической власти, — это другой характер, чем характер русского человека, выработанный за полтысячелетия его «имперской» истории и за тысячелетие истории «номинальной» (то есть когда он уже знал свое имя)?

Что же, «вырвать страницу», вышибить из памяти, вытравить из души?

Нет. История Советской власти — не «оплошность», не «тупик», не зигзаг и не безумие, это — с точки зрения глобальной российской истории этап ее жизни. Страшный этап. Но — ее. Да и были ли в ее истории этапы идиллические?

И характер советского человека, отпечатанный на матрице русского человека, — вариация все того же: это человек, кладущий себя в фундамент «общего дела» — «империи» — католической идеи — христианской державы мирового комбратства — всемирного лагеря...

Конечно, и отличия существенны.

Так, простите, и «советский человек» за семьдесят лет тоже достаточно менялся. И тут пять-шесть вариаций как минимум. Решительный «братишка» 1918 года, и его коррелят — чахоточный комиссар в «пыльном шлеме» — совсем не то, что железный солдат сталинской когорты, или чем опьяненный «реформатор» оттепельных лет, или чем хитрый, византийски двоемысленный партократ «застоя», тайно терпящий, выкармливающий, согревающий на груди диссиденцию, или чем еще более хитрый перестройщик, готовый отказаться и от «социалистического выбора» и от «партии», то есть от «имени», только чтобы сохранить... что?... что-то общее... пространство... неизвестно что... общую судьбу... а как ее понимать, бог знает... впрочем, бога нет... впрочем, теперь, кажется, есть... так авось бог и не выдаст и т. д.

А русский человек досоветской истории — это ж тоже целая шеренга исторически разных типов... у которых пробивается нечто общее. Что связывает:

— суховатого, четкого, докторального питерца, ведущего деятеля двух «европейских» веков русской истории,

— терпеливого, двужильного, незаметно трусящего на своей низкорослой выносливой лошадке москвитя из эпохи первых Романовых,

— изворотливого, вечно готового к смуте и измене, безжалостного и жалостливого одновременно, широкого, оборотистого и упрямого «жителя» в пестрых «великокняжеских» владениях, — когда мучительно стягивалась пестрота в смутное, неясное, но фатально-неизбежное единство?

За пределами «единства» — что-то «другое». Другие люди, другая история. Славяне, угры, тюрки... Русские это то, что начинается — с единства.

Где устояться центру — вопрос исторического случая, жребия. Был центр и в Питере, и в Москве. Мог быть — в Киеве. Мог в Варшаве, в Вильне, в Сарае.

Но в любом случае это был бы один из центров мирового притяжения.

Он и устоялся — в точке Москвы.

Характер «москвитя» — «россиянина» — «совка»: самоотверженность, доходящая до юродства; презрение к материальному и пошлomu, доходящее до фанатизма и аскезы; витание в облаках, доходящее до полной невменяемости, до веры в Опоньское царство «за ближайшим углом», в «коммунизм при нынешнем поколении». И — дикая компенсация витания-шата-разброда: стальное подавление всего, что «шатается и отпадает».

Скрепя характера: обруч, ошейник, всеобщая круговая порука, партия без оппозиций, подавление дикого страха распада и анархии: без железной скрепы целого не удержать. И от соблазна не удержаться.

Ну, вытравим мы имена революции из синодика российской истории, ну, скинем памятники, оскверним могилы, унизим отцов и дедов — чего добьемся, когда сами-то мы — плоть от плоти и кость от кости отцов и дедов, из того же теста, и мировая задача, на которой они надорвались, — на наших же детей ляжет!

Разве что отказаться от задачи.

Изменить судьбу...

Но судьба — это Книга, из нее нельзя вырвать ни страницы без риска превратить книгу в хлам. Это — не «грифельная доска», на которой стирают прежнюю запись, чтобы сделать новую; не «фильм», где кадр «очищает место» кадру. Увы, наш всегдашний соблазн — расчистить, очистить... Стереть из памяти все отчее, забыть, сокрушить. «До основания, а затем...» Все — на пустом месте, на «свалке отходов», на младенческом ощущении, что ничего тут до нас не было, и мы — первые, мы — первопроходцы.

Синдром «пустой земли», морок грозящего исчезновения.

Иногда кажется, что самый воздух наш, сырой и пронизывающий, тому способствует, что сама земля наша, волглая, хлябкая, ничего долгого не выносит. В сухих каменистых краях кладут каменную стену — и стоит века; высекают на камне слово — скрижаль для вечности. А у нас деревянненькое все: ветшает, гниет, мокнет, истончается, шатается, валится. Камень — и тот рассыпается в нашем климате. Ничего «вечного»: все надо бесконечным тяжким трудом подновлять, подпирать, тянуть из хляби, из дебри, из болота. И вечно все — «с нуля». И концов никогда не сыщешь.

Поневоле в этом непрерывном распаде, в этой неудержимой переменчивости, в этой призрачной ненадежности всего: климата, почвы, стен, границ, душ — встает вопрос: полноте, да есть ли вообще в русской истории, в русской жизни — доминанта?

Не «константа», нет; «констант» полно; «константы» — наш пунктик: свирепое укрощение текучего распада, все эти наши «незыблемые принципы», «твердые решения», «вечные ценности» и «неукоснительные правила», вбивание каркаса в рыхлость — от Домостроя до крепостного права и от Кодекса, вставленного в золоченую рамку, до видения поэта: «даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках». Константа — попытка заковать хаос. Доминанта — реальный стержень (сдержень) процесса, грозящего обернуться хаосом.

Доминанта русского характера — способность сопрягать далекое, соединять несходящееся, выносить невыносимое, удовлетворяться беспросветным.

«Любить черненькое».

Доминанта — единство пестрого, разного, непредсказуемого.

Рушится доминанта. Дробится все, распадается, разлетается. Национальные швы, по которым рвануло империю, — только начало. Рвутся прочь друг от друга и сами русские. «Отделяется» Чита от Тамбова и Воронеж от Магадана. Уездная суверенизация.

Да и как соберешь всех русских в национально однородную массу, если из Средней Азии, из Западной Украины, из Закавказья и из Прибалтики несут русские, теперь уже и в генах, — разные типы мироориентации? Как все это притрется в единой русской общности? Подравняется? Вряд ли. Сохранится как пестрота? Скорее всего. Но тогда: пойдет ли на пользу целому, обогатит ли, сообщит ли целому внутреннюю живительную

«разность потенциалов»? А может, наоборот, составится в механический конгломерат, ждущий толчка, сигнала к распаду?

Можно утешиться тем, что это дробление, разлетание — глобальный процесс. Никто никого «не хочет видеть»: ирландцы — англичан, фламандцы валлонов, баски — испанцев, сикхи и тамилы — прочих индусов, хорваты сербов, курды — иракцев, и даже в славной Америке негры — белых. Каким-то фундаментальным образом это дробление, эта миниатюризация обществ, лилипутизация этносов, все это «распыление энергии» связано с общим поворотом технологии в постиндустриальном человечестве от гигантизма к быстрой локальной подвижной динамике. От классовых армий — к «личности работника». Техника XIX-XX веков предполагала: «наваливаться массой», техника XXI века потребует: приблизить конкретного человека к предмету труда. «Персонализировать» контакт. Приблизить крестьянина к борозде. И не с комбайном, который не влезает в широкоэкранный кино, а с миниатюрным трактором и набором подвесок.

Но я не о технике. Я — о «душе». Что с душой, что с культурой будет при том, какой дикий характер принимает у нас «дробление»? Чем заполнится вакуум на месте исчезнувшей «доминанты», на месте распадающейся «империи»?

Можно еще и тем утешиться, что это в истории — процесс не однопоточный, а скорее пульсирующий, маятниковый. Чередуются великие переселения народов и великие сидения. Эпохи интеграций и дифференциаций. Интеграция в каких-то формах и сейчас идет: в тенденциях «объединенной Европы», Латиноамериканского Союза государств, африканских межнациональных движений, Лиги арабских государств, ну, и прежде всего, конечно, — в реальности Соединенных Штатов Америки, где осуществлено то самое интернациональное, интегральное общество, которое нам снилось и грезилось. Будет «нечто общее» и на нашем Евразийском пространстве. Только, скорее всего, это будем уже не мы.

То есть, натурально, люди на этом «пространстве» станут жить и дальше, и, в общем, физически это, бог даст, будут наши прямые потомки. Но — наследники ли? Или они вырвут наши страницы из «книги истории», подобно тому, как мы рвем страницы, написанные отцами и дедами, а деды, сказать правду, и со своими пращурами не стеснялись?

Жить наши правнуки будут, наверное, получше нас. Ибо «распад империи» — не конец жизни. Кончился Рим — осталась Италия. Нет Византии есть Турция, «вспрыгнувшая в последний вагон поезда западной цивилизации». Умерла Британская Империя — воскресла старая добрая Англия. Не состоялся «тысячелетний рейх» — состоялась нынешняя Германия, которой мы завидуем. В мире полно бывших империй, полно народов, утративших имперский статус, переставших претендовать на мировую роль. Что же, они захирели? Исчезли с карты мировой культуры? Нет, играют свою роль, в том числе и роль мировых законодателей культуры. Но не роль мировых жандармов.

Что-то будет и на месте Российской империи, изжившей стадию Советского Союза. Готовы ли мы к новой судьбе? К утрате мировой роли готовы? Чем заполним зияние?

Чем судьба велит, тем и заполним. Собиралась русская культура усилиями «половины человечества». Сроду не было у нас суперменов, и культа сильной личности — не было. Держались «богатыри» — тягой земли. Побеждал «слабый», «греховный», «смиранный». Тем побеждал, что спешил ему на помощь — другой «слабый», «греховный» и «смиранный». И враг становился братом. Это была необъяснимая, иррациональная, мистическая основа русской культуры — соединение тех, кто хотел и готов был здесь соединиться, смешаться, слиться, преодолев не только вражду, но даже и особость. Тысячу лет мучительно собиралась культура. И выросла — до мировой, всечеловеческой значимости в два «петербургские» века. Все шли к нам, все хотели быть русскими, и никто не спрашивал, какой национальности был Карл Брюлло (Карл Павлович Брюллов) или Огюст Монферран (Август Августович), какой крови Пушкин или Гоголь, Багратион или Барклай, Брюс или Боур, как не спрашивали в свой час Растрелли или Барму, Максима Грека или Грека же Феофана. Но и то учтем, что это стремление «всех — сюда» потому и осуществилось, что мощнейший творческий потенциал реализовывался — здесь, что и в живущем здесь народе действовал магнетический заряд. Иначе говоря, все хотели быть русскими, потому что и люди, живущие здесь, в высшей степени были русскими (хотя черт знает из каких племен сошлись здесь при прашурах).

А глянешь нынче — бегут отсюда. И те, что «здесь», — не хотят быть русскими. Любым путем — «свалить отсюда». А если остаться — так смоленскими, сибирскими, вологодскими, питерскими, ростовскими. Бунт против Центра!

Но и опять: не одни мы в таком состоянии. И про тех же немцев одна регенсбургская умница говорила мне: что вы жалуетесь, мы тоже сроду не подозревали, что мы — Германия, а были: Тюрингия, Саксония, Бавария, Пфальц, Вестфалия, Померания... это Бисмарк придумал, что мы Германия!

...Так, может, и мы теперь такие же? Не монолит всероссийский, а сеть «земель», «городов»? И отсюда, от «земель», «городов» пойдет возрождаться русская культура? И тогда снова разбегающиеся от нас повернут к нам?

Не знаю... Чтобы так повернулось все, — нужно, чтобы от земли пошло возрождение. Как заметил Альфред Вебер, реализуется гений в городе, но рождается-то — в деревне. Но как родиться гению, когда деревня русская вырождается, когда земля брошена, когда бабы остервенели от мужской работы и ответственности, а мужики... а мужики, как заметила Татьяна Толстая, с тракторов пьяные попадали давно? Откуда придет новый Ломоносов, из каких Холмогор, когда там свалка? Куда придет, в какую Академию, когда и тут свалка? Не свалка отходов, так свалка ходоков, просителей «у окошечка», требователей на митинге... Нет работы, нет работников. На огромной богатейшей земле огромный талантливый народ деморализован и помрачен в разуме.

Где-то за мертвой точкой чудится поворот к лучшему. Хоть лучик просвета нужен, малейшее улучшение ³⁷⁹ в результате усилий. И тогда — как

Разин у Шукшина — мгновенно воодушевится русский человек, и в меняющейся непредсказуемой ситуации почувствует себя — на своем месте, и взлетит легким духом из тяжелой беспросветности. Много ли ему надо? Хотя тень надежды.

Но что-то свинцовое в людях не дает поднять головы. Это просто в воздухе — тяжесть сшибающихся зарядов. Сшибаются люди, никто никому не уступает дороги, никто никого «в упор не видит». Не в толпе даже, а вот на пустой площади — будут идти двое — сшибутся.

Что, в самом деле не видят? Или все-таки видят? Оба варианта реальные.

Да, действительно не видят. Потому что глядят не перед собой, а по сторонам: где что неожиданно дадут и откуда неожиданно сшибут. Все фланги открыты у нашего человека, только головой и вертит. Как заметил Ключевский: русский человек не предусмотрителен, но — осмотрителен; предусмотреть он ничего не может, но глядит в оба, и именно — по сторонам.

Хорошо, те, что друг друга «в упор» не видят, прут друг сквозь друга, потому что не видят. Но и те, что видят, — все равно же «прут». Ибо в крови у нас — ощущение пустого места перед тобой и вокруг. Как завязывалось государство на пустой, ненаселенной земле, в чистом поле, в густом лесу, так и отложилось на тысячу лет в генах: пусто вокруг! Как от веку не видели перед собой другую личность, так и теперь не видим. И от безличия этого в безликую же рвемся толпу.

Кто же мы такие?

По языку — славяне.

По внешности — скорее уж «финны», «угорцы», «чухна» белоглазая.

По государственному устройству — орда, татары.

Что же в нас русского?

Сказано же: судьба.

МЫ, РУССКИЕ...

Впервые эта формула мелькнула у меня в сознании по ходу разговора с одним эстонцем. Он сказал: наши писатели сейчас прорабатывают вопрос о том, с чем же должны идентифицировать себя эстонцы. Подумалось: что за абракадабра, телега впереди лошади: сначала назвать себя эстонцем, а потом соображать, что это означает? Вскоре эта телега шарахнула меня с другого боку. Я услышал: «Русские — не нация». Подумалось: вот еще маета на нашу голову. Все перекрашиваются в «нации» — и мы туда же. А если, допустим, и не «нация»? Если — «сверхнация», подобно индийцам, африканцам, латиноамериканцам? Из разных этносов! Нация наша — великороссы. А «русские» мы — по вольному выбору. Возникли — из тех, кто захотел стать русским. Кто не захотел — ушел.

Мне на это говорят: ты, мол, про генезис, а мы тебе про эпикриз. Кончатся русские: хоть как нация, хоть как сверхнация. Разбегаются. Сибиряки сами по себе, северяне сами по себе, казаки...

Меня заело: не примирюсь! Ваше дело петь отходную, наше дело держать имя.

Они мне, с ехидцей: ну, и что, кроме имени, тебе остается? Или ты сначала скажешь «мы, русские», а потом будешь соображать, что это означает?

Попал в ловушку. Но вместо того, чтобы попятиться (что и требовалось), вдруг неожиданно для себя рванул направо:

— Да! Так! Сначала — имя, а потом — что угодно!

Кажется, «чем угодно» и наполнялось имя в нашей истории. И племенными великокняжескими распрями. И единством любой ценой — в противовес татарщине. И византизмом. И западными ветрами из прорубленного в Европу окна. И призраками, по той же Европе бродившими. И опять — «Русью»...

Чем сможем, тем и наполним. С собой оправдаем. А имя — не отдавать ни за что!

Обнадеживающий пример — еще с одного неожиданного боку. Что такое евреи в диаспоре? Ничто. Ни языка, ни веры, ни земли. Только имя, звук, дуновение. Но вот двинский гимназист Перельман нарекает себя Бен-Иехудой. Он изучает иврит по старым книгам, потом преподает его своему сыну... полвека спустя народ имеет все. Те, которые «называют себя евреями».

Так что пусть пророчат что угодно: распад, расточение, конец нации. Встать и упереться.

СКАЖИ МНЕ, КТО «ЧУЖАК»...

Русского спросили: что ты думаешь о «своих» и о «чужих»? То есть предложили назвать характерные черты русского человека и людей других национальностей. Среди нерусских попросили определить: англичанина, узбека, литовца и еврея.

Прошу прощения у всех англичан, узбеков, литовцев и евреев, а также и у самих русских, за нижеследующие характеристики; прошу учесть, что, во-первых, по известной мысли Бердяева, философствование о нациях не должно переходить на личности; во-вторых, то, что русские думают о своих соседях и о самих себе, еще не значит, что все они именно таковы, и, в-третьих, когда социологи из группы Юрия Левады, проводя под крышей ЦИОМа в ноябре 1989 года исследование на тему «Советский человек», намечали для этнической части опросов объекты оценок, они имели в виду не столько конкретные нации, сколько мифологемы, засевшие в русском (советском) сознании. В качестве условного, символического европейца был предложен «англичанин», в качестве такого же воображаемого азиата — «узбек». Отечественным дублером европейца был назначен «литовец», «еврей» же был мобилизован как собирательный образ «антирусскости», то есть как символ всяческой «модернизации», противостоящий групповому, коллективистскому, «общинному» духу, каковой загодя предполагается у русских.

Некоторая умозрительность задуманной схемы была очевидна, и на практике все сразу упростилось. Черты воображаемого «литовца» совершенно совпали с чертами воображаемого «англичанина» (воспитанность и культурность, энергичность, чувство собственного достоинства... но и, однако, властолюбие, эгоизм, заносчивость), так что «литовца» социологи из анкеты просто убрали.

Результаты опроса по оставшимся позициям представлены в книге «Советский простой человек». Книга эта (по нынешним рыночным временам потянувшая аж на 750 экземпляров тиража) представляет собой социально-психологический, а отчасти и «антропологический» портрет того загадочного типа, который на заре своего возникновения титуловался первопроходцем истории, а на закате получил клеймо совка. В этом портрете много интересного, но сейчас я беру лишь аспект национальный.

Итак, «англичанина» и «литовца» мы упаковали. Теперь об «узбеке». «Узбек» в русском воображении — почтителен к старшим, гостеприимен, религиозен. И, однако, забит и унижен (привожу наиболее упоминаемые черты). «Еврей», соответственно, — лицемерен, энергичен, скуп и рационалистичен, но и трудолюбив, властолюбив. Сами же «русские» в собственной оценке, — открыты и просты, терпеливы, гостеприимны и миролюбивы, впрочем, безответственны и ленивы.

Не уверен, что две с половиной тысячи респондентов, опрошенные в тогдашнем Советском Союзе, так уж представительны для сегодняшней России: воды с тех пор утекло изрядно. Но некоторые тенденции, уловленные группой Левады, знаменательны. Например, катастрофическое падение мессианского самоощущения у русских. В числе двадцати предлагавшихся ответов о чертах и символах нации был такой: «идеи, которые мы несем другим народам и странам». В 1989 году эту черту выбирали для себя почти исключительно русские, и весьма часто; однако за два следующие года этот показатель упал в несколько раз, и в следующем опросе более половины русских заявили, что страна наша вообще не может служить примером, разве что отрицательным.

Рост такого показателя, как «душевные качества моего народа», косвенно тоже свидетельствует об ослаблении традиционных русских символов: «государство, в котором я живу» и «наша военная мощь».

Еще один важный процесс отмечен социологами: образ «русского» как бы все более ветвится. Трансформация имперского сознания не имеет линейного, однозначного воплощения — происходит кристаллизация разных типов сознания.

Фиксируются эти типы, прежде всего, в связи с противостоящим «русскому» этносу западным сознанием, где все определяется свободой, рациональностью и успехом отдельного индивида. В русском же самосознании набор черт начинается с «простоты и открытости», то есть с демонстративной предьявленности своих мотиваций, и включает прежде всего ценности групповых ритуалов: «гостеприимство», «терпение» и «миролюбие», то есть отсутствие угрозы для других.

«Другие» концентрируют все те опасности, которыми окружена наша аура. Мы подозреваем «англичан» (и «литовцев») во властолюбии, эгоизме

и заносчивости: это тот самый комплекс господства и власти, к которому болезненно чувствительно русское сознание. Мы наделяем «узбеков» чертами зависимости, покорности и униженности — это не что иное, как перевернутые, вытесняемые собственно-русские черты, которые в усугубленном виде переносятся на «других»; чем мифологичнее образ «чужака», тем сильнее в нем видится то, что неприятно в себе и от чего хотелось бы избавиться. «Евреи» — воплощение динамики и непредсказуемости: здесь основой мифа является мотивационная закрытость, недоступность для понимания: «скрытность», «лицемерие» (коварство), «завистливость», а также противоположный общинности «эгоизм».

Легко заметить, что образы «чужаков» складываются в русском сознании не столько из реальных черт этих «чужаков» (да и где нам взять реальных англичан под родными осинами?), сколько из наших собственных качеств, вытесняемых из сознания и переворачиваемых в ходе психологической разрядки.

«Чужак» — это то, чем мы опасаемся стать. Или: хотим, но не можем. Или: хотим и можем, но еще не решились.

Так что когда ты определяешь «другого», ты определяешь себя самого.

Скажи мне, кто «чужак»...

КАКАЯ РОССИЯ МНЕ НУЖНА

Заметки на полях дискуссии в газете «Завтра»

Не по себе мне среди идеологов, уверенно решающих вопросы, для меня почти неразрешимые. Тут, например, твердо знают, что «государство для нации, а не нация для государства». Знают, «кого следует считать русским», а кого «не следует», причем определяют это по такой неувовимости, как «дух». Взвешивают взрывоопасные смеси, дозируя «имперство» и «республиканство». Решают: что для России лучше: «Третий Рим» или «Республика Русь»?

Поскольку я в себе нужной твердости для решения подобных вопросов не чувствую, а переживаю за то и это: и за Российскую Империю, и за Российскую Республику, а пуще всего за того описанного публицистом газеты «Завтра» Н. Павловым не вполне полноценного русского, который вынужден на всякий случай доказывать, что он не верблюд (сам я именно из таковых), то ни на какие проекты отважиться не могу, а ограничусь вполне субъективными заметками на полях чужих программ.

* * *

«Русские построили на безводном Устюрте и в огненных Каракумах великолепные города и заводы, превратили хуторскую, с коровьими глазами Прибалтику в страну космических станций и океанских портов...» (А. Проханов).

«Русские» превратили?..

Но по порядку.

Насчет городов и заводов оставим вопрос открытым; их величие оплачено экологическими бедствиями; обводнение огненных пустынь едва не привело к повороту сибирских рек. Тут вопрос сложный. В отличие от некоторых публицистов либерально-обличительного толка, я не считаю, что это Советская власть выпила Арал, как не Советская власть напустила сейчас воды в Каспий. И без хлопка тоже не проживешь, при любой власти. Но в огненно-водной метафоре у Проханова по крайней мере нет ничего обидного для туркмен, казахов или каракалпаков. А вот «коровы глаза» очень даже обидны для балтийских народов. Я бы от таких метафор поостерегся, но дело не только в этом. Дело и в существе.

Так вы полагаете, что на «хуторах» коров разводили эстонцы, латыши и литовцы, а «космические станции» и «океанские порты» возводили русские? А что же, эстонцы и латыши не участвовали в строительстве «имперских» (или «всесоюзных») объектов и не получали выгоды от их эксплуатации?

Возможно, «большая химия» принесла Прибалтике больше вреда, чем пользы (тоже еще вопрос, хотя и не для данной дискуссии). Положим, латышам не нужна космическая станция, и они ее взрывают (тоже, я думаю, глупость: они ее взрывают — как «русскую», то есть совершенно по прохановской логике). Но ведь не взрывают же они все сооружения Рижского порта только потому, что они возведены при Советской власти! И правильно: русского в этих сооружениях ровно столько же, сколько эстонского, украинского или армянского.

Есть такое понятие: «федеральный уровень». Тот самый, который раньше именовался «всесоюзным», а еще раньше «имперским». Теперь, после Чечни, и слова «федеральный» начнем стесняться. Американцы не стесняются, у них в этом значении и Empire может употребляться, и National, причем без всякого этнического подтекста. Так вот, давайте примем «федеральный уровень» в том американском контексте, когда на этом уровне строится космическая станция, или океанский порт, или «федеральные войска» останавливают погром, устроенный неграми корейцам.

Вот я и спрашиваю Александра Проханова: если негр, поджигающий в Лос-Анджелесе корейскую лавку, поджигает ее именно как негр, то негр, служащий в федеральных войсках, гасит эту лавку тоже как негр или все-таки как «американец»? Возвращаясь под родные осины, спрашиваю: кто у нас строил Империю? Не только в пору космических станций, но, скажем, при матушке Екатерине? Не припомните ли, кто преследовал и гнал по степи бунтовщика Пугачева, спасая трон и порядок?

Михельсон, мои дорогие, Михельсон. «Эстонец». А вы думали, один только Суворов? Так и тот в некотором роде был «татарин». В том же роде, в каком была немкой матушка Екатерина. Но не больше.

А кто спасает те же самые «престол и порядок» в годы первых антисоветских мятежей? «Латыши». Это они в Екатеринбурге добывают главу старой власти, а в Москве спасают главу новой. Поскольку мы теперь, кажется, осознаем, что между Романовым и Ульяновым, при всей

конкретно-исторической несовместимости, существует и некое преемство, то участие «латышей» в этом державном деле кажется весьма «нехуторским».

А «литовцы»? Не припомните ли, кстати, откуда берет начало династия, которую мы так горько оплакиваем и которую «латыши» прикончили в ипатьевском подвале?

Мне скажут, что я ломлюсь в открытые двери. Эдак и Рюриковичи «шведы».

Вот именно. Давайте в открытые двери хоть раз пройдем до конца. Империю строят не «русские». Русскими они становятся по ходу и в результате строительства Империи. А строят ее все, кто хочет: славяне, турки, финны, кавказцы. А также эстонцы, латыши, литовцы и тувинцы... В случае какой-нибудь аварии на «космическом объекте» или катастрофы в «океанском порте» вы кого позовете на помощь? Правильно: «тувинца» Шойгу...

Конечно, по происхождению они и эстонцы, и латыши, и литовцы, и тувинцы, но в деле строительства общего государства — нет. Общее государство они строят не как эстонцы и тувинцы. И царя они расстреливают в 1918 году, и Предсовнаркома спасают — не как латыши. И «океанский порт» в Риге строят — не как латыши.

А как кто? Как «русские», что ли? Нет, не как русские. Как «советские».

Так что же, когда русские приезжают в Прибалтику и строят там «космические станции» на месте «коровьих хуторов», — они, выходит, перестают быть русскими?

Да. Перестают. Тут — самый главный, самый коренной и больной наш вопрос. Это и есть имперская логика: становясь «советскими», мы должны были перестать быть русскими. А если не перестали, то это нас как советских и сгубило.

Империя — тяжкий выбор. Против «крови», против «рода», против «родного места». Впрочем, почему «против»? Рядом. Живя в многонациональном государстве, можно выйти на уровень межэтнический, суперэтнический, мировой по точке отсчета. А можно полностью остаться в своем этническом мире. Русские, взявшиеся строить «мировое государство», так же жертвовали своей национальной идентификацией, как украинцы или татары, но ведь не все же уходили на «имперский уровень». Два брата из одного и того же семейства могли выбрать разное: один мог остаться в недрах чисто национального сознания (и бытия), другой мог взлететь в наднациональный космос. Павел Попович взлетел. Он взлетел отнюдь не во славу «малой родины», а прежде всего во славу человечества. Хотя теперь, конечно, говорят, что это взлетел украинец.

Имперское самосознание по определению ненационально. Иначе римляне навсегда остались бы пеласгами, а голландские колонисты, откупившие у индейцев Манхэттен, построили бы там не более, чем новый Амстердам. Построив Нью-Йорк, они, конечно, «променяли» свое голландское первородство на общеамериканскую похлебку.

Как примирить интересы «человечества» с интересами «малой родины»?

Американский ответ: кто в США желает оставаться голландцем, итальянцем, индейцем или китайцем, — может оставаться. В пределах своей референтной группы, семьи, квартала. Пожалуйста! Все решается материально-прагматически: вот до этого порога ты — кто угодно, а переступил порог — ты уже американец.

Мы при Советской власти пытались решать вопрос «духовно» (я участвовал): Ян Кросс должен был одновременно чувствовать себя и эстонцем, и советским (то есть в идеале — всемирным) человеком.

Сил не хватило: надорвались. Вылезли «коровы глаза».

* * *

«Русские просто не в состоянии больше оплачивать сверхвысокую рождаемость в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Туве» (Н. Павлов).

В точку сказано. Хотя по видимости — все та же бесконечная тяжба о том, кто кого кормит и кто кого объедает. Тяжба бессмысленная, потому что едим все по кругу, в том числе и один другого. А вот насчет того, где едоков сверх меры, а где и работников не найдешь, — это сказано верно и без обычных дипломатических оговорок.

Вот и задумаемся. «Сверхвысокая рождаемость» по южной кромке бывшей Империи — потому ли она там сверхвысокая, что жить хорошо, или потому там жить хорошо, что рождаемость сверхвысокая и есть рабочие руки — в том пусть разбираются ангелы на острие иглы, а мы примем за отправную точку сам факт, что в южных краях — перегруз людского материала и перегрев страстей. Факт геополитический и элементарно-бытовой. Туда и едут все, кто может, потому что там прокормиться легче. Не строить едут, а именно прокормиться, перебиться, перекрутиться.

«Строить» вообще лучше там, где попрохладнее. В Великороссии, например. Или в Европе севернее Альп: неспроста же Север европейский рванул когда-то в протестантское трудолюбие, а на Средиземноморском Юге продолжали толочься те, кто именно и хотел — «просто жить». И у нас: Средняя Азия, Кавказ — драка за «место под солнцем». Тут не только рождаемость, тут и приток иммигрантов огромный, и в результате — огромный перевес свободных рук над руками занятыми. Русских рук в том числе и на обоих концах.

Ну, а если в эти свободные руки — оружие?

Получится: вторая кавказская война, сто пятьдесят первая таджикско-таджикская линия фронта и т. д. Абдурахман Авторханов говорит, что мы одной рукой разжигаем, другой гасим. О, конечно, да только и разжигать не надо: только попусти — само горит.

Опять-таки: русские поджигают? Русские. И горят — русские. Вместе со всеми. Излюбленная статистика боевиков: сколько русских мирных жителей угроблено федеральными войсками. Я бы сюда, для полного избавления от национальных шор, прибавил бы тех наемников из

сопредельных независимых славянских держав по обе стороны фронта, которым более всего было «пострелять охота». Сколь ни клей на них национальные ярлыки, все одно получается общая свалка.

Тут не проблема рождаемости, тут какая-то другая проблема. Говорят, при нынешнем уровне техновооруженности двенадцать процентов работающих прокормят и себя, и всех остальных. Разумеется, если все остальные (восемьдесят восемь процентов) дадут этим двенадцати работать. И чем тогда занять этих остальных, чтоб не раздолбали, не покурочили бы тех, кто кормит. Из зависти, из-за общего хаоса, при общем безумии.

Проблема в том, что при малейшей возможности «отвязаться» ноги «сами» идут «гулять», а при малейшей гарантии прокорма освобожденные от работы руки «сами» хватаются за оружие. «Рождаемость» участвует в этой статистике в том смысле, что погоду в агрессии делают молодые. Вчера родившиеся и не нашедшие места. От кого родившиеся? От кого угодно: от жившей тут «всегда» горянки, от приехавшей сюда «при дедах» казачки, да хоть бы от немки, пустившей здесь корни при царе Горохе или при «царе Борисе».

А если уж так важно, от чьих именно чресел множится эта молодая неприкаянная сила, — примем к рассмотрению тот острейший тезис Николая Павлова, что чресла большею частью — нерусские, и стало быть русские катастрофически проигрывают демографическую гонку.

Да, так. Если перевести всю «имперскую» историю (и современность) исключительно на этнический язык. На этом языке история наша звучит так: татарское иго пало, потому что в XIV-XV веках «русская баба перерожала татарку». Я вообще-то после работ Л. Н. Гумилева слово «иго» употребляю с большой осторожностью (для Пскова или Новгорода московское «иго» было еще и покруче ордынского), но допустим: «пало» потому, что «перерожала».

Теперь вдумаемся, кого с некоторых пор стала рожать «татарка». Она родила нам Кантемира, Карамзина, Тургенева, Ахматову. Дело не только в смешанных браках — смешанные браки, само собой, есть закон демографии; вы не только «прарусского» не найдете в истории или «праказаха», вы и «праангличина» там не отыщете (одна из излюбленных мыслей того же Л. Н. Гумилева).

Значит, получается, что татарка рождает... русского? Вот именно. И осетинка. И тувинка.

Что же получается: что все эти отпрыски должны, позабыв свое этническое прошлое, пойти в «имперскую службу» (в советское подданство, в мировую культуру), подобно Багратиону, Лорис-Меликову, Витте, Фонвизину и Мандельштаму?

Нет, не все. А ровно столько, сколько захотят сами люди, и сколько эта «служба», это «подданство», эта «культура» потребует и обеспечит духовным содержанием. Другая половина этого же вселенского «роддома» может остаться в этническом бытии.

И «русская баба», рожаящая «солдат державы», отпустит в державную службу ровно столько, сколько будет нужно службе, а прочие ее дети спокойно отойдут в пределах державы (в стиле Г. Гачева выражаясь) в

поле этнического жизнетворчества, в котором опять-таки ровно столько же правды, смысла и счастья.

У Шамиля было несколько сыновей (я имею в виду Шамиля-первого). Отец желал им этнического жребия (то есть оставаться аварцами). Некоторые остались. Но один из сынов сделался русским генералом, другой — генералом турецким (встреча была пикантна — на фронте русско-турецкой войны). Однако они были не дурней и не несчастней других.

У Шамиля-второго тоже был достаточно широкий выбор: стать в Москве землеустроителем, мастером спорта по футболу... да мало ли кем еще. Он предпочел стать боевиком. Причем не в родной Чечне (это потом у него совпало — когда мы, «федералы», своей топорностью всех чеченцев превратили в сепаратистов), а начинает Шамиль-второй стрелять — в Абхазии, за горами.

Спрашивается: что ему Абхазия? А «пострелять охота». И еще: «русская служба», русская Держава, русская культура — потеряли привлекательность.

Тут наша сторона проблемы. Причина нашей слабости (и «имперской», и «национальной» — любой) не в кознях западных агентов влияния, не в наивности интеллигенции и не в том, что в команде Горбачева все сплошь оказались предателями (хотя агенты свой хлеб, конечно, отработывают, и интеллигенция, конечно, фантастически наивна, и политики, конечно, переныривают туда-сюда), а корень всего этого в том, что русский человек в середине России ослаб и отпал от общего дела.

Почему? Вот вопрос вопросов. Потому что полвека клепал оружие, которое не понадобилось. Потому что надорвался, запил, загулял, разуверился, махнул на все рукой. Потому что бросил свой дом и пошел бомжить... или наемничать.

Но ведь не все же пошли?

Не все. Вот я и говорю: в той же срединной России одна «русская баба», вкалывая на пяти работах и приводя в чувство бесчувственного мужика, рождает-таки и поднимает трех-четырёх детей, а другая «русская баба», приживает младенца не помня от кого, оставляет в роддоме (хорошо, если не бросает на свалку), а сама идет дальше гулять и пропадать.

Я бы вернул Н. Павлову его максимум в такой редакции: одни русские просто не в состоянии больше оплачивать сверхвысокую гульбу других русских.

А с татарами и ингушами — поладим, я думаю. Как сказал когда-то Василий Селюнин: к сильным и богатым льнут.

Нам надо стать русскими, а не бомжами пропащими, которых все презирают и ненавидят.

* * *

«Россия сложилась как государство в борьбе со смертельной опасностью, идущей от Степи» (В. Жириновский).

Почему именно от Степи? А от «Шведа» не было опасности? А от «Немца», от «Поляка»? А если с той стороны взглянуть: Степь что, не пыталась оборониться от «Леса», когда в XVIII веке на нее пошел этот Бирнамский лес? А что, поселок Святой Крест, посреди Степи стоящий (ныне Буденновск), уже не в нашем государстве? Почему надо ощетиниваться то в одну, то в другую сторону в зависимости от злобы дня? Почему надо в пределах одной геополитической реальности срывать до основания одно государство и на его руинах строить другое? Почему «Степь» — не такой же наш «исток», как «Лес»?

Впрочем, кажется, в этом вопросе мы, наконец, трезвеем. И Советский Союз, и Российская Империя, и Россия первых Романовых, и Московия последних Рюриковичей, и даже окраины улуса Джучиева времен Калиты — все это осознается, наконец, не как смена сжирающих друг друга чудовищ, а как единое достояние, переходящее от дедов к внукам...

Эка! А забыли, как в 1917-м внуки плясали на дедовых гробах? А как в 1991-м демократическая толпа ликовала, сбрасывая Дзержинского?

Не от того горе, что сбрасывают: в конце концов, всего не сохранишь и с неизбежным надо примиряться; а главное горе в том, с каким безумным, эйфорическим ликованием мы это делаем. Как пляшут на площадях люди, не чувствуя, что пляшут на собственных похоронах.

Впрочем, от того, что сейчас кучка интеллектуалов договорится считать историю Руси и России единой, — не исчезнет же агрессия, поднимающаяся со дна душ. Все равно всякий новый этап, каждый новый поворот будет сопровождаться пляской на воображаемых (или реальных) руинах. Так было и, к сожалению, так будет. Или стрельцы не подымали на копья прогрессивных бояр предпетровской эпохи, мешавших им «копаться на огородах»? Или Петр не рубил тем же стрельцам головы, не вывешивал бунтовщиков вдоль кремлевских стен? А с чего начиналась Киевская Русь? Аскольда и Дира помните? Кровью метят этапы. А сейчас? Думаете, при «выборе пути» авторы газеты «Сегодня» станут слушать авторов газеты «Завтра» (и наоборот)? Не станут, даже если эти будут думать так же, как те. Мы не «выбираем путь», мы деремся у входа.

...У входа куда? В горловину пролива? В горловину мешка?

Я бы сказал: у входа в очередную комнату анфилады.

Так что существенно: то, что комната или что анфилада?

Л. Н. Гумилев, рассматривавший историю евразийского континента под углом зрения смены этносов, заметил, что под словом «русские» успело тут смениться несколько разных этносов. Вот радость наследникам Жданова и нынешним украинским незалежникам: и мы не те русские, что были до семнадцатого года, и киевляне времен Ярослава Мудрого — не те русские, что московиты времен Ивана Третьего, и демократы ельцинского призыва, вернувшие двухголовую птицу на место земного шара и пятиконечной звезды, — не те русские, что штурмовали Берлин в сорок пятом...

Ладно. «Этносы» разные. Действительно, психологическое вытеснение бывает полное и отталкивание лютое. Но то русло, в котором происходит смена этих вытеснений-отталкиваний, — реальность? Связь

бесконечных перетягиваний: из Леса в Степь и обратно, от Запада к Востоку и назад, — эта связь случайна, что ли?

Американская славистка К. Эмерсон в ответ на подобные мысли как-то «поймала» меня: получается, что у России нет развития, нет изменений?

А это как подойти. Можно из одних «развитий» историю составить. Изменения все равно неизбежны, если мы на них не пойдем, нас в эти изменения за шиворот втащат. А мне сейчас шиворот бы сохранить.

Россия — как хрящ — выросла когда-то между трущимися краями Запада и Востока. И легче на этом месте не будет, ни нам, ни кому бы то ни было в нашей роли. По Хантингтону, мы — страна, обреченная жить на стыке разных цивилизационных моделей. Как Мексика, например. Можно на этом сгореть. Как горят сегодня югославы. Можно выстроить на этом внутреннем противоречии великую культуру. И ее — хранить. И ради нее — жить. И ею — держаться. Как мы сегодня.

Вы скажете: так культура дробится, сыплется! Когда-то курс истории СССР начинался с описания поселений у озера Ван: то были древнейшие сведения о культуре, собранные «в границах государства». А вот границы и передвинулись. Какого лешего школьник незалежной Якутии будет изучать эти поселения близ озера Ван?

А того самого лешего, отвечу я, кознями которого этот якутский школьник едет в Прованс на всемирные соревнования шашистов и берет там первый приз. Мы друг от друга куда не денемся. Сменится сто флагов, вчерашние «первые секретари» переименовываются «президентами», надувают щеки и примут верительные грамоты, но миллионы людей будут жить так, как велит им геополитическая реальность.

Столицу можно назначить где угодно. Осточертела Москва? Пожалуйста, перенесите в Минск. В Новосибирск, в Нижний Новгород. Все равно где-то будете сходиться, садиться вместе, координировать. Великий Туран объявится? Так он, Туран этот самый, все равно не даст узбеку быть только узбеком и казаху не воспрепятствует общаться с русским; не этот, так тот «Союз» все равно будет выводить земли в регионы, а регионы на мировой уровень.

Лицо, конечно, надо сохранять. Лицо Державы. Лицо региона, области, волости, уезда. Степи, Леса. Память места многосложна, и то, что окровавлено в истории, может быть примирено в памяти.

Почему история России начинается с десятого века? Потому что с этого времени сохранились записи в «Повести временных лет». А до этого — ничего не было? Было «что-то». Венеды, анты, готы. Праславяне. У арабов имеются кое-какие записи, у греков. Вот мы и заглядываем в Маврикия да в Прокопия, чего там «про нас» есть, когда «нас» как бы и не было. А если бы наши записи Тохтамыш не сжег? Если бы что-нибудь нашлось на новгородской бересте или на итильской глине?

Ну и что, повели бы счет не от Киева, а от прабалтских курганов или от хазарских каганов. От какой-нибудь допотопной «империи» или «республики», все равно.

Мне все равно, будет ли здесь завтра «Третий Рим» или «Республика Русь». Выбор пути вообще — самогипноз; получаешь всегда не то, что выбирал (и из чего выбирал), а что-то неожиданное (по Энгельсу, господа, по Энгельсу!). Выбирали «Русь» против «ига» — получили государство, скопированное с Орды. Выбирали «древнее благочестие» — получили базу для интеграции ста верований и конфессий. Выбирали «коммунизм», а получили военный лагерь, что и спасло страну во второй мировой войне после катастрофы в первой.

Я отказываюсь выбирать доктрину, потому что любая доктрина, выбранная нами сегодня, будет завтра оплевана нашими детьми. И так свалка доктрин за спиной. Надо жить здоровым смыслом и нравственным чувством, а доктрины пусть сочиняют задним числом.

Шолоховский герой сказал, что ему не всякая Россия нужна. Имеет право. Мне нужна всякая.

* * *

Вместо эпилога

Шамиль-второй, он же Робин Гуд, сказал в Буденновске, не выпуская из рук автомата:

— Я только одного хочу: чтобы мне дали жить спокойно на моей земле.

Не станет он жить спокойно на своей земле.

То есть на какое-то историческое время и он, и другие люди, остервеневшие от «имперского величия», затворятся на «своих землях» и замрут в незалежности. Но потом-то ведь все равно потекут туда и сюда. И такой вот «диверсант, но не террорист», конечно же, перейдет границы, оружием очерченные им вокруг себя. Не на север пойдет, так на юг. Не в набег, так в университет.

Ну, и что с ним делать?

Как что? Принять в университет. И вести так занятия, чтобы студенты не бежали в ту или в эту «степь», потому что им «пострелять охота».

ВОЛК В САПОГАХ

Ответ оппонентам

Я тронут тем, что газета «Завтра» предложила мне ответить моим оппонентам, и приятно удивлен тем, как темпераментно они откликнулись на мою статью «Какая Россия мне нужна?». Я-то уж думал, что теперь никто никого всерьез не читает и ни на что не реагирует.

Отреагирую и я.

* * *

«Л. Аннинский, поставив верные вопросы, затем соскальзывает... к антиимперской ошибке. Его „советские“ — или „имперские“ (имперцы)

значит именно: не-латыши, не-эстонцы, не-тувинцы и не-русские. Даже без дефиса, а просто НЕ... Сверхнациональность имперских задач... возвышение национального до мирового подменена простым отрицанием наций... Нерусскость, перечеркивание своей национальности всяким русским советским человеком (имперцем) — это, по Л. Аннинскому, не вполне достигнутая в СССР, область долженствования... имперский идеал» (Татьяна Глушкова).

А где, когда, какой ИДЕАЛ бывал достигнут? Он до тех пор и идеал, пока мыслится в идеальной сфере. Построили — посыпалось.

Татьяна Глушкова права: я действительно промыслил схему, до некоторой степени идеальную, и свел все к простому утверждению — отрицанию. Для ясности. Для того, чтобы и самому утвердиться в некоторых константах. И ответить по возможности четко на вопрос, предложенный газетой «Завтра».

Вопрос-то поставлен какой? Что будет в России завтра: империя или республика?

Или — или?

Ну, тогда вот вам ответ, такой же категоричный, как и вопрос: если империя, то НЕ национальная, а если национальная, то... что угодно: республика, монархия, гибрид того и другого, но НЕ империя. «Даже без дефиса, а просто НЕ».

В принципе, то есть в итоге, в финале, в грубом упрощении, в «результате» — все империи распадались именно тогда, когда народы, их спланивавшие, переставали считать себя «мировыми», «вселенскими», «всечеловеческими» и начинали ощущать себя отдельными, уникальными, национально неповторимыми и самодостаточными.

Когда не Турция оказалась фрагментом Османской Порты, а наоборот, Порта оказалась фрагментом Турции. Когда британцы, сумевшие выстроить мировую империю аж на воде, не сумели побороть своей «островной» психологии и остались чистыми англичанами. Когда немцы, попытавшиеся стать наследниками римлян, принялись строить «Священную Римскую империю германской нации». Когда те же немцы стали вводить «новый порядок в Европе» ради господства той же нации. Когда Австрийскую империю склеивали с «Землями Венгерской короны», а продолжали быть немцами (и им отвечали: «мадьяры», «чехи», «словаки» и т. д.) — полувек не выдержал склеенный горшок — разлетелся.

Так что не взыщите: если национальная Россия, — то без всяких потуг на имперскую роль. Вот ради ясного ответа на этот вопрос я и сказал: чтобы остаться Российской Империей (Советским Союзом) надо было перестать быть русскими. Не перестали? Развалилась империя.

Не вхожу в вопрос о том, к лучшему это или к худшему. Речь о схеме распада.

Теперь эту схему попробуем наполнить конкретным содержанием.

Для начала уточним понятия. Вернее, осознаем их неуточняемость. То, что сейчас обозначается словом «русское» и имеет отчетливый национальный, этнический и даже племенной привкус, раньше так не

мыслилось. «Русское» исторически — это «государственное», «державное». А этническими определениями были: «великороссы», «славяне», в некоторых случаях «москвиты». Слова вообще подвижны на наших болотах. Сейчас все слова двинулись в сторону этничности: «русское» переместилось туда, где раньше было «славянское», а на место «русского» пришлось мобилизовать «российское». (На месте «народа» явился «этнос», но об этом ниже).

Когда я говорю: «перестать быть русскими», я, конечно, употребляю слово «русские» в современном смысле. По-старому «перестать быть русским» как раз было нельзя. Можно было: перестать быть «москвитом» и стать «русским». Или, как выразилась бы Т. Глушкова вслед за К. Леонтьевым: возвыситься — от «великоросса» до «русского». Переселиться так сказать, с Кучкова Поля в Третий Рим.

Но что вообще такое: «перестать быть»? Всем переселиться разом? Один перестает, другой нет. Один брат переселяется в столицу, идет в государственную службу, становится дипломатом, служит державе на мировой арене, другой брат остается «в уезде», учителствует, третий крестьянствует. Опять-таки по схеме я ввел такое разделение: внутри имперского народа можно выделить элементы определенно имперские и элементы преимущественно этнические. По результату, по главной жизненной идее, по основной линии судьбы — человек может тяготеть туда или сюда.

Но никакая «линия» опять-таки не исчерпывает всего богатства жизни. Русские генералы Суворов, Багратион и Барклай — имперцы, именно потому, что они русские генералы. При этом Суворов может вести себя как «природный русак» (даром, что по дальним корням татарин), Багратион может помнить, что он Багратид, а Барклай — уточнять, что «он не немец, а шотландец». И ведь не путают, когда что поминать! Имперское и национальное начисто разведены по схеме, но никто не разрубит этого в конкретной жизни: душа человеческая сводит все в гармоничном (или — пусть! — негармоничном, драматичном) диалоге.

Я всю жизнь считаю себя русским. Это моя культура, моя судьба, мой выбор. В таком же социально-культурном смысле я всю жизнь был — советским. О чем не жалею и в чем не каюсь. Но это не мешало и не мешает мне всю жизнь помнить (и раскапывать) мои еврейские и казацкие корни, то есть быть и тем, и другим. И третьим: жаль, что моя донская родословная не заходит дальше пугачевских времен, а найдись там у меня что-то татарское, турецкое или персидское — и за это схватился бы с благодарностью. И искал бы, и любил бы — ни на мгновение не «переставая» быть русским.

Тут — практическая диалектика. Таллинец, который строит локатор «союзного подчинения», локатор строит — как не-эстонец, а он же, отъехавший на хутор и читающий Таммсааре, — эстонец, чего тут копыя ломать? Да простит мне уважаемая Татьяна Михайловна, если я вторгнусь в ее душевные окрестности, но она, блестящий русский критик и признанный русский поэт, не забывает, надеюсь, о своих украинских корнях, как бы Кравчук ни отделялся от Ельцина. И не должна забывать, и не забудет, пусть там хоть на уши встанут в Беловежской Пуще.

Еще одно важнейшее уточнение. Все-таки тут не восхождение от «хуторской» культуры к «мировой» и не возвышение человека от «нации» к «империи». Тут — пульсация. Употребляя образ Л. Н. Гумилева: затухающие или усиливающиеся колебания. Сосуществование, взаимоупор и взаимообогащение ценностей. Константин Леонтьев говорит о «переходе» от «племенной арифметики» к интегральному счислению? Но почему этот «переход» мыслится у него только в ОДНУ сторону? Я думаю, что это одновременный же переход души и к родным пенатам. Сам-то Леонтьев что-то на Афоне не задержался, в Оптину Пустынь вернулся умирать. В «хуторской» культуре не меньше ценностей, чем в «мировой»: надо уметь брать. Я снял с полки том Гомера, раскрыл его и «перешел». Кто мне помешает? Гомера в спецхран запрут?

Никто нормальному человеку не мешает ни быть русским, ни быть «имперским», — если обнаружится на то воля истории.

Не надо только путать роли. Если мы строим национальное русское государство, нам нечего делать ни в Чечне, ни в Татарии, ни в Карелии. А то ответят нам на том же «национальном» языке (как недавно на ТВ — боевик из Грозного): «Под русским сапогом Чечня жить не будет».

Интересно, когда Дудаев бомбил афганцев, а Масхадов стрелял в литовцев, они это делали в русских сапогах?

Надо знать, в каких сапогах в чужие души лезть.

* * *

«Чего в наше время не приходится читать по национальному вопросу, особенно о русских, но статья г-на Аннинского — это особый случай, который обойти молчанием нельзя... Автор беспрерывно ссылается на Л. Н. Гумилева, и у читателя может возникнуть подозрение, что позиция Л. Аннинского если не совпадает, то очень близка идеям этого великого русского ученого. Тут поневоле вспоминаешь, что есть три этапа борьбы с неудобными мыслителями: первый — травля; если не помогло — полное замалчивание; опять не помогло идет признание с одновременным выхолащиванием смысла, целенаправленной подменой идей...» (Игорь Шишкин).

Очень хорошо выделены три этапа. Вот и пройдемся по ним.

В травле Л. Н. Гумилева я вроде бы не замечен (в других травлях, надеюсь, тоже). Так что этот этап — без меня.

На втором этапе, каюсь, активничал. В направлении, скорее противоположном замалчиванию. Не знаю, чем был занят тов. Шишкин в 1978 году, а я был занят тем, что «пробивал» в журнале «Дружба народов» статью Л. Н. Гумилева «Похвала Клио» — практически первое его выступление в «неспециальной» широкой печати. Тогда его никто еще не называл «великим русским ученым», хотя я что-то в этом роде нашептывал своим начальникам не с тем, чтобы уличить их в несогласии с ним, а чтобы облегчить прохождение статьи. Она, кстати, тогда вышла, имела большой успех; пара записочек от Льва Николаевича с той поры у меня сохранилась — в свой час обнародую. А рассказываю это сейчас вот зачем: ни мое уважение к Л. Н. Гумилеву как к ученому, ни моя симпатия к нему как к

человеку отнюдь не означают, что я должен безоговорочно соглашаться с его идеями. Даже если он «великий русский ученый». И насчет того, что я на него «беспрерывно ссылаюсь», — некоторое преувеличение: раза два помянул к слову, но основных идей не касался.

Теперь коснусь.

Да, в фактической осведомленности (и в пластике исторического мышления) Гумилеву сегодня нет равных. Его чувство фазовых подобий поразительно. Это замечательное развитие метода Данилевского и Тойнби.

Да, образ пассионарного толчка и последующих затухающих колебаний сильный образ, толкающий на размышления и позволяющий систематизировать массу фактов.

Да, попытка связать историю с биосферой актуальна и, что называется, современна по стилю.

Но никаких точных аналогий, уверенных прогнозов и, тем более, операциональных определений (вроде «химических культур») отсюда лучше не выводить. Понятия зыблются, их надо все время корректировать. Собственно, под «этносом» Л. Н. Гумилев имеет ввиду «народ», только называет «по-современному». Насчет «народа» историки успели сделать в свое время массу оговорок, отграничив это понятие и от «государства», и от «племени». Употребив более «современное» слово «этнос», Гумилев вынужден был эти оговорки повторять неоднократно, он указывал, например, что этнос может возникнуть на базе нескольких племенных составляющих. В прошлом «этнография» занималась как раз «племенами», теперь она решила заниматься «народами». Социальная и духовная нагрузка, привычная для понятия «народ», перемещается на понятие «этнос», а оно, при всех оговорках — пестрит родимыми пятнами «племенной» принадлежности. Налицо сдвиг всей системы обозначений, и этот сдвиг небезобиден, но и неслучаен: он допущен Гумилевым — внешне — ради того чтобы сказать «по-современному», но внутренне — по интуитивному чутью на ситуацию. Чутье изумительное, но можно ли при таком ситуационном сдвиге весь этот научный аппарат механически переносить в публицистику?

«Этносы создают государства, а не государства — этносы» (синтаксис не мой).

Но вот на глазах изумленного человечества американцы, собравшиеся со всех концов света, создали государство, в лоне которого, опять-таки на глазах всего человечества, родился американский народ, «по-современному» американский этнос. И в Латинской Америке современные «этносы» образовались в границах государств, прочерченных иногда прямо в зависимости от преходящих политических обстоятельств. И «волевое» размежевание Советских Республик, опять-таки на глазах потрясенного человечества, повело к формированию разных народов, то есть этносов.

История бесконечна в своем непредсказуемом разнообразии. Тут ее ужас и ее прелесть. Можно сколько угодно ссылаться на империю Вэй или на Хазарский каганат, но вряд ли это поможет нам понять, что будет в России

поколение спустя и, тем более, как нам с помощью русского духа возродить русский этнос.

Из Гумилева, кстати, ничего на этот счет не извлечешь. Он избегал «актуальной экспертизы». Строгий ученый, он изучал факты и выводил объективные закономерности.

Он сказал: мы — в стадии «после надлома»; предстоит — инерция, обскурация, потом — воспоминания.

А уж как нам бороться с этой закономерностью — этого Л. Н. Гумилев не касался. Это уже не от исторических фаз зависит, а от практического состояния душ. От того, чем и как люди наполнят «фазы» и «стадии» исторического цикла.

Я подхожу к третьему этапу «борьбы с мыслителем»: к интерпретации его идей.

Тут признаюсь: сильно грешен. Интерпретирую вовсю. Целенаправленно и сознательно. Если угодно назвать это «выхолащиванием», — пожалуйста: иной раз от «идеи» таким «духом» повеет, что ее действительно хочется выхолостить. «Подменяю»? Возможно. Вы «подменяете» своим, я — своим. Понятия, кажется, еще не приватизированы?

Я же не отказываюсь от понятия «демократии» на том основании, что Феликс Светов, Юрий Буртин или Леонид Баткин толкуют его иначе, чем я (поминаю тех радикалов, от которых успел схлопотать). И точно так же: не отступлюсь ни от «родины», ни от «отечества», ни от «державы» на том основании, что тов. Шишкин понимает эти слова по-своему.

И от «русскости» не отступлюсь, хотя и гуляет слово между «государством» и «племенем».

Солженицыну когда-то следователь проникновенно сказал: «Мы же с вами русские». Много лет спустя тот нашел ответ: «С вами — мы не русские».

Я бы никогда не решился сказать такое — никому. Если тов. Шишкин скажет это мне, то, «по-современному» выражаясь, это будет «его выбор».

* * *

«...Задолго до XVII века Россия знала то, чего не поймет г-н Аннинский: „Степь“ была — в отличие от „Леса“ — изначально хищнической, несозидательной, ориентированной на опустошение (естественная психология кочевника: это объели — поехали дальше). Это были не просто другие племена, другие государства — это был, если так можно выразиться, другой космос, другая вселенная... Поэтому мира быть не могло... Только два выхода: или „Степь“ уничтожит, распылит наших предков... или наши предки прибьют „Степь“... Заловить „Степь“ было просто необходимо — как бывает необходимо убить волка... На то он и волк, чтобы загрызать свои жертвы... На то мы и люди, чтобы защищая себя и своих, пришибить этого хищника...» (Лев Игошев).

Алексей Ермолов, конечно, великий полководец и как администратор высказал много идей, но однажды он употребил слово «собака», и люди запомнили у него только это слово.

Боюсь, что в вышеприведенном тексте моего уважаемого оппонента люди воспримут только слово «волк».

К волку этому я вернусь чуть позже, а пока о том, за что попало лично мне. Я — встал «на сторону» волка. «На сторону» разбойников, загнавших нас в чеченский тупик, «на сторону» угонщиков самолетов, «на сторону» деструкции и развала.

Все логично: сначала иронизировал, судил обо всем «со стороны», а потом и встал «на ту сторону».

Что есть, то есть: я действительно считаю, что слушать надо обе стороны. Всегда. И даже с особым вниманием — ту сторону, которую считаешь неправой. По Белинскому: преступник говорит с порядочным человеком как с преступником, но порядочный человек должен с преступником говорить как с порядочным человеком. Это, положим, идеальное правило, но стремиться к нему нужно.

«Степь» или «Лес»? В идеале — обе стороны нам необходимы, раз уж угораздило нас зародиться в Евразии. И обе стороны многому нас научили. «Степь» научила нас строить гигантское государство. Потомки выходцев из «Тевтобургского леса» усердно строили это государство при матушке Екатерине и при ее внуке. Конечно, хорошо бы соблюсти и здесь должный баланс чувств, но мне это нелегко. Грешен: кошу в «Степь». Почему? Потому что из «Степи» никогда не было нам геноцида. А из «Тевтобурга» — был.

Что же, «Степь» не убивала? Убивала. В драках. Но не истребляла этнически. Была жуткая драка в XIII веке... если вникать в поводы, то и мы не без греха: влезли в тяжбу татар с половцами, убили послов... Поверили предсказанию: «Сегодня посекут нас, а завтра вас». Посекали? Опять-таки, в драке — да. Но если «поводы» драк оставить беллетристам, а опереться на геополитическую реальность, — разве татары уничтожали русских как народ, как этнос? Брали дань, ограничивали в правах, считали своими подданными, но ни культуру, ни веру не трогали, и не истребляли же, как немцы — пруссов и как Гитлер собирался — нас!

А Мамай?

А Мамай, выражаясь «по-современному», мог считать себя командующим федеральными войсками, посланными для подавления мятежа сепаратистов в улусе Джучиевом. Вы встаньте мысленно на «их сторону»!

Так они же — волки!

А это откуда посмотреть. В их глазах мы — волки. Скажу Л. Игошеву как Лев Льву, — очень неприятно чувствовать себя зверем-карателем. Половину души надо ампутировать, чтобы притерпеться. Надо какое-то искусственное самоощущение в себе воспитать: мы, мол, себя и своих защищаем, а прочих держим в покорности. Еще мы большие гуманисты в том смысле, что, заловив «Степь», не вычистили ее полным геноцидом. Знаете, что мне напоминает этот игошевский пассаж? Анекдот про Ильича: «А мог бы и расстрелять».

В чем коренная разница наших позиций?

Мой оппонент исходит из того, что изначально существует некая этнически «чистая» фракция («свои»), которая отбивается от «чужих», добывает их. Или щадит. А я исхожу из того, что никаких исходно «чистых» этносов нет и не бывает; они складываются, смешиваются, меняются.

Мой оппонент надеется и впредь сохранить такую этнически «чистую» фракцию (что-то вроде древнееврейских зилотов?), чтобы она держала «нечистых» в узде. Я же исхожу из того, что ничего «чистого» все равно не сохранить, даже если его и выведешь: смешение этнических элементов неизбежно.

Мой оппонент считает, что «мы» — одно, а «они» — другое. Я же считаю, что «мы» — уже плод смешений. Мы — потомки и наследники и «Руси», и «Степи». Со времен Узбуга только и делаем, что смешиваемся. И стали русские великой нацией не потому, что произошли от «своих», а потому что нашли общую идею, вокруг которой люди захотели сплотиться.

Была идея, да сплыла. Отсюда и нервы.

Значит, вопрос в том, какую идею мы найдем сейчас, или, как сказал бы другой мой оппонент, — каким содержанием мы наполним «русскую идею», изрядно выхолащенную в ходе разборок.

Найдем общечеловеческий, мировой, вселенский смысл этой идеи — будет у нас моральное право наводить порядок в «чеченских тупиках». Останемся как русские в пределах «чистого этноса», — тогда, извините: ты, значитца, волк, и я волк, так у волка с волком какой разговор может быть? Это я перефразирую замечательную интерпретацию дарвиновского учения, которую один наш дворник излагал одному нашему философу.

Иметь «криминальное государство под боком», конечно, плохо. Ну, так против криминала должен стоять закон. А если вы полагаете, что «они» — не просто «другое племя», а «другой космос», «другая вселенная», то есть, как волки, стоят вне закона, — какое у вас тогда право лезть туда со своими законами? Право сильного? Так не будет конца крови. Сегодня ты силен, завтра слаб. И тебя затравят так же, как ты травил других.

Вот почему я — за «империю». За «федерацию», «содружество», «союз», что угодно — только не за «ваших-наших».

Живешь с соседями в мире — ради бога: тут можно быть несхожими, даже интересно для обмена. А если нет мира, если — сплошная несовместимость? Тогда — смешиваться. Искать то общее, в чем несовместимость отодвинется на второй план, в нижний уровень. Иначе — бесконечный «кровавый кабак».

Что еще страшно: объявляют-то облаву на «чужих», на «волков», на «хищников», а оборачивается все — на самих себя, и давят все сапогами в собственном доме. Примеры были.

Надеюсь, при нас этого не будет.

На что надеюсь?

На здравый смысл, который спрятан у русских под напускной дурью и бесшабашностью.

Упрекнули меня еще, что в диалоге с оппонентами «цепляюсь за отдельные фразы». Правильно, цепляюсь. Именно за те фразы, которые кажутся мне интересными для дальнейшего разговора. Это не значит, что я не вижу общих оценок и характеристик, адресованных мне по ходу дела. Один товарищ, например, заметил, что моя позиция по русскому вопросу и мои взгляды на место русских в России настолько ему «ясны», что спорить с ними и опровергать их «нет нужды». Другой товарищ обиделся на мой тон: «демократический» и «интеллигентский».

Первому товарищу я по существу его позиций и взглядов тоже не отвечаю. «Нет нужды».

Второму товарищу отвечу так: за сорок лет работы я пару раз пытался писать в антиинтеллигентском тоне — не получилось.

КТО ЖЕ МЫ?

При всей бесконечности предлагаемых нам недоказуемых версий на вопрос «русские — кто мы?» возможен только один простой, исчерпывающий и неопровержимый ответ: «Мы — русские».

И достаточно. Есть имя — есть стержень.

Драматичнейший в нашей недавней истории момент — когда большевики переименовали русских в советских. Понять-то их можно: надо было преодолеть национально-государственную косность, подняться над границами, ощутить единство в каком-то высшем, всемирном смысле. Но рухнул «коммунизм» — и посыпался «смысл» в прежние формы: государственные, национально-этнические, религиозно-конфессиональные.

С государством у русских связь особая. Вне государства мы раскалываемся, рассеиваемся. Немцы и французы могут объявить свои державы открытыми для «всех французов» или для «всех немцев», где бы они ни жили. У нас — отъехавший советский автоматически делался антисоветским. У отъехавшего русского оставалось только происхождение. Вдвинутое в эту нишу понятие «родина всех пролетариев» оказалось так же недолговечно, как и само понятие «пролетарий».

Теперь русское вновь проступает из-под пролетарского, из-под советского. И опять государственные створы не держат заключенного в них содержания: оно, это содержание, оказывается выше и глубже государственности, оно зависает. При нынешнем распаде Империи это отдается болью. Но и надеждой: государственные формы умирают — «русскость» остается. В сущности, каждые пять-шесть поколений что-нибудь да меняется в государстве: династия, система, флаг, гимн, герб. Границы ползают туда-сюда... а русское в людях — остается.

Национальное, этническое, племенное? Смешно, попробуйте заречься от грядущих смешений: русские — полиэтническое целое, никогда другими не были, и нет надежд, что когда-нибудь мы сможем так изолироваться, чтобы возникла племенная чистота: не сможем и не захотим. Русское — шире и важнее этнического.

Конфессия? Исторически — важнейший фермент. Русское замешано на православном. Но куда вы денете миллионы атеистов — они что, не русские? А миллионы сектантов? А куда русские католики пойдут? Да хоть бы и в ислам впали — а русское останется.

Что же, что? Культура? Язык? Память? Да, и это, и это. Пушкин и Толстой, Брюллов и Левитан, Герцен и Бердяев. Нарочно беру «эфиопа», «немца», «еврея», «француза», чтобы еще раз прочувствовать: культура — не национальная прописка, а духовная задача.

Язык? Огромной важности фактор, первоэлемент, величайшая, нетленная ценность. Но — «тлеет» и язык. Века и на нем сказываются. Русский — уже ответвление от архаичного корня; украинский и белорусский к корню ближе и в этом смысле «чище»; русский же поближе к «татарам», к мировому «эсперанто», к интернациональному волапюку. Мировая роль русского языка под вопросом, зональный ареал еще держится, но вечных языков нет; пробьет час и английского и испанского как языков мировых; любой язык, охватывающий огромную массу, с ходом истории выбрасывает из себя говоры, жаргоны, диалекты; любое наречие, обрастая словарями и выйдя из-под грамматического диктата «центра», может объявить лингвистическую независимость. Дробится и русский. Есть речь сибирская, речь северная, есть донские говоры, волжские, уральские... Но есть и то русское, что всех нас, акающих и окающих, все-таки роднит, и это русское — шире, глубже, чем язык, медленно ворочающийся в вековых текстах и быстро оборачивающийся в живом общении.

Память истории? Да, это почти равновелико осознанию русскости. Но попробуй удержать память, когда то одну, то другую эпоху вышибают из этой памяти как «нерусскую», и удержать вместе надо не органично перетекающие времена, а кроваво сталкивающиеся. Кровавые, полные ненависти — а все равно удержать надо. Потому что и они — наши.

Есть что-то магнетическое, сверхразумное в верности русскому имени. Ощущение духовной задачи, проходящей сквозь все: сквозь границы, сквозь эпохи, сквозь доктрины. Сквозь смертельную борьбу, где свои пластаются и путаются с чужими.

Эта духовная задача окончательно неопределима. Она не может завершиться гармонией, она только тогда и ощущается, когда проходит сквозь частокол невозможностей. Сквозь половецкое, византийское, монгольское, европейское, составившее Россию. Сквозь старый взаимоупор западников и славянофилов. Сквозь новое взаимоозлобление «демократов» и «патриотов».

Вот как-то собрали их вместе: высказывайтесь! Все «края» тут: от Сироткина до Новодворской, от Кожина до Светланы Кайдаш, от Терехова до Гачева. Положили перед ними взаимоисключающие суждения русских историков позапрошлого века: от Щапова до Сикорского, выбрали из прошлого самое горячее: поджечь нынешних.

Вспыхнуло.

— Мы как-никак существуем!

— Нет, мы не существуем!

— Мы одурели!

— Нет, это вы одурели!

— Мы вообще не можем знать, кто мы и что мы!

— Нет, отчего же, знаем: нам бы в американский Твин Пикс, но только без убийств и призраков!

Это — самая эпатажная точка, прямой вызов: Россия должна сдать экзамен Западу; не сдаст — пусть пропадает, не жалко.

Не пугайтесь. Когда Валерия Новодворская пишет это, я ей не верю. Потому что если она получит комфорт и уютное сытое довольство с цветными этикетками, то перестанет писать свои возмутительные тексты, а это для нее конец. Так что и ее ненависть ко всему русскому — чисто русская.

Пока спор идет внутри культуры — это благо. Такой спор бесконечен, но и живителен. Страшно, если пойдет «на ножи»: тогда идеи будут убивать.

Но даже и в этом, страшном случае — надо удерживать русское имя, русскую духовную задачу.

Быть русскими не только в счастье, но и в беде.

ЭПИЛОГ

ГЛОБАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ: ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ?

Гёте не знал слова «глобализация». Однако первым, насколько я знаю, употребил словосочетание «мировая литература». Так что есть соблазн предположить, что тогда она и началась. Хотя она началась раньше. Всегда, во все времена была соотнесенность частей человеческой культуры — при всей нерегулярности прямых контактов и перекличек; мы теперь, составляя и изучая историю «мировой литературы», эту общую историю достаточно логично «вычитываем» из невообразимо далеких текстов: что-то заложено, что-то таится, что-то общечеловеческое присутствует в замысле о человечестве, и существует столько же, сколько сама человеческая культура.

Вы скажете, что именно и только теперь прямые контакты и непрерывные переклички ощутимо привели ко «всемирному процессу», к «мэйнстриму», к «общему потоку», на фоне которого барахтанье отдельных национальных организмов может вызвать у знатока лишь улыбку.

Я отвечаю, что улыбки будут взаимными, потому что всякое усиление интегральных тенденций в культуре сопровождается усилением локального им сопротивления под любыми флагами. Взаимоупор противоположных факторов неизбежен, иначе — системный коллапс.

Вы скажете: а Интернет?! Разве можно сравнить скорость почтовой клячи, двести лет назад тащившей воз взаимоперевода, — и нынешние электронно-синхронные молнии, доставляющие прямо пред мои очи все, что в этот момент пишется на той стороне Атлантики?

Я соглашусь, что электроника, конечно, способна в считанные мгновенья доставить все, что сочинено на берегах мирового литературного океана, пред мои очи, да очи не вместят. Общение ограничено не техническими возможностями, а потенциями человеческого организма, который живет все-таки не десятью, а одной жизнью.

Вы скажете: но масштабы и рост словесного самовыражения на рубеже третьего тысячелетия христианской эры беспрецедентны, и это факт.

Я замечу, что на всякий упрямый факт найдется другой упрямый факт, и на всякий рост имеется своя пробка, которая отключит энергию при фатальном перевесе литературоцентризма. Весь этот буквенный край возьмет да и отколетсЯ, и отплывет во тьму архивов, то есть люди просто перестанут читать. Что сейчас, кстати, и происходит.

Я способен воспринять столько, сколько способен переработать, освоить, присвоить. Разумеется, читая Умберто Эко или Милорада Павича, я могу вычлениТЬ то общее, что у них есть и что отходит на уровень «глобальности», точно так же, как я могу уловить, где там итальянское, а

где югославянское. Ну и что? А то, что по-настоящему я в этот опыт вникну не тогда, когда соотнесу его с теми или иными умопостижаемыми сущностями, а лишь тогда, когда переживу его — как свой. То есть когда он станет моим русским опытом. Когда я введу его в контекст моей культуры.

Какой — «моей»? Национальной, наконец?

Только «наконец», не раньше. И без конца уточняя этот термин.

Копится национальное, местное, локальное, конкретное, почвенное, непосредственное, низовое — всегда. И всегда пытается охватить его интегральное. Когда есть то, что можно соединить воедино, возникает объединительная тяга. Империи — попытки соединить пестрое в единое. Все великие культуры созданы если не на почве империй, то в рамках империй.

Что обрамляется?

А то самое, локальное, что подымается «снизу» и ищет контекста, в последнем пределе — контекста вселенского.

Вопрос в том, как «метить» это частное и особенное при его вхождении в общий поток и сопротивлении потоку. Мета — это уже знак судьбы, след обстоятельств, клеймо события, технология истории, зарубка бога. Метилось конфессионально. Метилось социально. Метилось государственно. Метилось антигосударственно, то есть партийно: по интересам.

Сейчас метится — национально.

Спорить с этим все равно, что спорить с дождем. Национальная разметка так же преходяща, неизбежна, реальна и эфемерна, как все до нее. Сияются люди определить «свое», а оно ускользает.

Конечно, природа может помочь: одним кожу вычернит, другим носы вытянет. Но для того, чтобы носы сработали, дух должен придать им значение. И цвет кожи именно дух должен сделать «признаком». А если духу это без разницы, так и нос никого не заденет. Какое кому было дело, что артиллерийский начальник у Петра Великого был арап: он служил России, значит, был русским.

Тогда почему эти клейма так живучи?

Потому что другим «признакам» веры нет. Цвет кожи, форма носа и родословие дедушек-бабушек — это ж такое свое, природное, неотъемлемое, автоматически полученное, без усилий!

Так потому в конце концов для духа и безразличное, что без усилий получено! Потому «национальное» и не укладывается в «родовое», не совпадает с ним, что на духовный вопрос пытаются дать материальный ответ.

Глупо спорить и смешно бороться с тем, что сейчас именно «нация» мета всего того конкретного, что противостоит реющему в виртуальных высях глобализму. Борьба происходит на другом уровне — на уровне трактовки самой «нации». Вон братья-украинцы как отделились, так и бьются над вопросом, кто они: то ли братья по крови, то ли сограждане, опора единого государства, независимо от того, от каких корней и колен. Нация — бесспорный фаворит в теперешней духовной тяжбе «верха» и

«низа». А вот борьба этнического и культурного внутри нации — настоящая и еще не решенная проблема.

Этническое может стать национальным только на уровне культуры, если окажется сопряжено со всеми другими ценностями: государственными, общественными, мировыми... Пароль здесь — не голос крови и не состав генов, а культурный код. То есть поведенческий код, нашедший для себя язык.

Попросту говоря, язык — это и есть пароль. Это и есть знамя, под которым собираются эти общности. Язык — средство общения, концентрат духовного опыта, залог того, что этот опыт не будет забыт или растрочен впустую.

Пример Израиля, раскрученного из ивритских писем на глазах человечества, — уникально-общезначим. По чистоте эксперимента. И по убедительности результата.

Только не надо на этот опыт уповать как на умозрительно-волевое задание. Нация реализуется, только когда сила накапливается, и жажда усиливается, и энергия ищет выхода.

Никакой специально национальной культуры и словесности не создашь. И никакой специально глобальной. Из этого патентованного глобализма не встрясеешь ничего, кроме звездной пыли. Но и национальное не выжмешь из этнического, даже если будешь писать слово «русский» через два «р» и три «с».

Нужно жить тем, что есть в реальности и на духу. История решит, куда это вписать: в социум, в нацию, в космос, в этнос...

Если, конечно, будет, ЧТО вписывать.

«...И МЫ ПОСЕРЕДИНЕ»?

Кажется, Анатолий Арсеньев попадает в одну из самых горячих точек в нашем текущем философствовании, и по приверженности русскому вопросу как «основному вопросу» нашего бытия, и по замечательно емкой концентрации идей и настроений, связанных с этой важнейшей для нас темой.

Есть Запад, есть Восток, есть Россия — вот схема человечества, как ее видит Арсеньев. (Хочется добавить: «и четвертому не быть»).

Прочитую соответствующее место из заметок А. Арсеньева «Глобальный кризис современности и Россия» (см. «Континент», 1992/3); это рассуждение потому и хочется откомментировать, что в нем, как в солнечном сплетении, собраны все нервные волокна нашего раздумья о себе:

«Пытаясь дать какую-то общую схематическую картину современного состояния человечества, я бы, пожалуй, рискнул составить ее из трех основных компонентов: Восток, постепенно западнующийся; Запад с его быстро и экспансивно

развивающимся рационально-технологическим отношением к Миру, и Россия.

Так называемый „третий мир“ постепенно размывается, страны, которые традиционно принято в него включать, либо пытаются освоить западные формы жизни, либо стагнируют, либо прогрессируют, причем столкновение с западной цивилизацией ускоряет эту регрессию. Вместе с тем, нельзя не учитывать возможную большую роль третьего мира и мира ислама в будущем как силы дестабилизирующей, ускоряющей процессы распада современной цивилизации. Быстрый рост народонаселения, возрастание агрессивности и экспансионистских тенденций, консолидация значительной части населения вокруг соответствующих идей панславизма делают этот мир очень опасным. Вместе со вспышкой национализма в наше время в самых различных регионах Земли это — показатель „сопротивления“ Неолита, на самом деле ведущего к ускорению его распада.

Россия остается единственной страной, в определенном — и достаточно существенном — смысле „чуждой“ как Востоку, так и Западу. Не относится она и к „третьему миру“».

Ощущение такое, что «третий мир» в этой телеге все-таки немного похож на пятое колесо: ничего не дает, а картину портит. Поэтому начну с этого «лишнего» компонента, который словно некуда пристроить. Ислам в рассуждении А. Арсеньева и по существу, и по тому, в какой тональности о нем говорится, выпадает из общечеловеческого процесса; ислам — неконструктивен; он разрушает; он — опасен.

Конечно, это рассуждение хорошо моделирует наш подступающий страх, наш темный ужас перед растущим миром мусульманства, с его «дремучим» фундаментализмом, с газаватом и джихадом, с воинственностью, готовой все сокрушить.

Но, кроме нашего подспудного страха, должно же быть и желание понять. Да, фундаментализм бывает дремуч, но дремучие фундаменталисты есть и в православии. Да, ислам крушил много, но и христиане крушили много. И если мы говорим о схеме целого человечества, — можно ли мировую религию, вторую по численности на земном шаре, охватывающую уже сейчас восемьсот миллионов человек, списывать в возбудители распада, отсеивать в «неолит», опускать в чисто дестабилизирующую роль?

Когда-то в распадающейся Аравии, где все проваливалось в кровавый хаос и фатализм был единственным спасительным настроением, — разве не созидательная мировая идея носилась в воображении основателей веры, и разве этой новой верой не двигала готовность к духовной консолидации? Разве в основе ислама не лежала идея всеединства, идея универсума, открытого всем, не огражденного никаким племенным или ритуальным отбором? Эта вера имела целью именно восстановление единства мира, включая сюда ценности иудаизма и христианства. Не вышло единства? Так и у христиан не вышло. Но то, что ислам исходил из идеи консолидации, а не из идеи раскола, — факт. Не агрессия и не дестабилизация лежала в замысле: первые пять принципов требовали только единобожия и

соблюдения элементарных правил поведения откуда и возникло впоследствии преобладание права над богословским умозрением, и отсутствие разветвленной догматики, и перевес меняющегося неформального лидерства над «вечной» ортодоксией. А кроме того, традиция взвешенного, трезво-разумного поведения в конфликтных ситуациях (мутазилитская идея «среднего состояния», ставшая одним из «усулов», устоев мусульманской ментальности). И еще — гибкость, открытость, практичность, стремление охватить и стерпеть пестроту жизни, готовность впитать новые идеи, объять мир и изменяться вместе с миром. Куда ж мы все это загоняем? В «неолит»? В «ошибку» истории? А если в XXI веке число мусульман (как предсказывают демографы) перевалит за миллиард, как мы тогда посмотрим в глаза этой «ошибке» истории?

Конечно, если настраиваться на конфронтацию, то так и надо: «сопротивление неолита», «дестабилизирующие силы», «ускоритель распада» и т. д. Но, может быть, разумнее настраиваться на сотрудиничество?

Теперь бросим взгляд на обе точки «глобального кризиса», коим Россия — единственная на земном шаре — спасительно равно «чужда».

Оглянемся на «Запад» — технологичный, работающий на потребу тела «Запад», которому нет нужды размышлять над «последними вопросами». На тот самый Запад, что «дышит на ладан» и скоро (ждем!) придет к нам за «беспорядком», как мы когда-то ходили к нему за «порядком».

Что мы, собственно, знаем про Запад, кроме того, что там — «порядок»? Что мы знаем о потаенных духовных процессах в странах Запада (а духовные процессы всегда в главном потаенные)? Только то и знаем, что они «живут лучше нас», а теперь еще поняли, что они «вкалывают больше нас». Между прочим, опять — замечательно точная проекция нашего «в них» всматривания, где все диктует подавленная зависть. И опять — чудовищная аберрация: раз они превосходят нас в «культуре тела», значит, то «тело» вытесняет в наших глазах все. Раз живут хорошо, значит, духовности «нет»: погрязли в благополучии.

Благополучие, к слову сказать, дело относительное. Западная история не менее нашей оплачена кровью. Были войны и тридцатилетние, и столетние; чужеземными нашествиями уничтожались государства; эпидемиями выкашивалась треть народа; все безжалостные «революции» пришли к нам с Запада, и самые четкие тоталитарные режимы вырели — там же. Чему же мы завидуем? Что «вкалывают» и «живут лучше нас»? Так потому и лучше, что — вкалывают. Начнем мы вкалывать, будет и у нас лучше. Вот только с «душевностью» и «духовностью» тут связи непредсказуемые. И общий знаменатель западного «бездушия» — все та же вынесенная за скобки наша бессильная ревность к Западу. Что мы знаем о теперешнем внутреннем диалоге немецкой и французской душ? Об отколе англичан от «материка»? О балансировании испанцев между «европеизмом» и «латиноамериканизмом»? О напряжении латино-германского противостояния (будущие разломы по линии Север — Юг)?

Запад «дышит на ладан»? Это, конечно, утешение. Но злорадствовать тут нечего. Конечно, кризисов не избежать и Западу: кризисов не избежит

НИКТО. Запад прожег озоновую дыру? Так это хоть известно, это объявлено. А сколько каких дыр прожгли мы — не известно и не объявлено. И та экологическая компенсация, которую уже отрабатывает Запад, на нашей свалке еще и не брезжит. Разумеется, Запад не уйдет от драм: экологических, технологических, социальных. Кстати, об этих последних: теперь-то уж, когда их леваки окончательно потеряли клеймо «советских агентов» и их уже не отметишь как пятую колонну, — теперь-то западные общества узнают, что такое люмпенский прессинг: вспомнят они Лос-Анджелес и Геную...

Узнают. Вспомнят. Хлебнут. Только нам-то от этого не обломится. Они свои кризисы преодолеют, они уже показали, как это у них делается. Преодолеем ли мы свои?

Теперь — взгляд на Восток.

Какой Восток?

«Восток — дух, — пишет А. Арсеньев, — но не христианский личностный дух, который „веет, где хочет“, а абстрактно-безличностный, неподвижно-равнодушный, безразличный к судьбе человека Абсолют...»

Где он, такой Восток? В Индии, в Китае, в Японии? Их «неподвижность» весьма мифологична. «Тигры» Азии, во всяком случае, доказывают, что «абстрактно-безличностный» дух не мешает стремительному уплотнению жизни Востока по «западным» технологическим меркам. Так что Восток, покоящийся в лоне маловменяемого Абсолюта, есть опять-таки не что иное, как наш сублимированный ужас перед тоталитаризмом. В качестве такого превращенного автопортрета — годится. И даже помогает определить для России какие-то константы, тем более в момент, когда у нас все шатается. Но сколько-нибудь реально представить себе действительный Восток и тем более понять, что случится дальше в «той стороне», — вряд ли поможет.

И, наконец, центральный, разрешающий композиционный принцип, сама эта развертка: взгляд вправо, взгляд влево, и в точке схождения — Россия: «фокус» истории, залог решения. «Своего рода Голгофа, соединяющая для мыслящих людей всего мира амбивалентные начала». Место, где «подготавливается... восхождение славянства как ведущей культурной силы».

Кстати, почему «славянства»? Россия — не только славянство. Но формула о славянстве — уже из Лосского, которого Арсеньев цитирует. А вот композиционный принцип арсеньевской системы — замечательно верен для России, мечтающей обрести равновесие. Такая «бабочка»: слева Запад, справа Восток, «и мы посередине».

Но точно так же ориентируется дух человеческий в любой точке земного шара. Что такое Германия? Средостение — средоточие: между «ковким» латинским Западом и «кристаллическим» славянским Востоком. И еще — баланс между железным устроением «тела» и метафизическим воспарением «Духа». Или латиноамериканский вулкан в точке разлома мировой культуры: с одной стороны — североамериканский модерн, с другой — архаические «ацтекские» бездны, а посередине — «Карибское человечество», колыбель будущей обновленной цивилизации. Или арабы —

между «двумя империализмами»... Без такого баланса ни один народ и ни один «дух» не сориентируется: надо посмотреть в обе стороны и сообразить, что ты такое за мост, то есть какую бездну собой мостишь.

Впрочем, когда «сторон» три, уже лучше. Академик Н. Н. Моисеев ищет России будущее место не в середине «коромысла», а в середине «треугольника»: Америка — Европа — Тихоокеанский регион. Россия — связка трех сторон: мост через Сибирь и Север. Недавно эта концепция была фельетонно осмеяна в израильском журнале «22», а зря: она интересна.

Вообще чем больше «точек», тем меньше равновесия, но, наверное, больше реальности. История вряд ли уложится в простые композиции: два берега и радуга между ними; история полицентрична — при постоянной опасности хаоса и постоянной тяге к тоталитарному его смирению. Наверное, все-таки, помимо «Запада» (да и он разделен психологически как в самой Европе, так и по линии Атлантики), в будущем будут взаимодействовать и такие духовные организмы, как Индия, Китай, Япония, Латинская Америка («Карибское человечество»), Африка («негритюд» или что-то аналогичное), «Ближневосточный клуб» (евреи и арабы). Ну, и, разумеется, наша Россия во всем напряжении ее внутренних разрывов и стяжений.

Все это, конечно, не более чем интуитивные ожидания.

А для непосредственной ориентации России в сегодняшнем тектоническом пространстве «грубая и отдаленная» схема Анатолия Арсеньева (Запад — тело, Восток — дух, Россия — душа) вполне работает.

Как говорят альпинисты: чтобы удержаться, нужны три точки опоры.